

52  
197  
1978

1/3

# ЕВГЕНИЙ ГУЩИН







ЕВГЕНИЙ ГУЦИН

# ОБЛАВА

ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ

БАРНАУЛ  
АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1981

1258-1

Гушин Е. Г.  
Г98 Облава. Рассказы и повести. Барнаул, Алт. кн.  
изд., 1981.

496 с.

В книгу вошли повести «Бабье поле», «Облава», «По сходной цене», а также рассказы, написанные в разное время. Все эти произведения — о современности. Симпатии писателя на стороне людей трудолюбивых, честных, умеющих мечтать.

Г 70302—03 18—81 47020101000 Р 2  
М 138(03)—81

Районная библиотека  
Алтайское книжное издательство, 1981  
Алтайского края 7.3

## РАССКАЗЫ

### ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ

1

После смены леспромхозовский столяр Василий Атясов, мужик сухопарый, длиннорукий и стеснительный, взял в продуктовом магазине бутылку белой. Было это так неожиданно, что толпившиеся у прилавка женщины переглянулись и покачали головами, а мужики, которым веющего столяра частенько ставили в пример, обрадовались и начали гадать вслух: что же такое стряслось с Атясовым, что и его наконец-то прорвало?

И Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо засунул поллитровку в карман, вышел поскорее из магазина и зашагал прочь. Возле своего дома он замедлил шаги и, сощурившись, разглядел за стеклами глухие занавески. Значит, Варя еще не пришла из потребительского союза, где она работала. Сережки тоже нет. Его она утром уводит к теще, чтобы не слонялся с мальчишками по улице, а приучался бы помогать по хозяйству.

Это было на руку Василию: никто не задержит. И он уже хотел было идти дальше, куда наметил, но вдруг будто укололся: из смежного двора, отодвинув сложившую штaketину, на него глядела соседка Федоровна. Вставила в пролом, как в раму, бурое, похожее на печеную тыкву лицо и тарачилась. Недоумевала, видно, куда это подался Атясов мимо своего дома. А ниже, в пролом же, выставил свою острую морду нелюдимый старухин пес — тоже глазел, словно и ему интересно. Старуху Федоровну еще называли Золотой Рыбкой.

3



Появилась она на селе в войну вместе с другими эвакуированными и беженцами. Ходила старуха из дома в дом и гадала на фасоли про фронтовиков. По доброте ли своей, или оттого, что за хорошие предсказания подавали щедрее, но только исход всех ее гаданий обычно оказывался благоприятным. Вот и прозвали ее так. В благодарность, в насмешку ли — не поймешь.

После войны нездешние люди понемногу рассосались, вернулись в свои края, а Федоровна заняла чью-то пустующую избушку и осталась в ней. Желаящих погадать становилось год от года меньше, а потом в сельсовете старуху припугнули штрафом, и она поутихла. Свой промысел, может, и не бросила, а занималась им тайком — разговоров о том не было.

Держала старуха черного трехлапного пса, который неотрывной тенью ходил за нею. Она запрягала его в тележку или в санки, чтобы съездить за хворостом в лес. Женщины пугались, видя повозку в две силы — человека и собаку. Мужики отчего-то смущались и отворачивались.

Однажды и Василий видел, как черный кобель, на туго упираясь тремя лапами, тащил по рыхлому снегу большую вязанку дров. Федоровна сзади подталкивала воз жердиной и не столько помогала собаке, как мешала, когда налегала на жердину, чтобы не упасть. Как раз против окон, где Варя посыпала тропку золой, чтобы не скользко было ходить, черный кобель совсем выбился из сил. Он лег на брюхо и хватал снег с боков тропки горячим ртом, а Федоровна ослабила веревку на шее собаки и гладила мокрую шерсть на судорожно и часто вздымающихся боках, говорила что-то ласковое, утешающее.

Не по себе тогда стало Василию. Он выскочил из дома, чтобы помочь, но кобель, не поднимаясь на ноги, с таким остервенением на него зарычал, что Василий ступешевался и ушел с досадой. Теперь же, видя, с каким интересом смотрит на него старуха из-за забора, недобролюбно поморщился.

«Выставились в четыре глаза. Вас только и не хватало», — подумал Атясов в сердцах и, потоптавшись, все же двинулся от дома в конец села, а на душе у него было нехорошо, будто его уличили в чем-то худом.

За селом, между огородами и темной зубчатой стеной леса, напоминающей перевернутую вверх зубьями

пилу, лежало поле, поросшее невысокой сорной травой, уже заметно увядшей. Никто здесь ничего не сажал, потому что поле числилось за авиаторами. Два раза в неделю садился тут рейсовый вертолет, курсирующий по таежным селам. Пилоты брали на борт нескольких пассажиров и сами же продавали им билеты.

Приземлялся здесь и небольшой зеленый вертолетик лесной противопожарной службы. Летчики-наблюдатели дозaprавляли баки горючим, обедали в дешевой леспромхозовской столовой и летели снова кружить над тайгой.

Капитальных сооружений на аэродроме не было. Под навесом, сколоченным из горбылей, хранились бочки с бензином и заправочные приспособления, а в стороне от заправки, на краю поля, располагался дом пожилого мужика Тимофея, который несколько раз в лето скашивал литовкой траву на летном поле, прогонял забредавших сюда деревенских коров, встречал и провожал вертолеты и караулил их, когда летчики уходили обедать.

К нему-то и шел Василий, задумчиво покусывая сухую былинку, слушая, как посвистывает о голенища сапог выгоревшая трава, и удивляясь: вчера еще вроде поле молодо зеленело, а вот уж укатилась весна и лето на исходе. Как все-таки незаметно приходит одно за другим, и от этой быстротечности непонятная тоска ложится на душу.

Тимофей маячил в своем дворе. Насаживал лопату на новый черенок. Увидел Василия — замер с занесенным для удара топором, постоял так, раздумывая, ударить или нет, и не ударил, опустил топор.

— Василий, ты ли, че ли? — спросил он с некоторым удивлением, заметив, чем оттянут карман столяра.

— Я, — сказал Атясов с неловкостью. — Зашел вот в гости.

— А я тут лопату лажу. Картошку скоро копать.

— Ну так работай. Я подожду.

— То ли ее завтра копать? — улыбнулся Тимофей.

Он был выше Василия, и черты лица у него резкие, какие-то костлявые, неотесанные. Все у него твердое: и нос, и лоб, и впалые обветренные щеки. Прорез рта неожидан, и от самых его краев начиналась колючая, как стерня, рыжеватая щетина. Очень мужское у Тимо-

фея лицо, а улыбка — детская, беззащитная. Даже странно ее видеть на таком каменно-твердом лице.

— Пошли в избу, — пригласил Тимофей, прислоня черенок с наживленным штыком лопаты к стенке, и по привычке отряхнул верхонки одна о другую.

Сколько Василий знал Тимофея, всегда на его руках сидели брезентовые рукавицы-верхонки, и думалось, что они давно уже приросли к живой ткани рук и что под брезентовой кожей руки двупалы, как и верхонки. Есть только большой палец и ладонь, которые могут сжиматься и разжиматься наподобие рачьей клешни, поднимать что-нибудь тяжелое и громоздкое, которое не всем под силу. И вообще казалось, что Тимофей самой природой создан для тяжелой, грубой работы, и к ней он всегда готов. Благо, и верхонки на руках.

Вошли в чистую горницу. Василий у порога снял сапоги, опасаясь натоптать. Знал: хозяин пол моет сам. Пройдя в носках к столу, выставил на середину уже надоевшую бутылку.

— А ведь мне нельзя ее, — сказал Тимофей в некотором замешательстве. — Пожарников надо встренуть.

— Ну нельзя, так и не надо, — не очень-то расстроился гость. — Тогда просто посидим. Давно я к тебе собираюсь. С разговором одним...

— Зачем просто? Чаю подогрею. Пошвыркам.

Тимофей подал чай, принес банку магазинного варенья, хлеба.

— Ну как тут жизнь? — поинтересовался Василий, задумчиво отхлебывая чай и собираясь с мыслями.

— Идет вроде...

— Вертолеты, значит, летают?

— Летают. Куда им деваться?

Василий повертел в пальцах стакан и отодвинул.

— Ты, Тимофей, только не смейся. Может, оно и смешно, а ты не смейся. Тут дело вот какое... Вертолет мне охота изладить...

Тимофей отпил глоток, тоже отодвинул стакан, стал смотреть на гостя. Шутит, не шутит? Спросил:

— Это как?

— А так... Сделать себе вертолет. Маленький, конечно. На одного. Полетать над полем, над лесом. — Василий поднял ладонь и повел ее над головой, показывая, как бы он полетал.

Тимофей посмотрел на ладонь Василия, изрек уверенно:

— Он у тебя не полетит.

— Почему? — Василий опустил руку на стол. Думаешь, не смогу? У меня хоть грамотешки не шибко много, а глаз цепкий. Не хочу хвастать, но это не отнимешь. Вот, скажем, надо тебе раму сделать. Я на нее поглядел... — Василий повернулся к окну и стал изучать раму. — Я на нее поглядел, и уже все размеры у меня вот где, — стукнул указательным пальцем по лбу. — Хочешь на спор? Я тебе сейчас размеры на бумажке напишу, а потом смеряем рулеткой и проверим. Хочешь?

— Так это рама, — улыбнулся Тимофей безгубым ртом.

— Возьмем вертолет, — загорячился Василий. — Мне бы только вокруг него походить, заглянуть в кабину — и хорош. В точности сделаю. Я уж кое-какие журнальчики нашел про вертолеты. Теперь мне на живой поглядеть надо.

— Все равно не полетит, — упрямо качал головой Тимофей. — Даже если похожий будет. А вся загвоздка, что не фабричный. Потому и не полетит. Это, паря, вертолет... Не что-нибудь. Это тебе не раму изладить. Не управиться тебе.

— Управлюсь, — сказал Василий твердо и, подумав, еще раз повторил: — Управлюсь.

— А потом, я слыхал, будто нельзя самодельные-то изладить, — продолжал Тимофей, еле заметно улыбаясь. — Ты вот улетишь на ем в Америку, и поминай тебя как звали.

— Я? В Америку? — изумился Василий. — Чего я там забыл?

— Кто тебя знает. Сведения передашь.

— Какие сведения?

Тимофей прищурился:

— Не знаешь, какие сведения бывают?

— Зря ты так про меня, Тимофей, — загорюнился Василий. — У меня тут жена, пацан... В Америку... Сто лет она мне не нужна, твоя Америка.

Тимофей уже открыто улыбался шербатым ртом.

— Да я это так... Шуткую... — И, видя, что гость обиделся, перестал улыбаться, спросил сочувственно: — И давно это у тебя?

— Да нет. Недавно, — опутив глаза, сухова то отозвался Василий.

— Ты вот что, — наставительно сказал Тимофей, — купи билет да слетай в райцентр и назад. Протрясет тебя как следоват, зуд-то и собьешь.

Атясов помотал головой.

— Я пассажиром не хочу.

— Вот еще беда, — опечалился Тимофей и, помолчав, спросил: — Ты в столяры-то как пошел? Поди, отец заставил?

— Не заставлял он. Хворал сильно. А как полегче ему стало, подозвал меня. Тебе, говорит, дедов инструмент оставляю. Деда кормил, меня кормил и тебя прокормит. Вот и начал я помаленьку столярничать. Не пропадать же инструменту, да и матери помогать надо было. Я ведь самый старший...

— Отец худому не научит, — подхватил Тимофей. — Столяром без куска хлеба сроду не останешься. У тебя сколь в мастерской выходит?

— По-разному.

— Ну а в среднем?

— Где-то за двести.

Тимофей поднял негнувшийся палец.

— Во! Да еще калымишь. Разные там рамы, табуретки. Калым-то с сотнешку дает?

— Дает.

— Кормит, значит, дедов-то инструмент. Пацану его передашь, глядишь, и эта... как ее... династия будет. За это нынче хвалят.

— Пацану, говоришь, передать? — поднял глаза Василий.

— Но-о. Сыну своему.

— А если он не захочет? Вдруг у него какой другой талант откроется? — Василий несогласно покрутил головой. — Отец отцом, только каждый своим умом должен жить. Пацан, допустим, к машинам потянется, а я его — в столяры... Династия... — Василий криво усмехнулся.

— Оно, видишь, тут как... Ты вот родился, а отцово ремесло уже в тебе сидит. Вроде как... наследственность. Я в газетке читал.

— Наследственность, говоришь? А у летчиков от кого наследственность? — не поддался Василий на авторитет газетки. — Давно ли самолеты появились? Или

Гагарина возьми. Кто у него в космосе летал? Отец или, может, дед? Смеешься, Тимофей? Смейся: смешно. Наследственность... Нет, что ни говори, а я несогласный. Потянется Серега к другому делу, перечить ему не стану. Инструмент в печку брошу, гори он синим огнем, а жизнь пацану не испорчу.

— Зачем же в печку? — осудил Тимофей. — Старый инструмент кому хочешь сгодится. Лучше продать. Василий улыбнулся, остывая.

— Да я пока не собираюсь его бросать. Серега еще только в третий класс пойдет. Какие у него еще склонности. Кормить, одевать надо. Рано об этом думать.

— Выбросить в печку! — все еще сокрушался Тимофей. — Попробуй выбрось. Жена тебе так выбросит — бедный станешь.

— Это точно, — согласился Василий с удовольствием. — У нас и дом от дедова инструмента, и обстановка от него, и сыты, и одеты, слава богу, не хуже других. Все у нас на инструменте держится. Варя это очень даже понимает. Я как-то оставил рубанок в сырой стружке, так она меня же и отчитала. Соображает: лишняя тряпка — от рубанка. А одеваться она любит. Страсть прямо... Мне вот все равно, в чем я. Есть чистая рубаха, чистые штаны, сапоги без дыр — и ладно. А ей — нет. Увидит на базе кофту, особенно не нашу, сама не своя, пока не купит.

— Баба... У них, это в крови, — отозвался Тимофей. — И хуже нет, когда жена в торговле работает. С одной-то стороны, вроде бы и выгодно. Для дома достанет и то и другое. Себя-то торгаша завсегда обеспечивает. Это дело известное. А с другой стороны, товаров баба видит много, глаза и разбегаются. Не видала бы — лучше. А тут хоть умри, а купи. Денег не дашь — сразу мужик плохой, мало зарабатывает. Да разве на все ее красоты заработаешь? Я через это и разошелся со своей. И лучше. Никто не дергает. Ты, паря, укорачивай жену. Это-то в селе встренулась — не поздоровалась. Где ей, такой разодетой, с каким-то мужиком здороваться! От тряпок вся илняя гордость. Не давай ей воли. Я, мол, не миллионер какой. Мало ли чего на складе не лежит. Всего не купишь, другим оставь.

— А-а, пускай... — Василий махнул рукой и насухался. — Пусть одевается, раз у нее интерес такой. Мне вот другое надо, Тимофей. Накатилось, веришь — спасу

лет. Уж и снится стало, будто лечу над этим полем, над лесом. И так мне хорошо, так сладко — душа разрывается. Сроду со мной такого не было.

— Я про столярство-то почему спросил, — заговорил Тимофей. — Может, ты с детства в летчики метил?

— Нет, не метил. В армии насмотрелся разных самолетов-вертолетов — и ничего. Не тянуло к ним. А тут прямо болезнь какая-то.

— Че с тобой делать-то... — раздумчиво сказал Тимофей и долго смотрел на Василия молча, как бы соображая, чем можно столяру помочь. — Ну дак мастери, если уж так приперло. Пожарники прилетят, подпушу тебя к вертолету. Гляди, шут с тобой.

Василий повеселел.

— Вот за это спасибо. Я знал, что ты хороший человек, Тимофей, потому и пришел.

— Будет тебе, — поморщился Тимофей. — Хороший. Все мы хорошие, пока спим. А если будет туго насчет механики, то попроси помочь племянша моего, Мишку.

— Это который в гараже слесарем? — Мишку Василий немного знал. Маленький мужичонка, шустрый такой, глаза пронырливые. Слышал, закладывает он крепко.

— А что, Мишка слесарь хоть куда, — заговорил Тимофей, уловив в лице столяра нерешительность. — Он хоть и слабый на выпивку, а в моторах разбирается — я те дам.

— Можно и Мишку, — согласился Василий, понимая, что другого помощника ему, пожалуй, не найти. Помощник же очень даже ему потребуется. Сам Василий в моторах не силен. — Ты поговори с ним, Тимофей. Я ему заплачу.

Но Тимофей на его слова внимания не обратил. Замерев с приоткрытым ртом, он к чему-то прислушивался. Василий глянул в окно, куда уставился хозяин, и увидел, как поле перечеркнула тень вертолета, и уже после этого услышал рокот мотора, неожиданный и мощный.

— Вот они, пожарнички, — проговорил Тимофей, поднимаясь. — Ты посиди покамест в избе. Как летчики уйдут, я тебе рукой махну. А то они не любят, когда трется посторонние.

В окошко Василий видел, как двое летчиков, моло-

дые совсем, невысокие, похожие друг на друга, потому что одеты были в одинаковые белые рубашки с закатаанными рукавами, в темно-синих галстуках, и на головах у обоих форменные синие фуражки, поздоровались с Тимофеем за руку, весело что-то сказали ему, блестя зубами, и двинулись в село.

Когда Василий вышел из избы, Тимофей, словно часовая, прохаживался возле вертолета.

— Гляди сколь влезет, — милостиво разрешил он.

Вертолетик был маленький, но очень ладный. Василий измерил его длину от округлого носа до хвостового винта рулеткой, которая всегда лежала в кармане, и, сощурившись, пристально рассматривал лопасти основного винта. Потом подивился на крошечные, словно игрушечные колесики — пытался запомнить машину во всех подробностях. Заглянул он и сквозь стекло в кабину на ручки управления и многочисленные приборы, пытаясь определить их назначение.

— Тут без пол-литры не разберешься, — хохотнул Тимофей.

— Можно дверцу открыть? Поглядеть поближе, что и как? — робко попросил Василий.

Но Тимофей сразу же затвердел лицом.

— Глядеть гляди. А руки, паря, придержи. Нигде ими не касайся.

— Да я же не съем.

— Сказано — нельзя, — стоял на своем Тимофей. — А то рассерчаю и вовсе ничего не разрешу.

Василий бродил возле вертолета, запоминая размеры, опускался на колени, изучая машину снизу, рассматривая еще и еще спереди, с боков, до тех пор, пока не услышал молодой, строгий голос:

— Э-то что тут за комиссия?

Тимофей растерялся от неожиданного появления летчиков, виновато заговорил:

— Это не комиссия. Это наш столяр Атясов. Он вертолет себе хочет изладить. И только смотрит. А руками нигде не касался.

— Значит, не касался? — сурово спросил один из летчиков и, повернувшись к Василию, потребовал: — А ну, покажи руки!

Василий с готовностью протянул ладони.

Летчики расхохотались, похлопали столяра по плечу.



— Вертолет захотел? Ну даешь! А машину не желаешь? «Жигули», к примеру.

— Не желаю, — скромно ответил Василий.

Переглянулись не то с насмешкой, не то с одобрением.

— Толк знает мужик.

Потом один из летчиков отворил дверцу, сел в кресло и стал показывать, как он пилотирует. Тянул ручку на себя, одновременно шелкал другой и нажимал на педали.

— Ну, понял?

— Понял, — качнул головой Василий, стыдясь злоупотреблять вниманием серьезных и занятых людей.

— Тогда от винта!

Летчики уюстились на сиденьях, захлопнули дверцы. Сквозь стекло было видно, как они весело переговаривались, посматривая на стоящего в стороне Василия. И вдруг по-мотоциклетному затрещал мотор, лопасти винта сначала медленно, будто неуверенно крунулись и слились в сплошной сверкающий круг, подминая рыжую траву тугим ветром.

Вертолетик качнулся, его игрушечные колесики оторвались от земли. Машина невысоко зависла в воздухе, медленно поворачиваясь носом к лесу, и пошла вперед, поднимаясь все выше и выше. Поблескивая на солнце зелеными боками, она легко взмыла над синим лесом и, стрекоча, поплыла в поднебесье.

— Как стрекозка, — задумчиво проговорил Василий, не в силах оторвать глаз от неба, в котором уже ничего не было видно, только далеким эхом дрожал осенний воздух.

— Кончилось кино. Пошли, — тянул его за рукав Тимофей.

К ним из избы шел Мишка. Оказался легок на помине.

— Вы че это бутылку беспризорной оставляете? — спросил Мишка улыбочиво, поминутно сплевывая себе под ноги.

— Кто ее дома-то обидит? — хмыкнул Тимофей.

— Как кто? А я не человек? — радостно ухмылялся Мишка, маленький росточком, даже не верилось, что он родственник высокому и крупному Тимофею.

Узнав про желание Атясова, Мишка загорелся.

— Вертолет — это то, что надо! Когда в нашем

магазине выпить нету, взял и слетал в райцентр. Там-то завсегда. В общем, будь спок. Мотор я тебе сделаю. Это — мертво!

— Да у меня еще и мотора нет, — признался Василий.

— Как нет?

— Да так. Я о нем пока не думал. Надо искать где-то.

Мишка сплюнул, растер плевком носком стоптанного ботинка, на мгновение задумался и снова встрепенулся.

— Стоп, Вася! С тебя пузырек. Будет мотор. — И, оглядевшись вокруг, словно кто мог их подслушать, зашептал доверительно: — В загоптушнине разбитые аэросани есть. Ночью на сосну налетели по пьянке. Сани, понятно, угробили, а мотор — целый. Он ведь сзади, что ему сделается! Пропеллер, правда, — в шепки. Так можно новый выстругать.

— А отдадут они его? — усомнился Василий.

Мишку залихорадило:

— Отдадут-ут! Куда денутся! Главное — со Степановым, с ихним начальником, договориться. — Обнадежил: — Мы к нему вместе пойдем. Потому как с тобой он и разговаривать не захочет. А со мной ему — мертво. Я его как облупленного знаю. Он у меня знаешь где? — Мишка согнул крючком указательный палец, показывая, где у него Степанов. — Мы его сразу за жабры. Так, мол, и так: отдай мотор по дешевке и не грехи. А мотор — само то. Одно добро.

— Во че делат! — восхитился Тимофей, глядя на своего шустрого племянника. — На живом месте дыру вертит. Кабы не пил, большим бы человеком стал. Может, даже завгаром.

## 2

В просторном деревянном доме, куда Мишка привел Василия, сидела за канцелярским столом девица, перекидывала костяшки на счетах. Стены были увешаны плакатами с заглавными словами: «Охотник, знай!» и «Охотник, помни!» Вдоль стен стояли тяжелые скамейки, известка над ними дочерна вытерта спинами.

Мишка дурашливо облапал девицу сзади.

— Здоровы были!

Девица презрительно повела на него длинными ресницами, на которых дрожали кусочки туши, высвобо-



дилась из его рук и равнодушно принялась за свое дело.

— Начальство у себя?

Она не ответила, да Мишка как будто и не ждал ответа. Подмигнув Василию, дескать, все в порядке, потащил к другой комнате, дверь, в которую была обита черным дерматином, как у всякого уважающего себя начальства.

Степанова, оказалось, Василий немного знал, иногда с ним встречался на улице, но не здоровался — не был знаком. И поэтому ему сейчас было неловко. Степанов мужик в годах, лысый начисто, а брови каким-то чудом сохранил густые и до того пышные, что они казались чужими на его лице. Он подал Василию руку, кивнул на стул. На Мишку начальник загопушнина даже не взглянул и сесть не предложил. Тот сам уселся.

— Такое дело, — начал Василий без обиняков. — У вас, говорят, ненужный мотор есть. От аэросаней. Я бы его купил.

— Кто говорит? — спросил Степанов, косясь на Мишку.

— Да есть такие...

Глаза у Степанова цепкие, со смоляным блеском, очень зоркие, человека, кажется, насквозь видят и дальше. Мишку он остро кольнул из-под сведенных бровей, и тот беспокойно заерзал.

— Ненужного мы не держим, — проговорил Степанов назидательно. — У нас все только нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал.

— А сани-то! — не вытерпел Мишка. — Которые в складе. На них сто лет никто не ездит!

— Отремонтруем и будем ездить.

— Да че там ремонтировать! Дешевше новые...

— А ты не суйся в чужие дела, — обрезал его Степанов. — Что с саними делать — уж как-нибудь сами разберемся. Без твоей помощи. Понятно?

Василий поднялся, проклиная в душе непутевого Мишку.

— Ну нет, так нет. Извините, если что...

— Ничего, ничего... — вежливо подхватил Степанов и тоже поднялся со своего стула, прислонился к оконному косяку. Смотрел на Василия безо всякого недовольства. Можно сказать, с интересом смотрел. Даже приветливая улыбка проступила на его лице.

— А зачем вам, если не секрет, этот мотор? — спросил он мягко. — Вы ведь, кажется, столяр, а не промысловик. Это охотникам сани нужны. А вам?

Василий как-то и не подумал раньше, что его могут об этом спросить. Замешкался с ответом, и тут встрял Мишка:

— Ему на глассер надо. По речке плавать.

Атясов густо покраснел. Речка по селу протекала каменная, мелкая. Курца вброд перейдет. Какое по ней плаванье! Со стыда готов был под пол провалиться.

Степанов озадаченно поднял брови, наморщил лоб, но в подробности плавания по речке на глассере вдаваться не стал. Какой-то устойчивый интерес сквозил в его лице.

— Сани у нас действительно есть, — заговорил он спокойно и доброжелательно. — Неисправные. Все никак отремонтировать не соберемся. Времени не хватает. То одно, то другое. Сейчас отлов сободей на носу. Для переселения. План большой, а клеток у нас мало — не дают. Вот если бы вы... — Степанов голосом подчеркнул эти слова. — Вот если бы вы подрядились сделать с полсотни клеток, выручили бы нас, тогда как-нибудь решили бы и с мотором. Продали бы вам его, хотя, честно сказать, промысловики давно на него зуб точат.

— Да сделает он вам клетки! — закричал Мишка. — Это ему как семечки. Сколь надо, столь и делает!

У Василия заломило в висках. От других столяров он слышал, что за клетку загопушнина платит по рублю, а это разве цена для серьезного человека? С клетками работа кропотливая, муторная, себе в убыток. То-то никто и не подряжается. Но это другие, они вертолет строить не собираются. А куда ему деваться? Такого мотора в селе больше ни у кого нет.

Василий согласился чуть не плача.

Степанов, боясь, как бы столяр не раздумал, приказал девице из приемной оформить договор с Атясовым. И та оформила. Василий расписался в двух бумажках. В одной — что обязуется сделать пятьдесят клеток, а в другой за то, что вносит эти деньги в кассу загопушнина за купленный мотор.

На улицу Василий вышел в большой растерянности, не зная: радоваться или огорчаться.

— Да че ты такой кислый, — горячо шептал Миш-

ка. — Я же говорил, все будет нормально. Видал, как мы Степанова прижали? Покрутился он у нас, как змей под вилами. — Помолчал/сплюнул под ноги. Осторожно поинтересовался: — Тебе колеса какие нужны? От мотороллера подойдут?

— Да вроде бы...

— Хочешь, сейчас достану? Пока настроение есть... Давай пятерку. Без этого, сам понимаешь...

Василий дал пять рублей и пошел прочь.

От природы Атясов был человек застенчивый, не любил надоедать людям, а тем более приставать с просьбами. Но тут, хочешь — не хочешь, пришлось ходить к знакомым и незнакомым людям, клянчить то одно, то другое. Противно, а иначе нельзя. Надо толстой и тонкой фанеры, надо клею хорошего, дюралевых уголков. Да мало ли еще чего надо! Легче сказать, чего не надо.

А через неделю снял с книжки триста рублей и днем, пока жена была на работе, привез домой мотор вместе со старым, расщепленным пропеллером на валу и спрятал в сарае под брезентом. Туда же затолкал лысые колеса от мотороллера, которые добыл ему Мишка.

Озабоченно присел возле приобретенного. Степанов мягко стелил, но деньги за мотор сорвал порядочные — триста рублей. Правда, Василий заплатил двести пятьдесят, остальные он должен отработать клетками, но это совсем не утешало. Недешево и колеса обошлись. В общем, от трехсот рублей ничего не осталось. Последние две десятки на бутылки разменял: тому надо поставить, другому, третьему. За нужные материалы. Нигде насухую не шло.

Но не столько денег было жаль Василию, как известно перед Варей. Что-то она скажет, когда узнает, что снял он деньги с книжки без спроса, тайком. Ведь сроду с ним такого не случалось. Зарплату всегда отдавал до копейки, приработок тоже отдавал, не прятывал, как другие, пятерку-десятку. Зачем прятывать? Он не пьет, не курит, а на столовую жена сама даст.

Вздыхнул Василий, мысленно повинился перед женой.

Познакомился он с ней в потребсоюзе, куда его послали подремонтировать окна и двери. Василий только что вернулся из армии, носил солдатское, был весел и

свеж лицом. И работал он споро и весело, изголодавшись по делу. В потребсоюзе сидели все больше молодые девки. Они, не скрываясь, таращились на Василия, заговаривали с ним. Здесь же, среди других, была и Варя. На столяра она игриво не поглядывала, но, даже опустив глаза на бумаги, чутьем видела каждое движение парня. Уж она-то раньше других угадала в нем много жизни.

Василий подогнал двери к косякам, отладил створки окон, а когда главный бухгалтер Ширяев попросил врезать новый замок в его стол, он и это сделал.

Когда Василий собрался уходить, Ширяев сказал:

— Проси, солдат, что хочешь. Надо — шапку тебе ондатровую организуем. Как номенклатурный товарищ в ней будешь.

— Солдатскую еще не износил, — отказался Василий.

— Может, костюм желаешь? На базе есть импортные.

— И с костюмом погожу. Надо сначала заработать.

— Ну тогда выбирай невесту. Любую отдадим бесплатно. — И сделал широкий жест в сторону зарумянившихся и притихших девок.

И Василий посмотрел на Варю.

Варя кожей почувствовала на себе его взгляд, такой осязаемый, словно бывший солдат поглаживал ее рукой. Она отчаянно покраснела и подняла на него серьезные раскосые глаза. Они у нее были такие обещающие, что столяр задохнулся от радостных предчувствий.

Вечером он дождался ее на улице, смело и просто подошел к ней, и она этому не удивилась.

Гулял Василий с Варей недолго. Когда упал снег и установилась санная дорога, сказал ей: «Чего нам время зря переводить на гулянье? Пока снег неглубокий, самая пора бревна подвезти. Давай-ка поженемся и начнем дом строить».

Деньги к тому времени у парня завелись, да и Варя оказалась девка не промах — загодя копила; в общем, строиться было на что. Домишко, оставшийся Василию от отца-матери, отживал свое. Родители Вари, понимая это, предложили молодым пожить пока у них, однако Варя наотрез отказалась. Нам, мол, пора свои углы отстраивать, свою домашность заводить. Как ни худа развалюха, да своя, мы в ней хозяева.

Тут и свадьбу сыграли. Теснота была в избешке. Не

только в пляске разгуляться — сесть негде. Но молодые не горевали, только посмеивались: «Не тужите, гости, приходите к нам летом — в хоромах примем».

Сказанные в веселый час слова оказались не пустыми. Сразу после свадьбы взял Василий в леспромхозе трактор с санями, привез бревен и досок, принялся размечать сруб. И не на какой-нибудь плохонький — сразу на пятистенок замахнулся.

Всю зиму готовил сруб, а по весне, когда земля подсохла, пришли товарищи по работе и помогли возвести стены и поднять крышу. Старая избенка оказалась внутри нового дома, который словно заглотил ее.

Сруб своим деревенским видом Варя не поглянулся, и она велела мужу облицевать стены на городской манер — узкой плашкой в елочку. Желание ее Василий исполнил: облицевал бревна плашкой, а саму плашку протравил марганцовкой и покрыл в несколько слоев бесцветным лаком, так что дом засверкал, как полированный. Под крышей он навесил кружевные карнизы, а на наличниках окон вырезал пузатых целующихся голубей. Высок и красив вышел дом. Казалось, на цыпочки привстал, чтобы отовсюду его было видно.

Как и обещали молодые, к середине лета справили новоселье.

Пришли гости и ахнули: не голые стены предстали их глазам. На леспромхозовскую ссуду Атясовы справили мебельный гарнитур, купили холодильник, стиральную машину и телевизор с большим экраном. Вот как: все одним махом!

Нет, не ошибся Василий, угадав в Варных глазах обещание близких радостей. Женой она оказалась куда с добром. И пылинки в комнатах соберет, и мужа обстирает, накормит, а вечером прижмется к его груди, и у того дыхание теснится, и голова тяжелеет от необъяснимой сладости. До чего же богатой оказалась его Варя, сколько черпает от нее радостей, а вычерпать не может, всегда она ими полна. И ни споров дома, ни ругани. О чем спорить, если Варя вся в заботах о доме, старается достать для семьи вещь, которую в магазине так просто не купишь, а Василий прирабатывает по вечерам. Живи да радуйся. Со ссудой рассчитались. Уже лишние деньги завелись, стали их на книжку откладывать — капитал сбивать.

Все хорошо было, что и говорить. А теперь вот он, Василий, снял тайком деньги, израсходовал их на этот мотор, на старые колеса, которым на свалке и место.

Раньше, идя с работы, любил Василий лишний раз глянуть на свой дом, на его высокую крышу и крепкие, под лаковой плашкой стены. Посмотрит на него Василий и почувствует себя прочным, защищенным этими стенами, куда, кажется, никакая беда не достучится. А теперь, подходя к калитке, Василий вздохнул и опустил глаза на дорожную пыль. Не смотрел на дом, будто стыдился его. Он и калитку отворил неуверенно, не похозяйски, а словно чужую, и на крыльцо поднялся тихонько, стараясь не греметь сапогами. Пошарил за косяком, где заведено у них было оставлять ключ, но пальцы нащупали между бревен лишь лохмотья сухого мха. Неужели Варя так рано пришла? С чего бы?

Василий, как был в спецовке, в сапогах, прошел в большую комнату и замер. Его жена в цветастых штанах и в такой же кофте стояла перед зеркалом шифоньера и улыбалась.

— Ну как? — спросила она, расправляя складки кофты под пояском. — Нравится? На полчаса выпросила — померить.

— Красиво, — осторожно сказал Василий и увидел на столе сберкнижку, которую Варя, судя по ее счастливому лицу и дружелюбному голосу, еще не раскрывала.

— Твою жену да модно одеть, знаешь бы какая была? — говорила она игриво, то одним, то другим боком поворачиваясь к зеркалу.

— Будто тебе нечего надеть. Полный шкаф платьев да кофт.

— Что ж, теперь до старости носить их прикажешь? Ты бы видел, что у нас сегодня делалось, когда товары привезли. Ужас, что творилось! То все плачут — денег нет, а тут сразу у всех деньги появились. Сбежались на склад — сами не свои. Даже уборщицы и те лезут, и те хватают... Ты, Вася, поднажми. К октябрьским обещали ковры подбросить. Нам бы в большую комнату и в спальню. Зайди к Ширяеву, он книжный стеллаж заказать хочет. Сделай ему, мужик нужный.

— Сделаю, — пообещал Василий, с тревогой наблюдая, как жена нетерпеливо поглядывает на часы.

— Ну, покупать? — спросила Варя.

— Покупай. Только куда ты в нем пойдешь?

— Куда угодно. В кино, например.

— Засмеют, — через силу сказал Василий.

— Ва-ся... Ты ужасно отсталый у меня. Да в городе женщины давно брючные костюмы носят, и получше этого.

— То в городе, — упрямылся Василий, понимая, что сейчас откроется его вина. — А здесь выйди — засмеют.

— Скажи уж, что денег жалко, — потускиела жена.

— Ничего мне не жалко. — Василий наморщил лоб, соображая, с чего бы начать неприятный разговор. Все равно будет по ее, так лучше пусть здесь, дома, узнает про деньги, а не в сберкассе на людях.

— Варь, я снял три сотни, — с натугой сказал он.

— Как снял? — живо обернулась она.

— Как снимают... Снял и снял. — Первая тяжесть прошла, и Василий даже поразился своему спокойному ответу.

— А где они, эти деньги? — спросила Варя настороженно.

— Отдал, — выдохнул Василий. — Я это... мотор купил. — И покраснел, потому что смешон был его ответ. По-детски смешон и нелеп.

— Какой мотор? Для чего?

— Варя, давай в другой раз. Ты же в сберкассе не успеешь.

— Да уж какая теперь сберкасса. Так для чего тебе мотор?

— Для вертолета.

Варя ошарашенно посмотрела на красное, будто спекшееся лицо мужа, потом, все еще не веря, взяла со стола сберкнижку, долго вчитывалась в нее, словно там могло быть написано, на что муж истратил деньги.

— Варь, да ты не переживай, — заговорил Василий. — Ведь не все истратил. Остались же. Да и еще заработаю. Ты меня знаешь.

— Знаю? — отозвалась Варя, с пристальным интересом рассматривая мужнино лицо, будто видела впервые. — Знаю... — невесело усмехнулась. — Это я рань-

ше думала, что знаю. А теперь... Да-а... Наконец-то и я дождалась от своего муженька. На работе женщины жалуются: у одной муж пьет, деньги сроду не отдает; у другой треплется или еще что; а я: нет, у меня Вася не такой. Мой Вася себе разве подобное позволит? Вот тебе и «мой Вася». Ухлопал деньги неизвестно на что, а жене ни звука, будто она в доме посторонний человек. Это надо же... Вертолет он захотел! В детство ударился!

Василий сначала изумленно молчал. Ему даже казалось, что эти слова говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. И голос неслыханный прежде, чужой, и слова чужие. Не стал больше ничего говорить, повернулся, молча ушел к себе в сарай. Опустился на чурку, задумался.

Конечно, он и раньше знал, что не обрадуется жена, когда узнает про деньги, но таких обидных слов не ожидал и растерялся. Кто спорит, что не виноват? Виноват. Но можно ли из-за денег так на человека? Думал, поругается Варя и тем дело кончится, а вышло вон как. Видно, и он Варю не очень-то знал.

Долго размышлял Василий, вздыхая и горестно покачивая головой, словно жалуясь невидимому собеседнику. Уже стемнело, но света он не зажигал. Зачем ему свет? Работать — все равно никакого настроения, хотя заказы ждут своей очереди. Да теперь еще с этими клетками связался, пропади они пропадом вместе с шапоутом Мишкой.

Уже, наверное, двенадцатый час ночи пошел, когда послышались шаги и скринула дверь. Василий даже головы на скрип не повернул, хотя и догадался, что это жена.

Варя постояла у порога, озлилась, что муж не обращает на нее внимания, щелкнула выключателем. Яркий свет большой лампы под потолком больно резанул глаза.

— Ты что — ночевать тут собрался? — спросила Варя насмешливо.

Он промолчал.

— Чего ужинать не пришел? Или сытый? Своим мотором?

Василий снова не ответил, и тогда Варя решительно вошла в сарай, отдернула брезент, с горькой усмешкой стала разглядывать мужнины приобретения.



— Ну так что будем делать? — спросила она скорбно.

Василий пожал плечами.

— Ничего себе... сам же виноват да на меня же смотреть не хочет. Он, видите ли, обиделся.

Василий поднял глаза и увидел, что жена стоит перед ним в своем обычном платье, в котором она ему родна и привычна. И ему подумалось, что, не надень Варя на себя тот пестрый костюм, даже по виду чужой и странный, никакой ссоры бы не получилось. Что в тех штанах Варя была не сама собой и говорила ему не свои слова, а те, что пришли к ней вместе с костюмом, и ему стало легче от знакомого ее вида, и обида понемногу улеглась.

— Варя, — хриловато от долгого молчания проговорил Василий, — ты скажи: привередливый я мужик или нет?

— В каком смысле? — осторожно поинтересовалась Варя. Не такая она была простушка, чтобы сразу ляпнуть «да» или «нет».

— Вообще. К еде, я скажем, придираюсь? К примеру, ты что-нибудь сваришь, а я нос ворочу. Копаюсь, в общем. А? Скажи?

— К чему ты это говоришь?

— Интересно мне, какой я со стороны. Трудно тебе со мной или нет? Придираюсь я к тебе когда? — Варя промолчала, насторожилась, и тогда он ответил сам: — Нет, вроде бы я не зануда. Сроду ты от меня худого слова не слышала. Хорошо мне, плохо ли — не жалею. Привычки такой не имею. Или взять тряпки. Рубашек, разного барахла прошу когда?

— У тебя что, носить нечего?

— Не в этом дело. Просто я обхожусь тем, что есть, и никогда для себя ничего не требую.

— А-а, — поняла по-своему жена. — Костюм я хотела купить. Запереживал... Как же: лишняя тряпка у меня будет. А ты, оказывается, скряга. Не знала...

— Опять ты не поняла, — подосадовал Василий. — Покупай ради бога все, что пожелаешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу тебя первый раз в жизни для себя. Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. Ну, истратил я деньги. Так я их втрое больше потом заработаю. Душа просит эту штуку сделать. Не мешай. Иначе я не человек буду.

— Вертолетик тебе не мешать строить?

— Да, — качнул головой Василий.

— Нет уж, милый, — жестко сказала Варя, — не смейся-ка людей. Ты пока что в семье живешь, так будь добр считайся с семьей. Когда будешь жить один, тогда делай что хочешь. Никто тебе ничего не скажет. А эти железки, — показала рукой на брезент, — завтра же увези туда, где взял. Не увезешь — сама повыкидываю. Так и знай.

После этого она ушла, хлопнув дверью.

Василий посидел еще немного и тоже поднялся.

В кухне, несмотря на поздний час, горел свет, и на столе был налажен ужин, но есть Василию не хотелось. Разделся, умылся и осторожно полез в постель.

Варя не спала. Это он понял по ее дыханию. Нашарил в темноте ее теплое плечо, и это тепло его обнадежило. В сарае разговора с женой не получилось, так, может, здесь, когда они близко друг от друга, Варя выслушает его, не поторопится сказать холодное слово и постарается понять его душу, в которой творилось самому неизвестное.

— Варь... — мягко позвал Василий. — Давай поговорим.

— Разговаривать будем, когда свои железки увезешь. Тогда и лезь. Понял?

— Ну почему ты такая? Я же по-хорошему... — Он хотел обнять жену, приласкать, как раньше, когда у них все было ладно, но Варя не приняла его, в сердцах отдернула плечо и повернулась к стене, холодная и чужая.

Удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем короткий срок. Еще какой-то месяц назад Василий жил размеренно и спокойно. В семь часов утра он вставал без будильника, от привычного внутреннего толчка, находил в кухне еду, завтракал и шел в мастерскую леспромхоза. Начиналась смена, и он пилил, строгал, тесал — делал то, что должен был делать. Ни суеты, ни торопливости в себе не знал. Зачем и куда торопиться, если руки движутся как бы сами собой, и к концу смены обязательно выполняют положенное.

Придя с работы, ужинал, около часа дремал на диване и отправлялся в свой хорошо оборудованный са-



рай, где работал еще часа четыре, выполняя заказы сельчан. Жизнь катилась ровно и уверенно, не докучая особыми заботами, и казалось, всегда так будет.

А теперь все сбилось с привычного хода, будто пружина соскочила с держателя и стрелки часов рванули быстрее по своему кругу, чем надо. На работе Василий уже думал, как бы поскорее попасть в сарай, и заранее прикидывал, что успеет сегодня сделать. Вернувшись со смены домой, больше не разлеживался на диване, а, наскоро перекусив чем придется, бежал в сарай. Отпирал большой висячий замок, повешенный после угроз жены все повыкидывать, и лихорадочно принимался за дело. Выкраивал по самодельным чертежам шпангоуты фюзеляжа, заготавливал бруски для лопастей винта и другие детали, чтобы потом из фанерных, металлических, пластмассовых частей собрать воедино то, из-за чего переначилась его прежняя, без тревог, жизнь.

Полозже приходил Мишка, предварительно проследивший, нет ли поблизости Вари, которая могла его турнуть со двора. Мишка крадучись шмыгал в сарай, запертый на крючок и распахивал крышку потрепанной балетки с инструментами. Боевито звеня ключами, запускал руки во внутренности мотора, что-то перебирал, чистил, смазывал. Однако надолго его не хватало. Скоро Мишка, сплевывая на пол, что раздражало чисто-плотного Василия, отступал от мотора, скромно ухмыляясь:

— Плесни че-нибудь, а то здоровья нету.

— У тебя каждый день здоровья нету, — с тихой злостью говорил Василий. Он уже привык к ежевечернему Мишкиному вымогательству и заранее припасал выпивку. Наливал слесарю полстакана, и тот, успокоившись на время, продолжал копаться в моторе. Потом присаживался перекурить и собирался домой.

Василий его не удерживал. Сам он оставался в сарае далеко за полночь, удивляясь своему двужилню. Раньше в десять вечера уже ныли спина и руки, а теперь будто за порогом сарая оставлял свою усталость. И работал, работал, словно боялся, что не дадут закончить задуманное.

Жена к нему в сарай больше не заходила и ужинать не звала, и он приспособился ужинать в столовой. Иногда она оставалась ночевать у матери, и Сережку домой не приводила. Специально, как догадывался Василий.

Его позлить. А когда была дома, то с Василием не разговаривала, а при нужде объяснялась знаками, как с глухонемым.

Однажды Василий не вытерпел, спросил:

— Сережку-то насовсем отдала, что ли?

И тут жену прорвало. Она будто давно дожидалась этого вопроса, и ответ у нее был под рукой.

— А ты неужели соскучился? Совсем не похоже, что соскучился. По-моему, ни я, ни сын тебе давно не нужны. Люди уж смеются над тобой, как над дурачком. Ни стыда ни совести у мужика.

Василий замолчал, жалея, что затеял разговор, но Варя молчать не хотелось. Намолчалась, много у нее слов накопилось.

— Вертолетик! Смех один! Ты бы лучше уж мотоцикл собрал, раз делать больше нечего. Все бы польза семье была. Вон Ширяевы каждую осень ездят в тайгу на мотоцикле. Кадушку груздей засолили, да бочку брусники замочили... А сколько сухих грибов в потребсоюз сдали! Заработали люди. А он — вертолетик. Только о себе и думает. Эгоист. Да еще сына вспомнил. Как же, нужен ему сын!

Слушал злой, срывающийся голос жены, а тут нежстата пришла девка от Степанова из заготпушнинны узнавать про клетки и начала разговор почему-то не с Василием, а с Варей. Степанов грозил пожаловаться на Агасова в леспромхоз, если через неделю не сделает все, что обязан по договору.

Василий, чтобы отвязаться, пообещал, и едва девка ушла, побрел из дому прочь, чтобы в сарае, в тишине и покое, прийти в себя.

Работа тем не менее у него продвигалась споро. Где-то надо было уже собирать вертолет. Делать это у себя во дворе он не решался по многим причинам. Опасался, Варя и в самом деле что-нибудь сломает или выбросит, да и трудно будет катить аппарат к полю через всю деревню. Народ сбежится от стара до мала. Наслушается насмешек.

На другой день пошел к Тимофею проситься под извес. Тот долго кряхтел. Побавался: заругают авиаторы. Но потом согласился и даже коня дал — перевезти детали. В ту же ночь Василий все перевез к Тимофею.

Варя глядела с крыльца, как муж грузился.

стье, а выходит, оно не для меня. Слишком поздно пришло. — Иван проглотил горький комок и тяжело вздохнул.

Сменщик тоже вздохнул, глядел на Ивана с состраданием, как на больного. Глаза у него были такие всезнающие, и такая в них сквозила безнадежность, что у Ивана холодок прошел под телогрейкой.

— Сказать, чем кончится? — спросил сменщик и едва заметно усмехнулся в пространство.

— Чем? — спросил Иван дрогнувшим вдруг голосом и весь напрягся в ожидании. Будто приговора ждал.

— А ничем.

— Как это ничем? — Слова сменщика огорошили Ивана.

— А так... Ничем и все. Как было, так по-старому и останется. Жизнь — она посильнее нас с тобой. Не таким рога сламывала. Развяжешься ты со своей занойбой, помучаешься-помучаешься по первости, а потом успокоишься да и будешь пахать зябь.

— Ну спасибо. Утешил, — отозвался Иван. И хотя невесело было, а усмехнулся.

— А ты что хотел? Другое услышать? — удивленно спросил сменщик. — Я говорю не как тебе хочется, а как будет. Как в жизни будет, — уточнил он. — Вспомнишь меня потом.

Иван затоптал окурки.

— Легко тебе жить. Все-то ты наперед знаешь. Передом умен.

Сменщик — словно не слышал. Молча достал из кармана сыромятный ремешок, сосредоточенно намотал его на вал пускача и обернулся:

— Не ты первый, не ты последний. Время все перепашет. Как этот трактор, — и рванул ремешок, отчего пускач по-мотоциклетному затрещал, окутываясь синим дымом.

«Облегчил душу, называется, — досадовал Иван по дороге к дому. — Растреплется мужикам — насмехаться начнут». Настроение у него совсем испортилось. Лучше бы уж и не рассказывал ничего.

Жил Иван на краю деревни. Не старый еще был у него дом, всего семь лет, как вселился с женой, а уж потускнели бревна от дождей и ветров, краска на кровле облезла. От этого дом казался серым и каким-то беспризорным. Оторванный лист железа свисал с карниза.

Три недели назад оторвало его ветром. По ночам он гулко хлопает по крыше, словно будит хозяина, напоминает о себе, а у того руки не доходят залезть и прибить. Ключья черного, пересохшего мха торчат между бревен — повылазили. Самое бы время перед зимой подконопатить стены паклей, чтобы в холода не продувало, да глаза у хозяина до сих пор как незрячие были к дому, ничего не замечали. Сейчас только он посмотрел пристально и увидел свой дом прохудившимся, неухоженным и сиротливым, словно это вдовый дом, в котором нет мужика. И совестно стало перед домом, перед семьей и чужими людьми.

Сыновья сидели дома, готовили уроки. Подняли глаза на вошедшего отца и снова уткнули носы в книги, как будто не отец пришел, а чужой дядька.

Иван не выказал обиды, осознавая: не имеет права. Привык к отчужденным взглядам сыновей. Он и сам себе иногда казался постояльцем в родном доме. Заходил в комнату тихо, ступал по половицам нетвердо, с осторожностью, как в гостях. Молча умылся и стал переодеваться в чистое.

— Есть будешь? — спросил старший ровным, без живинки и выражения голосом, не поднимая головы и явно не ожидая никакого ответа. Мое, мол, дело спросить, а там как хочешь.

— Не буду, — хриловато ответил Иван. Он хотя и отработал смену, а есть не хотел. Ничего в горло не лезло. Потерянно топтался среди комнаты. — Как жить?

Сыновья, ни один, ни другой, не ответили. Словно в рот воды набрали. С показной старательностью углубались в учебники. Прилежание — куда с добром. Всегда бы так, а то Иван знал, что ни пятиклассника Ваську, ни третьеклассника Мишку учителя не больно-то хвалят. Совсем избегались, за стол не усадишь. Если бы мать не болела, носились бы по улицам.

«Ну постойте, я за вас еще возьмусь», — подумал Иван, и ему даже полетчало от этой мысли. Он прочнее, по-хозяйски увереннее почувствовал себя здесь, посреди комнаты, возле сыновей, и к жене в спальню пошел решительно, понимая, что и Мария должна заметить в нем перемену в настроении.

Жена лежала с открытыми глазами, наверно прислушивалась к голосам в соседней комнате. Увидела Ивана,

— Может, тебе и чемодан сразу собрать? Чтобы больше тебя не видеть? Чтобы хоть надо мной-то не смеялись?

Василий уехал молча и ночевать остался у Тимофея.

Варя тоже ушла к матери. Что ей одной в пустом доме делать? Сиротливый, затаявшийся стоял дом, впервые опустевший на ночь за все годы. Жутковато было глядеть на его светящиеся под луной стены и темные провалы окон.

Вечером, идя с работы, Варя гадала: дома муж или нет? Пошарила в стене — ключ оказался на месте, и у нее кольнуло под сердцем. Не стада отпирать замок, пошла к матери за Сережкой. Все не одной сидеть. И когда уже с сыном подходила к крыльцу, ее через забор окликнула Федоровна.

Соседку Варя не любила и даже втайне побаивалась. Еще когда дом строили, она все беспокоилась: слишком уж часто и непонятно глазела старуха через забор к ним на усадьбу. Заберется с вилами на сарай, будто овечкам сена скинуть, а сама обопрется на вилы и смотрит, как Василий на крыше доски приколачивает. И черный трехлапый кобель вскочит на крышу следом за хозяйкой и тоже уставится в соседний двор, будто без него она там не все высмотрит.

Не раз Варя вздрагивала от нехорошего предчувствия, злилась на Федоровну, не раз собиралась высказать ей, что надо, да не могла никак решиться.

И Василий посмеивался над страхами жены:

— Пускай себе смотрит. Тебе-то что? Или боишься — отобьет меня? Так она вон какая старая.

— Кто ее знает, ворожею. Не нравится мне это, на душе тревожно. Сглазит еще, — отвечала Варя, и, наверное, у нее все-таки было отчего беспокоиться. Вся жизнь Атясовых проходила под неусыпным старухиным взглядом. Стронтельство дома соседка видела во всех подробностях. Новую мебель везли с базы — и ее старуха не прозевала. Купили холодильник — и на него смотрела Федоровна из-за забора. Сережку из роддома и того не проворонила, проводила в дом цепким своим взглядом. Варе к крыльцу пришлось двигаться боком, загораясь собою младенца от бабки. Боялась, как бы та не сглазила.

«Завидует... А мы разве виноваты, что у нас жизнь

хорошо складывается?» — думала Варя, но всякий раз, когда везли дөмой что-нибудь новое, ей было стыдно перед соседкой, будто этой вещью, предназначенной для кого-то другого, они завладели обманом. Старухина завалюха казалась ей нарочно тут под боком поставленной, чтобы подчеркнуть, как несчастны одни и удачливы другие. Для Вари это было тягостно.

И вот снова Федоровна тарачилась в ее двор.

— Варя, ты дрожжамн не богата?

Еще за одно не любила Варя старуху. За ее голос. Голос у нее на удивление свежий, девичий прямо. Услышишь такой голос, обернешься и не сразу поверишь, что исходит он из сморщенной старухи, опершейся на суковатую палку.

Варя так и замерла от неожиданности. Сроду она с соседкой словом не перекинулась, при встрече старалась обежать ее подальше, и вот на тебе: дрожжей просит. Дрожжи ей, видите ли, понадобились. Но тотчас ворохнулась тайная надежда: все-таки бабка — ворожея. Вдруг да что присоветует. Надо бы пригласить ее в комнату. Ничего уж теперь она не сглазит у Атясовых. Теперь и сглазить-то нечего. Все идет прахом.

— Есть дрожжи, есть! — как можно приветливее откликнулась Варя. — Ты заходи, Федоровна, в дом-то!

Старуха вошла и зорко оглядывалась, узнавая вещи. Варя усадила ее на мягкий стул, принесла непочатый брикет дрожжей, подала.

— Весь кусок отдаешь ли, че ли?

— Бери, Федоровна, у меня еще есть, — сказала Варя и, присев рядом на стул, вздохнула.

— Че вздыхаешь-то? — живо спросила старуха, будто дожидалась этого вдоха.

Варя безнадежно махнула рукой.

Старуха еще спросила:

— Сам-то где? На работе ли, че ли?

«А ты будто не знаешь», — подумала Варя, а вслух сказала жалобливо:

— Какая там к черту работа. Совестно сказать. У Тимофея он. Вертолетик строит... — И еще вздохнула. — Прямо беда какая-то. Уж лучше бы запил. С пьяницей еще можно сладить. Пошла бы к директору: так, мол, и так — образумьте. Его бы на собрании пробрали как следует, и был бы как миленький. А тут куда пойдешь? Не станешь же жаловаться в леспромхоз, что му-

жик вертолет строит. Что ему сделают? Он не пьет, не нарушает ничего. Надо мной же и посмеются. А сколько денег извел на эту затею — страшно сказать. Уж лучше бы пропил те деньги, не так бы обидно было. Ну пропил и пропил. С кем не бывает. Да и мало ли чего пропивают. Так ведь занятие себе выдумал — глупость сплошная. Как ненормальный стал. Никого не видит, ничего не слышит. Молчит и молчит, как идол. Откуда на него такая напасть нашла? Ума не дам. Смирный был мужик, слова поперек не скажет, и — вот тебе. Чего ему не хватало?

— Это оттого, что жить шибко хорошо стали, — проговорила Федоровна своим певучим девичьим голосом. — Всего навалом в избе: и пить, и есть, и одежи. Телевизоры разные... Избаловались люди, маются с жиру. Не знают, какую им еще холеру надо.

— Да при чем тут телевизоры? — перебила Варя неуверенно.

— А при том... Раньше-то, когда жрать нечего было, глупостями не занимались люди. На кусок хлеба зарабатывали.

Варя спорить не стала. Попросила тихо:

— Ты бы, Федоровна, раскинула фасоль-то.

Старуха испуганно отмахнулась.

— Ну ее к лешему. Меня за ее вызывали.

— Да я кому скажу? Не дура. Ведь надо мной же и смеяться будут, если узнают, что гадала.

— Ну ладно. Жалко мне тебя, девка. Согрешу уж разок.

Старуха сходилась домой, принесла темный засаленный мешочек. Высыпала из него на стол пестрые фасолины, стала разбивать их на равные кучки, что-то нащепывая про себя.

Сережка, до этого примолкший с книжкой в своем углу, вытарашил глазенки, и Варя, спохватившись, вы проводила его погулять.

Старуха, разложив фасоль, сказала вдруг:

— Знаю, милая, какая на него напасть нашла.

Варя так вся и сжалась.

— Какая?

— На него тень стрекозы упала.

Варя и рот раскрыла, испуганно глядя на старуху. Жалела уже, что и позвала ее сюда.

— Будет тебе, Федоровна, пугать-то, — проговорила

она с дрожью в голосе. — Какая еще тень? Чего соби- рашь-то?

— А такая. С крылышками. От стрекозки тень. Нет, милая, видно, не ты первая, не ты последняя. Никуда не денешься. У каждого мужика есть какая-нибудь от- душина. Либо выпивает, либо за бабами ухлестывает. А то — как твой. Строит какую-нибудь холеру. Зря себя и семью изводит.

— Вон ты про что, — немного успокоилась Варя. — Говорят, у Василия и отец был немного не в себе. Он ведь тоже пить не пил, а заберется на крышу и песни горланит на всю деревню. Может, от отца ему переда- лось?

— Чего не знаю, того не скажу, — замялась стару- ха. — Обыкновенный вроде у него отец был. Ты вот что, девка. Если уберу с мужика эту самую тень, чем отбла- годаришь?

— Вы сами скажите, сколько надо.

— Я деньгами не хочу, — помотала Федоровна го- ловой.

— Могу что-нибудь из одежды дать.

— Одежда у тебя больно модная. Не по старухе.

— Ну тогда не знаю. Скажите сами.

— Обещай, что Василий мне гроб сделает.

— Да ты что, Федоровна! — обомлела Варя. — Ка- кой еще гроб? Ты ведь живая. Как можно!

— Ноне живая, а завтра нет. Ты пообещай.

— Так сделает, чего же не сделать. Соседи ведь.

— Уж пусть сделает. Мне в его гробу хорошо будет. Рука у него легкая, ласковая. На Митьку моего шибко он похожий. Такой же рукастый. Только давно-о нету Митьки. Все из моего рода ушли, а я мыкаюсь по свету. Ты уж попроси Василия-то, пускай постарается. Я вас оттуда потом благословлю.

Скоро Федоровна ушла, а обшаренная Варя как сидела на стуле, так и осталась сидеть в оцепенении. Ни рукой, ни ногой двинуть не может. Всю ужас спеленал.

И тут Василий с Сережкой заходят.

— Папка, они гадали, — рассказывал отцу Сереж- ка. — Меня прогнали, а сами на фасоли гадали. С баб- кой Рыбкой.

— Разве так можно на старушку? — сказал ему Ва- силий. — Какая она тебе Рыбка? Надо говорить Федо- ровна.



— А все так говорят.

— Пусть говорят. А ты не говори: неприлично.

Варя даже не поднялась навстречу.

— Если не выбросишь дурь из головы, уйду к маме насовсем. Заберу Сережку и уйду. Живи один, раз семья надоела, — говорила Варя сквозь слезы, и лицо у нее стало красное, некрасивое.

— Давай, давай... — потерянно повторял Василий. — Иди к маме. Она пожалеет. — Ему было все равно.

Потом они молчали, и снова сиротливо было в доме, даже еще сиротливее, чем в тот раз, когда они все ушли из дома. Тогда хоть ушли, а тут семья в сборе, а кажется, что дома пусто, ни души. И даже стены, кажется, и те глядели на молчащего, отчужденного хозяина с немой укоризной.

5

Василий проснулся и некоторое время лежал без движения, глядя в темный потолок и соображая, который идет час. Прислушавшись к дыханию жены, которая спала теперь отдельно, он осторожно поднял голову и разглядел за занавесками слабый утренний свет утра. «Поздно уже светает», — подумал он.

На столе четко тикал будильник. Сегодня он не зазвонит чуть свет. Хозяевам некуда собираться — суббота. Потому и поднимался Василий с раскладушки тихо, стараясь не скрипнуть, иначе Варя может проснуться и спросить, куда это он в такую рань. И вообще куда не отпустит.

На дворе было сумрачно и зябко. Наверное, уже лужи подморозило. Небо же было чистое, звездное, и он порадовался, что хоть с погодой повезло. Спал в эту ночь Василий плохо, видел обрывки странных снов, которые не запомнились. От них оставался лишь тягостный осадок в памяти. Очень его беспокоила и погода. То ему чудилось, что на улице поливает дождь, и он даже явственно слышал шум дождя, то казалось, что небо сплошь обложено тяжелыми, до земли тучами, и эту тяжесть он ощущал всем телом.

А на самом деле все было лучше, чем он ожидал. День обещался сильный и звонкий, хороший осенний день.

Тимофей долго не отпирал. Потом в темной комнате

обозначилось движение. Скрипнули половицы, шелкнул в сенях откинутый крючок, и на пороге, в исподнем, появился заспанный хозяин. Позевывая, он впустил раннего гостя, включил свет.

— Ты чего так рано? Ни лешего еще не видать.

— Самое время. Пока соберемся, пока что. Мишка обещался прийти.

— На что он тебе?

— Понимаешь, болты на лопастях малость жидковаты. Я попросил его новые нарезать.

Тимофей неопределенно хмыкнул, но ничего не сказал. Спросил:

— Ты, верно, не евши? Чаю согреть? Пошвыркам.

Василий отказался:

— Мне сейчас ничего в горло не полезет.

— Боязно?

— Как тебе сказать, — замялся Василий. — Мало ли что может...

— Но дак не лети. А то еще гробанешься.

— Не накаркай.

За окном уже порядком развиднелось, и Василий забеспокоился.

— Давай, Тимофей, выкатим машину на поле. Уж лучше там его подожду, а то гляди — светло как.

Под навесом в сумраке едва угадывались контуры вертолета. Василий взялся за стойку колеса, уперся лбом. Творение его оказалось нетяжелым, к калитке выкатили вполсилы. Там остановились — мешал забор. Раньше об этом не подумали.

— Разберем забор, — предложил Василий.

Тимофей молча принес гвоздодер. Забор разобрали, доски оттащили в стороны, расчистили путь. Снова покатали вертолет.

— Постой, — вспомнил Василий. — Ты бензину обещал авиационного.

— Беда с тобой. — Тимофей помялся, принес канистру, предупредил: — В случае чего не говори, что я дал. У охотников, мол, взял. Им дают для пушинны — обезжиривать.

Наконец машину выкатили на облюбованное Василием место.

— Ну где Мишка-то? — переживал Василий. — Ведь договорились по-людски. Я ему полста рублей дал за работу.



— Вот это зря, — покрутил головой Тимофей. — Надо было потом, когда все сделает.

— Он иначе не соглашался.

— А теперь жди его. Мишка есть Мишка... И еще такое дело. У него вчера дома шум был. Че-то Федорова к ним приходила. Наверно, рассказала его бабе, та и взяла в оборот. У него баба — гром. Не придет он, зря ждешь.

Василий сплюнул с досады и, отойдя от машины, стал рассматривать ее со стороны отстраненным, оценивающим взглядом. Дымное солнце, краешком высунувшееся из-за темной стены леса, осветило зеленый бок вертолета. Оттенило, как ребра, переборки из-под крашеной материи. Засияло оргстекло кабины. По лакированным сосновым лопастям скользнули быстрые блики. Вспыхнула красная звездочка на фюзеляже.

— Пошто звезду-то нарисовал? — спросил Тимофей. — Звезды только на военных бывают. А у тебя личный. Не положено.

— А пусть светит, — смущенно улыбнулся Василий. — Со звездочкой как-то веселее.

— Ты че же, полетишь? — спросил Тимофей, заметив, как напряжился Василий, как поострожел лицом. — А болты?

— Может, старые выдержат. Назад мне пути нету.

Василий еще раз оглядел свою машину всю сразу, надеясь увидеть в ней ту силу, которая оторвет его от земли. Прерывисто перевел дух и, решившись, полез в кабину. Умогнулся на фанерном сиденье, закрыл дверцу приспособленным для этого оконным шпингалетом. Кажется, все нормально. Махнул рукой Тимофею: давай!

Тимофей поднял заводилку, заранее сделанную столяр, — палку с ремешком петлей на конце. Зацепил петлей за лопасть, нерешительно уставился на Василия.

— Дергай! — крикнул тот.

— В какую сторону? — не понимал Тимофей.

— По часовой стрелке!

Тимофей медлил, застыв в полусогнутой, нелепой позе, — соображал, как идет стрелка на часах.

— По солнышку! По солнышку! — подсказал Василий.

— Так бы сразу и сказал, — проворчал Тимофей, принаравливаясь к рывку. Он дернул петлею лопасть с

такой силой, что Василий в кабине забоялся, как бы она не оторвалась.

Мотор не взялся.

— Не пойдет без Мишки, — сказал Тимофей.

— Пойдет, никуда не денется! Ты дергай, Тимофей, дергай!

Мотор стрельнул раз, другой и вдруг гулко затрещал, со свистом раскручивая лопасти.

Тимофей, пригнувшись и прикрывая голову руками, отскочил в сторону, а у Василия враз пересохло горло. Потной ладонью он ухватился за ручку газа, осторожно сбрасывая обороты. Руки дрожали и были как чужие — может, от волнения, а может, от тряски. Тряска же на самом деле была сумасшедшая. Дрожало и фанерное сиденье, на которое он не догадался приспособить хотя бы кусок поролона для мягкости, дрожали и позванивали тонкие, обтянутые материей стенки, и стекла кабины, и все на свете.

Василий отрегулировал мотор на малых оборотах и теперь привыкал к новому своему состоянию, ощущая вибрацию всем телом, слыша грохот двигателя и свист рассекаемого винтом воздуха над головой. Он видел над собою мельтешение слившихся в сверкающий круг лопастей, видел, как стелется на земле сухая трава. Желтое облачко пыли висело в воздухе, и от этого стекла кабины кбзались мутноватыми.

— Ну... — проговорил Василий сухими губами и перевел дух.

Раньше, еще когда он только мечтал стронть вертолет, ему думалось, что полетит он на нем легко и просто, что машина будет послушна его желаниям, повернет туда, куда он захочет. Но вот машина обрела реальную плоть, и Василий понял: дело обстоит гораздо сложнее, чем предполагал. За спиной — громоздкий мотор, который может не только поднять его над землей, но и ударить о землю. И Василий загодя тренировался: садился в кабину, работал ручками. Но тогда машина была тиха и послушна, а сейчас она ожила. Сквозь грохот и дрожание Василию вдруг подумалось, что Тимофею он видит, возможно, в последний раз. Но он тотчас же отогнал от себя расслабляющую мысль.

Будто чужой рукой потянул столяр на себя ручку газа, замирая от нарастающего грохота мотора и свиста воздуха над головой, пугаясь жуткой тряски, от кото-

рой, казалось, вот-вот рассыплется, не успев взлететь, его легкая машина.

Грохот все нарастал и нарастал, забивал уши, и вдруг Василий почувствовал, как вертолет легонько качнуло с боку на бок. Он еще крепче вцепился в ручки, инстинктивно глянул в окно на Тимофея. Но Тимофей он увидел не так, как раньше. Тот будто стал ниже ростом. Василий видел его запрокинутое вверх лицо, скалящееся шербатым ртом.

«Лечу!» — обожгло его.

Сколько ждал Василий этого мгновения, сколько перемучился и перетерпел ради него, а теперь, когда вертолет завис над землей, удивился и растерялся, как от неожиданности. И тотчас радость нашла его, залихорадила. Кто говорил — не полечу? Вот тебе и не фабричный! Да мы можем еще и не это. Гляди, Тимофей, все глядите! Атясов-то полетел!

Он уже сильно жалел, что еще рано и никто из знакомых не увидит его полета. Но ведь все равно в деревне будут говорить: «Слыхали, Васька-то, столяр, — полетел!» И все его переживания и мучения, даже разлад с Варей показались мелкими, несущественными и забылись, словно их оставил на земле.

— Лети-им! — кричал Василий в восторге. — Лети-и-им!

Тимофей медленно уплывал в сторону. Вот он исчез совсем, и впереди завиднелась зубчатая стена леса, подсвеченная сверху солнцем, словно обожженная.

«На лес несет», — понял Василий и стал стараться развернуть машину, чтобы пойти вдоль леса. Он слегка потянул рычаг поворота, но рули, такие послушные на земле, отчего-то не слушались. Вертолет никак не хотел разворачиваться. Лишь кабина наклонилась к земле, да так, что Василий едва не сползал с фанерного сиденья, и машина двигалась прямо на лес, не поднимаясь и не опускаясь.

Внизу плыл низкий кустарник, он едва не попадал под винты. Сбоку бежал Тимофей, размахивая руками. Советовал, видно, подняться выше или наоборот, сесть на землю. Однако приземлиться тут было нельзя — попадались пни и выворотни. Оставалось одно — подняться как можно выше. И Василий уже не замечал Тимофея, он неотрывно смотрел на приближающуюся стену леса, все смелее и смелее тянул на себя ручку газа,

чтобы взмыть над этим лесом, над низким еще солнцем, шептал спекшимися губами: «Ну давай, миленький, давай... Подымайся туда, вверх... Подымайся, а то втешемся в сосны».

Впереди он уже ясно различал деревья. В ясном осеннем воздухе, высветленные солнцем, мягко розовели стволы сосен, а хвоя их была темна и плотна. Между ними желтели березы, и кое-где серели осины, будто подернутые пылью — увядающие. Все это надвигалось на Василия, а машина, будто привязанная к земле невидимыми путями, не желала подниматься.

«А ведь и правда втешемся», — понял Василий и с отчаянием рванул до отказа ручку газа, надеясь, что мотор все же порвет невидимые путы, вытянет машину вверх, в голубую, близкую бездну неба. Но подступавшая зеленая стена не проваливалась вниз, она заслоняла собою все небо.

И вдруг, холодея, Василий услышал жуткий необычный треск над головой. Обгоняя машину, что-то сверхающее на огромной скорости пролетело к деревьям, ударилось в ветви, ломая их и срезая, и машину тотчас трянуло с такой силой, что Василий лбом врезался в стекло и почувствовал, как он проваливается вниз. Он еще слышал треск древесины, сухие хлопья лопающейся материи, скрежет чего-то металлического, а потом все это куда-то ушло...

С трудом Василий выполз из-под обломков своей машины. Неуверенно, будто впервые в жизни, поднялся на ноги, встал, качаясь, но колени не держали, и он привалился спиной к шершавому стволу сосны с изразными сверху ветвями. В глазах мельтешило красное зарево, мешало видеть. Он хотел протереть глаза, но правая рука не поднялась и заняла, когда двинул ею. Краем глаза левой рукой и увидел на ладони кровь. Кровь его не удивила, будто была совсем не его, чужая.

На вершине сосны шелестело что-то живое.

Он запрокинул голову, глядел, как на сломанную ветвь всталась сорока, косила на него пугливым быстрым взглядом.

— Не видела такого чуда? — прохрипел Василий. — Гляди, сколь взлетит. Не убавится. — И опустил голову.

Под ногами лежало отломленное колесо. Василий кивнул глазами дальше и увидел свой искореженный вертолет. Вырванный ударом мотор валялся рядом со щеп-

ками от винта. Мотор еще жил: в нем что-то всхлипывало и постанывало. Сверкающими блестками валялись в мятой траве осколки оргстекла, на них было больно глядеть. На оторванной дверце, отброшенной далеко от машины, висел на одном шурупе оконный шпингалет, которым Василий запирался в кабине.

В лице столяра что-то дрогнуло.

Он поглядел на все это разбитое, исковерканное, порванное, так заботливо и старательно некогда им добытое, и вдруг почувствовал в себе не боль и отчаяние, а облегчение.

Пиул ногой колесо с отломленной осью, которое откатилось и упало в траву, посмотрел на нелепо выглядывший тут оконный шпингалет и рассмеялся разбитыми губами.

Сорока дернулась на ветви, отчаянно взмахивая крыльями, и это еще больше насмешило Василия. Он засмеялся уже громче, и эхо понесло по лесу его смех. Смеялся он до слез, изумляясь, что давно уж он так весело и щедро не смеялся. И так легко ему было, так хорошо...

Подбежал Тимофей, остановился, раскрыв от неожиданности щербатый рот и заглупев переводя дыхание.

Смешно было смотреть Василию на обломки машины, на перепуганного Тимофея. Его качало от смеха, и он хохотал и хохотал, пока не закололо в груди.

Тогда он затих и опечалился.

— Что, Тимофей, — спросил хриловато. — Думаешь, тронулся Васька Атясов? Нет, Тимофей, не-ет...

И медленно пошел в село.

На краю поля его встретила Варя и увела в дом.

Больничный лист Атясову хоть и выдали, но леспромхоз оплачивать его отказался. Травма-то не производственная и даже не бытовая — вообще глупая. Сам виноват.

— Ничего, — заботливо утешала его Варя и осторожно трогала гипс на сломанной руке. — Перебьемся, Вася. Вот рука подживет, и мы свое наверстаем. Правда ведь?

— Правда, — согласно качал головой Василий. — Наверстаем. — И виновато говорил: — Руки у меня зудят без работы. Скорее бы уж.

И снова ладно стало в доме Атясовых, тихо стало и уютно. Варя ни в чем мужа не укоряла, будто ничего и

не случилось. Иногда только спрашивала задумчиво: — Так что же, Вася, с тобой было-то? Ведь это надо ума решиться — вертолет строить. Понять не могу.

Отвечал неохотно:

— Не знаю. Накатилось...

Когда жена была на работе, а Сережка в школе, Василий, не вынося безделья, уходил за село, глядел на еще большие потемневшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на перевернутую вверх зубьями пилу.

Удивлялся: в прошлые годы зима приходила быстро и оседала плотно, а тут что-то сдвинулось в привычном течении сезонов.

И на самом деле — необычное творилось в природе.

Давно ушел тихий золоченый сентябрь, уже последние дни октября закатывались, а на бурую полеглую траву, прихваченную первым зазимком, никак не ложился снег. Березы и осины стояли давно голые, с остатками вялых листьев на верхушках. Будто пристыженные они были перед соснами, ни зеленью, ни снегом не прикрытые. Небо было серое, низкое, теплое. Ворочалась день и ночь на нем тучи, уже не летние, но и не зимние — не поймешь какие. Изредка ветер пригонял заплутавшую снеговую тучу. Мелкий колючий снег косо падал вниз и таял — теплая земля не принимала его.

Но иногда небо вскрывалось полынками такой неожиданно близкой голубизны, что сердце заходилось испуганно отчего.

Вот такая стояла осень...

## КРАСНЫЕ ЛИСЫ

1

Едва Иван переступил порог отцовской избы, как сразу понял: его тут ждали, и ждали неспроста. Отец и младший брат Гришка, который тоже, как и он, Иван, был женатым мужиком, но от родителей из-за отсутствия своего жилья не отделялся, сидели не в кухне, где обычно ужинали в будние вечера, а в горнице за круглым столом, покрытым праздничной скатертью с кистя-

ми. Они томилась перед неоткупоренной бутылкой водки. Налажена была и закуска: хлеб, ломти желтого, с душиком, прошлогоднего сала, квашеная капуста и соленые огурцы. Три порожних стакана стояли наготове.

Губастый Гришка с таким жгучим интересом уставился на вошедшего Ивана, будто незадолго до этого узнал, что брат не кто иной, как оборотень, и теперь пытался разглядеть это новое братово качество. Таращил близко поставленные водянистые глазки, которые не сразу различил на его буре, потрепанном лице — не сморгнет, нижняя губа в растерянности отвисла, и его хитрой ухмылочкой не видать. И столько в нем робости перед непонятной братовой силой, что, кажется, пуги его Иван, и Гришка пулей вылетит в окно, которое словно на этот случай и распахнуто за его спиной. «Ну артист...» — только и подумал Иван с раздражением.

Отец неторопливо повернул голову к вошедшему сыну. Он казался спокойным, однако в морщинах его лица лежала какая-то холодная затаенность и значительность, отчего у Ивана нехорошо ворохнулось сердце. Днем к нему на поле прибегал Гришкин пацан и передал: «Деда велели вечером прийти». В последнее время Иван старался реже появляться в родительском доме, чувствуя молчаливое стариковское осуждение и укор. Приглашение это озаботило его и насторожило. Теперь то он наверняка знал, для чего «деда велели прийти». Дураком надо быть, чтобы не догадаться. Молчали, молчали, да и решились, значит...

По-хорошему, надо было бы еще там, на поле, пораскинуть мозгами, поискать, чем ответить в свое оправдание, но подстилать соломки на всякий случай Иван не умел и не любил, и раз вошел не готовый к разговору, так не поворачивать же теперь назад. Это не по его. Готовый не готовый — деваться теперь некуда.

Иван стянул с себя замасленную телогрейку, поставил ее стоя у порога, сполоснул руки перед умывальником и прошел к столу.

Отец сидел в черном суконном пиджаке — в парадном. Еще в давние времена сживал в нем на собраниях, в президиуме, важно насупленный и горделивый. Тогда ему пиджак был впору. Нынче же усох отец, будто жизнь уходила из него вместе с телом, и пиджак стал велик, словно с чужого плеча. На груди висели две медали. Одна потускневшая — военная, другая совсем новень-

кая — трудовая. Ее отец получил, когда провожали на пенсию. Нельзя не наградить такого человека. Всю жизнь числился передовым — сначала колхозным, а когда стал совхоз, то и совхозным — трактористом. И после себя не пустое место оставил, а двух сыновей, тоже трактористов. Получается — ветеран и глава династии. Это надо суметь. На отвороте пиджака, чуть поодаль от медалей, снял свежей эмалью красный значок дружинника. Это уж после проводов на пенсию Гришка ему свой прицепил. Носи, мол, батя, до кучи. Наводи порядок. Ваш брат пенсионер это дело любит. А со значком в самый раз: кого хочешь заберешь... Ради смеха прицепил, а отцу значок неожиданно поглянулся: нарядный, с серпом и молотом. Не снял, стал носить. Странно и чужеродно смотрелся значок дружинника на впалой стариковской груди, но для Ивана, который сейчас во всякой мелочи усматривал особый смысл, даже и этот значок не казался здесь случайным, а имеющим свое тайное предназначение.

— Праздник, что ли, какой? — присаживаясь к столу, осторожно поинтересовался Иван.

— Ага. Праздник, — ответил отец сдержанно. — Веселиться сейчас будем. Жизнь больно веселая у нас пошла, спасу нет.

— А мать где? Чего же ее на вашем празднике не видать? — спросил Иван с понятливой усмешкой, лихо-разочно соображая, как быть дальше, какие слова говорить.

— Я ее к соседям послал посидеть. Мужичкий пойдет разговор. Да и мало тут будет матери радости.

— Та-ак... Понятно... — тяжело выдохнул Иван, попеременно оглядывая то отца, то брата. — Приготовились, значит?

— Приготовились, — подтвердил отец.

— Ну давайте, начинайте. Послушаем, — натянуто усмехнулся, откинулся на спинку стула и руки на груди скрестил, а глаза — безразличные и отрешенные. Говорите, мол, что хотите, мне все равно.

Отец откупорил бутылку, разлил всем поровну. Поднял свой стакан, но чокаться с сыновьями не торопился. Коснулся на Гришку и как будто чего-то ждал.

Оттого ли, что отец с Гришкой сидели рядом, по одну сторону стола и озабочены были какой-то общей мыслью, но Гришка сейчас сильно походил на отца. Та-



кой же росточком, невеликий, узкоплечий, можно сказать — плюгавенький мужичонка, хотя и жилистый. Глаза жиденькие, отцовские. Чем его не обделили, так это губами. На тронх бы хватило. Иван же, наоборот, был мужик высокий и синеглазый, будто и рост и цвет — все ему, первенцу, досталось.

Иван глядел на подрагивающий стакан в слабой отцовской руке. «За какие такие радости посередь будней недели?» — хотел спросить и чуть было не спросил, да заметил — Гришка ему в рот смотрит. Удержался от вопроса, чутьем угадав, что лучше помолчать. Сами скажут. И точно: выждав время, Гришка обернулся к отцу.

— За что, батя, выпьем?

— А вот за жену его, за Марию! — тотчас громко отозвался отец, кивая на Ивана. — Дай ей бог, чтоб выздоровела. Чтоб сыновья при живом отце сиротами не остались.

Иван хотя и догадывался, о чем пойдет разговор, но такого крутого оборота не ждал. Вздрогнул. Водку на колени сплеснул. Рука сама собой опустила стакан на стол.

— Вы меня за этим позвали? Поиздеваться? — горько спросил он, отодвигаясь от стола вместе со стулом.

— Слышал? — повернулся отец к Гришке. — За его семью пьют, добра ей желают, а он — издевается. Седьмой десяток живу — сроду такого не видел. Или, может, по-понешнему, худа надо желать, тогда потрафишь? Все наоборот надо делать?

— Со своей семьей я уж как-нибудь сам разберусь, — жестко сказал Иван, соображая, как поступить дальше: слушать или встать и уйти? Можно, конечно, обидеться и — в дверь. Но ведь все равно этого разговора не избежать. Раз уж начали, пускай продолжают.

— Разберешься... — едко усмехнулся отец. — Я ждаль устал, когда ты разберешься. Давай-ка, старшой, выпьем за Марию, за детей. В чем они перед тобой виноваты? Ни в чем. А если уж хочешь знать, на такую жену, как твоя Мария, молиться надо. Другая бы давно из дому выперла. На всю деревню бы осрамила. А эта молчит и терпит. Ангельское терпение у бабы. Таких мало осталось и скоро, видно, совсем не будет. Нонешние-то бабы знаешь какие пошли?

— Это уж точно, — поддакнул Гришка. — Доведись

до моей — сразу бы в рабочком. Эта бы не стала долго гадать, куда пойти. По собраниям бы затаскала. Все жилы бы на кулак вымотала. Тут батя правильно говорит. Я с ним согласный. Жена у тебя что надо. Да только, сдается, Ваня, кто-то заложил тебя. Портрета твоего нету. Сняли из передовиков.

Об этом Иван уже знал. Напарник в поле сказал. Новость неприятно изумила. Вечером он специально прошел возле клуба, где вдоль аллейки выставлены были портреты лучших механизаторов. И там, где раньше между отцом и Гришкой находился его портрет, в металлической раме из сварных уголков зияла дыра.

— Пускай снимают, — невесело усмехнулся Иван и потянулся за стаканом. — С трактора они меня не снимут. Зябь-то пахать кто будет? Рабочком, что ли? Такого плана, как я, им никто не даст. Еще в ножки поклонятся, если задумаю уходить. Скажи, Гришка, а? Поклонятся или нет?

— Поклонятся. Это точно, — подтвердил Гришка и потянулся со своим стаканом чокнуться с братом. — С тобой у нас во всем совхозе тягаться некому. Ты на работе — зверь.

Иван чокнулся с отцом, с братом, поглядел в стакан с отчаянием, словно в него налято было само горе, и шумно перевел дух, выпил залпом.

Некоторое время мужики сосредоточенно молчали — закусывали. Потом отец сказал негромко:

— А ведь меня вызывали туда. В рабочком-то. Так, жаль, и так: разберитесь с этим делом сами, а то вопрос на повестку поставим. Позору не оберетесь. Семья ваша заслуженная, у всех на виду, вот и не хотим срамить. Даем возможность самим улаживать... И еще говорят: хотели, дескать, разбирать заявление Григория на квартиру, а брат ему подпортил. Не знаем, как и быть. Если все тихо-мирно решится — поглядим. Вот так... — вздохнул отец. — Дом двухквартирный к ноябрьским праздникам сулились сдать. Не опоздать бы...

— А при чем тут я? — раздраженно сказал Иван. — Брат за брата не ответчик.

— Оно конечно так, — согласился отец, — а вот не дадут и все. И разбирайся тогда: ответчик или нет.

— Кто же это заложил? — задумался Гришка. — Неужто Мария?

— Нет, не Мария, — твердо сказал отец. — Ее не



трогай. Мария на такое не способная. Молча будет страдать, а не пожалуется.

— А кто тогда?

— Люди добрые... кто... Все-то они видят, до всего-то им есть дело, — хмуро проговорил отец и посмотрел на Ивана. — Ты вот, старшой, вроде озлился на меня, а зря. Худому я тебя не научу. А у нас в роду никто семью не бросал. Ни дед мой, ни отец, ни я сам. И вам не веляю. Сам подумай, Ваня, хорошо ли матери было бы, брось я ее с вами двоими? И я ведь молодой был, и у меня однажды такое случилось — с молодой девкой закрутил, да хватило ума: не о себе, о вас подумал. Как представил, что без отца останетесь, так и кончил свою любовь. Задушил в себе... Мать-то до сих пор ничего не знает. Вот как, Ваня... если голова на плечах имеется. Теперь мне уж и помирать пора. Каждую ночь во сне землю вижу, а не помирается. Как я помру, если у вас не все ладно? С позором меня земля не примет.

— Да я еще никого не бросил, — сказал Иван глухо. — С чего ты взял? На лбу у меня написано?

— Вижу... Как мне, отцу, не видеть, если чужие люди и те видят. Сколь раз хотел потолковать с тобой, да все ждал, думал, сам очнешься. Ты — ни в какую. Глаза и уши застило. А тут за тебя уж рабочком взялся. Обидно мне, Ваня, обидно... За всю жизнь про меня никто дурного слова не сказал, а теперь в лицо смеются: женатый сын треплется. Не те у тебя годы, чтобы новую семью заводить. Голова вон седеет, где уж за молоденькой ухлестывать. Стыд один и больше ничего. — Обернулся к Гришке: — Поддай-ка зеркало. Пускай твой братка на себя глянет.

Гришка послушно — рад стараться — притащил с комода большое зеркало и держал его на вытянутых руках перед братом. Иван сначала хотел заслониться рукой, потому что давно побаивался рассматривать свое лицо, но отчего-то не заслонился, отрешенно глянул в светлый подрагивающий квадрат.

Это было старое семейное зеркало в темной деревянной раме, местами потускневшее. И видело оно Ивана всяким. Еще младенцем с рук матери пускал пузыри своему отражению. Потом чубчик перед зеркалом зализывал, собираясь к реке на тырлу. Клуба в деревне еще не знали, не было его. Парни и девушки собирались на берегу. Играли в сумерках в «третий — лишний»,

пели частушки под гармонь, здесь встречались влюбленные. И именно тут, на тырле, Иван за Марией ухаживал, да еще как! Перед этим, бывало, светлый чуб набок зачесет, ломаную бровь подымет, подмигнет себе в зеркало: мы, дескать, не всякие прочие, свое возьмем! И взял. Сколько возле Марии парней ни увивалось, а всех их словно ветром пораздуло.

Да, молодой был, и лицо было молодое, свежее у него в ту давнюю пору. Привлекало оно мужской решительностью с долей бесшабашной уверенности в себе, которая должна быть у парня и которая так нравится девушкам. Но когда это было! И куда это все подевалось от него?

Было, да сплыло. А сейчас старое родовое зеркало показало Ивану стареющего мужика, уже с седоватыми висками, с бурым от ветров лицом, с морщинами у глаз, и глаза смотрели не самоуверенно, как некогда, а грустно и устало. Ничего не скажешь — выцвел.

Иван усмехнулся над собой и отвернулся. Чего смотреть? Хорошего он там ничего не высмотрит.

— Так-то, милый, — говорил отец, наблюдая за сыном. — Отгулял свое, отгулял. Взять бы вожжи да отстегать хорошенько пониже спины. Может, поумнел бы малость.

— Отстегай, отец, — со вздохом согласился Иван и бессильно уронил голову на грудь. — Вдруг поможет.

— С моими силами тебя, жеребца, не пронять. Хоть бы с меньшого брата пример брал. Гришка помоложе, а никто на него пальцем не показывает. И портрет не снимают. А ты... Девке-то, сказывают, девятнадцати нет.

— Она сама за ним ухлестывает, — вступился за брата Гришка. — Из Сосновки к нему бегают. Пять километров лесом.

— Да по мне пусть хоть пятьдесят! — крикнул в сердцах отец. — Мы разве виноватые? Мария от горя слегла, сыновьям учеба в голову не идет. Разбирать нас будут, осрамят на всю деревню. За что ты нас так, Иван? За какую обиду? Слышишь, нет? Неужто мы тебя с матерью без сердца родили? — Он поднялся со стула и, подойдя к Ивану, вдруг опустился перед сыном на колени, только медали на пиджаке звякнули.

Произошло это так неожиданно и неслепо, что Иван сначала даже не сообразил, в чем дело. Ему подумалось, что отцу стало плохо. Он кинулся поднимать отца,

но тот отталкивал локтем. По морщинам уже скатывались слезы.

— Вот видишь, сын, — всхлипывая, говорил отец, глядя на Ивана снизу вверх, — я на колени перед тобой встал. Сроду ни перед кем не становился, а перед тобой стою. Пожалей ты нас, развяжись с этой девкой. Неужто ты всех нас на нее одну променяешь?

— Отец, не надо! Отец, не смей, слышь! — сдавленно заговорил Иван, подхватывая отца за острые локти и пытаясь его поднять, но тот не вставал, упирался.

— Пообещай, что развяжешься. Дай мне помереть как человеку. Иначе — прокляну! Вот на этом самом месте прокляну! — и стучал по давно не крашенной, облезлой половице бурым, похожим на крученный корень пальцем.

Иван отпустил локти отца, разогнул спину и поразился: солнце еще вроде не должно закатиться, в комнате же стояли густые сумерки, неожиданные для этого часа. У Гришки было черное лицо, будто вымазанное сажей. Черной вспышкой мелькнуло в дальнем углу, на комод, зеркало, сверкнуло и смутно о чем-то напомнило. Обгорелой головешкой покачивалась у ног голова отца.

— Пообещай, — просил отец глухо, как из-под земли. — Иначе буду стоять у твоих ног, пока не помру.

Испуганный Гришка схватил Ивана за рукав и зашептал:

— Посули ему, что тебе стоит. Видишь, он едва живой. Кончится тут — всю жизнь тебе прощения не будет. Посули, раз просит.

— Ладно, — сказал Иван придушенно, цепенея от произнесенного слова, которое, казалось, вышло не из него, а из кого-то другого — такой чужой, непохожий был голос. И отрешенно опустил на стул, будто вся сила ушла из тела вместе со сказанным единственным этим коротким словом.

Гришка усадил отца за стол. Тот уже не протривился и покорно ему повиновался. Подпер голову взрагивающей рукой, не подымал слезящихся глаз на сыновей.

Через время спросил:

— Из Сосновки, значит, бегаешь?

— Оттуда, — охотно отозвался Гришка. — Мужики сколь раз видели: шпарит по лесу — спасу нет. Все бегом да бегом, как будто и шагом ходить не умеет. При-

цепщик как-то погнался за ней на мотоцикле. Ради смеха. Девка в чашу нырнула, а он едва об лесину не убился. Долго матерился. Ну, говорит, лешая, больше никто... Теперь не гоняются. Разве когда вдогонку свистнут — и все.

— Гляди-ка... И не боится одна по лесу?

— Значит, не боится. Раз бегаешь.

— Тоже, видать, отчаянная головушка, — тяжело вздохнул отец.

## 2

Ивана от всего спасала работа.

Какая бы беда с ним ни случилась, какая бы тяжесть ни легла на душу, а стоило ему прийти на поле, забраться в кабину трактора, и все житейские переживания не то чтобы забывались, но как-то неожиданно мельчали на этом огромном поле с березовым колком посередине, казались уже пустячными, не такими угнетающими, как раньше.

Да и как могло быть иначе, если работа на поле — самое главное для него занятие, самое главное и святое. Сначала, во молодости, это ему отец втолковывал, но, видно, мудрость не передается по наследству, как не рождается зрелой пшеница. Все надо испытать от начала и до конца самому — и злаку, и человеку. Через годы Иван и сам осознал, какую великую, неиссякаемую силу таило в себе поле. Много лет отец описывал круги на своем тракторе вокруг березника, поднимая то весеннюю, то поздней осенью зябь, и поле кормило его самого и его семью, и еще многих других людей, которых он не видел и не знал. Сошел отец с круга, как пошлое время, и его сменил Иван, родной сын. Жизнь на поле по-прежнему шла кругами: возрождалась, созревала и, дав семена для продолжения рода, умирала. Вечная была она и щедрой. Оно не только кормило многих людей, но и наполняло жизнь Ивана мудрым смыслом и умиранием к себе, без чего человеку никак нельзя.

Он и сегодня шел на поле с надеждой, что работа вырвет его и на этот раз: в голове прояснится, душа вырубится и утешится. Ведь как мелка его, Иванова, беда по сравнению с огромным, вечным полем: песчинка малая.

Иван принял у сменщика трактор, завел его и пустил по загонке — вокруг березника, привычным кругом. Однако на этот раз даже работа не успокаивала, не давала забыться. И чем больше день набирал силу, тем беспокойнее становилось на душе. Горе не рассасывалось, а наоборот, крепло, пригибало голову.

Он глядел в просвеченное солнцем стекло кабины, видел бегущую навстречу побуревшую от дождей стерню и впервые с тоской подумал, что по весне поле омолодится, начнет новую жизнь, а у него этой осенью что-то умрет в душе и уже больше не возродится, молодость снова не воротится, и от этой мысли душа запротивилась предстоящему. Ему казалось противоестественным, что в конце нынешнего звонкого осеннего дня он останется с Верой и уже больше не увидится. Ни умом, ни сердцем Иван не мог этого представить себе, в глазах темнело, ощущал в себе такую сосущую пустоту, что жить дальше не хотелось. Выходило, что не только работа самое главное, есть на свете, оказывается, и еще что-то, без чего жизнь пуста и безрадостна, как небо без солнца.

Когда стало совсем невозможно, он приглушил мотор, выпрыгнул из кабины в борозду и, привалившись к капоту, над которым волнисто струилось тепло, огляделся. Стояла та пора конца сентября, когда в природе было уже много примет осени, но и от лета еще оставались какие-то следы. Березник почти весь пожелтел, лист опадал. По окраинам колок просвечивал насквозь — ветры раздели. Но кое-где на старых деревьях запоздало зеленели отдельные ветви. Выглядели они в эту пору случайными, на них Ивану отчего-то было грустно смотреть. Летели, серебрясь, паутинки в горьковатом чистом воздухе. Пахло прелью и близким снегом.

Иван постоял возле трактора и вдруг, сам не зная зачем, побрел к березнику, островом возвышавшемуся посреди вспаханного поля. И там, в березнике, среди полегшей, побитой заморозками травы, нашел чудом уцелевшие ромашки.

«Надо же... Не померзли», — подумал Иван с нежностью.

Нагибаясь, он срывал цветы, бережно разворачивал истончившиеся лепестки, немного увядшие, но еще сохранившие белый цвет укатившего лета. И он вспомнил, зачем пришел сюда, на край березового колка. На этом

самом месте весной Вера преподнесла ему заслуженный букетик, только не ромашек — им еще было рано, а подснежников: желтоватых и синих, пушистых — самых первых.

Удивительные это были минуты, наверное самые счастливые в его жизни, какие бывают лишь однажды и уже не повторяются, но греют своим теплом долгие годы. Здесь, на поле, стояло много тракторов и из родной деревни, и из соседней Сосновки. Упруго бил дым из выхлопных труб и стелился, сбиваемый ветром, по весенней сиреневой земле. Желающих победить на межсовхозном состязании пахарей было хоть отбавляй, а победа досталась Ивану.

Здесь, на краю колка, перед судейским столом выстроили лучших механизаторов и увенчали чемпиона красной лентой с золотыми буквами и нарисованными колосьями. Ох, как ему завидовали другие трактористы, особенно молодые парни. И было чему завидовать. Ведь это ему, Ивану, самодеятельный оркестр сыграл туш, и фотограф из районной газеты перед ним ползал на корточках, выбирая место съемки, не перед кем другим!

А потом появились девушки с подснежниками. Тогда-то к Ивану и подошла Вера с букетиком.

Она была длинноногая, легкая и очень молодая. У нее были ярко-рыжие перепутанные ветром волосы и зеленые глаза. Девушка, сияя своими зелеными раскосыми глазами, улыбнулась ему с такой неприкрытой радостью и восхищением, что он смутился. Даже забыл поблагодарить ее, лишь неловко тряхнул головой, и некая тревога поселилась в его душе.

Подснежники Иван пристроил в кабине у лобового стекла и часто взглядывал на них, отчего смутная радость и волнение наполняли его. Ему стало беспокойно, он даже забоялся этого беспокойства, хотел даже выкинуть завядшие цветы, да рука не поднималась.

А однажды под вечер, когда уже близился конец осени, глянул в окно — и под сердцем остро кольнуло: стоит она, та самая девушка, у колка и на его трактор смотрит. Легкая, тонкая, рыжие волосы под ветром плещутся, как пламя костра.

Подошел к ней, заглянул в зеленые, как цветущее море, глаза, и она не отвела их, и столько в них было чего-то неведомого, обещающего, что Иван задохнулся и спросил первое, что на ум пришло:

— Ты чего тут стоишь?

— Нельзя? Тогда я уйду. — Она тут же повернулась, но Иван успел поймать ее за руку.

— Почему нельзя? Можно. Только ведь холодно, да и ветрено. Пойдем ко мне в кабину.

Она, склонив голову набок, ковыряла туфелькой землю. Гадала: согласиться или уйти.

— Боишься меня? — улыбнулся Иван.

— Нет. У вас глаза добрые.

В кабине Иван протер ветошью запыленное сиденье, и она опустилась на самый краешек. Увидела свои цветы, протянула к ним руку, трогая увядшие лепестки. Кисть у нее была тонкая, узкая, но болезненно шершавая, в мелких трещинках, как в порезах.

«Доярка», — опытно определил Иван, потому что такие же руки, вечно шелушащиеся, в трещинках, были и у его матери, пока она работала дояркой на ферме.

— Как тебя звать? — спросил он тем голосом, каким разговаривают с детьми.

— Вера, — ответила девушка и тут же убрала руку, заметив понимающий взгляд Ивана. Рук своих она стеснялась.

Скоро Вера запросилась на волю.

— Посиди еще, — попросил Иван. — Там же холодно.

— А здесь душно и тряско. Я лучше там постою, — сказала она, легко соскакивая с гусеницы на жухлую травку под березами, куда ее подвез Иван. — Да и пора уже идти назад.

— Ты еще придешь?

Вера неопределенно пожала плечиками.

— Не знаю...

Высунувшись из кабины, Иван смотрел, как легко, невесомо, кажется даже не касаясь ногами стерни, бежала Вера к проселочной дороге и затерялась в дальнем кустарнике. И он снова удивился своему необычному состоянию и затревожился непонятно отчего.

Через день Вера пришла опять, и они в сумерках бродили по березовому островку и больше молчали, чем говорили.

С этого все и началось. Вера приходила часто, а когда ее не было, Ивану казалось, что на поле мертво и пустынно без рыжих Вериних волос и зеленых глаз. И даже чудно было: как это он раньше жил, не зная ее?

А потом они сделали удивительное открытие: оказывается, в березовом колке жила пара лисиц, молодых, сильных зверей, у которых были маленькие, но уже проворные лисята.

— Пойдем к нашим лисам, — иногда говорила Вера, и Ивана обдавало трепетной радостью от слова «наши». Значит, появилось у них то, что принадлежало лишь ей и ему и никому больше.

Затаившись на краю поля в кустах, они смотрели, как лисы учили мышковать своих лисят. Как родители, разыгравшись, взлетали в воздух, понарошке нападали друг на друга. Лисы словно светились под луной, шерсть их красновато выпыхивала, когда они в прыжке зависали над стерней. И столько было взаимной ласки в их движениях, столько нежности...

В такие минуты в темных Вериних глазах появлялась грусть.

— Какие они вольные, — шептала она тихо, одними губами. — Как им много можно. Они счастливые...

— А мы? — с улыбкой спрашивал он, тоже шепотом.

— Нам ничего нельзя.

— Почему? — с награнной непонятливостью спрашивал он.

Она укоризненно взглядывала на него.

— Потому что мы — люди.

— Люди... — продолжал Иван игру. — Это хорошо или плохо?

— Хорошо. И плохо... — смущенно улыбалась.

Скоро лисы перестали бояться этих двух людей, прятались в березнике. Они, наверное, чувствовали какую-то их обособленность от остальных людей, их нежность и не убегали. Однако, когда к березнику Иван приходил один, лисы никогда ему не попадались на глаза. Одного они отчего-то избегали его. Эту странность он заметил и долго думал над нею, поражаясь звериной мудрости.

Нарвал Иван ромашек, сунул их в карман телогрейки, вздохнул и пошел к своему трактору, который, как покорный конь, ждал его в борозде.

Скоро пришел сменщик, медлительный, молчаливый мужик. Непонятный какой-то человек, никак нельзя было уразуметь его. Приходил ли сменить Ивана, уходящего, отработавшись, всегда на его пожелом лице лежала одинаковая усталость. Глядя на него со стороны,



можно было подумать, что прожил он две жизни, не меньше, доживает третью, и так все ему надоело, что и глаза смотрят на окружающее сквозь узкую щелку, вечно прищурившись, нехота ему их распахнуть на мир пошире. И голос у него медленный, тягучий, будто и слова он вытягивал из себя через силу.

Иван с ним особенно близок не был. Разговаривали они редко, по необходимости. «Привет», — скажет один. «Привет», — откликнется другой. «Ну как?» — «Все в норме». Перекинутся этими необязательными словами, покурят вместе, потому что расхотеться просто так — неловко: все же напарники, — и уже после этого один влазит в кабину трактора, а другой отправляется домой, отдыхать.

Но сейчас Иван не торопился уйти. Слишком много в нем накопилось горя, не унести одному. Ему вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь, хотя бы этот пожилой обстоятельный мужик, выслушал его, утешил бы теплым словом, или если не словом, то просто молчаливым сочувствием. И все полегчало бы.

Закурили напоследок, как бывало всегда, и Иван стал маяться, видя, как с каждой затяжкой уменьшается папироска сменщика, а он не знает, с какого боку завести деликатный разговор. Сроду ни с кем своей тайной не делился. Близкого друга у него не было, перед которым можно бы было излить свое горе, не боясь быть непонятым, вот и тянулся Иван к первому встречному. Томился, опасаясь, как бы сменщик раньше времени не затоптал бы окурок и не принялся бы запускать двигатель.

Однако тот, покосившись на Ивана, всезнающе усмехнулся:

— Тяжело, что ли?

— Тяжело, — признался Иван и вздохнул.

— Дело знакомое, — протянул сменщик. — Меня вчера тоже свояк звал. Холодильник обмывать. А я прикинул: завтра — не суббота, не воскресенье. Толком не выспись и с больной головой — на работу. Отказался, потому как похмелье у меня завсегда тяжелое...

— Я вовсе не с похмелья, — сказал Иван с досадой. — Сроду к трактору выпивши не подхожу.

— А с чего тогда?

— У меня другое, — поморщился Иван. — Вишь, какое тут дело... — Иван судорожно перевел дух, ре-

шаясь. — Нынче вечером с одним человеком разойтись надо. Вот и мучаюсь.

— С женой, что ли?

— Да не с женой. С девушкой... — сказал Иван и густо покраснел. Последнее слово он выговорил с натугой. Произносить его язык не поворачивался, потому что когда молодой парень говорит про девушку — это одно, а из уст стареющего мужика услышать подобное, конечно же, смешно и нелепо. Иван это понимал и устыдился.

— А-а, с той самой? — понятливо протянул сменщик. — Которая все бегом бегаешь?

Ивану совсем горько стало.

— С той самой, — ответил он вызывающе. Уже злился на сменщика за его усмешку, злился на себя за свою незащищенную откровенность, но в глаза прищуренные смотрел твердо.

Усмешка стаяла с лица сменщика. Сощурившись, он смотрел куда-то далеко-далеко и видел там, наверно, такое, чего не всем дано видеть. От этого на его лице, кроме усталости, появилась еще и снисходительная скорбь.

— У тебя с ней как было? Баловство или по-серьезному? — спросил он равнодушно.

— По-серьезному, — ответил Иван и, помолчав, добавил. — Серьезнее некуда. В чем и беда.

Сменщик сочувственно и осуждая покачал головой.

— Вот это плохо. Совсем плохо... — И даже языком выдал, что выражало у него крайнюю степень досады. — Побаловаться мужику можно. Особенно когда жена сама льнет. Я это понимаю. Мужичье дело извечное. Побаловался — и с него как с гуся вода. Он свой грех не домой — из дому несет. В случае чего девушка сама виноватая и останется. Ее люди и осудят: а не лезь к женатому. Но вот по-серьезному нашему брату никак нельзя. Тут уж спрос с тебя будет, ни с кого другого. Да-а... Вот и говорю: не думаем мы наперед, задом умны. Что бы прикинуть прежде: чем закончится? Ведь баловство ничем хорошим, расстройство сплошное. Если тебе, к примеру, семью бросать и брать эту девку, то надо резать куда-нибудь подальше. В другой район или даже в город. Там вас никто знать не будет...

— Куда я поеду, — перебил Иван. — Тут у меня

— Ну а в нашей деревне вам нельзя. Аморалку припишут. Ни тебе, ни ей житья не будет. И так уж из передовиков сняли.

— Житья тут не будет, — согласился Иван. — Со всех сторон зажали. И рабочком, и дома — везде жмут. — Горестно поморщился, стал разминать новую папироску.

— Ну так бросай эту девку, — посоветовал сменщик. — Сам ведь все понимаешь, не маленький, слава богу.

— Бросай... — хмыкнул Иван. — Хорошо со стороны-то.

— Ну ведь не нужна она тебе. Если с умом подойти. Ты скажи себе: не нужна она мне. У меня семья, дети. И легче будет. Попробуй сам себя убедить.

Иван безнадежно помотал головой.

— Себе я соврать не могу. Себя не обманешь. Как ни старайся.

— Нужна, значит?

— В чем и дело, что нужна. Не могу без нее, в душе пусто.

— А жена? Ты как женился-то?

— Обыкновенно женился. Как все женятся. Жили нормально: ни скандалов, ни ругани. Мария у меня спокойная, хозяйственная. И накормит, и обстирает, и за пацанами пригляд хороший. Заботливая баба и сердечная, чего не отнимешь, так не отнимешь.

— Тогда какую тебе еще холеру надо? — недоумевающе поднял брови сменщик. — Хорошая баба, вот и живи. И не изводишь зря.

— Я тоже так думал. Дома все ладно, жена заботится, сочувствует, когда тяжело. По мелочам не пилит, как некоторые. Чем вроде не жизнь? Живи да радуйся... А как стал с этой девушкой, с Верой, встречаться, вот тут-то и засомневался. Втемяшилось в голову, будто жизнь у меня до этого тянулась пустая и скучная. Вроде как я дремал все эти годы и только теперь проснулся. Понимаешь, с женой у нас шло гладко, а вот чего-то такого не было. С Верой — совсем другое. Выразить не могу, что именно другое-то, а вот другое и все тут. Я даже не знал, что такое бывает на свете. Увижу Веру — и душа поет, и сам не свой от радости. Смотрю на нее, и плакать хочется, столько во мне счастья. Верить, музыка появилась...

— Какая музыка? — озадачился сменщик.

— Ты песни любишь?

— Песни? А как же. Только до новых я не шибко охоч. Дочка заведет этот самый, ну, как его... магнитофон, так хоть из дому беги. Воют — чисто коты мартовские. И все не по-нашему. Я старые люблю песни, душевные.

— Это само собой, — согласился Иван. — Душевные песни я тоже уважаю. А ты слышал, по радио не песни передают, а музыку? Симфонии разные, длинные такие?

— У меня жена их сразу выключает. Скучные они.

— Вот и я выключал. А недавно прислушался и буд-то увидел, как солнышко всходит, травка из земли проклевывается, березник шумит, и птицы в нем на разные голоса щебечут. И так мне хорошо стало. Даже удивительно, как раньше не понимал. Поймаю по приемнику такую музыку, сяду и слушаю, слушаю. Мария глядит — не поймет ничего. Рехнулся — не рехнулся? Утром идти на смену, а во мне эта музыка играет. Одна кончится, сразу другая начинается, будто какой проигрыватель включился во мне. Сам удивляюсь. Раньше-то я эти симфонии в упор не слышал. Передают и передают, вроде и не для меня. А тут — уши открылись. Да что там уши! Глаза и те по-новому стали видеть. Я вот наше мальошко, — Иван обвел рукой вокруг себя, — с малолетства знаю, а только недавно и разглядел, какое оно красивое... — Затянувшись папироской, Иван покосился на собеседника. — Ты только не насмехайся. Может, тебе и смешно, а все равно — не надо смеяться. Это, наверно, раз в жизни бывает. И не у всех...

— Я и не насмехаюсь, — отозвался сменщик скорбно и всезнающе глядя в свое далеко. — Я тебе очень даже верю.

— Конечно, — продолжал Иван тихо, — если с умом подумать, так все это мне нельзя. Я ведь из ума еще не выжил. Понимаю, что семейный. Жену жалко, столько лет вместе прожили. И надо растить, поднимать на ноги сыновей, они еще малолетки. Да только как подумать, что и музыку и все остальное надо будет ломать в себе — душа на дыбы встанет, противится. Второй-то жизни у меня не будет. Если бы эту жизнь я для семьи ждал, а потом другую бы для себя — куда бы еще ни шло. А то нет, никто еще не начинал все сначала. Горько мне, душа поет. Самого себя жалко. Помаячило сча-

и слабая улыбка обозначилась на исхудавшем, бледном, без кровиночки лице.

Он сел на край кровати, заботливо положил ладонь на влажный лоб Марии, заглянул ей в глаза ласково и невиновато, как раньше, когда у них все было хорошо.

— Ну как, Маша? Где болит-то?

— Нигде не болит. Слабость и голова кружится... — проговорила она еле слышно, одними губами.

— Вставала сегодня?

— Не-ет... От подушки голову подниму, сразу все ходуну ходит. И я — назад. В постель...

— Ничего, Маша, ничего... Поднимем мы тебя, — проговорил он обнадеживающе, оглядывая жену с ласковым участием.

— Да уж скорее бы. Разлеживаться-то некогда. Мальчишки все пооборвались, немытые сколько. Ты не обстиранный ходишь. Совестно мне лежать, когда хлопот столько.

Иван вздохнул, погладил жидкие, слипшиеся волосы жены, мысленно вняв перед ней. Да-а, что и говорить — редкая у него жена. Все-то она знала, и сейчас догадывалась, зачем на нем новый пиджак и белая рубашка — а ни слова. Даже взгляда укоризненного не позволит себе. Это Ивана всегда угнетало больше, чем если бы она укоряла его и стыдила. Нет, ничего подобного он от Марии не слышивал. Вот и на сей раз она молчала. Лишь смотрела ему в лицо жалобно и покорно, как ребенок. Похудела... Лицо у нее и прежде было маленькое, а теперь, от болезни, совсем детское стало. Одни глаза, темные, глубокие, жили на нем, сторожили каждое мужнино движение, и столько в них было боли, что у Ивана все внутри переворачивалось от сознания своей вины.

Он нетерпеливо шевельнулся, и Мария высвободила из-под одеяла слабую свою руку, на ощупь нашла мужнины пальцы, держала их.

— Я скоро вернусь, Маша, — сказал он тихо и значительно, чтобы жена глубже поняла его слова. — Все будет нормально. Вот увидишь.

Она закрыла глаза. Веки ее, прозрачные, с голубенькими прожилками, вздрагивали.

— Я приду скоро, — повторил он и почувствовал, как жена медленно отпустила его пальцы.

Когда Иван вышел из спальни, Васька уже возился

с кастрюлей, собираясь что-то варить. Длинный вырос парень, и ростом и лицом — весь в него. Движения быстрые, порывистые — нервничает. Отращенные космы на голове аккуратно зализаны на пробор. Наверное, уже на девчонок поглядывает. Мишка по-прежнему сидел за столом, «Родную речь» в руках держал так, будто загораживался ею от отца. И тот и другой выглядели настроженными. Ждали, что отец дальше будет делать.

— Врач был? — негромко спросил Иван.

— Был, — не сразу ответил Васька.

— Что он сказал?

— А что он скажет... Укол сделал.

— Только колоть и умеют, — проговорил Мишка, во-взрослому наморщив лоб. — Всю искололи, а толку никакого.

— Ничего-о, — обещающе проговорил Иван. — Все будет нормально. Поднимем мать. — И шагнул к порогу.

— Пошел, что ли? — хмуро спросил Васька.

— Надо сходить в одно место.

— Ночевать-то придешь? Или можно заператься?

Иван задержался у порога.

«Как с чужим разговаривают», — с болью подумал он, и ему захотелось подойти к набычнувшему Ваське, обнять его, колючего, злого, с отцовской нежностью растерять светлые космы, да знал: сын ласки от него не берет.

— Проводи меня до калитки, — попросил он вдруг, чтобы наедине обнадежить его, успокоить.

— Некогда мне разгуливать, — отозвался тот испуганно. — Мамке молока вскипятить надо.

— Дров принести? — спросил еще Иван.

— Сами принесем. Иди.

### 3

Раньше Иван уходил к Вере не сразу и не напрямик. Сначала он выходил во двор как бы размяться, подышать свежим воздухом перед сном. Потоптавшись во дворе, с медлительностью крепко поработавшего человека, довольного удачным днем, умиротворенного, вразвалочку направлялся к калитке. Нехотя отворял ее, вроде бы просто интересуясь, как там жизнь за воротами.

Равнодушно глядел в один конец улицы, в другой, на поскотину, которая начиналась недалеко от дома, и, если никого из соседей видно не было, двигался к поскотине. Тоже — неспешно, будто прогуливаясь. И потом, еще раз оглядевшись и не найдя к себе постороннего интереса, нырял в полоску березничка, окружившего деревню, словно пояском.

Так было раньше. А сейчас Иван прямо от крыльца, нигде не задерживаясь и не озираясь попусту, крупно зашагал через поскотину к леску. Смотрите, соседи, кому шибко интересно. Ему уже все равно. Ничем не испугаешь. Да что там соседи... Иван спиной чувствовал, как смотрят на него в окно сыновья, и все убыстрял шаги, хотелось поскорее раствориться среди деревьев, чтобы не жгли ему спину сыновние глаза.

Скоро он шел уже среди берез, но легче ему не стало, наоборот, начало чудиться, что за ним кто-то идет следом. Уж не из сыновей ли кто? Неужто Васька не вытерпел и решил последить? Нет, сыновья на такое не пойдут: ни Васька, ни Мишка — гордые. Но кто же тогда? Если это не мерещится.

Солнце еще висело на ладонь от земли, косо высвечивало стволы розоватым, в березнике было светло — далеко видать. Иван оглянулся, но никого позади себя не различил, как ни вглядывался. Может, на самом деле пригрезилось? Так нет. Пока он стоит на месте и прислушивается — тихо, а лишь двинется дальше — и из-за спины слышно, как потревоженно шуршит трава, похрустывают сухие веточки под чужими шагами. Кто же это там такой любопытный? Посмотреть бы на него.

Иван решил схитрить. Он зашагал быстрее, почти побежал, как бы желая оторваться от преследователя, и потом, прыгнув в сторону, притаился за корявым стволом.

Ждать пришлось не долго. Еще и отдышаться не успел, как заметил крадущегося за кустами мужика. Присмотрелся получше — и глазам своим не поверил: Гришка! Брат родной!

— Елки зеленые — попутчик! — почти ласково пропел Иван, выходя из-за дерева и заступая брату дорогу. — И далеко ли собрался? Если не секрет...

Гришка растерялся, виновато заморгал короткими белесыми ресницами. Никак он не предполагал, что его самого подкараулят.

— Да к тебе, — заторопился тот, оправдываясь, косясь на Ивана опасливо. — Вроде как для поддержки...

— Для какой такой поддержки? — спрашивал Иван, положив на братовы плечи тяжелые свои ладони и едва сдерживаясь, чтобы не тряхнуть его хорошенько. — Боюсь, передумаю и из-за меня квартиру не дадут?

— Ниче я не боюсь. Я только напомнить хотел.

— Что напомнить-то?

— Ну, что обнадежил старика. Что пообещал ему. И вообще поддержать в случае чего... Я сначала домой к тебе пошел, а Васька говорит, нету тебя. Ну я и следом, чтоб догнать.

— Догнать... — усмехнулся ему Иван в лицо. — А по кустам прятался, как ищейка.

— Кто прятался? Ты че!

Иван затвердел лицом.

— Я же слово дал. Ты разве не слыхал? Или этого мало?

Гришка понинмающе ухмыльнулся:

— Слово... Мало ли я каких слов могу наговорить. По пьянке. Успевай только слушай...

— Ну вот что, — перебил Иван туго натянутым, металлически позванивающим голосом. — Ты мне хотя и брат родной, а еще нос высунешь, куда не просят, — не обижайся потом. Ой, не обижайся, Гришка, козью жарду сделаю. — Он так сжал брату плечи своими цепкими пальцами — кости хрустнули.

И, не оглядываясь, двинулся дальше.

Узенький лесок этот уже заметно редел, сквозь него проскакивало поле с черной полосой пахоты, порывами доносился гул двигателя. Скоро Иван увидел, как издали, вывернув из-за березового островка, тащился трактор, влохот за собою бледное облачко желтоватой пыли.

— Соби пахать, — мысленно усмехнулся Иван, идя по полю к березовому колку и наверняка зная, что из калитки за него таращится сменщик. — А в этом ничего страшного и нету. Земля — она и есть земля, чтоб ее пахать. И глаза он перешел вспаханную полосу, словно траншею, так и забыл сразу о Гришке, о сменщике, будто их на свете не было.

Теперь он ступал медленнее, шурша жухлыми листьями и слыша в себе печальную музыку, которая все эти дни жила в нем, то замолкая, то звуча снова. Глядя в



просветы между березами, ощущая гулкие удары крови в висках, искал глазами Веру.

Она любила появляться неожиданно, всегда не с той стороны, с которой он ее ждал, и Иван никак не мог к этому привыкнуть. Вот и сейчас ожидал ее увидеть со стороны Сосновки, а она оказалась за спиной. Мелькая между тонкими стволами, рыжеволосая, длинноногая, Вера легко бежала к нему в светлом нарядном плащике. Она будто летела над землей, не касаясь ногами ни опавших листьев, ни трав, такая порывистая и невесомая, что у Ивана болезненно сжалось сердце.

Он уже знал: сейчас Вера увидит его и резко остановится, как пугливый зверек. Настороженно оглядит его издали, узнает и уже потом, на пружинистых ногах, приблизится тихо и застенчиво. Стыдливо и неумело, словно впервые, коснется своей ладонью его ладони — поздороваётся, пряча радостные глаза.

— Что же ты в белом плащике в лес приходишь? — спросил Иван с ласковой укоризной. — Запачкаешь или о сучок порвешь. Заругают дома. Да и жалко.

— Но ведь я к тебе иду...

Иван бережно обнял ее, возбужденную и покрасневшую от бега, пригладил рукой растрепавшиеся волосы.

— Чудо ты мое рыжее, неожиданное... Знаешь, ты похожа на какого-то лесного зверька. А на какого — никак не догадаюсь.

— На лисицу, — сказала она, смеясь. — Я ведь рыжая. Мне даже иногда самой кажется, что когда-то давно-давно я была лисицей. Правда-правда так кажется. Я их и люблю поэтому. Ведь они мне — родня. Давай их поищем.

Иван глядел на нее и улыбался, но в его улыбке, наоборот, была глубинная грусть, потому что в зеленых Вериных глазах мелькнул легкий испуг.

— Что с тобой?

— Ничего, — пожал он плечами. — Мне хорошо, когда я тебя вижу. Буто солнышко в душе светит. — И достал из кармана смятый букетик поздних ромашек.

Вера понюхала цветы, которые ничем не пахли, а если и пахли, то соляркой. Проговорила задумчиво:

— Наверное, самые последние.

— Последние, — как эхо отозвался Иван, подумав, что под этим словом понимает гораздо больше, чем она.

Вот ведь как получилось: она с ним встретилась под снежниками, а он с ней прощается осенними ромашками. У нее — весна, вся жизнь впереди, а у него — осень поздняя. Вот какой негаданный, горький смысл обнаружился в цветах.

— Вера, — попросил он тихо. — Поцелуй меня.

Склонив голову набок, она удивленно на него посмотрела, слегка приоткрыв пухлые, влажные губы.

— Ты меня об этом никогда не просил.

— А сейчас прошу.

— Почему?

— Не знаю.

— Разве тебе так плохо?

— Хорошо и так, — сказал он потускневшим голосом. — Раз не хочешь, то и не надо.

Теплой шершавой ладонью она провела по его щеке. Рука ее вздрагивала, и она убрала ее.

— Я не могу... — прошептала с печалью. — Я боюсь к тебе прикасаться. У меня такое чувство, будто я тебя ворую. Ты только не сердись, что говорю это. Ведь это правда. А еще мне кажется, что если поцелую тебя, меня что-то накажет. Обязательно накажет.

— Кто? Бог, что ли? — Иван нашел в себе силы улыбнуться и кожей лица ощутил свою жалкую улыбку.

— Зачем бог... Не бог, а что-то другое. Которое не терпит неправды. Ведь есть же что-то такое на свете, — Вера повела рукой вокруг себя, — в деревьях, в траве, в листьях, в земле, в небе, в воде — везде. Которое следит, чтобы все правильно делалось. Может, это сама жизнь, не знаю, но есть.

— Ты хорошая, Вера, — проговорил он задумчиво. — Лучше меня, чище, — и заметил на обнажившейся ее руке чуть повыше запястья темный кровоподтек.

— Что это? — похолодел Иван.

— Мамка...

— Из-за меня? — И ждал ответа, пристально глядя в ее темные глаза, затаив дыхание. Но никаких слов не дожидаясь, приник губами к ее руке, почувствовав соленый вкус крови.

Внезапно Вера выдернула руку, напряглась.

— Смотри! Вон они!

Иван поднял затуманенные глаза и увидел лисиц, которые выскочили из кустарника, будто кто-то их спугнул, и катились по желтой стерне к низкому красному

солнцу, уже коснувшемуся раскаленным краешком горизонта. Самец бежал немного позади самки, не вырываясь вперед и не отставая, как привязанный, и Ивану подумалось, что он нарочно так бежит, прикрывая сзади подругу от всякой случайности. Пальни в них сейчас картечью, и весь заряд придется ему.

Расстелившись по полю, лисы уходили к красному солнцу, и сами они были красные от закатных лучей, будто два маленьких солнышка катились к большому. Сильные и вольные звери, живущие как велит природа, они скоро слились с солнцем и так же, как солнце, угасли, отчего на поле стало холодно и пустынно.

Люди проводили их долгим, мечтательным взглядом.

— Были бы мы лисами... — прошептала Вера. — Побежали бы далеко-далеко, к самому солнцу. Верно ведь?

— Верно...

— Мне всегда снится, что я куда-то бегу и бегу, в какие-то новые места. А проснусь — где была, там и осталась... А знаешь, что мне сейчас показалось? — заговорила Вера с тревогой. — Лисы как-то странно бежали. Будто насовсем отсюда уходили. Вдруг они больше сюда не вернуться?

Иван промолчал и обнял ее. Но Вера, высвободившись из его объятий, к чему-то прислушивалась. В кустах, уже накрытых сумерками, что-то прощуршало и затихло.

— Слышишь? — прошептала Вера испуганно. — Там кто-то есть.

— Никого там нет, — ответил Иван как можно спокойнее.

— Как это никого? А шорохи? Словно чьи-то шаги.

— Может, теленок из деревни забрел.

Иван нашарил под ногами тяжелый, влажный сук и, вкладывая в размах всю свою боль и злость, с силой запустил в кусты. Там кто-то невидимый шарахнулся, затрещал валежник и затих в отдалении.

— Я же говорил — теленок.

Стоял, тяжело, надсадно дыша. И уже понимал: пора.

Вера тоже встала, с тревогой заглянула ему в глаза.

— Ты сегодня не такой, как всегда, — прошептала тихо.

— А какой? — спросил он натужно.

— Не знаю. Но не такой. Я же вижу.

Иван опустил голову, помолчал и с хрипотцой вдруг спросил:

— Вера, я тебе нравлюсь?

— Зачем спрашиваешь? Ты же знаешь...

— И чего ты во мне нашла? — проговорил Иван холодным и унылым голосом. — Я ведь старый для тебя.

— Ты добрый и сильный, — улыбалась Вера в темноте. — И руки у тебя нежные.

Через силу усмехнулся:

— Какие там нежные... Железо только и привыкли держать. Тебе, Вера, не такой нужен. Помоложе. Есть же у вас в совхозе хорошие парни... — проговорил и задавленно умолк. Голосу не хватило. Да и не его это были слова, чужие. Язык противился их выговаривать.

Вера отстранилась, напряженно всматривалась в его лицо.

— Вера, знаешь... — начал Иван, но она не дала ему говорить, прикрыла его губы теплой, вздрагивающей ладонью.

— Не надо... Я знаю... — Иван вдруг почувствовал на щеке едва уловимое прикосновение ее мягких губ. — Это тебе на счастье.

— Какое теперь счастье, — проговорил он с надсадой.

— Прощай... Мы с тобой когда-нибудь встретимся. Только не в этой жизни. В другой, через много-много лет. Когда станем лисами, — она улыбалась. — Ладно? Ты будешь надеяться?

— Буду, — почти простонал он.

— Я тоже... Мы узнаем друг друга...

Это были ее последние слова.

Иван, оцепенев, стоял и смотрел, как медленно таяло в темноте светлое пятнышко Вериного плаща, и этот слабеющий свет раздробился в его глазах на мелкие осколки. Он долго стоял недвижимо, облокотившись о ствол березы, и даже не двинулся, когда осторожно к нему приблизился Гришка и стал дожидаться, пока брат придет в себя.

— Все... — проговорил Иван отрешенно и взглянул на брата. — Теперь тебе будет квартира. Можешь гарнитур покупать.

— Отшил? — оживился Гришка. — Ну вот, теперь ты человек. И правильно, что отшил. Не вешайся на

чужого мужика. Обещал — и сделал. Только че так долго? Сказал бы сразу: так, мол, и так, поигрались и хватит. А то рассусоливал про цветочки. Руку гладил.

— Помолчи лучше. А то двину я тебе, — пообещал Иван.

— И так чуть не угробил. Возле виска просвистело.

— А зачем высовывался?

— Ну как зачем? — Гришка ухмылялся в темноте. — Интерес взял, что ты с ней будешь делать... Вань, у тебя с ней хоть было?

— Что было? — не понял Иван и с недоумением глянул на брата.

— Ну... это самое. Девка-то конфетка. Само то.

Иван посмотрел на него с жалостью:

— Ни черта ты не понимаешь.

— Где уж мне понять, зачем мужик к девке ходит, — хмыкнул Гришка, но Иван на его слова не обратил внимания.

Сказал глухо:

— Нехорошо мне. Будто убил кого.

— Кончай, Ваня! Ты что! — осуждающе заговорил тот. — Неужто так можно убиваться? Я из-за своей жены так не переживаю, как ты из-за девки. Не-ет, я со своей — мертво. Чуть она на меня окрысится, я тихо-мирно к какой-нибудь бабенке на вечерок. — Гришка заговорщицки хихикнул. — Сделаю что надо — и домой, как огурчик. Улыбаюсь жене, а сам думаю: вот так, дорогуша. А не раскрывай рот на мужика. Да к одной и той же не хожу. Они ведь привязчивые, чисто кошки... Слышь, пойдем ко мне. У меня в огороде бутылка спрятана под ботвой. Вернись, жена диву дается, — с удовольствием рассказывал Гришка. — Сижу, значит, дома. Трезвый — как дурак, аж самому тошно. Ну и это... в огород, значит, выйду, будто в уборную, а вертаюсь уже нормальный. Всего-то на пять минут выйду, а домой иду честь честью. Ветром качает. Баба ничего понять не может. Батя тоже. Пойдем, врежем маленько.

Иван помотал головой.

— Мне с этого еще хуже будет.

— С водки-то хуже? Даешь...

— Не полезет она в меня.

— Ну гляди, я ведь хочу как лучше.

— Ты вот что, — сказал Иван, — иди-ка домой.

А я посижу тут.

— Очумел? Как же я тебя брошу? — не согласился Гришка. — Ты ведь мне как-никак брат родной. Я тебя ни на какую девку не променяю. Как некоторые. Давай посидим вместе. Покурим, — он достал пачку папирос и протянул Ивану, но тот рассеянно смотрел на него и ничего не понимал. Тогда Гришка прикурил папиросу и сунул ее Ивану в рот. — Кури, братка. — Закурил и сам. Поморщился. — А лучше бы пойти ко мне в огород. Чего мы трезвые, как дураки? Это бы дело отметить надо. — И, видя, что Иван никак не отзывается, сплюнул с досады. Попытался сесть на пенек, да неудачно — о сучок оцарапал ногу.

«Ну вот и все...» — только и подумал Иван, глядя в густеющую тьму невидящими глазами. Было тихо, и в этой тишине он слышал, как неустанно рокотал трактор где-то на той стороне колка да негромко матерился Гришка.

4

А сменщик оказался прав.

Никуда Иван не делся, так же пахал зябь, как и раньше. Помучился и успокоился. В семье у него налаживалось: Мария выздоравливала, и сыновья уже не дичились его. Портрет на аллее передовиков опять появился — между отцом и Гришкой. Но, проезжая на своем тракторе мимо совсем оголившегося березника, возьмет и посмотрит на то место, где весной Вера преподнесла ему подснежники. В самом тайном, неизвестном ему самому уголке души теплилась неистребимая надежда, что если не на этом круге, то на каком-нибудь другом мелькнут на краю поля рыжие волосы, похожие на пламя костра. И хотя он понимал умом, что никого он не увидит тут, на холодном, пустом поле, с которого улетели даже птицы, что и ждать-то ему нечего, а все же нет-нет, да и оглянется помимо воли на то место.

Оглянется — и дальше. Закладывать новый круг.

## ТРАМВАЙЩИЦА

1

Давка на остановке была такая, что даже ко всему уже привыкшая Шура раздраженно повела плечами под полушубком на своем кондукторском месте.

— Ох и мялка... И откуда они только берутся? — проговорила низким хрипловатым голосом, злясь на себя, на пассажиров, на осатаневшие морозы, которые не появлялись всю зиму, а теперь вот в конце февраля навалились и лютуют, будто наверстывают свои погодные планы.

Еще какую-то неделю назад Шурина хозяйка, тетя Фрося, говорила нараспев: «Сиротская ноне зима стоит, легкая» и благодарно смотрела вверх, на лениво-мягкий закат, обещающий теплую, тихую погоду, крестилась на телевизионные антенны соседнего пятиэтажного дома. Напомнить бы сейчас ей про сиротскую благодать да ехидно понаблюдать, как постно подождет губы хозяйка!

Люди лезли в вагон с отчаянной торопливостью, мешая друг другу. Сизый морозный пар, обгоняя их, застрявших в дверях, тянулся в трамвай, клочковато стлался над головами.

Шуру оттеснили к серому, мохнатому от снега стеклу окна, и она локтями оберегала сумку с мелочью и катушкой билетов, чтобы в давке не растрепали.

«Ну сегодня тетя Фрося пуговиц насобирает!» — мстительно думала она, потирая голые, одеревеневшие пальцы о железный дырчатый ящик едва теплого обогревателя. Пальцы не гнулись и ничего не чувствовали. А ведь у Шуры были недавно хорошие варежки. Из белой чесаной шерсти, толстенькие и теплые, как котятка. Их под осень из деревни прислала мать, заботливо предусмотрев холода.

Полюбовалась варежками Шура, повздыхала, представив, как терпеливо сидела мать вечерами, близоруко склонившись над вязаньем. К щекам варежки прижала, заочно вняв перед матерью, и обрезала их почти наполовину, чтобы пальцы были оголенными, как у других кондукторов. Ведь так удобнее отрывать билеты и считать деньги. На что стали похожи ее варежки! Поистерлись, обремкались по краям, а пальцы беззащитно

белели снаружи, скрюченные холодом. Ледышки и только...

Мать была мастерица вязать. Когда Шура жила еще там, дома, мать связала ей сиреневую кофту, которая ненадеванной пролежала в сундуке полгода. Шура берегла ее для города. Если в избе никого не было, любовно доставала кофту и примеряла перед зеркалом. Примеряла и видела себя в чистой городской конторе. Почему именно в конторе — не знала, и чем заниматься будет в конторе — тоже не представляла, лишь верила: работа в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди будут окружать приятные и веселье... Да только зря кофточку берегла... Поистерлась она под шубой, вылиняла от частых стирок. Поглядела бы мама...

Пассажиры уже лепились в дверях, пытаясь за что-нибудь уцепиться, и надо было срочно давать отправление. Но не успела Шура дотянуться до черной кнопки сигнала, как вагон дрогнул и, натужно скрипя колесами по заснеженным рельсам, потащился дальше. Видно, Галка в своей водительской кабине поняла: помедли еще, так и на крышу полезут, не посмотрят на мороз.

И люди уже бежали за трамваем, цеплялись за скользкие поручни, мостились на подножках, но им мешал бугор спин, и они отставали, терялись, как призраки в синеато-дымном позднем рассвете.

— Рассчитаемся, товарищи! — громко и хрипло сказала Шура, оглядывая туго набитый вагон и понимая, как нелегко будет всех обилетить. — Кто вошел в переднюю дверь, передавайте на билеты! — И, запустив руку в сумку, призывно побренчала мелочью, по опыту уже зная, что звон этот побудительно действует на людей и те начинают искать мелочь.

— Эй, там... которые на подножке... передавайте деньги, не стесняйтесь! — покрикивала она, отогревая дыханием совсем заочневшие, недвигающиеся пальцы.

— Успеем, — глухо ворочались мороженые голоса.

— Еле держимся. Шевельнуться нельзя, — неслось с подножки.

— А вы поднимайтесь в вагон. Нечего виснуть! — Шура надеялась, что перед следующей остановкой Галка тормознет порезче, и пассажиры сами собой уплотнятся.

— Вы бы работали как следует! — нервно крикнул интеллигентный мужчина в очках, повернув лицо на



голос кондуктора. Шуру видеть он не мог, потому что очки его заиндевели, а протереть их мужчина и не пытался: со всех сторон сдавили, рукой не шевельнуть. — Безобразие! Вечно из-за вас на работу опаздываем! — И беспомощно крутил головой в шапке-пирожке. У него и мочки ушей были неестественно белы, видать, морозом прихватило, пока ждал трамвай, и Шура в душе пожалела его.

— Ну и порядки у вас в трамвайном управлении, — возмущались голоса. — Никакого порядка!

— Что хотят, то и делают, — безнадежно уронил кто-то.

— Мы не виноваты, что такой мороз, — звенела медяками Шура, быстро отрывая билеты. — Только что две сцепки в депо ушли: воздушные трубки замерзли!

Она не обижалась на ворчливость пассажиров. Пускай хоть этим утешатся. Больше нечем.

На нижней ступеньке открытой двери стоял мужчина с поднятым воротником пальто. Ехал явно зайцем и брать билет не собирался. Таких Шура распознавала даже со спины.

— Вы рассчитались? — спросила она.

Но тот не двигался, будто и не слышал. Тогда Шура протянула руку в обрезанной варежке и тронула мужчину за плечо.

— Покажите билет!

— Я сейчас схожу, — буркнул не оборачиваясь и нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Какое мне дело, сходите или не сходите! — гневно сузились зеленые глаза кондуктора. — Давайте платите, а то увезу и сдам в диспетчерскую. Совсем стыд потеряли!

— Вот пристала, — зло процедил воротник. — На, подавись... — и передал теплую пятнадцатикопеечную монету. Наверное, долго ее грел в руке, берег.

— Совесть нет! — вскинулась Шура. — Я что, себе эти деньги собираю? Трамвай — не частная лавочка. Он государственный!

— Ладно, слышали. Давай сдачи.

— Ничего вы не слышали! Из-за таких и план сроду не выполняем! Без премии сидим. Вот возьму сейчас да обилечу на всю монету. Другой раз неповадно будет! — И, размотав катушку, оторвала целую ленточку.

— Ух ты, шмакодявка, — сдавленно зашипел тот,

судорожно дергая ртом и не находя слов. — Ну, я тебе сделаю...

— Чего ты ей сделаешь? — недобро спросил вдруг молодой басистый голос. Высокий парень в белой пушистой шапке протискивался к дверям. — А ну, покажись!

— Глядите, защитничек нашелся. — хмыкнул воротник, обернувшись к пассажирам. — Трамвай по часу ждем, да еще и не скажи им.

Вагон тем временем остановился. Висевшие на подножках прыгнули, пропуская выходящих.

— Выходи, — сказал парень твердо.

— А может, я дальше ехать хочу.

— Ишь ты, — ехидно рассмеялся кто-то. — А говорил сейчас схожу.

— А я теперь назло дальше поеду!

— Гуляй пешком, так дешевле, — грубовато сказал парень и, поднажав плечом, вытолкнул мужчину из вагона на скрипучий снег остановочной площадки.

— Правильно, — одобрительно загудели пассажиры. — При чем кондуктор, если трамвай ломаются? Он такой же рабочий.

Вагон тронулся. Мужчина бежал рядом с дверью, пытаясь уцепиться, но стоявшие на подножке не давали места, и он отстал.

Пассажиры смеялись над воротником, но Шуре было невесело. Она вздохнула и глянула на парня, который так и остался у дверей, ожидая своей, видимо, близкой остановки.

У него было круглое, совсем еще молодое лицо. Над верхней, слегка вздернутой губой чернели усики, которые лишь резче подчеркивали его молодость. А глаза с неостывшим еще гневом были синие-синие, отчаянные.

«Так редко бывает, — подумалось Шуре, — чтобы у смуглого и синие глаза. Это очень красиво и неожиданно».

Когда парень вышел из вагона, Шура оттерла варежкой полосу стекла и глядела, пока стекло не заплыло наледью от ее дыхания, как бежал он в коротком спортивном пальто к подъезду института, смешно балансируя портфелем.

Шура прошла по морозно скрипевшей тропке тесного дворика и поднялась на крыльцо. Обмахнула валенки растрепанным голиком, но заходить в комнату не спешила. Намерзнув за день, любила постоять на крыльце минуточку-другую, вобрать в себя побольше холода, а потом сразу в тепло к уютно потрескивающей печке. Любила сидеть на корточках перед открытой дверцей, оттаивать. Тепло мягко смывает с рук и лица корку холода, нежит и убаюкивает.

Над трубой дыбится дым, тянется белым стволом в бесцветное, вымерзшее небо и там теряется. Значит, Галка дома. Шура пнула валенком желтую поленицу возле крыльца. Несколько полешек дробно свалились под ноги.

Этот занесенный снегом дворик на окраине города чем-то неуловимо напоминал уголок ее тихой деревни. Так же горбится черный лесок невдалеке, так же петляет ленивая речка, теперь затерявшаяся подо льдом. Только над ветхими соседними избами, доживающими последнюю зиму, громоздятся пятиэтажки, веселя глаз нарядным синим, красным и желтым шифером на балконах.

«Получить бы там однокомнатную», — подумала Шура и тяжело вздохнула. Надоело ей жить на частной. И хотя у них с Галкой отдельный ход от тети Фроси, все равно не дома, хозяйкой себя не чувствуешь. Да и дорого. «А вот Галка, наверное, скоро получит такую квартиру, — подумалось завистливо. — Замуж выйдет, дадут. Семейным дают быстрее», — и поглядела вверх на огненные стекла окон, в которых плавилось уходящее солнце.

На верхушке голого тополя перед домом, нахохлившись, сидели вороны. Шура подняла ледышку, бросила. Но вороны даже не шевельнулись. Кому охота махать крыльями в такой мороз. «Птицам тоже трудно», — почувствовала Шура, собрала полешки, различив тонкий смолевый запах. Дрова в деревне точно так же пахли. Свободной рукой потянула дверь на себя.

Но смолевый запах сразу увял, лишь прикрыла она за собой скрипучую дверь: в комнате было накурено. «Видно, Галка со своим», — досадливо мелькнуло в голове. Но она ошиблась.

На табуретке возле стола, закинув нога на ногу, сидел Володя, не мужчина, но уже и не парень, с сильно поношенным лицом и курил тонкую папироску, стряхивая пепел в конфетную обертку. Перед ним зеленела початая бутылка водки, лежал кулек с рассыпанными недорогими конфетами.

— Ты? — слегка удивилась Шура, не обрадовавшись и не огорчившись. Бросила к печке дрова, отрянула полушубок от приставших комочков снега и подула на пальцы.

Володя улыбнулся линялыми глазами и налил полстакана.

— Погрейся с морозу-то.

— А-а, давай! — Шура отчаянно махнула рукой. Пить она не очень-то любила, но сейчас, после холода и усталости, после трамвайной нервотрепки, водка обещала спокойствие и легкость.

Она выпила, знобко передернулась. Володя протягивал развернутую конфету — закусить.

— Где Галка? — спросила, вешая шубу на гвоздь у двери.

— Известно где. На свиданке! — Володя тоже выпил и, не закусывая, дышал открытым ртом. — Вон тебе записку оставила.

Шура взяла с тумбочки листок бумаги, свернутый пополам, пробежала глазами. «Шурчик, ночевать не приду. Можешь закрываться. Не скучай. Галка».

Бросила записку на стол, потеряла ладонями пылающие щеки. Вязаная кофточка сиреневого цвета очень шла ей. Короткие светлые волосы подчеркивали стройность. Продолговатые зеленые глаза были еще темны от холода, задумчивы.

— Хочешь еще? — вдруг спросил Володя, обняв пальцами бутылку.

— Нет... — Присела на корточки перед печкой, щепкой отворила дверцу. По волосам, по лицу плеснули красные блики, глаза вспыхивали зелеными искрами.

— Галка замуж выходит, — сказала она с задумчивостью, глядя на близкий огонь.

Володя равнодушно пожал плечами и вдруг поморщился.

— Чуть концы не отдал, — проговорил он глухо, разглядывая этикетку бутылки. — Сидели в вагончике, анекдоты травили. Мороз-то, сама знаешь, с градусом.

Думали, прокантуемся до пяти, тариф все равно запла-  
тят. — Он покачал бутылку с боку на бок, раздумывая,  
налить или еще подождать. — А тут прораб вваливает-  
ся. Кран, говорит, надо монтировать. Наряды по ава-  
рийной... Ну, мы поздрей повели — дело мужик пред-  
лагает калымное. Полезли. А там, на верхотуре, аж до  
печенки продирает. Да еще ветер сечет. Думал, околею.

— Не околея? — спросила Шура хрипловато, заня-  
тая своими думами.

— Кто? Я-то? Не-е, сбегали в ларек, водярой срав-  
няли градусы. Снаружи сорок и внутри сорок. Только  
так... — рассмеялся через силу, смял окурок в пестрой  
конфетной обертке. Спросил: — Ты чего сегодня та-  
кая, а?

— Какая? — подняла непонимающие глаза.

— Как неродная.

— Че попало... — пробормотала растерянно и под-  
нялась. Сбросила валенки, влезла на кровать, закутав  
ноги концом одеяла. Смежила веки. Хорошо так ле-  
жать. Уютно потрескивала печка, поленья перед дверцей  
оттаивали, наполнили комнату запахом смолы, леса.

— А Галка если замуж выйдет, уволится с трам-  
вая, — сказала сонно. — Так и сказала: сразу заявле-  
ние подам. Посижу с недельку дома, а потом куда-ни-  
будь на фабрику, в тепло.

— Ну и что? — спросил Володя, поднимаясь.

— Да ничего... — потерла пальцами усталые глаза,  
стала разглядывать Володин старенький пиджак с мя-  
тыми отворотами, с лоснящимися, вытянутыми локтями,  
глянула на его стоптанные, по-деревенски подвернутые  
кирзовые сапоги, на припухшее лицо с двухдневной ры-  
жеватой щетиной.

Вспомнилось Галкино: «И не жалко тебе себя на  
этого замухрышку тратить? Сравни: какой он и какая  
ты. Аж зло берет». Да и на самом деле, что хорошего  
в Володьке, который всю жизнь мотается где придется,  
ни на какой работе долго не держится? Скитается по  
чужим квартирам. Где поглядят, туда и идет, как соба-  
чонок шалопутный, бесхозный. «Вот приблизился ко мне.  
А какой от него прок? — ворочались в голове тяжелые  
мысли. — Уж лучше одной. Тепла от него все равно ни-  
какого...»

И слушала его осторожные шаги по комнате. Не ре-  
шительные шаги, не хозяйские. Отец, бывало, дома, на

улице, в гостях ли обдуманно, по-мужицки прочно ста-  
вил на землю ноги в крепких, тоже кирзовых сапогах.  
Шагнет — и как припечатает. Не сшатнешь. Хозяин.  
А этот ногами едва пола касается, будто крадется. Вот и  
ходит, и мается, и одно у него на уме: как бы к ней, к  
Шуре, под бок подвалиться. Косится на выключатель, а  
подойти погасить свет, духу не хватает. Крадется и буд-  
то собирается украсть. И то правда: ворует он ее, Шуру,  
у другого парня. «Может, даже у студента с летними  
глазами», — вдруг вспомнила она.

И стала вспоминать, как так вышло, что этот потер-  
тый и весь измятый Володька, в котором и мужского-то  
ничего нет, бродит возле ее кровати, нервничает от  
своей неуверенности и курит. И хотя подбодрил себя  
водкой, а все равно бонется, что оттолкнут. Бонется и  
ждет, ждет и бонется.

### 3

А началось все с петуха. Зычно прокричал петух  
где-то совсем рядом. Шура от неожиданности даже  
вздрыгнула. Она сидела тогда на крыльце и думала, что  
вот теперь придется ей жить без отца, без матери среди  
совсем чужих людей. Было тревожно и сиротливо. Услы-  
шала петуха и обрадовалась, поднялась с крыльца,  
оглядывая незнакомый еще дворик тети Фроси. Но все  
тесное пространство, обнесенное серым, растрескавшим-  
ся штакетником, было совершенно пустым. В углу дво-  
ра к забору прилепился сарайчик, на его дверце висел  
ржавый замок.

Куриц нигде Шура не увидела, как ни оглядыва-  
лась. Да и от хозяйки про кур не слыхала. Однако пету-  
шиный крик вновь раздался, поражая своей близостью.  
Голос петуха был громок, красив стройным пучком зву-  
ков. Зычный, мужественный крик.

Шура озадаченно вертела шеей, пытаясь обнаружить  
невидимого, но близкого певца. За двориком светлел  
редкой полынью пустырь. Там громоздился пятиэтаж-  
ный дом с балконами, похожий на все остальные дома.  
Их невозможно отличить один от другого. Но когда пе-  
тух прокричал еще, Шура проследила звук и, задрав  
голову, увидела на балконе пятого этажа шелковисто-  
белого петуха. Он гулял за высокой решеткой, время от  
времени что-то склевывая с бетонного пола. Несильный

верховой ветерок перебирал перья развесистого хвоста, расцветчивал их золотисто.

— Че попало... — пробормотала Шура в изумлении. И она очень обрадовалась петуху, потому что он напомнил ей родную Лебяжиху. Зашевелилась тоска по дому, затуманила зеленые глаза. Дома сейчас такой же ранний вечер. Коровы домой возвращаются с поймы Оби. Идут, пылят по улице, мычат от близости своих дворов. Животные ведь, а свои дворы знают, с чужими не путают. Довольны: домой пришли. И над всей Лебяжихой висит густой запах парного молока, теплой пыли, взбитой копытными, и горьковатого и такого сладкого дыма летних кухонь. Голова кружится от родности этого запаха.

Мать стоит у приоткрытой калитки, манит Пеструху ведром с пойлом в стайку, где уже чадит сырой тальник от комаров, зовет ласковым, добрым своим голосом:

— Ну иди, милая, иди, кормилица наша...

А Пеструха удовлетворенно мычит, идет медленно, несет с осторожностью тугое, полное вымя...

Маленькая у нее мать, морщинистая, по-старушечьи белым платком повязана. Сколько помнит Шура мать — всегда она в нем, будто и молодости у нее не было. Отцу никогда слова поперек не скажет, все тихонько да покладисто. Обстирывала, обшивала, кормила ораву ребятишек без крика и шума.

Принесет ли ей Шура воды из колодца, поможет ли белье в речке прополоскать да валиком выбить, та ласково: «Спасибо, доченька». А ей кто сказал «спасибо» за то, что всю свою молодость на них извела? Нет, наверное. А где она, эта орава теперь? Все разлетелись по далеким городам, поминай, как звали. Одна Валька, младшая, еще пока при матери. И то потому, что крылья не выросли.

Ясный месяц загляделся в горенку твою-ю,  
королевичу ты снишься в далеком краю-ю...

Будто и сейчас слышит Шура тихий материн голос, видит мать, сидящую у ее изголовья в белом старушечьем платке. В избе полумрак. За печкой сверчок пилит, как заведенный. Шершавые, теплые руки поправляют одеяло у плеча, и так хорошо от их прикосновения, так душа млеет, что плакать хочется.

Станешь ты красивой кралей, баюшки-баю,  
королевич приласкает головку твою-ю...

Вот так же мать стояла у калитки, когда Шура уходила к леску, где находилась железнодорожная станция. Помнится, далеко Шура отошла от своего двора и оглянулась. Дом уж слился с другими домами, а далекий платок матери все белел и белел, как маячок. Такой в памяти и осталась мать — стоящей у калитки, грустно и покорно глядящей дочери вслед. Будто за девятнадцать лет жизни другой Шура ее и не видела.

На балкон вышел старичок, что-то посыпал из ладони на пол.

Потом выглянул мальчишка лет шести, карапузик в красной рубашке, и стал смотреть, как петух стучит клювом по бетону.

У Шуры был выходной, и она изнывала от безделья. Галка, ее новая подруга, ушла на всю ночь. Накрашенная, расфуфыренная, счастливая, она так загадочно улыбнулась на прощанье, со взрослой снисходительностью потрепав ее по лицу. Тетя Фрося с обшарпанной кирзовой сумкой подалась на барахолку. В сумке у нее — пуговицы, нашитые на картонки. Хозяйка работает техничкой в депо, моет по ночам трамваи, а заодно и собирает по вагонам пуговицы. Не пропадать же добру.

Сидела Шура на крылечке и скучала. Других подруг еще не завела, кроме Галки, а идти в город одной не хотелось. Подумала-подумала, да и пошла потихоньку к пустырю, где строились новые дома. Путь ее пролегал мимо обжитого пятиэтажного, и там встретила она старичка, что кормил петуха на балконе.

Старичок одет был празднично. Дешевый серенький костюм сидел на нем мешковато, видать, не часто надевать его приходилось. И по тому, как одет старичок, и по бурому, обветренному лицу, она признала в нем деревенского человека, скучающего без привычного окружения.

— Это ваш там петушок? — приветливо спросила Шура, показав рукой на высокий балкон.

— Мой, — остановился старичок обрадованно.

— Хороший петух. Поет страсть как красиво.

— Такой петух один на все село был, — разгладились морщины деда, и глаза молодецки засветились. — Что



петь, что подражаться — самый первый. Бедовый петух, ой бедовый!

— А зачем вы его в город-то?

— Вишь какое дело, сын у меня тут живет, — старик близоруко, из-под руки стал смотреть на дом, пытаюсь найти балкон сына, но все балконы были одинаковые, он не нашел, махнул рукой. — На заводе тут токарем работает. Квартиру, вишь, вырешили, потому как семья: жена да сын. Вот я и приехал поглядеть, как они тут. Еще когда собирался, старуха все долдонила: поговори, дескать, может, Иван назад воротится.

— Обрати в село?

— Ну а то как? Мы, вишь, старики. Случись чего с нами, он и не узнает. Иван у нас один, остальные-то сыновья, старшие, с войны не воротились. Вот мы и хотим его, значит, назад. А чего? Дом у нас справный. Всем места хватит. Жить бы нам с молодыми да парнишку нянчить. Чего его в садик таскать, к чужим людям? Одним словом, вертаться Ивану надо. Директор совхоза, Артемий Кузьмич, мужик-голова, обещал в случае чего дорогу оплатить. Потому что больно уж хороший он токарь. Ну а петуха привез, чтоб Ивана домой потянуло. Мальчишкой он, бывалочка, все с друзьями петухов стравливал — чей побьет.

— Ну и как? — Шура немного повеселеда от разговора.

— Чего как? — не повял старик.

— Сын-то, говорю, поддается?

— А-а, куда там! Только петух зря изводится. Какая ему на балконе жизнь? Ему по двору гулять надо, курочек топтать. А тут... ни подражаться, ни чего. Куриц опять же негу. Извелся петух, глядеть жаль.

— Ну вас, бабушка... — смутилась Шура, обходя старика.

— Ишь ты, фифа, — укоризненно сказал вслед старичок. — Застеснялась. А чего стесняться-то? Животная она и есть животная.

Недалеке гудел башенный кран. Там строился еще один дом. Шура села на штабель свежих сосновых досок, обняла руками колени и стала смотреть, как медленно ползет вверх серая панель, подвешенная за крюки. Доски нагрелись за день, были теплы, струили сладковатый дух соснового бора. Сидела, вдыхала запах леса, слушала гуденье крана в высоте и негромкие голоса

рабочих на этажах. Потом наблюдала, как ползали по доскам рыжие лесные муравьи. Тыкались туда-сюда, не знали, куда податься.

— Не меня ждешь? — услышала вдруг тихий, улыбочивый голос.

Шура подняла голову. Перед ней стоял парень с блеклыми глазами, в рабочей замасленной куртке. Он курил тонкую папироску и разглядывал Шуру заинтересованно.

— Нужен ты мне...

— А чего тогда здесь сидишь?

— Просто сижу и все. Если нельзя — уйду, пожалуйста. — Она поднялась с досок, отряхнула юбку и хотела уйти, но парень загородил ей дорогу. Шура могла бы отстранить его, сказать ему пару ласковых, но отчего-то не отстранила и не сказала. Опустив глаза на пыльные кустики полыни, чего-то ждала.

— Как тебя звать? — спросил он, улыбаясь.

— Не имеет значения.

— Ух, какая! А может, я интересуюсь. Может, понравилась.

— Пустые хлопоты.

— Эй, Володька! — кричали рабочие с этажей. — Кончай свататься, раствор подавай! — Они стояли на крыше, выглядывали из оконных проемов, толстенькие в своих брезентовых робах.

— Иду! — отозвался парень, не глядя на них.

Рабочие его больше не торопили, им, видимо, хотелось посмотреть, как «сватается» Володька, и этим разнообразить трудовой день. Они закуривали и вполголоса отпускали шуточки.

— Ты не уходи, — сказал Володька. — Скоро у меня смена кончается. Погуляем, а? — Он смотрел на нее просительно и жалобно своими лисячьими глазами, а улыбка у него была беззащитная.

— Не обязательно, — ответила Шура, хотя мысленно пожалела Володьку, и пошла прочь. Ей не хотелось, чтобы ее вот так разглядывали со всех сторон.

— Слушай, ты придешь еще? — Володька мучился оттого, что всю эту сцену его товарищи видели и будут теперь долго потешаться над его неудачливостью.

Шура обернулась и пожала плечами. Она не знала, придет или нет. Парень был невысокий, серый какой-то, словно выцветший, и редкий чубчик неопределенного

цвета. Ей же нравились ребята высокие, стройные и чернявые. Она изучающе поглядела на Володьку, а он под ее взглядом стоял упрямо нахохлившийся, уже немного злой. Глаза сиротливые, необласканные, не много хороших слов он слышал. И Шура вдруг пожалела его. Она улыбнулась ему, легонько, одними уголками припухших губ, мимолетно, но обнадеживающе, и быстро пошла к себе домой, почти побежала.

Шура не вспоминала про Володьку, но через неделю почему-то пришла сюда снова. Штабеля досок уже не было. На черной, еще не оправившейся от тяжести земли тянулись запоздалые, бледные стебли трав. Долго они пробивались в темноте между досками и теперь, почувствовав простор, торопились нагнать ростом высокую зеленую траву. Зато на разровненной площадке перед новым домом светлели деревянные грибки для будущих жильцов-ребятишек.

Шура села на низенькую скамеечку под грибом, опустив ладони на шелковистую поверхность древесных волокон, отполированных рубанком. Маляры еще не успели истребить смолевый дух, и Шура с удовольствием вдыхала его. Закрыв глаза, девушка ощутила лицом слабое уже тепло низкого солнца. Ей было светло и спокойно.

— Приветик!

Перед ней стоял Володька, часто затягиваясь папирской, и смотрел на нее с откровенной радостью. Шура удивилась, что и на этот раз он появился неожиданно, словно подкрался, шагов она не слышала. А может, не прислушивалась?

— Молодец, что пришла. — Володька сел рядом с ней, но не очень близко — побаивался спугнуть. — Я тебя сразу увидел сверху. Даже гудел тебе. Не слышала?

— Нет.

— Как тебя звать?

— Шура.

— А меня Володька. Вот и познакомились. — Он улыбался ей тихо и осторожно, все же боялся спугнуть. — Никуда не торопиться?

— Да нет, — ответила Шура равнодушно, ковыряя носком туфельки серую землю.

— Тогда ты подожди, я переоденусь. Вон наш вагончик-бытовка. Только не уходи. Ладно?

Шура промолчала. Это Володьку обнадежило, и он, оглядываясь, побежал к зеленовшему неподалеку вагончику, возле которого толпились рабочие — подошел конец смены. Шура смотрела вслед парню и не знала: уйти или остаться?

Прибежал Володька быстро, она так и не успела решить ни в ту, ни в другую сторону. Ей было все равно. На нем был поношенный черный костюм с гнутыми локтями. Ворот белой рубашки казался великоват для его шеи, скорее всего рубашку у кого-то из ребят перехватил. Шура поняла это сразу, окинув его быстрым, по-женски внимательным к мелочам взглядом.

— Куда двинем? — спросил он, отдышавшись.

— Мне все равно.

— Тогда в кино. Хочешь?

Тихий полумрак опускался на город, воздух густел. Медные отблески в окнах домов погасли, и окна стали черными. Откуда-то с новостройки неслась музыка.

— Ты где работаешь? — спросил Володя, заглядывая ей в лицо, и осторожно взял под руку.

— На трамвае. Кондуктором.

— Да-а? — сильно удивился Володька и даже руку ее выпустил на мгновение, но сразу поймал локоть и взял увереннее.

— Не похоже разве? — усмехнулась Шура.

— Не знаю, — замаялся Володя. — И давно?

— Недавно. Я ведь из деревни приехала. Из Лебяжихи. Не слыхал про такую деревню?

— Не-е... А что, плохо там, в Лебяжихе?

— Хорошо.

— А почему уехала?

— Работы нету. Дояркой неохота, а больше идти некуда. И вообще там не так, как здесь. Смех один: клуб третий год строят и никак построить не могут. А вы — вон как быстро.

— У нас — темпы, — солидно отозвался Володя. — Платят хорошо, мы и вкальваем, как надо. Да и кадры у вас там не те. Один к нам в бригаду устроился из сельских, так поверишь, под краном боялся встать. Ему кричат: «Цепляй панель!», а он как вкопанный. Голову вожмет в плечи и стоит.

— Да ну тебя! — Шура сердито выдернула руку. — Сам-то давно городским стал? А туда же...

Возле кинотеатра толпился народ. Еще к кассе не

успели подойти, а уже спрашивали, нет ли лишнего билета.

— Тут глухо, — сказал Володя, прислонясь спиной к афише.

На улице вспыхнули фонари, и вечерний мрак стал отчетливее. Мимо шли люди, задевали Шуру, извинялись, спешили, потому что был уже звонок. Лишних билетов никто не предлагал.

Володя морщил лоб.

— Знаешь что, — сказал он вдруг, — пошли лучше в ресторан.

— Да ну... Неудобно, — замаялась Шура.

— Ты что, поди ни разу там не была? — удивился и вроде даже обрадовался Володька.

— Нет.

— Ну тогда надо сходить. В городе живешь, привыкай! — покровительственно положил руку ей на плечо. И, не дожидаясь согласия, потащил через дорогу.

Перед стеклянной дверью ресторана толпились люди в вечерних костюмах, поглядывали сквозь толстое стекло. Там, будто в аквариуме, плавал раздоченный швейцар, неприступный и важный. Володя постучал ему. Швейцар нехотя подошел, приоткрыл дверь.

— Мне только телеграмму передать товарищу, — Володя торопливо шарил в кармане пиджака.

— Пройдите сюда, — разрешил тот, впуская. — Где телеграмма?

Повернувшись спиной к прозрачной двери, Володя протянул швейцару смятую трешку. Тот неуловимым движением сунул деньги в нагрудный карман ливреи, поплыл в зал, попросив обождать. А воротившись, шепнул:

— Второй столик в первом ряду.

— Со мной девушка, — умоляюще улыбнулся Володя.

— Давай побыстрее, — проворчал тот, снова открывая дверь и сдерживая плечом напирających людей.

Володя схватил за руку загрустившую уже Шуру, потащил за собой. Она еле успевала за ним.

В ресторане было душно, над столами плавали слоненного дыма, пахло столовой и разгоряченными телами.

Пока они шли к месту, Шуру оценивающе разглядывали десятки пар мужских глаз, и ей было неприятно

под оцупывающими взглядами, она чувствовала себя голой.

Села за столик, положила руки на колени, несмело огляделась.

За соседним столиком сидела пара: завитая худенькая девушка и широколицый парень с твердым спортивным подбородком. Он глядел в меню, изредка спрашивая девушку: «Будешь?»

Она согласно кивала головой, глядя на него покорно и податливо, чувствовала свою зависимость.

К ним подбежала официантка, раскрыла блокнотик, прикоснулась карандашиком к бумаге и выжидающе замерла.

— Два сыра, — подмигнул ей парень, — два бифштекса.

— Ну, ну, — торопила официантка, нетерпеливо поглядывая на соседние столики, откуда ее уже звали. — Пить что будете?

— Двести «Экстры». Вишневый ликер ничего? Рекомендуете?

— Очень хороший, дамам нравится.

Подруга парня поднялась и пошла в вестибюль к зеркалу поправить прическу. И пока она шла между столиками, высокая и худая, с тонкими ногами, ее кавалер, прищурившись, смотрел ей вслед, потягивая сигаретку и хмурясь.

Официантка постучала карандашом по блокноту.

— Сколько ликеру?

Парень решительно вмял сигарету в пепельницу.

— Не надо ликеру. Портвейн сойдет, — и, заметив прямой взгляд Шуры, сделал ей гримаску.

— Я пойду, — сказала Шура.

Володька растерялся.

— Куда?

— Домой. Мне надо.

— Ну ты же как неродная? Насилу пробилась ведь.

— Не хочу и все.

— Ладно, тогда подожди меня там, у дверей.

Из вестибюля, где перед зеркалом поправляла прическу худая длинноногая девушка, Шура видела, как Володька, отходя от буфета, заталкивал в карман пиджака бутылку водки. И пошла, не стала его дожидаться. На душе муторно было.

Он догнал ее на улице. Грубовато взял под руку,

шел молча, ни о чем не спрашивая. Так и довел до самого дома. У калитки они остановились и долго молчали.

— Знаешь, — заговорил Володька хрипло, — за день так накачает на верхотуре, голова — не своя, руки как у алкаша... Только вечером и отдыхаешь. Хотелось посидеть с тобой, поговорить. Я же с тобой по-хорошему. Не обидел, ничего такого...

— Мне там не понравилось. Противно.

— А куда еще пойдешь? Не в общагу же ко мне.

Шура поглядела на холодные, темные окна дома. Галка опять, видно, продружит до утра. А она, Шура, хотя гораздо симпатичнее и моложе подруги, будет скучать, ловить за окном звуки чужой жизни да вздыхать. Галка утром придет томно-усталая, загадочная, принесет с собой чужой запах. «Ты не скучала?» — спросит сочувственно, и столько взрослого женского превосходства будет в ее голосе, в каждом движении лениво размягшего тела.

— Хотя бы погреться пригласила, — сказал Володька вдруг дрогнувшим голосом и приник губами к ее щеке.

И Шура не отстранилась.

4

— Старенький уже трамвай, почти дедушка, — Шура сочувственно погладила рукой помаятую, обожженную сваркой во многих местах облицовку. — Дребезжит, скрипит, а едет. Думаешь, вот-вот рассыплется, а он дюжит. Надо же, крепкий какой. Даже удивительно.

— Да уж покрепче, чем вон те красавцы, — Галка обернулась к поблескивающим свежим лаком иностранным вагонам, возле которых сутились слесари, подлаживая что-то. — Не успели на линию выйти и, на тебе, поломались. С нашими их не сравнить. У наших только одни двери ломаются.

— Подкрасить бы сварку-то, — озаботилась Шура, — а то неудобно на обшарпанном ездить по городу, — и потеряла варежками уши. Она чуть не обморозила уши, пока бежала в депо.

— Дуреха! — снисходительно и жалеючи усмехнулась Галка. — Без ушей останешься, кто полюбит?

— А-а, обойдусь! — Шура беззаботно махнула ру-

кой и подошла к водительскому зеркалу. Повернула его на себя, почистила варежкой, заглянула с любопытством в светлый подрагивающий квадрат. Из зеркала на нее заинтересованно и оценивающе смотрела миловидная девушка. Резкий контраст света и теней скрывал легкий румянец щек. Неосвещенные глаза были глубоки, темны и таинственны. Рыжая лисья шапочка ореолом светилась вокруг головы. Может, при дневном свете все бы выглядело проще, обыденнее, но сумерки были за Шуру. Они придавали особую прелесть и загадочность ее изображению и веселили душу.

У Шуры было редкое качество: ей шло все, что бы она ни надела. Вчера голову укутывала простая шаль — и не хуже других смотрелась. А теперь, когда вместо шали праздничная шапочка — вообще сплошной блеск! Шура берегла дорогую шапку, надевала ее редко, лишь в кино или когда шла гулять в центр. Еще бы: с таким трудом достала через Галку. На покупку пришлось занять денег у тети Фроси, зато огненно-рыжая шапка оказалась на диво хороша. Жаль вот, сейчас на Шуриных ногах валенки. Ей так не доставало сапожек с длинными лакированными голенищами. Только их трудно достать, да и одним авансом не обойдешься!

Шура вдруг взвизгнула: сзади ее облапал невесть откуда набежавший губастый слесарь Толька. Несуразно длинный, улыбчивый, он по-щенячьи лез к ней слюнявыми губами, норовил поцеловать, дурачился. Шура вырывалась, хрипло смеясь.

— Кончай заигрывать! — деловито прикрикнула на него Галка. — График подходит.

Толька отпустил Шуру с неохотой, придурковато ухмылялся:

— Ух ты, какая красивая!

— Че попало... — смутилась Шура и покраснела, негодуя на Тольку, что помял старательно причесанную шапочку.

— Слышь, Шура, куда ты так выпендрилась? — приставал Толька, не отводя от нее шалавых щенячьих глаз.

— Ладно, гуляй! — сердито бросила Галка. — Много вас таких! — И, поднявшись на ступеньку вагона, откатила дверь своей кабины.

— Вот только голос тебе не личит, — пожалел Толька. — Че у тебя такой голос хриплый?



— Поори-ка с мое, совсем никакого не будет, — хмуро ответила Шура и поднялась в вагон. Маленького праздника, угнездившегося в душе, как не бывало. В самое большое место угодил, шалопут.

— Шурчик, — Галка высунулась из кабины, — когда твой студент войдет, дай мне тройной звонок. Любопытно глянуть, — подмигнула лукаво. Шура улыбнулась ей вымученно и стала шарить над головой кнопку сигнала, хотя давать отправление из депо не требовалось.

Вздрыгнул трамвай, рывком взял с места. Выкатил из освещенного сильными лампами ремонтного цеха в синюю темень двора. Из двора — на улицу. И покати, покати, звеня, дребезжа, поскрипывая, подминая и плюща искрящимися колесами ночную поземку на рельсах. Побежал, набирая ход, будоража кварталы своим многоголосым шумом, вспугивая утреннюю темноту ослепительными всполохами от контактной дуги. Мчал, глотая на остановках зевающих, скучных пассажиров, которые с открытыми глазами досматривали сны на холодных жестких сиденьях.

«Он, наверное, еще спит», — думала Шура, привалившись боком к тряской стене вагона. Вспомнила его лицо, молодое и доброе. «С ним, наверное, очень спокойно и прочно», — и гадала: как его имя?

Глядя на колючее, льдистое окно, представила себе, как слепо шарят по стенам его комнаты отблески фар ранних машин, как желтые тени касаются его смуглой щеки и, не добудившись, гаснут в синих дымных сумерках.

Утренний сон ненасытно сладок, это Шура знает по себе. Когда будильник начинает захлебываться, она просыпается сразу, будто от удара током. Но душа ее негодует, противится этой резкой ломке состояния умиротворенности и неги. И хотя Галка вскакивает моментом, включая режущий свет, Шура еще минуту лежит с закрытыми глазами, наслаждаясь мягкостью постели, растягивая убажывающие мгновения тепла и покоя.

Ах, какие это чудные, ненасытные, тягучие, как мед, мгновения! Много бы дневных часов отдала за них Шура, не пожалела бы, чтобы понежиться чуть-чуть дольше, прежде чем вынырнуть из-под теплого одеяла в настившую за ночь комнату, зябнуть, влезая в холодное платье. Под такой ледяной, ноги сразу гусиной кожей

покрываются. Приходится прыгать с ноги на ногу, чтобы разогнать дрожь.

А как вспомнит, что скоро бежать темной улицей по скрипучему снегу в депо, еще холоднее становится. А может быть, те минуты тепла и покоя после пробуждения потому дороги, что скоротечны? И если бы их можно было растягивать до бесконечности, до полной утоленности, то скоро бы приелось это блаженство?

Больше всего Шура сейчас боялась, что студент изменит своей обычной аккуратности, запоздает или придет пораньше к остановке и попадет либо в другой трамвай, либо в другой вагон. И тогда не увидит рыжей, как зимнее солнце, Шуриной шапки, не увидит ее зеленых, как лесной крыжовник, таких ожидающих глаз. Это будет так несправедливо к ней, терпеливо мерзнувшей без теплого платка и обрезанных варежек!

Но скоро мечтать не стало времени. Начинался час «пик». Пассажиры с боем брали двери, только что приваренные в цехе, и Шура опасалась, как бы их снова не оторвали. Тогда она совсем заоченеет в вагоне.

Некоторые, особенно людные остановки трамвай затравленно проскакивал с ходу, чтобы подалее от скопления людей высадить пассажиров и тронуться дальше. За ним бежали и махали руками люди, отчаявшиеся уехать, немо разевали рты в ругательствах, но слова в вагон не долетали, а люди скоро отставали.

Шура на этот раз не ругалась с пассажирами, всяцкими на подножках. Понимала: они выказывают молчаливый протест, не спешат передавать на билеты деньги, и вела с ними переговоры добрым домашним голосом, старательно следя за интонацией. Нарочно говорила тише, чтобы голос не звучал надтреснуто и хрипло.

Как Шура ненавидела теперь свой голос, испорченный в зимнем трамвае! Полгода назад, когда она впервые ехала на кондукторском месте, у нее был чистый и звонкий голос, девичий, стеснительный. А через месяц уже кричала грубовато и безразлично, научившись у старых кондукторов: «Двое вошли с передней площадки, передавайте на билеты, не стесняйтесь!» Уже старалась каждую живинку заглушить в голосе, чтобы самой не робеть.

Пассажиры покорно молчали или добродушно по-сменвались. Все они, опытные трамвайные невольники,

52  
197  
1978

1/3

# ЕВГЕНИЙ ГУЩИН







ЕВГЕНИЙ ГУЦИН

# ОБЛАВА

ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ

БАРНАУЛ  
АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1981



1258-1

Гушин Е. Г.  
Г98 Облава. Рассказы и повести. Барнаул, Алт. кн.  
изд., 1981.

496 с.

В книгу вошли повести «Бабье поле», «Облава», «По сходной цене», а также рассказы, написанные в разное время. Все эти произведения — о современности. Симпатии писателя на стороне людей трудолюбивых, честных, умеющих мечтать.

Г 70302—03 18—81 47020101000 Р 2  
М 138(03)—81

Районная библиотека  
Алтайское книжное издательство, 1981  
Алтайского края 7.3

## РАССКАЗЫ

### ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ

1

После смены леспромхозовский столяр Василий Атясов, мужик сухопарый, длиннорукий и стеснительный, взял в продуктовом магазине бутылку белой. Было это так неожиданно, что толпившиеся у прилавка женщины переглянулись и покачали головами, а мужики, которым веющего столяра частенько ставили в пример, обрадовались и начали гадать вслух: что же такое стряслось с Атясовым, что и его наконец-то прорвало?

И Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо засунул поллитровку в карман, вышел поскорее из магазина и зашагал прочь. Возле своего дома он замедлил шаги и, сощурившись, разглядел за стеклами глухие занавески. Значит, Варя еще не пришла из потребительского союза, где она работала. Сережки тоже нет. Его она утром уводит к теще, чтобы не слонялся с мальчишками по улице, а приучался бы помогать по хозяйству.

Это было на руку Василию: никто не задержит. И он уже хотел было идти дальше, куда наметил, но вдруг будто укололся: из смежного двора, отодвинув сложившую штaketину, на него глядела соседка Федоровна. Вставила в пролом, как в раму, бурое, похожее на печеную тыкву лицо и тарачилась. Недоумевала, видно, куда это подался Атясов мимо своего дома. А ниже, в пролом же, выставил свою острую морду нелюдимый старухин пес — тоже глазел, словно и ему интересно. Старуху Федоровну еще называли Золотой Рыбкой.

3

Появилась она на селе в войну вместе с другими эвакуированными и беженцами. Ходила старуха из дома в дом и гадала на фасоли про фронтовиков. По доброте ли своей, или оттого, что за хорошие предсказания подавали щедрее, но только исход всех ее гаданий обычно оказывался благоприятным. Вот и прозвали ее так. В благодарность, в насмешку ли — не поймешь.

После войны нездешние люди понемногу рассосались, вернулись в свои края, а Федоровна заняла чью-то пустующую избушку и осталась в ней. Желаящих погадать становилось год от года меньше, а потом в сельсовете старуху припугнули штрафом, и она поутихла. Свой промысел, может, и не бросила, а занималась им тайком — разговоры о том не было.

Держала старуха черного трехлапного пса, который неотрывной тенью ходил за нею. Она запрягала его в тележку или в санки, чтобы съездить за хворостом в лес. Женщины пугались, видя повозку в две силы — человека и собаку. Мужики отчего-то смущались и отворачивались.

Однажды и Василий видел, как черный кобель, на туго упираясь тремя лапами, тащил по рыхлому снегу большую вязанку дров. Федоровна сзади подталкивала воз жердиной и не столько помогала собаке, как мешала, когда налегала на жердину, чтобы не упасть. Как раз против окон, где Варя посыпала тропку золой, чтобы не скользко было ходить, черный кобель совсем выбился из сил. Он лег на брюхо и хватал снег с боков тропки горячим ртом, а Федоровна ослабила веревку на шее собаки и гладила мокрую шерсть на судорожно и часто вздымающихся боках, говорила что-то ласковое, утешающее.

Не по себе тогда стало Василию. Он выскочил из дома, чтобы помочь, но кобель, не поднимаясь на ноги, с таким остервенением на него зарычал, что Василий ступешевался и ушел с досадой. Теперь же, видя, с каким интересом смотрит на него старуха из-за забора, недобролюбно поморщился.

«Выставились в четыре глаза. Вас только и не хватало», — подумал Атясов в сердцах и, потоптавшись, все же двинулся от дома в конец села, а на душе у него было нехорошо, будто его уличили в чем-то худом.

За селом, между огородами и темной зубчатой стеной леса, напоминающей перевернутую вверх зубьями

пилу, лежало поле, поросшее невысокой сорной травой, уже заметно увядшей. Никто здесь ничего не сажал, потому что поле числилось за авиаторами. Два раза в неделю садился тут рейсовый вертолет, курсирующий по таежным селам. Пилоты брали на борт нескольких пассажиров и сами же продавали им билеты.

Приземлялся здесь и небольшой зеленый вертолетик лесной противопожарной службы. Летчики-наблюдатели дозaprавляли баки горючим, обедали в дешевой леспромхозовской столовой и летели снова кружить над тайгой.

Капитальных сооружений на аэродроме не было. Под навесом, сколоченным из горбылей, хранились бочки с бензином и заправочные приспособления, а в стороне от заправки, на краю поля, располагался дом пожилого мужика Тимофея, который несколько раз в лето скашивал литовкой траву на летном поле, прогонял забредавших сюда деревенских коров, встречал и провожал вертолеты и караулил их, когда летчики уходили обедать.

К нему-то и шел Василий, задумчиво покусывая сухую былинку, слушая, как посвистывает о голенища сапог выгоревшая трава, и удивляясь: вчера еще вроде поле молодо зеленело, а вот уж укатилась весна и лето на исходе. Как все-таки незаметно приходит одно за другим, и от этой быстротечности непонятная тоска ложится на душу.

Тимофей маячил в своем дворе. Насаживал лопату на новый черенок. Увидел Василия — замер с занесенным для удара топором, постоял так, раздумывая, ударить или нет, и не ударил, опустил топор.

— Василий, ты ли, че ли? — спросил он с некоторым удивлением, заметив, чем оттянут карман столяра.

— Я, — сказал Атясов с неловкостью. — Зашел вот в гости.

— А я тут лопату лажу. Картошку скоро копать.

— Ну так работай. Я подожду.

— То ли ее завтра копать? — улыбнулся Тимофей.

Он был выше Василия, и черты лица у него резкие, какие-то костлявые, неотесанные. Все у него твердое: и нос, и лоб, и впалые обветренные щеки. Прорез рта неожидан, и от самых его краев начиналась колючая, как стерня, рыжеватая щетина. Очень мужское у Тимо-

фея лицо, а улыбка — детская, беззащитная. Даже странно ее видеть на таком каменно-твердом лице.

— Пошли в избу, — пригласил Тимофей, прислоня черенок с наживленным штыком лопаты к стенке, и по привычке отряхнул верхонки одна о другую.

Сколько Василий знал Тимофея, всегда на его руках сидели брезентовые рукавицы-верхонки, и думалось, что они давно уже приросли к живой ткани рук и что под брезентовой кожей руки двупалы, как и верхонки. Есть только большой палец и ладонь, которые могут сжиматься и разжиматься наподобие рачьей клешни, поднимать что-нибудь тяжелое и громоздкое, которое не всем под силу. И вообще казалось, что Тимофей самой природой создан для тяжелой, грубой работы, и к ней он всегда готов. Благо, и верхонки на руках.

Вошли в чистую горницу. Василий у порога снял сапоги, опасаясь натоптать. Знал: хозяин пол моет сам. Пройдя в носках к столу, выставил на середину уже надоевшую бутылку.

— А ведь мне нельзя ее, — сказал Тимофей в некотором замешательстве. — Пожарников надо встренуть.

— Ну нельзя, так и не надо, — не очень-то расстроился гость. — Тогда просто посидим. Давно я к тебе собираюсь. С разговором одним...

— Зачем просто? Чаю подогрею. Пошвыркам.

Тимофей подал чай, принес банку магазинного варенья, хлеба.

— Ну как тут жизнь? — поинтересовался Василий, задумчиво отхлебывая чай и собираясь с мыслями.

— Идет вроде...

— Вертолеты, значит, летают?

— Летают. Куда им деваться?

Василий повертел в пальцах стакан и отодвинул.

— Ты, Тимофей, только не смейся. Может, оно и смешно, а ты не смейся. Тут дело вот какое... Вертолет мне охота изладить...

Тимофей отпил глоток, тоже отодвинул стакан, стал смотреть на гостя. Шутит, не шутит? Спросил:

— Это как?

— А так... Сделать себе вертолет. Маленький, конечно. На одного. Полетать над полем, над лесом. — Василий поднял ладонь и повел ее над головой, показывая, как бы он полетал.

Тимофей посмотрел на ладонь Василия, изрек уверенно:

— Он у тебя не полетит.

— Почему? — Василий опустил руку на стол. Думаешь, не смогу? У меня хоть грамотешки не шибко много, а глаз цепкий. Не хочу хвастать, но это не отнимешь. Вот, скажем, надо тебе раму сделать. Я на нее поглядел... — Василий повернулся к окну и стал изучать раму. — Я на нее поглядел, и уже все размеры у меня вот где, — стукнул указательным пальцем по лбу. — Хочешь на спор? Я тебе сейчас размеры на бумажке напишу, а потом смеряем рулеткой и проверим. Хочешь?

— Так это рама, — улыбнулся Тимофей безгубым ртом.

— Возьмем вертолет, — загорячился Василий. — Мне бы только вокруг него походить, заглянуть в кабину — и хорош. В точности сделаю. Я уж кое-какие журнальчики нашел про вертолеты. Теперь мне на живой поглядеть надо.

— Все равно не полетит, — упрямо качал головой Тимофей. — Даже если похожий будет. А вся загвоздка, что не фабричный. Потому и не полетит. Это, паря, вертолет... Не что-нибудь. Это тебе не раму изладить. Не управиться тебе.

— Управлюсь, — сказал Василий твердо и, подумав, еще раз повторил: — Управлюсь.

— А потом, я слыхал, будто нельзя самодельные-то изладить, — продолжал Тимофей, еле заметно улыбаясь. — Ты вот улетишь на ем в Америку, и поминай тебя как звали.

— Я? В Америку? — изумился Василий. — Чего я там забыл?

— Кто тебя знает. Сведения передашь.

— Какие сведения?

Тимофей прищурился:

— Не знаешь, какие сведения бывают?

— Зря ты так про меня, Тимофей, — загорюнился Василий. — У меня тут жена, пацан... В Америку... Сто лет она мне не нужна, твоя Америка.

Тимофей уже открыто улыбался шербатым ртом.

— Да я это так... Шуткую... — И, видя, что гость обиделся, перестал улыбаться, спросил сочувственно: — И давно это у тебя?

— Да нет. Недавно, — опустил глаза, суховаато отозвался Василий.

— Ты вот что, — наставительно сказал Тимофей, — купи билет да слетай в райцентр и назад. Протрясет тебя как следоват, зуд-то и собьешь.

Атясов помотал головой.

— Я пассажиром не хочу.

— Вот еще беда, — опечалился Тимофей и, помолчав, спросил: — Ты в столяры-то как пошел? Поди, отец заставил?

— Не заставлял он. Хворал сильно. А как полегче ему стало, подозвал меня. Тебе, говорит, дедов инструмент оставляю. Деда кормил, меня кормил и тебя прокормит. Вот и начал я помаленьку столярничать. Не пропадать же инструменту, да и матери помогать надо было. Я ведь самый старший...

— Отец худому не научит, — подхватил Тимофей. — Столяром без куска хлеба сроду не останешься. У тебя сколь в мастерской выходит?

— По-разному.

— Ну а в среднем?

— Где-то за двести.

Тимофей поднял негнувшийся палец.

— Во! Да еще калымишь. Разные там рамы, табуретки. Калым-то с сотнешку дает?

— Дает.

— Кормит, значит, дедов-то инструмент. Пацану его передашь, глядишь, и эта... как ее... династия будет. За это нынче хвалят.

— Пацану, говоришь, передать? — поднял глаза Василий.

— Но-о. Сыну своему.

— А если он не захочет? Вдруг у него какой другой талант откроется? — Василий несогласно покрутил головой. — Отец отцом, только каждый своим умом должен жить. Пацан, допустим, к машинам потянется, а я его — в столяры... Династия... — Василий криво усмехнулся.

— Оно, видишь, тут как... Ты вот родился, а отцово ремесло уже в тебе сидит. Вроде как... наследственность. Я в газетке читал.

— Наследственность, говоришь? А у летчиков от кого наследственность? — не поддался Василий на авторитет газетки. — Давно ли самолеты появились? Или

Гагарина возьми. Кто у него в космосе летал? Отец или, может, дед? Смеешься, Тимофей? Смейся: смешно. Наследственность... Нет, что ни говори, а я несогласный. Потянется Серега к другому делу, перечить ему не стану. Инструмент в печку брошу, гори он синим огнем, а жизнь пацану не испорчу.

— Зачем же в печку? — осудил Тимофей. — Старый инструмент кому хочешь сгодится. Лучше продать. Василий улыбнулся, остывая.

— Да я пока не собираюсь его бросать. Серега еще только в третий класс пойдет. Какие у него еще склонности. Кормить, одевать надо. Рано об этом думать.

— Выбросить в печку! — все еще сокрушался Тимофей. — Попробуй выбрось. Жена тебе так выбросит — бедный станешь.

— Это точно, — согласился Василий с удовольствием. — У нас и дом от дедова инструмента, и обстановка от него, и сыты, и одеты, слава богу, не хуже других. Все у нас на инструменте держится. Варя это очень даже понимает. Я как-то оставил рубанок в сырой стружке, так она меня же и отчитала. Соображает: лишняя тряпка — от рубанка. А одеваться она любит. Страсть прямо... Мне вот все равно, в чем я. Есть чистая рубаха, чистые штаны, сапоги без дыр — и ладно. А ей — нет. Увидит на базе кофту, особенно не нашу, сама не своя, пока не купит.

— Баба... У них, это в крови, — отозвался Тимофей. — И хуже нет, когда жена в торговле работает. С одной-то стороны, вроде бы и выгодно. Для дома достанет и то и другое. Себя-то торгаша завсегда обеспечивает. Это дело известное. А с другой стороны, товаров баба видит много, глаза и разбегаются. Не видала бы — лучше. А тут хоть умри, а купи. Денег не дашь — сразу мужик плохой, мало зарабатывает. Да разве на все ее красоты заработаешь? Я через это и разошелся со своей. И лучше. Никто не дергает. Ты, паря, укорачивай жену. Это-то в селе встренулась — не поздоровалась. Где ей, такой разодетой, с каким-то мужиком здороваться! От тряпок вся илняя гордость. Не давай ей воли. Я, мол, не миллионер какой. Мало ли чего на складе не лежит. Всего не купишь, другим оставь.

— А-а, пускай... — Василий махнул рукой и насухался. — Пусть одевается, раз у нее интерес такой. Мне вот другое надо, Тимофей. Накатилось, веришь — спасу



лет. Уж и снится стало, будто лечу над этим полем, над лесом. И так мне хорошо, так сладко — душа разрывается. Сроду со мной такого не было.

— Я про столярство-то почему спросил, — заговорил Тимофей. — Может, ты с детства в летчики метил?

— Нет, не метил. В армии насмотрелся разных самолетов-вертолетов — и ничего. Не тянуло к ним. А тут прямо болезнь какая-то.

— Че с тобой делать-то... — раздумчиво сказал Тимофей и долго смотрел на Василия молча, как бы соображая, чем можно столяру помочь. — Ну дак мастери, если уж так приперло. Пожарники прилетят, подпушу тебя к вертолету. Гляди, шут с тобой.

Василий повеселел.

— Вот за это спасибо. Я знал, что ты хороший человек, Тимофей, потому и пришел.

— Будет тебе, — поморщился Тимофей. — Хороший. Все мы хорошие, пока спим. А если будет туго насчет механики, то попроси помочь племянша моего, Мишку.

— Это который в гараже слесарем? — Мишку Василий немного знал. Маленький мужичонка, шустрый такой, глаза пронзительные. Слышал, закладывает он крепко.

— А что, Мишка слесарь хоть куда, — заговорил Тимофей, уловив в лице столяра нерешительность. — Он хоть и слабый на выпивку, а в моторах разбирается — я те дам.

— Можно и Мишку, — согласился Василий, понимая, что другого помощника ему, пожалуй, не найти. Помощник же очень даже ему потребуется. Сам Василий в моторах не силен. — Ты поговори с ним, Тимофей. Я ему заплачу.

Но Тимофей на его слова внимания не обратил. Замерев с приоткрытым ртом, он к чему-то прислушивался. Василий глянул в окно, куда уставился хозяин, и увидел, как поле перечеркнула тень вертолета, и уже после этого услышал рокот мотора, неожиданный и мощный.

— Вот они, пожарнички, — проговорил Тимофей, поднимаясь. — Ты посиди покамест в избе. Как летчики уйдут, я тебе рукой махну. А то они не любят, когда трется посторонние.

В окошко Василий видел, как двое летчиков, моло-

дые совсем, невысокие, похожие друг на друга, потому что одеты были в одинаковые белые рубашки с закатанными рукавами, в темно-синих галстуках, и на головах у обоих форменные синие фуражки, поздоровались с Тимофеем за руку, весело что-то сказали ему, блестя зубами, и двинулись в село.

Когда Василий вышел из избы, Тимофей, словно часовая, прохаживался возле вертолета.

— Гляди сколь влезет, — милостиво разрешил он.

Вертолетик был маленький, но очень ладный. Василий измерил его длину от округлого носа до хвостового винта рулеткой, которая всегда лежала в кармане, и, сощурившись, пристально рассматривал лопасти основного винта. Потом подивился на крошечные, словно игрушечные колесики — пытался запомнить машину во всех подробностях. Заглянул он и сквозь стекло в кабину на ручки управления и многочисленные приборы, пытаясь определить их назначение.

— Тут без пол-литры не разберешься, — хохотнул Тимофей.

— Можно дверцу открыть? Поглядеть поближе, что и как? — робко попросил Василий.

Но Тимофей сразу же затвердел лицом.

— Глядеть гляди. А руки, паря, придержи. Нигде ими не касайся.

— Да я же не съем.

— Сказано — нельзя, — стоял на своем Тимофей. — А то рассерчаю и вовсе ничего не разрешу.

Василий бродил возле вертолета, запоминая размеры, опускался на колени, изучая машину снизу, рассматривая еще и еще спереди, с боков, до тех пор, пока не услышал молодой, строгий голос:

— Э-то что тут за комиссия?

Тимофей растерялся от неожиданного появления летчиков, виновато заговорил:

— Это не комиссия. Это наш столяр Атясов. Он вертолет себе хочет изладить. И только смотрит. А руками нигде не касался.

— Значит, не касался? — сурово спросил один из летчиков и, повернувшись к Василию, потребовал: — А ну, покажи руки!

Василий с готовностью протянул ладони.

Летчики расхохотались, похлопали столяра по плечу.

— Вертолет захотел? Ну даешь! А машину не желаешь? «Жигули», к примеру.

— Не желаю, — скромно ответил Василий.

Переглянулись не то с насмешкой, не то с одобрением.

— Толк знает мужик.

Потом один из летчиков отворил дверцу, сел в кресло и стал показывать, как он пилотирует. Тянул ручку на себя, одновременно шелкал другой и нажимал на педали.

— Ну, понял?

— Понял, — качнул головой Василий, стыдясь злоупотреблять вниманием серьезных и занятых людей.

— Тогда от винта!

Летчики уютились на сиденьях, захлопнули дверцы. Сквозь стекло было видно, как они весело переговаривались, посматривая на стоящего в стороне Василия. И вдруг по-мотоциклетному затрещал мотор, лопасти винта сначала медленно, будто неуверенно крутились и слились в сплошной сверкающий круг, подминая рыжую траву тугим ветром.

Вертолетик качнулся, его игрушечные колесики оторвались от земли. Машина невысоко зависла в воздухе, медленно поворачиваясь носом к лесу, и пошла вперед, поднимаясь все выше и выше. Поблескивая на солнце зелеными боками, она легко взмыла над синим лесом и, стрекоча, поплыла в поднебесье.

— Как стрекозка, — задумчиво проговорил Василий, не в силах оторвать глаз от неба, в котором уже ничего не было видно, только далеким эхом дрожал осенний воздух.

— Кончилось кино. Пошли, — тянул его за рукав Тимофей.

К ним из избы шел Мишка. Оказался легок на помине.

— Вы че это бутылку беспризорной оставляете? — спросил Мишка улыбочиво, поминутно сплевывая себе под ноги.

— Кто ее дома-то обидит? — хмыкнул Тимофей.

— Как кто? А я не человек? — радостно ухмылялся Мишка, маленький росточком, даже не верилось, что он родственник высокому и крупному Тимофею.

Узнав про желание Атясова, Мишка загорелся.

— Вертолет — это то, что надо! Когда в нашем

магазине выпить нету, взял и слетал в райцентр. Там-то завсегда. В общем, будь спок. Мотор я тебе сделаю. Это — мертво!

— Да у меня еще и мотора нет, — признался Василий.

— Как нет?

— Да так. Я о нем пока не думал. Надо искать где-то.

Мишка сплюнул, растер плевком носком стоптанного ботинка, на мгновение задумался и снова встрепенулся.

— Стоп, Вася! С тебя пузырек. Будет мотор. — И, оглядевшись вокруг, словно кто мог их подслушать, зашептал доверительно: — В загоптушнине разбитые аэросани есть. Ночью на сосну налетели по пьянке. Сани, понятно, угробили, а мотор — целый. Он ведь сзади, что ему сделается! Пропеллер, правда, — в шепки. Да можно новый выстругать.

— А отдадут они его? — усомнился Василий.

Мишку залихорадило:

— Отдадут-ут! Куда денутся! Главное — со Степановым, с ихним начальником, договориться. — Обнадежил: — Мы к нему вместе пойдем. Потому как с тобой он и разговаривать не захочет. А со мной ему — мертво. Я его как облупленного знаю. Он у меня знаешь где? — Мишка согнул крючком указательный палец, показывая, где у него Степанов. — Мы его сразу за жабры. Так, мол, и так: отдай мотор по дешевке и не грехи. А мотор — само то. Одно добро.

— Во че делат! — восхитился Тимофей, глядя на своего шустрого племянника. — На живом месте дыру вертит. Кабы не пил, большим бы человеком стал. Может, даже завгаром.

## 2

В просторном деревянном доме, куда Мишка привел Василия, сидела за канцелярским столом девица, перекидывала костяшки на счетах. Стены были увешаны плакатами с заглавными словами: «Охотник, знай!» и «Охотник, помни!» Вдоль стен стояли тяжелые скамейки, известка над ними дочерна вытерта спинами.

Мишка дурашливо облапал девицу сзади.

— Здоровы были!

Девица презрительно повела на него длинными ресницами, на которых дрожали кусочки туши, высвобо-

дилась из его рук и равнодушно принялась за свое дело.

— Начальство у себя?

Она не ответила, да Мишка как будто и не ждал ответа. Подмигнув Василию, дескать, все в порядке, потащил к другой комнате, дверь, в которую была обита черным дерматином, как у всякого уважающего себя начальства.

Степанова, оказалось, Василий немного знал, иногда с ним встречался на улице, но не здоровался — не был знаком. И поэтому ему сейчас было неловко. Степанов мужик в годах, лысый начисто, а брови каким-то чудом сохранил густые и до того пышные, что они казались чужими на его лице. Он подал Василию руку, кивнул на стул. На Мишку начальник загопушнина даже не взглянул и сесть не предложил. Тот сам уселся.

— Такое дело, — начал Василий без обиняков. — У вас, говорят, ненужный мотор есть. От аэросаней. Я бы его купил.

— Кто говорит? — спросил Степанов, косясь на Мишку.

— Да есть такие...

Глаза у Степанова цепкие, со смоляным блеском, очень зоркие, человека, кажется, насквозь видят и дальше. Мишку он остро кольнул из-под сведенных бровей, и тот беспокойно заерзал.

— Ненужного мы не держим, — проговорил Степанов назидательно. — У нас все только нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал.

— А сани-то! — не вытерпел Мишка. — Которые в складе. На них сто лет никто не ездит!

— Отремонтируем и будем ездить.

— Да че там ремонтировать! Дешевше новые...

— А ты не суйся в чужие дела, — обрезал его Степанов. — Что с санями делать — уж как-нибудь сами разберемся. Без твоей помощи. Понятно?

Василий поднялся, проклиная в душе непутевого Мишку.

— Ну нет, так нет. Извините, если что...

— Ничего, ничего... — вежливо подхватил Степанов и тоже поднялся со своего стула, прислонился к оконному косяку. Смотрел на Василия безо всякого недовольства. Можно сказать, с интересом смотрел. Даже приветливая улыбка проступила на его лице.

— А зачем вам, если не секрет, этот мотор? — спросил он мягко. — Вы ведь, кажется, столяр, а не промысловик. Это охотникам сани нужны. А вам?

Василий как-то и не подумал раньше, что его могут об этом спросить. Замешкался с ответом, и тут встрял Мишка:

— Ему на глассер надо. По речке плавать.

Атясов густо покраснел. Речка по селу протекала каменная, мелкая. Курца вброд перейдет. Какое по ней плаванье! Со стыда готов был под пол провалиться.

Степанов озадаченно поднял брови, наморщил лоб, но в подробности плаванья по речке на глассере вдаваться не стал. Какой-то устойчивый интерес сквозил в его лице.

— Сани у нас действительно есть, — заговорил он спокойно и доброжелательно. — Неисправные. Все никак отремонтировать не соберемся. Времени не хватает. То одно, то другое. Сейчас отлов сободей на носу. Для переселения. План большой, а клеток у нас мало — не дают. Вот если бы вы... — Степанов голосом подчеркнул эти слова. — Вот если бы вы подрядились сделать с полсотни клеток, выручили бы нас, тогда как-нибудь решили бы и с мотором. Продали бы вам его, хотя, честно сказать, промысловики давно на него зуб точат.

— Да сделает он вам клетки! — закричал Мишка. — Это ему как семечки. Сколь надо, столь и делает!

У Василия заломило в висках. От других столяров он слышал, что за клетку загопушнина платит по рублю, а это разве цена для серьезного человека? С клетками работа кропотливая, муторная, себе в убыток. То-то никто и не подряжается. Но это другие, они вертолет строить не собираются. А куда ему деваться? Такого мотора в селе больше ни у кого нет.

Василий согласился чуть не плача.

Степанов, боясь, как бы столяр не раздумал, приказал девице из приемной оформить договор с Атясовым. И та оформила. Василий расписался в двух бумажках. В одной — что обязуется сделать пятьдесят клеток, а в другой за то, что вносит эти деньги в кассу загопушнина за купленный мотор.

На улицу Василий вышел в большой растерянности, не зная: радоваться или огорчаться.

— Да че ты такой кислый, — горячо шептал Миш-

ка. — Я же говорил, все будет нормально. Видал, как мы Степанова прижали? Покрутился он у нас, как змей под вилами. — Помолчал/сплюнул под ноги. Осторожно поинтересовался: — Тебе колеса какие нужны? От мотороллера подойдут?

— Да вроде бы...

— Хочешь, сейчас достану? Пока настроение есть... Давай пятерку. Без этого, сам понимаешь...

Василий дал пять рублей и пошел прочь.

От природы Атясов был человек застенчивый, не любил надоедать людям, а тем более приставать с просьбами. Но тут, хочешь — не хочешь, пришлось ходить к знакомым и незнакомым людям, клянчить то одно, то другое. Противно, а иначе нельзя. Надо толстой и тонкой фанеры, надо клею хорошего, дюралевых уголков. Да мало ли еще чего надо! Легче сказать, чего не надо.

А через неделю снял с книжки триста рублей и днем, пока жена была на работе, привез домой мотор вместе со старым, расщепленным пропеллером на валу и спрятал в сарае под брезентом. Туда же затолкал лысые колеса от мотороллера, которые добыл ему Мишка.

Озабоченно присел возле приобретенного. Степанов мягко стелил, но деньги за мотор сорвал порядочные — триста рублей. Правда, Василий заплатил двести пятьдесят, остальные он должен отработать клетками, но это совсем не утешало. Недешево и колеса обошлись. В общем, от трехсот рублей ничего не осталось. Последние две десятки на бутылки разменял: тому надо поставить, другому, третьему. За нужные материалы. Нигде насухую не шло.

Но не столько денег было жаль Василию, как известно перед Варей. Что-то она скажет, когда узнает, что снял он деньги с книжки без спроса, тайком. Ведь сроду с ним такого не случалось. Зарплату всегда отдавал до копейки, приработок тоже отдавал, не прятывал, как другие, пятерку-десятку. Зачем прятывать? Он не пьет, не курит, а на столовую жена сама даст.

Вздыхнул Василий, мысленно повинился перед женой.

Познакомился он с ней в потребсоюзе, куда его послали подремонтировать окна и двери. Василий только что вернулся из армии, носил солдатское, был весел и

свеж лицом. И работал он споро и весело, изголодавшись по делу. В потребсоюзе сидели все больше молодые девки. Они, не скрываясь, таращились на Василия, заговаривали с ним. Здесь же, среди других, была и Варя. На столяра она игриво не поглядывала, но, даже опустив глаза на бумаги, чутьем видела каждое движение парня. Уж она-то раньше других угадала в нем много жизни.

Василий подогнал двери к косякам, отладил створки окон, а когда главный бухгалтер Ширяев попросил врезать новый замок в его стол, он и это сделал.

Когда Василий собрался уходить, Ширяев сказал:

— Проси, солдат, что хочешь. Надо — шапку тебе ондатровую организуем. Как номенклатурный товарищ в ней будешь.

— Солдатскую еще не износил, — отказался Василий.

— Может, костюм желаешь? На базе есть импортные.

— И с костюмом погожу. Надо сначала заработать.

— Ну тогда выбирай невесту. Любую отдадим бесплатно. — И сделал широкий жест в сторону зарумянившихся и притихших девок.

И Василий посмотрел на Варю.

Варя кожей почувствовала на себе его взгляд, такой осязаемый, словно бывший солдат поглаживал ее рукой. Она отчаянно покраснела и подняла на него серьезные раскосые глаза. Они у нее были такие обещающие, что столяр задохнулся от радостных предчувствий.

Вечером он дождался ее на улице, смело и просто подошел к ней, и она этому не удивилась.

Гулял Василий с Варей недолго. Когда упал снег и установилась санная дорога, сказал ей: «Чего нам время зря переводить на гулянье? Пока снег неглубокий, самая пора бревна подвезти. Давай-ка поженимся и начнем дом строить».

Деньги к тому времени у парня завелись, да и Варя оказалась девка не промах — загодя копила; в общем, строить было на что. Домишко, оставшийся Василию от отца-матери, отживал свое. Родители Вари, понимая это, предложили молодым пожить пока у них, однако Варя наотрез отказалась. Нам, мол, пора свои углы отстраивать, свою домашность заводить. Как ни худа развалюха, да своя, мы в ней хозяева.

Тут и свадьбу сыграли. Теснота была в избешке. Не



только в пляске разгуляться — сесть негде. Но молодые не горевали, только посмеивались: «Не тужите, гости, приходите к нам летом — в хоромах примем».

Сказанные в веселый час слова оказались не пустыми. Сразу после свадьбы взял Василий в леспромхозе трактор с саями, привез бревен и досок, принялся размечать сруб. И не на какой-нибудь плохонький — сразу на пятистенок замахнулся.

Всю зиму готовил сруб, а по весне, когда земля подсохла, пришли товарищи по работе и помогли возвести стены и поднять крышу. Старая избенка оказалась внутри нового дома, который словно заглотил ее.

Сруб своим деревенским видом Варя не поглянулся, и она велела мужу облицевать стены на городской манер — узкой плашкой в елочку. Желание ее Василий исполнил: облицевал бревна плашкой, а саму плашку протравил марганцовкой и покрыл в несколько слоев бесцветным лаком, так что дом засверкал, как полированный. Под крышей он навесил кружевные карнизы, а на наличниках окон вырезал пузатых целующихся голубей. Высок и красив вышел дом. Казалось, на цыпочки привстал, чтобы отовсюду его было видно.

Как и обещали молодые, к середине лета справили новоселье.

Пришли гости и ахнули: не голые стены предстали их глазам. На леспромхозовскую ссуду Атясовы справили мебельный гарнитур, купили холодильник, стиральную машину и телевизор с большим экраном. Вот как: все одним махом!

Нет, не ошибся Василий, угадав в Варных глазах обещание близких радостей. Женой она оказалась куда с добром. И пылинки в комнатах соберет, и мужа обстирает, накормит, а вечером прижмется к его груди, и у того дыхание теснится, и голова тяжелеет от необъяснимой сладости. До чего же богатой оказалась его Варя, сколько черпает от нее радостей, а вычерпать не может, всегда она ими полна. И ни споров дома, ни ругани. О чем спорить, если Варя вся в заботах о доме, старается достать для семьи вещь, которую в магазине так просто не купишь, а Василий прирабатывает по вечерам. Живи да радуйся. Со ссудой рассчитались. Уже лишние деньги завелись, стали их на книжку откладывать — капитал сбивать.

Все хорошо было, что и говорить. А теперь вот он, Василий, снял тайком деньги, израсходовал их на этот мотор, на старые колеса, которым на свалке и место.

Раньше, идя с работы, любил Василий лишний раз глянуть на свой дом, на его высокую крышу и крепкие, под лаковой плашкой стены. Посмотрит на него Василий и почувствует себя прочным, защищенным этими стенами, куда, кажется, никакая беда не достучится. А теперь, подходя к калитке, Василий вздохнул и опустил глаза на дорожную пыль. Не смотрел на дом, будто стыдился его. Он и калитку отворил неуверенно, не похозяйски, а словно чужую, и на крыльцо поднялся тихонько, стараясь не греметь сапогами. Пошарил за косяком, где заведено у них было оставлять ключ, но пальцы нащупали между бревен лишь лохмотья сухого мха. Неужели Варя так рано пришла? С чего бы?

Василий, как был в спецовке, в сапогах, прошел в большую комнату и замер. Его жена в цветастых штанах и в такой же кофте стояла перед зеркалом шифоньера и улыбалась.

— Ну как? — спросила она, расправляя складки кофты под пояском. — Нравится? На полчаса выпросила — померить.

— Красиво, — осторожно сказал Василий и увидел на столе сберкнижку, которую Варя, судя по ее счастливому лицу и дружелюбному голосу, еще не раскрывала.

— Твою жену да модно одеть, знаешь бы какая была? — говорила она игриво, то одним, то другим боком поворачиваясь к зеркалу.

— Будто тебе нечего надеть. Полный шкаф платьев да кофт.

— Что ж, теперь до старости носить их прикажешь? Ты бы видел, что у нас сегодня делалось, когда товары привезли. Ужас, что творилось! То все плачут — денег нет, а тут сразу у всех деньги появились. Сбежались на склад — сами не свои. Даже уборщицы и те лезут, и те хватают... Ты, Вася, поднажми. К октябрьским обещали ковры подбросить. Нам бы в большую комнату и в спальню. Зайди к Ширяеву, он книжный стеллаж заказать хочет. Сделай ему, мужик нужный.

— Сделаю, — пообещал Василий, с тревогой наблюдая, как жена нетерпеливо поглядывает на часы.

— Ну, покупать? — спросила Варя.

— Покупай. Только куда ты в нем пойдешь?

— Куда угодно. В кино, например.

— Засмеют, — через силу сказал Василий.

— Ва-ся... Ты ужасно отсталый у меня. Да в городе женщины давно брючные костюмы носят, и получше этого.

— То в городе, — упрямылся Василий, понимая, что сейчас откроется его вина. — А здесь выйди — засмеют.

— Скажи уж, что денег жалко, — потускиела жена.

— Ничего мне не жалко. — Василий наморщил лоб, соображая, с чего бы начать неприятный разговор. Все равно будет по ее, так лучше пусть здесь, дома, узнает про деньги, а не в сберкассе на людях.

— Варь, я снял три сотни, — с натугой сказал он.

— Как снял? — живо обернулась она.

— Как снимают... Снял и снял. — Первая тяжесть прошла, и Василий даже поразился своему спокойному ответу.

— А где они, эти деньги? — спросила Варя настороженно.

— Отдал, — выдохнул Василий. — Я это... мотор купил. — И покраснел, потому что смешон был его ответ. По-детски смешон и нелеп.

— Какой мотор? Для чего?

— Варя, давай в другой раз. Ты же в сберкассе не успеешь.

— Да уж какая теперь сберкасса. Так для чего тебе мотор?

— Для вертолета.

Варя ошарашенно посмотрела на красное, будто спекшееся лицо мужа, потом, все еще не веря, взяла со стола сберкнижку, долго вчитывалась в нее, словно там могло быть написано, на что муж истратил деньги.

— Варь, да ты не переживай, — заговорил Василий. — Ведь не все истратил. Остались же. Да и еще заработаю. Ты меня знаешь.

— Знаю? — отозвалась Варя, с пристальным интересом рассматривая мужнино лицо, будто видела впервые. — Знаю... — невесело усмехнулась. — Это я рань-

ше думала, что знаю. А теперь... Да-а... Наконец-то и я дождалась от своего муженька. На работе женщины жалуются: у одной муж пьет, деньги сроду не отдает; у другой треплется или еще что; а я: нет, у меня Вася не такой. Мой Вася себе разве подобное позволит? Вот тебе и «мой Вася». Ухлопал деньги неизвестно на что, а жене ни звука, будто она в доме посторонний человек. Это надо же... Вертолет он захотел! В детство ударился!

Василий сначала изумленно молчал. Ему даже казалось, что эти слова говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. И голос неслышанный прежде, чужой, и слова чужие. Не стал больше ничего говорить, повернулся, молча ушел к себе в сарай. Опустился на чурку, задумался.

Конечно, он и раньше знал, что не обрадуется жена, когда узнает про деньги, но таких обидных слов не ожидал и растерялся. Кто спорит, что не виноват? Виноват. Но можно ли из-за денег так на человека? Думал, поругается Варя и тем дело кончится, а вышло вон как. Видно, и он Варю не очень-то знал.

Долго размышлял Василий, вздыхая и горестно покачивая головой, словно жалуясь невидимому собеседнику. Уже стемнело, но света он не зажигал. Зачем ему свет? Работать — все равно никакого настроения, хотя заказы ждут своей очереди. Да теперь еще с этими клетками связался, пропади они пропадом вместе с шапоутом Мишкой.

Уже, наверное, двенадцатый час ночи пошел, когда послышались шаги и скринула дверь. Василий даже головы на скрип не повернул, хотя и догадался, что это жена.

Варя постояла у порога, озлилась, что муж не обращает на нее внимания, щелкнула выключателем. Яркий свет большой лампы под потолком больно резанул глаза.

— Ты что — ночевать тут собрался? — спросила Варя насмешливо.

Он промолчал.

— Чего ужинать не пришел? Или сытый? Своим мотором?

Василий снова не ответил, и тогда Варя решительно вошла в сарай, отдернула брезент, с горькой усмешкой стала разглядывать мужнины приобретения.

— Ну так что будем делать? — спросила она скорбно.

Василий пожал плечами.

— Ничего себе... сам же виноват да на меня же смотреть не хочет. Он, видите ли, обиделся.

Василий поднял глаза и увидел, что жена стоит перед ним в своем обычном платье, в котором она ему родна и привычна. И ему подумалось, что, не надень Варя на себя тот пестрый костюм, даже по виду чужой и странный, никакой ссоры бы не получилось. Что в тех штанах Варя была не сама собой и говорила ему не свои слова, а те, что пришли к ней вместе с костюмом, и ему стало легче от знакомого ее вида, и обида понемногу улеглась.

— Варя, — хриловато от долгого молчания проговорил Василий, — ты скажи: привередливый я мужик или нет?

— В каком смысле? — осторожно поинтересовалась Варя. Не такая она была простушка, чтобы сразу ляпнуть «да» или «нет».

— Вообще. К еде, я скажем, придираюсь? К примеру, ты что-нибудь сварить, а я нос ворочу. Копаюсь, в общем. А? Скажи?

— К чему ты это говоришь?

— Интересно мне, какой я со стороны. Трудно тебе со мной или нет? Придираюсь я к тебе когда? — Варя промолчала, насторожилась, и тогда он ответил сам: — Нет, вроде бы я не зануда. Сроду ты от меня худого слова не слышала. Хорошо мне, плохо ли — не жалею. Привычки такой не имею. Или взять тряпки. Рубашек, разного барахла прошу когда?

— У тебя что, носить нечего?

— Не в этом дело. Просто я обхожусь тем, что есть, и никогда для себя ничего не требую.

— А-а, — поняла по-своему жена. — Костюм я хотела купить. Запереживал... Как же: лишняя тряпка у меня будет. А ты, оказывается, скряга. Не знала...

— Опять ты не поняла, — подосадовал Василий. — Покупай ради бога все, что пожелаешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу тебя первый раз в жизни для себя. Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. Ну, истратил я деньги. Так я их втрое больше потом заработаю. Душа просит эту штуку сделать. Не мешай. Иначе я не человек буду.

— Вертолетик тебе не мешать строить?

— Да, — качнул головой Василий.

— Нет уж, милый, — жестко сказала Варя, — не смейся-ка людей. Ты пока что в семье живешь, так будь добр считайся с семьей. Когда будешь жить один, тогда делай что хочешь. Никто тебе ничего не скажет. А эти железки, — показала рукой на брезент, — завтра же увези туда, где взял. Не увезешь — сама повыкидываю. Так и знай.

После этого она ушла, хлопнув дверью.

Василий посидел еще немного и тоже поднялся.

В кухне, несмотря на поздний час, горел свет, и на столе был налажен ужин, но есть Василию не хотелось. Разделся, умылся и осторожно полез в постель.

Варя не спала. Это он понял по ее дыханию. Нашарил в темноте ее теплое плечо, и это тепло его обнадежило. В сарае разговора с женой не получилось, так, может, здесь, когда они близко друг от друга, Варя выслушает его, не испугается сказать холодное слово и постарается понять его душу, в которой творилось самому неизвестное.

— Варь... — мягко позвал Василий. — Давай поговорим.

— Разговаривать будем, когда свои железки увезешь. Тогда и лезь. Понял?

— Ну почему ты такая? Я же по-хорошему... — Он хотел обнять жену, приласкать, как раньше, когда у них все было ладно, но Варя не приняла его, в сердцах отдернула плечо и повернулась к стене, холодная и чужая.

Удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем короткий срок. Еще какой-то месяц назад Василий жил размеренно и спокойно. В семь часов утра он вставал без будильника, от привычного внутреннего толчка, находил в кухне еду, завтракал и шел в мастерскую леспромхоза. Начиналась смена, и он пилил, строгал, тесал — делал то, что должен был делать. Ни суеты, ни торопливости в себе не знал. Зачем и куда торопиться, если руки движутся как бы сами собой, и к концу смены обязательно выполняют положенное.

Придя с работы, ужинал, около часа дремал на диване и отправлялся в свой хорошо оборудованный са-

рай, где работал еще часа четыре, выполняя заказы сельчан. Жизнь катилась ровно и уверенно, не докучая особыми заботами, и казалось, всегда так будет.

А теперь все сбилось с привычного хода, будто пружина соскочила с держателя и стрелки часов рванули быстрее по своему кругу, чем надо. На работе Василий уже думал, как бы поскорее попасть в сарай, и заранее прикидывал, что успеет сегодня сделать. Вернувшись со смены домой, больше не разлеживался на диване, а, наскоро перекусив чем придется, бежал в сарай. Отпирал большой висячий замок, повешенный после угроз жены все повыкидывать, и лихорадочно принимался за дело. Выкраивал по самодельным чертежам шпангоуты фюзеляжа, заготавливал бруски для лопастей винта и другие детали, чтобы потом из фанерных, металлических, пластмассовых частей собрать воедино то, из-за чего переначилась его прежняя, без тревог, жизнь.

Полозже приходил Мишка, предварительно проследивший, нет ли поблизости Вари, которая могла его турнуть со двора. Мишка крадучись шмыгал в сарай, заперся на крючок и распахивал крышку потрепанной балетки с инструментами. Боевито звеня ключами, запускал руки во внутренности мотора, что-то перебирал, чистил, смазывал. Однако надолго его не хватало. Скоро Мишка, сплевывая на пол, что раздражало чисто-плотного Василия, отступал от мотора, скромно ухмыляясь:

— Плесни че-нибудь, а то здоровья нету.

— У тебя каждый день здоровья нету, — с тихой злостью говорил Василий. Он уже привык к ежевечернему Мишкиному вымогательству и заранее припасал выпивку. Наливал слесарю полстакана, и тот, успокоившись на время, продолжал копаться в моторе. Потом присаживался перекурить и собирался домой.

Василий его не удерживал. Сам он оставался в сарае далеко за полночь, удивляясь своему двужилню. Раньше в десять вечера уже ныли спина и руки, а теперь будто за порогом сарая оставлял свою усталость. И работал, работал, словно боялся, что не дадут закончить задуманное.

Жена к нему в сарай больше не заходила и ужинать не звала, и он приспособился ужинать в столовой. Иногда она оставалась ночевать у матери, и Сережку домой не приводила. Специально, как догадывался Василий.

Его позлить. А когда была дома, то с Василием не разговаривала, а при нужде объяснялась знаками, как с глухонемым.

Однажды Василий не вытерпел, спросил:

— Сережку-то насовсем отдала, что ли?

И тут жену прорвало. Она будто давно дожидалась этого вопроса, и ответ у нее был под рукой.

— А ты неужели соскучился? Совсем не похоже, что соскучился. По-моему, ни я, ни сын тебе давно не нужны. Люди уж смеются над тобой, как над дурачком. Ни стыда ни совести у мужика.

Василий замолчал, жалея, что затеял разговор, но Варя молчать не хотелось. Намолчалась, много у нее слов накопилось.

— Вертолетик! Смех один! Ты бы лучше уж мотоцикл собрал, раз делать больше нечего. Все бы польза семье была. Вон Ширяевы каждую осень ездят в тайгу на мотоцикле. Кадушку груздей засолили, да бочку брусники замочили... А сколько сухих грибов в потребсоюз сдали! Заработали люди. А он — вертолетик. Только о себе и думает. Эгоист. Да еще сына вспомнил. Как же, нужен ему сын!

Слушал злой, срывающийся голос жены, а тут нежстата пришла девка от Степанова из заготпушнинны узнавать про клетки и начала разговор почему-то не с Василием, а с Варей. Степанов грозил пожаловаться на Агясова в леспромхоз, если через неделю не сделает все, что обязан по договору.

Василий, чтобы отвязаться, пообещал, и едва девка ушла, побрел из дому прочь, чтобы в сарае, в тишине и покое, прийти в себя.

Работа тем не менее у него продвигалась споро. Где-то надо было уже собирать вертолет. Делать это у себя во дворе он не решался по многим причинам. Опасался, Варя и в самом деле что-нибудь сломает или выбросит, да и трудно будет катить аппарат к полю через всю деревню. Народ сбежится от стара до мала. Наслушается насмешек.

На другой день пошел к Тимофею проситься под извес. Тот долго кряхтел. Побавался: заругают авиаторы. Но потом согласился и даже коня дал — перевезти детали. В ту же ночь Василий все перевез к Тимофею.

Варя глядела с крыльца, как муж грузился.



— Может, тебе и чемодан сразу собрать? Чтобы больше тебя не видеть? Чтобы хоть надо мной-то не смеялись?

Василий уехал молча и ночевать остался у Тимофея.

Варя тоже ушла к матери. Что ей одной в пустом доме делать? Сиротливый, затаявшийся стоял дом, впервые опустевший на ночь за все годы. Жутковато было глядеть на его светящиеся под луной стены и темные провалы окон.

Вечером, идя с работы, Варя гадала: дома муж или нет? Пошарила в стене — ключ оказался на месте, и у нее кольнуло под сердцем. Не стада отпирать замок, пошла к матери за Сережкой. Все не одной сидеть. И когда уже с сыном подходила к крыльцу, ее через забор окликнула Федоровна.

Соседку Варя не любила и даже втайне побаивалась. Еще когда дом строили, она все беспокоилась: слишком уж часто и непонятно глазела старуха через забор к ним на усадьбу. Заберется с вилами на сарай, будто овечкам сена скинуть, а сама обопрется на вилы и смотрит, как Василий на крыше доски приколачивает. И черный трехлапый кобель вскочит на крышу следом за хозяйкой и тоже уставится в соседний двор, будто без него она там не все высмотрит.

Не раз Варя вздрагивала от нехорошего предчувствия, злилась на Федоровну, не раз собиралась высказать ей, что надо, да не могла никак решиться.

И Василий посмеивался над страхами жены:

— Пускай себе смотрит. Тебе-то что? Или боишься — отобьет меня? Так она вон какая старая.

— Кто ее знает, ворожею. Не нравится мне это, на душе тревожно. Сглазит еще, — отвечала Варя, и, наверное, у нее все-таки было отчего беспокоиться. Вся жизнь Атясовых проходила под неусыпным старухиным взглядом. Странительство дома соседка видела во всех подробностях. Новую мебель везли с базы — и ее старуха не прозевала. Купили холодильник — и на него смотрела Федоровна из-за забора. Сережку из роддома и того не проворонила, проводила в дом цепким своим взглядом. Варе к крыльцу пришлось двигаться боком, загораящая собою младенца от бабки. Боялась, как бы та не сглазила.

«Завидует... А мы разве виноваты, что у нас жизнь

хорошо складывается?» — думала Варя, но всякий раз, когда везли дөмой что-нибудь новое, ей было стыдно перед соседкой, будто этой вещью, предназначенной для кого-то другого, они завладели обманом. Старухина завалюха казалась ей нарочно тут под боком поставленной, чтобы подчеркнуть, как несчастны одни и удачливы другие. Для Вари это было тягостно.

И вот снова Федоровна тарачилась в ее двор.

— Варя, ты дрожжамн не богата?

Еще за одно не любила Варя старуху. За ее голос. Голос у нее на удивление свежий, девичий прямо. Услышишь такой голос, обернешься и не сразу поверишь, что исходит он из сморщенной старухи, опершейся на суковатую палку.

Варя так и замерла от неожиданности. Сроду она с соседкой словом не перекинулась, при встрече старалась обежать ее подальше, и вот на тебе: дрожжей просит. Дрожжи ей, видите ли, понадобились. Но тотчас ворохнулась тайная надежда: все-таки бабка — ворожея. Вдруг да что присоветует. Надо бы пригласить ее в комнату. Ничего уж теперь она не сглазит у Атясовых. Теперь и сглазить-то нечего. Все идет прахом.

— Есть дрожжи, есть! — как можно приветливее откликнулась Варя. — Ты заходи, Федоровна, в дом-то!

Старуха вошла и зорко оглядывалась, узнавая вещи. Варя усадила ее на мягкий стул, принесла непочатый брикет дрожжей, подала.

— Весь кусок отдаешь ли, че ли?

— Бери, Федоровна, у меня еще есть, — сказала Варя и, присев рядом на стул, вздохнула.

— Че вздыхаешь-то? — живо спросила старуха, будто дожидалась этого вдоха.

Варя безнадежно махнула рукой.

Старуха еще спросила:

— Сам-то где? На работе ли, че ли?

«А ты будто не знаешь», — подумала Варя, а вслух сказала жалобливо:

— Какая там к черту работа. Совестно сказать. У Тимофея он. Вертолетик строит... — И еще вздохнула. — Прямо беда какая-то. Уж лучше бы запил. С пьяницей еще можно сладить. Пошла бы к директору: так, мол, и так — образумьте. Его бы на собрании пробрали как следует, и был бы как миленький. А тут куда пойдешь? Не станешь же жаловаться в леспромхоз, что му-

жик вертолет строит. Что ему сделают? Он не пьет, не нарушает ничего. Надо мной же и посмеются. А сколько денег извел на эту затею — страшно сказать. Уж лучше бы пропил те деньги, не так бы обидно было. Ну пропил и пропил. С кем не бывает. Да и мало ли чего пропивают. Так ведь занятие себе выдумал — глупость сплошная. Как ненормальный стал. Никого не видит, ничего не слышит. Молчит и молчит, как идол. Откуда на него такая напасть нашла? Ума не дам. Смирный был мужик, слова поперек не скажет, и — вот тебе. Чего ему не хватало?

— Это оттого, что жить шибко хорошо стали, — проговорила Федоровна своим певучим девичьим голосом. — Всего навалом в избе: и пить, и есть, и одежи. Телевизоры разные... Избаловались люди, маются с жиру. Не знают, какую им еще холеру надо.

— Да при чем тут телевизоры? — перебила Варя неуверенно.

— А при том... Раньше-то, когда жрать нечего было, глупостями не занимались люди. На кусок хлеба зарабатывали.

Варя спорить не стала. Попросила тихо:

— Ты бы, Федоровна, раскинула фасоль-то.

Старуха испуганно отмахнулась.

— Ну ее к лешему. Меня за ее вызывали.

— Да я кому скажу? Не дура. Ведь надо мной же и смеяться будут, если узнают, что гадала.

— Ну ладно. Жалко мне тебя, девка. Согрешу уж разок.

Старуха сходилась домой, принесла темный засаленный мешочек. Высыпала из него на стол пестрые фасолины, стала разбивать их на равные кучки, что-то нащепывая про себя.

Сережка, до этого примолкший с книжкой в своем углу, вытарашил глазенки, и Варя, спохватившись, вы проводила его погулять.

Старуха, разложив фасоль, сказала вдруг:

— Знаю, милая, какая на него напасть нашла.

Варя так вся и сжалась.

— Какая?

— На него тень стрекозы упала.

Варя и рот раскрыла, испуганно глядя на старуху. Жалела уже, что и позвала ее сюда.

— Будет тебе, Федоровна, пугать-то, — проговорила

она с дрожью в голосе. — Какая еще тень? Чего соби- рашь-то?

— А такая. С крылышками. От стрекозки тень. Нет, милая, видно, не ты первая, не ты последняя. Никуда не денешься. У каждого мужика есть какая-нибудь от- душина. Либо выпивает, либо за бабами ухлестывает. А то — как твой. Строит какую-нибудь холеру. Зря себя и семью изводит.

— Вон ты про что, — немного успокоилась Варя. — Говорят, у Василия и отец был немного не в себе. Он ведь тоже пить не пил, а заберется на крышу и песни горланит на всю деревню. Может, от отца ему переда- лось?

— Чего не знаю, того не скажу, — замялась стару- ха. — Обыкновенный вроде у него отец был. Ты вот что, девка. Если уберу с мужика эту самую тень, чем отбла- годаришь?

— Вы сами скажите, сколько надо.

— Я деньгами не хочу, — помотала Федоровна го- ловой.

— Могу что-нибудь из одежды дать.

— Одежда у тебя больно модная. Не по старухе.

— Ну тогда не знаю. Скажите сами.

— Обещай, что Василий мне гроб сделает.

— Да ты что, Федоровна! — обомлела Варя. — Ка- кой еще гроб? Ты ведь живая. Как можно!

— Ноне живая, а завтра нет. Ты пообещай.

— Так сделает, чего же не сделать. Соседи ведь.

— Уж пусть сделает. Мне в его гробу хорошо будет. Рука у него легкая, ласковая. На Митьку моего шибко он похожий. Такой же рукастый. Только давно-о нету Митьки. Все из моего рода ушли, а я мыкаюсь по свету. Ты уж попроси Василия-то, пускай постарается. Я вас оттуда потом благословлю.

Скоро Федоровна ушла, а обшаренная Варя как сидела на стуле, так и осталась сидеть в оцепенении. Ни рукой, ни ногой двинуть не может. Всю ужас спеленал.

И тут Василий с Сережкой заходят.

— Папка, они гадали, — рассказывал отцу Сереж- ка. — Меня прогнали, а сами на фасоли гадали. С баб- кой Рыбкой.

— Разве так можно на старушку? — сказал ему Ва- силий. — Какая она тебе Рыбка? Надо говорить Федо- ровна.

— А все так говорят.

— Пусть говорят. А ты не говори: неприлично.

Варя даже не поднялась навстречу.

— Если не выбросишь дурь из головы, уйду к маме насовсем. Заберу Сережку и уйду. Живи один, раз семья надоела, — говорила Варя сквозь слезы, и лицо у нее стало красное, некрасивое.

— Давай, давай... — потерянно повторял Василий. — Иди к маме. Она пожалеет. — Ему было все равно.

Потом они молчали, и снова сиротливо было в доме, даже еще сиротливее, чем в тот раз, когда они все ушли из дома. Тогда хоть ушли, а тут семья в сборе, а кажется, что дома пусто, ни души. И даже стены, кажется, и те глядели на молчащего, отчужденного хозяина с немой укоризной.

5

Василий проснулся и некоторое время лежал без движения, глядя в темный потолок и соображая, который идет час. Прислушавшись к дыханию жены, которая спала теперь отдельно, он осторожно поднял голову и разглядел за занавесками слабый утренний свет утра.

«Поздно уже светает», — подумал он.

На столе четко тикал будильник. Сегодня он не зазвонит чуть свет. Хозяевам некуда собираться — суббота. Потому и поднимался Василий с раскладушки тихо, стараясь не скрипнуть, иначе Варя может проснуться и спросить, куда это он в такую рань. И вообще куда не отпустит.

На дворе было сумрачно и зябко. Наверное, уже лужи подморозило. Небо же было чистое, звездное, и он порадовался, что хоть с погодой повезло. Спал в эту ночь Василий плохо, видел обрывки странных снов, которые не запомнились. От них оставался лишь тягостный осадок в памяти. Очень его беспокоила и погода. То ему чудилось, что на улице поливает дождь, и он даже явственно слышал шум дождя, то казалось, что небо сплошь обложено тяжелыми, до земли тучами, и эту тяжесть он ощущал всем телом.

А на самом деле все было лучше, чем он ожидал. День обещался сильный и звонкий, хороший осенний день.

Тимофей долго не отпирал. Потом в темной комнате

обозначилось движение. Скрипнули половицы, шелкнул в сенях откинутый крючок, и на пороге, в исподнем, появился заспанный хозяин. Позевывая, он впустил раннего гостя, включил свет.

— Ты чего так рано? Ни лешего еще не видать.

— Самое время. Пока соберемся, пока что. Мишка обещался прийти.

— На что он тебе?

— Понимаешь, болты на лопастях малость жидковаты. Я попросил его новые нарезать.

Тимофей неопределенно хмыкнул, но ничего не сказал. Спросил:

— Ты, верно, не евши? Чаю согреть? Пошвыркам.

Василий отказался:

— Мне сейчас ничего в горло не полезет.

— Боязно?

— Как тебе сказать, — замялся Василий. — Мало ли что может...

— Но дак не лети. А то еще гробанешься.

— Не накаркай.

За окном уже порядком развиднелось, и Василий забеспокоился.

— Давай, Тимофей, выкатим машину на поле. Уж лучше там его подожду, а то гляди — светло как.

Под навесом в сумраке едва угадывались контуры вертолета. Василий взялся за стойку колеса, уперся плечом. Творение его оказалось нетяжелым, к калитке выкатили вполсилы. Там остановились — мешал забор. Раньше об этом не подумали.

— Разберем забор, — предложил Василий.

Тимофей молча принес гвоздодер. Забор разобрали, доски оттащили в стороны, расчистили путь. Снова покатали вертолет.

— Постой, — вспомнил Василий. — Ты бензину обещал авиационного.

— Беда с тобой. — Тимофей помялся, принес канистру, предупредил: — В случае чего не говори, что я дал. У охотников, мол, взял. Им дают для пушинны — обезжиривать.

Наконец машину выкатили на облюбованное Василием место.

— Ну где Мишка-то? — переживал Василий. — Ведь договорились по-людски. Я ему полста рублей дал за работу.

— Вот это зря, — покрутил головой Тимофей. — Надо было потом, когда все сделает.

— Он иначе не соглашался.

— А теперь жди его. Мишка есть Мишка... И еще такое дело. У него вчера дома шум был. Че-то Федорова к ним приходила. Наверно, рассказала его бабе, та и взяла в оборот. У него баба — гром. Не придет он, зря ждешь.

Василий сплюнул с досады и, отойдя от машины, стал рассматривать ее со стороны отстраненным, оценивающим взглядом. Дымное солнце, краешком высунувшееся из-за темной стены леса, осветило зеленый бок вертолета. Оттенило, как ребра, переборки из-под крашеной материи. Засияло оргстекло кабины. По лакированным сосновым лопастям скользнули быстрые блики. Вспыхнула красная звездочка на фюзеляже.

— Пошто звезду-то нарисовал? — спросил Тимофей. — Звезды только на военных бывают. А у тебя личный. Не положено.

— А пусть светит, — смущенно улыбнулся Василий. — Со звездочкой как-то веселее.

— Ты че же, полетишь? — спросил Тимофей, заметив, как напряжился Василий, как построжел лицом. — А болты?

— Может, старые выдержат. Назад мне пути нету.

Василий еще раз оглядел свою машину всю сразу, надеясь увидеть в ней ту силу, которая оторвет его от земли. Прерывисто перевел дух и, решившись, полез в кабину. Умогнулся на фанерном сиденье, закрыл дверцу приспособленным для этого оконным шпингалетом. Кажется, все нормально. Махнул рукой Тимофею: давай!

Тимофей поднял заводилку, заранее сделанную столяр, — палку с ременной петлей на конце. Зацепил петлей за лопасть, нерешительно уставился на Василия.

— Дергай! — крикнул тот.

— В какую сторону? — не понимал Тимофей.

— По часовой стрелке!

Тимофей медлил, застыв в полусогнутой, нелепой позе, — соображал, как идет стрелка на часах.

— По солнышку! По солнышку! — подсказал Василий.

— Так бы сразу и сказал, — проворчал Тимофей, принаравливаясь к рывку. Он дернул петлею лопасть с

такой силой, что Василий в кабине забоялся, как бы она не оторвалась.

Мотор не взялся.

— Не пойдет без Мишки, — сказал Тимофей.

— Пойдет, никуда не денется! Ты дергай, Тимофей, дергай!

Мотор стрельнул раз, другой и вдруг гулко затрещал, со свистом раскручивая лопасти.

Тимофей, пригнувшись и прикрывая голову руками, отскочил в сторону, а у Василия враз пересохло горло. Потной ладонью он ухватился за ручку газа, осторожно сбрасывая обороты. Руки дрожали и были как чужие — может, от волнения, а может, от тряски. Тряска же на самом деле была сумасшедшая. Дрожало и фанерное сиденье, на которое он не догадался приспособить хотя бы кусок поролона для мягкости, дрожали и позвонили тонкие, обтянутые материей стенки, и стекла кабины, и все на свете.

Василий отрегулировал мотор на малых оборотах и теперь привыкал к новому своему состоянию, ощущая вибрацию всем телом, слыша грохот двигателя и свист рассекаемого винтом воздуха над головой. Он видел над собою мельтешение слившихся в сверкающий круг лопастей, видел, как стелется на земле сухая трава. Желтое облачко пыли висело в воздухе, и от этого стекла кабины кбзались мутноватыми.

— Ну... — проговорил Василий сухими губами и перевел дух.

Раньше, еще когда он только мечтал стронть вертолет, ему думалось, что полетит он на нем легко и просто, что машина будет послушна его желаниям, повернет туда, куда он захочет. Но вот машина обрела реальную плоть, и Василий понял: дело обстоит гораздо сложнее, чем предполагал. За спиной — громоздкий мотор, который может не только поднять его над землей, но и ударить о землю. И Василий загодя тренировался: садился в кабину, работал ручками. Но тогда машина была тиха и послушна, а сейчас она ожила. Сквозь грохот и дрожание Василию вдруг подумалось, что Тимофею он видит, возможно, в последний раз. Но он тотчас же отогнал от себя расслабляющую мысль.

Будто чужой рукой потянул столяр на себя ручку газа, замирая от нарастающего грохота мотора и свиста воздуха над головой, пугаясь жуткой тряски, от кото-



рой, казалось, вот-вот рассыплется, не успев взлететь, его легкая машина.

Грохот все нарастал и нарастал, забивал уши, и вдруг Василий почувствовал, как вертолет легонько качнуло с боку на бок. Он еще крепче вцепился в ручки, инстинктивно глянул в окно на Тимофея. Но Тимофей он увидел не так, как раньше. Тот будто стал ниже ростом. Василий видел его запрокинутое вверх лицо, скалящееся шербатым ртом.

«Лечу!» — обожгло его.

Сколько ждал Василий этого мгновения, сколько перемучился и перетерпел ради него, а теперь, когда вертолет завис над землей, удивился и растерялся, как от неожиданности. И тотчас радость нашла его, залихорадила. Кто говорил — не полечу? Вот тебе и не фабричный! Да мы можем еще и не это. Гляди, Тимофей, все глядите! Атясов-то полетел!

Он уже сильно жалел, что еще рано и никто из знакомых не увидит его полета. Но ведь все равно в деревне будут говорить: «Слыхали, Васька-то, столяр, — полетел!» И все его переживания и мучения, даже разлад с Варей показались мелкими, несущественными и забылись, словно их оставил на земле.

— Лети-им! — кричал Василий в восторге. — Лети-и-им!

Тимофей медленно уплывал в сторону. Вот он исчез совсем, и впереди завиднелась зубчатая стена леса, подсвеченная сверху солнцем, словно обожженная.

«На лес несет», — понял Василий и стал стараться развернуть машину, чтобы пойти вдоль леса. Он слегка потянул рычаг поворота, но рули, такие послушные на земле, отчего-то не слушались. Вертолет никак не хотел разворачиваться. Лишь кабина наклонилась к земле, да так, что Василий едва не сползал с фанерного сиденья, и машина двигалась прямо на лес, не поднимаясь и не опускаясь.

Внизу плыл низкий кустарник, он едва не попадал под винты. Сбоку бежал Тимофей, размахивая руками. Советовал, видно, подняться выше или наоборот, сесть на землю. Однако приземлиться тут было нельзя — попадались пни и выворотни. Оставалось одно — подняться как можно выше. И Василий уже не замечал Тимофея, он неотрывно смотрел на приближающуюся стену леса, все смелее и смелее тянул на себя ручку газа,

чтобы взмыть над этим лесом, над низким еще солнцем, шептал спекшимися губами: «Ну давай, миленький, давай... Подымайся туда, вверх... Подымайся, а то втешемся в сосны».

Впереди он уже ясно различал деревья. В ясном осеннем воздухе, высветленные солнцем, мягко розовели стволы сосен, а хвоя их была темна и плотна. Между ними желтели березы, и кое-где серели осины, будто подернутые пылью — увядающие. Все это надвигалось на Василия, а машина, будто привязанная к земле невидимыми путями, не желала подниматься.

«А ведь и правда втешемся», — понял Василий и с отчаянием рванул до отказа ручку газа, надеясь, что мотор все же порвет невидимые путы, вытянет машину вверх, в голубую, близкую бездну неба. Но подступавшая зеленая стена не проваливалась вниз, она заслоняла собою все небо.

И вдруг, холодея, Василий услышал жуткий необычный треск над головой. Обгоняя машину, что-то сверхающее на огромной скорости пролетело к деревьям, ударилось в ветви, ломая их и срезая, и машину тотчас трянуло с такой силой, что Василий лбом врезался в стекло и почувствовал, как он проваливается вниз. Он еще слышал треск древесины, сухие хлопки лопающейся материи, скрежет чего-то металлического, а потом все это куда-то ушло...

С трудом Василий выполз из-под обломков своей машины. Неуверенно, будто впервые в жизни, поднялся на ноги, встал, качаясь, но колени не держали, и он привалился спиной к шершавому стволу сосны с изразными сверху ветвями. В глазах мельтешило красное зарево, мешало видеть. Он хотел протереть глаза, но правая рука не поднялась и заняла, когда двинул ею. Краем глаза левой рукой и увидел на ладони кровь. Кровь его не удивила, будто была совсем не его, чужая.

На вершине сосны шелестело что-то живое.

Он запрокинул голову, глядел, как на сломанную ветвь всталась сорока, косила на него пугливым быстрым взглядом.

— Не видела такого чуда? — прохрипел Василий. — Гляди, сколь взлетит. Не убавится. — И опустил голову.

Под ногами лежало отломленное колесо. Василий кивнул глазами дальше и увидел свой искореженный вертолет. Вырванный ударом мотор валялся рядом со щеп-

ками от винта. Мотор еще жил: в нем что-то всхлипывало и постанывало. Сверкающими блестками валялись в мятой траве осколки оргстекла, на них было больно глядеть. На оторванной дверце, отброшенной далеко от машины, висел на одном шурупе оконный шпингалет, которым Василий запирался в кабине.

В лице столяра что-то дрогнуло.

Он поглядел на все это разбитое, исковерканное, порванное, так заботливо и старательно некогда им добытое, и вдруг почувствовал в себе не боль и отчаяние, а облегчение.

Пиул ногой колесо с отломленной осью, которое откатилось и упало в траву, посмотрел на нелепо выглядывший тут оконный шпингалет и рассмеялся разбитыми губами.

Сорока дернулась на ветви, отчаянно взмахивая крыльями, и это еще больше насмешило Василия. Он засмеялся уже громче, и эхо понесло по лесу его смех. Смеялся он до слез, изумляясь, что давно уж он так весело и щедро не смеялся. И так легко ему было, так хорошо...

Подбежал Тимофей, остановился, раскрыв от неожиданности щербатый рот и заглупев переводя дыхание.

Смешно было смотреть Василию на обломки машины, на перепуганного Тимофея. Его качало от смеха, и он хохотал и хохотал, пока не закололо в груди.

Тогда он затих и опечалился.

— Что, Тимофей, — спросил хриловато. — Думаешь, тронулся Васька Атясов? Нет, Тимофей, не-ет...

И медленно пошел в село.

На краю поля его встретила Варя и увела в дом.

Больничный лист Атясову хоть и выдали, но леспромхоз оплачивать его отказался. Травма-то не производственная и даже не бытовая — вообще глупая. Сам виноват.

— Ничего, — заботливо утешала его Варя и осторожно трогала гипс на сломанной руке. — Перебьемся, Вася. Вот рука подживет, и мы свое наверстаем. Правда ведь?

— Правда, — согласно качал головой Василий. — Наверстаем. — И виновато говорил: — Руки у меня зудят без работы. Скорее бы уж.

И снова ладно стало в доме Атясовых, тихо стало и уютно. Варя ни в чем мужа не укоряла, будто ничего и

не случилось. Иногда только спрашивала задумчиво: — Так что же, Вася, с тобой было-то? Ведь это надо ума решиться — вертолет строить. Понять не могу.

Отвечал неохотно:

— Не знаю. Накатилось...

Когда жена была на работе, а Сережка в школе, Василий, не вынося безделья, уходил за село, глядел на еще большие потемневшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на перевернутую вверх зубьями пилу.

Удивлялся: в прошлые годы зима приходила быстро и оседала плотно, а тут что-то сдвинулось в привычном течении сезонов.

И на самом деле — необычное творилось в природе.

Давно ушел тихий золоченый сентябрь, уже последние дни октября закатывались, а на бурую полеглою траву, прихваченную первым зазимком, никак не ложился снег. Березы и осины стояли давно голые, с остатками вялых листьев на верхушках. Будто пристыженные они были перед соснами, ни зеленью, ни снегом не прикрытые. Небо было серое, низкое, теплое. Ворочалась день и ночь на нем тучи, уже не летние, но и не зимние — не поймешь какие. Изредка ветер пригонял заплутавшую снеговую тучу. Мелкий колючий снег косо падал вниз и таял — теплая земля не принимала его.

Но иногда небо вскрывалось полынками такой неожиданно близкой голубизны, что сердце заходилось испуганно отчего.

Вот такая стояла осень...

## КРАСНЫЕ ЛИСЫ

1

Едва Иван переступил порог отцовской избы, как сразу понял: его тут ждали, и ждали неспроста. Отец и младший брат Гришка, который тоже, как и он, Иван, был женатым мужиком, но от родителей из-за отсутствия своего жилья не отделялся, сидели не в кухне, где обычно ужинали в будние вечера, а в горнице за круглым столом, покрытым праздничной скатертью с кистя-

ми. Они томилась перед неоткупоренной бутылкой водки. Налажена была и закуска: хлеб, ломти желтого, с душиком, прошлогоднего сала, квашеная капуста и соленые огурцы. Три порожних стакана стояли наготове.

Губастый Гришка с таким жгучим интересом уставился на вошедшего Ивана, будто незадолго до этого узнал, что брат не кто иной, как оборотень, и теперь пытался разглядеть это новое братово качество. Таращил близко поставленные водянистые глазки, которые не сразу различил на его буре, потрепанном лице — не сморгнет, нижняя губа в растерянности отвисла, и его хитрой ухмылочкой не видать. И столько в нем робости перед непонятной братовой силой, что, кажется, пуги его Иван, и Гришка пулей вылетит в окно, которое словно на этот случай и распахнуто за его спиной. «Ну артист...» — только и подумал Иван с раздражением.

Отец неторопливо повернул голову к вошедшему сыну. Он казался спокойным, однако в морщинах его лица лежала какая-то холодная затаенность и значительность, отчего у Ивана нехорошо ворохнулось сердце. Днем к нему на поле прибегал Гришкин пацан и передал: «Деда велели вечером прийти». В последнее время Иван старался реже появляться в родительском доме, чувствуя молчаливое стариковское осуждение и укор. Приглашение это озаботило его и насторожило. Теперь то он наверняка знал, для чего «деда велели прийти». Дураком надо быть, чтобы не догадаться. Молчали, молчали, да и решились, значит...

По-хорошему, надо было бы еще там, на поле, пораскинуть мозгами, поискать, чем ответить в свое оправдание, но подстилать соломки на всякий случай Иван не умел и не любил, и раз вошел не готовый к разговору, так не поворачивать же теперь назад. Это не по его. Готовый не готовый — деваться теперь некуда.

Иван стянул с себя замасленную телогрейку, поставил ее стоя у порога, сполоснул руки перед умывальником и прошел к столу.

Отец сидел в черном суконном пиджаке — в парадном. Еще в давние времена сидевал в нем на собраниях, в президиуме, важно насупленный и горделивый. Тогда ему пиджак был впору. Нынче же усох отец, будто жизнь уходила из него вместе с телом, и пиджак стал велик, словно с чужого плеча. На груди висели две медали. Одна потускневшая — военная, другая совсем новень-

кая — трудовая. Ее отец получил, когда провожали на пенсию. Нельзя не наградить такого человека. Всю жизнь числился передовым — сначала колхозным, а когда стал совхоз, то и совхозным — трактористом. И после себя не пустое место оставил, а двух сыновей, тоже трактористов. Получается — ветеран и глава династии. Это надо суметь. На отвороте пиджака, чуть поодаль от медалей, снял свежей эмалью красный значок дружинника. Это уж после проводов на пенсию Гришка ему свой прицепил. Носи, мол, батя, до кучи. Наводи порядок. Ваш брат пенсионер это дело любит. А со значком в самый раз: кого хочешь заберешь... Ради смеха прицепил, а отцу значок неожиданно понравился: нарядный, с серпом и молотом. Не снял, стал носить. Странно и чужеродно смотрелся значок дружинника на впалой стариковской груди, но для Ивана, который сейчас во всякой мелочи усматривал особый смысл, даже и этот значок не казался здесь случайным, а имеющим свое тайное предназначение.

— Праздник, что ли, какой? — присаживаясь к столу, осторожно поинтересовался Иван.

— Ага. Праздник, — ответил отец сдержанно. — Веселиться сейчас будем. Жизнь больно веселая у нас пошла, спасу нет.

— А мать где? Чего же ее на вашем празднике не видать? — спросил Иван с понятливой усмешкой, лихо разложив, как быть дальше, какие слова говорить.

— Я ее к соседям послал посидеть. Мужичий пойдет разговор. Да и мало тут будет матери радости.

— Та-ак... Понятно... — тяжело выдохнул Иван, попеременно оглядывая то отца, то брата. — Приготовились, значит?

— Приготовились, — подтвердил отец.

— Ну давайте, начинайте. Послушаем, — натянуто усмехнулся, откинувшись на спинку стула и руки на груди скрестив, а глаза — безразличные и отрешенные. Говорите, мол, что хотите, мне все равно.

Отец откупорил бутылку, разлил всем поровну. Поднял свой стакан, но чокаяться с сыновьями не торопился. Коснулся на Гришку и как будто чего-то ждал.

Оттого ли, что отец с Гришкой сидели рядом, по одну сторону стола и озабочены были какой-то общей мыслью, но Гришка сейчас сильно походил на отца. Та-

кой же росточком, невеликий, узкоплечий, можно сказать — плюгавенький мужичонка, хотя и жилистый. Глаза жиденькие, отцовские. Чем его не обделили, так это губами. На тронх бы хватило. Иван же, наоборот, был мужик высокий и синеглазый, будто и рост и цвет — все ему, первенцу, досталось.

Иван глядел на подрагивающий стакан в слабой отцовской руке. «За какие такие радости посередь будней недели?» — хотел спросить и чуть было не спросил, да заметил — Гришка ему в рот смотрит. Удержался от вопроса, чутьем угадав, что лучше помолчать. Сами скажут. И точно: выждав время, Гришка обернулся к отцу.

— За что, батя, выпьем?

— А вот за жену его, за Марию! — тотчас громко отозвался отец, кивая на Ивана. — Дай ей бог, чтоб выздоровела. Чтоб сыновья при живом отце сиротами не остались.

Иван хотя и догадывался, о чем пойдет разговор, но такого крутого оборота не ждал. Вздрогнул. Водку на колени сплеснул. Рука сама собой опустила стакан на стол.

— Вы меня за этим позвали? Поиздеваться? — горько спросил он, отодвигаясь от стола вместе со стулом.

— Слышал? — повернулся отец к Гришке. — За его семью пьют, добра ей желают, а он — издевается. Седьмой десяток живу — сроду такого не видел. Или, может, по-понешнему, худа надо желать, тогда потрафишь? Все наоборот надо делать?

— Со своей семьей я уж как-нибудь сам разберусь, — жестко сказал Иван, соображая, как поступить дальше: слушать или встать и уйти? Можно, конечно, обидеться и — в дверь. Но ведь все равно этого разговора не избежать. Раз уж начали, пускай продолжают.

— Разберешься... — едко усмехнулся отец. — Я ждаль устал, когда ты разберешься. Давай-ка, старшой, выпьем за Марию, за детей. В чем они перед тобой виноваты? Ни в чем. А если уж хочешь знать, на такую жену, как твоя Мария, молиться надо. Другая бы давно из дому выперла. На всю деревню бы осрамила. А эта молчит и терпит. Ангельское терпение у бабы. Таких мало осталось и скоро, видно, совсем не будет. Нонешние-то бабы знаешь какие пошли?

— Это уж точно, — поддакнул Гришка. — Доведись

до моей — сразу бы в рабочком. Эта бы не стала долго гадать, куда пойти. По собраниям бы затаскала. Все жилы бы на кулак вымотала. Тут батя правильно говорит. Я с ним согласный. Жена у тебя что надо. Да только, сдается, Ваня, кто-то заложил тебя. Портрета твоего нету. Сняли из передовиков.

Об этом Иван уже знал. Напарник в поле сказал. Новость неприятно изумила. Вечером он специально прошел возле клуба, где вдоль аллейки выставлены были портреты лучших механизаторов. И там, где раньше между отцом и Гришкой находился его портрет, в металлической раме из сварных уголков зияла дыра.

— Пускай снимают, — невесело усмехнулся Иван и потянулся за стаканом. — С трактора они меня не снимут. Зябь-то пахать кто будет? Рабочком, что ли? Такого плана, как я, им никто не даст. Еще в ножки поклонятся, если задумаю уходить. Скажи, Гришка, а? Поклонятся или нет?

— Поклонятся. Это точно, — подтвердил Гришка и потянулся со своим стаканом чокнуться с братом. — С тобой у нас во всем совхозе тягаться некому. Ты на работе — зверь.

Иван чокнулся с отцом, с братом, поглядел в стакан с отчаянием, словно в него налято было само горе, и шумно перевел дух, выпил залпом.

Некоторое время мужики сосредоточенно молчали — закусывали. Потом отец сказал негромко:

— А ведь меня вызывали туда. В рабочком-то. Так, жаль, и так: разберитесь с этим делом сами, а то вопрос на повестку поставим. Позору не оберетесь. Семья ваша заслуженная, у всех на виду, вот и не хотим срамить. Даем возможность самим улаживать... И еще говорят: хотели, дескать, разбирать заявление Григория на квартиру, а брат ему подпортил. Не знаем, как и быть. Если все тихо-мирно решится — поглядим. Вот так... — вздохнул отец. — Дом двухквартирный к ноябрьским праздникам сулились сдать. Не опоздать бы...

— А при чем тут я? — раздраженно сказал Иван. — Брат за брата не ответчик.

— Оно конечно так, — согласился отец, — а вот не дадут и все. И разбирайся тогда: ответчик или нет.

— Кто же это заложил? — задумался Гришка. — Неужто Мария?

— Нет, не Мария, — твердо сказал отец. — Ее не



трогай. Мария на такое не способная. Молча будет страдать, а не пожалуется.

— А кто тогда?

— Люди добрые... кто... Все-то они видят, до всего-то им есть дело, — хмуро проговорил отец и посмотрел на Ивана. — Ты вот, старшой, вроде озлился на меня, а зря. Худому я тебя не научу. А у нас в роду никто семью не бросал. Ни дед мой, ни отец, ни я сам. И вам не веляю. Сам подумай, Ваня, хорошо ли матери было бы, брось я ее с вами двоими? И я ведь молодой был, и у меня однажды такое случилось — с молодой девкой закрутил, да хватило ума: не о себе, о вас подумал. Как представил, что без отца останетесь, так и кончил свою любовь. Задушил в себе... Мать-то до сих пор ничего не знает. Вот как, Ваня... если голова на плечах имеется. Теперь мне уж и помирать пора. Каждую ночь во сне землю вижу, а не помирается. Как я помру, если у вас не все ладно? С позором меня земля не примет.

— Да я еще никого не бросил, — сказал Иван глухо. — С чего ты взял? На лбу у меня написано?

— Вижу... Как мне, отцу, не видеть, если чужие люди и те видят. Сколь раз хотел потолковать с тобой, да все ждал, думал, сам очнешься. Ты — ни в какую. Глаза и уши застило. А тут за тебя уж рабочком взялся. Обидно мне, Ваня, обидно... За всю жизнь про меня никто дурного слова не сказал, а теперь в лицо смеются: женатый сын треплется. Не те у тебя годы, чтобы новую семью заводить. Голова вон седеет, где уж за молоденькой ухлестывать. Стыд один и больше ничего. — Обернулся к Гришке: — Поддай-ка зеркало. Пускай твой братка на себя глянет.

Гришка послушно — рад стараться — притащил с комода большое зеркало и держал его на вытянутых руках перед братом. Иван сначала хотел заслониться рукой, потому что давно побаивался рассматривать свое лицо, но отчего-то не заслонился, отрешенно глянул в светлый подрагивающий квадрат.

Это было старое семейное зеркало в темной деревянной раме, местами потускневшее. И видело оно Ивана всяким. Еще младенцем с рук матери пускал пузыри своему отражению. Потом чубчик перед зеркалом зализывал, собираясь к реке на тырлу. Клуба в деревне еще не знали, не было его. Парни и девушки собирались на берегу. Играли в сумерках в «третий — лишний»,

пели частушки под гармонь, здесь встречались влюбленные. И именно тут, на тырле, Иван за Марией ухаживал, да еще как! Перед этим, бывало, светлый чуб набок зачесет, лomanую бровь подымет, подмигнет себе в зеркало: мы, дескать, не всякие прочие, свое возьмем! И взял. Сколько возле Марии парней ни увивалось, а всех их словно ветром пораздуло.

Да, молодой был, и лицо было молодое, свежее у него в ту давнюю пору. Привлекало оно мужской решительностью с долей бесшабашной уверенности в себе, которая должна быть у парня и которая так нравится девушкам. Но когда это было! И куда это все подевалось от него?

Было, да сплыло. А сейчас старое родовое зеркало показало Ивану стареющего мужика, уже с седоватыми висками, с бурым от ветров лицом, с морщинами у глаз, и глаза смотрели не самоуверенно, как некогда, а грустно и устало. Ничего не скажешь — выцвел.

Иван усмехнулся над собой и отвернулся. Чего смотреть? Хорошего он там ничего не высмотрит.

— Так-то, милый, — говорил отец, наблюдая за сыном. — Отгулял свое, отгулял. Взять бы вожжи да отстегать хорошенько пониже спины. Может, поумнел бы малость.

— Отстегай, отец, — со вздохом согласился Иван и бессильно уронил голову на грудь. — Вдруг поможет.

— С моими силами тебя, жеребца, не пронять. Хоть бы с меньшого брата пример брал. Гришка помоложе, а никто на него пальцем не показывает. И портрет не снимают. А ты... Девке-то, сказывают, девятнадцати нет.

— Она сама за ним ухлестывает, — вступился за брата Гришка. — Из Сосновки к нему бегаёт. Пять километров лесом.

— Да по мне пусть хоть пятьдесят! — крикнул в сердцах отец. — Мы разве виноватые? Мария от горя слегла, сыновьям учеба в голову не идет. Разбирать нас будут, осрамят на всю деревню. За что ты нас так, Иван? За какую обиду? Слышишь, нет? Неужто мы тебя с матерью без сердца родили? — Он поднялся со стула и, подойдя к Ивану, вдруг опустился перед сыном на колени, только медали на пиджаке звякнули.

Произошло это так неожиданно и неслепо, что Иван сначала даже не сообразил, в чем дело. Ему подумалось, что отцу стало плохо. Он кинулся поднимать отца,

но тот отталкивал локтем. По морщинам уже скатывались слезы.

— Вот видишь, сын, — всхлипывая, говорил отец, глядя на Ивана снизу вверх, — я на колени перед тобой встал. Сроду ни перед кем не становился, а перед тобой стою. Пожалей ты нас, развяжись с этой девкой. Неужто ты всех нас на нее одну променяешь?

— Отец, не надо! Отец, не смей, слышь! — сдавленно заговорил Иван, подхватывая отца за острые локти и пытаясь его поднять, но тот не вставал, упирался.

— Пообещай, что развяжешься. Дай мне помереть как человеку. Иначе — прокляну! Вот на этом самом месте прокляну! — и стучал по давно не крашенной, облезлой половице бурым, похожим на крученный корень пальцем.

Иван отпустил локти отца, разогнул спину и поразился: солнце еще вроде не должно закатиться, в комнате же стояли густые сумерки, неожиданные для этого часа. У Гришки было черное лицо, будто вымазанное сажей. Черной всыпкой мелькнуло в дальнем углу, на комод, зеркало, сверкнуло и смутно о чем-то напомнило. Обгорелой головешкой покачивалась у ног голова отца.

— Пообещай, — просил отец глухо, как из-под земли. — Иначе буду стоять у твоих ног, пока не помру.

Испуганный Гришка схватил Ивана за рукав и зашептал:

— Посули ему, что тебе стоит. Видишь, он едва живой. Кончится тут — всю жизнь тебе прощения не будет. Посули, раз просит.

— Ладно, — сказал Иван придушенно, цепенея от произнесенного слова, которое, казалось, вышло не из него, а из кого-то другого — такой чужой, непохожий был голос. И отрешенно опустил на стул, будто вся сила ушла из тела вместе со сказанным единственным этим коротким словом.

Гришка усадил отца за стол. Тот уже не протривился и покорно ему повиновался. Подпер голову взрагивающей рукой, не подымал слезящихся глаз на сыновей.

Через время спросил:

— Из Сосновки, значит, бегаешь?

— Оттуда, — охотно отозвался Гришка. — Мужики сколь раз видели: шпарит по лесу — спасу нет. Все бегом да бегом, как будто и шагом ходить не умеет. При-

цепщик как-то погнался за ней на мотоцикле. Ради смеха. Девка в чашу нырнула, а он едва об лесину не убился. Долго матерился. Ну, говорит, лешая, больше никто... Теперь не гоняются. Разве когда вдогонку свистнут — и все.

— Гляди-ка... И не боится одна по лесу?

— Значит, не боится. Раз бегаешь.

— Тоже, видать, отчаянная головушка, — тяжело вздохнул отец.

## 2

Ивана от всего спасала работа.

Какая бы беда с ним ни случилась, какая бы тяжесть ни легла на душу, а стоило ему прийти на поле, забраться в кабину трактора, и все житейские переживания не то чтобы забывались, но как-то неожиданно мельчали на этом огромном поле с березовым колком посередине, казались уже пустячными, не такими угнетающими, как раньше.

Да и как могло быть иначе, если работа на поле — самое главное для него занятие, самое главное и святое. Сначала, во молодости, это ему отец втолковывал, но, видно, мудрость не передается по наследству, как не рождается зрелой пшеница. Все надо испытать от начала и до конца самому — и злаку, и человеку. Через годы Иван и сам осознал, какую великую, неиссякаемую силу таило в себе поле. Много лет отец описывал круги на своем тракторе вокруг березника, поднимая то весеннюю, то поздней осенью зябь, и поле кормило его самого и его семью, и еще многих других людей, которых он не видел и не знал. Сошел отец с круга, как по давно утраченному кругу, и его сменил Иван, родной сын. Жизнь на поле по-прежнему шла кругами: возрождалась, созревала и, дав семена для продолжения рода, умирала. Вечная была она и щедрой. Оно не только кормило многих людей, но и наполняло жизнь Ивана мудрым смыслом и умиранием к себе, без чего человеку никак нельзя.

Он и сегодня шел на поле с надеждой, что работа вырвет его и на этот раз: в голове прояснится, душа вырубится и утешится. Ведь как мелка его, Иванова, беда по сравнению с огромным, вечным полем: песчинка малая.

Иван принял у сменщика трактор, завел его и пустил по загонке — вокруг березника, привычным кругом. Однако на этот раз даже работа не успокаивала, не давала забыться. И чем больше день набирал силу, тем беспокойнее становилось на душе. Горе не рассасывалось, а наоборот, крепло, пригибало голову.

Он глядел в просвеченное солнцем стекло кабины, видел бегущую навстречу побуревшую от дождей стерню и впервые с тоской подумал, что по весне поле омолодится, начнет новую жизнь, а у него этой осенью что-то умрет в душе и уже больше не возродится, молодость снова не воротится, и от этой мысли душа запротивилась предстоящему. Ему казалось противоестественным, что в конце нынешнего звонкого осеннего дня он останется с Верой и уже больше не увидится. Ни умом, ни сердцем Иван не мог этого представить себе, в глазах темнело, ощущал в себе такую сосущую пустоту, что жить дальше не хотелось. Выходило, что не только работа самое главное, есть на свете, оказывается, и еще что-то, без чего жизнь пуста и безрадостна, как небо без солнца.

Когда стало совсем невозможно, он приглушил мотор, выпрыгнул из кабины в борозду и, привалившись к капоту, над которым волнисто струилось тепло, огляделся. Стояла та пора конца сентября, когда в природе было уже много примет осени, но и от лета еще оставались какие-то следы. Березник почти весь пожелтел, лист опадал. По окраинам колок просвечивал насквозь — ветры раздели. Но кое-где на старых деревьях запоздало зеленели отдельные ветви. Выглядели они в эту пору случайными, на них Ивану отчего-то было грустно смотреть. Летели, серебрясь, паутинки в горьковатом чистом воздухе. Пахло прелью и близким снегом.

Иван постоял возле трактора и вдруг, сам не зная зачем, побрел к березнику, островом возвышавшемуся посреди вспаханного поля. И там, в березнике, среди полегшей, побитой заморозками травы, нашел чудом уцелевшие ромашки.

«Надо же... Не померзли», — подумал Иван с нежностью.

Нагибаясь, он срывал цветы, бережно разворачивал истончившиеся лепестки, немного увядшие, но еще сохранившие белый цвет укатившего лета. И он вспомнил, зачем пришел сюда, на край березового колка. На этом

самом месте весной Вера преподнесла ему заслуженный букетик, только не ромашек — им еще было рано, а подснежников: желтоватых и синих, пушистых — самых первых.

Удивительные это были минуты, наверное самые счастливые в его жизни, какие бывают лишь однажды и уже не повторяются, но греют своим теплом долгие годы. Здесь, на поле, стояло много тракторов и из родной деревни, и из соседней Сосновки. Упруго бил дым из выхлопных труб и стелился, сбиваемый ветром, по весенней сиреневой земле. Желающих победить на межсовхозном состязании пахарей было хоть отбавляй, а победа досталась Ивану.

Здесь, на краю колка, перед судейским столом выстроили лучших механизаторов и увенчали чемпиона красной лентой с золотыми буквами и нарисованными колосьями. Ох, как ему завидовали другие трактористы, особенно молодые парни. И было чему завидовать. Ведь это ему, Ивану, самодеятельный оркестр сыграл туш, и фотограф из районной газеты перед ним ползал на корточках, выбирая место съемки, не перед кем другим!

А потом появились девушки с подснежниками. Тогда-то к Ивану и подошла Вера с букетиком.

Она была длинноногая, легкая и очень молодая. У нее были ярко-рыжие перепутанные ветром волосы и зеленые глаза. Девушка, сияя своими зелеными раскосыми глазами, улыбнулась ему с такой неприкрытой радостью и восхищением, что он смутился. Даже забыл поблагодарить ее, лишь неловко тряхнул головой, и некая тревога поселилась в его душе.

Подснежники Иван пристроил в кабине у лобового стекла и часто взглядывал на них, отчего смутная радость и волнение наполняли его. Ему стало беспокойно, он даже забоялся этого беспокойства, хотел даже выкинуть завядшие цветы, да рука не поднималась.

А однажды под вечер, когда уже близился конец осени, глянул в окно — и под сердцем остро кольнуло: стоит она, та самая девушка, у колка и на его трактор смотрит. Легкая, тонкая, рыжие волосы под ветром плещутся, как пламя костра.

Подошел к ней, заглянул в зеленые, как цветущее море, глаза, и она не отвела их, и столько в них было чего-то неведомого, обещающего, что Иван задохнулся и спросил первое, что на ум пришло:

— Ты чего тут стоишь?

— Нельзя? Тогда я уйду. — Она тут же повернулась, но Иван успел поймать ее за руку.

— Почему нельзя? Можно. Только ведь холодно, да и ветрено. Пойдем ко мне в кабину.

Она, склонив голову набок, ковыряла туфелькой землю. Гадала: согласиться или уйти.

— Боишься меня? — улыбнулся Иван.

— Нет. У вас глаза добрые.

В кабине Иван протер ветошью запыленное сиденье, и она опустилась на самый краешек. Увидела свои цветы, протянула к ним руку, трогая увядшие лепестки. Кисть у нее была тонкая, узкая, но болезненно шершавая, в мелких трещинках, как в порезах.

«Доярка», — опытно определил Иван, потому что такие же руки, вечно шелушащиеся, в трещинках, были и у его матери, пока она работала дояркой на ферме.

— Как тебя звать? — спросил он тем голосом, каким разговаривают с детьми.

— Вера, — ответила девушка и тут же убрала руку, заметив понимающий взгляд Ивана. Рук своих она стеснялась.

Скоро Вера запросилась на волю.

— Посиди еще, — попросил Иван. — Там же холодно.

— А здесь душно и тряско. Я лучше там постою, — сказала она, легко соскакивая с гусеницы на жухлую травку под березами, куда ее подвез Иван. — Да и пора уже идти назад.

— Ты еще придешь?

Вера неопределенно пожала плечиками.

— Не знаю...

Высунувшись из кабины, Иван смотрел, как легко, невесомо, кажется даже не касаясь ногами стерни, бежала Вера к проселочной дороге и затерялась в дальнем кустарнике. И он снова удивился своему необычному состоянию и затревожился непонятно отчего.

Через день Вера пришла опять, и они в сумерках бродили по березовому островку и больше молчали, чем говорили.

С этого все и началось. Вера приходила часто, а когда ее не было, Ивану казалось, что на поле мертво и пустынно без рыжих Вериних волос и зеленых глаз. И даже чудно было: как это он раньше жил, не зная ее?

А потом они сделали удивительное открытие: оказывается, в березовом колке жила пара лисиц, молодых, сильных зверей, у которых были маленькие, но уже проворные лисята.

— Пойдем к нашим лисам, — иногда говорила Вера, и Ивана обдавало трепетной радостью от слова «наши». Значит, появилось у них то, что принадлежало лишь ей и ему и никому больше.

Затаившись на краю поля в кустах, они смотрели, как лисы учили мышковать своих лисят. Как родители, разыгравшись, взлетали в воздух, понарошке нападали друг на друга. Лисы словно светились под луной, шерсть их красновато выпыхивала, когда они в прыжке зависали над стерней. И столько было взаимной ласки в их движениях, столько нежности...

В такие минуты в темных Вериних глазах появлялась грусть.

— Какие они вольные, — шептала она тихо, одними губами. — Как им много можно. Они счастливые...

— А мы? — с улыбкой спрашивал он, тоже шепотом.

— Нам ничего нельзя.

— Почему? — с награнной непонятливостью спрашивал он.

Она укоризненно взглядывала на него.

— Потому что мы — люди.

— Люди... — продолжал Иван игру. — Это хорошо или плохо?

— Хорошо. И плохо... — смущенно улыбалась.

Скоро лисы перестали бояться этих двух людей, прятались в березнике. Они, наверное, чувствовали какую-то их обособленность от остальных людей, их нежность к не убегали. Однако, когда к березнику Иван приходил один, лисы никогда ему не попадались на глаза. Одного они отчего-то избегали его. Эту странность он заметил и долго думал над нею, поражаясь звериной мудрости.

Нарвал Иван ромашек, сунул их в карман телогрейки, вздохнул и пошел к своему трактору, который, как покорный конь, ждал его в борозде.

Скоро пришел сменщик, медлительный, молчаливый мужик. Непонятный какой-то человек, никак нельзя было уразуметь его. Приходил ли сменить Ивана, уходящего, отработавшись, всегда на его пожелом лице лежала одинаковая усталость. Глядя на него со стороны,



можно было подумать, что прожил он две жизни, не меньше, доживает третью, и так все ему надоело, что и глаза смотрят на окружающее сквозь узкую щелку, вечно прищурившись, нехота ему их распахнуть на мир пошире. И голос у него медленный, тягучий, будто и слова он вытягивал из себя через силу.

Иван с ним особенно близок не был. Разговаривали они редко, по необходимости. «Привет», — скажет один. «Привет», — откликнется другой. «Ну как?» — «Все в норме». Перекинутся этими необязательными словами, покурят вместе, потому что расхотеться просто так — неловко: все же напарники, — и уже после этого один влазит в кабину трактора, а другой отправляется домой, отдыхать.

Но сейчас Иван не торопился уйти. Слишком много в нем накопилось горя, не унести одному. Ему вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь, хотя бы этот пожилой обстоятельный мужик, выслушал его, утешил бы теплым словом, или если не словом, то просто молчаливым сочувствием. И все полегчало бы.

Закурили напоследок, как бывало всегда, и Иван стал маяться, видя, как с каждой затяжкой уменьшается папироска сменщика, а он не знает, с какого боку завести деликатный разговор. Сроду ни с кем своей тайной не делился. Близкого друга у него не было, перед которым можно бы было излить свое горе, не боясь быть непонятым, вот и тянулся Иван к первому встречному. Томился, опасаясь, как бы сменщик раньше времени не затоптал бы окурок и не принялся бы запускать двигатель.

Однако тот, покосившись на Ивана, всезнающе усмехнулся:

— Тяжело, что ли?

— Тяжело, — признался Иван и вздохнул.

— Дело знакомое, — протянул сменщик. — Меня вчера тоже свояк звал. Холодильник обмывать. А я прикинул: завтра — не суббота, не воскресенье. Толком не выспись и с больной головой — на работу. Отказался, потому как похмелье у меня завсегда тяжелое...

— Я вовсе не с похмелья, — сказал Иван с досадой. — Сроду к трактору выпивши не подхожу.

— А с чего тогда?

— У меня другое, — поморщился Иван. — Вишь, какое тут дело... — Иван судорожно перевел дух, ре-

шаясь. — Нынче вечером с одним человеком разойтись надо. Вот и мучаюсь.

— С женой, что ли?

— Да не с женой. С девушкой... — сказал Иван и густо покраснел. Последнее слово он выговорил с натугой. Произносить его язык не поворачивался, потому что когда молодой парень говорит про девушку — это одно, а из уст стареющего мужика услышать подобное, конечно же, смешно и нелепо. Иван это понимал и устыдился.

— А-а, с той самой? — понятливо протянул сменщик. — Которая все бегом бегаешь?

Ивану совсем горько стало.

— С той самой, — ответил он вызывающе. Уже злился на сменщика за его усмешку, злился на себя за свою незащищенную откровенность, но в глаза прищуренные смотрел твердо.

Усмешка стаяла с лица сменщика. Сощурившись, он смотрел куда-то далеко-далеко и видел там, наверно, такое, чего не всем дано видеть. От этого на его лице, кроме усталости, появилась еще и снисходительная скорбь.

— У тебя с ней как было? Баловство или по-серьезному? — спросил он равнодушно.

— По-серьезному, — ответил Иван и, помолчав, добавил. — Серьезнее некуда. В чем и беда.

Сменщик сочувственно и осуждая покачал головой.

— Вот это плохо. Совсем плохо... — И даже языком выдал, что выражало у него крайнюю степень досады. — Побаловаться мужику можно. Особенно когда жена сама льнет. Я это понимаю. Мужичье дело известное. Побаловался — и с него как с гуся вода. Он свой грех не домой — из дому несет. В случае чего девушка сама виноватая и останется. Ее люди и осудят: а не лезь к женатому. Но вот по-серьезному нашему брату никак нельзя. Тут уж спрос с тебя будет, ни с кого другого. Да-а... Вот и говорю: не думаем мы наперед, задом умны. Что бы прикинуть прежде: чем закончится? Ведь известно: ничем хорошим, расстройство сплошное. Если тебе, к примеру, семью бросать и брать эту девку, то надо резать куда-нибудь подальше. В другой район или даже в город. Там вас никто знать не будет...

— Куда я поеду, — перебил Иван. — Тут у меня

— Ну а в нашей деревне вам нельзя. Аморалку припишут. Ни тебе, ни ей житья не будет. И так уж из передовиков сняли.

— Житья тут не будет, — согласился Иван. — Со всех сторон зажали. И рабочком, и дома — везде жмут. — Горестно поморщился, стал разминать новую папироску.

— Ну так бросай эту девку, — посоветовал сменщик. — Сам ведь все понимаешь, не маленький, слава богу.

— Бросай... — хмыкнул Иван. — Хорошо со стороны-то.

— Ну ведь не нужна она тебе. Если с умом подойти. Ты скажи себе: не нужна она мне. У меня семья, дети. И легче будет. Попробуй сам себя убедить.

Иван безнадежно помотал головой.

— Себе я соврать не могу. Себя не обманешь. Как ни старайся.

— Нужна, значит?

— В чем и дело, что нужна. Не могу без нее, в душе пусто.

— А жена? Ты как женился-то?

— Обыкновенно женился. Как все женятся. Жили нормально: ни скандалов, ни ругани. Мария у меня спокойная, хозяйственная. И накормит, и обстирает, и за пацанами пригляд хороший. Заботливая баба и сердечная, чего не отнимешь, так не отнимешь.

— Тогда какую тебе еще холеру надо? — недоумевающе поднял брови сменщик. — Хорошая баба, вот и живи. И не изводишь зря.

— Я тоже так думал. Дома все ладно, жена заботится, сочувствует, когда тяжело. По мелочам не пилит, как некоторые. Чем вроде не жизнь? Живи да радуйся... А как стал с этой девушкой, с Верой, встречаться, вот тут-то и засомневался. Втемяшилось в голову, будто жизнь у меня до этого тянулась пустая и скучная. Вроде как я дремал все эти годы и только теперь проснулся. Понимаешь, с женой у нас шло гладко, а вот чего-то такого не было. С Верой — совсем другое. Выразить не могу, что именно другое-то, а вот другое и все тут. Я даже не знал, что такое бывает на свете. Увижу Веру — и душа поет, и сам не свой от радости. Смотрю на нее, и плакать хочется, столько во мне счастья. Верить, музыка появилась...

— Какая музыка? — озадачился сменщик.

— Ты песни любишь?

— Песни? А как же. Только до новых я не шибко охоч. Дочка заведет этот самый, ну, как его... магнитофон, так хоть из дому беги. Воют — чисто коты мартовские. И все не по-нашему. Я старые люблю песни, душевные.

— Это само собой, — согласился Иван. — Душевные песни я тоже уважаю. А ты слышал, по радио не песни передают, а музыку? Симфонии разные, длинные такие?

— У меня жена их сразу выключает. Скучные они.

— Вот и я выключал. А недавно прислушался и буд-то увидел, как солнышко всходит, травка из земли проклевывается, березник шумит, и птицы в нем на разные голоса щебечут. И так мне хорошо стало. Даже удивительно, как раньше не понимал. Поймаю по приемнику такую музыку, сяду и слушаю, слушаю. Мария глядит — не поймет ничего. Рехнулся — не рехнулся? Утром идти на смену, а во мне эта музыка играет. Одна кончится, сразу другая начинается, будто какой проигрыватель включился во мне. Сам удивляюсь. Раньше-то я эти симфонии в упор не слышал. Передают и передают, вроде и не для меня. А тут — уши открылись. Да что там уши! Глаза и те по-новому стали видеть. Я вот наше мальошко, — Иван обвел рукой вокруг себя, — с малолетства знаю, а только недавно и разглядел, какое оно красивое... — Затянувшись папироской, Иван покосился на собеседника. — Ты только не насмехайся. Может, тебе и смешно, а все равно — не надо смеяться. Это, наверно, раз в жизни бывает. И не у всех...

— Я и не насмехаюсь, — отозвался сменщик скорбно и всезнающе глядя в свое далеко. — Я тебе очень даже верю.

— Конечно, — продолжал Иван тихо, — если с умом подумать, так все это мне нельзя. Я ведь из ума еще не выжил. Понимаю, что семейный. Жену жалко, столько лет вместе прожили. И надо растить, поднимать на ноги сыновей, они еще малолетки. Да только как подумать, что и музыку и все остальное надо будет ломать в себе — душа на дыбы встанет, противится. Второй-то жизни у меня не будет. Если бы эту жизнь я для семьи ждал, а потом другую бы для себя — куда бы еще ни шло. А то нет, никто еще не начинал все сначала. Горько мне, душа поет. Самого себя жалко. Помаячило сча-

стье, а выходит, оно не для меня. Слишком поздно пришло. — Иван проглотил горький комок и тяжело вздохнул.

Сменщик тоже вздохнул, глядел на Ивана с состраданием, как на больного. Глаза у него были такие всезнающие, и такая в них сквозила безнадежность, что у Ивана холодок прошел под телогрейкой.

— Сказать, чем кончится? — спросил сменщик и едва заметно усмехнулся в пространство.

— Чем? — спросил Иван дрогнувшим вдруг голосом и весь напрягся в ожидании. Будто приговора ждал.

— А ничем.

— Как это ничем? — Слова сменщика огорошили Ивана.

— А так... Ничем и все. Как было, так по-старому и останется. Жизнь — она посильнее нас с тобой. Не таким рога сламывала. Развяжешься ты со своей зазубой, помучаешься-помучаешься по первости, а потом успокоишься да и будешь пахать зябь.

— Ну спасибо. Утешил, — отозвался Иван. И хотя невесело было, а усмехнулся.

— А ты что хотел? Другое услышать? — удивленно спросил сменщик. — Я говорю не как тебе хочется, а как будет. Как в жизни будет, — уточнил он. — Вспомнишь меня потом.

Иван затоптал окурки.

— Легко тебе жить. Все-то ты наперед знаешь. Передом умен.

Сменщик — словно не слышал. Молча достал из кармана сыромятный ремешок, сосредоточенно намотал его на вал пускача и обернулся:

— Не ты первый, не ты последний. Время все перепашет. Как этот трактор, — и рванул ремешок, отчего пускач по-мотоциклетному затрещал, окутываясь синим дымом.

«Облегчил душу, называется, — досадовал Иван по дороге к дому. — Растреплется мужикам — насмехаться начнут». Настроение у него совсем испортилось. Лучше бы уж и не рассказывал ничего.

Жил Иван на краю деревни. Не старый еще был у него дом, всего семь лет, как вселился с женой, а уж потускнели бревна от дождей и ветров, краска на кровле облезла. От этого дом казался серым и каким-то беспризорным. Оторванный лист железа свисал с карниза.

Три недели назад оторвало его ветром. По ночам он гулко хлопает по крыше, словно будит хозяина, напоминает о себе, а у того руки не доходят залезть и прибить. Ключья черного, пересохшего мха торчат между бревен — повылазили. Самое бы время перед зимой подконопатить стены паклей, чтобы в холода не продувало, да глаза у хозяина до сих пор как незрячие были к дому, ничего не замечали. Сейчас только он посмотрел пристально и увидел свой дом прохудившимся, неухоженным и сиротливым, словно это вдовый дом, в котором нет мужика. И совестно стало перед домом, перед семьей и чужими людьми.

Сыновья сидели дома, готовили уроки. Подняли глаза на вошедшего отца и снова уткнули носы в книги, как будто не отец пришел, а чужой дядька.

Иван не выказал обиды, осознавая: не имеет права. Привык к отчужденным взглядам сыновей. Он и сам себе иногда казался постояльцем в родном доме. Заходил в комнату тихо, ступал по половицам нетвердо, с осторожностью, как в гостях. Молча умылся и стал переодеваться в чистое.

— Есть будешь? — спросил старший ровным, без живинки и выражения голосом, не поднимая головы и явно не ожидая никакого ответа. Мое, мол, дело спросить, а там как хочешь.

— Не буду, — хриловато ответил Иван. Он хотя и отработал смену, а есть не хотел. Ничего в горло не лезло. Потерянно топтался среди комнаты. — Как жить?

Сыновья, ни один, ни другой, не ответили. Словно в рот воды набрали. С показной старательностью углубались в учебники. Прилежание — куда с добром. Всегда бы так, а то Иван знал, что ни пятиклассника Васюку, ни третьеклассника Мишку учителя не больно-то хвалят. Совсем избегались, за стол не усадишь. Если бы мать не болела, носились бы по улицам.

«Ну постойте, я за вас еще возьмусь», — подумал Иван, и ему даже полетчало от этой мысли. Он прочнее, по-хозяйски увереннее почувствовал себя здесь, посреди комнаты, возле сыновей, и к жене в спальню пошел решительно, понимая, что и Мария должна заметить в нем перемену в настроении.

Жена лежала с открытыми глазами, наверно прислушивалась к голосам в соседней комнате. Увидела Ивана,

и слабая улыбка обозначилась на исхудавшем, бледном, без кровиночки лице.

Он сел на край кровати, заботливо положил ладонь на влажный лоб Марии, заглянул ей в глаза ласково и невиновато, как раньше, когда у них все было хорошо.

— Ну как, Маша? Где болит-то?

— Нигде не болит. Слабость и голова кружится... — проговорила она еле слышно, одними губами.

— Вставала сегодня?

— Не-ет... От подушки голову подниму, сразу все ходуном ходит. И я — назад. В постель...

— Ничего, Маша, ничего... Поднимем мы тебя, — проговорил он обнадеживающе, оглядывая жену с ласковым участием.

— Да уж скорее бы. Разлеживаться-то некогда. Мальчишки все пооборвались, немытые сколько. Ты не-обстиранный ходишь. Совестно мне лежать, когда хлопот столько.

Иван вздохнул, погладил жидкие, слипшиеся волосы жены, мысленно вникнул перед ней. Да-а, что и говорить — редкая у него жена. Все-то она знала, и сейчас догадывалась, зачем на нем новый пиджак и белая рубашка — а ни слова. Даже взгляда укоризненного не позволит себе. Это Ивана всегда угнетало больше, чем если бы она укоряла его и стыдила. Нет, ничего подобного он от Марии не слышивал. Вот и на сей раз она молчала. Лишь смотрела ему в лицо жалобно и покорно, как ребенок. Похудела... Лицо у нее и прежде было маленькое, а теперь, от болезни, совсем детское стало. Одни глаза, темные, глубокие, жили на нем, сторожили каждое мужнино движение, и столько в них было боли, что у Ивана все внутри переворачивалось от сознания своей вины.

Он нетерпеливо шевельнулся, и Мария высвободила из-под одеяла слабую свою руку, на ощупь нашла мужнины пальцы, держала их.

— Я скоро вернусь, Маша, — сказал он тихо и значительно, чтобы жена глубже поняла его слова. — Все будет нормально. Вот увидишь.

Она закрыла глаза. Веки ее, прозрачные, с голубенькими прожилками, вздрагивали.

— Я приду скоро, — повторил он и почувствовал, как жена медленно отпустила его пальцы.

Когда Иван вышел из спальни, Васька уже возился

с кастрюлей, собираясь что-то варить. Длинный вырос парень, и ростом и лицом — весь в него. Движения быстрые, порывистые — нервничает. Отращенные космы на голове аккуратно зализаны на пробор. Наверное, уже на девчонок поглядывает. Мишка по-прежнему сидел за столом, «Родную речь» в руках держал так, будто загораживался ею от отца. И тот и другой выглядели настроженными. Ждали, что отец дальше будет делать.

— Врач был? — негромко спросил Иван.

— Был, — не сразу ответил Васька.

— Что он сказал?

— А что он скажет... Укол сделал.

— Только колоть и умеют, — проговорил Мишка, во-взрослому наморщив лоб. — Всю искололи, а толку никакого.

— Ничего-о, — обещающе проговорил Иван. — Все будет нормально. Поднимем мать. — И шагнул к порогу.

— Пошел, что ли? — хмуро спросил Васька.

— Надо сходить в одно место.

— Ночевать-то придеешь? Или можно заператься?

Иван задержался у порога.

«Как с чужим разговаривают», — с болью подумал он, и ему захотелось подойти к набычнувшему Ваське, обнять его, колючего, злого, с отцовской нежностью растерять светлые космы, да знал: сын ласки от него не берет.

— Проводи меня до калитки, — попросил он вдруг, чтобы наедине обнадежить его, успокоить.

— Некогда мне разгуливать, — отозвался тот испуганно. — Мамке молока вскипятить надо.

— Дров принести? — спросил еще Иван.

— Сами принесем. Иди.

### 3

Раньше Иван уходил к Вере не сразу и не напрямик. Сначала он выходил во двор как бы размяться, подышать свежим воздухом перед сном. Потоптавшись во дворе, с медлительностью крепко поработавшего человека, довольного удачным днем, умиротворенного, враз-враз направлялся к калитке. Нехотя отворял ее, вроде бы просто интересуясь, как там жизнь за воротами.



Равнодушно глядел в один конец улицы, в другой, на поскотину, которая начиналась недалеко от дома, и, если никого из соседей видно не было, двигался к поскотине. Тоже — неспешно, будто прогуливаясь. И потом, еще раз оглядевшись и не найдя к себе постороннего интереса, нырял в полоску березничка, окружившего деревню, словно пояском.

Так было раньше. А сейчас Иван прямо от крыльца, нигде не задерживаясь и не озираясь попусту, крупно зашагал через поскотину к леску. Смотрите, соседи, кому шибко интересно. Ему уже все равно. Ничем не испугаешь. Да что там соседи... Иван спиной чувствовал, как смотрят на него в окно сыновья, и все убыстрял шаги, хотелось поскорее раствориться среди деревьев, чтобы не жгли ему спину сыновние глаза.

Скоро он шел уже среди берез, но легче ему не стало, наоборот, начало чудиться, что за ним кто-то идет следом. Уж не из сыновей ли кто? Неужто Васька не вытерпел и решил последить? Нет, сыновья на такое не пойдут: ни Васька, ни Мишка — гордые. Но кто же тогда? Если это не мерещится.

Солнце еще висело на ладонь от земли, косо высвечивало стволы розоватым, в березнике было светло — далеко видать. Иван оглянулся, но никого позади себя не различил, как ни вглядывался. Может, на самом деле пригрезилось? Так нет. Пока он стоит на месте и прислушивается — тихо, а лишь двинется дальше — и из-за спины слышно, как потревоженно шуршит трава, похрустывают сухие веточки под чужими шагами. Кто же это там такой любопытный? Посмотреть бы на него.

Иван решил схитрить. Он зашагал быстрее, почти побежал, как бы желая оторваться от преследователя, и потом, прыгнув в сторону, притаился за корявым стволом.

Ждать пришлось не долго. Еще и отдышаться не успел, как заметил крадущегося за кустами мужика. Присмотрелся получше — и глазам своим не поверил: Гришка! Брат родной!

— Елки зеленые — попутчик! — почти ласково пропел Иван, выходя из-за дерева и заступая брату дорогу. — И далеко ли собрался? Если не секрет...

Гришка растерялся, виновато заморгал короткими белесыми ресницами. Никак он не предполагал, что его самого подкараулят.

— Да к тебе, — заторопился тот, оправдываясь, косясь на Ивана опасливо. — Вроде как для поддержки...

— Для какой такой поддержки? — спрашивал Иван, положив на братовы плечи тяжелые свои ладони и едва сдерживаясь, чтобы не тряхнуть его хорошенько. — Боюсь, передумаю и из-за меня квартиру не дадут?

— Ниче я не боюсь. Я только напомнить хотел.

— Что напомнить-то?

— Ну, что обнадежил старика. Что пообещал ему. И вообще поддержать в случае чего... Я сначала домой к тебе пошел, а Васька говорит, нету тебя. Ну я и следом, чтоб догнать.

— Догнать... — усмехнулся ему Иван в лицо. — А по кустам прятался, как ищейка.

— Кто прятался? Ты че!

Иван затвердел лицом.

— Я же слово дал. Ты разве не слыхал? Или этого мало?

Гришка понинмающе ухмыльнулся:

— Слово... Мало ли я каких слов могу наговорить. По пьянке. Успевай только слушай...

— Ну вот что, — перебил Иван туго натянутым, металлически позванивающим голосом. — Ты мне хотя и брат родной, а еще нос высунешь, куда не просят, — не обижайся потом. Ой, не обижайся, Гришка, козью жарду сделаю. — Он так сжал брату плечи своими цепкими пальцами — кости хрустнули.

И, не оглядываясь, двинулся дальше.

Узенький лесок этот уже заметно редел, сквозь него проскальзывало поле с черной полосой пахоты, порывами доносился гул двигателя. Скоро Иван увидел, как издали, вывернув из-за березового островка, тащился трактор, вынося за собою бледное облачко желтоватой пыли.

— Соби пахать, — мысленно усмехнулся Иван, идя по полю к березовому колку и наверняка зная, что из калитки на него таращится сменщик. — А в этом ничего страшного и нету. Земля — она и есть земля, чтоб ее пахать. И если он перешел вспаханную полосу, словно трактор, так и забыл сразу о Гришке, о сменщике, будто их не было.

Теперь он ступал медленнее, шурша жухлыми листьями и слыша в себе печальную музыку, которая все эти дни жила в нем, то замолкая, то звуча снова. Глядя в

просветы между березами, ощущая гулкие удары крови в висках, искал глазами Веру.

Она любила появляться неожиданно, всегда не с той стороны, с которой он ее ждал, и Иван никак не мог к этому привыкнуть. Вот и сейчас ожидал ее увидеть со стороны Сосновки, а она оказалась за спиной. Мелькая между тонкими стволами, рыжеволосая, длинноногая, Вера легко бежала к нему в светлом нарядном плащике. Она будто летела над землей, не касаясь ногами ни опавших листьев, ни трав, такая порывистая и невесомая, что у Ивана болезненно сжалось сердце.

Он уже знал: сейчас Вера увидит его и резко остановится, как пугливый зверек. Настороженно оглядит его издали, узнает и уже потом, на пружинистых ногах, приблизится тихо и застенчиво. Стыдливо и неумело, словно впервые, коснется своей ладонью его ладони — поздороваётся, пряча радостные глаза.

— Что же ты в белом плащике в лес приходишь? — спросил Иван с ласковой укоризной. — Запачкаешь или о сучок порвешь. Заругают дома. Да и жалко.

— Но ведь я к тебе иду...

Иван бережно обнял ее, возбужденную и покрасневшую от бега, пригладил рукой растрепавшиеся волосы.

— Чудо ты мое рыжее, неожиданное... Знаешь, ты похожа на какого-то лесного зверька. А на какого — никак не догадаюсь.

— На лисицу, — сказала она, смеясь. — Я ведь рыжая. Мне даже иногда самой кажется, что когда-то давно-давно я была лисицей. Правда-правда так кажется. Я их и люблю поэтому. Ведь они мне — родня. Давай их поищем.

Иван глядел на нее и улыбался, но в его улыбке, наоборот, была глубинная грусть, потому что в зеленых Вериных глазах мелькнул легкий испуг.

— Что с тобой?

— Ничего, — пожал он плечами. — Мне хорошо, когда я тебя вижу. Буто солнышко в душе светит. — И достал из кармана смятый букетик поздних ромашек.

Вера понюхала цветы, которые ничем не пахли, а если и пахли, то соляркой. Проговорила задумчиво:

— Наверное, самые последние.

— Последние, — как эхо отозвался Иван, подумав, что под этим словом понимает гораздо больше, чем она.

Вот ведь как получилось: она с ним встретилась под снежниками, а он с ней прощается осенними ромашками. У нее — весна, вся жизнь впереди, а у него — осень поздняя. Вот какой негаданный, горький смысл обнаружился в цветах.

— Вера, — попросил он тихо. — Поцелуй меня.

Склонив голову набок, она удивленно на него посмотрела, слегка приоткрыв пухлые, влажные губы.

— Ты меня об этом никогда не просил.

— А сейчас прошу.

— Почему?

— Не знаю.

— Разве тебе так плохо?

— Хорошо и так, — сказал он потускневшим голосом. — Раз не хочешь, то и не надо.

Теплой шершавой ладонью она провела по его щеке. Рука ее вздрагивала, и она убрала ее.

— Я не могу... — прошептала с печалью. — Я боюсь к тебе прикасаться. У меня такое чувство, будто я тебя ворую. Ты только не сердись, что говорю это. Ведь это правда. А еще мне кажется, что если поцелую тебя, меня что-то накажет. Обязательно накажет.

— Кто? Бог, что ли? — Иван нашел в себе силы улыбнуться и кожей лица ощутил свою жалкую улыбку.

— Зачем бог... Не бог, а что-то другое. Которое не терпит неправды. Ведь есть же что-то такое на свете, — Вера повела рукой вокруг себя, — в деревьях, в траве, в листьях, в земле, в небе, в воде — везде. Которое следит, чтобы все правильно делалось. Может, это сама жизнь, не знаю, но есть.

— Ты хорошая, Вера, — проговорил он задумчиво. — Лучше меня, чище, — и заметил на обнажившейся ее руке чуть повыше запястья темный кровоподтек.

— Что это? — похолодел Иван.

— Мамка...

— Из-за меня? — И ждал ответа, пристально глядя в ее темные глаза, затаив дыхание. Но никаких слов не дожидаясь, приник губами к ее руке, почувствовав соленый вкус крови.

Внезапно Вера выдернула руку, напряглась.

— Смотри! Вон они!

Иван поднял затуманенные глаза и увидел лисиц, которые выскочили из кустарника, будто кто-то их спугнул, и катились по желтой стерне к низкому красному

солнцу, уже коснувшемуся раскаленным краешком горизонта. Самец бежал немного позади самки, не вырываясь вперед и не отставая, как привязанный, и Ивану подумалось, что он нарочно так бежит, прикрывая сзади подругу от всякой случайности. Пальни в них сейчас картечью, и весь заряд придется ему.

Расстелившись по полю, лисы уходили к красному солнцу, и сами они были красные от закатных лучей, будто два маленьких солнышка катились к большому. Сильные и вольные звери, живущие как велит природа, они скоро слились с солнцем и так же, как солнце, угасли, отчего на поле стало холодно и пустынно.

Люди проводили их долгим, мечтательным взглядом.

— Были бы мы лисами... — прошептала Вера. — Побежали бы далеко-далеко, к самому солнцу. Верно ведь?

— Верно...

— Мне всегда снится, что я куда-то бегу и бегу, в какие-то новые места. А проснусь — где была, там и осталась... А знаешь, что мне сейчас показалось? — заговорила Вера с тревогой. — Лисы как-то странно бежали. Будто насовсем отсюда уходили. Вдруг они больше сюда не вернуться?

Иван промолчал и обнял ее. Но Вера, высвободившись из его объятий, к чему-то прислушивалась. В кустах, уже накрытых сумерками, что-то прощуршало и затихло.

— Слышишь? — прошептала Вера испуганно. — Там кто-то есть.

— Никого там нет, — ответил Иван как можно спокойнее.

— Как это никого? А шорохи? Словно чьи-то шаги.

— Может, теленок из деревни забрел.

Иван нашарил под ногами тяжелый, влажный сук и, вкладывая в размах всю свою боль и злость, с силой запустил в кусты. Там кто-то невидимый шарахнулся, затрещал валежник и затих в отдалении.

— Я же говорил — теленок.

Стоял, тяжело, надсадно дыша. И уже понимал: пора.

Вера тоже встала, с тревогой заглянула ему в глаза.

— Ты сегодня не такой, как всегда, — прошептала тихо.

— А какой? — спросил он натужно.

— Не знаю. Но не такой. Я же вижу.

Иван опустил голову, помолчал и с хрипотцой вдруг спросил:

— Вера, я тебе нравлюсь?

— Зачем спрашиваешь? Ты же знаешь...

— И чего ты во мне нашла? — проговорил Иван холодным и унылым голосом. — Я ведь старый для тебя.

— Ты добрый и сильный, — улыбалась Вера в темноте. — И руки у тебя нежные.

Через силу усмехнулся:

— Какие там нежные... Железо только и привыкли держать. Тебе, Вера, не такой нужен. Помоложе. Есть же у вас в совхозе хорошие парни... — проговорил и задавленно умолк. Голосу не хватило. Да и не его это были слова, чужие. Язык противился их выговаривать.

Вера отстранилась, напряженно всматривалась в его лицо.

— Вера, знаешь... — начал Иван, но она не дала ему говорить, прикрыла его губы теплой, вздрагивающей ладонью.

— Не надо... Я знаю... — Иван вдруг почувствовал на щеке едва уловимое прикосновение ее мягких губ. — Это тебе на счастье.

— Какое теперь счастье, — проговорил он с надсадой.

— Прощай... Мы с тобой когда-нибудь встретимся. Только не в этой жизни. В другой, через много-много лет. Когда станем лисами, — она улыбалась. — Ладно? Ты будешь надеяться?

— Буду, — почти простонал он.

— Я тоже... Мы узнаем друг друга...

Это были ее последние слова.

Иван, оцепенев, стоял и смотрел, как медленно таяло в темноте светлое пятнышко Вериного плаща, и этот слабеющий свет раздробился в его глазах на мелкие осколки. Он долго стоял недвижимо, облокотившись о ствол березы, и даже не двинулся, когда осторожно к нему приблизился Гришка и стал дожидаться, пока брат придет в себя.

— Все... — проговорил Иван отрешенно и взглянул на брата. — Теперь тебе будет квартира. Можешь гарнитур покупать.

— Отшил? — оживился Гришка. — Ну вот, теперь ты человек. И правильно, что отшил. Не вешайся на

чужого мужика. Обещал — и сделал. Только че так долго? Сказал бы сразу: так, мол, и так, поигрались и хватит. А то рассусоливал про цветочки. Руку гладил.

— Помолчи лучше. А то двину я тебе, — пообещал Иван.

— И так чуть не угробил. Возле виска просвистело.

— А зачем высовывался?

— Ну как зачем? — Гришка ухмылялся в темноте. — Интерес взял, что ты с ней будешь делать... Вань, у тебя с ней хоть было?

— Что было? — не понял Иван и с недоумением глянул на брата.

— Ну... это самое. Девка-то конфетка. Само то.

Иван посмотрел на него с жалостью:

— Ни черта ты не понимаешь.

— Где уж мне понять, зачем мужик к девке ходит, — хмыкнул Гришка, но Иван на его слова не обратил внимания.

Сказал глухо:

— Нехорошо мне. Будто убил кого.

— Кончай, Ваня! Ты что! — осуждающе заговорил тот. — Неужто так можно убиваться? Я из-за своей жены так не переживаю, как ты из-за девки. Не-ет, я со своей — мертво. Чуть она на меня окрысится, я тихо-мирно к какой-нибудь бабенке на вечерок. — Гришка заговорщицки хихикнул. — Сделаю что надо — и домой, как огурчик. Улыбаюсь жене, а сам думаю: вот так, дорогуша. А не раскрывай рот на мужика. Да к одной и той же не хожу. Они ведь привязчивые, чисто кошки... Слышь, пойдем ко мне. У меня в огороде бутылка спрятана под ботвой. Вернись, жена диву дается, — с удовольствием рассказывал Гришка. — Сижу, значит, дома. Трезвый — как дурак, аж самому тошно. Ну и это... в огород, значит, выйду, будто в уборную, а вертаюсь уже нормальный. Всего-то на пять минут выйду, а домой иду честь честью. Ветром качает. Баба ничего понять не может. Батя тоже. Пойдем, врежем маленько.

Иван помотал головой.

— Мне с этого еще хуже будет.

— С водки-то хуже? Даешь...

— Не полезет она в меня.

— Ну гляди, я ведь хочу как лучше.

— Ты вот что, — сказал Иван, — иди-ка домой.

А я посижу тут.

— Очумел? Как же я тебя брошу? — не согласился Гришка. — Ты ведь мне как-никак брат родной. Я тебя ни на какую девку не променяю. Как некоторые. Давай посидим вместе. Покурим, — он достал пачку папирос и протянул Ивану, но тот рассеянно смотрел на него и ничего не понимал. Тогда Гришка прикурил папиросу и сунул ее Ивану в рот. — Кури, братка. — Закурил и сам. Поморщился. — А лучше бы пойти ко мне в огород. Чего мы трезвые, как дураки? Это бы дело отметить надо. — И, видя, что Иван никак не отзывается, сплюнул с досады. Попытался сесть на пенек, да неудачно — о сучок оцарапал ногу.

«Ну вот и все...» — только и подумал Иван, глядя в густеющую тьму невидящими глазами. Было тихо, и в этой тишине он слышал, как неустанно рокотал трактор где-то на той стороне колка да негромко матерился Гришка.

4

А сменщик оказался прав.

Никуда Иван не делся, так же пахал зябь, как и раньше. Помучился и успокоился. В семье у него налаживалось: Мария выздоравливала, и сыновья уже не дичились его. Портрет на аллее передовиков опять появился — между отцом и Гришкой. Но, проезжая на своем тракторе мимо совсем оголившегося березника, возьмет и посмотрит на то место, где весной Вера преподнесла ему подснежники. В самом тайном, неизвестном ему самому уголке души теплилась неистребимая надежда, что если не на этом круге, то на каком-нибудь другом мелькнут на краю поля рыжие волосы, похожие на пламя костра. И хотя он понимал умом, что никого он не увидит тут, на холодном, пустом поле, с которого улетели даже птицы, что и ждать-то ему нечего, а все же нет-нет, да и оглянется помимо воли на то место.

Оглянется — и дальше. Закладывать новый круг.



## ТРАМВАЙЩИЦА

1

Давка на остановке была такая, что даже ко всему уже привыкшая Шура раздраженно повела плечами под полушубком на своем кондукторском месте.

— Ох и мялка... И откуда они только берутся? — проговорила низким хриловатым голосом, злясь на себя, на пассажиров, на осатаневшие морозы, которые не появлялись всю зиму, а теперь вот в конце февраля навалились и лютуют, будто наверстывают свои погодные планы.

Еще какую-то неделю назад Шурина хозяйка, тетя Фрося, говорила нараспев: «Сиротская ноне зима стоит, легкая» и благодарно смотрела вверх, на лениво-мягкий закат, обещающий теплую, тихую погоду, крестилась на телевизионные антенны соседнего пятиэтажного дома. Напомнить бы сейчас ей про сиротскую благодать да ехидно понаблюдать, как постно подождет губы хозяйка!

Люди лезли в вагон с отчаянной торопливостью, мешая друг другу. Сизый морозный пар, обгоняя их, застрявших в дверях, тянулся в трамвай, клочковато стлался над головами.

Шуру оттеснили к серому, мохнатому от снега стеклу окна, и она локтями оберегала сумку с мелочью и катушкой билетов, чтобы в давке не растрепали.

«Ну сегодня тетя Фрося пуговиц насобирает!» — мстительно думала она, потирая голые, одеревеневшие пальцы о железный дырчатый ящик едва теплого обогревателя. Пальцы не гнулись и ничего не чувствовали. А ведь у Шуры были недавно хорошие варежки. Из белой чесаной шерсти, толстенькие и теплые, как котятка. Их под осень из деревни прислала мать, заботливо предусмотрев холода.

Полюбовалась варежками Шура, повздыхала, представив, как терпеливо сидела мать вечерами, близоруко склонившись над вязаньем. К щекам варежки прижала, заочно вняв перед матерью, и обрезала их почти наполовину, чтобы пальцы были оголенными, как у других кондукторов. Ведь так удобнее отрывать билеты и считать деньги. На что стали похожи ее варежки! Поистерлись, обремкались по краям, а пальцы беззащитно

белели снаружи, скрюченные холодом. Ледышки и только...

Мать была мастерица вязать. Когда Шура жила еще там, дома, мать связала ей сиреневую кофту, которая ненадеванной пролежала в сундуке полгода. Шура берегла ее для города. Если в избе никого не было, любовно доставала кофту и примеряла перед зеркалом. Примеряла и видела себя в чистой городской конторе. Почему именно в конторе — не знала, и чем заниматься будет в конторе — тоже не представляла, лишь верила: работа в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди будут окружать приятные и веселье... Да только зря кофточку берегла... Поистерлась она под шубой, вылиняла от частых стирок. Поглядела бы мама...

Пассажиры уже лепились в дверях, пытаясь за что-нибудь уцепиться, и надо было срочно давать отправление. Но не успела Шура дотянуться до черной кнопки сигнала, как вагон дрогнул и, натужно скрипя колесами по заснеженным рельсам, потащился дальше. Видно, Галка в своей водительской кабине поняла: помедли еще, так и на крышу полезут, не посмотрят на мороз.

И люди уже бежали за трамваем, цеплялись за скользкие поручни, мостились на подножках, но им мешал бугор спин, и они отставали, терялись, как призраки в синеато-дымном позднем рассвете.

— Рассчитаемся, товарищи! — громко и хрипло сказала Шура, оглядывая туго набитый вагон и понимая, как нелегко будет всех обилетить. — Кто вошел в переднюю дверь, передавайте на билеты! — И, запустив руку в сумку, призывно побренчала мелочью, по опыту уже зная, что звон этот побудительно действует на людей и те начинают искать мелочь.

— Эй, там... которые на подножке... передавайте деньги, не стесняйтесь! — покрикивала она, отогревая дыханием совсем заочневшие, недвигающиеся пальцы.

— Успеем, — глухо ворочались мороженые голоса.

— Еле держимся. Шевельнуться нельзя, — неслось с подножки.

— А вы поднимайтесь в вагон. Нечего виснуть! — Шура надеялась, что перед следующей остановкой Галка тормознет порезче, и пассажиры сами собой уплотнятся.

— Вы бы работали как следует! — нервно крикнул интеллигентный мужчина в очках, повернув лицо на

голос кондуктора. Шуру видеть он не мог, потому что очки его заиндевели, а протереть их мужчина и не пытался: со всех сторон сдавили, рукой не шевельнуть. — Безобразия! Вечно из-за вас на работу опаздываем! — И беспомощно крутил головой в шапке-пирожке. У него и мочки ушей были неестественно белы, видать, морозом прихватило, пока ждал трамвай, и Шура в душе пожалела его.

— Ну и порядки у вас в трамвайном управлении, — возмущались голоса. — Никакого порядка!

— Что хотят, то и делают, — безнадежно уронил кто-то.

— Мы не виноваты, что такой мороз, — звенела медяками Шура, быстро отрывая билеты. — Только что две сцепки в депо ушли: воздушные трубки замерзли!

Она не обижалась на ворчливость пассажиров. Пускай хоть этим утешатся. Больше нечем.

На нижней ступеньке открытой двери стоял мужчина с поднятым воротником пальто. Ехал явно зайцем и брать билет не собирался. Таких Шура распознавала даже со спины.

— Вы рассчитались? — спросила она.

Но тот не двигался, будто и не слышал. Тогда Шура протянула руку в обрезанной варежке и тронула мужчину за плечо.

— Покажите билет!

— Я сейчас схожу, — буркнул не оборачиваясь и нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Какое мне дело, сходите или не сходите! — гневно сузились зеленые глаза кондуктора. — Давайте платите, а то увезу и сдам в диспетчерскую. Совсем стыд потеряли!

— Вот пристала, — зло процедил воротник. — На, подавись... — и передал теплую пятнадцатикопеечную монету. Наверное, долго ее грел в руке, берег.

— Совесть нет! — вскинулась Шура. — Я что, себе эти деньги собираю? Трамвай — не частная лавочка. Он государственный!

— Ладно, слышали. Давай сдачи.

— Ничего вы не слышали! Из-за таких и план сроду не выполняем! Без премии сидим. Вот возьму сейчас да обилечу на всю монету. Другой раз неповадно будет! — И, размотав катушку, оторвала целую ленточку.

— Ух ты, шмакодявка, — сдавленно зашипел тот,

судорожно дергая ртом и не находя слов. — Ну, я тебе сделаю...

— Чего ты ей сделаешь? — недобро спросил вдруг молодой басистый голос. Высокий парень в белой пушистой шапке протискивался к дверям. — А ну, покажись!

— Глядите, защитничек нашелся. — хмыкнул воротник, обернувшись к пассажирам. — Трамвай по часу ждем, да еще и не скажи им.

Вагон тем временем остановился. Висевшие на подножках прыгнули, пропуская выходящих.

— Выходи, — сказал парень твердо.

— А может, я дальше ехать хочу.

— Ишь ты, — ехидно рассмеялся кто-то. — А говорил сейчас схожу.

— А я теперь назло дальше поеду!

— Гуляй пешком, так дешевле, — грубовато сказал парень и, поднажав плечом, вытолкнул мужчину из вагона на скрипучий снег остановочной площадки.

— Правильно, — одобрительно загудели пассажиры. — При чем кондуктор, если трамвай ломаются? Он такой же рабочий.

Вагон тронулся. Мужчина бежал рядом с дверью, пытаясь уцепиться, но стоявшие на подножке не давали места, и он отстал.

Пассажиры смеялись над воротником, но Шуре было невесело. Она вздохнула и глянула на парня, который так и остался у дверей, ожидая своей, видимо, близкой остановки.

У него было круглое, совсем еще молодое лицо. Над верхней, слегка вздернутой губой чернели усики, которые лишь резче подчеркивали его молодость. А глаза с неостывшим еще гневом были синие-синие, отчаянные.

«Так редко бывает, — подумалось Шуре, — чтобы у смуглого и синие глаза. Это очень красиво и неожиданно».

Когда парень вышел из вагона, Шура оттерла варежкой полосу стекла и глядела, пока стекло не заплыло наледью от ее дыхания, как бежал он в коротком спортивном пальто к подъезду института, смешно балансируя портфелем.

Шура прошла по морозно скрипевшей тропке тесного дворика и поднялась на крыльцо. Обмахнула валенки растрепанным голиком, но заходить в комнату не спешила. Намерзнув за день, любила постоять на крыльце минуточку-другую, вобрать в себя побольше холода, а потом сразу в тепло к уютно потрескивающей печке. Любила сидеть на корточках перед открытой дверцей, оттаивать. Тепло мягко смывает с рук и лица корку холода, нежит и убаюкивает.

Над трубой дыбится дым, тянется белым стволом в бесцветное, вымерзшее небо и там теряется. Значит, Галка дома. Шура пнула валенком желтую поленицу возле крыльца. Несколько полешек дробно свалились под ноги.

Этот занесенный снегом дворик на окраине города чем-то неуловимо напоминал уголок ее тихой деревни. Так же горбится черный лесок невдалеке, так же петляет ленивая речка, теперь затерявшаяся подо льдом. Только над ветхими соседними избами, доживающими последнюю зиму, громоздятся пятиэтажки, веселя глаз нарядным синим, красным и желтым шифером на балконах.

«Получить бы там однокомнатную», — подумала Шура и тяжело вздохнула. Надоело ей жить на частной. И хотя у них с Галкой отдельный ход от тети Фроси, все равно не дома, хозяйкой себя не чувствуешь. Да и дорого. «А вот Галка, наверное, скоро получит такую квартиру, — подумалось завистливо. — Замуж выйдет, дадут. Семейным дают быстрее», — и поглядела вверх на огненные стекла окон, в которых плавилось уходящее солнце.

На верхушке голого тополя перед домом, нахохлившись, сидели вороны. Шура подняла ледышку, бросила. Но вороны даже не шевельнулись. Кому охота махать крыльями в такой мороз. «Птицам тоже трудно», — почувствовала Шура, собрала полешки, различив тонкий смолевый запах. Дрова в деревне точно так же пахли. Свободной рукой потянула дверь на себя.

Но смолевый запах сразу увял, лишь прикрыла она за собой скрипучую дверь: в комнате было накурено. «Видно, Галка со своим», — досадливо мелькнуло в голове. Но она ошиблась.

На табуретке возле стола, закинув нога на ногу, сидел Володя, не мужчина, но уже и не парень, с сильно поношенным лицом и курил тонкую папироску, стряхивая пепел в конфетную обертку. Перед ним зеленела початая бутылка водки, лежал кулек с рассыпанными недорогими конфетами.

— Ты? — слегка удивилась Шура, не обрадовавшись и не огорчившись. Бросила к печке дрова, отрянула полушубок от приставших комочков снега и подула на пальцы.

Володя улыбнулся линялыми глазами и налил полстакана.

— Погрейся с морозу-то.

— А-а, давай! — Шура отчаянно махнула рукой. Пить она не очень-то любила, но сейчас, после холода и усталости, после трамвайной нервотрепки, водка обещала спокойствие и легкость.

Она выпила, знобко передернулась. Володя протягивал развернутую конфету — закусить.

— Где Галка? — спросила, вешая шубу на гвоздь у двери.

— Известно где. На свиданке! — Володя тоже выпил и, не закусывая, дышал открытым ртом. — Вон тебе записку оставила.

Шура взяла с тумбочки листок бумаги, свернутый пополам, пробежала глазами. «Шурчик, ночевать не приду. Можешь закрываться. Не скучай. Галка».

Бросила записку на стол, потеряла ладонями пылающие щеки. Вязаная кофточка сиреневого цвета очень шла ей. Короткие светлые волосы подчеркивали стройность. Продолговатые зеленые глаза были еще темны от холода, задумчивы.

— Хочешь еще? — вдруг спросил Володя, обняв пальцами бутылку.

— Нет... — Присела на корточки перед печкой, щепкой отворила дверцу. По волосам, по лицу плеснули красные блики, глаза вспыхивали зелеными искрами.

— Галка замуж выходит, — сказала она с задумчивостью, глядя на близкий огонь.

Володя равнодушно пожал плечами и вдруг поморщился.

— Чуть концы не отдал, — проговорил он глухо, разглядывая этикетку бутылки. — Сидели в вагончике, анекдоты травили. Мороз-то, сама знаешь, с градусом.

Думали, прокантуемся до пяти, тариф все равно запла-  
тят. — Он покачал бутылку с боку на бок, раздумывая,  
налить или еще подождать. — А тут прораб вваливает-  
ся. Кран, говорит, надо монтировать. Наряды по ава-  
рийной... Ну, мы поздрей повели — дело мужик пред-  
лагает калымное. Полезли. А там, на верхотуре, аж до  
печенки продирает. Да еще ветер сечет. Думал, околею.

— Не околея? — спросила Шура хрипловато, заня-  
тая своими думами.

— Кто? Я-то? Не-е, сбегали в ларек, водярой срав-  
няли градусы. Снаружи сорок и внутри сорок. Только  
так... — рассмеялся через силу, смял окурок в пестрой  
конфетной обертке. Спросил: — Ты чего сегодня та-  
кая, а?

— Какая? — подняла непонимающие глаза.

— Как неродная.

— Че попало... — пробормотала растерянно и под-  
нялась. Сбросила валенки, влезла на кровать, закутав  
ноги концом одеяла. Смежила веки. Хорошо так ле-  
жать. Уютно потрескивала печка, поленья перед дверцей  
оттаивали, наполняли комнату запахом смолы, леса.

— А Галка если замуж выйдет, уволится с трам-  
вая, — сказала сонно. — Так и сказала: сразу заявле-  
ние подам. Посижу с недельку дома, а потом куда-ни-  
будь на фабрику, в тепло.

— Ну и что? — спросил Володя, поднимаясь.

— Да ничего... — потерла пальцами усталые глаза,  
стала разглядывать Володин старенький пиджак с мя-  
тыми отворотами, с лоснящимися, вытянутыми локтями,  
глянула на его стоптанные, по-деревенски подвернутые  
кирзовые сапоги, на припухшее лицо с двухдневной ры-  
жеватой щетиной.

Вспомнилось Галкино: «И не жалко тебе себя на  
этого замухрышку тратить? Сравни: какой он и какая  
ты. Аж зло берет». Да и на самом деле, что хорошего  
в Володьке, который всю жизнь мотается где придется,  
ни на какой работе долго не держится? Скитается по  
чужим квартирам. Где поглядят, туда и идет, как соба-  
чонок шалопутный, бесхозный. «Вот приблизился ко мне.  
А какой от него прок? — ворочались в голове тяжелые  
мысли. — Уж лучше одной. Тепла от него все равно ни-  
какого...»

И слушала его осторожные шаги по комнате. Не ре-  
шительные шаги, не хозяйские. Отец, бывало, дома, на

улице, в гостях ли обдуманно, по-мужицки прочно ста-  
вил на землю ноги в крепких, тоже кирзовых сапогах.  
Шагнет — и как припечатает. Не сшатнешь. Хозяин.  
А этот ногами едва пола касается, будто крадется. Вот и  
ходит, и мается, и одно у него на уме: как бы к ней, к  
Шуре, под бок подвалиться. Косится на выключатель, а  
подойти погасить свет, духу не хватает. Крадется и буд-  
то собирается украсть. И то правда: ворует он ее, Шуру,  
у другого парня. «Может, даже у студента с летними  
глазами», — вдруг вспомнила она.

И стала вспоминать, как так вышло, что этот потер-  
тый и весь измятый Володька, в котором и мужского-то  
ничего нет, бродит возле ее кровати, нервничает от  
своей неуверенности и курит. И хотя подбодрил себя  
водкой, а все равно бонется, что оттолкнут. Бонется и  
ждет, ждет и бонется.

### 3

А началось все с петуха. Зычно прокричал петух  
где-то совсем рядом. Шура от неожиданности даже  
вздрыгнула. Она сидела тогда на крыльце и думала, что  
вот теперь придется ей жить без отца, без матери среди  
совсем чужих людей. Было тревожно и сиротливо. Услы-  
шала петуха и обрадовалась, поднялась с крыльца,  
оглядывая незнакомый еще дворик тети Фроси. Но все  
тесное пространство, обнесенное серым, растрескавшим-  
ся штакетником, было совершенно пустым. В углу дво-  
ра к забору прилепился сарайчик, на его дверце висел  
ржавый замок.

Куриц нигде Шура не увидела, как ни оглядыва-  
лась. Да и от хозяйки про кур не слыхала. Однако пету-  
шиний крик вновь раздался, поражая своей близостью.  
Голос петуха был громок, красив стройным пучком зву-  
ков. Зычный, мужественный крик.

Шура озадаченно вертела шеей, пытаясь обнаружить  
невидимого, но близкого певца. За двориком светлел  
редкой полынью пустырь. Там громоздился пятиэтаж-  
ный дом с балконами, похожий на все остальные дома.  
Их невозможно отличить один от другого. Но когда пе-  
тух прокричал еще, Шура проследила звук и, задрав  
голову, увидела на балконе пятого этажа шелковисто-  
белого петуха. Он гулял за высокой решеткой, время от  
времени что-то склевывая с бетонного пола. Несильный



верховой ветерок перебирал перья развесистого хвоста, расцветчивал их золотисто.

— Че попало... — пробормотала Шура в изумлении. И она очень обрадовалась петуху, потому что он напомнил ей родную Лебяжиху. Зашевелилась тоска по дому, затуманила зеленые глаза. Дома сейчас такой же ранний вечер. Коровы домой возвращаются с поймы Оби. Идут, пылят по улице, мычат от близости своих дворов. Животные ведь, а свои дворы знают, с чужими не путают. Довольны: домой пришли. И над всей Лебяжихой висит густой запах парного молока, теплой пыли, взбитой копытными, и горьковатого и такого сладкого дыма летних кухонь. Голова кружится от родности этого запаха.

Мать стоит у приоткрытой калитки, манит Пеструху ведром с пойлом в стайку, где уже чадит сырой тальник от комаров, зовет ласковым, добрым своим голосом:

— Ну иди, милая, иди, кормилица наша...

А Пеструха удовлетворенно мычит, идет медленно, несет с осторожностью тугое, полное вымя...

Маленькая у нее мать, морщинистая, по-старушечьи белым платком повязана. Сколько помнит Шура мать — всегда она в нем, будто и молодости у нее не было. Отцу никогда слова поперек не скажет, все тихонько да покладисто. Обстирывала, обшивала, кормила ораву ребятишек без крика и шума.

Принесет ли ей Шура воды из колодца, поможет ли белье в речке прополоскать да валиком выбить, та ласково: «Спасибо, доченька». А ей кто сказал «спасибо» за то, что всю свою молодость на них извела? Нет, наверное. А где она, эта орава теперь? Все разлетелись по далеким городам, поминай, как звали. Одна Валька, младшая, еще пока при матери. И то потому, что крылья не выросли.

Ясный месяц загляделся в горенку твою-ю,  
королевичу ты снишься в далеком краю-ю...

Будто и сейчас слышит Шура тихий материн голос, видит мать, сидящую у ее изголовья в белом старушечьем платке. В избе полумрак. За печкой сверчок пилит, как заведенный. Шершавые, теплые руки поправляют одеяло у плеча, и так хорошо от их прикосновения, так душа млеет, что плакать хочется.

Станешь ты красивой кралей, баюшки-баю,  
королевич приласкает головку твою-ю...

Вот так же мать стояла у калитки, когда Шура уходила к леску, где находилась железнодорожная станция. Помнится, далеко Шура отошла от своего двора и оглянулась. Дом уж слился с другими домами, а далекий платок матери все белел и белел, как маячок. Такой в памяти и осталась мать — стоящей у калитки, грустно и покорно глядящей дочери вслед. Будто за девятнадцать лет жизни другой Шура ее и не видела.

На балкон вышел старичок, что-то посыпал из ладони на пол.

Потом выглянул мальчишка лет шести, карапузик в красной рубашке, и стал смотреть, как петух стучит клювом по бетону.

У Шуры был выходной, и она изнывала от безделья. Галка, ее новая подруга, ушла на всю ночь. Накрашенная, расфуфыренная, счастливая, она так загадочно улыбнулась на прощанье, со взрослой снисходительностью потрепав ее по лицу. Тетя Фрося с обшарпанной кирзовой сумкой подалась на барахолку. В сумке у нее — пуговицы, нашитые на картонки. Хозяйка работает техничкой в депо, моет по ночам трамваи, а заодно и собирает по вагонам пуговицы. Не пропадать же добру.

Сидела Шура на крылечке и скучала. Других подруг еще не завела, кроме Галки, а идти в город одной не хотелось. Подумала-подумала, да и пошла потихоньку к пустырю, где строились новые дома. Путь ее пролегал мимо обжитого пятиэтажного, и там встретила она старичка, что кормил петуха на балконе.

Старичок одет был празднично. Дешевый серенький костюм сидел на нем мешковато, видать, не часто надевать его приходилось. И по тому, как одет старичок, и по бурому, обветренному лицу, она признала в нем деревенского человека, скучающего без привычного окружения.

— Это ваш там петушок? — приветливо спросила Шура, показав рукой на высокий балкон.

— Мой, — остановился старичок обрадованно.

— Хороший петух. Поет страсть как красиво.

— Такой петух один на все село был, — разгладились морщины деда, и глаза молодецки засветились. — Что

петь, что подраться — самый первый. Бедовый петух, ой бедовый!

— А зачем вы его в город-то?

— Вишь какое дело, сын у меня тут живет, — старик близоруко, из-под руки стал смотреть на дом, пытаюсь найти балкон сына, но все балконы были одинаковые, он не нашел, махнул рукой. — На заводе тут токарем работает. Квартиру, вишь, вырешили, потому как семья: жена да сын. Вот я и приехал поглядеть, как они тут. Еще когда собирался, старуха все долдонила: поговори, дескать, может, Иван назад воротится.

— Обрати в село?

— Ну а то как? Мы, вишь, старики. Случись чего с нами, он и не узнает. Иван у нас один, остальные-то сыновья, старшие, с войны не воротились. Вот мы и хотим его, значит, назад. А чего? Дом у нас исправный. Всем места хватит. Жить бы нам с молодыми да парнишку нянчить. Чего его в садик таскать, к чужим людям? Одним словом, вертаться Ивану надо. Директор совхоза, Артемий Кузьмич, мужик-голова, обещал в случае чего дорогу оплатить. Потому что больно уж хороший он токарь. Ну а петуха привез, чтоб Ивана домой потянуло. Мальчишкой он, бывалочи, все с друзьями петухов стравливал — чей побьет.

— Ну и как? — Шура немного повеселеда от разговора.

— Чего как? — не повял старик.

— Сын-то, говорю, поддается?

— А-а, куда там! Только петух зря изводится. Какая ему на балконе жизнь? Ему по двору гулять надо, курочек топтать. А тут... ни подраться, ни чего. Куриц опять же негу. Извелся петух, глядеть жаль.

— Ну вас, дедушка... — смутилась Шура, обходя старика.

— Ишь ты, фифа, — укоризненно сказал вслед старичок. — Застеснялась. А чего стесняться-то? Животная она и есть животная.

Недалеке гудел башенный кран. Там строился еще один дом. Шура села на штабель свежих сосновых досок, обняла руками колени и стала смотреть, как медленно ползет вверх серая панель, подвешенная за крюки. Доски нагрелись за день, были теплы, струили сладковатый дух соснового бора. Сидела, вдыхала запах леса, слушала гуденье крана в высоте и негромкие голоса

рабочих на этажах. Потом наблюдала, как ползали по доскам рыжие лесные муравьи. Тыкались туда-сюда, не знали, куда податься.

— Не меня ждешь? — услышала вдруг тихий, улыбочивый голос.

Шура подняла голову. Перед ней стоял парень с блеклыми глазами, в рабочей замасленной куртке. Он курил тонкую папироску и разглядывал Шуру заинтересованно.

— Нужен ты мне...

— А чего тогда здесь сидишь?

— Просто сижу и все. Если нельзя — уйду, пожалуйста. — Она поднялась с досок, отряхнула юбку и хотела уйти, но парень загородил ей дорогу. Шура могла бы отстранить его, сказать ему пару ласковых, но отчего-то не отстранила и не сказала. Опустив глаза на пыльные кустики полыни, чего-то ждала.

— Как тебя звать? — спросил он, улыбаясь.

— Не имеет значения.

— Ух, какая! А может, я интересуюсь. Может, понравилась.

— Пустые хлопоты.

— Эй, Володька! — кричали рабочие с этажей. — Кончай свататься, раствор подавай! — Они стояли на крыше, выглядывали из оконных проемов, толстенькие в своих брезентовых робах.

— Иду! — отозвался парень, не глядя на них.

Рабочие его больше не торопили, им, видимо, хотелось посмотреть, как «сватается» Володька, и этим разнообразить трудовой день. Они закуривали и вполголоса отпускали шуточки.

— Ты не уходи, — сказал Володька. — Скоро у меня смена кончается. Погуляем, а? — Он смотрел на нее просительно и жалобно своими линиями глазами, а улыбка у него была беззащитная.

— Не обязательно, — ответила Шура, хотя мысленно пожалела Володьку, и пошла прочь. Ей не хотелось, чтобы ее вот так разглядывали со всех сторон.

— Слушай, ты придешь еще? — Володька мучился оттого, что всю эту сцену его товарищи видели и будут теперь долго потешаться над его неудачливостью.

Шура обернулась и пожала плечами. Она не знала, придет или нет. Парень был невысокий, серый какой-то, словно выцветший, и редкий чубчик неопределенного

цвета. Ей же нравились ребята высокие, стройные и чернявые. Она изучающе поглядела на Володьку, а он под ее взглядом стоял упрямо нахохлившийся, уже немного злой. Глаза сиротливые, необласканные, не много хороших слов он слышал. И Шура вдруг пожалела его. Она улыбнулась ему, легонько, одними уголками припухших губ, мимолетно, но обнадеживающе, и быстро пошла к себе домой, почти побежала.

Шура не вспоминала про Володьку, но через неделю почему-то пришла сюда снова. Штабеля досок уже не было. На черной, еще не оправившейся от тяжести земли тянулись запоздалые, бледные стебли трав. Долго они пробивались в темноте между досками и теперь, почувствовав простор, торопились нагнать ростом высокую зеленую траву. Зато на разровненной площадке перед новым домом светлели деревянные грибки для будущих жильцов-ребятишек.

Шура села на низенькую скамеечку под грибом, опустив ладони на шелковистую поверхность древесных волокон, отполированных рубанком. Маляры еще не успели истребить смолевый дух, и Шура с удовольствием вдыхала его. Закрыв глаза, девушка ощутила лицом слабое уже тепло низкого солнца. Ей было светло и спокойно.

— Приветик!

Перед ней стоял Володька, часто затягиваясь папирской, и смотрел на нее с откровенной радостью. Шура удивилась, что и на этот раз он появился неожиданно, словно подкрался, шагов она не слышала. А может, не прислушивалась?

— Молодец, что пришла. — Володька сел рядом с ней, но не очень близко — побаивался спугнуть. — Я тебя сразу увидел сверху. Даже гудел тебе. Не слышала?

— Нет.

— Как тебя звать?

— Шура.

— А меня Володька. Вот и познакомились. — Он улыбался ей тихо и осторожно, все же боялся спугнуть. — Никуда не торопиться?

— Да нет, — ответила Шура равнодушно, ковыряя носком туфельки серую землю.

— Тогда ты подожди, я переоденусь. Вон наш вагончик-бытовка. Только не уходи. Ладно?

Шура промолчала. Это Володьку обнадежило, и он, оглядываясь, побежал к зеленовшему неподалеку вагончику, возле которого толпились рабочие — подошел конец смены. Шура смотрела вслед парню и не знала: уйти или остаться?

Прибежал Володька быстро, она так и не успела решить ни в ту, ни в другую сторону. Ей было все равно. На нем был поношенный черный костюм с гнутыми локтями. Ворот белой рубашки казался великоват для его шеи, скорее всего рубашку у кого-то из ребят перехватил. Шура поняла это сразу, окинув его быстрым, по-женски внимательным к мелочам взглядом.

— Куда двинем? — спросил он, отдышавшись.

— Мне все равно.

— Тогда в кино. Хочешь?

Тихий полумрак опускался на город, воздух густел. Медные отблески в окнах домов погасли, и окна стали черными. Откуда-то с новостройки неслась музыка.

— Ты где работаешь? — спросил Володя, заглядывая ей в лицо, и осторожно взял под руку.

— На трамвае. Кондуктором.

— Да-а? — сильно удивился Володька и даже руку ее выпустил на мгновение, но сразу поймал локоть и взял увереннее.

— Не похоже разве? — усмехнулась Шура.

— Не знаю, — замаялся Володя. — И давно?

— Недавно. Я ведь из деревни приехала. Из Лебяжихи. Не слыхал про такую деревню?

— Не-е... А что, плохо там, в Лебяжихе?

— Хорошо.

— А почему уехала?

— Работы нету. Дояркой неохота, а больше идти некуда. И вообще там не так, как здесь. Смех один: клуб третий год строят и никак построить не могут. А вы — вон как быстро.

— У нас — темпы, — солидно отозвался Володя. — Платят хорошо, мы и вкальваем, как надо. Да и кадры у вас там не те. Один к нам в бригаду устроился из сельских, так поверишь, под краном боялся встать. Ему кричат: «Цепляй панель!», а он как вкопанный. Голову вожмет в плечи и стоит.

— Да ну тебя! — Шура сердито выдернула руку. — Сам-то давно городским стал? А туда же...

Возле кинотеатра толпился народ. Еще к кассе не

успели подойти, а уже спрашивали, нет ли лишнего билета.

— Тут глухо, — сказал Володя, прислонясь спиной к афише.

На улице вспыхнули фонари, и вечерний мрак стал отчетливее. Мимо шли люди, задевали Шуру, извинялись, спешили, потому что был уже звонок. Лишних билетов никто не предлагал.

Володя морщил лоб.

— Знаешь что, — сказал он вдруг, — пошли лучше в ресторан.

— Да ну... Неудобно, — замялась Шура.

— Ты что, поди ни разу там не была? — удивился и вроде даже обрадовался Володька.

— Нет.

— Ну тогда надо сходить. В городе живешь, привыкай! — покровительственно положил руку ей на плечо. И, не дожидаясь согласия, потащил через дорогу.

Перед стеклянной дверью ресторана толпились люди в вечерних костюмах, поглядывали сквозь толстое стекло. Там, будто в аквариуме, плавал раздоченный швейцар, неприступный и важный. Володя постучал ему. Швейцар нехотя подошел, приоткрыл дверь.

— Мне только телеграмму передать товарищу, — Володя торопливо шарил в кармане пиджака.

— Пройдите сюда, — разрешил тот, впуская. — Где телеграмма?

Повернувшись спиной к прозрачной двери, Володя протянул швейцару смятую трешку. Тот неуловимым движением сунул деньги в нагрудный карман ливреи, поплыл в зал, попросив обождать. А воротившись, шепнул:

— Второй столик в первом ряду.

— Со мной девушка, — умоляюще улыбнулся Володя.

— Давай побыстрее, — проворчал тот, снова открывая дверь и сдерживая плечом напирających людей.

Володя схватил за руку загрустившую уже Шуру, потащил за собой. Она еле успевала за ним.

В ресторане было душно, над столами плавали слоненного дыма, пахло столовой и разгоряченными телами.

Пока они шли к месту, Шуру оценивающе разглядывали десятки пар мужских глаз, и ей было неприятно

под ошупывающими взглядами, она чувствовала себя голой.

Села за столик, положила руки на колени, несмело огляделась.

За соседним столиком сидела пара: завитая худенькая девушка и широколицый парень с твердым спортивным подбородком. Он глядел в меню, изредка спрашивая девушку: «Будешь?»

Она согласно кивала головой, глядя на него покорно и податливо, чувствовала свою зависимость.

К ним подбежала официантка, раскрыла блокнотик, прикоснулась карандашиком к бумаге и выжидающе замерла.

— Два сыра, — подмигнул ей парень, — два бифштекса.

— Ну, ну, — торопила официантка, нетерпеливо поглядывая на соседние столики, откуда ее уже звали. — Пить что будете?

— Двести «Экстры». Вишневый ликер ничего? Рекомендуете?

— Очень хороший, дамам нравится.

Подруга парня поднялась и пошла в вестибюль к зеркалу поправить прическу. И пока она шла между столиками, высокая и худая, с тонкими ногами, ее кавалер, прищурившись, смотрел ей вслед, потягивая сигаретку и хмурясь.

Официантка постучала карандашом по блокноту.

— Сколько ликеру?

Парень решительно вмял сигарету в пепельницу.

— Не надо ликеру. Портвейн сойдет, — и, заметив прямой взгляд Шуры, сделал ей гримаску.

— Я пойду, — сказала Шура.

Володька растерялся.

— Куда?

— Домой. Мне надо.

— Ну ты же как неродная? Насилу пробилась ведь.

— Не хочу и все.

— Ладно, тогда подожди меня там, у дверей.

Из вестибюля, где перед зеркалом поправляла прическу худая длинноногая девушка, Шура видела, как Володька, отходя от буфета, заталкивал в карман пиджака бутылку водки. И пошла, не стала его дожидаться. На душе муторно было.

Он догнал ее на улице. Грубовато взял под руку,



шел молча, ни о чем не спрашивая. Так и довел до самого дома. У калитки они остановились и долго молчали.

— Знаешь, — заговорил Володька хрипло, — за день так накачает на верхотуре, голова — не своя, руки как у алкаша... Только вечером и отдыхаешь. Хотелось посидеть с тобой, поговорить. Я же с тобой по-хорошему. Не обидел, ничего такого...

— Мне там не понравилось. Противно.

— А куда еще пойдешь? Не в общагу же ко мне.

Шура поглядела на холодные, темные окна дома. Галка опять, видно, продружит до утра. А она, Шура, хотя гораздо симпатичнее и моложе подруги, будет скучать, ловить за окном звуки чужой жизни да вздыхать. Галка утром придет томно-усталая, загадочная, принесет с собой чужой запах. «Ты не скучала?» — спросит сочувственно, и столько взрослого женского превосходства будет в ее голосе, в каждом движении лениво размягшего тела.

— Хотя бы погреться пригласила, — сказал Володька вдруг дрогнувшим голосом и приник губами к ее щеке.

И Шура не отстранилась.

4

— Старенький уже трамвай, почти дедушка. — Шура сочувственно погладила рукой помаятую, обожженную сваркой во многих местах облицовку. — Дребезжит, скрипит, а едет. Думаешь, вот-вот рассыплется, а он дюжит. Надо же, крепкий какой. Даже удивительно.

— Да уж покрепче, чем вон те красавцы, — Галка обернулась к поблескивающим свежим лаком иностранным вагонам, возле которых сутились слесари, подлаживая что-то. — Не успели на линию выйти и, на тебе, поломались. С нашими их не сравнить. У наших только одни двери ломаются.

— Подкрасить бы сварку-то, — озаботилась Шура, — а то неудобно на обшарпанном ездить по городу, — и потеряла варежками уши. Она чуть не обморозила уши, пока бежала в депо.

— Дуреха! — снисходительно и жалеючи усмехнулась Галка. — Без ушей останешься, кто полюбит?

— А-а, обойдусь! — Шура беззаботно махнула ру-

кой и подошла к водительскому зеркалу. Повернула его на себя, почистила варежкой, заглянула с любопытством в светлый подрагивающий квадрат. Из зеркала на нее заинтересованно и оценивающе смотрела миловидная девушка. Резкий контраст света и теней скрывал легкий румянец щек. Неосвещенные глаза были глубоки, темны и таинственны. Рыжая лисья шапочка ореолом светилась вокруг головы. Может, при дневном свете все бы выглядело проще, обыденнее, но сумерки были за Шуру. Они придавали особую прелесть и загадочность ее изображению и веселили душу.

У Шуры было редкое качество: ей шло все, что бы она ни надела. Вчера голову укутывала простая шаль — и не хуже других смотрелась. А теперь, когда вместо шали праздничная шапочка — вообще сплошной блеск! Шура берегла дорогую шапку, надевала ее редко, лишь в кино или когда шла гулять в центр. Еще бы: с таким трудом достала через Галку. На покупку пришлось занять денег у тети Фроси, зато огненно-рыжая шапка оказалась на диво хороша. Жаль вот, сейчас на Шуриных ногах валенки. Ей так не доставало сапожек с длинными лакированными голенищами. Только их трудно достать, да и одним авансом не обойдешься!

Шура вдруг взвизгнула: сзади ее облапал невесть откуда набежавший губастый слесарь Толька. Несуразно длинный, улыбчивый, он по-щенячьи лез к ней слюнявыми губами, норовил поцеловать, дурачился. Шура вырывалась, хрипло смеясь.

— Кончай заигрывать! — деловито прикрикнула на него Галка. — График подходит.

Толька отпустил Шуру с неохотой, придурковато ухмылялся:

— Ух ты, какая красивая!

— Че попало... — смутилась Шура и покраснела, негодуя на Тольку, что помял старательно причесанную шапочку.

— Слышь, Шура, куда ты так выпендрилась? — приставал Толька, не отводя от нее шалавых щенячьих глаз.

— Ладно, гуляй! — сердито бросила Галка. — Много вас таких! — И, поднявшись на ступеньку вагона, откатила дверь своей кабины.

— Вот только голос тебе не личит, — пожалел Толька. — Че у тебя такой голос хриплый?

— Поори-ка с мое, совсем никакого не будет, — хмуро ответила Шура и поднялась в вагон. Маленького праздника, угнездившегося в душе, как не бывало. В самое большое место угодил, шалопут.

— Шурчик, — Галка высунулась из кабины, — когда твой студент войдет, дай мне тройной звонок. Любопытно глянуть, — подмигнула лукаво. Шура улыбнулась ей вымученно и стала шарить над головой кнопку сигнала, хотя давать отправление из депо не требовалось.

Вздрыгнул трамвай, рывком взял с места. Выкатил из освещенного сильными лампами ремонтного цеха в синюю темень двора. Из двора — на улицу. И покати, покати, звеня, дребезжа, поскрипывая, подминая и плюща искрящимися колесами ночную поземку на рельсах. Побежал, набирая ход, будоража кварталы своим многоголосым шумом, вспугивая утреннюю темноту ослепительными всполохами от контактной дуги. Мчал, глотая на остановках зевающих, скучных пассажиров, которые с открытыми глазами досматривали сны на холодных жестких сиденьях.

«Он, наверное, еще спит», — думала Шура, привалившись боком к тряской стене вагона. Вспомнила его лицо, молодое и доброе. «С ним, наверное, очень спокойно и прочно», — и гадала: как его имя?

Глядя на колючее, льдистое окно, представила себе, как слепо шарят по стенам его комнаты отблески фар ранних машин, как желтые тени касаются его смуглой щеки и, не добудившись, гаснут в синих дымных сумерках.

Утренний сон ненасытно сладок, это Шура знает по себе. Когда будильник начинает захлебываться, она просыпается сразу, будто от удара током. Но душа ее негодует, противится этой резкой ломке состояния умиротворенности и неги. И хотя Галка вскакивает моментом, включая режущий свет, Шура еще минуту лежит с закрытыми глазами, наслаждаясь мягкостью постели, растягивая убажывающие мгновения тепла и покоя.

Ах, какие это чудные, ненасытные, тягучие, как мед, мгновения! Много бы дневных часов отдала за них Шура, не пожалела бы, чтобы понежиться чуть-чуть дольше, прежде чем вынырнуть из-под теплого одеяла в настившую за ночь комнату, зябнуть, влезая в холодное платье. Под такой ледяной, ноги сразу гусиной кожей

покрываются. Приходится прыгать с ноги на ногу, чтобы разогнать дрожь.

А как вспомнит, что скоро бежать темной улицей по скрипучему снегу в депо, еще холоднее становится. А может быть, те минуты тепла и покоя после пробуждения потому дороги, что скоротечны? И если бы их можно было растягивать до бесконечности, до полной утоленности, то скоро бы приелось это блаженство?

Больше всего Шура сейчас боялась, что студент изменит своей обычной аккуратности, запоздает или придет пораньше к остановке и попадет либо в другой трамвай, либо в другой вагон. И тогда не увидит рыжей, как зимнее солнце, Шуриной шапки, не увидит ее зеленых, как лесной крыжовник, таких ожидающих глаз. Это будет так несправедливо к ней, терпеливо мерзнувшей без теплого платка и обрезанных варежек!

Но скоро мечтать не стало времени. Начинался час «пик». Пассажиры с боем брали двери, только что приваренные в цехе, и Шура опасалась, как бы их снова не оторвали. Тогда она совсем заоченеет в вагоне.

Некоторые, особенно людные остановки трамвай затравленно проскакивал с ходу, чтобы подальше от скопления людей высадить пассажиров и тронуться дальше. За ним бежали и махали руками люди, отчаявшиеся уехать, немо разевали рты в ругательствах, но слова в вагон не долетали, а люди скоро отставали.

Шура на этот раз не ругалась с пассажирами, всякими на подножках. Понимала: они выказывают молчаливый протест, не спешат передавать на билеты деньги, и вела с ними переговоры добрым домашним голосом, старательно следя за интонацией. Нарочно говорила тише, чтобы голос не звучал надтреснуто и хрипло.

Как Шура ненавидела теперь свой голос, испорченный в зимнем трамвае! Полгода назад, когда она впервые ехала на кондукторском месте, у нее был чистый и звонкий голос, девичий, стеснительный. А через месяц уже кричала грубовато и безразлично, научившись у старых кондукторов: «Двое вошли с передней площадки, передавайте на билеты, не стесняйтесь!» Уже старалась каждую живинку заглушить в голосе, чтобы самой не робеть.

Пассажиры покорно молчали или добродушно по-сменвались. Все они, опытные трамвайные невольники,

давно поняли и смирились с тем, что кондуктору можно и прикрикнуть на них и поворчать: служба такая, не хочешь кричать, да закричишь. Попадались среди пассажиров и люди ученые, знающие тонкости далеких Шуре наук. Здесь же куда девалась их ученость! Сдавят со всех сторон — не пикнешь. А начнешь роптать, услышишь от соседней старое, как трамвай: «Вам тесно — на такси езжайте!» Да еще кондуктор добавит: «Середина, пройдите вперед! Вас что, каждого за ручку вести?» И пассажир, натерпевшийся на остановке, становился податливым, едва попадал в трамвайное нутро: безропотно протискивался вперед, теряя пуговицы, послушно строился «елочкой». Кондукторские окрики ему не в тягость. Лишь бы на работу не опоздать.

Шуре даже нравилась прямолинейная демократичность трамвая. Заходи, кто хочет, становись, где удастся или куда вынесут дружные плечи твоих собратьев. Трамвай — не персональная «Волга». Ему плевать, какая на тебе шапка: поблескивающая дорогой остью или дешевая кроличья.

Автобус — тот иногда, глядишь, да и промелькнет пустой, не удостоив стоящих на остановке скрипом тормозов. Укоризненно люди глядят ему вслед, но что поделаешь: «заказной» или «служебный». Не про всякого заказан, не каждому служит.

А трамвай не бывает ни персональным, ни заказным, ни служебным. Он — для всех, и никакая сила не свортит его с этого пути! Шуре нравилось глядеть, как униженно приседали женственные «Волги» и пузатые автобусы, в том числе и «служебные», когда ее трамвай похозяйски неторопливо пересекал бойкий перекресток. Галка предупредительно позванивала ущемленным шоферам: не суйтесь, это мое право — первым пересекать дорогу! Только мне одному можно подавать голос, трезвонить, как общий городской будильник. Мчи, трамвай, по городу, звони, что есть мочи!

5

Студент появился как-то слишком уж неожиданно, хотя Шура готовилась к этому, ждала. Шура укололась о его синие глаза и чуть не вскрикнула, но взгляда не отвела. Студент по своему истолковал внимание кондуктора. Пошарив в кармане пальто, подал монету. Сунул

в перчатку протянутый билет и стал протискиваться к окну, где было посвободнее.

— Товарищи, давайте маленько продвинемся! — ласково сказала Шура и сама пошла вперед, чтобы освободить дорожному для нее пассажиру место у обогревателя. Вон как замерз: ресницы и усики в изморози, на щеках бурые пятна — морозом прихватило, оттирать надо. Пусть прогреется возле дырчатого ящика со спиралью внутри. Он такой нежный, а ей уж ладно, она привычная.

Его монетку Шура зажала в руке, отдавая ей свое скудное тепло. Шуре отчего-то казалось, что если она будет греть его монетку, то и студенту будет теплее. Пусть чуточку, но теплее.

«Неужели не узнал?» — и Шура еще раз, ясно и смело посмотрела в глаза парню. Посмотрела дольше приличного, угнетая в себе стыд, зазев от неловкости.

Студент обескураженно поморгал ресницами: может, кондуктор забыла, что он купил билет? Потом что-то дрогнуло в его лице, он как будто узнал Шуру, улыбнулся ей вежливо и отвернулся к окну. Так и не заметил скрытую ласку в потемневших от стужи глазах кондуктора, ничего не заметил.

Сникла Шура, ее лицо сразу обескровленно побелело и в глазах померк свет. Стало зябко и сиротливо. Хотелось забиться в темный угол, ничего не видеть и не слышать. Но кругом были люди, и надо было работать: продавать билеты и объявлять остановки.

От обогревателя студента оттеснили, и там старушка, закутанная в серую шаль, грела руки, ругая окаянный мороз. Против старушки взяла злость, да ничего не поделаешь. Шура молчала, боясь в раздражении показать хриплость голоса, и только до крови прикусила губку.

А трамвай бежал, позванивал, поскрипывал, покачивал пассажиров, и Шура отошла сердцем, ровным голосом объявляла остановки, потому что в замерзших окнах ничего не видно: ни домов, ни улиц.

Монетку студента она спрятала под шубу, в карманчик кофты, в тепло. Она изредка посматривала на него с осторожностью, но видела только спадающие на плечи волосы да розовые мочки ушей.

«Что для него трамвайный кондуктор? — уныло думала Шура. — Вот выскочит из вагона и побежит по



скользкой дорожке к большому, теплomu зданию с тяжелыми дверями, и будет сидеть на лекциях умный и спокойный. Тепло ему будет, чисто, светло. Ни тряски, выматывающей душу, ни нервотрешки. И думы в его красивой голове будут тоже красивые, научные, непонятные мне».

И вдруг ей увиделось, как она, строгая и красивая, сидит со студентом за одним столом и тоже слушает пожилого, солидного дядечку—преподавателя. Круглым ровным почерком записывает она в тетрадку умные слова, и радостно, легко от такого соседства и от всего прекрасного, что она тут видит и слышит.

Но тут же мысленно спохватилась, смутилась Шура от нарисованной воображением картины. Нет, видно, не сидеть ей в одной аудитории с этим милым парнем, которого она даже не знает как и зовут. С восьмилеткой в институты не принимают. Сколько ее уговаривал отец: «Учись, Шурка, кто тебя на работу гонит! Слава богу, живы-здоровы, поддержим». Она усмехалась на его слова весело и снисходительно, словно зная в себе что-то такое, чего отцу не узнать. «Коровам моя грамота не больно нужна. И без образования молоко дадут». А жизнь оказалась хитрее Шурки.

— Кондуктор! — голос не насмешливый, скорее сочувствующий. — Я уж третий раз прошу билет оторвать, — говорит ей пожилой мужчина, растирая побуревшие щеки и нос.

— Ой! — спохватывается Шура, разматывая катушку онемевшими пальцами, потому что, стесняясь студента, давно стянула с рук обрезанные, обремканые материяны варежки.

— Замечталась девка, — распустила морщины отогревавшая старушка возле обогревателя. — Весну чувствует. Шура даже не взглянула на нее.

Когда студент вышел и, смешно выкидывая длинные ноги, побежал к подъезду института, Шура вспомнила: так и не дала Галке тройной звонок — забыла. Но не пожалела об этом. Что тут смотреть? Смотреть нечего. Она для него пустое место. И вынула из кармана варежки.

А вечером в полупустом, а потому особенно холодном и тряском вагоне Шура достала монетку и благоговейно разглядела ее. Это был обычный тройничок, потемневший от времени и многих рук. Шура нежно по-

дышала на монетку, потерла о валенок, и тройничок благодарно заветлел.

Она склонилась лбом к стеклу, глядя в темную пыльную окна. Мимо проносились огни ателье и магазинов, бросая зеленые и оранжевые блики реклам по тротуарам. скрипучими тротуарами шли люди по своим делам. Над ними по-лебединому гнулись серебристые столбы с пронзительно яркими лампами, вокруг которых стлы голубые ореолы. Эти огни слились Шуре в Лебяжихе, как снятся сейчас младшей сестре Вальке. Представляла: идешь вечерней улицей, чокаешь каблучками по асфальту. Хочешь — в кино, хочешь — просто гуляй по аллейке, ловя на себе заинтересованные и восхищенные взгляды городских симпатичных ребят.

Ночью, когда родные засыпали, Шура садилась к окну. Лед на стекле искрился, переливался радужно под луной, и ей грезилось, как идет она, Шура, по звонкому асфальту со своим мужем — высоким, чернявым, очень обходительным и приятным городским человеком. Он наклоняется к ней, шепчет хорошие слова, и Шура ой как хочется, чтобы лебяжихинские девчата увидели ее и позавидовали.

Эх, город, город... Каким беззаботным, сотканым из одних радостей ты виделся! Как манили и дразнили воображение твои таинственные огни. А теперь они, поблескивая, посвечивая, подмигивая, бежали мимо тебя, мимо трамвая...

6

— И когда этот мороз кончится? Зла не хватает... — вздыхала Галка. Она лежала на кровати одетая и, не мигая, глядела в потолок.

— Обещали оттепель. Я слышала по радио, — откликнулась Шура от печки, поворачивая к подруге разгоряченное от близкого жара лицо. Она не знала, будет оттепель или нет, про радио придумала только сейчас. Очень уж ей хотелось как-то утешить подругу, которая была нынче сильно не в духе.

Купленные в магазине мороженые пельмени быстро оттаяли в кипятке, набухли и дали крепкий запах, такой соблазнительный. Шура сдвинула крышку с кастрюли, помешивала ложкой, чтобы пельмени, всплыв



на поверхность, не выплеснули бы на плиту наваристый бульон, а то чаду не оберешься.

— Вставай, сейчас есть будем, — позвала она, расставляя на столе тарелки. — Ешь, пока рот свеж. Завянет — есть перестанет, — вспомнила материну притказку.

— Слышь, Шурчик, — шевельнулась Галка. — Сбегай за красенькой. Внутри что-то такое... скребет.

— А может, не надо? — обернулась к ней Шура. — Вдруг да с этого еще хуже будет?

— Мне хуже уже не будет, — вздохнула протяжно Галка и поднялась с кровати, расправляя жидкие волосы.

Шура озабоченно поглядела на подругу и тоже вздохнула. Она чувствовала: не вяжется у подруги личная жизнь. Опять ухажер со свадьбой тянет, а может, совсем раздумал жениться. А Галка так на него надеялась. Две простыни и стегеное одеяло взяла с полочки — на приданое. Сколько денег на разную косметику извела...

— У меня тоже внутри скребет, — горько прищурилась Шура и вынула из кармана кофточки ясный тройничок. Подержала на ладони, словно взвешивая, снова опустила в карман. Ей хотелось, чтобы Галка немного отмякла душой, видя, что и ей тоже не везет. Вместе страдать легче и не так обидно.

— Ты что, дуреха, неужто и правда влюбилась? — усмехнулась Галка, присаживаясь к столу и придвигая к себе дымящуюся тарелку.

— А что, разве не такая? — дурашливо засмеялась Шура. — Рожей не вышла, а?

— Рожей ты вышла, ничего не скажешь. Будь я мужиком, влюбилась бы без оглядки. Да ведь твой студент институт кончит, серьезным дядечкой будет. Начальником каким-нибудь. Неужто ты ему пара, необразованная-то? Ему с тобой не об чем и говорить будет.

— Да? — раздумчиво спросила Шура и улыбка стаяла с лица.

— А ты думала... Знаешь, какая ему нужна? — Галка отодвинулась от стола вместе с табуреткой, встала, манерно подняла брови, жеманно, играя плечами, прошла по комнате. Туфли ставила на широкие, с остатками охры половицы осторожно, будто на хрупкий ледок. — Вот так. А на тебя и не посмотрит. Ну скажи, кто ты такая есть? Трамвайщица. Ему один черт, касса-

копилка в вагоне или ты, кондуктор. Получил билет и — к окну. В окошко-то веселее глядеть, чем на кондуктора. Дорога короче кажется.

— А вот и неправда, неправда! — запальчиво крикнула Шура и отложила ложку. — Ну зачем ты так?

— А затем, чтоб рот не раскрывала. Да ушами не хлопала. Все они одинаковые. Все одного хотят.

— Не все! Это ты от злости!

В окошко несмело постучали. Галка вскочила, отодвинула занавеску, со скрипом отворила форточку. Сизый пар пополз по ее волосам, просачивался в комнату.

— К тебе, — сказала Галка с кривой усмешкой.

— Кто? — сдавленно спросила Шура, а сердце вдруг екнуло и заторопилось, зачастило.

— Все те же. Володька. Впустить, что ли?

— Катись он подальше.

— Так и передать?

— Так и скажи.

Галка прикрыла форточку, аккуратно расправила занавеску, села к столу, ежась от холода.

— Думала, студент?

— Ничего я не думала, — тихо отозвалась Шура.

— Брось ты... не думала она. Вся так и зарделась, как маков цвет. Возьми да прикорми его, как этого белоглазого. Крутни чем надо, он и клюнет.

— Что ты! — вспыхнула Шура и рукой отмахнулась испуганно. Сама мысль показалась ей нелепой, обидной, противоестественной, не вяжущейся с ее студентом. — Он не пойдет на это, он не такой! Ведь ты его совсем не знаешь. Он чистый!

— Знаем мы этих чистеньких, — со злостью промычала Галка, обжигаясь пельменем. — Только мигни — и прилипнет. Все они кобели — и чистые, и грязные. Одна порода.

Пельмени оказались не такими вкусными, как ожидала Шура, будто весь вкус вышел паром, расплылся по углам, бесцельно растратился. Она поднялась, потерянно прошла по комнате и легла на кровать лицом к стене. Перед нею, на дешевом клеенчатом коврике с лебедями, шевелилось от ее дыхания, как живое, привязанное за ниточку развесистое перо из хвоста работающего петуха. Не мог он токаря Ивана сманить обратно в деревню, и из петуха сварили суп. А перышко ей пода-

рил карапузик в красной рубашке. Перышко золотисто переливается, колышется.

Галка тоже поднялась из-за стола. Походила по скрипучим половицам, взяла с тумбочки зеркало. Она долго и истоиво рассматривала свое отражение и хмурилась. Подавила двумя пальцами прыщик на подбородке, пожевала губами, замечая с горечью ранние морщинки у глаз.

— Старею, Шурчик, — сказала жалобно. — Скоро двадцать пять, а жизни еще и не видела. Куда мое счастье запропастилось? Подумать только: двадцать пять... Кожа какая-то желтая. Крему, что ли, купить? — пробормотала озабоченно. — Эх, Шурка, Шурка... Жила бы ты в своей деревне. Доила бы коров, парное молоко пила. С него лицо розовое делается, свежее, никакого крему не надо. Сравни городских девчат с деревенскими. Их сроду не спутаешь. У деревенской девчонки румянец, а у городских лица бледные, усталые. Приглядись как-нибудь в трамвае.

Шура повернулась к Галке, слушала ее вялый голос, жалела ее, жалела себя. Мелькнул в памяти белый материн платок.

Королевич приласкает головку твою-ю...

Поглядела бы мать на ее королевича, что под окнами. Зашемило сердце, глаза зацепало от близких слез. Вот придет весна, скворцы прилетят в Лебяжиху и сошьют гнездо в скворечнике на старой березе в огороде. Как радовалась Шура прилету этих птиц, блестящих оперением, будто помазанных коровьим маслом. Они всегда такие опрятные, будто умытые.

Отец как-то собрался срубить старую березу — затеяла рассадку помидоров. Шагнул с топором, с придыхом врубил лезвие в древесину и отступил назад. Над деревом тревожно кричали скворцы. «Как это я забыл про вас, милые вы мои...» Топор отбросил, негодуя на себя за беспамятство. До сих пор стоит в огороде одинокая береза. Шрам на ней от топора наплыл черным наростом. Отчего-то нарост этот стоит перед глазами.

— Шурчик, поговори со мной, — попросила Галка, глядя в окно на проступающие сквозь наледь огни новых домов. — Тебе-то еще рано вздыхать. — Обернулась к ней. — Улыбаешься? Эх, Шурка, Шурка, дуре-

ха... Ты не скоро постареешь. Улыбка у тебя наивная, как у честной.

— Ложись-ка спать, — хриловато сказала Шура. — Завтра вставать рано, целая смена впереди.

— Не усну я. Всякая чепуха в голову лезет.

— А ты о чепухе не думай. Ложись и думай о чем-нибудь хорошем-хорошем. Мечтай о чем-нибудь. И приснится то, чего ты хочешь. Утром проснешься, а голова будет свежая и настроение хорошее, легкое. Попробуй, я на себе испытала.

Шура улыбулась и подумала, что обязательно увидит своего студента во сне, а завтра — воочию. И ради этого она согласна вскакивать чуть свет и бежать по морозу в депо, мерзнуть целый день в тряске вагона. И вообще завтра может случиться светлое и долгожданное. Сердце верило в это, не могло не верить. Слушала, как поскрипывают за окном робкие шаги, и улыбалась.

## БАБЬЕ ПОЛЕ

Пугающе ранняя выдалась в Налобихе весна 1976 года. В прошлые весны в эту пору здесь, на высоком обском берегу, снег держался еще по-зимнему синий и хрусткий, бураны переметали дороги, а нынче, как проглянуло с чистого неба высокое и сильное солнце, так больше и не пряталось за тучи, неустово светило и грело с утра до вечера. Снег на полях сплющился, и на взгорьях рано зачернели проталины. День ото дня они расплывались, захватывая все большее пространство, и скоро снег (это в последних-то числах марта! И где? В Сибири!) сошел совсем. Его жалкие ноздреватые остатки лежали еще по логам да в березовых колках, медленно истаявая. Странно и чужеродно выглядели эти сизые пятна на тяжелой, набухшей весенними силами земле.

Глухо ворочалась под крутым берегом Обь, зная полыньями, бухая и поскрипывая льдом, — тоже пробовала свою силу. И вдруг на две с лишним недели раньше привычных сроков река тронулась. Лыдины, крошась и истончаясь, плыли извечным путем в Ледовитый океан. Провожая их с крутояра, люди увидели, что исчезла дымка, висевшая над деревней, мир вроде как раздвинулся во все стороны, стал шире, обозримее. Огромный мир лежал во всех четырех сторонах от Налобихи и

теперь, когда весенний свет хлынул во все дальние дали, особенно остро почувствовалось, как он велик и как мала деревенька, песчинкой в нем затерявшаяся.

С высокого обрывистого берега, на котором ютилась открытая всем ветрам Налобиха, было видно, как далеко-далеко расстелилась на другой стороне Оби великая тайга, за горизонтом в бледной размытой синеве терялись ее края, недоступные глазу. Когда-то много красного зверя водилось в урманах, но в последние годы тайгу густо заселили леспромхозы, и бывшие охотники обучились валить оскудевший лес бензопилами. Налобихинцев это не очень затронуло: охотничьим промыслом они всерьез не занимались.

Вверх по реке, в семидесяти километрах, стоял краевой центр, дымный рабочий город. За расстоянием город с крутояра не просматривался, но химический комбинат и другие заводы давали о себе знать. Иногда Обь приносила молочно-белые струи, а то наоборот — дегтярно-черные или же зеленые, словно молодая травка. Цветные струи текли сами по себе, не смешиваясь — река противилась, не принимала их. Благородная рыба извлеклась, спустилась далеко в низовья, и рыбацкие артели, некогда густо лепившиеся по берегам ниже Налобихи, захирели. Рыбаки подались кто куда, и берега задичали.

Впрочем Налобиха особо не занималась и рыбалкой, она испокон жила хлебопашеством. И если повернуться к тайге и реке спиной, то за деревней, на всхолмленной равнине, можно увидеть пустующие пока пшеничные поля. А далее, за полями, за березовыми колками, сереющими в дрожащем воздухе застывшим дымом, располагался райцентр — село Раздольное, маленькая местная столица.

Столь ранняя весна озадачила налобихинцев. Не избалованы они были такими подарками природы и не доверяли им. Нормальное течение сезонов приносило обычно неплохие урожан хлебов, а теперь гадай, чем это обернется — добром или худом.

В природе и на самом деле происходило непонятное. Жаркое солнце быстро прогрело землю. До поздних вечеров курилась волнистая дымка над полями — уходила влага. Председатель налобихинского колхоза «Сибирская новь» Николай Николаевич Постников мучился сомнениями. Как быть: начинать боронить да сеять или дожидаться привычных сроков? Почва созрела, в самый

бы раз выгонять машины на поля, но может статься, что посеешь, семена проклюнутся, а отзимок придет и побьет всходы. И семена загубить боязно, и ждать уж больше нельзя — на глазах земля сушеет. Не успеешь оглянуться, ветры пыль погонят. Вот и думай, в какую сторону склониться.

Постников был нездешний, из предгорий края. Прислали его сюда три года назад сменить первого председателя Кузьму Ивановича Горева. И хотя Постников считался тут человеком новым, но мужик он был пожилой, дошлый и в председателях не впервые. А еще — рисковый и с богатой фантазией. Предгорный художочный колхозик, откуда его сюда перебросили, никак из долгов не мог выбраться. Избы у колхозников старые, как говорится, на ладан дышат. Клуб в аварийном состоянии, того и гляди крыша рухнет. Во время киносеансов люди старались поближе к дверям сесть, чтобы успеть выскочить в случае чего. Надо бы и квартиры для механизаторов построить, и новый клуб позарез нужен, да не разбежишься — пуста колхозная касса. А полной ей быть не от чего. Местная землица, с песком и галькой, никак не хотела рожать пшеницу. Скот тоже доходов не давал — с кормами в предгорье было туго. И словно в укор самолюбивому Постникову стоял неподалеку, в низине, богатый колхоз. Клуб у соседей, как дворец, правление — каменное, двухэтажное и новые дома — ровными рядами. И все строятся, строятся. Крепкий колхоз, вот люди и оседают. Не то что у него, у Постникова. Его колхозники с завистью на соседей поглядывали. Помани пальцем — убегут. Да что колхозники! Сам Постников завидовал соседу-председателю. И земля-то у того — чернозем, и работать есть кому, и ездит на черной «Волге», а не на обшарпанном «газике». А уж до чего важно держался богатый председатель! На районном совещании позволял себе бросать реплики во время выступлений и его не одергивали, будто так и надо. Ну а попробуй высунуться Постников — сразу поставят на место. Тебе, мол, лучше сидеть да помалкивать и радоваться, если в докладе лишний раз не помянули.

Как хотелось Постникову выбиться из нужды! Ужом крутился, ища ходы и выходы. Землица с галькой? Так и из этого можно извлечь выгоду. Открыл гравийный карьер, предложил соседу щебню на строительство, на

мощение дорог. Тот не отказался, и Постников рад: все лишние деньги для колхоза. Провернул удачную, ловкую, можно сказать, операцию с мясом. Раздобыл в районе спортивные лицензии на отстрел лосей, сколотил бригаду и благословил на промысел. Охотнички поставались, не подвели своего председателя. Постников потом уговорил колхозников сдать личных бычков по закупочным ценам. За счет них удалось и план по госпоставкам выполнить. А взамен сдатчикам выдал дешевой лосятины. Прокормились лесным зверем.

Прогорел Постников на обыкновенном хрене. Один деятель из потребсоюза присоветовал: ты-де попробуй-ка развести хрен. В городе тертые корешки в баночках — нарасхват. Платим мы хорошо, так что дело верное. Постников и ухватился за идею. На опытном поле буйно зазеленела новая для хозяйства культура. Не обманул заготовитель. Хрен принес колхозу хорошие деньги, но они не радовали, потому что зерновые, как на грех, не уродились. Пшеничка на полях стояла низкорослая и реденькая, зато хрен вымахал до невероятных размеров, хоть показывай экскурсантам. Вот тут-то и началось... Пошли по району усмешки да ухмылки, дескать Постников — знатный хреновод и так далее. И даже на активе начальник райсельхозуправления, отчитывая Постникова, под смех всего зала употреблял весьма рискованные прилагательные, образованные от названия злополучной огородной культуры. Вскоре Постников оказался в Налобихе, а новый после Постникова председатель еще долго боролся с хреном, который никак не желал искорениться с полюбившегося ему поля.

Обо всем этом Постников помнил и боялся ошибиться. Помаявшись сомнениями, поехал в Раздольное в райком — посоветоваться насчет сроков сева. Надеялся, что там, как в былые времена, скажут, как быть, в общем, сориентируют. Однако его ни в какую сторону не сориентировали, а посоветовали решить вопрос на месте. На месте так на месте. Определимся сами. Но как бы маленько подстраховаться? Послал в краевую метеостанцию агронома за прогнозом.

Метеорологи прогноз агроному дали. Но как над прогнозом ни бились в правлении, ничего уразуметь не могли. Не простаками оказались синоптики. Они составили бумагу умную, в которой поминались цикло-



ны и антициклоны, а также холодные и теплые течения, борющиеся в мировом воздушном океане, но будет ли в Налобихе отзимок или нет — о том сказать удержались.

Собрал Постников специалистов, и хотя те мялись, очертя голову решил: надо срочно выгонять технику на поля. Осенью зябь поднята плоскорезами. Сейчас надо пустить бороны, за ними сеялки. И прикатывать. А там, как погода рассудит. Либо богатый урожай вырастет, либо колхоз с пустыми закромами останется. Середины не будет...

И затрещали тракторы над талой обской водой.

## 2

В эти дни на Бабе поле выехало механизированное женское звено знаменитой на весь край Евдокии Никитичны Тырышкиной. Ближние от деревни земли Бабьим полем стали называть в сорок втором году, когда женщины вырастили на нем хлеб, обмолотили и отправили на фронт. Тогда коренной налобихинский председатель Кузьма Иванович Горев, растрогавшись, сказал на митинге: «Ну, милые, кончится война, посередине поля поставим вам золотой памятник. А самих вас больше к тракторам не подпустим. Хлебушек сподручнее добывать нам, мужикам. А вы лучше-ка рожайте и растите нам здоровых ребятшек. Плодите русский народ, потому как сильно его повыкосили враги наши».

В первые годы после победы памятник на поле не поставили, не до памятников еще было. Снимать женщин с тракторов тоже оказалось рановато, и заботливый Горев закрепил за трактористками ближнее поле, чтобы им хоть меньше времени тратить на дорогу. Понимал: побыть дома лишнюю минуту для женщины значит больше, чем для мужчин, да и на душе у них спокойнее, если хоть издали, а видят родные крыши. Так и осталось поле в полном смысле Бабьим. Уходили старые, изработавшиеся трактористки, приходили помоложе, и по сей день женщины Налобихи пользовались своей привилегией, не собирались ее уступать.

Медленно ползли по загонкам пять гусеничных тракторов, верша круг у подножья бесплодного взгорья, поля спящего и названного в деревне уже Мертвым

полем. Черная полоса заброшенной земли как бы отрезала его от живых земель.

Головной трактор вела сама Евдокия Тырышкина, плотная, немного сутулая женщина, которая наполнила собою, казалось, все пространство кабины. Лицо у нее широкое, раздвоенное с возрастом, задубелое на ветрах, и лишь когда улыбается, расправляются глубокие морщины, и видны бледные полоски незагорелой, будто чужой кожи. А взгляд у Евдокии прямой, властный, с начальственной уверенностью в себе. Поглядишь на нее и поймешь сразу: не простая она трактористка, есть у нее за душой еще какая-то сила.

Готовить поле к севу Евдокия любила больше, чем саму жатву. Тянет трактор спелку борон по набухшей земле, и в душе от весеннего обновления просыпается что-то молодое, давнее, почти забытое. Ей кажется, что даже сквозь грохот двигателя внутренним слухом она слышит, как под рыжей прошлогодней стерней, подрезанной осенью безотвальными плугами, дышит земля, готовая принять семена. Все готово цвести и плодоносить, все полно надежд и ничто не думает о дальней осени. Сердце вздрагивает и замирает: вдруг да проглянет впереди нежданная, нечаянная радость. Проглянет и поманит к себе. И хотя догадывается Евдокия, что это взгрывает в ней хмель весенний, обманчивый, а все равно надеется и ждет, готовая к радости.

Так было с ней в минувшие весны, а в эту весну, пришедшую на удивление рано, в Евдокии тоже что-то сдвинулось и переменялось. Раньше, бывало, от одного вида млеющей в сиреновой дымке земли волна нежности заливала душу, а сейчас была Евдокия задумчива и безучастна ко всему. Руки время от времени машинально тянули рычаги, ноги нажимали на педали как бы сами собой. Казалось, и трактор шел по загонке тоже сам собой, словно понятливый рабочий конь, знающий без понуканий хозяина, куда идти. Вся жизнь Евдокии прошла на этом поле, и нынешняя весна у нее тут — последняя. Осенью уйдет она с поля и не воротится сюда больше. Другие будут засевать поле и убирать урожай. И она уже заранее ревновала поле к другим. Она уж подумывала, как бы хорошо оставить вместо себя дочь Юльку. Конечно, не звеньевой, нет, просто в звене, но оставить. Тогда бы и душа нашла успокоение. Мысленно она убеждала Юльку, что растить хлеб — работа по-

четная. Трактористка в деревне — всегда на виду, да и заработки со счетов не сбросишь, в наше время это вещь не последняя. А то в этом году дочь заканчивает школу и хочешь не хочешь, а задумаешься над ее судьбой. Была бы Юлька хоть на год постарше, так еще в прошлом году взяла бы ее к себе. Все-таки мать больше внимания дочери уделит, чем чужие люди, что там говорить. Только бы поняла Юлька материну правоту, послушалась ее совета. А то, когда на днях поделилась с дочерью сокровенными мыслями, та насмешливо хмыкнула и, как бы нища защити, поглядела на отца. Степан сразу перехватил дочерин взгляд, словно его дожидался, сказал хмуро:

«Хватит с нас и одной трактористки».

Евдокию не столько обидели слова мужа, к его недопомоществу она привыкла, сколько больно резанула насмешка дочери и то, что она, будто на сообщника, глянула на отца. Больно и обидно стало, но Евдокия не дала прорваться раздражению, чтобы окончательно не испортить разговор.

«А что, интересно, ты ей предлагаешь? — спросила чужим, надтреснутым голосом. — Чтобы поскорее с глаз долой уехала? В город на хлопчатобумажный комбинат? Не терпится выпроводить? Папаша называется...»

«Выпроводить? С чего ты взяла?» — мрачно удивился Степан.

«А с того! — жестко перебила Евдокия. — Ты бы подумал своей головой, где она тут еще устроится? Воспитательницей в детский садик? Там и без нее воспитательниц полно. Девки потому и бегут в город, что деваться некуда. А механизатором — все же и профессия серьезная, и сама при доме останется. Не в городе за глазами».

Степан поморщился и отвернулся. Возразить, как понимала Евдокия, ему было просто нечем. Только и оставалось — отвернуться. Я, мол, при своем мнении, а там как хочешь. Короче, не получилось у нее разговора ни с дочерью, ни с мужем. Если бы хоть одну Юльку уговаривать, а то сразу двоих.

Остановившимся в одной точке взглядом Евдокия следила, как плыла навстречу, покачиваясь, прошлогодняя стерня, и мысленно спорила со Степаном, негодовала. Ведь понимает же он, что жена права, ведь ни

одного вразумительного слова не мог сказать против, а упрямится. Лишь бы только обозлить жену, сделать ей наперекор. Если бы Юлька пошла в звено, все бы у нее там сложилось капитально. Как этого не понять? Ну, Юлька еще не соображает в таких вещах, умилко у нее детокий. А он-то, пожилой мужик, должен бы ума накопить...

Досадливо вздохнула и обернулась.

Сзади, с левого бока, точно привязанные невидимыми тросами, шли тракторы ее звена, вздымая за собой легкие облачки пыли. Следом за Евдокней была, конечно же, неизменная Нинша Колобихина, подруга давняя, закадычная. Нинша всегда за спиной. Это ее место — за подругой, и она уступила бы его одной лишь Юльке, больше никому. В любое время оглянись — она рядом, крикливая, заполошная Нинша, добрая, близкая душа. Так тепло и спокойно от ее соседства.

За Ниншей движется Галка, совсем еще девчонка, года нет как на тракторе, тихая, стеснительная. Но есть в ней какая-то особенная сила. Тяжело не тяжело, никогда не пожалуется. Молчит да тянет свою лямку. Старательная.

Позади Галки на оранжевом новом «Алтус» — красивая и злая Валентина, баба молодая, разведенная. Может, оттого, что с мужем не ужилась (он уехал от нее в город и там женился), по другим ли еще причинам, но она озлилась на весь белый свет. У нее и красота была какая-то недобрая, холодная. Говорит, а тонкие губы брезгливо подергиваются. Всегда в ней что-то настораживало Евдокию. Она чувствовала к себе глухую неприязнь со стороны Валентины и старалась не обращаться к ней лишний раз. А уж когда никак ее не обойти, то и слова подбирала помягче, и разговаривала с Валентиной осторожнее, не как с другими. Она этот новый сильный трактор, совсем недавно полученный, отдала отчего-то именно ей, а не Нинше и не Галке. Будто кто-то нашептывал ей на ухо: отдай Валентине, так будет лучше.

За замыкающим, пятым трактором летели белые речные чайки, покинувшие оскудевшую Обь. Косо падая на крыло, они хватали червей с прикатанной после сеялок земли и взмывали вверх, посверкивая оперением. В этой последней машине сидел Степан, муж Евдокии, единственный в женском звене мужик, тракторист-на-

ладчик. Даже сквозь расстояние, сквозь горящее под солнцем лобовое стекло внутренним зрением видела хмурое, отчужденное, небритое лицо мужа. Таким оно было всегда в последнее время, таким отложилось в памяти и другим представить уже не могла. Словно за того и замуж вышла много лет назад, за чужого и колочёго.

Евдокия вспомнилась прошлые весны, когда кровь еще бродила в ней от весеннего обновления, и горько усмехнулась над собой. Какие уж могут быть надежды в ее-то сорок девять? Жизнь, можно сказать, прожита, катятся ее годы по наезженной загонке к своему концу и никуда ей не свернуть, ни в какую сторону, и никакого обновления ей не будет. Пускай радости идут к молодым бабам, им они нужнее, она же свое отрадовалась и отгоревала, с нее достаточно. Конечно, случались у нее и тяжелые дни, как у каждого человека. А разве мало было хорошего, что греет до сих пор? Были радости, были всякие: и личные, женские, и общественные. Правда, личные как-то незаметно угасли в ней, остались лишь общественные. Так уж случилось: давно в разладе она с мужем. Одно у нее утешение и радость остались — дочь. До Юльки дважды рождались дети, тоже девочки, но не доживали и до месяца. Ох, как боялись Евдокия со Степаном, что останутся одни! Как надеялись и ждали сына или дочь — все равно кого. А когда уж перестали надеяться, появилась наконец Юлька, долгожданный, поздний, а потому особенно любимый ребенок. Берегла ее Евдокия цуще глаза, все-то годы переживала за дочь, ночей не спала, когда Юлька болела. А теперь вот Юлька выросла и на отца чаще поглядывает, на его стороне стоит, больно ранит материнское сердце. Эх, Юлька...

Невеселые мысли оборвал председательский «газик», неожиданно вывернувшийся откуда-то сбоку. Постников приехал не один, с парторгом Ледневым, молодым еще совсем мужиком. Постников невысокий, в распахнутом рыжеватом плаще, который не сходил с него на животе, весь из себя крепкий, как говорят, самовитый. Он и ноги широко расставил, прочно, по-хозяйски утвердил их на земле и по-хозяйски же оглядывал все, что его тут окружало. Леднев наоборот, высокий и худой, в синей куртке с блестящими кнопками и замками, какие носили почти все парни в Налобихе. Перед плотной

фигурой председателя он парнем и казался, не нажил еще солидности.

Дожидаюсь, пока останутся тракторы и подойдут люди, Постников стал показывать Ледневу рукой на взгорье, в чем-то с горячностью убеждая его. Досада была на его круглом подвижном лице, потому что парторг не соглашался с ним, ссутулившись в своей молодежной курточке, упрямо мотал головой. Потом председатель отвернулся от парторга, засунул руки в карманы плаща, глядел на приближающуюся Тырышкину. Выжидательно улыбался.

— Ну как, Евдокия Никитична, не прогорим? Раньше всех в районе начали! — зычно проговорил он, чтобы все женщины услышали и как-то отозвались. Вопрос этот его сильно мучил и ему хотелось какого ни есть, а утешения.

— Погода покажет, Николай Николаич, — уклончиво ответила Евдокия. Последний свой урожай ей хотелось взять побогаче, и она тоже побаивалась. Даже словом опасалась сглазить погоду.

Трактористки поздоровались и замолчали. Нинша Колобихина прислонилась к подруге, но в разговор не вступала. Пусть председатель и звеньевая потолкуют между собой. Красная Валентина поправила шелковую цветастую косынку и, презрительно сузив длинные, подкрашенные глаза, смотрела поверх голов председателя и парторга в одну ей ведомую даль. Привычная ее поза. Галка смущенно потупилась. Из нее слова не вытянешь. Степан же стоял позади всех, на отшибе. Лицо отстраненное, будто к разговору никакого касательства не имеет.

— Это точно. Она покажет, — согласился Постников унылым голосом и тяжело вздохнул. — Нам бы отсеяться побыстрее. В теплой земле с семенами ничего не случится. А там уж или прогорим, или районную премию отхватим... — Испытующе оглядел невинное, без единого облачка небо и снова обернулся к звеньевой. — Ты вот что, Евдокия Никитична... поднажать бы, пока ведро стоит. До дождей бы управиться, а? Тракторы у вас светом оборудованы. — Хитровато и занскивающе улыбнулся. — Поняла намек?

— Давай сменщиков. Организуем вторую смену.

Постников невесело хохотнул.

— Сменщиков... Рожу я их, что ли?



— А это уж твое дело, где их взять. Ты — председатель. Хоть роди, — сдержанно улыбнулась Евдокия.

Председатель обескураженно развел руками.

— Да я бы рад родить — не получится. Нету сменщиков, Никитична, нету. Семьдесят тракторов в хозяйстве: Это надо сто сорок механизаторов, если на две смены. А мы на одну-то едва наскребаем. Старшеклассников придется на сеялки сажать, отрывать от школы. — Укоризненно покачал головой. — Председатель... Ты сама член правления, обстановку не хуже меня знаешь. Тракторы и прицепной инвентарь мы купить можем, а людей в Сельхозтехнике не купишь. Не продают их. Вот так-то... — С надеждой поглядел на Евдокию, на других женщины, на молча попыхвающего папирской Степана. — Придется вам, видно, выручать колхоз. Если останемся без хлеба, все вместе горевать будем, не я один. А постараемся — здорово выгадаем. Погода пока за нас. Но положение рисковое...

— Значит, мы должны в две смены надрываться? — громко заговорила Нинша Колобихина. — Рисковое положение... Да оно у нас сроду рисковое. Сроду, как кони, за всех отдуваемся!

— Ну тебе бы только пошуметь, Колобихина, — устало сказал Постников. — Поругаться бы лишний раз.

— Да как не ругаться-то? Нас заставляют мантиль в две смены, да еще и слова не скажи!

Постников вдруг подозрительно прищурился.

— Постой, а чего это ты за всех отвечаешь? — негромко, с особой значительностью в голосе спросил он. — За весь коллектив? Может, уже не Тырышкина, а ты звеньевая? Или тебя товарищи уполномочили выступить? Ты за что агитируешь?

Нинша прикусила язык, растерянно заозиралась на подруг. А Постников выждал немного и продолжил уже другим, мирным голосом, мягким и укоризненным:

— С чего ты взяла, Колобихина, будто тебя заставляют? Не хочешь помочь колхозу в трудное время — не надо. Невольно не станем. Другие найдутся, более сознательные. Найдутся!.. Я никого не заставляю, я только прошу помочь. Мало для тебя колхоз сделал? Хоть раз в чем-нибудь был отказ? Чтоб ты могла обижаться? — Поглядел на потупившуюся Галку, на равнодушную Валентину, на Степана. — Уж кому-ко-

му, а вашему звену все даем в первую очередь. Можно сказать, в ущерб другим.

— Да я разве говорю, что отказываете? — смущенно оправдывалась Колобихина, но Постников ее перебил:

— Ты ведь даже и не выслушала меня до конца, а сразу в крик. Несерьезно... Мы с парторгом уже все звенья объехали и никто нигде не скандалил. Люди проявили сознательность. Надо — значит надо. Брагины, так те прямо сегодня во вторую смену останутся. Глядите, обгонят вас мужики. — Трактористки соревновались со звеном Брагиных, и председатель бил на самолюбие. — И еще скажу... Другим я ничего не сулил, а вам обещаю: отсеемся — выделим крытую машину. В город вас на базар свозим. А по осени — комбикорма в первую очередь. Вот парторг свидетель.

— Ты не покупай нас, Николай Николаич, — поморщилась Евдокия. — Прикинем, что к чему, и решим.

— Прикиньте, — немного успокоился председатель, уловив надежду в словах звеньевой. — А насчет сменщиков, в смысле механизаторов вообще — надо помогать вместе. Девчат бы на это дело нацелить, а, Никитична?

— Каких девчат?

— Которые пока без дела сидят. И которые школу в этом году заканчивают. Надоело, понимаешь, кадры для хлопчатобумажного комбината выращивать.

— А почему только девчат? — раздраженно спросила красивая Валентина, по-прежнему косясь в сторону. Евдокия даже не взглянула на нее, будто не слышала, а Постников повернулся к Валентине.

— Парни в трактористы идут неохотно. На шиферов, баранку крутить — отбоя нет. Но у нас же не автобаза. Нам механизаторы нужны. Широкого профиля. А девчата, которые захотят после школы остаться в НаLOBихе, согласятся. Им либо в доярки, либо в механизаторы, больше деваться некуда. Да и должен же кто-то землю пахать, хлеб растить. А то вот Тырышкина осенью уйдет, из других звеньев выйдут на пенсию. Ветераны-то наши. А кто их заменит? Об этом сейчас думать надо.

— Это верно, — проговорила Евдокия с грустью.

— Агитировать девчат. Другого выхода нету. — продолжил Постников. — Давай, Евдокия Никитична, вот с севом закрутимся, соберем молодежь в клубе. С таи-



цами, с буфетом. Ты и выступи перед ними. Наберутся добровольцы — курсы механизаторов откроем. Создадим женские звенья и полегче вздохнем...

Постников замолчал и, повернувшись к трактористкам боком, смотрел туда, куда недавно показывал Ледневу рукой. Очень его та сторона интересовала, даже прищурился и губу покусывал. Там, куда он неотрывно глядел, лежало на взгорье который год уже не паханное, заброшенное людьми Мертвое поле.

Это взгорье Евдокия хорошо знала и помнила еще не мертвым, а благодатным и родящим. До войны там сеяли пшеницу, в войну, да и после, в шестидесятых годах, бывали хорошие по здешним местам урожан. На взгорье хоть и не на много, на какую-то сотню метров, но почва лежала к солнышку ближе, и хлеба поспевали на неделю раньше, чем везде. Именно оттуда, с самой верхотуры, обычно и начинал колхоз жатву. Туда первыми поднимались старенькие прицепные комбайны «Коммунары», жали на плоской вершине, кругами сходили по пологим склонам вниз на равнинные земли Бабьего поля. И, наверное, по сию бы пору рожало хлеб это поле, потому что председатель Горев давал ему отдыхать, раз в три года засевая травами, да приехала из Раздольного районная комиссия, спросила Горева, отчего это он не каждый год получает зерно с высокого поля. Горев ответил, что наверху плодородный слой очень тонок, под ним песок, и поэтому он дает земле отдых. И тогда Гореву сказали, что земля — не лошадь, она устать не может, и нечего зря разбазаривать ценные посевные площади под никому не нужные травы. На госпоставки, как известно, травы не идут, из них хлеба не испечешь. Стране нужен хлеб и даже очень. Горев спорил и доказывал, что земля хотя и верно — не лошадь, но она живая и, как все живое, нуждается в отдыхе. Если дескать каждый год там сеять пшеницу, то она будет вытягивать одни и те же соки, и земля истощится. Травы же берут другие соки, и что травы дают почве силу и крепость. Возражения Горева назвали неграмотными и даже вредными, укорили его, что он не читает газет, и велели травы больше не высевать. Ослушаться Горев не мог, стал делать, как велели, и поле истощилось. В это время шумело движение за расширение посевных площадей, и Гореву приказали распахать все земли, которые до этого числились залежны-

ми и целинными. Земли распахали и сначала урожан пошли хорошие, даже невиданные прежде, но скоро с юга налетели черные ветры, тоже до этого здесь невиданные. Ветры сорвали, как сбрили, со взгорья родящий слой почвы, унесли его за Обь. В те годы пострадало много земель, но возвышенным досталось больше всех. Взгорье стало бесплодным и его, с благословения района, вычеркнули из посевных площадей, списали, словно оно перестало существовать на свете. Но взгорье все-таки существовало. Несколько лет оно стояло голым, курясь под ветром песчаными змейками, а теперь кое-где поросло сероватой пустынной колючей травкой. Туда, на Мертвое поле, и глядел сейчас Постников. Тревожно стало Евдокии от его упорного взгляда.

— А что, товарищи, не рискнуть ли нам? До кучи? — проговорил вдруг Постников отчаянно-легким голосом, и все поняли, о чем он сказал. — Земля, можно сказать, бесхозная, плана на нее нет. Даст центнеров хотя бы по пять, и за то спасибо. Все добавка к общему урожаю. А, как?

Леднев упрямо мотнул кудлатой головой:

— Ни в коем разе. Я же объяснял.

— А мы бы туда перегною подвезли, удобреный, а?

— Удобреный подвезти можно. И перегною тоже. Чтобы гумус поскорее образовался. А пахать — нельзя.

— Зря трусишь, парторг, — с сожалением сказал Постников, глядя не на Леднева, а на Евдокию. Он и говорил для нее, втайне ожидая поддержки. — А то мы бы это поле вспахали и засеяли. И приплюсовали бы к Бабьему. Урожай бы на звено записали.

Евдокия горько усмехнулась:

— Кого мы обманем? Сами себя обманем, больше ничего. Давай-ка, Николая Николаич, забудем этот разговор. Будто его не было. А то и наши внуки не увидят хлеба с этого поля. Порисковали в свое время и будет. Не в карты играем.

— Постников ничего не ответил, постоял еще немного, закусив губу, глядя в сторону, потом зашагал к машине, не дожидаясь парторга. Втиснулся в кабину на переднее сиденье, но дверцу за собой не захлопнул. Понимал: от конца разговора у всех осталось тягостное впечатление и так уезжать нельзя. С трактористками надорасстаться легко, весело, чтобы и работалось им веселее. Надо обязательно пошутить, сгладить нехороший осадок. Тороп-

ливо обдумывал: что бы им такое сказать? И тут взгляд его упал на Степана. Будто нарочно он тут стоял.

Крикнул с задором:

— Наладчика-то не обижаете? Вон ведь вы какие языкастые!

— Он у нас смиренный, обьеженный! — громко отозвалась Валентина и принужденно рассмеялась.

В ее словах и голосе Евдокия уловила тайную издевку. Недобро покосилась на Валентину. Тебе-то какое дело, изва? Просили тебя высказаться. Своего надо было объездить, не сбежал бы... Не будь рядом Леднева, ох и отчитала бы эту Вальку. Отчихвостила бы по всем правилам, не знала бы куда деться. Но перед ним — неловко. Молодой еще такие вещи слушать.

И без того у Евдокии было сумрачное настроение, а сейчас совсем испортилось. Однако она не выдавала себя, только чуть побледнела и убрала руки за спину, чтобы не видели, как они у нее тряслись. Ссутулилась, глядела в землю.

Леднев виновато заглянул ей в глаза, как бы винясь за председателя, за Валентину и за себя. Опустил голову и пошел к машине, где Постников нетерпеливо ерзал на своем сиденье.

Когда машина укатила с поля, Евдокия еще некоторое время молчала, собираясь с мыслями. Знала: трактористки ждали, что скажет им звеньевая, а у нее все в голове перепуталось. Надо бы подбодрить Нишу и Галку, дух поднять, вон какие они кислые. Но как дух поднимешь, если у самой на душе нехорошо? Не передалось бы им ее настроение. Тяжело не тяжело, а надо как-то встряхнуться и встряхнуть остальных.

— Давайте посоветуемся, — заговорила она негромко, как бы прислушиваясь к своему голосу, — сможем, нет осилить вторую смену? — И посмотрела первой на Галку. Девчонка что-то уж очень бледная, вялая. Неловко привалившись к гусенице своего трактора, слушала звеньевую задумчиво. Смutilась под изучающим взглядом. — Галина, ты как, сможешь? — мягко спросила Евдокия.

— Наверно, смогу, тетя Дусь. Раз надо...

— Ниша, а ты? — перевела глаза на подругу.

Колобихина горестно сморщилась и вздохнула:

— Как все, так и я.

Очередь была за Валентиной, но та мечтательно шу-

рилась в солнечную даль, в упор звеньевую не замечала. Вся яркая, призывная, не хочешь, да посмотришь на нее. Светлая прядка волос кокетливо струилась по лбу. Из-под телогрейки высунулся воротничок кофточки. И, главное, губы аккуратно подкрашены.

Евдокия подняла на нее глаза.

— Ну а ты, красавица, что скажешь? — Не утерпела-таки, выдала свою злость. Мстительно нажала на слово «красавица». А Валентина даже не шелохнулась. Стояла как на картинке, любуйтесь ею.

— Что ж, молчанье — знак согласия, — сказала Евдокия с усмешкой. — Будем считать «за». Теперь, бабы, давайте подумаем, как нам смены построить. Предлагаю таким образом... Работаем с шести утра и до обеда. Потом — домой, отдыхать. В пять вечера начинаем снова и — до двенадцати ночи. Устраняет распорядок? Выдюжим?

Колобихина пригорюнилась:

— Дак выдюжить-то выдюжим. Это бы ничего. Володька меня дома сожрет. Живьем, паразит, сожрет.

— Объясни ему, что это — всего неделю, ну полторы.

— Ты будто моего мужика не знаешь. Попробуй, объясни ему. Он из мастерских пришел — корми его, пой. Миску щей себе сам не нальет. Ждет, когда жена нальет. Да опять же за ребятней углядеть надо. Будут порекать целыми днями по улицам.

— Ничего, пускай муж похозяйничает. Невелик барин. И еду поварит, и за ребятами приглядит.

— А корову кто подоит?

— Володька и подоит. А то они это за работу не считают. Покрутится — поймет, какво нам достается.

— Много они понимают...

— Поговори по-хорошему. А нет — пригрози: в правленне, мол, вызовем, там образумим.

— Он потом меня образует, дьявол рукастый.

— А ты и испугалась! — засмеялась Евдокия. — Вроде не из пугливых была. Не трусь, в обиду не дам... Значит, решили, — подвела итог Евдокия и махнула рукой Степану, чтобы подошел поближе. — Степан, все слышал?

Неопределенно пожал плечами.

— Как поедем отдыхать, останься, проверь фары и прочее. Заправка и ремонт — все на тебе. Учти! — Ска-

зала голосом ровным, глуховатым, но со строгостью. — Заранее подвези чего надо.

Степан передернул плечами, заметил в никуда:

— У нас один новый-то трактор. Остальные — старые. Ломаться часто будут. Две смены — нагрузка большая.

— А ты отремонтируй! На то и наладчик при нас! — Это она проговорила с напускной веселой строгостью и подмигнула Нинше. Вот дескать как с ними надо.

Перевела глаза на Галку, на Валентину. Отмякла уже маленько. И вдруг отчаянно взмахнула рукой, будто сбрасывая разом всю тяжесть душевную, оставшуюся еще в ней, и улыбнулась тоже — отчаянно, молодо:

— Не тушуйся, бабы! Перетопчемся как-нибудь! Где наша ни пропадала! Надо же выручать колхоз! Кто ж его еще выручит, как не мы? Поехали, бабы, а то солнышко-то вон уж где!

Влезла в кабину, устроилась поудобнее на жестком сиденье, положила руку на рычаг газа и стала ждать, когда задние машины готовно взревет моторами, сотрясая звонкое небо над Бабьим полем, напрягутся в рывке, и тогда, угадав мгновение, она первая тронет с места свой трактор.

«Ломаться часто будут...» — вертелись в голове единственные за весь день слова Степана. С раздражением подумала, что слишком уж мужики к технике повернуты. Тракторы он пожалел. А то, что на этих тракторах живые бабы сидят, не из железа — из плоти и крови, и тоже могут сломаться — Степану и в голову не стукнуло. Да только ли Степану!

Евдокия вдруг усмехнулась над собой. Разжалобилась. Жалобные мысли сейчас только помешают, расслабят. Чего сердце попусту надрывать? Работать надо.

Позади мощно взревели моторы, рев их слился с треском двигателя ее трактора в единый всеобъемлющий грохот, от него дрожали, казалось, не только небо, но и сама земля, и все на свете. С оживших рычагов по рукам электрическим током вливались в самую душу надсадное дрожание и звенящий гул, от них некуда деться в тесной железной кабине, туго набитой железными голосами. Казалось, само сердце прыгало в грудной клетке, не находило себе места. Но Евдокия опытно знала: так всегда бывает в первые минуты, а потом словно и в ней самой тоже включится что-то железное —

терпение, привычка или прибереженные для такого случая силы, но только она уже не станет так болезненно корчиться от тряски и изматывающего грохота — приспособится. И сердце, успокоившись, найдет свое место.

3

С поля Евдокия уходила обычно со Степаном, и в попутчики никто к ним не пристраивался, даже Нинша. Стеснялись: мало ли о чем хотят поговорить муж с женой. Пусть идут сами по себе, у них свои интересы, семейные, не надо им мешать. А никто и не знал, что всю дорогу, от поля до дома, Евдокия со Степаном молчат. И только со стороны кажется, что идут вместе. На самом же деле — отдельно друг от друга, не затрагивая один другого ни словом, ни взглядом. Их руки даже случайно не коснутся. Он молчит, и она молчит, будто между ними наперед давно все сказано и в запасе ничего не осталось. Даже заранее знали, что скажет один и как ответит другой.

Но сейчас Степан оставался на поле. Ему надо заправить тракторы, проверить освещение. Дело это не минутное, тут за час не управиться, и Евдокия его, наверное, дожидаться не будет. Поэтому Колобихина вопросительно покосилась на подругу, дескать, может, вместе пойдем?

Евдокия поняла ее и отрицательно помотала головой:

— Ты иди, Нинша, иди. Я еще тут побуду.

Сломив у обочины полевой дороги несколько кустиков прошлогодней полыни, сложила веничек, вымела им скопившуюся в кабине пыль. Много ее тут за день-то накопилось. Не cabina — пылесос. Влажной тряпкой протерла рычаги, щиток приборов, сиденье и спинку, лобовое стекло изнутри и снаружи, фары. Все приятнее будет вечером начинать работу. Неторопливо вымыла соляркой руки, долго вытирала их ветошью — тянула время. Потом, когда уже никого близко не было, подошла к мужу и, став сбоку, наблюдала, как отцеплял он конец шланга у заправочной тележки с емкостью, как отворачивал крышку бака стоящего рядом трактора. Подошла Евдокия по привычке. Не могла с легкой душой взять и отправиться домой, минуя мужа. Ведь не совсем еще чужие.



Ждала: не скажет ли ей Степан что-нибудь, не отзовется ли хоть взглядом на ее появление? Но тот слишком уж был занят своим делом. Лица к жене не повернул, будто ее тут вовсе не было. И Евдокия не обиделась, а лишь легонько вздохнула и медленно двинулась прочь. Она свое сделала: подошла к нему, а то, что он не обратил на нее внимания, дело его.

Однако отойдя немного, все же оглянулась: не смотрит ли Степан ей вслед? Нет, не смотрит. Размеренно водит ручку насоса вперед-назад. Видно, не показное это у него отчуждение, не старается своим равнодушием досадить жене. Значит, на самом деле далеко они отошли друг от друга. Так далеко, что дальше и некуда...

Евдокия шла тихо, чувствуя гуденье в расслабленном теле и безвольно опустив тяжелые руки. Похоже, сил у нее оставалось ровно столько, чтобы добраться до дому и лечь, забыться. Но заранее знала: дома в ней найдутся еще какие-то силишки, она сразу не ляжет, а посидит еще с дочерью. Откуда только берутся в ней эти силы, из каких глубин? И много ли их еще осталось? Хватит ли на весь сев? Когда Постников заговорил о двух сменах, у нее и в мыслях не было отказаться. Уклонилась от скорого ответа — надо посоветоваться с женщинами, настроить их, уговорить, в случае чего. Никогда ни от какой работы Евдокия не отнекивалась. Раз надо, кровь из носу, а сделает. Так уж у нее было заведено, так уж она была воспитана. На две смены сил должно хватить. Должно. Она и себя в работе не пожалеет, и другим спуску не даст. Ну за Ниншу Евдокия спокойна. Нинша, как ломовая лошадь, эта вывезет. Валентина, та хоть и изолится вся, а тоже не отстанет. Злость и гордость отстать не позволят. Выдержала бы Галка, что-то бледненькой она ей показалась. Под глазами синева. Накрашено, нет ли, разве их поймешь? Ну да ничего, девка молодая, выдюжит. В ее годы Евдокия похлеще вкалывала, живой огонь — и только... Тут еще уговаривают, упрощают. А раньше не очень-то уговаривали. Надо — и весь сказ. Да и сами понимали, что такое «надо». Сознания побольше имели, чем нынешние. Некогда было губы красить...

Пока Евдокия шла полем, поле удерживало ее заботы на себе. В уме она взвешивала прожитый день и заглядывала в завтрашний, будто на ощупь его пробовала: каким-то он окажется? Но сейчас она прибли-

жалась к деревне, впереди маячил крышей родной дом, притягивал к себе все ее думы, и опять встало в глазах хмурое мужнино лицо. Потускнела Евдокия, холодком в душу повеяло. Начала искать в памяти тот день, с которого все пошло у них со Степаном наперекос. И не нашла. Не вдруг это случилось, а постепенно, незаметно, как трава в поле проклевывается.

Началось это где-то в конце шестидесятих годов. Ей — тридцать с небольшим, в самой женской поре и силе была. Кое-какая известность уже появилась. Как же: передовая трактористка. Ее звено, из старых осталась одна Нинша, полторы-две нормы давало. Сил и уверенности у Евдокии было, хоть отбавляй. А в то время в крае сильно гремел один механизатор — мужик видный собою, с усами, портреты с газетных страниц не сходили. Евдокия через газету же и вызвала его звено на соревнование. Ох и шум поднялся! Замелькали и ее портреты, а чаще — в паре с усатым механизатором. Степан даже ревновал ее к нему. О работе соревнующихся звеньев сводки по местному радио передавались. Как с фронта! И Евдокия победила!

Это было самое счастливое время в ее жизни. На краевом празднике урожая побежденный усатый механизатор поцеловал ей руку. Евдокии аплодировал сам первый секретарь крайкома партии. Поздравления, цветы, хорошие слова... Слезы в глазах стояли от радости: ей, простой женщине, и такая честь... А потом, в Налобихе, вручили Тырышкиной именной трактор. С завода приезжали представители, митинг был. Переполненная счастьем, Евдокия не заметила, как поскучил Степан, словно бы оказался пришибленным столь сильной знаменитостью жены. На другой год Евдокию избрали депутатом краевого Совета. Ее уже часто вызывали в город на сессии, на разные совещания и торжества. Уезжала она, а с дочерью оставался Степан. От природы был Степан молчаливый. Он не корил жену, что все заботы по дому и по хозяйству ложились на него, только стал еще молчаливее. Однажды, когда Евдокия собиралась на слет отличников профтехучилищ, не выдержал-таки, хмуро заметил:

«Ты у нас как космонавт стала».

«В каком смысле?» — не поняла Евдокия.

«Нигде без тебя не обходится».

«Степа, ну раз приглашают...»



Он усмехнулся в сторону, ничего больше не сказал. Евдокии и самой было неловко, что вот она опять уезжает и снова Степану дня три придется одному управляться, но отказаться от приглашения не могла, вошла уже в новую для нее колею. Ей нравилось, с каким вниманием и почтением относились к ней на подобных выступлениях. Она будет сидеть в президиуме, ловя на себе восхищенные взгляды. Услышит перешептывания: «Это та самая Тырышкина». Потом она расскажет о том, как победила в соревновании, призовет молодежь на село и под аплодисменты сядет. Дело не трудное, но приятное.

Реплика мужа задела ее. Иногда она и сама ловила себя на том, что кое-где без нее на самом деле могли бы обойтись, что она стала модной трактористкой и приглашают ее скорее ради солидности мероприятия, чем для дела. Но вместе с ней обычно сидели еще несколько человек, вошедшие в круг знаменитостей: ткачиха с хлопчатобумажного комбината, фрезеровщик с моторного завода, заслуженная учительница, доярка, бригадир леспромхоза, люди занятые, понимающие свою значимость. И, глядя на них, Евдокия думала, что раз они находят время тут присутствовать, значит, это действительно надо, просто она недопонимает и зря сомневается. Спорить с мужем не стала, чувствуя: его не убедить. Молчал и Степан, не вмешивался в общественные дела жены. Лишь когда Евдокии предложили поехать на курсы повышения квалификации и она посоветовалась со Степаном, тот твердо сказал:

«Не поедешь».

«То есть как не поеду?» — опешила Евдокия.

«А так. Не поедешь и все. Пусть пошлют кого-нибудь из холостячек. Скажи: я — женщина семейная. Некогда мне по курсам раскатывать. И так, мол, грамотная».

« Степа, ты как-то нехорошо говоришь...»

«А ты хорошо делаешь? — остро глянул на нее Степан. — Собираешься на целый месяц. На кого Юльку бросаешь? А дом? А хозяйство? Ты хоть об этом подумала?»

«Подумала, Степа. Конечно, тебе трудно будет...»

Степан перебил ее:

«Значит, пока ты там разъезжаешь, я опять крутись? Нет уж, хватит. Мужики надо мной смеются. Теперь ты на меня где сядешь, там и слезешь. Насиделся я дома».

Вот так насиделся, — полоснул себя по горлу ладонью. — Под завязку».

«Ну почему ты такой? Ведь это надо. Не нужны были бы курсы — не создавали бы их. Я же не развлекаться туда еду. Какой ты, оказывается, несознательный у меня. Отстаешь от жизни».

Степан усмехнулся:

«А это еще поглядеть надо. Я отстаю или ты слишком далеко вперед забежала. Сказал: не поедешь и все!»

Евдокия с удивлением разглядывала хмурое мужнино лицо. Появилось в нем какое-то новое выражение, незнакомое ей.

«Гляди, какой командир выискался», — Евдокия уже начала злиться. Как так: с ней и вдруг не соглашались. Отвыкла от такого.

«В поле ты звеньевая. Там командуй, сколько хочешь. А дома я пока что глава семьи. Вот так-то».

В этот день они серьезно поругались, впервые за их совместную жизнь. Евдокия уехала на курсы, а когда вернулась, Степан с ней уже не разговаривал. Полосатую рубашку и плащ, которые Евдокия привезла мужу в подарок, швырнул к порогу. И началась у них молчанка. На людях, по необходимости, еще перекидывались словами, а дома общались через Юльку. Иной раз Степан сидит тут же, в избе, а Евдокия скажет дочери: «Попроси отца, пусть по воду сходит». Или: «Зови отца ужинать». Вот так теперь и жили.

Евдокия вздохнула и опечалилась, глядя на близкие крыши родной Налобихи. К давней размолвке с мужем она притерпелась, но нет-нет да и занает сердце так нестерпимо, что свет не мил. Захочется пожаловаться кому-нибудь умному, мудрому, поплакать и избавиться от душевной тяжести. А кроме Ниини, не с кем поделиться. Да и как она утешит... Невесело усмехнулась своим мыслям и перешла проселочную дорогу, которая отсекала поле от деревни. Разглядывала крайние дома, высвеченные высоким еще солнцем. Стояли они тут совсем новые, недавно поставленные. Бревна стен не успели потускнеть и тепло золотились свежоошкуреной древесной, в росных каплях смолы. Кое-где между ними — незаконченные срубы без крыш, с темными провалами дверей и окон. Быстро разрасталась Налобиха, вот уж от яра до проселка дотянулась. Дорогу ей

перешагивать нельзя, там — поля. Теперь, наверное, будет строиться вдоль Оби.

Налобиха была не очень старая деревня. Появилась она в начале века, когда российские крестьяне двинулись в Сибирь на богатые, пустующие земли. Много переселенцев проехало тут, по высокому берегу Оби. Одни, рассудительные и дальновидные мужики, пробирались дальше, искали места, где и реки спокойнее, и берега более пологие, и ветров больших нет. Другие, поотчаяннее, глянув с высоты в заречные таежные дали, бросали телеги, переправлялись на рыбацких лодках и, навьючив лошадей скарбом, уходили в черневую тайгу, в глухие урманы, обильные промысловым зверем и птицей, где издревле селились староверы. Шли за охотничьим счастьем, веря, что тайга прокормит.

Долго пустовал высокий, обрывистый берег, но однажды остановился тут обоз переселенцев из-за несчастья: у Тырышкиных пала лошадь. Переночевали. Обоз наутро двинулся дальше, а Тырышкины, Горевы и Ледневы остались. Все они были из-под Мурома, семья родственные и не захотели бросать Тырышкиных одних, к тому же без тягла. Решили перелиться как-нибудь вместе. Мужики навозили из колков берез, принялись сооружать шалаши. Землица в поле оказалась куда с добром. Паши ее да сей, без хлеба не останешься. Какой еще доли искать? И стали новоселы прирастать к новому месту. Пилили плахи, мастерили плоскодонные лодки, сплавляли на них из-за реки сосновые бревна, заложили дома. Появилась над Обью крохотная деревенька, даже и не деревенька, а займище. Высоко оно стояло над рекой. Снизу, с воды, глянешь — будто в заоблачье висит. Диковатый, завораживающий вид был с крутояра. Далеко видать. Синим морем растелилась тайга за отливающей сталью полосой реки. Смотришь, и даже озноб пробивает от необычности. Так и кажется, что у самого вырастут крылья за спиной и полетишь над всем этим необъятным простором, где волю и земли, и воды, и тайги. Слишком много здесь было воли, не могли на нее мужики насмотреться и радоваться, души не хватало.

Дорогу по-над Обью переселенцы накатали, и все новые и новые семьи ехали по ней искать счастья в сибирских краях. И по-прежнему рассудительные и осторожные мужики миновали займище стороной, примериваясь

душой к тем местам, которые оставили в родной стороне. К займищу же изредка прибывались люди, уставшие от дальней дороги, изверившиеся в удаче. Незаметно займище переросло в деревню, которую новоселы называли было Надобихой, потому что стоит над Обью, но, оказалось, жители Раздольного, ездившие к реке рыбачить, придумали уже свое название и как припечатали: Налобиха. Везде не иначе как Налобиха да Налобиха. Так и пристало это название, а потом и в бумаги вписали, в волостные. Смирились новоселы с этим именем, тем более, что оно как нельзя лучше подходило. Над Обью селений много, но вот таких, как это, усевшееся на самом лбу, поискать надо. Действительно ведь: на самом лбу, отовсюду его видать.

Жила новая деревня и не тужила. Пахала землю, строилась, раздвигалась во все стороны. И шло это до тех пор, пока из Раздольного не прикатило волостное начальство.

«Вы что-де, братцы, лесом-то вольно пользуетесь? Он не бесхозный, а принадлежит Кабинету Его Величества. На порубку надо билет справлять, деньги платить. А у вас — воровство».

Удивились мужики:

«Царь-то звон как далеко, ажно в самом Питере. На что ему этот лес? Он его и в глаза не видел».

Оштрафовали двоих, и деревня притихла, затаилась. Днем теперь уже никто не плавал за лесом, а все ночью.

К той поре в Налобихе уже сложилось общество из новоселов, и когда надо было что-то решить: принять ли к себе новую семью или, к примеру, подумать, как возить ребятшек в приходскую школу, собирався на берегу самочинный сход. А поскольку первыми новоселами были Горевы, Тырышкины, Ледневы и чуть позже Колобихины, то главы этих семейств и вершили на сходе все дела. Последнее же слово всегда оставляли за Горевым — рассудительным, немногословным мужиком. Люди его отчего-то слушались, признавали за ним право сказать конечное слово, хотя в старшие его никто не выбирал, и вообще в Налобихе никакого выборного старосты пока не было. Однако какой ни есть, а сход был, и был Горев, никем не назначенный, но главный в деревне человек.

Потом уж, попозже, приехали и Брагины — семья крепкая, самостоятельная, обосновавшаяся на новом

месте тоже крепко и надолго. Построились Брагины в конце деревни, на отшибе. Пятерых сыновей, доехавших с женами, Брагин отделил, помог поставить свое жилье, и уже шесть брагинских домов, вместе с отцовским, возвышались на берегу особняком: вроде бы и в деревне, и в то же время отдельно от нее. Похоже, по соседству с Налобихой угнездилась новая деревенька. И никто не мог понять: хорошо это или плохо.

Брагин был хозяин цепкий, корни в новом краю пустил глубоко, и мужики, уважая его хозяйское речение, приглашали на сход в числе первых, прислушивались к его голосу. Так вот, когда волостное начальство укатило к себе в Раздольное, наказав, чтобы налобихинцы выбрали старосту и староста явился бы в волость, Брагин сказал:

«Во, как оно обернулось. Ехали от царя, да к царю и приехали. Выходит, и тут нет воли».

«Дак совсем-то без властей и не бывает, — ответил ему рассудительный Горев, — и не только не бывает, а и нельзя. Власть, она для порядка, чтобы мы меру и совесть знали. Другое дело: какая власть? Вот ежели бы справедливая, которая за мужика, тогда бы еще ничего».

«Про такую я не слыхал», — сказал Брагин.

«Зато я слыхал. Говорят, все к этому идет».

«Может, оно и так... — не сразу согласился Брагин, да и согласился только голосом, а не душой и долго, прищурившись, смотрел в голубую заречную даль, словно высматривал там что-то свое, одному ему видимое, потом продолжил: — Я не против налога. От него, как от смерти, не спрячешься. На краю земли найдет. Да по мне лучше бы так. Я отдаю налог, сколь числится, а больше ты меня не задевай никакими указаниями. В остальном я вольный. Не мешай жить, как душа желает. Я — сам по себе, власти — сами по себе. Один другого не трогают».

Необычного желал Брагин и многие стали гадать: к чему клонит, чего хочет? Как это — совсем без властей? Горев умно сказал, что без властей не бывает, а здесь хотя и Сибирь, край отдаленный, дикий, но ведь Россия же, стало быть, и власть тут российская. Все земли давно поделены между державами, ни одного кусочка беспризорного не осталось, даже не нищи. Бывает, что далеко до больших властей, но маленькие везде

есть, от них никуда не укроешься. Однако и намек Горева про власть, которая «за мужика», тоже озадачил налобихинцев. Какие еще могут быть власти, кроме исконной, царской? Задумались мужики, понимая, что Горев и Брагин еще свое скажут. Одно было ясно: эти два человека в мире не уживутся. И как ни много в Налобихе простора, а им все равно тесно тут будет.

Вот как начиналась Налобиха, особенная эта деревня. Много лет прошло с тех пор. Перемерли старики-новоселы, уже их сыновья и дочери постарели, а прошлое помнили, держались за него памятью.

Евдокия медленно шла широкой улицей, разглядывая стоящие на пути дома пристально, с неожиданным для себя интересом. Каждый день из года в год ходила она этой улицей и даже с завязанными глазами могла сказать, где чей стоит дом и каков он с виду. Но за последнее время то ли сильно уставать стала на поле, то ли окружающее настолько примелькалось, что взгляд ее скользил поверхностно, бегло, не останавливаясь на мелочах, отмечая лишь общие очертания строений, по которым она находила дорогу на работу или домой. Каждый дом на пути представляла себе таким, каким он когда-то запомнился и, проходя мимо, даже не взглядывала на него, видела памятью.

Ее удивило, что отпечатавшиеся в памяти дома не совсем такие, какие есть на самом деле. Оказывается, дома стареют и ветшают, а память остается прежней. Улыбнулась с грустью: незаметно годы текут, ох незаметно... Евдокия разглядывала сейчас родную улицу не просто так, сама того не ведая, она что-то искала в порядке строений. И когда глаза остановились на доме Горева, того самого Горева, который когда-то был в числе первых налобихинцев, но потом умер, и где теперь жил его состарившийся сын, бывший первый председатель Кузьма Иванович, она поняла: нашла то, что искала.

Она глянула в покосившееся окно, но внутри было сумрачно, никакого движения не уловила. Может, отдыхает Кузьма Иванович, а скорее всего пошел куда-нибудь. Тягостно старому человеку сидеть в одиночестве. Навестить бы его, помочь чем-нибудь, да жаль времени нет. Надо поспать, чтобы потом не клевать носом в кабине трактора. И, виновато уведя глаза, Евдокия пошла дальше. Навстречу ей надвигалась приземистая,



крепкая еще изба, стоявшая неподалеку от горевского дома. Жила здесь Игнатъевна, старуха без роду-племени. Сколько помнит ее Евдокия, всегда-то Игнатъевна была старой старухой, словно такой и на свет родилась. Никогда она в колхозе не работала; получает ли пенсию — бог ее знает. Однако над стайкой сено горбится, куры по двору ходят, поленища дров от зимы осталась. Сказывают, гадает она тайком бабам да девкам. Этим, видно, и промышляет. Вот она какая непростая жизнь: по-разному живут люди, а все в тепле, одетые, сытые. Солнышко греет всем одинаково. В свою бытность председателем Горев Игнатъевну не трогал, хотя время было строгое: живи только так и не иначе. А теперь до старухи вообще никому нет дела. В правлении ее гадание всерьез не принимают. На нее не жалуются, держится тихо, смирно и ладно. Лишь бы до района не дошло.

Об Игнатъевне Евдокия подумала мельком, походя, мысли снова воротились к Гореву. Заходить нынче к Кузьме Ивановичу она не собиралась, так для какой нужды искала глазами его дом? Чего ждала от вида старых стен, от крыши, которая хотя еще и высоко над землей, а над ней уже, как напоминание о близком конце, качается степная полынь? Какого отклика в душе дождалась? Этого Евдокия не знала и прислушалась к себе, но ничто в ней не отозвалось. В душе были усталость и грусть, больше ничего. А ведь в последнее время тянуло ее сюда, значит, была какая-то причина, пока самой не ясная.

В сорок втором году Евдокии стукнуло пятнадцать лет, хотя каждый бы ей дал больше. Девка она была рослая, крупная в кости, выглядела гораздо старше своих лет, невеста и только. Ко всему прочему, грамотная, неполная семилетка за плечами, и ее поставили учетчиком. Ездил на коне по полям, вела учет. А потом как-то, на поле же, подошел к ней Горев.

«Слышь, Дуся, как ты смотришь на то, что ежели на трактор тебе сесть? Глянь-ка, кругом одни бабы да пацаны робят. Землю пахать больше некому, а хлебушек растить надо. Без хлебушка бойцу врага не одолеть».

«А что, дядя Кузьма, пойду! — быстро согласилась Дуся. — Батяка на войне, вот я вместо него и сяду!»

«Вместо него, говоришь? Была бы ты парнем, тогда вместо отца, может, и вышло бы, — негромко сказал

Горев. — Отец твой, Никита Александрыч, очень был ладный тракторист. На его тракторе вон Легостаева, а ты при ней будешь на подмене». — Вздохнул и отошел.

Трактористские курсы она закончила скоро. Да и какие тогда были курсы, в тяжелый, отчаянный год. Неделю поехала с Легостанхой, как все называли эту пожилую женщину, рядышком, поглядела, как та управляет, сама посидела на водительском месте, покрутила баранку колесника, а как научилась ровно загонку держать, стала подменять свою наставницу. И ведь пошла у нее работа, еще как пошла-то! На пахоте обгоняла не только мальчишек-одногодков, но и опытных женщин, словно вместе с отцовским трактором получила отцовские силы и умение. Сильная была! Другая женщина едва смену дотянет. Слезет на землю и ее качает из стороны в сторону, на ногах не стоит. А Дуся свое отработает да еще и за Легостанху прихватит — азартная на работу оказалась. А после этого отдохнет чуть-чуть и в деревню идет легко, чувствуя в молодом гибком теле неизрасходованные силы, словно и не тряслась на тракторе, а гуляла на поле. Много в ней зрело сил, не знала, куда девать. Горячая кровь распирала, не давала покоя.

Придет домой, поможет матери прибраться по хозяйству, сходит по воду на Обь да и бежит в клуб, где бабы собирались вечерами посидеть вместе, потосковать по мужьям, братьям, отцам и сыновьям. Рассядутся, бывало, по лавкам вдоль стен, погворят о том, что слышно с фронта, да кто-нибудь и затянет старинную ожидальную, не слыханную в Налобихе прежде песню, робким от своей одинокости голосом, который еще только нащупывает мотив и слова, осторожно пробует их и может оборваться, если его не поддержат. Другие, затанцившись, выждав момент, бережно, чтобы не испортить, не помять, поднимут песню, поведут ее дальше легко и чисто. И разглядятся у женщин ранние морщины, высветлятся лица дальней, задумчивой грустью, так что, глядя на них, непонятно: сами ли они поют или только прислушиваются к себе, легонько подтягивая и удивляясь невесте откуда взявшемуся в них полузабытому напеву. Наверное, очень давно матери передали эту песню дочерям на всякий случай, мудро предвидя, что она пригодится, и дочери долго держали ее в себе, берегли для чего-то, не забыли, и вот, когда песня понадобилась,



она и вышла на волю, беря души отболевшей болью давно ушедших из жизни матерей. Притихнут жмушщиеся у порога девчонки и парнишки, не по-детски опечалятся, впитывая в себя древний напев, который, может, когда-то и у них в лихой час вырвется наружу, удивляя и тревожа будущих, не знающих горя и печали детей.

А Легостанха, крепкая, коренастая баба с хриплым мужицким голосом, с вечной махорочной самокруткой во рту, всегда сощурившаяся от дыма, послушает-послушает тягучие, ноющие, как рана, голоса, часто заморгает набухшими глазами и, не дождавшись конца песни, придушено крикнет:

«Ну че мы как на поминках? Давайте-ка, бабы, лучше спляшем да споем веселое! Пускай беда поглядит, какие мы боевые. Напугаем ее, чтоб к Налобихе на дух не подходила! Ну, кто начнет первый? Нету первых? Эх, милые, вить-то мы все горазды. А когда воем, с нами беде легче сладить!» — И, никого не дожидаясь, бросит окурок к печке, затопчет салогом, отчаянно тряхнет крупной головой, как бы разом стряхивая с себя печаль и усталость, тяжело пройдет по скрипучим половицам, раскинув в стороны корявые, с бугристо проступившими венами, измочаленные работой руки. Хрипло, призывно пропоет для зачина любимую частушку:

Все война, война, война,  
все одна, одна, одна.  
Сама лошадь, сяма бык,  
сама баба и мужик!

«Ну, будем плясать, нет? Эх, гармониста бы! Барыню бы! Поехали, бабы! Поехали, родные! Мы уж без музыки!»

Следом за Легостанхой выскочит в круг и Дуся, поплывет перед женщинами лебедем, легко, невесомо, едва касаясь ногами пола, будто по воздуху полетит. Руку с цветастым платочком держит на отлете, другой подбоченится, гибкую спину горделиво выгнет, улыбается всем счастливо — залюбуешься ею. И не только залюбуешься, а и невольни сравнишь их. Одна — тяжелая, нагруженная свалившимися на нее тяготами и бедами, с лихорадочно посверкивающими, утомленными работой и недосыпанием глазами, придавленная к земле мужицкой и бабьей работой, правда что — сама баба и мужик; горькая частушка словно о самой спета. А дру-

гая перед нею — легкая, парящая, не тронутая еще жизнью, устремленная вдаль, вся в ожидании радостей, только радостей и ничего иного, будто, если и есть, на земле тяготы и беды — они не для нее. У нее же впереди — только светлое.

«Ой, девка! В кого она такая? — качали головами женщины. — Прямо живой огонь. Так и горит».

А Дусе хорошо, отрадно под размягченными взглядами и пожилых женщин, и мальчишек-подростков, косящихся на нее тайно и жадно, как на недоступное, понимающим, что она, их ровесница, не ровня им. Она и на самом деле им не ровня, она была старше их. Не годами старше, а чем-то другим, не ясным ни им, ни ей самой. Всем телом ощущала Дуся это свое превосходство над ровесниками, поэтому не обращала на них внимания. Она тянулась к старшим своим подругам-женщинам, которых любила и жалела. Ей просветленно думалось, глядя на старших подруг, что неминуемо наши побьют немца, ее отец вместе с другими мужчинами воротится домой, и родная Налобиха заживет прежними мирными заботами. Да иначе и быть не может, если женщины день и ночь работают за себя и за воюющих на фронте мужчин, если они цепенеют от ожидания и страха, когда приезжает почтальон из Раздольного, если на постаревших женских лицах не кажется улыбка, а лежит постоянная тревога. Ведь есть же на свете какая-то высшая справедливость, та коренная неизбывная правда, которой живет все живое и на чей праведный суд это живое надеется. С детства жила в ней эта вера в лучшее, в то, что как бы там ни было, а правда всегда справдится.

Она верила, и правда справдилась, хотя не скоро. Кончилась война, вернулись мужчины в Налобиху, да не все. Иные воротились калеками, отец же Дуси вовсе остался в чужой земле. Остался и не поглядеть ему теперь, какой стала его дочь, не взять у нее свой трактор. Справдилась правда, но слишком долго она добиралась до Налобихи, и слишком дорого она стоила.

Сорок второй год... Как давно это было. И вот сейчас, проходя мимо дома Горева, вспомнила прошлое. Да, теперь она уже не такая, какой была тогда, в далекое время. И уже не Дуся она, а Евдокия Никитична. Иные, помоложе, так те кличут ее просто Никитичной, словно старуху. А может, старуха она уже и есть? За дальними,

невозвратными далями осталась прежняя легкая, верящая только в радости Дуся. Теперь вместо нее шла деревенской улицей пожилая, с раздавшимся усталым лицом, отрадовавшаяся выпавшими ей скудными женскими радостями, с опущенными, гудящими от работы руками женщина. Шла тяжело, по-мужицки вразвалку, чувствуя, как грузно ее тело, плотно ступая на землю стоптанными кирзовыми сапогами, и походкой, и всем своим видом похожая на Легостанху. Но Легостанхи уже давно нет на свете, она свое отработала, отстрадала и ушла. А ведь ушла не бесследно, заслужила она, видно, перед высшей Правдой, чтобы облик ее не выветрился из людской памяти, не пропал из людских глаз, вот природа и оставила тут похожего на нее человека — Евдокию. Лицо, верно, у Тырышкиной немного другое, черты не схожие, а выражением лица и оплывшей фигурой в серой пыльной телогрейке, в серых же шталах и сапогах — вылитая Легостанха. Вот как: даже не дочь, не сестра, не родственница Евдокия Легостанхе, а похожа на нее и все тут! Сама того не ведая и не желая, повторила ее Евдокия. И теперь, поймав себя на этой мысли, невесело подумала, что ведь и ее кто-то повторит. Кто же именно-то? Валентина, Галка? Или дочь Юлия?

Дальним зрением заглянула Евдокия вперед, в непрожитые еще годы, когда, может быть, ее уж и на свете не будет, и явственно увидела тяжело идущую с поля другую женщину, похожую на нее, Евдокию, только лицо у нее было Юлькино. Увидела обабившуюся, оплывшую от годов свою дочь и все в ней запротивилось этому. Даже головой замотала, прогоняя видение. Нет, не такой она хотела видеть Юльку, совсем не такой. Разве мало она, мать, переделала на земле тяжелой мужицкой работы, мало перемучилась? Неужели что-то недоделала на этой земле, что теперь дочери придется подхватить материну ляжку и тянуть ее дальше? Так нет, никто Евдокию за прошлое не осудит. Того, что она вынесла на своих плечах, и на дочь с лихвой хватит. Хватит да еще и останется для кого-нибудь другого. В общем, она, мать, заработала, чтобы у ее дочери жизнь была светлая и легкая, какую самой прожить не довелось. А ей, матери, за все небольшая нужна награда: чтобы Юлька выросла хорошим человеком, выдать ее замуж за хорошего человека да нянчить виучат. Не-

много Евдокии надо, не больше того, чего хочется любому пожилому человеку... Евдокия вдруг усмехнулась над собой. «Размякла, рохля. Легкая и светлая жизнь. Где ее такую для Юльки искать-то? Да и скучно поди жить легко-то. То, что легко дается, легко и забывается. У нее вон трудно шло, так и вспомнить есть о чем. Эх, Дуся, Дуся, стареешь, видно, душой слабеешь.

Вздохнула и вошла в дом.

В комнатах прибрано, чисто. От свежевымытого пола струилась прохлада, из кухни пахло борщом. Молодец, Юлька, — потеплело на сердце — все-то успела сделать: и уроки, и ужин сготовить. Понимает: родителям трудно, надо помогать.

Юлия поглядела за спину матери на закрытую дверь.

— А где отец? — спросила тихо, и глаза ее как-то сразу потемнели. В ее голосе угадывались одновременно и удивление, и тревога, и осуждение: дескать ты пришла, а отец — нет. Оно едва различалось, это дочернее осуждение, а Евдокия сразу уловила его.

— Он в поле, — тихо ответила, понимая, что оправдывается перед Юлией, и добавила: — Тракторы заправляет. Мы ведь по две смены нынче работать будем. Я вот отдохну маленько да опять пойду.

— Куда ты пойдешь? Ты вон еле пришла, — мягко сказала Юлия, смутившись за свой тон, извиняясь перед матерью и улыбкой и голосом. Поставила на стол тарелку с борщом.

— Что поделаешь... Надо, доча. Погода не ждет. Ты ведь крестьянка, понимать должна.

Юлия присела к столу, подперла голову ладонями, смотрела, как мать ест. Улыбнулась:

— Какая я крестьянка...

— А кто ж ты? — Евдокия даже ложку отложила.

— Ну как кто... В школе учусь.

— Что ж из того, что учишься. Отец твой крестьянин, мать крестьянка. Сама в деревенской школе учишься. Значит, и сама ты из крестьян будешь.

— Из крестьян — это другое дело.

— Ты вроде как стыдишься этого? — с укором спросила Евдокия.

— С чего ты взяла?

— Вижу... А зря. Мы страну кормим хлебом. Крестьянин у нас...

Юлия ее мягко перебила:

— Мама, я знаю, что такое крестьянин. Не надо. Пожалуйста, — просительно улыбалась. — У нас сегодня в школе Леднев был. С девятиклассниками беседовал, которые на сев идут. Я ему говорю: Андрей Васильевич, а меня возьмете на саялку? Он глянул на меня: вас? И покраснел, покраснел. Смех и только.

— Юлька, как тебе не стыдно!

— А он всегда краснеет.

— Глупо это. Давай-ка поговорим о серьезном.

Юлия склонила набок голову.

— О чем?

— Ты ведь выпускница. Пора бы уже определиться: что дальше?

— Мам, а тебе когда идти в поле?

Евдокия недоуменно подняла на нее глаза.

— К пяти надо.

— А ты еще даже не отдохнула. Давай вот так сделаем. Ты сейчас ляжешь, а я пойду погуляю. Чтобы не мешать тебе. А про династию механизаторов Тырышкиных поговорим в другой раз. Хорошо? Ну вот, ты же у меня умница! — Юлька потянулась через стол, чмокнула мать в щеку, и та не успела опомниться, как дочь уже шуточно махала ладошкой из дверей. Дробь каблучков по ступеням крыльца — и все стихло.

Задумалась о дочери. На удивление красивая была у нее Юлька. Об этом Евдокия и женщины говорили, и сама она видела и поражалась. Очень уж неожиданна оказалась для нее дочеринна привлекательность: в кого ей такой быть? Сама Евдокия смолоду выглядела пригожей, но красавицей не назовешь: девка свежая, сильная, с проворными руками. Серые глаза ее за много лет выцвели, а раньше они столько таили в себе огня и жизненной силы, что мужики, глядя на нее, понимающе переглядывались. В общем, не красотой она привлекала, а юностью, бойкостью, умелостью в любом деле и веселая была, такая хозяйка в любом доме нужна. Степан — тоже не из красавцев писаных. Мужик как мужик, пройдешь мимо и не оглянешься. Обыкновенный. Характером он Евдокии поглянулся: молчаливый, работающий. И — совестливый. Не выпивал почти совсем, а это уже само по себе большое достоинство. И вот при таких-то обыкновенных родителях — дочь красавица. Сами, Евдокия и Степан, всю жизнь при тракторах. Руки заскорузлы от вьезшейся солярки, грубы от металла, в движениях

угловаты и неловки, широки в кости. А поглядят на дочь и диву даются: столько плавности в каждом ее движении, во взгляде. Черты лица тонкие, благородные, и вся она какая-то не по-деревенски хрупкая и нежная, даже удивление брало: да их ли это дочь? От их ли плоти? Отец с матерью трактористы, а Юлька на балеринку похожа. Из каких глубин пришла красота такая к их дочери? Или, может, то, что не досталось ни отцу, ни матери, вобрала в себя их дочь? Вот тебе и крестьянка...

Поужинав, Евдокия прилегла на диване, и лишь теперь поняла, как устала. Пока шла домой, пока ужинала — держалась. Усталость дождалась ее за спиной, подгадывала свое время и теперь, когда Евдокия ослабилась, навалилась на нее сразу, туго спеленав все тело. Гудели руки и ноги, тяжелые веки смеживались сами собой, но она не засыпала, глядела на край свесившегося со стола Юлькиного рукоделия. Коврик это будет, что ли? Похоже, коврик на стенку. Сбоку видны вышитые шелковистыми нитками диковинные кони о шести ногах, мчащиеся по полю и едва касающиеся копытами высоких трав.

Евдокия и раньше удивлялась этим коням, все хотела спросить дочь: почему они с шестью ногами-то? Где таких видала, в каком табуна? Но забывала спросить. Теперь легонько усмехалась про себя. Сколько помнила, Юлия всегда что-нибудь вышивала. Прибежит из школы, сделает уроки, приберется по дому — и скорее за вышивание. Самый лучший для нее подарок — цветные нитки. Когда Евдокия бывала в городе, то обегала все галантерейные магазины, искала для дочери разноцветные нитки, а та прямо-таки не в себе бывала от радости. К щеке их прижимала, целовала — дороже для нее ничего нет. Вот еще одна матери загадка: откуда эта страсть к рукоделию взялась у Юлии? От кого передалось? В роду Тырышкиных никто вышиванием не баловался, и у Евдокии такого пристрастия не замечалось. Иголку, как всякая женщина, брала в руки — починить какую-то вещь для Степана, для Юлии, для себя. А вышивать — нет, не возникало подобного желания. После трактора вышивать не поманит, да и пальцы у нее давно уж нечувствительны к таким мелким предметам, как иголка. Совсем деревянные стали, не гнутся. Это Юлии в самый раз. Пальчики тонки и проворны. И характером дочь для этого подходяща: терпения надолго хва-



тает. Иной раз за полночь засидится на кухне с рукоделием. Насилу в постель уложишь. Но вышивание вышиванием, а что дальше? Куда пойдет после школы? Опять толком поговорить не удалось. «В другой раз», — вспомнила Юлькины слова. А когда он будет, другой-то раз?

Сон наваливался, и Евдокия, пересилив себя, поднялась, завела будильник на четверть пятого.

4

Тракторы были заправлены, осмотрены, но двигатели их молчали до поры, и тихо было в поле. Евдокия не спешила подавать сигнал к запуску. Чувствовала: надо что-то сказать женщинам веселое перед началом работы, ободрить их своей собранностью. А то вон Колобихина позевывает, лицо мятое, сонное. Не выспалась, это и без расспросов ясно. По рукам заметно — стирала. Валентина по обыкновению бесстрашна, глядит мимо звеньевой. Ее Евдокия ни о чем не спросит да та и не ответит. А если ответит — колкостью. Лучше не задевать. Галка прячет глаза, нахохлилась.

— Как настроенные? — спросила ее Евдокия.

— Ничего, тетя Дусь.

Евдокия заглянула в кабину Галкиного трактора, помяла рукой жесткое, засаленное сиденье и поморщилась. Тракторишка старенький, пружины в сиденье давно смялись, не амортизируют. Потрясись-ка смену... Надо сказать Постникову, чтобы сделали подстилки из поролона, все мягче будет. А то, как на доске.

Пошла дальше. Наткнулась на насмешливый взгляд Валентины, обошла Валентину стороной, как неживой предмет, а возле Колобихиной остановилась.

— Ну как твой Володька?

Та отрешенно махнула рукой:

— Ой, не говори! Сулился домой не пустить. Придешь, мол, поздно, отпирать не стану. Хоть под заплотом ночуй.

— По-доброму, значит, не договорились?

— С моим-то идиолом? — усмехнулась Колобихина. — С ним без бутылки сам черт не договорится.

— Ничего, Нинша, не бери в голову, — опустила тяжелую руку на плечо подруги. — Это он тебя пугает.

Степан стоял в сторонке, возле своего трактора, задумчиво курил. «Надо бы отпустить его отдохнуть», — подумала Евдокия и уже шагнула было к мужу, но ее остановил крик Галки:

— Теть Дуся! Смотрите, к нам кто-то едет!

Евдокия обернулась и увидела вдалеке высветленную закатным солнцем светлую крышу легковой машины, которая пылила по дороге сюда, к Бабьему полю. Позади машины, отстав немного от ее пыльного хвоста, мчался мотоцикл.

— Эт-то что за делегация? — с недоумением проговорила Евдокия, приглядываясь к подъезжающей машине, и сразу же поняла, что никакая это не делегация, а пожаловали Брагины на своих «Жигулях». На мотоцикле же ехал тракторист из брагинского звена Колька Цыганков, мужичонка беспутный, выпивоха. Нигде Колька подолгу не задерживался, отовсюду его выгоняли, а у Брагиных прижился. Интересно, надолго ли?

Из машины неторопливо, с достоинством вышел сам звеньевой Алексей Петрович Брагин, высокий, полный мужчина. Черты лица у него крупны, резки, однако приятны. Аккуратно зачесанные назад волосы черны, густы и лишь на висках слегка седоваты.

Подбоченясь и покачиваясь с носка на пятку, Алексей Петрович оглядывал и тракторы, и стоящих подле них женщин, и само Бабье поле со снисходительной улыбкой. Умел он себя подать, умел. Не знали бы его здесь, так подумали бы — районное начальство прикатило, не меньше.

Следом за отцом из машины, с водительской стороны, вышел сын Брагина — Сашка. Парень высокий, в родителе, и хотя еще по-юношески гибок, но чувствуется, наберет солидности в свое время, такой же будет крупный, породистый. Глаза у Сашки черным-черны. Посмотришь в них — и свое отражение увидишь. И еще заметишь в них какую-то дичинку, беспокойные золотые сполохи. Сашка в прошлом году вернулся из армии и работал хорошо. Его портрет красовался на колхозной доске Почета.

На заднем сиденье машины виден был еще и Егор, родной брат Алексея Петровича, широкий, медвежастый мужик, немверно сильный, но как ребенок простодушный и молчаливый. Старшего брата он слушался и во всем повиновался.



Евдокию удивил не столько сам приезд Брагиных, как то, что одеты они были в выходные костюмы. И при галстуках. А на ногах не сапоги — дорогие полуботинки. Не скажешь, что с поля едут.

— Здоровы были, соседи! — зычно поздоровался Алексей Петрович, с веселым прищуром оглядывая женщин. — Не разберу: то ли кончаете, то ли еще собираетесь пахать, а?

— А у вас вроде какой праздник? — громко поинтересовалась Евдокия, придирчиво разглядывая гостей и не зная, чего ждать от их неожиданного визита. Одно она понимала: Брагины просто так ничего не делают.

— С чего ты взяла, что праздник?

— Вырядились, как на свадьбу.

— Кто вырядился? Мы? — Брагин с недоумением посмотрел на Сашку, на ухмыляющегося Кольку Цыганкова, заглянул в кабину — на Егора. — Ты чего-то путаешь, Евдокия Никитична. И праздника никакого нету, и никуда мы не нарядились. Мы домой едем. Двенадцать часов отбухали, с пяти до пяти. И решили посмотреть, как вы тут. Намного ли нас обогнали? Все-таки соревнуемся.

— Пахали-то при галстучках? — съязвила Евдокия.

Брагин изобразил на лице удивление, потом расклатисто расхохотался и сказал:

— Вам не верится, что мы с поля, потому что не чумазые, да? Так ведь у нас в звене, Никитична, культура производства. Мы как кончаем работу — сразу к озерку. Вывоемся, переоденемся в чистое и тогда уж — домой. С хорошим настроением. Культура у нас на высоте. Скажи, Николай Ильич? — обернулся он к Цыганкову.

— Только так! — с готовностью подтвердил тот, и лишь теперь Евдокия заметила, что и Колька не в телогрейке, а в стареньком, но пиджачке и тоже при галстучке. Галстук цветастый и новый — пиджачку Колькиному не родня. Наверное, Брагины ему дали, для форсу. И хотя галстук на тонкой Колькиной шее видеть было удивительно и, чувствовалось, мешал он с непривычки, а вот поди ж ты: при галстучке и все. Вроде бы даже это и не Колька с вечно нечесаными волосами и мятым, землистым от перепоя лицом, а совсем другой человек — причесанный и побритый. Даже не верилось в такое превращение. Недаром и Брагин его навеличивал: Николай Ильич. Что же он затеял-то? Какой спектакль?

— Ну и как вы поработали? — спросила Евдокия.

— Обыкновенно. Две нормы, — скромно ответил Брагин.

— Только так! — гордо ухмыльнулся Цыганков, которого всю жизнь ругали да гнали с одной работы на другую, а сейчас он чувствовал себя героем, петухом крутился перед женщинами, заглядывал в глаза звеньевому, ловил каждое его слово, каждый жест.

— Всего-то? — усмехнулась Евдокия, оглядываясь на Колобихину, на Галку. — Мы-то думали, вы не меньше, как весь клин закончили. Такие радостные едете. А вы — всего две нормы. Плохо, мужики, плохо. Полторы-то мы до обеда сделали. Сегодня у нас две с половиной будет. — Она маленько прибавила и незаметно подмигнула Нинше, чтобы та не выдавала. — Ишь, удивили чем! Две нормы! А, бабы?

— Ага! Нашли чем хвастать! — выскочила вперед Колобихина. — Галстучками удивили! Женихи!

— А чем не женихи? — улыбнулся Брагин и сделал широкий жест рукой в сторону Цыганкова. — Вот, к примеру, Николай Ильич. Поглядите на него. Холостой мужчина. Хороший тракторист. Зарабатывает — дай бог каждому. Не пьет, — Брагин голосом подчеркнул последние слова и повернулся к Валентине, глядя на нее в упор. — Чем не муж, а, Валентина? Может, подумаешь?

С тонкой усмешкой на накрашенных губах смотрела Валентина на Цыганкова, как глядят на забавную, но ненужную игрушку, и легкое презрение различалось в ее задумчивых глазах.

— Это Колька-то не пьет? — приснула Колобихина. — Ой, бабы, держите меня! Да он не просыхает!

Брагин посмотрел на Колобихину и укоризненно покачал тяжелой, породистой головой.

— Чего ты мелешь? Раньше за ним бывало. Да. — Поднял указательный палец и покачал им в воздухе. — Было до нашего звена. Когда он у нас еще не работал. А теперь вы его выпивши не увидите. Конечно, там в праздник или в выходной, если и примет стопку — так это не грех. Какой праздник, если он сухой? А чтобы на людях кто увидел его выпивши сверх меры — это извините. Так я говорю, Николай Ильич?

— Четко! — Цыганков рубанул ладонью. — Все верно!

— Видели? У нас в звене порядки строгие. — И снова повернулся к Валентине. — Не прогадай, девка. Потом жалеть будешь.

— Да вы вроде сватать приехали? — удивилась Евдокия. — Вон, оказывается, в чем дело.

— А почему бы не посватать? — улыбался Брагин. — Чем мы не сваты? Отчего бы нашим звеньям не породниться? Как говорится, наш жених, ваша невеста. Как ты на это, Евдокия Никитична?

Евдокия пожала плечами.

— Тут моей власти нет, Алексей Петрович. Приказать я ей не могу. Как сама скажет.

— От силы до получки продержится ваш жених! — крикнула Нинша.

Брагин сразу же и обернулся к ней, словно ждал этих слов.

— Значит, так. Кто из вас увидит его выпивши — скажите мне. И я уйду из звеньевых. Сразу!

— Не боишься ризковать-то? — спросила Евдокия.

— Я без работы не останусь. В крайнем случае к вам трактористом попрошусь. Примете, нет?

— На кой ты нам нужен! — отмахнулась Колобихина.

— Неужто не возьмете, а, Никитична? — смеялся Брагин.

— А зачем? Наладчик у нас есть, а больше не надо. Звено у нас женское. Без вашего брата обойдемся.

— Смотри, Николай Ильич, что делается! — с показной обидой Брагин покачал головой. — Какие нынче женщины. самостоятельные стали. Мужчины им не нужны. Может, они скоро совсем без нас обходиться будут? К этому все и идет? Вот жизнь наступит! Бабы по работе будут сами управляться, а нас заставят детишек рожать!

— Придет время и заставим, — со смешком поддакнула Евдокия.

— Ну, у тебя-то, Никитична, не заржавеет. Ты-то скорее всех заставишь. Поди и дома сверху?

— А ты приди, посмотри!

Степан, молча стоявший поодаль, выплюнул окурочек и отошел еще дальше.

— Да-а, — крикнул Брагин, — языкастые. Тут мы с вами соревноваться не сможем. Забьете.

— Да мы и на поле забьем! — крикнула Колобихина. — Хоть в галстуках и туфельках пашите!

— Не рано ли хвастаете?

— Не рано! Осенью увидите!

— А что если мы победим? Отдадите тогда за Николая Ильича свою Валентину? Как, Валентина, пойдешь?

Валентина лениво улыбнулась:

— В другой раз.

— Что так? Или жених не глянется? Или уж совсем без нас решили обходиться?

— Да уж как-нибудь перебыюсь.

— Видишь, Алексей Петрович, не желает она его, — Евдокия с улыбкой развела руками. — Не получается сватовства.

— Да я сам ее не возьму! — дурашливо крикнул Цыганков. — Сам в чистом, а жена в мазуте! Я уж пощу кого из конторских. Там есть молодые, чистенькие!

— Ну вот и иди к чистеньким! — накинулась на него Колобихина. — Чего к грязным-то привязался?

— Кто привязался? Я, что ли? Шибко нужны! — Цыганков отступил на шаг и презрительно сплюнул.

— Не обессудь, Алексей Петрович, — с показным сочувствием сказала Евдокия, — насильно мил не будешь.

Брагин тоже с нарочитой тяжестью вздохнул:

— Да-а, тут мы промахнулись... Что ж, плакать не будем. Переживем как-нибудь. А все же породниться с вашим звеном надежды не теряем. Мы ведь настырные, Никитична. Подождем маленько, да с другого бока заход сделаем.

— Это с какого такого другого? — насторожилась Евдокия, заметив хитрый прищур Брагина.

— Найдем с какого. С тылу ударим... Да ты не пугайся, Никитична. Худого ничего не будет. Не хотите Николая Ильича, другого жениха представим. Чем плох мой сын? — Брагин ладонью показал на Сашку. — Гляди, какой боец! В армии танкистом был. Тракторист классный. Кто о нем плохое слово скажет?

— Отец... — Сашка недовольно поморщился.

— А ты молчи, — строго глянул на него Брагин. Кивнул Евдокии на сына. — Что скажешь?

— Что я скажу... Хороший парень, слов нет. Да только для Валентины-то, однако, молод будет.

— Валентину мы пока оставим в покое, — прогово-

рил Брагин. — Для другого раза, как она сказала.

Евдокия повернулась к Галке:

— Уж не тебя ли сватают?

— Да нет... — Брагин хитро усмехался глазами. — Мы к тебе, Евдокия Никитична, клинья подбиваем. У тебя дочь, у меня — сын. Глядишь, и породнимся, а? Сашка вспыхнул, гневно глянул на отца, рванулся было уйти, но отец крепко взял его за локоть.

Колобихина, Галка да и Валентина притихли, глядели на звеньевую. Если это шутки, то Брагины далеко зашли. Евдокия помолчала, приходя в себя от неожиданности. Заговорила тихо, придушенно:

— Вот что, Алексей Петрович... Я пошутить тоже люблю. Но меру знай. Мою дочь ты не трогай. Она к тебе никакого касательства не имеет. Понял?

— А я и не шучу. Шутки позади остались. Осенью сватов придем. По-настоящему, честь честью.

— От ворот поворот дадим.

— Не торопись, Никитична, не торопись, — тихо произнес Брагин. — Твоя Юлия моему сыну очень даже нравится, да и мне она по душе. Может, не совсем ловко я разговор завел — может быть... На меня ты всегда как-то боком глядишь. За что я тебя прогневал — не знаю. Но не о себе нам надо думать, о детях. Чтоб им лучше жилось. Из этого надо исходить. Сашка у меня серьезный, держу строго...

— Давай-ка, Алексей Петрович, кончим этот разговор, — перебила Евдокия. — Вы отработались, а нам еще пахать да пахать. Так что, извини! — и, круто повернувшись, пошла к своему трактору.

— Мы к этому еще вернемся! — крикнул вслед Брагин.

Евдокия не ответила, наматывала на маховик пускача сыромятный ремешок, но руки не слушались ее, пальцы срывались.

Брагины постояли, полезли в машину, и вскоре «Жигули» в сопровождении мотоцикла уже пылили в сторону Налобихи.

Евдокия запустила трактор, в раздумье постояла у капота и пошла к Степану.

— Слышал, что Брагин-то сказал?

— Слышал...

— Не нравится мне все это. С ухмылочками да с усмешечками. И главное, уверенный какой. Прет, как

бульдозер. С чего бы это? Ты тоже хорош. Стоишь, уши развесил. Отбрил бы его как следует за дочь. А то прячешься за бабьей спиной. Мужик называется...

Степан ничего не ответил, только поморщился.

— Ладно, поглядим, что дальше будет... Пойди подремли где-нибудь в колешке. Понадобишься — разбудим, — и зашагала прочь.

Ведя трактор по загонке, Евдокия все думала о Брагиных, о их неожиданном приезде и еще более неожиданном разговоре. Ну что касается сватовства Валентины, то это они попросту «кино гнали». Неужели Валька такая простушка, чтобы пойти за Кольку Цыганкова? Разве он ей пара, такой замухрышка? Нет мужика и этот не находка. Судя по всему, для разгона начинали веселый разговор, чтобы потом удобнее перейти к главному. Он не промах, Брагин-то. Вон куда замахнулся, на ее Юлию! Губа у его Сашки не дура! Глазами посверкивал, так и обжигал ими. Неужели у Сашки с Юлией что-то есть? Неужто встречаются? Ведь Брагин ни с того ни с сего не начал бы разговор. Если бы хоть малую надежду не имел. Значит, какая-то надежда у них есть. Намекнули матери, а она теперь думай, докапывайся до истины. И принесла же нелегкая этих гостей на поле. Все настроение испортили. Вечно-то Брагины мутили Налобиху. Никогда не знаешь, чего от них ждать, какого колена. Вот и терзайся...

К Брагиным у Евдокии была стойкая неприязнь от рассказов отца. Еще в то далекое время, когда старик Брагин сказал на деревенском сходе, что дескать я — сам по себе, а власти — сами по себе, мужики задумались над его словами. Догадывались, что Брагин еще и не то скажет. И сказал. Со своими сыновьями он опал двенадцать десятин земли. Три десятины засеяли пшеницей, а остальную землю оставили про запас. Далеко вперед смотрел старик Брагин. Знал: года через три поле истощится, его бросят, оставят залежью и займут новое. Благо, уголья наперед застолблены. И пока Тырышкины с помощью родни справили новую лошадь, земель свободных в округе уже не осталось. Хоть плачь, а пашни свои обесплодившиеся две десятины. Брагин Тырышкину и сказал: «А не зевай, Фомка, на то и ярмарка». Началась война с Японией, многих мужиков из Налобихи послали на фронт, а Брагиных эта беда не коснулась. Ни одного сына не взяли. Поговари-

вали в деревне: откупились. Им было чем откупиться: крепко жили. В четырнадцатом, на германскую, одного, правда, забрили, но он через год тайно появился в Налобихе и прятался в колках, когда наезжало начальство. Так и перебивался до семнадцатого года. В конце октября Горев привез из города большевистскую газету «Голос труда» и зачитал на сходе подробную телеграмму о победе революции.

«Советская власть, — рассказывал Горев, — пока есть в городе, но скоро будет и у нас. Я заходил в Совет, и товарищи мне объяснили, что старым властям подчиняться больше не надо. Скоро к нам приедут уполномоченные. Они проведут митинг и помогут выбрать сельский Совет, который и будет править Налобихой».

«А надолго эта власть-то новая?» — спросил Брагин.

«Навсегда», — ответил ему Горев.

«Не знаю, не знаю. Подождать бы нам с уполномоченными-то. Как бы потом не пожалеть. Я вот что думаю. Живут староверы в урманах безо всяких властей и горя не знают. Есть у нас сход — вот и вся власть».

Сход зашумел, загалдел. Брагин переждал шум.

«В общем, предлагаю никого сюда не пускать. Никаких уполномоченных. Сами, мол, разберемся!»

«Значит, своим сходом жить?» — вопрошали из толпы.

«Своим. Мы сами себе — держава!»

Горев укоризненно заговорил:

«Да что же мы от России отделяться-то будем? Немцы мы какие али кто, чтоб отделяться? Мы ведь русские люди и должны жить одной державой, зачем нам свою заводить? Неверно Брагин говорит, я с ним не согласный! Это он за свою землю боится. Советская власть передел сделает по справедливости!»

«Никого я не боюсь! — кричал Брагин. — Только по мне лучше без чужих властей! Мало мы от них хорошего видели! Предлагаю караульных поставить и никого в Налобиху не пускать! Границу опахаты! Столбы полосатые вкопать. И караульных обязательно!»

«Да он контра, этот Брагин!»

«Не контра, а усердный хозяин!»

Еще бы немного и кипулись бы горевские и брагинские сыновья жерди выламывать из прясел, да Горев воззвал к разуму:

«Давайте мирно решать. Как скажете, так и сделаем!»

Однако сход ни к чему определенному не пришел. Осторожные мужики слушали и тех и других, но ни на какую сторону не склонялись — решили выждать.

А утром палобихинцы увидели, что деревню опоясывает черная вспаханная полоса, отчеркивающая деревню от поля, от скрытого березовыми колками Раздольного, от всего на свете. И два свежеструганных столба стояли с намазанными дегтем косыми полосами. Граница и только! Часовых не хватало.

Озадаченно глядели мужики на вспаханную полосу и на столбы, догадывались, чьих рук это дело, и скребли в затылках: так и до беды недалеко. Караул они отказались выставлять, не осмелились на это и сами Брагины. И, как видно, правильно сделали. Вскоре приехали из города военные люди выбирать сельский Совет. Председателем выдвинули Горева, а членами Совета — Леднева, Тырышкина, Колобихина и Аржанова.

Брагины, хотя и присутствовали на сходе, промолчали. Ненадолго затихли. Когда в Налобихе стали создавать коммуну, Брагин открыто не высказался против нее, он только против Горева высказался и то неопределенно. Дескать хлебнет коммуна горя с таким председателем. У него-де и фамилия от горя идет — Горев. Надежная фамилия. Сказал в шутку, всерьез ли — не разберешь.

Приезжий уполномоченный посмеялся над словами Брагина, упрекнул его в отсталости и суеверии. И красноармейцы, сопровождавшие уполномоченного, тоже посмеялись.

«Дак в коммуно-то обязательно записываться? Или можно своим хозяйством жить? Наособицу?» — простоудно спросил Брагин.

«Это дело добровольное, — усмехнулся уполномоченный. — Любой желающий может вступить. И вы тоже. А нет — живите наособицу. Только с землей придется вас потревожить — лишку прихватили».

На том пока и дело кончилось. Коммунары объединились, стали работать сообща. Брагины остались жить наособицу, и их не трогали, не до них было.

Время стояло тревожное. По Сибири шли белогвардейцы, белочехи. В городе вспыхнул белый мятеж, и поговаривали, что Советская власть доживает



последние дни. Газет не было никаких, налобихинцы в город ездить опасались, от городского Совета не приезжал больше никто, вестей не слали, и по деревне ходили слухи один другого страшнее. Говорили, что всю власть взял адмирал Колчак, что он разбил в горах красный партизанский отряд и теперь Советов больше нет.

И вот однажды в Налобиху прискакали трое верховых в форме старой армии: молодой поручик с тонкими усиками — на бледном лице и два солдата с карабинами.

Собрали сход. Поручик не ругал мужиков, не корил за то, что допустили у себя выборный Совет. Он объяснил, что устанавливается правильный порядок и налобихинцам нужно избрать старосту, потому что Совет и коммуна ликвидируются.

Мужики высказались за Горева.

«Вот как? — удивился поручик. — Ведь он же был председателем Совета и коммуны! Впрочем дело ваше. Пускай старостой будет Горев, раз желаете. Только завтра вы должны отправить в город продовольствие и фураж для доблестной армии Верховного Правителя. По десять пудов пшеницы с каждого двора. Ну а остальное вот по этому списку. — И он показал свернутую трубочкой бумагу. — Продовольствие сдадите в главный штаб. Там вам выдадут расписку. Если к концу недели требуемое не поступит, накажем вашего старосту прямо здесь, на площади, — и поручик тонким пальцем показал на землю. — Вопросы будут?»

Брагини стояли тут же, на сходе.

«Так это... господин...» — начал Брагин нетвердо.

«Господин поручик надо говорить».

«Так, господин поручик, — покорным голосом спрашивал Брагин. — Ну вот пошлем мы вам продовольствие. А потом как?»

«Потом мы дадим твердый налог. Когда наша власть окрепнет. А пока вы должны усиленно помогать нашей армии очищать Сибирь от большевистской заразы».

«Это понятно, — гнул свое Брагин, — а после чего будет? Я к тому, что если бы мы вам налог, какой скажете, а вы бы нас самостоятельной деревней считали. Ну вроде как сами по себе».

«Анархизм проповедуете! Не допустим!»

«Да какой анархизм... Мы мужики неграмот-

ные...» — испугался Брагин, уже не знал, как выпутаться. Поручик погрозил ему пальцем.

«В списке значится: подготовить людей для мобилизации. Тут я у вас вижу много парней. Пора и им послужить святому делу, нечего за материны подолы цепляться. И предупреждаю: время военное. Кто уклонится от поставок продовольствия или от службы, будет наказан по закону военного времени. Вам все ясно?» — спросил поручик Брагинна.

«Все ясно, господин поручик. Мы — понятливые».

«Рад слышать», — усмехнулся тот в тонкие усики.

Тут же, на сходе, составили списки тех, кто подлежит мобилизации в колчаковскую армию. Один список поручик спрятал в накладной карман гимнастерки, другой отдал Гореву для исполнения.

Когда новые власти уехали, Горев с сыновьями стали собираться в дорогу — в заобскую тайгу, где они намеревались прибиться к партизанам, и тут прибежал старик Леднев и рассказал, что за деревней колчаков кто-то обстрелял. Двоих, поручика и солдата, убили, другой солдат, раненный, ускакал прочь.

«Не видел, кто стрелял-то?»

«Не видел. Из-под яра кто-то. Да, верно, не один стрелял».

Уже когда Горевы переплыли на лодке реку и углубились в тайгу, на тропе поджидал их Брагин с сыновьями. У одного из сыновей была перевязана голова, и сквозь повязку проступала кровь. Был он бледный, братья поддерживали его под руки.

«Здорово, староста», — приветствовал Брагин Горева.

«Здорово, — отвечал Горев. — Далеко путь держите?»

«Где омута поглубже. А вы?»

«К партизанам. Твои парни колчаков-то побили?»

«Не знаю, — ухмыльнулся Брагин. — Может, мои, а может, и нет. А что?»

«Да ничего. Сожгут солдаты деревню».

«Не сожгут. Кто знает, что наши напали?»

«Ну дай бог».

«Слушай, Горев, — задумчиво проговорил Брагин, когда Горевы хотели двинуться дальше. — Давай-ка отойдем в сторонку да потолкуем. А парни пускай посидят, друг на дружку поглядят».

Отошли, сели на замшелую колодину.

«Вот как оно вышло, — заговорил Брагин, — разные мы с тобой люди, а оба от властей бежим. Не сподручнее нам вместе счастье-то искать? Уйдем в урманы к кержакам, избы срубим, зверовать станем. Вместе-то нас, почитай, девять мужиков будет. Никто не одолеет такую артель, никакой варнак. Власти до нас скоро доберутся, а и доберутся — отмахнемся. Не впервой... Так что, как ни крути, а одна у нас с тобой дорожка».

«Ой, одна ли...» — тихоноко засмеялся Горев.

«Одна. Что тебя колчаки встренут, что меня — растрел».

«Это так, но мы ведь с ребятами не от Советской власти бежим, а наоборот — к ней. Прогоним колчаков — домой воротимся».

Брагин нахмурился.

«Колчак не колчак, какая разница? Ты — крестьянин, мужик. Любая власть норовит мужику на загорбок сесть. Кормилец-то он один. Все власти одинаковые, только масти у них разные».

«Нет, не все».

«Не желаешь, значит, артельно?»

«Разные у нас дороги».

«Ну, гляди-и-и... — протянул тот со вздохом. — Гляди-и, Горев. Я ведь хотел как лучше».

На том и разошлись. И только в двадцатом вернулись Горевы в Налобиху. Сам Горев получил ранение в бою под знаменитым партизанским селом Солоновкой, поболел недолго и умер. Схоронили его сыновья на деревенском погосте, на высоком обском берегу. Один сын вскоре уехал воевать с Врангелем и белополяками, другой ранен был в руку, остался дома и возглавил вновь созданную коммуну. Звали его Кузьма Иванович. А через год воротились и Брагины. Не ужились что-то с кержаками. В коммуну они не вступили, стали по-прежнему обживать на отшибе. Дома их колчаковцы все-таки сожгли, и Брагины ставили новые. И едва отстроились, едва дымы пошли из труб, как старик Брагин умер, ненадолго пережив Горева. Похоронили его рядом с Горевым, хотя Кузьма Иванович остался этим недоулен. Они-то с братом над могилой отца звезду прикрепили, а теперь рядом со звездой маячил брагинский крест.

А Брагины жили дальше. Пахали и засевали единственный клочок земли. Лошади у них появились, скот. Видать, не без денег воротились из тайги, было на что покупать. И вскоре поднялись, разбогатели. К тому времени в Налобихе появился колхоз, куда вошли все коммунары. Брагины не вступали. Пшеницы государству сдавали мало, поторговывали на стороне, и когда в двадцать девятом стали составлять списки кулаков, их туда первыми внесли. Уплыли Брагины не по своей воле на барже в Нарым новые места обживать, дикие, гибельные. Много лет не было о них слышно, а в середине лета сорок пятого опять объявились в Налобихе. Приехали на худых лошаденках. В телегах жены да ребятники, оборванные, голодные. Но у мужиков ордена и медали на лямных гимнастерках — воевали. Поправили осиротевшую было отцовскую могилку и пришли в правление колхоза — проситься в общество.

Посмотрел Кузьма Иванович документы, наградные бумаги — в порядке. Приняли Брагинных в колхоз. Дали им лесу на строительство и в помощь плотников. Фронтвики все-таки, надо где-то жить, старые их дома оказались занятыми. Снова стали Брагины строиться и обживать. Работали в колхозе крепко, никакой работы не чурались. С техникой в колхозе было худо. Пять колесных тракторов кое-как бегали по полям, а три стояли — сломанные, износившиеся. Вот Брагины и предложили Гореву: давай, может, отремонтируем. Из трех собрали два. Горев подумал-подумал: «Ну что ж, коли сделали, работайте на них».

Сели Брагины на тракторы. Машины содержали в порядке, да и сами безотказные, что ни скажешь — делают безропотно. Чего еще надо? В первое время Гореву советовали очень-то не доверять им. Все-таки Брагины, бывшие кулаки.

«Так-то оно так, — отвечал Кузьма Иванович, — да ведь позади у них Нарым и война. Пускай живут, мы не злопамятные».

И Евдокия тоже понимала, что и наказаны они, и награды на войне зря не давали, а все же оставалось в душе что-то такое самой непонятное. Будто от отца передалось.

Она вела загонку, думая о Брагинных и чутко прислушиваясь к грохоту тракторов, идущих следом. Она всегда их слышала и различала даже кожей лица, ру-

ками, каждой жилкой, будто сидел в ней неусыпный сторож, чтобы стеречь сплетение тракторных голосов, а ее освободить от этого, дать ей подумать о другом. Нехорошо ей было. Приезд неожиданных гостей нарушил установившийся в душе порядок. И подумалось Евдокии, что это, наверное, сказываются ее годы — все больше и больше тянется она к спокойному, ровному течению жизни; резкие перемены раздражают ее, долго не дают прийти в себя. Надо думать, и к тракторному грохоту можно приспособиться только потому, что он ровный, даже убаюкивающий, а начин мотор капризничать, сбиваться — и хоть плачь. Нет, разные рывки ей уже не под силу. Не молоденькая...

А сзади, из хора железных глоток тракторов, выбыл один голос. И хотя до нее не дошло, что же там такое случилось за спиной, а рука, опережая неповоротливые мысли, метнулась к рычажку газа, и трактор, высоко качнув капотом, замер на бурой стерне.

Евдокия ступила на гусеницу, поглядела назад.

Стояли уже все машины, слабо паря радиаторами. К Галкиному трактору торопливо бежала красивая Валентина, придерживая рукой платок на голове. Туда же трусила по пахоте и Колобихина.

У Евдокии кольнуло под сердцем. Спрыгнув с гусеницы, проваливаясь сапогами в разверзнутой земле, она кинулась к Галкиному трактору, работающему на малых оборотах.

Галка сидела в кабине белая, как стенка, расслабленно откинувшись на жесткую спинку сиденья, уронив на колени руки. Увидев перед собой звеньевую, улыбнулась ей обескровленными губами виновато и растерянно.

— Ты что это, девка? — спросила Евдокия, замирая от нехорошего предчувствия. — Что с тобой?

— Не можется ей, — жестяным голосом ответила за Галку Валентина, сузив на звеньевую длинные, подкрашенные глаза.

Евдокия тяжело глянула на нее, но ничего не сказала, снова обернулась к притихшей Галке.

— Вот что, девка, — проговорила она мягко, — глуши-ка ты мотор да вылазь.

Галка терла грязной ладошкой повлажневшие глаза. Короткая косичка, выбившись из-под платка, упала ей на плечо. Бантик из розовой капроновой ленточки был

на конце косички — вплетен в нее. Странно он смотрелся на серой от пыли мужичьей телогрейке, словно бабочка, залетевшая сюда, в эту железную, подрагивающую клетку кабины. Увидела Евдокия этот бантик и защипало сухие глаза.

— Вылазь помаленьку, — вздохнула, — какой уж из тебя нынче работник. — Помогла ей спуститься на землю, обняла за плечи, погладила шершавой рукой бледную, испачканную перегоревшим машинным маслом щеку девушки. — Милая ты моя... Сама-то до деревни дойдешь? Ступай, отлежись. Мы уж тут как-нибудь выкрутимся. Иди, милая, иди, — и легонько подталкивала ее в спину.

Галка подняла виноватые, мокрые глаза, но и звеньевая, и Валентина с Колобихиной смотрели на нее с жалостью, с пониманием, разрешающе кивали головами, и она, сторбившись, низко опустив голову, потихоньку пошла по перепаханному Бабьему полю к далеким крышам Налобихи.

Подошел Степан. Закурив, стал смотреть ей вслед, жмурясь от едкого дыма.

На него тотчас же накинулась Колобихина:

— Ты-то куда глаза пялишь? Степан? Ну? Отвернись, бессовестный! Стоит, тарашится! Не видал он, как девка мучается. Заразы вы все бесчувственные! И когда только отольются вам бабьи слезы? В какие времена?

Степан отвернулся.

— А чего ты ему запрещаешь? — громко спросила Валентина, чтобы все слышали. — Пускай смотрит, сколько влезет, как баба с поля ковыляет! — И с готовностью отступила в сторону, и руку выбросила вперед, указывая ею на Галку.

Там по черной, парной земле, покачиваясь, брела одинокая фигурка, не поймешь чья: мужская или женская, и чайки, покинув оскудевшую реку, носились над нею, резко, по-бабьи вскрикивая, вспыхивая в заходящем солнце розовыми молниями. Галка, в сером платке и серой, неуклюжей телогрейке с оттопыренной полкой, тоже напоминала птицу — нахохлившуюся, ковыляющую с перебитым крылом, отвернувшуюся от неба, в которое ей уже больше не подняться.



Голова со сна еще тяжелая и мысли вялые, полусонные, однако Евдокия все же вспомнила, что нынче — воскресенье, что всем звеном они решили устроить себе отдых — не сеять в этот день. Немного до конца осталось, а без отдыха не дотянуть. Выдохлись бабы. Постников, а с ним Евдокия заранее посоветовалась, согласился:

«Выходной так выходной. Но давай так: вечером в клубе соберем молодежь, ты и выступишь».

Согласилась. И вот — отдых. Впрочем, какой отдых? С трактора да в свое хозяйство, из огня да в полымя. За полторы недели у них дома накопилась уйма больших и малых дел, требующих женских рук и женского догляда, без которых, видно, нигде не обойтись: ни в поле, ни дома. И женщины должны переделать накопившиеся домашние дела, а потом отключиться от них еще на несколько дней, бывая дома лишь урывками, чтобы поесть, поспать и снова уйти. Скорее бы уж отсеяться, тогда бабы отоспятся вволю. Отоспятся... Евдокия мысленно усмехнулась. Не очень-то в деревне разоспишься. Отсеешься, а там и сенокос на носу, днюй и ночуй на лугах. У пахаря над головой чаще бывает небо, чем крыша родного дома. Такая уж у него судьба. И не надо на нее сетовать. Да она на судьбу и не сетует. Просто подумалось без всякого сожаления, что ей выпала именно эта судьба, а не другая. Каждому — своя, единственная.

Сегодня Евдокия была довольна: одолела вместе с Юлией стирку и за это наградила себя: прилегла после обеда подремать, запастись силами впрок. Думала, полежит часик-полтора, да и встанет, а уж и смеркаться вроде начинает. Нечего разлеживаться, надо подниматься — у нее осталось еще одно: пойти в клуб, агитировать девок на трактор. Вот еще забота... Пообещала ведь Постникову.

«Твою бы жену на трактор. Протряслась бы, а то поперек себя толще», — подумала с неожиданной злостью.

Морщась от покалываний в пояснице, поднялась с дивана. В комнате и на кухне — пусто. Ни Степана, ни Юлии не видать. Куда ж они подевались? И, накинув платок, вышла на крыльцо.

Там, возле крыльца, на лавочке, сидели Степан с

Коржовым и о чем-то негромко разговаривали. Иван Иванович Коржов, мужик пожилой, всегда серьезный, неулыбчивый, работал в колхозе главным механиком. Три года назад переехал он в Налобиху из города со своей многочисленной семьей — у него было четверо детей: трое сыновей и дочь. Дочь Маша уже пединститут закончила, работала в школе, здесь и замуж за Леднева вышла, а парни еще учились: один в седьмом, другой в восьмом, третий в девятом. Коржов частенько приходил к Степану, и они подолгу вели беседы. Вот и теперь сидели они, видать, давненько: много окурков у ног валялось. Повернули к Евдокии головы, прервали свой разговор.

— Поднялась? — спросил Степан равнодушным, без живинки голосом, лишь бы что-то сказать, как-то отозваться на ее появление. Неловко не замечать жену при чужом человеке.

Евдокия не ответила, зевнула, присела на ступеньку.

Угасающий день был теплым и тихим, ветерок едва поддувал из степи, но ласково, не поднимая пыли. Сжалась погода над Налобихой, обошла заморозками. Вот уж скоро и сев закончится, а теплынь как стояла, так и стоит. Хорошо, если бы ведро подольше продержалось, чтобы и всходы, когда они проклюнутся, не погубило заморозками. А потом чтоб теплые благодатные дожди упали на землю, и всходы бы дружно пошли в рост, да чтоб, главное, ветры как в прошлые годы не подули из казахстанских степей. А то вон край неба что-то очень уж красный, прямо пламенеет весь. Не ветры ли собираются, легкие на помине? Они пострашнее любых заморозков, любой засухи. Заморозок — он лишь один семена погубит. Пересеять можно в крайнем случае, и если зерно не вызреет, то хоть зеленка скоту будет. Засуха то же самое: не даст хлеба, то хоть соломки на подстилку скоту оставит. Ветер не оставит ничего, все семена вместе с землей выдует, унесет. И не только на этот год лишит урожая, а и на будущие годы. После себя он оставит мертвую, неродящую землю, да уж и не земля это будет, а невесть что. Как то самое Мертвое поле, лежащее по соседству с Бабым.

Евдокия вздохнула: круглый год ни телу, ни душе покоя нет. Вечно ожидай да переживай за погоду.

— Где у нас Юлия? Не знаешь?



— А тебе зачем? В клуб взять хочешь?

— В клуб.

— Без нее сходишь, — сказал, как отрезал. И отвернулся.

— Степан, — заговорила она спокойнее, стараясь придать голосу как можно больше убедительности, задушевившая неожиданную при постороннем человеке грубость мужа. — Худо получится. Скажут: других пришла уговаривать, а свою дочь даже в клуб не привела. Как обо мне люди-то подумают?

— Не знаю, как о тебе подумают, а Юлию с тобой не пушу.

Коржов поднялся, с неловкостью кивнул и пошел прочь.

— Не стыдно при человеке-то? — спросила Евдокия, когда Коржов ушел. — Не мог подождать?

— А чего мне стыдиться? Мне стыдиться нечего. Я худого ничего не сказал. Наоборот, своей дочери только добра желаю, не как некоторые матери. Я ей советую поступать в особое училище, а ты пихаешь ее на трактор.

— Куда поступать? В какое особое училище? — с удивлением протянула Евдокия.

— А в это, как его... в училище художественных ремесел.

— Где ж оно есть такое?

— В городе. Я узнавал.

— Значит, ты ей советуешь. А я вроде как в стороне? Спаси бо.

— На здоровье, — тотчас отозвался Степан.

— Все-таки, где Юлия? — спросила Евдокия.

— Не знаю. Да и знал бы — не сказал.

Евдокия постояла на крыльце и, вздохнув, пошла в дом — переодеваться. Надо было идти на вечер молодежи, будь он неладен...

Скоро она появилась на крыльце в темно-синем строгим костюме, в котором обычно ходила на торжественные собрания. Низкое солнце высветило на груди орден Ленина и медаль «За доблестный труд». На лацкане алел флажок депутата.

В этом парадном костюме Евдокия всегда чувствовала себя строже и подтянутее, даже морщины, кажется, разглаживались сами собой, и выражение лица становилось другим — горделивым и важным.

Степан молча глядел на жену снизу вверх, и она,

перехватив его присмиривший взгляд, мысленно усмехнулась. Будь она десять минут назад перед Степаном в парадном костюме, не посмел бы с нею так разговаривать. Конечно, он и до этого знал, кто она и что она, но когда одета по-домашнему — одно, а когда награды и знаки отличия на груди — другое впечатление. Вот что одежда делает с человеком. Евдокия и прежде замечала не раз: зайдет в правление в своем обычном механизаторском одеянии — с ней люди разговаривают просто, как равные с равной, а стоит вот так, как сейчас, одеться — и все уже по-другому. И слова-то подбирают аккуратные, соответствующие ее положению, да и Евдокия чувствует себя стесненнее: лишний раз не рассмеется, не расслабится в крепком слове, будто эта одежда и эти награды стесняют слова и поступки. А ведь так оно и есть. Отчего это?

Быстрым шагом спустилась Евдокия с крыльца и, не глядя на примолкшего мужа, двинулась к клубу.

Возле клуба гремела музыка из ведерного динамика на столбе, нагнетая праздничную атмосферу.

Евдокия протиснулась в вестибюль. Там стоял шум и гвалт — мужики штурмовали буфетную стойку. Пенные кружки плыли над головами, трехлитровые банки.

В комнате заведующего клубом ее ждали председатель с парторгом, тоже одетые по-парадному.

— Широко разгулялись, — неодобрительно кивнула Евдокия в сторону буфета. — Как бы в разнос не пошли.

— Особо-то не с чего, — рассмеялся Постников. — Две бочки беды не наделают. Пусть народ отдохнет.

Евдокия вышла в вестибюль, оглядывалась по сторонам, искала глазами Юлию, но не находила. Она искала ее и позже, когда уже сидела за столом президиума посерединке между Постниковым и Ледневым, и не могла понять, где же сейчас могла быть ее Юлия. Куда она подевалась? Вся молодежь была в клубе, больше ведь и пойти некуда, как только сюда. Не прячет же ее Степан дома. Терялась в догадках. Леднев тоже внимательно глядел в зал, может, тоже высматривал Юлию, но Евдокию о дочери не спросил.

Евдокия часто выступала перед людьми. Где она только ни выходила на трибуну: и у себя, в Налобихе, и в райцентре Раздольном, и в краевом центре, и в Москве. Она знала, раз ее просят рассказать о себе, значит это людям надо, и к выступлениям относилась как к ра-

боте: добросовестно и бережно. Начинала она, обычно, издалека, с сорок второго года, когда впервые села на трактор. Рассказывала, как вместе с другими женщинами выращивала хлеб для фронта, потом переходила к своему теперешнему звену. Но сейчас она должна не только рассказать о своей работе, но и призвать девчат на трактор. И хотя Евдокию нынче что-то останавливало призывать девчат, все-таки она это сделала.

Едва Евдокия села, тут же поднялся Постников.

— Перед вами только что выступила наша знаменитая, всеми уважаемая Евдокия Никитична Тырышкина. Она рассказала вам о почетном труде механизатора. Мы, товарищи, собираемся открыть курсы у себя в Налобихе. Будем готовить механизаторов широкого профиля. Так что милости просим записываться! Может, у кого вопросы есть? Ко мне или к Евдокии Никитичне, не стесняйтесь — спрашивайте. Кстати, Евдокия Никитична, какие у вас заработки в звене?

— Двести, двести пятьдесят, — сказала Евдокия не вставая.

— Вот видите! — говорил в зал Постников. — На такую зарплату можно одеваться по последней моде. Муж не упрекнет деньгами.

В зале засмеялись:

— Тут почти все незамужние!

— Ну так будете замужними! — весело крикнул Постников. — При такой зарплате и женихи сразу найдутся! — Он улыбался и был доволен, что зал настроен легко, весело, значит дело будет. — Еще вам должен сказать, товарищи, что хлебороб у нас — самый уважаемый человек, особенно, если это женщина. Им все в первую очередь: и квартиры, и места в детский садик, и лучшие товары. После этой беседы будущие хлеборобы смогут приобрести импортные сапожки и другие дефицитные товары. Потребсоюз пошел нам навстречу, так что будете с обновой!

Евдокия слушала председателя и смотрела в зал, переводя глаза с одного ряда на другой, надеялась: вдруг да увидит Юлию и вздрогнула: с края третьего ряда на нее глядела красивая Валентина. Сначала даже не поверила самой себе. Может, показалось? Пригляделась внимательнее и устало откинулась на спинку стула. Точно: она самая, никто другой. Явилась... А зачем Валентина тут, для какой надобности? Беседу пришла по-

слушать? И так настроение было невеселое, а при виде Валентины совсем испортилось. Она торопливо, словно обжегшись, опустила глаза, но даже кожей щеки чувствовала на себе пристальный Валентинин взгляд, от него нельзя было спрятаться на этом открытом, видном со всех сторон лобном месте.

— У вас что, вопрос? — услышала Евдокия председательский голос, от которого вдруг упало сердце, и заметила: Постников смотрит туда же, на край третьего ряда. Там Валентина высоко тянула руку.

— К Тырышкиной вопрос. Можно?

— Пожалуйста! — председатель недоуменно пожал плечами, дескать чего бы ради пришла сюда задавать вопросы своей звеньевой. Могла бы и в другом месте спросить, что тебя интересует. Уловил в этом непонятный вызов Тырышкиной, но рот Валентине не зажмешь. Раз тянет руку, будь добр, дай слово.

Евдокия напряглась, искоса наблюдая, как Валентина, поправив цветастую косынку, поднималась со своего места.

— Вот вы только что призывали девчат на трактор! — громко заговорила Валентина. — А своей дочери вы тоже советуете в механизаторы? Или ей другую работу подыщете? В городе?

В зале стало очень тихо. Сотни глаз уперлись в Евдокию. Ждали: что она ответит? Постников повернулся к Евдокии, глядел на нее с какой-то опаской. Леднев замер, будто оцепенел, но вдруг поднялся со своего стула.

— Товарищи, — сказал он с укоризной, — так нельзя.

— Почему нельзя? — кричали из зала. — Нам интересно, что Евдокия Никитична советует своей дочери! Тоже в механизаторы или нет?

Леднев ждал, пока все утихнет. Он заговорил, подбирая слова, отставляя их далеко одно от другого. Ему, наверное, было трудно сейчас.

— Когда Евдокия Никитична призывала девушек... в механизаторы, это совсем не значило, что должны идти все подряд. Совсем нет, товарищи. Иначе что же у нас получится? Кто будет работать в библиотеке? В детском садике? В столовой? В школе? Есть места, где заманить женщин мужчинами невозможно. Я это вам говорю потому, что нельзя, — он покосился на Постникова, — впадать в крайности. Поймите меня правильно. На мой

взгляд, в механизаторы должны идти те девушки, у которых есть тяга к технике. И позволяет здоровье, физическое развитие. А не все подряд... Ну а что касается вашего вопроса, — он прямо взглянул на Валентину, — то я его, извините, считаю неуместным. Таких подковырок Евдокия Никитична не заслужила. Дай, как говорится, бог, чтобы мы с вами столько сделали для народа, сколько сделала она.

Валентина села пристыженно. Отбрил ее Леднев, отбрил как надо, но от этого не легче. Тяжелые руки Евдокии лежали на красной материи стола, они были горячи и подрагивали. Тяжесть стыда придавила Евдокию к стулу, больно и стыдно поднять глаза на людей. Никогда такого с ней не было.

А в зале было тихо. Люди ждали именно ее слов, ничьих других, и Евдокия медленно встала.

— Вот тут меня спросили... советую дочери или нет, — заговорила Евдокия глуховатым, будто зажатым изнутри и выдавливаемым по каплям голосом. — Ну а раз спросили — отвечу. Да. Советую. Хочется мне, чтобы моя дочь продолжила мое дело. Стала бы хлеборобом. А поручиться за нее, — с виноватой улыбкой развела руками, — не могу. Может, будет по-моему, а может, и нет.

— Как звеньевая советуете? Или как мать? — выкрикнула опять Валентина, не вставая и не спрашиваясь. Торопливо выкрикнула, боялась, что перебьют.

— Советую как звеньевая. И как мать, если уж на то пошло... — громко проговорила Евдокия.

Постников вскинул голову.

— Еще вопросы есть?

Теперь Евдокии можно было задавать любые вопросы, она ничего больше не боялась. Валентина вынудила ее сказать то, против чего душа противилась.

Она не слышала благодарностей председателя, вышла из клуба и, помедлив возле дверей, давая глазам привыкнуть к темноте, побрела домой. За спиной гремела музыка — начались танцы. Пускай веселятся молодые.

Она опечалилась и поглядела в небо, где глеи звезды. Резковатый ветер налетал из степи, холодил лицо, выдувал из души последнее тепло. Горько ей было и холодно. И домой придет — никто не согреет ее теплым, участливым словом.

Позади послышались торопливые шаги. Кто-то догонял ее, и Евдокия, отступив в сторону, вглядывалась в маячивший во тьме силуэт, пока еще не ясный, но на слух определила: женские шажки, нетвердые, словно кто-то спешил в туфельках на высоких каблуках. Уж не Юлька ли? Нет, походку дочери она знала.

— Ой, кто это? — испуганно позвала Евдокия, видя, что спешащий человек направляется прямо к ней.

— Не ждала такую попутчицу? — голос был сбит быстрой ходьбой, звучал прерывисто, но Евдокия узнала: Валентина.

— Ты, что ли? — строго спросила Евдокия, пытаясь разглядеть молочно проступающее во тьме лицо.

— Ну я, — усмехнулась Валентина, шумно, прерывисто дыша. Она, наверное, бегом догоняла ее.

— Чего тебе? — сухо поинтересовалась Евдокия.

— Поговорить охота.

— В клубе не наговоришься? — Евдокия резко повернулась и пошла дальше, но Валентина не отставала.

— Значит, не наговоришься. Там с тобой много не наговоришь. Защитнички рта не дают раскрыть.

Евдокия не отвечала, шагала молча.

— Дочки твоей на вечере что-то не видать было, — начала Валентина вкрадчиво, будто подбиралась к чему-то.

— Какое тебе дело? — оборвала Евдокия, но внутренне сжалась, уловив в голосе Валентины припрятанное до поры жало. Сейчас Валька ужалит, не зря она начала этот разговор про Юлию, не зря. — Чего ты за чужих детей цепляешься? Своих нарожай да и цепляйся. Ходишь, как телка неогуленная, да злобствуешь. Изозлилась вся.

— Это точно, — согласилась Валентина. — Злости во мне ой как много! На весь век хватит... Вот ты говоришь: за чужих детей. А у меня сердце кровью обливается, когда вижу, как ты чужих девчонок агитируешь, а свою бережешь. Даже в клуб не привела. Конечно, чего ей в клубе делать? Она занятие слаще нашла. Поглядела бы ты, как она с Сашкой Брагиным к березнику шла. Так вся и прильнула к нему...

Под сердцем у Евдокии кольнуло, она схватилась рукой за грудь, но не остановилась, только на мгновение как бы ослепла и шла на ощупь, с трудом переставляя ноги. Не оборвала Валентину, поверила ей. Та врать не

станет, это Евдокия знала наверняка. Да еще вспомнила страшный разговор Брагина-отца. И еще раз поверила: правда. Все сходится.

— Так вся и прильнула к нему... — смакуя каждое слово, повторила Валентина, раздосадованная, что звеньевая никак не откликается, будто речь идет не о ее родной дочери. Помолчала и добавила зло: — Поди и сейчас еще в березнике милуются.

— А ты и позавидовала. — ехидно усмехнулась Евдокия и сказала с сочувствующим вздохом: — Мужика бы тебе. Чтоб за другими не подглядывала. Завистью изощла.

— Да я не подглядывала. — быстро сказала Валентина. — С чего ты взяла? — Но даже в сумерках заметно было: смутилась она. И Евдокия поняла: уязвила она Валентину. Тоже в больное место угодила. Каково тебе? Больно? Вот так-то... Но радости от мести не почувствовала. Горько было.

— Слушай, Валька, — начала Евдокия спокойно, стараясь заглушить в себе горечь и злость, но та перебила:

— Валька на базаре семечками торгует.

Евдокия остановилась, вплотную приблизилась к Валентине, стараясь заглянуть ей в глаза.

— За что ты меня ненавидишь? — спросила в упор. — Чего я тебе худого сделала? Когда я тебе дорогу перешла?

Валентина дышала тяжело и часто слатывала слюну. Она больше не перебивала звеньевую, смотрела на нее темными, остановившимися глазами и будто собиралась с силами.

— Зачем ты меня все время подкальываешь? — с болью говорила Евдокия. — Может, я когда обидела тебя и сама не заметила? Так ты скажи, чтоб ясность была. А то клюешь меня, а за что — ума не дам.

— Ты помнишь, какая Галка тот раз в кабине сидела? — спросила Валентина тихо. И сама ответила: — Помнишь. Когда я еще сказала, что, мол, пора и твоей Юльке на трактор.

— И что? — спросила Евдокия настороженно.

— А то, что не зря я тебя тот раз поддела. Задумалась ты о своей дочери, открылись глаза. Сегодня на вечере, как змея под вилами крутилась. Не завидовала я тебе.

— Ты вот что: выбирай выражения! — раздраженно проговорила Евдокия. — Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Ты же девчонка против меня! — По-доброму надо бы повернуться и уйти от этой нахапки, но Евдокия не ушла. Что-то мешало уйти.

— Обиделась? — легонько рассмеялась Валентина. — Против шерсти погладили? Отвыкла от такого обращения? Кто дал право, говоришь? Есть у меня такое право, есть... Ты сама мне его дала.

— Ну объясни, что за право, — сказала Евдокия. — Интересно мне.

— Малость попозже. Потерпи. Поговорим уж, раз случилось. Давно я хотела с тобой вот так, с глазу на глаз. Много разных слов к тебе накопилось. Я вот приглядываюсь к тебе и понять не могу. Прямо загадка, а не человек. Ну вот, хотя бы сегодня... Как ты после всего, после Галки то есть, могла сказать при всех, что советуешь своей дочери идти на трактор? Как у тебя язык повернулся? Или ты не женщина? Или у тебя сердца нет? Ведь ты же посоветовала как мать. Понимаешь, как мать! Одно дело — советует звеньевая Тырышкина, другое — мать!

— Подожди, Валентина... — Евдокия хотела положить руку ей на плечо, но та отдернулась.

— Не прикасайся ко мне. Слышишь? Ты и меня когда-то сагитировала. Молодая была, глупая. Все деньги хотела заработать, славе твоей позавидовала. Голову затмило. Как конь вкальвала. Все было нипочем. На втором месяце ходила, а виду не показывала. Румянами мазалась, чтоб бледность скрыть. Помню, просквозило меня — горло перехватило. Перед глазами красные круги плыли, а тебе не сказала. Не ушла с работы. Звено боялась подвести. Ты даже не знаешь, что у меня мертвый ребенок родился. Никто не знает. И ни одна живая душа не знает, сколько слез я яролила. Был бы бог, он бы что-нибудь с тобой сделал за все мои слезы...

— Чего ж ты после этого не ушла с трактора? — хрипло спросила Евдокия. — Надо было уйти. Поберечься.

— От чего мне было беречься? Помню, в город у тебя отпрашивалась. По поликлиникам бегала, на приеме у профессора была. Мне там ясно сказали: больше не жди. Не от чего мне было больше беречься, я и осталась. А куда деваться? Некуда...



Они стояли молча одна против другой, будто и слов у них больше не находилось. Холодный ветер стегал их лица. Валентина не поправляла растрепанные волосы, выбившиеся из-под косынки.

— У меня ведь тоже такое было... — заговорила наконец Евдокия. — Дочки рождались, а не жили. Грудные помирали... Кого мне надо было проклинать, а, Валентина? Войну? Немца?

Валентина с горечью усмехнулась.

— Это другое было дело. Война... Ни с чем не считались. Тысячи гибли. Но сейчас-то не война. Неужели ты не понимаешь? Ну понятно, если опять что начнется, сядем на тракторы. Научиться недолго. А пока-то ведь мир.

— Пока-то мир, — сказала Евдокия. — А не меня бы тебе надо проклинать. Все ту же войну, Валентина. Издали она тебя зацепила.

— Ну ты это брось. Сколько лет прошло. Привыкли мы все на войну сваливать.

— Чего брось-то! Рождаемость-то после войны какая?

— Ладно. Хватит. Поговорили и будет. Война... Ты иди молодым это скажи. Они поверят. А мне уж скоро тридцать. Наслушалась... Знай, Никитична, на тебе мои слезы, ни на ком другом.

— Вот что, Валентина, — заговорила Евдокия трудным голосом, глядя себе под ноги. — Шла бы ты из моего звена.

— Гонить? — с какой-то радостью спросила та.

— Нет, не гоню... Только так лучше будет. И для тебя, и для меня. Собирай себе новое звено и руководи. Трактористка ты опытная, сможешь. Хочешь, поговорю в правлении?

Валентина вдруг легко рассмеялась, так легко, непринужденно и искренне, что Евдокия удивленно уставилась на нее.

— Думаешь, я в звеньевые рвусь? Нет, совсем ты не поняла меня. И не подмазывайся. Поговорит она в правлении... Спасибо, да лучше я уж простой трактористкой останусь.

— В моем звене?

— В твоём.

— Значит, не хочешь уходить? А что тебя тут держит?

— Тебя понять хочу. Докопаться охота, какая ты есть на самом деле. Очень мне интересно.

— Ну коли другой заботы нет, то давай. Изучай меня. Об одном предупреждаю. Не суй нос, куда не надо. Не лезь в мои личные дела. Будешь лезть — распрощаемся. Это я тебе очень даже капитально обещаю. Вот так!

Сказав это, Евдокия круто повернулась и скорым шагом пошла домой. Отойдя немного, остановилась и прислушалась. Сзади было тихо. Никаких шагов не слышать.

Домой Евдокия пришла совсем разбитой. В висках ломило, руки противно тряслись, все тело колотила нервная дрожь. После того, как отстала от нее Валентина, хотелось не думать о минувшем разговоре, успокоиться. Да разве теперь скоро успокоишься? До самого порога мысленно спорила с Валентиной, убеждала ее, жалела, что впопыхах забыла сказать ей то и это. Что толку, после драки-то?

Хлопнула входной дверью резче, чем надо — она все еще жила разговором с Валентиной, и руки плохо слушались ее.

На кухне, возле плиты, торчал Степан, варил что-то. По-бабьи шаркал тапочками по полу. Он мельком глянул на красное, будто спекшееся, лицо жены, отметил этим самым ее приход, но вдаваться в расспросы по своему обыкновению не стал.

— Ужинать будешь? — проговорил равнодушным, неживым голосом. Так спрашивают, когда не очень ждут ответа.

— Нет, — коротко бросила Евдокия, ощущая во рту горечь от высказанных и невысказанных Валентине слов. И огляделась, зорко вбирая в себя все, что было в доме. — Юлия вернулась?

Степан отрицательно помотал головой, даже словом не удостоив, и она тут же ушла в горницу, чтобы не видеть небритого, в колючей седоватой щетине мужнина лица, в котором ей чудилась тайная ухмылка. Степан не то, чтобы совсем не брился, он кое-как скоблил бороду раз в неделю, а то и реже, поэтому щетина на его хмуром лице держалась длинная, неряшливая, глаза бы не смотрели. Будто специально не брился — жене досадить.

Евдокия стояла перед зеркалом и разглядывала свое

разгоряченное лицо. Давно уж по-настоящему не смотрелась в зеркало, зная, приятного она там мало увидит. Сейчас она подошла к зеркалу только затем, чтобы узнать, какой ее сейчас видел Степан и что он мог про нее подумать. Заметила горестные складки возле рта. Раньше они казались не такими глубокими. А может, не замечала? Эх, Дуся, Дуся, быстро ты стареешь. Всю-то жизнь чертомелила ты, как лошадь, времени на себя не находилось, а теперь какая-то соплячка, без году неделя на тракторе, а упрекает ее черт-те в чем, говорит обидные слова, будто так и надо.

Она потерла шершавыми пальцами виски. Хватит думать про Вальку. У нее поважнее есть о чем переживать — о дочери. Где ж она есть-то? Неужто еще в березнике? Пойдет теперь по деревне слава. Стыд какой...

Непослушные пальцы расстегивали пуговицы жакетки, не могли никак расстегнуть, пуговицы выскальзывали, не зацепиться за них никак, словно намыленные. Она разнервничалась, заспешила и вдруг вскрикнула от тонкой, пронзительной боли: острый конец булавки, которой крепилась на жакете медаль, уколол ее в грудь.

Евдокия закусила губу, испуганно оглянулась на дверь: не услышал ли Степан? Дверь оказалась приоткрытой, но на кухне — тихо. Нет, Степан ничего не слышал, а и услышит — не прибежит. Они давно глухи к боли друг друга.

Расстегнула-таки маленькую, верткую пуговицу и увидела на груди яркую капельку крови. Капля, как живая, наворачивалась, росла. Евдокия глядела на нее, словно зачарованная. Боли она не ощущала, боль сразу же унялась, лишь глаза пощипывало. Резко зажмурилась и с силой потерла глаза, вдавливая назад невыплаканные слезы. Никто от нее слез не дождется.

Потом Евдокия разделась, выключила свет и легла. Закончился выходной. Завтра снова впрягаться в две смены. И — до конца сева. Гулко стучали ходики на стене, отсчитывая последние минуты суток. За стенкой осторожно шаркал тапочками Степан. Тоже не спал. Дожидался Юлию.

Она лежала, вспоминая прожитый день, перекладывая его в памяти с одного бока на другой, будто разглядывала со всех сторон, чтобы оценить его окончательно, а сама прислушивалась к беспокойным шорохам за стенкой и к себе самой, пока не услышала наконец

то, чего так ждала: внятно скрипнула входная дверь. Евдокия даже вздрогнула от неожиданности и задержала дыхание. Нет, не ошиблась. Дверь скрипнула и умолкла, и сразу же послышались мягкие, тающиеся шаги по коридору.

«Туфли в руках несет», — догадалась Евдокия. Она подождала, слыша, как дочь вошла в горницу, как поставила у кровати туфли, чуть стукнув каблукками об пол, как, раздеваясь, зашуршала платьем. И тут Евдокия встала и включила свет.

Юлия стояла перед ней в ночной рубашке до пят и смотрела на мать не испуганно и не растерянно, как можно было ожидать в ее положении, а с усмешливым удивлением.

— Который час? — жестко спросила Евдокия.

Юлия посмотрела на ходики, потом на мать.

— Двенадцать. А что?

— Как это что? Как это что? — Евдокию прямо-таки затрясло от негодования. — Ничего себе! Мать вся переволновалась, а она еще делает удивленное лицо! Еще и спрашивает, как ни в чем не бывало. Вырастила дочку, нечего сказать! Ты пойми: на дворе — полночь. Мне в шестом часу вставать на работу, а я-тебя жду.

— Мама, но ведь я не ребенок. Я уже взрослая, — чуть улыбнулась Юлия. Спокойно повесила платье на плечики в шифоньер и опять повернулась к матери — высокая, гибкая, красивая. В лице — никакой вины и раскаяния, только уверенность в своей правоте. И еще — легкая взволнованность, отчего ее щеки порозовели, а глаза стали темны и глубоки. — И вообще я уже сама могу отвечать за свои поступки. Как-никак, скоро школу закончу.

— Вот когда выйдешь замуж и будешь жить самостоятельно, тогда сама будешь отвечать за свои поступки, — перебила Евдокия, — а пока живешь с матерью, и будь добра отвечай, когда мать спрашивает. Где ты была?

— Гуляла.

— Где и с кем? — Евдокия стояла перед дочерью, глядела ей в рот, ловя каждое слово.

— Тебе это очень интересно? — Юлия с иронией скривила румяные губки и глядела на мать снисходительно.

— Мне про родную дочь все знать интересно. С кем

ты гуляла? — Евдокия делала ударение на слове «с кем».

В дверь с тревогой заглянул Степан, обеспокоенно глядел то на жену, то на дочь. Раздумывал: вмешаться или нет.

— А ты уйди! Без тебя разберемся! Защитничек явился! — прикрикнула на него Евдокия, и Степан молча скрылся. Евдокия снова обернулась к дочери: — С кем ты гуляла, Юлия? С кем, я тебя спрашиваю?

— Ну с Сашей... С Брагиным, — проговорила Юлия, сильно покраснев, уводя глаза.

— В березнике были? — надломленным голосом спросила Евдокия, испытующе взирая на дочь, разглядывая ее по-особому внимательно, по-женски, как бы ища в ней что-то.

Лицо у Юлии стало совсем красным, как после бани. Она подняла глаза и выдержала долгий изучающий материн взгляд.

— А ты следила, что ли?

Евдокия возмутилась:

— Юлия, что это за разговор? Ты с кем разговариваешь? С матерью или с чужой теткой? Еще не хватало следить за тобой. Только и осталось. Люди мне про вас сказали. Видели, как вы в березник шли.

— Ну а раз сказали, чего спрашиваешь?

— Спрашиваю, правда это или нет. Чего же вы так гуляли, что на вас вся деревня любовалась? — Она со знанием сгустила краски, сказав «вся деревня». Злилась на дочь.

— А зачем нам прятаться? Мы не ворует.

Евдокия и замолчала, растерянно уставясь в темные Юлькины глаза. И язык прикусила. Вон как: они не воруют. Сама-то со Степаном встречалась тайно, чтоб никто не видел. Почему? Стыда у людей было больше? Может, и совестливее были, да и исстари так велось: встречаться парню с девушкой тайно, чтоб если не выйдет свадьбы, так девушку не опорочить. А эти гуляют на виду и хоть бы хны. «Мы не ворует». Вот и весь сказ. То ли уж на самом деле жизнь повернулась новым боком и что раньше считалось неприличным, теперь это в порядке вещей?

Юлия разделась, легла, а Евдокия села на свою кровать и глядела на отвернувшуюся к стенке дочь.

— Ты погоди, Юлия, не спи, — попросила Евдокия

тихим, печальным голосом. — Давай поговорим. Не углядела, как ты и выросла. Прости уж меня, дочка. Поговорить с тобой толком не получалось. Все с людьми да с людьми. С тобой — урывками...

Юлия шевельнулась на кровати, дала знак — слушает.

— Скоро ты школу закончишь, — продолжала Евдокия, — а куда пойдешь, ты мне не сказала. Не хочешь в звено — неволить не стану. Поступай, как знаешь... Отец говорил, будто учиться в город собираешься? Правда, нет?

— Правда, — отозвалась дочь.

— Значит, с отцом решили, а меня даже не спросили? Не посоветовались? Мать для вас пустой звук, — обиженно говорила Евдокия. — Или ты меня уже и за мать не считаешь?

— Тебе же все некогда, — раздраженно отозвалась Юлия и повернулась к матери лицом. — У тебя же все разные дела. А ты хоть раз спросила, чего я хочу? Хоть раз поинтересовалась? У тебя один трактор на уме, больше ничего. А я не хочу! Понимаешь, не хочу на трактор! А ты толкаешь: иди и все! Династия... Все славы тебе мало. Еще хочется.

— Я хотела, чтоб тебе лучше было.

— Я сама знаю, как будет лучше.

Евдокия опустила голову, вздохнула, молчаливо внясь перед дочерью. Виновата, ничего не скажешь...

— На вышивальщицу решила? — спросила она после некоторого молчания и взглянула на дочь.

— На вышивальщицу, — с вызовом ответила Юлия. — А тебе не нравится? — И села на кровати, обхватив колени руками, с отчуждением глядя на мать темными глазами.

— Почему не нравится... — осторожно заговорила Евдокия. — Многие девушки вышивают. Только увлеченно — это одно, а специальность для жизни — совсем другое.

Юлия иронически хмыкнула:

— По-твоему, вышивальщица — не специальность? Только механизатор — специальность? Ты хотела, чтобы я стала, как ты? По твоим стопам пошла? Продолжать династию? Нет уж, мама, спасибо. У меня совсем другие планы.

— Зачем ты так, Юля? — мягко укорила Евдокия. —

Наслушалась отца да и говоришь его словами. Я просто узнать хочу, серьезно ли ты подумала о своем выборе? Не поторопилась? Чтобы потом не жалеть. Выбор — дело ответственное.

— Не беспокойся. Серьезно подумала. А отец ни при чем, ты его не трогай. Он один меня понимает.

— Отец понимает, а я — нет?

— В том-то и дело, что не понимаешь. Ты даже ни одной моей вышивки сроду не смотрела.

— Как это не смотрела, — возразила Евдокия. — Смотрела. Там у тебя еще кони есть такие... с шестью ногами.

Юлия коротко рассмеялась.

— Только это и видела? С шестью ногами...

— Ну да, шестиногие. Я еще подивилась на них. Где это, думаю, моя дочка таких коней видела. В каком табуне?

— Эх, мама! — Юлия тряхнула головой, откидывая на сторону длинные, светлые волосы, вскочила с кровати, нашла вышивку и развернула ее перед матерью. — Гляди, видишь, кони-то как скачут? А то, что ног много, так это всегда так кажется, когда кони бегут быстро. Ноги мельтешат перед глазами и получается впечатление, что их больше, чем есть. Представляешь? В искусстве, мама, свои законы. Ты ведь не понимаешь...

— Где мне понять, — с обидой согласилась Евдокия. — Я училась мало. Время было такое — не до учебы. О куске хлеба думали, не об искусстве. В этом деле я темная.

— Кто же виноват, что другое было время? — с раздражением перебила Юлия. — А время на месте не стоит. И теперь люди не только о хлебе думают. Так что, кроме тракториста, есть и другие специальности. В том числе и вышивальщица.

— Ладно, делай как знаешь, — махнула рукой Евдокия. — Тебе жить. Я свое плохо ли, хорошо ли, а отжила. Поступишь на вышивальщицу — помогать буду. Учись, раз есть стремление... — она говорила это, ясно понимая, что так сказала бы на ее месте любая мать и что душевного разговора все-таки не получилось. У каждой осталось недосказанное. Юлия ей отвечала, но в душу к себе мать не впускала, держала ее на расстоянии.

«Эх, Юлька, Юлька... — думала Евдокия с грустью, — мало ты видела ласки от своей матери, мать твоя вся на людей растратилась, ничего тебе не оставила». Это немного утешило ее, но тут же поймала себя на мысли, что оправдывается сама перед собой, перекладывает вину на кого-то другого. На людей растратилась. Мысль красивая, да не совсем это так. Похоже на припасенное впрок утешение. Вспомнилось: иной раз захочется Евдокии приласкать дочь, сказать ей что-нибудь ласковое, а дойдет до дела — и слов не находится. Остановит ее какой-то особенный взгляд Юлии, недоверчивый и чуть-чуть чужой. И слова в горле завянут нерожденные. Это случалось раньше, когда Юлька была еще мала, а теперь ей материны ласки, наверное, не шибко-то и нужны. Теперь у нее в голове другие ласки...

— Ну вот ты уедешь, а как же твой Брагин? — осторожно заинтересовалась Евдокия, мягко так спросила, чтобы не вспугнуть дочь.

— Подождет, пока вернусь.

— Любит, что ли? — еще спросила Евдокия, ободренная ответом.

— Да, мама, — смущенно ответила дочь и стала укладываться.

«А ты его?» — вертелось на языке, но побоялась спросить. Все, больше дочь ничего не скажет. Больно осознавать, но не было дружбы между нею и дочерью, не было откровенности. Ведь только сейчас, когда она, мать, пристала чуть ли не с ножом к горлу: скажи да скажи, Юлия и сказала про Сашку Брагина. А чтобы самой подойти к матери, поделиться с нею заветным, как должно вестись в хороших семьях — этого от нее не дождешься. Вот ведь как вышло: от чужого человека дочь узнала. Стыдобушка и только... «А ведь Степан-то знал, — ревниво подумала Евдокия, — все знал, да помалкивал. Жене — ни звука, будто это ее не касается. Ну ладно, это мы учтем...»

Утром Евдокия поднялась, когда Степан приготовил уже завтрак: сварил яиц, нарезал хлеба и желтоватого уже сала. Но Евдокия есть демонстративно отказалась, оделась и ушла на поле. И после, когда на поле пришел муж, она его старалась не замечать. Горючее было на исходе, сказала Колобихиной:

— Ниша, передай Степану, пусть за соляркой съездит.



— А сама чего не скажешь?

— Глаза бы не глядели. Видеть не могу.

Нинша покачала головой, отошла. Понимала, что по-друга сильно не в духе, но расспрашивать не стала. Вздохнула только.

Евдокия в это утро была молчалива. Не поговорила с женщинами перед сменой, не подбодрила по обыкновению. Влезла в кабину и махнула рукой, дескать двинулись. Не сказала своего привычного: «Ну, бабы, поехали!» Работала молча, зло.

Два дня не замечала и не разговаривала с мужем. На третий день, в обед, к ней подошел Степан. Ели они теперь хотя и из одного котла, вернее из большого алюминиевого термоса, который привозили из столовой на поле, но сидели поодаль друг от друга: чужие и только. Степан подошел к жене, глядел на нее, ждал, пока она обратит на него внимание.

— Чего тебе? — холодно спросила Евдокия.

— Ветер сильный, — сказал Степан.

Евдокия огляделась и словно проснулась. Ветер за последние дни и правда окреп, дул с юга сильный, ровный, и там, в южной стороне, небо было желтое от поднятой пыли.

— Я к тому говорю, что надо еще по одному катку цеплять к сеялкам, — хмуро продолжал Степан, — а то все выдует.

«А ведь и на самом деле выдует, — подумала испуганно Евдокия, — чего же это я как слепая стала, ничего не вижу? Злость глаза и уши затмила». Но пока молчала, оглядывая край неба, где наворачивалась ядовитая рыжая пелена, растворяя в себе весеннюю снь. Неприятно было, что мысль о дополнительных катках подавал Степан. Не хотелось с ним говорить, а придется. Дело — прежде всего. Не прицепишь сейчас вторые катки, дунет ветер покрепче, и землю вместе с семенами поднимет в воздух. Считай, все пропало. Это поняли и Нинша, и Валентина, и Галка. Подняли головы от мисок, выжидающе глядели на звеньевую.

Евдокия отложила ложку. Сказала Степану строго, будто выговаривая:

— Вот что. Гони на машинный двор. Тащи четыре катка.

— Если они там еще остались, — усомнилась Колобихина. — Поди уже все разобрали.

— Кровь из носа, но чтобы четыре катка тут были, — снова сказала Евдокия и отвернулась от Степана, который тут же, не мешкая, направился к своему трактору.

«Наверное, Брагины утащили катки к себе, — со злостью подумала Евдокия. — Эти не обробеют».

Однако катки на машинном дворе были. Никто еще не успел додуматься, даже Брагины, и Степан благополучно притащил четыре катка. Быстро за каждой сеялкой прицепили по второму катку и теперь, поглядывая в заднее стекло, Евдокия видела, что земля прикатывается лучше, не поднимать ее ветрам.

«Молодец Степан», — подумала Евдокия и немного отмякла душой. Понимала, что ему тоже нелегко было к ней подойти, а все-таки подошел, пересилил себя ради дела. Ей захотелось быть с ним помягче. Она уже не отворачивалась при виде его, но слишком уж долго они молчали, слишком уж привыкли к таким отношениям, шли вх жизни и дальше в стороне друг от друга по наезженной колее. Колея накатанная, привычная, как трудно из нее выбраться.

Колея... Ей вдруг отчетливо вспомнилось: года за два до войны взял ее отец с собою на луга. Недалеко от Налобихи Обь круто поворачивала на Север, спрямляя путь к океану и там, на изломе, быстрина переваливала на другую сторону реки. А на этой стороне при плавном, успокоенном течении берег постепенно понижался и переходил в заливные луга. Каждую весну Обь затопляла луга своею глинистой полной водой и держала их затопленными долго. И лишь когда спадала коренная вода, луга обнажались, посверкивая глазками болот и озер. Солнце принималось отогревать вернувшуюся к свету сушу, и в считанные дни луга начинали ярко зеленеть. Травы, на корню избалованные влагой и теплом, быстро шли в рост. Здесь косили сено для колхозного скота, сюда выгоняли стадо на откорм, а по забожкам, возле болот и озер, где косилкой траву не взять, выделялись покосы колхозникам. Отец как раз и ехал посмотреть отведенный ему участок, чтобы прикинуть: начинать косить или подождать. Недавно прошли дожди, и старая дорога, разбитая еще в весеннюю распутицу, совсем раскисла. Колея была глубокая, темнела в ней стоялая вода, чавкали по грязи копыта Мухортухи, колхозной кобылы, выпрошенной отцом у бригадира. Бричка в колее сидела надежно. Отец вполне мог бросить

вожжи и не править лошадей, потому что свернуть в сторону было невозможно, колея держала бричку с лошадью в своей власти непоколебимо, людям оставалось только довериться лошади и дороге, сидеть да ждать, когда привезут на место. Отец, однако, сидел беспокойно, косился на срез берега. Талые воды и дожди каждый год обрушивали и обрушивали берег, срез стал уж совсем близко от дороги, в нескольких метрах. Вот отец и поглядывал вбок на близкий обрыв, под которым в гулкой пустоте искрилась река, а на другой стороне, будто в воздухе, висела спящая, размытая расстоянием полоска леса.

И не зря отец опасливо глядел на близкий срез, не зря умная Мухортуха чутко стригла ушами, переставляя ноги неохотно, словно чувствуя впереди неладное. И вдруг отец торопливо натянул вожжи и дрогнувшим голосом протянул: «Кажись, прие-е-хали...»

Дуся выглянула из-за отцовской спины и увидела: впереди дорога напрямую поворачивала к обрыву, наезжала на самый край и там кончалась, как отрезанная. На краю обрыва предсмертно склонилась к пустоте совсем молоденькая березка, почти прутник, не нарастившая еще на стволіке бересты. Она держалась на одном-единственном корешке, остальные — тонкие, бурые, как растопыренные пальцы, висели в воздухе и, казалось, пытались уцепиться за твердь. Листья била мелкая дрожь. Березка была еще и не там, под обрывом, но уже и не здесь — посередине между жизнью и смертью, потому что единственный корешок еле держался, его бурая мягкая кора от напряжения лопнула, сползла, как кожа, обнажив беззащитную, белую, истекающую соками, сердцевину.

Отец прыгнул с брички и посадил дочь. Дуся отскочила подальше от обрыва и наблюдала, как отец, взяв Мухортуху под уздцы, тянул к себе, пытаясь свернуть с дороги, отвести от опасного места на расквашенную дождями целину. Лошадь заполошно била ногами, но бричка сидела в колее плотно, передние колеса увязли по ступицу, никак не поворачивались в сторону, да и сил у кобылы не доставало. Дуся глядела на это расширенными от ужаса глазами, и вдруг мурашки пробежали по спине: между ней и отцом, тянущим лошадь что есть сил из колен, будто хрустнула веточка, и по земле поползла, зазеленясь черная, быстрая трещинка,

разрывая в глубь корни трав и отсекая от нее отца вместе с лошадью и бричкой.

«Папка! Па-апка!» — страшным голосом закричала Дуся, корчась от ужаса, видя, как быстро ползет и расширяется трещина, в которой утробно гудела разламывающаяся земля.

Отец быстро обернулся к дочери, лицо его было еще пока недоуменное, он еще не мог сообразить, отчего это дочь так страшно и отчаянно кричит, сжав кулачки возле рта и кусая их, но глаза ее смотрели вниз, к нему под ноги, словно увидела змею. Он увидел трещину, и лицо его перекосило как от боли. В три прыжка отец одолел расстояние до дочери, схватил ее за руку и потащил подальше от ширящейся с каждым мгновением трещины, и когда снова хотел кинуться к лошади, Дуся вцепилась в рукав отца, повисла на нем. «Не пущу, не надо, нет!» — кричала сорвавшимся голосом.

Они услышали, как тонко, пронзительно заржала Мухортуха, кося на людей белым глазом, — просила у них помощи. А люди ничем помочь не могли. Лошадь, видимо, ощутила, как дрогнула под нею земля, и ржанье ее перешло в нагсадный хрип, с губ скатывались клочья пены. Она все понимала, умная старая лошадь, и в изнеможении била ногами, пытаясь вырвать бричку из колен, и, уже совсем обессилив, вытянула вперед длинную шею, оказавшуюся неправдоподобно длинной, тянулась и тянулась к замершим в оцепенении людям.

Земля разверзлась мгновенно, в ее тяжком глубинном грохоте потонул хрип Мухортухи. Задние колеса брички повело в сторону, под срез, и сразу же бричка встала на дыбы вместе с Мухортухой. Лошадь уже в воздухе сучила передними ногами, не доставая до земли, и медленно сползала назад, пока не исчезла совсем, блеснув напоследок белым, сумасшедшим глазом. Облако желтой глинистой пыли встало над берегом и, подхваченное ветром, ползло за реку, медленно истаявая в безгрешной голубизне неба.

Отец остекляневшими глазами взирал на опустевший берег, губы его тряслись. А когда оцепенение прошло, потихоньку стал подвигаться вперед, щупая ногами землю перед собой. Страх и любопытство отпечатались на его посеревшем лице. Но дочь еще крепче вцепилась в него, обхватив руками, зашла в истошном крике:

«Папка, родненький, не ходи!»

Давно это было, очень давно. Вот уж и отца в живых нет, но и сейчас при этом воспоминании у Евдокии томительно сжалось сердце, и через время, словно бы сторонним ухом, услышала свой страшный отчаянный крик. И подумалось, что в последнее время она все чаще и чаще вспоминает о случае с колеей. Вроде бы годами она отдаляется от того момента, должна вспоминать реже, а получается наоборот. Отчего так? Может, затем это живет в ее памяти, чтобы напомнить и упредить, пока еще далеко до обрыва? Ей издавна и непоколебимо верилось, что есть в мире какая-то сила, которая бережет все живое и не дает возвыситься злу. В земле ли самой, в березовых ли колках или в самом воздухе, но есть она, мудрая, справедливая сила, которая охраняет и ее, Евдокию. И теперь, зная, что не все у нее ладно, напоминает о колее, подает только ей одной понятный знак.

6

Евдокия простилась с Ниншей и медленно шла одна. Как Нинша ни расспрашивала ее и как ни тяжело было носить в себе неразделенную боль, а ничего подруге не рассказала ни о Юлии, ни о Стенане — давно научилась молча переносить боль. Шла, согнувшись, глядя себе под ноги, будто что-то нища внизу, а лишь поравнялась с домами Брагинных, то и голову подняла, будто кто-то подтолкнул, и стала глядеть в их сторону. Не праздное любопытство заставляло ее повернуть туда голову, нет, она уже мыслями забегала вперед, к будущему сватовству.

Два брагинских дома стояли, как два брата: высокие, крепкие, под железными крышами. Крепко жили Брагины, ничего не скажешь, впрочем, где механизаторы худо живут? Главная сила в любой деревне. Евдокия хотела уже было отвести взгляд, да что-то удержало. Сбоку, за крайним домом, увидела она свежий сруб, еще пока без крыши, с темными проемами вместо окон и дверей, но уже и так было ясно: строили с размахом, и когда будет готов этот третий дом, он ничем двум другим не уступит, такой же — крестовый.

«А ведь это они для Сашки, — екнуло сердце у Евдокии. — Для Сашки, вот для кого строят Брагины! Выходит, Алексей Петрович собрался отделять сына.

Женить решил Брагин Сашку! Иначе зачем его отделять?» Она-то, мать, только-только узнала, что ее Юлия встречается с их сыном, а тут уж все давно решено. Поднимают дом для Сашки и его молодой жены. И ведь уверены, что свое обязательно возьмут.

Она вздохнула и зашагала быстрее. Понимала: ничего ей не изменить, что скорее всего так и будет, как замыслили Брагины. Евдокия скорым шагом миновала несколько переулков, и когда перед нею неожиданно открылся старый домик Гореза, она остановилась, будто споткнулась о невидимую преграду. Зайти надо, поглядеть, как он там, жив ли? Здоров ли?

Ноги сами повели Евдокию к калитке. Полузрелой дорожкой она прошла к крыльцу, постучала в дверь и прислушалась, пугаясь нежилой тишины.

«Вот так помрет когда-нибудь Кузьма Иванович, и никто не узнает», — подумалось Евдокии, но она отогнала от себя эту мысль. Как это: Кузьма Иванович и вдруг помрет? Такого быть не может. Горез — он вечный, без него Налобиху представить себе нельзя. Душа не соглашалась с тем, что Горез может когда-нибудь умереть, и толчками забило сердце, едва различила в сенях слабое движение, а потом шаркающие старческие шаги.

Заскрипев, отворилась дверь, и на пороге появился он, Кузьма Иванович, худой серебряный старик.

— Дуся, ты ли это? — удивленно проговорил Горез слабым, глухим голосом, легонько улыбаясь в бороду.

— Я, Кузьма Иванович. Пришла вот попроведовать.

— Ну заходи, заходи, Дуся. Давненько я тебя не видел.

В горнице было сумеречно, но Евдокия разглядела, что все там прибрано, чистенько и даже полвыскоблен. Пахло сухими травами, развешенными у печи и у порога. На столе — раскрытая книга и на ней очки. Видать, прибрался Кузьма Иванович и теперь читал. Над столом — портрет Ленина в красной самодельной рамке, вырезанный из какого-то давнишнего журнала и вставленный в деревянную, покрашенную киноварью рамку. Портрет этот Евдокия видела у Гореза еще в детстве и знала, что в памятные дни Кузьма Иванович украшает его полевыми цветами, а когда живых цветов нет, матерчатыми алыми розетками.



Горев аккуратно сдвинул книгу, усмехнулся виновато:

— Ниче сначала по книгам учатся, а потом живут. А у меня все наоборот. Жизнь прожил, а теперь понять хочу: так ли жил... — И спохватился: — Да ты садись, Дуся. Сколько ведь не была.

— Давненько, — согласилась Евдокия. — День-деньской крутишься и никак все дела не переделаешь. — Говорила и разглядывала Горева. Сдал Кузьма Иванович, сдал. Когда-то высокий и худощавый, стал ниже ростом и высох совсем, будто с годами оседал к земле вместе с домом. Костлявый и седой, в чем душа держится. Одни глаза и жили на его узком лице, глаза зоркие, все видящие и все знающие, от которых ничего в себе не утаишь.

— Все хотела заглянуть к вам, помочь чем-нибудь, да заматаюсь и забуду, — сказала с грустью.

— А чего обо мне заботиться? — отмахнулся Кузьма Иванович. — У тебя своих дел невпроворот. Ты ведь вон как высоко взлетела. И звеньевая, и депутат, и всяко разное. Опять же — семья. Расскажи лучше, как живешь. Что-то ты невеселая. Задору не вижу.

— Какой уж там задор, — вздохнула Евдокия. — Был, да весь выкипел... Сев нынче больно ранний. Да еще этот ветер, будь он неладен. Прицепили по второму катку, получше вроде стало. Хотя и семена боязно сильно-то утрамбовывать. А ветры-то желтые, все небо желтое. Откуда они взялись? Раньше таких не было. Прямо страшно, что делается. Как дует, дует... землю сдирает и несет.

Горев смотрел в окно и хмурил седые, нависшие на глаза брови. Сочувственно качал головой. Сказал:

— Откуда, говоришь? А мы их сами посеяли. Сами, Дуся. Как только там, у соседей, — кивнул на южную стенку, — распахали все земли в степи, так и началось. Да чего у соседей... Вон у нас взгорье не уберегли, а как его теперь называют? — и испытующе поглядел на Евдокию.

— Мертвое поле, — отозвалась та со вздохом.

— То-то и оно, что мертвое. Мы думали, если больше земель распашем, то и хлеба всегда будет больше. А вышло не по-нашему. У старых людей, которые тут до нас жили, земля была свежая, а лишнего хлебушка сроду не водилось. Это я хорошо помню. На базар по

нужде вывозили, чтобы продать да купить одежды, керосину, спичек. Землица наша не шибко щедрая, но от урожая до урожая прокормит, обижаться на нее грех. И вот как туговато ни приходилось, а взгорье, которое теперь Мертвым полем зовется, не трогали, под плуг не пускали. Думаешь, глупее нас с тобой старики были? Нет, Дуся, нет, — Кузьма Иванович помотал седой головой. — Старики землю жалели. Там, на пригорке-то, родящий слой совсем тощий, а под ним гольный песок да глина. Соображали: распашут взгорье, ветер и начешет его, весь родящий слой подымет в воздух, а потом и глину с песком. Ветру только бы зацепиться за какую явочку, он потом и до других земель доберется. И уж не земля будет, а сплошная язва. Не надо жадничать. Вот как старики-то думали. А мы? Шибко умными себя считаем. Что нам старики? Они ничего не понимали, отсталые были. Даешь пригорки! А мы и рады стараться, нам только крикни. Машин у нас, как звери. Любую землю распашут, будь она хоть железная. Ничто перед моторами не устоит. Да только я так думаю, Дуся: страшен трактор, если в нем тракторист без головы. Безображения хозяйского. А земля хоть и терпеливая, а когда-то обидеться может. У нее память есть. Ничего она не забывает. Помнишь, какой урожай был в шестьдесят втором? — Вздернул голову Горев.

Евдокия кивнула. Она помнила тот урожай. Когда распахали взгорье и все залежи, вырос в тот год урожай невиданный, каких в Налобихе и старики не помнили. В обычные годы брали по пятнадцать-семнадцать центнеров с гектара, а тут вышло за сорок на круг. Вот какое чудо совершилось всем на удивление. Радовались мужики, ликовало районное руководство, упрекало Горева, дескать гляди, какая пшеница вымахала и сколько ее, а ты не хотел, упрямялся. Радость вскоре, однако, схлынула. Не готова оказалась Налобиха принять такой урожай. Не хватало машин возить зерно от комбайнов на ток, и сами тока были слишком малы. Ссыпали зерно в бурты, а оно в буртах стало гореть, люди не успевали его перелопачивать. Гадали: как спасти хлеб? Возить в райцентр Раздольное на элеватор? Но и там захлебывались от большого хлеба. К тому же машин нет. Тут Горев и предложил: давайте, пока не поздно, раздадим зерно колхозникам на сохранение. Не задаром, а так: берешь к примеру, тонну, так вот центнер тебе за труды, а



оставшиеся девять центнеров сдай весной государству под квитанцию. Кузьма Иванович доказывал, что это единственная возможность уберечь урожай, потому что крестьянин не даст зерну пропасть. Всю семью в ладнях заставит пересыпать и сушить, а не даст. На такую меру районное руководство не пошло, да и как пойдешь? Нарушение. День и ночь возили машины и подводы зерно на элеватор, и все равно не успевали. Сгорелотак зерно в буртах. Прикатила комиссия, проверила. Составили акт, что зерно ни к чему не пригодно, и велели его сыпать под яр. В присутствии той же комиссии. И потянулись подводы к крутому обскому берегу. Вся Налобиха от мала до велика собралась поглядеть на неслыханное святотатство, как сбрасывали хлеб в реку. Мужики — шапки прочь, как на похоронах, старухи крестились. Старые люди не стыдились слез, помня войну и голод. Горестно качая головами, говорили: «Не будет нам прощенья за такой грех».

И пошли неурожай. А потом потянули с юга черные ветры, они быстрехонько расправились с нагорьем: содрали с него и унесли родящий слой, а ближние, хорошие земли занесли песком и глиной.

«Это нам за тот грех», — говорили люди.

Кузьма и Евдокия молчали, вспоминая каждый по своему тот нелегкий год. Потом Евдокия сказала громко, как бы жалуюсь:

— Постников-то недавно поглядывал на Мертвое поле. Нельзя ли, говорит, и здесь посеять. Поле-то спящее, что уродится — наше.

— Не давай, Евдокия, — сурово глянул на нее Горев. — Ты депутат, у тебя власть. Не позволяй. Пусть язва затянется. На Мертвом поле, знаешь, сколько лет нельзя пахать? — и, не дожидаясь вопроса, сам ответил: — С сотню лет нельзя. Все нынешние налобихинцы перемрут, а нельзя еще будет. Вдумайся!

— Неужто так долго? — ахнула Евдокия.

— Долго, Дуся, долго. Я говорил со знающими людьми, с учеными. Они и говорят, что за один век плодородный слой может даже и не нарасти. Вот так-то. На-смерть стой, а не давай.

Евдокия молча кивала, соглашаясь. Ей было отрадно, что пахать Мертвое поле они все-таки не дали, и теперь Кузьма Иванович ею доволен, глядел на нее потцовски ласково, светло.

Она сидела, положив на стол свои жесткие, в ссадинах, изъязвленные соляжкой и перегоревшим маслом руки, они были тяжелы и горячи, эти усталые рабочие руки, и Горев глядел на них задумчиво, с тихой грустью.

— Как сама-то живешь? — спросил Горев едва слышно и все глядел и глядел на ее руки.

Евдокия неопределенно пожала плечами.

— Живу...

— Я вот на твои руки глядел, Евдокия. Они у тебя, что у доброго мужика. Сколько ты ими переделала за свою жизнь — сказать страшно. Ты и кормилица, ты и цолища. Мы тебе в ноги должны кланяться за твою работу. Орденов-медалей не хватит, чтоб отблагодарить. Только вот беда: силу вы у мужика взяли, возвысились над ним. Славу узнали, почет. Это штука сладкая, да пьяная, вроде вина. Не опьянет бы, Дуся.

— Не опьянеем.

— Дай бы бог. Перед мужьями спину теперь не гнете. В разговоре смелые. Другие вы стали, гордые. За все с мужиками расквитались.

Горев поднялся, согнувшись, прошелся по комнате и остановился у Евдокии за спиной.

— Нынешние женщины не из пугливых, я знаю, — и погладил ей голову жесткой, костлявой рукой. — Дай бог, чтоб у вас все было ладно.

Евдокия закрыла глаза, а Горев гладил и гладил ее голову, как когда-то в детстве отец. И снова она была маленькой, словно в давнее-давнее время. Ощущала, как разглаживаются морщины на лице, и сама душа разглаживалась, и светло ей было, безмятежно от этих легких прикосновений.

7

Глядя на черную линию загонки, Евдокия озабоченно прислушивалась к грохоту двигателя: что-то в его работе ей не нравилось. Грохот был неровный, с какими-то переборами. Казалось, вот-вот в его горячем нутре оборвется железная жилка, и он враз захлебнется. Евдокия напряглась, готовая ко всему, мысленно подбадривала слабеющий мотор, будто старалась передать ему впридачу и свою человеческую силу. Она верила: рас-слабится хоть на мгновение, и трактор неминуемо заглохнет, что он только и держится до тех пор, пока она подталкивает его своей силой.

«Железо и то устает», — подумала с сочувствием о тракторе, как о живом существе, который вот уже сколько дней до глубокой ночи бегаёт и бегаёт по Бабьему полю. Даже железной машине нужен отдых и ремонт, ничто без отдыха не может. Надо сразу же после сева гнать его в мастерские, да попросить Коржова, чтобы сам посмотрел, что и как. Судя по звуку и по выхлопу, кольца на поршнях залегают. Да пора бы им и залегать, сколько можно! Сколько лет прошло! Ей уж не раз предлагали сменить свой именной «ДТ-54» на новую, современную машину, а она все не хочет. И хотя умом понимает: на табличке год выпуска — 1966, что десять лет для трактора — срок немалый, а бросить — сил нет. Латает его и латает. Как же — именной. Награда. Отдашь его и будто вместе с ним уйдут самые светлые дни. На этом тракторе она себя помнила еще сравнительно молодой. Жалко... Да и как-то совестно перед этим неутомимым и послушным работягой. Сколько лет вместе и — взять другой трактор. Наверде измены получается. Пугала ее и другая, дальняя мысль, что когда она сама выработает силы, то и ее сменят, отстранят, как никому не нужную, если она так поступит с трактором. Ведь та бодьшая справедливая сила, которою живет все живое, за добро ко всему живому или неживому воздаёт добром, а за худое — худым. Зорко за всеми следит и не забудет этого Евдокиинного проступка. Нет уж, надо дотянуть на этом тракторе до самого конца и уйти вместе — так давно решила она. А теперь уж что? Недолго осталось...

Она прибавила газу. Трактор послушно дернулся, побежал скорее. Есть еще силы в нем, есть, до конца сева дотерпит со своими больными поршнями. И в ней самой не все выгорело. Ее сумей раззадорить, она понашет будь здоров! Тепло стало в груди, надежнее. И вдруг тепло это схлынуло.

— Эх, маленько я тебя сглазила, — проговорила она трактору.

Из выхлопной трубы дым выплевывало погуще, чернее, и мотор работал надрывнее, со звоном, будто из последних сил.

Испугалась, маленько убавила обороты. Чего зря мотор рвать? И, выглянув из кабины по привычке назад, посмотреть, как там сеялка и катки, с удивлением остановила взгляд на вершине Мертвого поля. Там поблески-

вали красными боками два трактора, и к ним с противоположного склона подползали еще два, подняв над собою желтое облако пыли.

«Чего это Брагины на Мертвое поле вылезли? Наверное, закончили свои поля, и чтобы не в объезд, решили ехать через взгорье, так и домой поближе, а заодно и женщины можно подразнить. Наверное, так и есть. Радуетя Алексей Петрович: первыми с полей уезжают», — ревниво думала Евдокия.

Снова двинула трактор по загонке, и рука непроизвольно дожимала и дожимала газ. Немного обидно было: стоят на взгорье. Любуйтесь на них, на первых.

Вполглаза поглядывая вперед, на загонку, а вполглаза вбок и вверх — на брагинские тракторы, посверкивающие на вершине боками, вела свой трактор, зная, что и Колобихина, и Галка, и Валентина тоже смотрят на Брагиных, завидуют. Ее немного сбивало с толку, что стояли тракторы носами не к Налобихе, боком стояли и не спешили скатываться с бугра на проселок. Фигурки людей виднелись подле кабин, потом они собрались в кучку, словно о чем-то посоветоваться. Евдокию вдруг кольнуло под сердце: нет, не просто так они тут собрались на вершине Мертвого поля... Она остановила трактор и спрыгнула на землю.

Сзади подошел трактор Колобихиной, замер на месте. Нинша выскочила из кабины и тоже уставилась на вершину.

— Чего они там? — спросила Нинша.

— Да вот гляжу и сама не пойму. Уж не пахать ли примериваются? Больно долго стоят.

— Да ты что! Мертвое — пахать? — удивилась Колобихина.

— Нас Постников в тот раз не сагитировал. А эти, видно, согласились. В галстуках-то...

Говоря это, Евдокия, прищурившись, глядела на взгорье, пытаясь понять, что там происходит. Два трактора стояли рядом, два — чуть поодаль. Фигурки людей стали расходиться, исчезли в кабинах. Сейчас трактора тронутся. Точно: передняя машина на вершине взгорья медленно двинулась вперед и за ней потянулся, относимый ветром, клуб пыли.

— Они что, сдурели, что ли? — всплеснула руками Нинша.

Евдокия резко повернулась к Колобихиной:

— Отцепляй агрегаты! — и кинулась к своему трактору отцеплять сеялку с катками. — Колобихина со мной! Все остальные работают как и работали!

Через минуту Евдокия снова была в кабине. Взревел двигатель, и налегке трактор понесся к Мертвому полю. Правой рукой Евдокия чуть тянула рычаг на себя, притормаживая гусеницу, опережая пробкой радиатора ползущие по вершине взгорья тракторы. Рычаг газа толкнула до отказа вперед. Звенели гусеницы, сливаясь в сверкающий на солнце ручей отполированной стали. Рвалась навстречу земля, а Евдокия казалось, что едет совсем тихо. Она непроизвольно принялась раскачиваться в такт движению, словно это могло ускорить продвижение к цели.

«Надо же... Вчера с Горевым поговорили о Мертвом поле, а сегодня его уж пахнут! Как нарочно! И ведь Брагины же там! Голову кладу под топор — Брагины. Вот тебе, Кузьма Иванович, и работающие мужики». Недаром она их сторонится, недаром в ее душе живет какая-то неприязнь к ним. Самой себе не объяснишь, отчего, а душа чувствует: есть за что их не любить. Обязательно что-нибудь выкинут. Какой-нибудь фокус. И вот — пожалуйста. Что теперь ты скажешь, Кузьма Иванович?

Оглянулась. Следом, не отставая, грохотал трактор Нинши Колобихиной, тоже «ДТ-54», правда, немного поновее, чем у нее, Евдокии. А сбоку, высоко подняв радиатор, мчал, обгоняя Ниншу, новый оранжевый «Алтай» красивой Валентины.

«Эта-то куда?» — подумала с удивлением Евдокия, а на сердце потеплело. Не хочет отстать от звеньевой, вместе с ней воевать кинулась. Не утерпела.

Глядя в запыленное лобовое стекло, Евдокия все подергивала и подергивала рычаг на себя, обгоняя пробкой радиатора ползущие по взгорью машины. Надо было обязательно держать чуть наискось, чтобы выскочить перед носом брагинских тракторов. А дальше что? Что будет дальше, Евдокия пока и сама не знала.

Пахота у подножья кончилась, ее будто разом обрели. Впереди уже расстилалась голая, суглинистая земля, кое-где утыканная сухими кустиками прошлогодней полыни и бледной новорожденной степной сорной травкой, еще совсем низкой, еле приметной, которая проклюнулась на свет и не знает, расти ей или не расти на этой скудной, всеми забытой земле.

Высунувшись из кабины сбоку, глядя сквозь дверной проем, Евдокия видела, как гусеницы взрывали беззащитную, не затянутую кожей почву, не укрепленную корнями трав, как фонтанчики сухой рыжеватой глины запрыгали над траками гусениц, отчего сразу стало пыльно в кабине, как наплывали спереди красные тракторы, тянущие за собой плуги. Уже ясно видны эти сильные, тяжелые машины. Они зло поблескивали под солнцем, синие дымки выхлопов упруго били вверх. Дымки эти тут же относил ветром, пыльные хвосты от плугов тоже сваливало набок и тянуло сюда, пыль уже клубилась в кабине, но трактор продвигался вперед, и теперь Евдокия различала людей в кабинах, угадывала пятна лиц. Лица были обращены в ее сторону. Трактористы видели идущие им наперез машины и наблюдали за ними, не прекращая своего дела.

Евдокия пощелкала тумблером фар, помигала светом, требуя остановиться, но тракторы не слушались ее, упрямо ползли и ползли вперед, опережая подходящие сбоку машины. Вот тут-то впервые и пожалела Евдокия, что у нее не мощный «Алтай» марки «Т-4», уж на нем-то она сейчас надала бы как следует и выскочила вперед, потому что идущие по своим загонкам пахущие машины двигались вовсе не медленно, как казалось издали, а шли очень даже быстро, оставляя за собой серую борозду, над которой вздымались серые змейки пыли. Плуги посверкивали и казались раскаленными, на них больно было глядеть.

«Вот прут так прут, не угонишься», — зло подумала Евдокия, на ощупь нашаривая рычажок газа и все пытаясь его еще сдвинуть вперед, хотя он и так был прижат до упора и на большее ее старая машина была не способна.

Всего в десятке метров пропылили перед ее носом брагинские тракторы, и Евдокия, закусив губу, резко потянула на себя правый рычаг, подправляя курс, устремилась вдогонку, но те, словно играючи, гнали и гнали вперед, заметно прибавив скорость, оставляя за собой запах жженой солянки и теплой пыли.

Брагины, а теперь Евдокия уже различала их лица, словно посмеивались над ней, уверенные в силе своих машин, а она упрямо гналась за ними, хотя и видела: расстояние между ней и Брагинными все увеличивается и увеличивается.

Но тракторы все же остановились. Поиграли с Евдокией в догоняшки, помучили ее и остановились. Трактористы прыгнули наземь из кабин. Припорошенные пылью, улыбаясь, поджидая преследователей. Сам Алексей Петрович, широко расставив ноги в сапогах, стоял впереди остальных. Будто припечатаны были его ноги к земле, крепко, по-хозяйски уверенно стоял, не спшатнешь.

К нему одному и шла Евдокия, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, не спуская с него глаз.

— Ну здорово, Алексей Петрович, — заговорила она туго натянутым вибрирующим голосом, едва сдерживая себя. Распаленная погоней, оглушенная грохотом моторов и сумасшедшей тряской, она никак не могла отдышаться. Внутри все дрожало и кипело, в горле пересохло и голос прорывался наружу хрипло. — Здорово, культурный пахарь, в гробину мать... — и судорожно перевела дух.

— Ты чего лаешься? — Брагин стоял перед ней все в той же позе, широко расставив ноги и подбоченясь, будто приготовился к драке. Крупный рот его осторожно улыбался, а в глазах стыла злость. Он понимал, зачем гналась за ним Тырышкина, а потому выжидание и затаенная тревога были на его крупном лице. Чтобы как-то выиграть время, пока Тырышкина приходит в себя, а если получится, то и обратить все в шутку, он обернулся к стоящим позади него Кольке Цыганкову, к несколько растерянному Сашке и всегда молчащему Егору. Улыбнулся шире, кивнув на Евдокию, за спиной которой маячили Нивша и Валентина.

— Гляди, мужики, что есть-то! Налетели, как пираты! Поди в плен брать будут. За выкуп! — Еще усмехнулся и оглядел женщин. Ясно было: бабы не шутить приехали. И сам построжел лицом. — Ну и что скажете дальше? Кроме того, что облязали?

— Счас узнаешь, — пообещала Колобихина.

Евдокия уже взяла себя в руки, успокоилась.

— Ты что же, Алексей Петрович, творишь-то? — начала она как можно спокойнее, чтобы не сорваться раньше времени. Боялась она этого — сорваться. А потому голос у нее был негромкий и какой-то подкрадывающийся, мягкий.

Брагин с недоумением поглядел вокруг себя, как бы ница то худое, за которое его корит Тырышкина, и, не

найдя ничего, развел руками. И даже густые свои брови поднял — в недоумении же.

— Как, кто твори? Пашу, как видишь.

— А кто велел тут пахать? — внешне спокойно поинтересовалась Евдокия, стараясь удержать этот тон и не сбиться на ругань, как в самом начале. Ей было со-вестно. Но пыл сбила и теперь можно и поспокойнее.

— Как кто? Начальство, конечно.

— Какое начальство? Говори толком. Кто? Главный агроном? Председатель? Или еще кто?

— Ну, допустим, председатель. И что из этого?

— Понятно... — деревянным голосом произнесла Евдокия. — Значит, все же Постников приказал.

— Не сам же я напросился, — усмехнулся Брагин. — У нас еще свой клинышек остался неконченным.

Евдокия его не слушала.

— С Постниковым мы разберемся, — заговорила она окрепшим голосом. — А ты, Алексей Петрович, убирай машины с этого поля.

— Куда? — деланно удивился Брагин, пожав плечами, и обернулся к своим, чтобы и те удивились. — Куда убирать-то?

— Куда хочешь. Это поле пахать нельзя. Неужели ты сам не знаешь — почему? Оно же Мертвое!

— Мы сюда удобрения возили, — сказал Брагин. — Председатель велел сначала удобрить, а потом пахать и сеять. Это, говорит, будет у нас экспериментальное поле.

— Убирай, Алексей Петрович, тракторы, — стояла на своем Евдокия. — Скажешь Постникову, что Тырышкина не дала пахать. Со своим звеном приехала и не дала.

— Кто для меня выше начальство: ты или председатель?

— Уезжайте. В правлении разберемся.

— Нет, Евдокия Никитична, — Брагин упрямо замотал головой, — никуда я машины не уберу. Мне председатель приказал, я и делаю. Вот когда ты будешь председателем, тебя буду слушать. Не согласи с председателем — езжай в правление, разбирайся. А мне надо работать.

За спиной Брагина ждали мужики, чем все кончится, Егор стоял спокойно и слушал разговор брата с Тырышкиной равнодушно. Все это для него не в счет. Как



велит брат, так и делает. Сашка — тот смущался такого оборота и прятал от Евдокии глаза. Колька Цыганков вообще не выглядывал из-за спи́н. Встревать опасался. Боялся он и Евдокию, от которой ему сильно перепало на собраниях и на правлении, где его обсуждали за пьянку, боялся презрительного взгляда Валентины.

— Нет, Алексей Петрович, сейчас же прекращай пахать, — продолжала Евдокия гнуть свою линию. — Мы же не дадим тебе все равно.

— Да мы что, дети, что ли? — вскипел Брагин. — Столько суперфосфату ухайдакали, сколько перегною, и теперь удобрения пропадай? И труд наш тоже пропадай? Нет, не выйдет... — Резко повернулся, зашагал к кабине своего трактора. Оглянулся, энергично махнул рукой и остальным. Те кинулись по кабинам.

Машины вразнобой взревели моторами, напряглись и, врезаясь плугами в сероватую почву, кое-где чуть припорошенную белыми гранулами суперфосфата, двинулись по полю вслед за головным трактором, в котором с каменным лицом сидел сам звеньевой.

Евдокия и сказать ничего не успела, лишь потерянно вела глазами тракторы, не зная, как дальше быть. Притихла и Колобихина, она боялась глянуть на подругу. Не послушались Тырышкину Брагины, плевали они на все. Им прикажи, они и саму Налобиху распашут, не то что какое-то там Мертвое поле. Посыпят суперфосфатом и распашут. И скажут, мол, так и надо.

Тракторы шли и шли, а Евдокию била мелкая нервная дрожь. Но она очнулась от оцепенения, кинулась к кабине. Нога сорвалась с гусеницы, она больно ударилась коленкой об отполированный, как зеркало, трак, но боль едва ощутила. Подтянулась за скобу, втиснулась в кабину. Нога привычно выжала педаль сцепления, рука толкнула вперед рычажок газа.

Она сейчас ничего не видела, кроме пылящих впереди плугов, отодвигающихся от нее все дальше и дальше. Рывком послала трактор вперед, не зная, догонит Брагинных или нет и надеясь неизвестно на что. Эх, силы бы ее трактору, но их нет. Колобихина вела свою машину сбоку, чтобы меньше было пыли. Шла Нинша ровно, не отставая и не вырываясь вперед.

«Почетный эскорт мы для Брагинных, не больше», — с горечью подумала Евдокия, на шаривая рычажок газа

и стараясь его еще сдвинуть вперед хоть на миллиметр. Руки Евдокии закаменели на рычагах, она задыхалась от пыли, поднятой плугами, но поделаться ничего не могла: слишком неравные были силы у ее трактора и бегущих под нагрузкой машин. Зареветь в голос — только и остается. И заревела, если бы помогло.

И тут Евдокия увидела, как сбоку выдвигается вперед оранжевый капот трактора Валентины. Стремительно и легко обогнала Валентина Ниншу, обошла ее, Евдокию, и понеслась вперед.

Евдокия, не отрываясь, следила за Валентиной. Вот та догнала задние брагинские машины, вот поравнялась с головным трактором самого Алексея Петровича и выдвинулась вперед. Всех обогнала. А что дальше? Что дальше она сделает? И вдруг оранжевый трактор повернул наперерез пашущим тракторам, показав свой бок.

Лязгнуло железо. Оба трактора закрутились на одном месте. Синий дым из выхлопных труб сразу растаял. Унеслась прочь поднятая плугами пыль, стало светло и тихо. И когда Евдокия поравнялась с ними, то увидела, что тракторы Алексея Петровича и Валентины стояли, сцепившись гусеницами, словно обнюхивали друг друга, и над ними струился горячий воздух, волнисто уходя вверх.

Евдокия прыгнула на землю, побежала к тракторам. Размахивая руками, что-то кричал Брагин. Слово его Евдокия не разбирала, она видела неестественно белое лицо Валентины, которая как сидела в кабине, так и продолжала сидеть, пораженная случившимся.

А Брагин все кричал и размахивал руками. Его обступили Сашка, Егор, Цыганков.

Евдокия тяжело, враскачку, шагнула к Брагину.

— Доигрался, Алексей Петрович? — спросила она.

— Не знаю, кто из нас доигрался! Радиатор помяли. Тебе отвечать придется. Сорвались как с цепи, понимаешь... — Крупное его лицо было зло, на скулах перекатывались желваки. — Буду просить, чтобы ремонт сделали за твой счет. Вот свидетели.

— Я тебя просила, Алексей Петрович. Добром просила...

— А кто ты такая, чтоб просить?

— Она депутат! — выкрикнула Колобихина. — А ты — бессовестный! Как будто командированный какой. Вспахал, а там хоть трава не расти!

— Начальства много стало. Не знаешь, кого и слушать, — сказал Брагин. — Не разберешься, кто главнее.

— Все ты знаешь, Алексей Петрович! — кричала Колобихина. — Не приbedняйся! Просто слабо было тебе отказаться от лишней копейки! Ему приказали, он и рад. Глаза копейкой застыло!

— Ты, тетя Нина, не шуми, — баском сказал Сашка. — Оскорблять тебе никто не позволит.

— Ух ты какой! — удивилась Колобихина. — Еще опериться не успел, а туда же. Не позволит он. А чего ж ты позволил отцу землю уродовать? Ты не знал, что нельзя ее пахать?

Евдокия повернулась к Сашке.

— Это Мертвое поле. На него нет плана. Постников сначала нам предложил, мы отказались. А твой отец — клюнул на это дело. Не отказался. Захотел неплановым хлебушком разжиться. А что земля погибнет — ему плевать. Нехорошему тебя отец учит.

Брагин молчал, гоня желваки по скулам, разглядывал помятый капот, скреб ногтем царапины. Егор с Колькой Цыганковым тоже молчали, ждали, что прикажет звеньевой.

— Ну, в общем, сделаем так... — ни на кого не глядя, проговорил Брагин. — Я сейчас еду в правление. Доложу председателю и пусть разбираются. Пускай начальство поглядит, что вы сделали с новой техникой... Пускай комиссию собирают.

— Давай езжай, — сказала Евдокия. — Мы здесь подождем. Пока тракторы не уберете со взгорья, никуда не уйдем.

Брагин полез в кабину. Умогнулся на сиденье, глянул на стоящих без движения Сашку, Егора, Кольку.

— Ждите, я скоро вернусь!

Он очень волиовался, Брагин. Иначе не полез бы в кабину, не запустив двигатель. Махнул Цыганкову рукой, и тот рванул ручку пускача, завел трактор.

Брагин понятил трактор назад, со скрежетом отцепляясь от машины Валентины, развернулся на одной гусенице, взбуровив круг земли, и покотил к Налобихе, на ходу поднимая плуги.

Евдокия сказала оставшимся брагинцам:

— Вот что, мужики. Отгоните свои тракторы вон туда, вниз. Нечего тут маячить. Пахать все равно не придется.

Сашка пожал плечами, ничего не ответил. Отвернулся. Все-таки ему, наверное, было не по себе. Колька Цыганков сделал вид, что к нему это не относится. Егор же медленно прогудел:

— А это как нам Алексей скажет. Будем пахать или не будем пахать, не знаю. Алексей велел тут ждать.

— Ну бог с вами, ждите, — махнула рукой Евдокия.

Мужики постояли, взяли из кабины телогрейки и пошли вниз, где ветер был потише. Там и легли на телогрейки.

— Пошли-и... — пропела им вслед Колобихина, а когда мужики прилегли, озабоченно взглянула на подругу. — Че теперь будет-то, Дуся? Вальке нагореть может. Это надо ж, какая отчаянная.

— Ничего ей не будет. Скажу, сама ей так наказала.

— А тебе?

— Мне? Не знаю. Да разве в этом дело, Нинша? Мы ведь правильно сделали, что не дали пахать Мертвое поле? Сама как считаешь, правильно или нет?

— Правильно-то правильно... — вздохнула Нинша.

— Ну и все. Не дали уродовать землю, а остальное — ерунда. Попадет не попадет, не в этом дело. Иначе Брагина и не останавливать. Да и где наша ни пропадала! Ой, — вдруг спохватилась она, — сколько времени потеряли из-за этих охломонов. Солнышко уж вон где. Вот что, Нинша, вы гоните тракторы на свои загонки, ставьте их там и ступайте отдыхать. А я еще тут побуду, — и пошла к Валентинному трактору.

Та сидела в кабине растерянная, лицо — в красных пятнах.

— Ну чего распереживалась?! — добродушно прикрикнула на нее Евдокия. — Ты все правильно сделала. Так их, чертей! И не шибко беспокойся. В случае чего, скажу, что сама тебе велела.

— А мне защитники не нужны, — расцепила Валентина спекшиеся губы. — Сама сделала, сама и отвечу.

— Когда придется отвечать — все ответим. Дело общее, — глухо сказала Евдокия. — А теперь поезжай вниз, на свою загонку. Ставь трактор и иди отдыхай. Сегодня, наверно, позже начнем вторую смену.

Валентина молча вылезла из машины, стала возить с пускатом. Капот спереди был погнут, исцарапан. Она с жалостью его оглядывала. Потом завела двигатель и скоро трактор побежал вниз.

«Ну и язва, — подумала Евдокия. — Язва, а сме-  
лая...»

Колобихина стояла рядом, глядела вслед пылящему  
оранжевому трактору, а свой заводить не спешила.

— А ты чего ждешь? — спросила ее Евдокия.

— Я с тобой останусь.

— Не дури, Нинша. Сегодня еще мантулить да ман-  
тулить. Без отдыха чего ты наработаешь?

— А-а, не впервой.

— Гляди сама... — махнула рукой и только сейчас  
поняла, как устала. Сил не было уговаривать.

Внизу, у подножия склона, поднимался жиденький  
дымок.

— Костер жгут, — сказала Колобихина.

— Надо и нам отдохнуть. Да и колотит всю...

Они зашли на подветренную сторону трактора и,  
подстелив телогрейки, легли. Пахло польной и нагретой  
землей, и так хорошо лежать, глядя в синее небо.  
Лежать и ни о чем не думать, и чувствовать, как мед-  
ленно, капля по капле возвращаются силы, будто из  
земли идут. И еще подумалось Евдокии, что на буду-  
щую весну, когда ее здесь не будет, ей будет вспоми-  
наться, как лежала она на теплой земле, глядя в небо.  
И ощущение тишины и покоя.

Колобихина вдруг рассмеялась.

— Ты чего? — не поднимая головы, спросила Ев-  
докия.

— Да смешно, как ты воюешь с ними. С родней-то  
будущей.

— Смешного мало, — проговорила Евдокия. —  
Дочь-то всего одна. Вот и переживаю за нее, мучаюсь.  
Было бы хоть двое... Ты счастливей меня, Нинша, у тебя  
трое.

— Нашла счастье, — хохотнула Колобихина.

— Счастье, счастье, Нинша. Ты сама этого не пони-  
маешь. У меня Юлия одна, и с ней не могу общий язык  
найти. Будто совсем мы с ней разные люди. И думаем  
по-разному. Вот как все вышло. И знаешь, что я поду-  
мала? Когда уйду с трактора, здесь вместо меня Галка  
останется.

— Галка? — Колобихина удивленно скосила на по-  
другу глаза.

— Галка, — сказала Евдокия со вздохом. — Хорошая  
девочка, работающая. И землю любит. Поверь мне, о ней

мы еще услышим. Она нас с тобой перещеголяет. Я о ней  
в последнее время много думаю. И знаешь, отношусь к  
ней как-то... ну, как к дочери, что ли... Родность какую-  
то к ней чувствую. Будто дочь она мне. Не по крови, по  
духу.

— Ой, не жалею, что у тебя их мало. С моими, трои-  
ми, попробуй сладь-ка... Да был бы еще мужик путевый,  
а то горе, не мужик. Что он есть, что его нет. Никакого  
толку... Пошлю я его, однако, к такой-то матери.

Евдокия встрепелась.

— Да ты что, Нинша? А дети? Какой ни есть, а отец.

Колобихина мрачно усмехнулась.

— Не отец, название одно. Записал ведь совсем.

— Где они ее берут, проклятую? Шофера, что ли, из  
города везут?

— Какая разница, где берут... Свинья грязь найдет.  
Вчера мы кончили где-то в половине двенадцатого? Ну  
вот, прихожу домой, а Володьки еще нету. Минут через  
десять является пьяным-пьянехонек. Я его ругать, а он  
еще и злится. Чего дескать пилишь, такая-рассякая. От-  
лаял как следует... — Колобихина приподнялась на лок-  
те. — У меня когда смена кончается, бегу домой сломя  
голову. Надо печку затопить, ужин сготовить, проверить,  
сделала ли ребятня уроки. Орет скотина — подоить, на-  
кормить надо. И все я. Да и как я после работы не до-  
мой пойду, а еще куда-то? А, Дуся? Ведь у меня семья.  
Мне не то, чтобы перед людьми стыдно, перед собой  
совестно. Перед ребятняшками. В голове у меня не укла-  
дывается, чтоб еще куда-то пойти. А Володьке — жоть  
бы хны! Будто ни дома, ни семьи, никого нету! Закон-  
чил смену и пошел себе пить с друзьями-товарищами.  
И вроде так и надо! У тебя хоть не пьет.

— Не пьет, а радости от него тоже мало, — сказала  
Евдокия.

— Твой хоть не ругается. А этому поперек слова не  
скажи. А скажешь, отmaterит, сама виноватой и оста-  
нешься. Вот мой отец, помню, минуты не мог без дела  
сидеть. Придет из конюшни и что-нибудь по дому дела-  
ет. Там починит, там подправит. Обутки всем нам шил.  
Сроду в лавке не брали. Уважали мы его, ребятняшки.  
Строгий он был и хозяйственный. Весь дом на нем дер-  
жался. Мать чуть чего все говорила: «Надо отца спро-  
сить». А этот? Когда и трезвый явится, нажрется да  
скорей на диван. Устал он сильно в своих мастерских...

Высоко-высоко в небе парил коршун, высматривая добычу. Огромное небо, беспредельное, раскинулось над Бабьим полем. Ни облачка, только этот коршун, будто соринка в глазу. И не укладывается в голове, что все это останется после нее, Евдокии. Хоть бы травинкой здесь прорасти, на родном поле...

— Ты слушаешь, Дуся? Ну и вот. Я ему: ты бы, Володя, хоть крылечко подладил. Доска-вои хлябает. Сама едва не упала. Того и гляди, кто из ребят нос разобьет. А он: я и так устал, целую смену вкалывал. Имею право отдохнуть или нет? Будто я на поле в куклы играла. Ляжет и лежит себе, никак его не растеребишь. И дети его не уважают. Глядят как на постояльца. Да и за что такого отца уважать, если он себя сам не уважает? Срамота и только... Уж лучше одной, без мужика жить. Одна, так и знаешь, что одна, надеяться не на кого, только на себя. Труднее, конечно, зато не клята, не мята. Сама себе хозяйка: встала и пошла.

Евдокия качала головой, соглашаясь, и Колобихина, видя живое участие подруги, продолжала уже увереннее:

— Ну вот я — замужня. Замужем. Значит, за мужем, за его спиной, а не спереди и не сбоку. Так ведь? Раньше, в старину, говорили: «За мужем, как за каменной стеной». Муж — он впереди жены, он обо всем должен думать: о жене, о ребятнях, о доме, о том, как жить дальше. Так должно быть по-хорошему-то, Дуся? Или нет? Или я от мужа сильно много хочу?

— Так, — подтвердила Евдокия, грустно улыбаясь.

— А почему у меня все шиворот-навыворот? Почему я сама обо всем должна думать, заботиться о каждой мелочи? Даже о доске, которая хлябает, и то я должна беспокоиться? Почему Володька отстранился от всего? Почему ему водка милее дома и семьи? Почему она ему всех заменила? Ой, да только ли у меня так... У тебя Степан хоть и не пьет, а хозяин в доме ты, Дуся. Ты хозяйка, а не Степан. Почему это? И у других баб, погляжу, то же самое. Бабы хозяева стали. Мужики от всего отстранились. Отчего это, Дуся? Почему у мужиков совести-то не стало? Куда она вся от них подевалась? — Колобихина замолчала, шумно перевела дыхание и глядела на подругу выжидающе.

Задумчиво улыбаясь, Евдокия пожала плечами:

— Не знаю, Нинша, не знаю. Тут столько всяких

«почему», что одному человеку не ответить. Головы не хватит. Наверное, мы и сами, Нинша, виноваты. Расповалили их, много на себя забот взяли. А им совсем мало оставили.

— Да как же на себя не возьмешь, если на мужика надежды нету? — перебила Колобихина. — Вот дома надо чистить стайку. Корова уж хребтом крышу подпирает. И пока я сама вилы не возьму, пока не скажу, пошли, мол, он не пойдет. У него и в голове не стукнет. Дак как же на себя не брать? Что получится-то? Тогда вообще полный развал будет.

— Все верно, Нинша, верно. Если еще и мы вожжи отпустим — не знаю, что будет. А вот раньше, до войны, жить труднее было, а мужики были другие. Правда, я маленькая была, не шибко соображала, но отца помню. Он у нас мужик работающий был. Вечно в трудах и заботах. Да что отец! Шаромыг теперешних у нас в Налобихе не водилось. И пьяниц не было. Конечно, люди и тогда выпивали, но чтобы как нынче, чтоб себя не помнили, такого представить себе не могу. Во всяком случае правлений из-за пьяниц никогда не собирали. На партсобраниях о них не говорили. А теперь? Редкое собрание обходится без того, чтобы кого-то не несочили за пьянку. Ну и вот: жизнь тяжелее была, техники не хватало, а мужики были совестливей. И ответственность знали. В этом ты права.

— То ли война их испортила, — задумчиво проговорила Колобихина, — то ли что другое.

— Конечно, и война виновата, — согласилась Евдокия. — Там им не сладко пришлось.

— А бабам сладко было? — усмехнулась Нинша. — Тебе сладко было?

— И нам не сладко было. Это уж точно. — поддакнула Евдокия. — Да только после войны мужики передых себе решили сделать, а для нас отдыху до сих пор нету. Вообще-то обо всех мужиках так нельзя говорить, что они в стороне. Есть ведь хорошие хозяева, и семьи-нины хорошие. Возьми того же Коржова.

— А мне от этого легче, что есть хорошие мужики? — перебила Колобихина. — Или моим детям легче? Нет, пошлю я его, однако, к чертовой матери. Пусть катится на все четыре стороны. Пусть хоть запьется тогда.

— Решай сама, Нинша. Да сильно-то не спеши. Выгнать всегда успеешь. Может, одумается? Я как-нибудь



поговорю с ним. Без людей. Вдруг совесть и заговорит.

— Он ее давно пропил. Совесть-то свою.

— Ну вот твой пьет, мой — нет. А жить — не легче. Мне что: тоже своего Степана выгнать? Знаешь, Нинша, мы, наверно, тоже в чем-то виноваты. Не ангелы. Характеры у нас тоже, дай бог... А вот если взять да по-дойти по-хорошему. Так, мол, и так, Володя или Степа. Живем мы как кошка с собакой. Мучим друг друга. Скажи, какой бы ты хотел меня видеть? Что тебе в моем характере не глянется? Объясни мне, может, пойму и как-нибудь исправлю. Ведь не враги же мы с тобой. И женились вроде по любви. Ну если и не по любви, то нравились друг другу. Куда все это девалось?

— Ты так говорила со Степаном? — спросила Колобихина.

Евдокия помотала головой:

— Нет. Сидит во мне какая-то зараза, упрямятся. Накричать — это пожалуйста. А ласковое слово сказать — меня нету. Язык не поворачивается. Гордость или упрямяство — черт его знает...

— Вот и у меня тоже, — сказала Колобихина. — Привыкла ругаться. Это вроде так и надо.

— А если так, — продолжала Евдокия. — Пришел твой Володька пьяный, а ты к нему с лаской? Уложила, раздела. Протрезвился — ни словом не попрекнула. И все с лаской... Как он прореагирует?

— Испугается, — рассмеялась Колобихина.

— Значит, когда ты на него собачишься — это нормально. А по-хорошему испугается? Мол, что-то задумала? Вот и беда-то наша, что не хотим уступить друг другу. Гордость свою унизить. Уперлись, как быки рогами в стенку, и прем. А кому лучше? Нам? Нет. Им? И им плохо. Надо что-то делать, Нинша. Нельзя так больше. Жизнь-то короткая. Холодно одной-то.

— Холодно, — вздохнула Колобихина.

Женщины замолчали, задумались каждая о своем, и в этой хрупкой тишине проклюнулся гул далекого трактора.

Колобихина подняла голову. Евдокия встала, вдвываясь в даль. От Налобихи пылил одинокий трактор.

— Никак Брагин? — спросила Колобихина.

— Он, больше некому, — отозвалась Евдокия. — Один едет. Без комиссии и без начальства. Культурный пахарь...

— Как думаешь, что ему там сказали?

— Не знаю. Но раз один, значит, ничего у них не выгорело.

— А вдруг какую записку от председателя везет?

— Хоть две записки. Пахать не дам. Под трактор лягу, а не дам.

— Почему ты одна-то ляжешь? — обиделась Колобихина. — Я тоже лягу. Меня-то не считаешь за человека?

— Ну, значит, обе ляжем, — рассмеялась Евдокия. Отряхнула телогрейку, накинула на плечи и стала ждать Брагина. Колобихина стала рядом, с тревогой глядела на приближающуюся машину, которая миновала подножье склона и уже лезла сюда, на вершину.

Гул трактора услышали и брагинцы, что жгли костер с другой стороны склона. Пришли к своим машинам и тоже глядели на приближающийся трактор звеньевского, тоже ждали.

— Держись, Нинша, — шепнула Евдокия, блестя глазами. — Сейчас воевать будем. Под трактор кидаться.

— Кидаться так кидаться, — отозвалась верная Нинша и придвинулась к подруге вплотную, и обняла ее, чтобы та чувствовала: Нинша рядом и никуда не уйдет, не бросит подругу.

Однако Брагин прогрохотал на своем тракторе мимо женщины и, не останавливаясь, махнул рукой своим, чтобы заводили тракторы и ехали за ним. Машина сползла со взгорья и побежала дальше — на брагинские поля. Егор, Сашка и Колька Цыганков, не глядя на женщины, запустили двигатели, залезли в кабины и поехали вслед за своим звеньевым.

— Свой клинышек кончат поехали! — с легкостью рассмеялась Колобихина. — Не выгорело у них!

— Не выгорело, — проговорила Евдокия, чувствуя, как сваливается гора с плеч, как спадает нервное напряжение, и с шумом перевела дух. — Победили мы, Нинша! И еще победим, вот увидишь! И урожай у нас будет выше, чем у Брагиных, и хлеба соберем больше! Я скорее сдохну, чем после всего этого дам Брагиным обойти себя! Не бывать этому, Нинша! — Она обняла Колобихину за плечи и смотрела, как уменьшаются на глазах уходящие тракторы, и радость будоражила Евдокию. Они отстояли землю, и земля отклик-

нется на заступничество, потому что земля жива и благодарна, и у нее есть память. В это Евдокия верила свято.

Брагины больше не показывались на Мертвом поле. В правление Евдокия пока не заходила, и только через два дня, когда звено закончило сев и прикатку, когда технику поставили на машинный двор, Евдокия пришла к председателю.

Постников сидел в кабинете один, читал какую-то бумагу. На Тырышкину он глянул мельком и с досадой. Бумагу отложил не сразу, а спустя некоторое время.

— А-а, партизанка явилась, — проговорил без особой радости.

— Это почему партизанка?

— Будто сама не знаешь. На Брагина наскочили трактором. Радиатор помяли. Это как называется?

— Не знаю, как это называется. А вот когда пашут землю, на которую нет плана, это называется авантюризмом. Это я знаю точно. Может, еще и похлеще называется. Я сейчас пойду к Ледневу и как коммунист и член бюро буду требовать, чтобы было собрание. Там и поговорим и о партизанщине, и обо всем остальном.

Постников вяло отмахнулся.

— Ты не шуми, не шуми. Чуть чего, сразу бюро, собрание... Без собрания не разберемся, что ли?

— Так не я же этот разговор затеяла, — сказала Евдокия, остывая. — Не я посылала Брагина на авантюру.

— Ну будет тебе. Авантюра, авантюра... Грамотные какие все стали. Как у вас там на поле? Закончили?

— Закончили, Николай Николаич. Посеяли, прикатали.

— Ну молодцы. А с Мертвым полем — бог с ним, забудем.

Евдокия вздохнула.

— Забывать его никак нельзя, Николай Николаич. Ты вот что: пошли-ка Брагиных. Пускай заровняют, где напортили. А осенью надо удобрений подвезти, разбросать. Да под снег каких-нибудь трав посеять. Без техники. Из лукошка, как в старину.

— Ладно. Подключим к этому делу агронома. Пусть подумает, как лучше лечить землю. Что-нибудь придумаем... Ну а за работу спасибо вашему звену. Выручили колхоз.

При въезде в город машина остановилась. Шофер Пашка заглянул в кузов, весело спросил:

— На какой вас базар? На старый или на новый?

— На тот, который побойчее! — крикнула Колобихина.

— Давай на старый! — приказала Евдокия.

Старый базар она знала давно и любила на нем бывать. Еще девчонкой ездила на подводе с отцом и матерью на этот городской рынок, и какой это был для нее праздник! Старый базар был на самом деле очень старый, старинный, невесть в какие давние года обосновавшийся в бывшем центре города неподалеку от реки. Стояли на огороженной площадке старинные, еще купеческие лабазы затейливой кладки из красного кирпича с округлыми окнами, на которые под вечер опускались тяжелые жалюзи. Там и сям разбросаны бревенчатые старой рубки павильоны, разные лавки, а так же длинные, под навесом торговые ряды, где продавалась всякая всячина, свежая охотниками, рыбаками и крестьянами из окрестных сел и деревень.

Шумное и веселое это было место, в глазах рябило от многоликой толпы, от лесной, речной и иной крестьянской снеди, горами выложенной на прилавки, наваленной в телеги, развешанной там и тут, покупай — не хочу! Бродил по базару цыган с медведем. Кудлатый медведь, как заведенный, кланялся направо и налево, протягивал к зевакам лапу, просил угощение. Помнила она и бородатого старичка с морской свинкой. За копейку свинка вытаскивала зубами из ящичка билет с предсказанием будущего. Сколько всяких чудес водилось на том незабываемом базаре! До сих пор ей помнится, как покупал отец сахарных петухов на палочке, как под широким зонтом над тележкой пили они газированную воду. Красиво написанная табличка обещала: «Газ-вода на льду, сироп на сахаре». Таинственна и сладка была эта вода! У расторопной лоточницы брали мороженое в вафельках. Все это была невидаль для Налобихи, и Дуся, теребя отца за рукав, просила купить ей и то, и другое, и третье. Как давно это было!

Помнила Евдокия и послевоенный базар, небогатый и опасный. Налобихинцы побаивались туда ездить, слишком много сновало там воря, спекулянтов, ширмачей.

Страшные слухи ходили о том базаре. Но как ни пугали налобихинцев жуткие рассказы, а волей-неволей приходилось ездить туда, нужда заставляла. Одежонку детям только на рынке можно было выменять на кусок сала или на десяток яиц, больше нигде.

Особенно запомнилось Евдокин, что много было на послевоенном базаре инвалидов, калек: безруких, безногих, всяких. Один, сидя прямо на земле и выставив на обозрение обрубки рук и ног, пел жалобную песню про бойца, которому на войне оторвало ноги и теперь он боится возвращаться к молодой, красивой жене. Другие торговали зажигалками, что-то меняли, спекулировали. Некоторые играли в три карты. Сидя на коленях перед табуреткой и жонглируя тремя листиками, ловко перетасовывали их одной рукой, зазывали бархатными голосами:

Итак, товарищи-фрайера, начинается новая игра!  
В нашем банке разыгрываются:  
брошки, сережки, губные гармошки,  
подтяжки из Берлина, таблетки сахара!  
Налетай, кто хочет разбогатеть!

Некоторые из деревенских простаков налетали и уходили с пустыми карманами, так и не разбогатев. Обманывали их нагло, с шутками-прибаутками. А начни обобранный мужик возмущаться, как его тут же обступали угрюмые личности, и дай бог унести ноги подобру-поздорову. Так было.

Потом, через годы, стало поменьше жулья, исчезли с базара калеки и инвалиды, будто кто вымел их. Жизнь день ото дня улучшалась, каждую весну объявляли о снижении цен, и на базаре стало поспокойнее. Налобихинцы уже ездили туда безбоязненно. Евдокия со Степаном нет-нет да и тоже подавались в город продать то картошку, то мясо, прикупить кое-что из вещей, которых в деревенском магазине не сыщешь. Однако в последние годы Евдокия погадала сюда редко, продавать она уже стеснялась. Как так: она — известный в крае человек, газеты ее портреты печатают, по телевидению ее показывают и вдруг за прилавком базара — мясом торгует! Неловко перед людьми, пусть городскими, незнакомыми, но ведь слышали же они о ней, о знаменитой трактористке, а значит и знали ее. Неловко — одно. Другое — торговать стало нечем. Картошки в последние годы са-

жали немного, ровно столько, чтобы хватило себе и скотине. Лишнего мяса тоже не водилось. Держали раньше двух коров, и если рождался бычок, его откармливали и глубокой осенью, по снегу, а то и перед самым Новым годом кололи и везли на продажу. А на этот раз бычок благополучно пережил зиму, потому что осенью одна из коров объелась клеверу, ее пришлось срочно забить и мяса хватило до сих пор, даже еще немного осталось — присоленного. Так что и с бычком можно было бы погодить до холодов, и корову дойную жалко, но раз Юлия твердо нацелилась на учебу в городе, то от скотины приходилось избавляться — ухаживать за ней некому. Вот и решили без лишних хлопот пустить всю живность на мясо. К тому же Юлии в город надо будет денег дать, посылать каждый месяц придется, пускай питается и одевается не хуже других. И вообще, удобнее деньги положить на книжку — они есть не просят. Так что ехали на базар всей семьей продать мясо, отдохнуть, хлебнуть городских удовольствий и снова впрягаться в работу — впереди маячил сенокос.

Года два Евдокия не была на старом базаре. И когда машина остановилась и все стали спускаться из кузова на землю, Евдокия глянула вокруг и ничего не поняла. Его просто не было, памятного с детства торжища. Исчезли каменные купеческие лабазы, затейливые навильоны и крытые торговые ряды с резными карнизами, потемневшими от дождей и ветров. Все старинные постройки исчезли. Евдокия даже показалось, что ее привезли не туда, куда она просила, а совсем на другое, незнакомое место, потому что вокруг лежала залитая асфальтом площадь и на площади, в самой середине, высилось огромное белое строение с колоннами у входа. Там толпился народ, входил и выходил, а на фасаде виднелись крупные золоченые буквы: «Колхозный рынок».

— Вот те на... — только и произнесла Евдокия, беспомощно озираясь по сторонам.

— Ты че, девка? — рассмеялась Колобихина. — Однако не была в новом-то базаре? — и потащила подружку к широким, настежь распахнутым дверям.

Внутренность здания поразила Евдокию еще больше. Это было высокое, просторное помещение с большими окнами, а потому светлое. Стены и внутренние колонны, поддерживающие потолок, украшены белым, поблескивающим кафелем. Куда ни погляди, везде между ряда-

ми краны с холодной и горячей водой над белыми раковинами, фонтанчики для питья. Даже пол и тот выложен разноцветной плиткой. Не базар — дворец! Вот где торговать-то! Хоть зимой, хоть летом приезжай. Тепло, светло и мухи не кусают. Благодать!

Они прошли в дальний конец рынка, где возле пустых алюминиевых прилавков стоял народ с сумками, ожидающе глядя по сторонам, и Евдокия поняла: ждали мясо.

И пока налобихинцы стаскивали туши в конторку, к ветврачу, люди кинулись устанавливаться в очередь без шума и ругани. Видать, здесь давно образовалась очередь, каждый знал, за кем становится.

Евдокия со Степаном выдали белые халаты, весы с гирями. Евдокия хотела взять халат и для Юлии, надеясь, что дочь будет помогать, но та, брезгливо скривив губы, вышла из весовой.

Степан принес (ему помогали мужики) тушу с лиловыми печатями, тушу положили на огромную чурку.

Подожел рубщик, тусованный, с бегающими глазами мужичонка, в грязном халате, весь какой-то мятый. Опытю определил, что главная тут — Евдокия, и заискивающе улыбнулся ей.

— Как рубить будем, хозяйка? — спросил тихо, со значением.

— Первый раз, что ли?

— Да нет, не первый, — он усмехался. — А только я по-всякому могу разрубить. В общем, килограммчика полтора и все будет по пути.

— Мы заплатили за рубку. Вот квитанция.

— Ты за какую рубку заплатила, дорогуша? За упаковочную. А я тебе хитро порублю, — он подмигнул сизым глазом. — Со всеми потрохами за первый сорт продашь. Без отходов.

— Катись-ка ты, дядя, — проговорила Евдокия, с ненавистью глядя в мятое лицо рубщика.

Тот пожал плечами.

— Хозяин — барин, — и, воткнув топор в чурку, стал закуривать.

— Ты чего? — глянула на него Евдокия.

— Как чего? Видишь — курю. Положено.

— Степан, давай руби! — велела Евдокия.

Тот молча высвободил топор, поплевал на руки, принялся рубить.

Очередь нетерпеливо загомонил.

Рядом расположились Нишка с Володькой, Галка и Валентина с родителями, и возле всех стояли очереди.

— Почему нынче мясо-то? — крикнула Евдокия Колобихиной.

Та растерянно заозиралась. Спросить не у кого. Больше с мясом никого нет, только налобихинцы. Не у очереди же спрашивать. У очереди и продавца интересы разные. Одним хочется продать подороже, другим — купить подешевле. Колобихина крутилась и туда, и сюда, не зная, как быть.

— Товарищи, почему нынче мясо? Кто знает? — спросила Евдокия у очереди, но люди, удивленные непривычным здесь обращением «товарищи» и простодушным продавца, неловко молчали.

Рубщик затоптал окурок и не выдержал, подошел.

— Не скупись, хозяйка. Полтора кило — и все по пути. И верную цену скажу. Не прогадаешь, — зашептал он.

— А я и не выгадываю! — громко и весело крикнула Евдокия. — Зачем мне выгадывать? Я наживаться на народе не собираюсь. Как вон те купцы! — — кивнула она на фруктовые ряды. — Лишнего не возмму! Так почему же мясо-то? Неужто никто не знает?

— Так по три с полтиной продают, — подалась вперед какая-то старушонка, которая все это время жалась к прилавку, боясь, что ее выдавят, цепко держась сухими, крючковатыми пальцами за край гнуптого алюминиевого листа. — По три с полтиной, матушка!

— По три с полтиной, так по три с полтиной! — громко отозвалась Евдокия, чтобы не только очередь слышала, но и Колобихина, и другие налобихинцы.

— Кооперативное мясо и то по четыре продают, — мстительно сказал рубщик, в сердцах сплюнул и отошел. Стоя возле овощного ларька в обществе трех таких же мужиков в грязных спецовочных халатах мышинного цвета, он, видимо, рассказывал им про Евдокию, потому что все они с интересом на нее глазели.

«Смотрите, — с непонятной для самой себя злостью и возбужденностью думала Евдокия, — не видали такого чуда? Честный человек для вас невидаль? Вот так-то!»

Торговля шла бойко. Люди брали помногу, по пять-шесть килограммов сразу, и Евдокия гадала: то ли уж



она и вправду так занизила цену, что люди спешили набрать побольше, пока хозяйка не хватилась, то ли уж очень редко колхозники в эту пору возят сюда мясо, так редко, что, когда оно есть, покупают впрок, чтобы лишней раз не давиться в очереди. А очередь к ней стояла большая, до самых фруктовых рядов дотянулся ее хвост.

Когда Евдокия справлялась о цене у очереди, Нинша сделала подруге испуганные глаза, показывала ей, чтобы не глупила, но Евдокия нарочно не замечала тайных знаков, и Колобихина, отрешенно махнув рукой, тоже принялась торговать по той же цене. Просить больше, чем звеньевая, казалось неудобным. Бросая на весы кусок мяса, Нинша сердито взглядывала на Евдокию, которая торговала слишком уж весело, будто невесть какие барыши наживала. Надо же... спросила цену у первого попавшегося да и рада-радешенька. Простодырая же ты, Дуська, ох простодырая! Мало того, что сама будет в убытке, так и всех остальных наказала. Теперь даже полтинник не набросишь. Испортила, можно сказать, всю торговлю.

А Евдокия и правда торговала весело, бойко, и лицо у нее было до того довольное, до того счастливое... Очередь торопила, и она едва успевала поворачиваться и скоро устала. Мясо взвешивать было не трудно. Куски Степан отрубал большие, кладил их на весы да гири уравнивал. Ни отрезать, ни добавлять не надо, сколько в куске есть — и ладно. Но вот брать деньги, считать их и давать сдачи неподручно. Руки у нее в крови, липкие, приходилось ими лазить в карман халата, искать там сдачу. Юльку попросить, что ли? Дочь стояла возле промтоварного ларька, рассматривала цветастые платья.

— Юля! Ну-ка иди сюда! — позвала Евдокия.

Дочь нехотя подошла.

— Помоги, дочка. Рассчитывайся с покупателями.

— Да ну... — недовольно поморщилась и снова отошла.

Степан тоже попытался ее уговорить, даже слушать не стала. Наблюдала издали, как крутятся отец с матерью. Она, видите ли, стесняется. «А чего стесняться? Свое продаем и берем по-божески», — с досадой думала Евдокия.

Степан едва успевал рубить. Вспотел весь. Воткнул в чурку топор, сел покурить.

И тут Евдокия заметила: к Юльке подошел молодой торговец, широко улыбаясь, что-то говорил ей, вертя в руках крупное красное яблоко, блестящее, словно отполированное. Похоже, угощал. Но Юлька презрительно смотрела мимо яблока, мимо чернявого парня. А он не отставал, плавился в улыбке и что-то говорил, говорил.

Вот черти, нигде-то они не оробеют.

Евдокия строго кивнула Степану. Тот бросил окурок и, вытирая руки о полы халата, пошел к Юльке.

— Ну-ка пойдём, — сказал он дочери хмуро. — Поможешь матери.

— Не буду я с деньгами возиться, — поморщилась Юлька.

— Думаешь, нам с матерью больно охота?

— Я лучше здесь побуду.

Степан разозлился, взял ее за руку, потянул.

Усатый торговец все улыбался.

— Эй, дорогой, зачем уводишь? Дай поговорить!

— Я т-те поговорю, — зло повернулся к нему Степан и потянул Юльку сильнее. — Пойдем, нечего тут развлекать всяких.

— Да нужен он мне, — покраснела Юлька и пошла за отцом.

Степан взялся за топор, а дочери сказал:

— Помогай.

Юлька помялась-помялась и, краснея, стала рассчитываться с покупателями. Всем своим видом показывала, как неприятно ей это занятие, губки кривила.

Торговец постоял-постоял, подбрасывая на ладони яблоко, и пошел восвояси, к своему месту. Другие торговцы, его соседи, рады развлечению, подмигивали ему, кричали что-то на непонятном гортанном языке и поглядывали на Юльку.

Обернувшись за кусками мяса, Евдокия сказала Степану:

— Вот и отпускай ее одну в город. Видишь, как липнут? Матери и отца не боятся. А что будет без нас?

Степан промолчал.

Мясо наконец распродали. Евдокия поглядела на часы и удивилась: трех часов не прошло — и кончено дело.

Очередь нехотя расходилась. Последней взяла пожилая, интеллигентного вида женщина.

— Еще привозите, — сказала она Евдокии приветливо.

Евдокия невесело рассмеялась:

— Нет, милая, больше не привезу. Больше везти нечего, — и развела руками. — Все продала.

— Как все? — не поняла та.

— А так. Были бычок и корова — закололи. Теперь у нас пустая стайка. Даже кур и тех не держим. Всех извели подчистую.

— Ну так заведете новых.

— Нет, хватит. Держать их больно тяжело. Мы с мужем оба трактористы, а дочка уезжает учиться, некому помогать. Скотина, она знаете, сколько заботы требует? И накорми ее вовремя, и напои, и подои, и почишь за ней.

Женщина, недоумевая, ушла, а Евдокия, упомянув про кур, тут же и вспомнила: надо купить сотню-полторы яиц. Смешно сказать: деревня в город стала за яйцами, за сметаной да за маслом ездить, а так оно и есть. В налобихинских дворах многие извели не только скотину, но и птицу. Пока дети маленькие — держат, а дети выросли — и корову долой. Со скотиной и минуты свободной не бывает, телевизор посмотреть некогда. Да и чего мучиться? Город не так уж и далеко. Автобус ходит регулярно. А у многих собственные машины, мотоциклы. На своем-то транспорте еще сподручнее. Съездил да купил чего надо. Без мучений, без хлопот. Смех-то смехом, а в Налобихе нынче попробуй купи яиц, сметаны, масла или молока. Не купишь. Мяса можно в колхозе выписать, а вот остального Евдокия на полках деревенского магазина не припомнит. Все эти продукты легче в городе купить, чем в деревне.

Налобихинцы, распродав мясо, не спешили ехать домой, металась по рынку, покупая и то, и другое, все заполошные, растрепанные, дорвавшиеся до промтоварных рядов. Волочили за собой огромные сумки, уже набитые обновками для себя и родни.

Подошла запыхавшаяся Колобихина, на Евдокию не глядела.

— Ты чего, Нинша, такая? — рассмеялась Евдокия.

— А ну тебя, — отмахнулась Колобихина. — Говорят, нынче мясо-то скотское по четыре с полтиной да по пять продают. Одни мы как полоумные по три с полтиной отдали. Смех и только...

— Не переживай, Нинша, — весело обняла ее Евдокия. — Все деньги не заработаешь и не выторгуешь. Будь шире. Зато видишь, сколько у нас времени осталось? Веселиться будем!

Колобихина вывернулась из-под ее руки.

— Да ну тебя... Будто я цены придумала... — Вздохнула, отмякая, с укором покосилась на подругу. — Ох, Дуська, Дуська... И в кого ты такая простодырая? Будто не на земле живешь, а в небесах витаешь. Греха с тобой не оберешься.

— Ну, будет, — строго остановила ее Евдокия. — Где мужики-то?

Колобихина огляделась.

— Только что все возле машины стояли.

Колхозный грузовик дождался их под чахлыми деревцами возле скверика, где не так жарко. Пашка дремал в кабине. Его растолкали.

— Мужиков не видел? — спросила Евдокия.

— А вон в забегаловку пошли, — Пашка кивнул на обшарпанную дверь в полуподвале соседнего дома. Вывески там никакой не разглядеть, но, судя по часто хлопающей двери, по кучкам мужчин, входящих и выходящих, там и есть забегаловка.

— Слышите, девки, — сказала Евдокия. — Мужики в забегаловку пошли, продажу отметить. Давайте и мы тоже!

— В забегаловку? — поморщилась Колобихина. — Гнилушку с ними пить? Дак там у них дым, грязь, матерятся.

— Зачем нам в забегаловку? — рассмеялась Евдокия, молодо блестя глазами. — В забегаловку пускай наши мужики бегают. А мы пойдем в ресторан. В самый лучший!

Пашка, раскрыв рот, глядел на женщин из кабины.

— Слышал? — спросила его Евдокия. — Мужики воротятся, пускай нас здесь ждут. Мы в ресторан поехали!

— Теть Дусь, пусть он нас довезет, — зашептала Галка.

— Еще чего! — смеялась Евдокия. — Не ездили мы на его таратайке по городу! На такси поедem. Кидайте сумки в кузов. Пашка покараулит. Все равно делать нечего.

— Может, меня с собой возьмете? — ухмылялся Пашка.

— Без вашего брата обойдемся!

В ресторане Евдокия по-хозяйски заняла столик и попросила меню.

— Что пить будем? Шампанское? — и видя, как растерянно и стыдливо озирается Колобихина, как мнется Галка, сказала: — Значит, так. Берем бутылку шампанского. Юльке — лимонаду, потому что еще мала. Ну и поесть надо.

Подождал официант, тонкий, улыбочивый парень, весь прилизанный. Услужливо согнулся с блокнотиком в руке.

— Бутылку шампанского, — сказала ему Евдокия, откинувшись на спинку кресла. — Яблоки есть? Яблоко и чего-нибудь горячего.

— Фирменный бифштекс, — учтиво отозвался официант.

— Только поживее, — наказала Евдокия.

Через минуту на столе появилась запотевшая темная бутылка с серебряным горлом.

Официант услужливо спросил Евдокию:

— Прикажете открыть или сами?

— Открой. Поухаживай за нами.

Хлопнула пробка. Евдокия глядела, как официант разливал по фужерам вино. Дочери она попросила налить лимонаду и кивком отпустила официанта.

— Ну, бабы, за все хорошее! Поехали!

Выпили, закусили яблоками.

Колобихина уже не оглядывалась по сторонам, а размягченно улыбаясь, влюбленно глядела на подругу.

— А наши-то в подвале гнилушку пьют.

— Пускай пьют. Так им и надо, — смеялась Евдокия. — Ишь какие, без нас вздумали отпраздновать. Не на тех напали! Вот так, Ниша, с ними и надо. Они гнилушку пьют, а мы — шампанское.

— Ох и боевая ты, Дуська... И в кого ты такая? — качала головой Колобихина. — Я бы сроду не насмелилась. Это ж надо — в ресторан...

— Почему бы ты не насмелилась? — строго спросила ее Евдокия. — Ты что, иждивенка какая-нибудь? Нет, ты сама работаешь. Ты трактористка, Ниша. Ты людей хлебом кормишь. Где твое классовое достоинство? Где твоя гордость хлебороба? Кого тебе бояться? Мужики вон все себе позволяют, а ты боишься. Да если

хочешь знать, нам больше положено, чем им. Мы ведь на двух работах работаем. На работе и дома!

— Это правда, — пригорюнилась Колобихина. — Мы и дома и везде, знай, вкальваем, да еще глядим, чтоб мужик совсем не запылся. Все на нас нынче держится: и колхоз, и семья, и свое хозяйство. Слышь, Дуся, верно, нет ли, говорят, на уборке всех баб у нас на комбайны посадят. Не слыхала таких разговоров?

— Видно, так оно и будет, — вздохнула Евдокия и, отрешаясь от всего грустного, махнула рукой. — Давайте за нас, за женщин!

— За нас, за нас, — подхватила Колобихина. — За них пить не будем. Ну их подальше.

— Не будем, — согласилась Евдокия. — За себя они сами выпьют.

— Гнилушки в подвале.

— Но-о...

Чокнулись, выпили.

Евдокия отставила фужер и строго поглядела на дочь.

— Чтоб в ресторан ни-ни. Поняла? Ты на нас не смотри.

— Да знаю, — сказала Юля.

— Хорошо, что знаешь. Только и напомнить не грех. Будешь сама зарабатывать, тогда другое дело. Кавалеры пригласят — не ходи. Пропашее дело.

— Ну хватит тебе, — поморщилась Юля. — Сама знаю.

— И правда, чего ты на нее напала? — вступилась Колобихина.

— Я не напала. Я на всякий случай. Не хотела, чтоб она здесь, в городе, оставалась. Лучше б при мне была, но мешать не буду. — Повернулась к дочери. — Учись, Юля, да с умом живи. Все, больше ничего не скажу.

— Ой, пора поди, — спохватилась Колобихина. — Мужики нас там заждались. Ругаются поди.

— Подождут. Мы же веселиться приехали. Подставляйте-ка свои фужеры. Сейчас нам бифштекс принесут.

— Благодать, — размягченно улыбалась Колобихина. — Поела, встала и пошла. Посуду мыть не надо. Как барыня. Живут люди...

— Не завидуй.

— Да я разве завидую? Я так...

Заиграла музыка. Хорошо было сидеть, да пора под-

ниматься. Евдокия подозвала официанта, рассчиталась.

— Встали, — скомандовала и поднялась первая.

Мужики стояли кучкой возле Пашкиного грузовика, глядели, как женщины не спеша выходили из такси.

— Ой, че сейчас буде-е-ет... — прошептала Колобихина. — Он меня при всех тут отлает.

— Не пикнет, — шепотом же отозвалась Евдокия.

Мужчины изучающе оглядывали женщины, понимающе улыбались. Степан улыбался отстраненно и снисходительно. Уже, мол, ничем не удивишь. Володька ухмылялся удивленно, не знал, как себя вести, что сказать. При Евдокии ругаться опасался. Отец Галки, уже подвыпивший, впрочем как и другие, молчал.

— Вот так, мужики, — назидательно сказала Евдокия. — Мы малость загуляли. Терпите, — и полезла в кузов.

Когда выехали за город, Евдокия вдруг крикнула, ломая напряженную тишину:

— Ну чего приуныли, бабы? Споем, а?

И первая затянула:

А вы не айтесь, русые кудри!

Колобихина прыснула в кулак, покосилась на ошарашенного своего мужа и стала подпевать. Галка тоже пела.

Мужики переглянулись и покачали головами. Стали закуривать.

9

Гул моторов низко повис над обской поймой, над парным травостоем лугов, таким сочным, что, кажется, сожми в горсти пучок травы и потечет из нее темно-зеленый, густой сок.

Высокое сильное солнце стояло над влажными после дождя лугами, высвечивало каждую в отдельности травинку, сверкало в росе. Невысохшие еще озера ослепительно отсвечивали, и так светло и радостно было вокруг от щедрого солнца, от густого духа скошенных трав, от проносившихся над тракторами вспугнутых уток, с поджатых лапок которых падали сияющие капли, от всей этой луговой благодати, веселящей глаз, что сладко ныло под сердцем. И когда трактор резко клюнул носом, проваливаясь, когда гусеницы зачавкали в болотной жиже, Евдокия не сразу сообразила в чем

дело, только сердце екнуло от испуга. Но она тут же прикинула к лобовому стеклу, разглядела впереди среди стеблей травы темную, стоящую воду. Так вот оно что: в болотце заехала. И как она могла промахнуться? Глядела вроде внимательно. Наверное, все-таки расслабилась, любуясь окружающей благодатью, отдыхая душой, и не сразу выделила этот по-особенному зеленый, сочнее других, травяной островок. Болотце, правда, оказалось небольшое, круглое, как блюдце, через неделю-другую оно иссохнет при такой жаре, а пока что надо побыстрее выбираться из него.

Евдокия отключила муфту косилки, чтобы не повредить ножи, когда косилка пойдет наперекос, и прибавила газу, выглянув из кабины, видя бурлящую под гусеницей воду, перемешанную с черным, вязким илом, с выдранными белыми, как молодые луковицы, корнями трав. Она чутко прислушивалась к грохоту двигателя. Как он там, вытянет, нет? Мотор ревел, гусеницы с визгом вращались, будто кипела вода под ними, но вращались вхолостую, тракам не за что было зацепиться. И Евдокия, привстав со своего сиденья, напрягшись, ждала, когда трактор выползет к недалекому берегу.

Траки все же нащупали под собой твердую почву, уцепились, мотор взревел что есть силы и стал медленно выдыхаться, придушенно смолкая. Кажется, еще немного и он задохнется совсем и, потеряв скорость, разом оседет в трясины.

Евдокия торопливо убавила газ, не дав упасть оборотам двигателя, переключила скорость на первую передачу и медленно стала добавлять газ, чувствуя каждой жилкой тела, как ослабел мотор, и вдруг различила в работе двигателя еле заметный еще скребущий звук, который, прорезаясь, слышался все явственней. У Евдокии даже под сердцем кольнуло, словно и сердце приостановилось и ждало: что же дальше? «Стук всегда наружу выйдет», — вспомнила прибаутку слесарей-ремонтников и начала раскачиваться в кабине взад-вперед, словно подталкивая трактор, не давая ему остановиться. И когда трактор вылез из болотца, когда Евдокия, встав на гусеницу, помахала Колобихиной, чтобы объехала бочажок, то прежде, чем снова включить муфту косилки и двинуться по своей загонке дальше, решила опробовать двигатель.

Осторожно прибавила обороты на холостом ходу, но



вроде все было нормально. Двигатель гремел ровно, сильные выхлопы из трубы ровными толчками били в небо. Никакого скрежета, никакого стука в цилиндрах. Неужели ей показалось? Вообще-то у страха глаза велики, но она не очень и удивилась бы; застучи двигатель. Машину после сева ремонтники смотрели, кое-что подладили, но по мелочи. А по-хорошему, трактору нужен капитальный ремонт, второй за его жизнь. Евдокия говорила об этом Коржову, а Иван Иванович лишь посмеялся: «Его осталось выкрасить да выбросить». И даже Леднев, к которому пошла Евдокия, так и не уговорив Коржова, не утешил ее: «Мы твой трактор, Никитична, осенью на постамент поставим. Пусть стоит как памятник».

Вот и поговори с ними. Богатые сильно стали — живые тракторы поднимать на постаменты. Раньше бы так не сказали. Впрочем бог с ними... До осени трактор как-нибудь дотянет, а больше ей и не надо. Вместе с трактором уйдет она на покой.

Она погоняла двигатель на холостых оборотах, включила муфту косилки, и трактор, словно отдохнувший конь, побежал дальше как ни в чем не бывало.

Евдокия успокоилась, посмотрела вокруг — на двутушие луга, на сваленные травы, уже подвялившися на солнце, и улыбнулась. Быстро время летит. Оглянуться не успеешь и осень придет, не запоздает. Кажется, еще вчера сошел снег с полей, а уж и сев закончился. Междупарье просочилось, как вода сквозь пальцы, уж и сенокос в полном разгаре. Промежуток между севом и сенокосом выпал из памяти Евдокии, словно и не было его, а рядышком встали две страды: весенняя и летняя, сенокосная, будто продолжая друг друга без всякого перерыва. Да так оно, видно, и было. Спроси сейчас Евдокию, что делала она в то нерабочее, спокойное время, она толком и не припомнит. Только и осталось в памяти, как съездила на рынок да проводила Юльку на учебу в город. Но эти два события стояли особняком. Остальное время занималась разными мелочами — и дома, и в конторе, мелочи не запоминаются. И как бы то ни было, а сомкнулись за спиной весна с летом. Скоро подберется и главная страда — жатва. До зимы время добежит быстро. Потом снегозадержание, подвозка кормов. Завершится годовой круг скоро. Сама не поймешь, когда он только успел. Сколько уж миновало их, похожих один

на другой кругов жизни! Она их не считала, некогда оглянуться, а время — оно все помнит, всему ведет счет. Наматывает оно Евдокии годы и наматывает, и однажды удивится она старости, как неожиданности.

Уже две недели прошло, как Юлька в городе, а писем от нее нет. Хорошо ли ей там, плохо ли? Хоть бы черкнула матери открытку. Обида брала на дочь и не только за то, что не пишет. Евдокия после ее отъезда стала чувствовать в душе пустоту. Жила Юлькой, ее будущим, а она взяла да укатила себе, опустошила материнское сердце. Раньше Евдокия подумывала: вот завершит она свой последний рабочий круг и глубокой осенью, после того, как поднимут зябь, когда год будет подчищен, она уйдет из механизаторов. Возможно даже выйдет на пенсию. У нее большой механизаторский стаж, здоровье уже не то, а для женщины-трактористок большие льготы. И ей через время виделось, как она возится с внучатами, и сразу светлело на душе, будто какой огонек загорался впереди и манил к себе. Как же без внуков-то? Она себе такое и представить не могла, в голове не укладывалось. Без дела она не привыкла и сидеть на пенсии сложа руки не сможет, внуки нужны, чтобы заботиться о них. Да и вообще на внуков поглядеть любопытно, а через них заглянуть и в будущее, в те годы, когда ее самой на земле уже не будет. Без внуков же ей вперед не заглянуть, ведь у нее одна лишь память останется. Память же только назад смотрит, в будущее ей пути заказаны. Нет, как ни думай, а внуки согреют старого человека хотя бы тем, что будешь знать: твой род не заглох, не выветрился, а продолжается и будет продолжаться без тебя, а значит и сама не ушла бесследно, раз твоя кровь осталась в будущих людях. А кому передашь то, что накопилось в тебе за долгие годы? На том свете это никому не пригодится. А ведь она, Евдокия, помнит старые песни и сказки, которые ей пели и сказывали дед с бабкой. Она помнит их наставления, как жить, чтобы было хорошо тебе и людям. Это надо передать внукам, вот тогда и протянется ниточка из глубины, от покойных стариков к будущим людям. Это не ею выдуманно, так испокон велось и ведется. А вот Юлия уехала и гадай: то ли она выучится да вернется домой, в Налобиху, то ли выйдет в городе замуж и — поминай как звали. Будет по праздникам навещать отца с матерью, и другие люди будут нянчить Юлькиных детей.

Дай бог, попадутся люди хорошие, выучат их доброму. Но куда Евдокия девать свое? Кому передать накопленное? Некому...

А под вечер, когда солнце уже закатывалось, когда делала Евдокия последний заход перед тем, как заглушить машину и пойти к общему табору на берегу реки, где светлели палатки, горел костер и варилась уха из наловленной ребятишками рыбы, трактор сломался. Мотор перед этим зачихал, посылая в остывающее небо густые, сажевые хлопья дыма, машина судорожно задержалась, рев двигателя упал и задавленно замолк.

Евдокия вылезла из кабины на гусеницу, постояла и прыгнула в траву. Озабоченно глядела на замолкший двигатель, внутри которого еще что-то жило, пощелкивало и попискивало.

Подошел Степан. Ни о чем не спросив жену, даже не взглянув на нее, стал оглядывать мотор, облокотившись на капот.

— Как думаешь, что с ним? — спросила Евдокия, почти догадываясь, какая произошла поломка.

Степан пожал плечами.

— Разберем — узнаем...

Полез под сиденье, вытащил оттуда гремющий ящик с инструментами, положил на траву и закурил, не сводя глаз с двигателя, как бы прицеливаясь, с чего начать. Торопливо затянулся несколько раз, затоптал окурки и нетерпеливо шагнул к мотору.

Евдокия стояла тут же, ждала. И пока Степан отворачивал гайки, ловила каждый его взгляд, подавала ему то один ключ, то другой, хотя он ничего не просил. Сама угадывала, что ему надо, понимая: главный сейчас тут — Степан и лишь от него зависит, оживет ее трактор или нет.

Солнце ушло за высокий яр берега, отстрадовав свое время, когда Степан добрался до дымящегося, маслянисто отсвечивающего нутра двигателя. При блеклом свете карманного фонаря Степан разглядел то, ради чего разбирал двигатель, и так сумрачно присвистнул, что у Евдокии, выглядывающей из-за спины мужа, обреченно сжалось сердце.

— Шатун порвало, — выдохнул он наконец.

Степан держал в руках еще теплый в парящей солянке поршень с обломленным шатуном, где на сломе, ничем не испачканном, сахарно поблескивала крупитча-

тая структура лопнувшего металла. Держал и как бы взвешивал его, соблажая, что с ним делать дальше. Но ничего не придумал, бросил его к инструментальному ящику и стал вытирать руки о траву.

Евдокия проследила взглядом, как падал шатун, как звякнул об угол ящика, подняла на Степана глаза.

— Что будем делать?

— Не знаю. Запасного шатуна у меня нету.

— Надо съездить в мастерскую, — тихо сказала она.

— Днем надо ремонтировать. Чего я в потемках-то увижу? Может, задиры в гильзе.

— Надо сейчас съездить. Утром трактор должен работать.

Степан усмехнулся:

— Ну если по щучьему велению...

— Да нет, не по щучьему. Ремонтировать надо. Возьми коня да съезди. Я тебе помогать буду. Ну, Степан? Будь другом...

— На ночь-то глядя?

— Ну давай я сама съезжу. А? Надо, Степан. Пойми. Очень тебя прошу. Первый раз, может, так прошу...

Мягкий, просительный тон жены удивил его. Степан заколебался, не в силах отказать. Стала бы требовать — уперся бы и делу конец. А когда по-человечески, отказать язык не поворачивался.

— Да съездить-то можно. Только когда я обернусь? Мастерские заперты. Это к Ивану Ивановичу надо идти, будить...

— А ты поспеши, Степанушка, я подожду.

Степан раздумчиво поскреб в затылке и побрел искать коня к прибрежному тальнику, уже растушеванному сумерками. Затих шелест травы под его сапогами.

Подошла Колобихина от костра. Со света она долго всматривалась в подругу.

— Ну ты че, поломалась?

— Поломалась, Нинша, — вздохнула Евдокия. — Шатун порвало. Вот послала Степана к Коржову. Привезет — начнем ремонтировать. До утра надо успеть.

Колобихина всплеснула руками.

— Да ты в уме? Ночью мужика отправила.

— Шатун-то нужен...

— Да ты куда так торопишься-то? Неужто дня бы не хватило? Ну ты даешь... Он ведь не поужинал даже. О-о, какая ты есть-то!

— Я даже и не подумала об этом, — искренне проговорила Евдокия и застыдилась, только теперь сообразив, как нехорошо сделала. Пристала к мужу: иди и все. Он голодный и ушел. Как он будет впотьмах добираться? Дорога-то возле обрыва. Не дай бог, конь испугается или еще что. Ночь есть ночь. И что за морочь на нее нашла? Хоть беги догоняй. Правда, что совсем без ума стала.

— Трактор она пожалела, — укоризненно говорила Колобихина, качая головой, — а живого человека ей не жалко. Твой ведь он мужик, не чужой. Ох и бабы пошли... бьют нас, да мало. Чего стоишь, как неживая? Покличь его, пускай хоть ухи похлебают. Тоже ведь цельную смену пластался, не на травке разлеживался.

— Ой и правда, Ниша, надо позвать. Совсем ума решилась... — Евдокия сложила ладони рупором. — Степан! — крикнула она в сторону темных зарослей тальника. Помолчала, прислушалась — никто не отозвался. Повернулась к нависшему над лугами береговому взгорью. — Степа-а-а! Степа-а-а!

— Так он уехал, тетя Дусь, — сказала подошедшая на голос Галка. — На коне уехал. Я видела.

— Эх, Дуська, Дуська, — вздохнула Колобихина. — Сердце у тебя мохом обросло, закаменело... Ладно, пошли к костру. Ужинать зовут.

Но Евдокия не двигалась, ждала. Боялась, что Степан отзовется, а она не услышит. И Колобихина, подхватив Евдокию за рукав, потащила за собой.

— Пошли, пошли. Чего теперь ждать? Ничего не выстоишь. Надо было раньше думать.

После ужина Евдокия посидела вместе со всеми у костра, а сердце так нехорошо щемило, и она не выдержала, побрела во тьму, щупая ногами дорогу. Трава уже приняла росу, голенища сапог посвистывали о мокрые листья трав, сапоги скользили по влажной тропе, но она шла и шла.

«Неужто я и вправду такая бессердечная стала? Колобихина и та меня корит», — подумала Евдокия, и вдруг ей стало Степана жаль, будто Ниша разбудила в ней дремавшую жалость к мужу. Евдокиин вдруг представилось, что Степан больше не воротится, и тоска сжала сердце так нестерпимо... Вот ведь как бывает: живешь с человеком бок о бок много лет, никаких радостей от него не видишь, кажется, надоели друг другу

хуже горькой редьки, а подумаешь, что останешься без него, сразу и жалость одолевает и так горько становится, свет не мил. И не помнишь уже худое, оно забывается сразу, напрочь, вспоминаешь одно хорошее, будто всю жизнь так и было. Что это такое? Привычка?

Евдокия медленно поднималась по крутому взвозу, переставляя ноги на ощупь, потому что ничего не видела. Перед ней плотным сгустком тьмы, застелившим все впереди, навис высокий обской берег. Вершина берега смутно угадывалась и была так высока, что, казалось, едва различимая, размытая синева неба с невызревшими еще бледными звездами лежала на самой вершине берега.

От крутизны склона Евдокия скоро выдохлась. Сердце зачастило и стучало гулко, отдаваясь в висках, колени подгибались.

«Куда же это я иду-то?» — подумала Евдокия и невесело усмехнулась над собой. Но она маленько хитрила, она знала в себе удивительную способность: иногда, не задумываясь, сделает что-то, а потом окажется, что так и надо было. Будто жила в ней умная, глядящая далеко вперед сила, эта сила и подсказывала ей, как поступать. Вот и сейчас Евдокия шла, доверившись тайному своему поводырю, зная, что раз идет, значит нельзя не идти, и есть в этом какой-то дальний смысл, который ей пока не открылся, но обязательно откроется, когда настанет срок. А потому она медленно поднималась вверх, часто отдыхая, прижав левую руку к груди, как бы не давая ошалело колотящемуся сердцу вырваться из-под ребер.

Совсем уже выбившись из сил, поднялась наконец Евдокия на высокий ровный берег и, пройдя еще немного вдоль берега, остановилась у края, тяжело переводя дух.

Евдокия постояла, отдыхая, и пошла по дороге в сторону Налобихи, где стояла плотная, всепоглощающая темень без единого огонька. В степи вскрикивали ночные птицы, пугая и навевая тоску, а она все брела и брела, вглядываясь вперед, вслушиваясь, надеясь услышать хотя бы скрип телеги, на которой должен возвращаться Степан, и волновалась. Как ждала она сейчас Степана, как хотела встретить его. Неплохой он мужик, если уж разобраться. Молчаливый и спокойный. Что ни попросишь — сделает. И никогда не попрекнет. Вот и



сейчас уехал добывать шатун. Голодный, усталый, а не пожаловался. Раз надо, значит надо. Безотказный. Чего еще она от него хочет? Чтоб поласковее был? Так это и от нее самой зависит. Самой надо быть ласковее... Всколыхнулась жалость к Степану, и даже больше, чем жалость, что-то давнее и забытое проснулось в ней. И она даже взволновалась, как в давние, молодые годы. То ли ночь и одиночество тому виной, то ли что иное, но она вдруг вспомнила те свои годы, когда жизнь казалась легкой и светлой, когда ожидала одних только радостей и умела краснеть под взглядом Степана. Были ли они, эти времена, не приснились ли ей? Были, да так далеко укатились в невозвратные дали, что, кажется, и не с ней это происходило, а с кем-то другим, словно чужим умом это помнила, холодным и рассудочным.

И снова она усмехнулась над собой. Жаль стало себя. Жить оставалось немного, жизнь, можно сказать, прожита, а что светлого было у нее в дальних временах? Ожидание радостей, которое само по себе было ощущением счастья? Были радости, были, да затерялись они, одна горечь осталась от них, как горький дым затухающего костра. На душе — одиноко и холодно. Степан с нею слова лишнего не скажет, чужой и чужой. Юлька, кровь ее и плоть, уехала слишком уж спокойно, будто только и ждала, как бы поскорее вырваться от матери. Как же это так получилось, что жизнь покатила под горку, к последним своим годам, а у нее сердце тепла не накопило.

Евдокия вдруг вздрогнула и непроизвольно шагнула назад. Она стояла возле обрыва, у самого среза, за которым далеко внизу тускло светилась река. Она узнала это место с редким, худосочным кустарником обочь дороги, узнала глазами и памятью. Через время донеслось до нее отчаянное ржание лошади, которую телега стаскивала туда, вниз, в гулкую пустоту обрыва. И увидела покачивающийся кустик на одвом-единственном корешке, он словно провожал улетающую под обрыв лошадь. Евдокия вдруг почудилось, что под ногами зазвенела черная трещина, и она, вскрикнув, отшатнулась. Все происшедшее здесь много лет назад предстало перед ней так отчетливо, будто случилось вчера. Даже в своем коротком испуганном вскрике она узнала давнишний свой голос, почувствовала в себе тот дальний страх и отчаяние. И поразила: зачем и как она сюда пришла?

Почему ноги привели ее именно сюда, хотя дорогу накатали новую, дорога теперь далеко огибает старый обвал?

Смутно и непонятно в душе. Страх скоро унялся, а сосущая тревога осталась. Глядя за реку, на светлое пятнышко зарождающегося дня, который пока еще далеко-далеко от Налобихи, в других землях, светит другим людям, но через несколько часов придет и сюда, Евдокия вдруг отчетливо поняла, что хотя и доживает жизнь, а счастья она не нажила, потому ей холодно и неудобно. И это стало ей понятно лишь сейчас и тут, перед чертой обрыва, к которому она, не желая того, подошла и глянула вниз. Она видела не только обрыв, с которого сорвалась и исчезла навсегда Мухортуха, ей подумалось о своем обрыве, к которому неминуемо подведут ее годы, и ощутила себя одинокой на пустынном краю жизни. Стоит она одна-одинешенька и поплакаться некому, некому пожалеть ее. Какая злая сила распорядилась, что при живом муже и при живой дочери осталась она одна? И что делать дальше? То ли попробовать связать порванную ниточку между нею и Степаном, то ли уж жить, как живется, отпустив вожжи и надеясь, что куда-нибудь да вынесет? Так и шагать по колесе? Нет, жизнь пошла под уклон и чем дальше, тем скорее. Оттого и захотелось человеческого тепла, сердечности, ласкового слова. Старость теплоту любит по-особенному. Был бы мудрый третий человек, подошел бы к Евдокии и Степану, подтолкнул бы их друг к дружке: милые вы мои, что же вы творите? Кто вас порознь согреет? Да никто не подойдет, нет такого третьего человека...

Обострившимся в тишине слухом уловила Евдокия далекий звук, похожий на конское фыркание, и вся встрепелась, глядя в густой сумрак, даже дыхание задержала, ждала: не скрипнет ли колесо телеги, не звякнет ли подкова о случайный камень. Навстречу ей и на самом деле что-то двигалось. Она угадала силуэт лошади и на ней верхом человека. Оказывается, Степан не на телеге ехал, а верхом. Так ведь быстрее. А она ждала, что он будет на телеге. Не дает ей покоя та давняя телега в колесе. Никак не забывается, нет-нет да и напомнит чем-нибудь о себе. Везде она ей мерещится.

Замирая от волнения и неловкости перед Степаном, которых давно не испытывала, Евдокия метнулась к дороге, боясь, что Степан проедет мимо нее не заметив.

Конь испугался, захрапел, шарахнулся в сторону.



Степан коня не останавливал, он лишь обернулся и молча вглядывался во тьму, пытаясь понять, чего испугалась лошадь. Наверное, он и сам боялся, потому что низко пригнулся к лошадиной шее, почти лежал.

— Степан! — с отчаянием крикнула Евдокия, опасаясь, что муж сейчас ускачет и она останется одна в ночной степи.

Было видно, как Степан распрямился на лошади, что-то глухо заговорил, успокаивая испуганное животное, похлопывал ладонью по шее, но подъезжать к Евдокии не спешил, настороженно вглядывался в идущую к нему одинокую фигуру.

— Степан, это я! — крикнула Евдокия снова, и пока она подходила ближе, лошадь беспокойно повернула голову в ее сторону, тряся гривой и похрапывая, нервно переступая с ноги на ногу.

— Ты, что ли? — сильно удивился Степан.

— Я, Степа, — смущенно рассмеялась Евдокия.

— Дак ты куда идешь-то? Что случилось?

— Ничего не случилось. Тебя встречать шла. Что-то тревожно мне за тебя стало, вот и пошла.

— Гляди, какая забота, — Степан усмехнулся в темноте. — Сроду бы не подумал. — Он спрыгнул с лошади, пошел рядом.

Евдокия понимала, что Степан обижается на нее. И как не обидеться? Голодным да еще ночью отправила его в деревню искать запчасти, а теперь ему придется еще ремонтировать ее трактор. Кто знает, сколько он провозится? Тут любой обидится. Другой бы мужик на его месте сказал ей пару ласковых, а этот еще терпит. Только и всего, что усмехнулся на ее слова.

Степан шел молчком, и она не лезла к нему с разговорами. Брела рядом тихая, задумчивая, опустив голову, всем своим видом винясь перед мужем.

Так молча и дошли до стана.

Костры здесь уже потухли, тлели головешки. Все спали. Полуночников встретила верная Нишша, накормила Степана ужином.

Чуть позже Степан подогаил свой трактор к мертвой машине Евдокии, направил фары на его вскрытый мотор, убавил обороты до негромкого бархатистого рокота и взялся за инструменты.

Евдокия стояла у него за спиной покорная и тихая, ожидая, что муж попросит ее чем-нибудь помочь, но он

ни о чем не просил. Сам нагибался к инструментальному ящику за ключом, сам складывал замасленные детали на подосланную тряпицу.

— Ты не устал, Степа? — спросила она осторожно.

Он не ответил, позванивал ключом о металл. Фары высвечивали его согнутую спину. В желтоватом свете дымилась роса на травах.

— Ты, конечно, на меня сердисься, — заговорила она снова, не обидевшись, что он не ответил ей. — Только ведь я загадала, Степа. Потому и мучаю тебя.

— Что ты загадала? — спросил он неживым, без всякой интонации голосом, не обернувшись к ней, будто спиной спросил.

— Работаю, пока трактор ходит. Хочу до осени дотянуть на нем. Новый брат — нет смысла. Чтoб сразу и мне, и ему уйти. Обоим, в общем. Вот и переживаю, чтобы до осени доработать.

— Куда уйти? — донеслось из-под капота.

— Из механизаторов. Тяжело мне стало. Все же вот-вот полсотни стукнет. Можно на пенсию оформляться. Нам ведь льготы... А трактор мой спишут.

— Да? — отозвался Степан, а минуту спустя добавил: — Шла бы ты спать. Не люблю, когда над душой стоят.

— Я думала, тебе веселее со мной, — сказала Евдокия. Спать она очень хотела, но уйти в палатку было совестно. Степан работает, а она спать будет... Нагрела ногой скошенной травы, бросила сверху телогрейку и прилегла, слушая, как убаюкивающе рокочет Степанов трактор, видя, как сам Степан сгибается и разгибается, и огромная тень его прыгает по травам, по росной, парящей луговине. Ей вдруг подумалось, что именно затем ходила она встречать мужа, чтобы он немного отмяк. Она для себя, видно, еще раньше решила помириться со Степаном, сблизиться. Сама себе в этом не признавалась, а внутренне готова была сделать первый шаг навстречу. Боялась, что к застарелой размолвке прибавится новая обида, вот и пошла. Конечно же, ее молчаливую повинность Степан заметил, хотя вида не показал. Правда, как у любого обиженного человека, была на его стороне. Он это сознавал, но, как показалось Евдокии, совсем не смягчился, а оставался тем же спокойным и холодным, безучастным к ней.

И, подумав об этом, Евдокия печально улыбнулась.

Конечно, она жестоко поступила с мужем, но ведь пошла же его встретить и уже одним этим, без всяких слов, вибилась перед ним, первая делала шаг к сближению. Почему он этого не ценит? Неужто ему самому не опостылела такая жизнь? Ведь не совсем закаменело и его сердце, чтобы не отозваться на ее шаг к нему...

С этими беспокойными мыслями Евдокия ушла в сон.

Разбудил ее рев трактора, такой надсадный, неистовый, словно что-то выдирали из его железного нутра. Но Евдокия, хотя и спросонья, а сразу узнала голос своего ожившего трактора. Двигатель ревел на самых высоких оборотах, поднявшись до звенящего воя, а потом стал медленно сбавлять обороты, перешел на спокойный рокот и вскоре вовсе замолчал. Замолк и другой трактор. Фары погасли и стало непривычно тихо.

Уже светало. Над лугами и рекой висел легкий туман, растушевывал все вокруг. Было зябко.

Шурша сапогами по влажной траве, подошел Степан. Стоял над Евдокией, вытирая ветошью руки. Пахло соляной.

— Сделал, — коротко выдохнул он и все стоял, глядел на жену, не зная, как быть дальше. То ли уйти, то ли остаться.

— Спасибо тебе, Степа, — сказала Евдокия мягко. — Ложись, отдохни. Еще есть время, — и с готовностью подвинулась на телегрейке.

Степан устало опустился рядом. Лег на спину, положив руки под голову, молча глядел в небо.

Евдокия тоже смотрела вверх на очищающееся от тумана бледное небо, на выцветающие уже звезды, исчезающие, как капли росы. Неожиданно ее взгляд уловил яркую, необычную звездочку, которая тихонько плыла по небосводу, рассыпая вокруг себя лучистый свет.

— Гляди-ка, спутник, — обрадовалась Евдокия, что не так холодно и безжизненно стало в небе, что появилась в нем эта живая точка, на которой можно остановить глаза. — Может, там космонавт. Летит себе. Поглядывает вниз...

— Пускай летит, — равнодушно отозвался Степан и зевнул. — Давай подремлем, а то подниматься скоро.

— Ты посни, а я просто полежу.

Зябко поежилась, придвинулась к Степану ближе, погладила ладонью его небритую щеку.

— Ох, Степа, Степа... Жизнь-то проходит, а мы все дуемся друг на друга. Будто сто лет у нас впереди. Будто вторую жизнь жить собираемся... Слышь, — проговорила дрогнувшим голосом. — Погладь мои волосы. Раньше, бывало, ты любил их перебирать. А я притихну и сладко так, лежу, не шелохнусь, — и стянула с головы платок.

Степан приподнял голову, глядел на жену, соображал что-то. Потом его рука как бы нехотя коснулась ее волос, пальцы стали лениво перебирать пряди, да не с той нежностью и лаской, как в те далекие годы, когда все у них было ладно. И волосы у Евдокии были уже не те, не шелковистые и густые. Седина в них светилась.

«Было да сплыло», — подумала она, и предутренние звезды раскололись в ее глазах на мелкие, слепящие осколки.

Он удивленно встрепенулся.

— Плачешь, что ли? — утер жене глаза теплой, пахнувшей соляной ладонью и поглядел на ладонь. — Гляди-ка, че есть... слезы. Я думал, ты и плакать не умеешь.

— Холодно мне, Степа, — проговорила Евдокия с глубоким, судорожным вздохом. — Вся душа выстыла.

— Думаешь, мне тепло? — задумчиво отозвался Степан.

— Вот до чего дожили, — продолжала Евдокия тихим, скорбным голосом. — Сколько лет прожили и сказать друг другу нечего.

— А кто виноват, что у нас так? — спросил Степан с легким раздражением. — Об этом ты думала?

— Думала, Степа, думала. А ты?

— И я думал.

— Что же ты надумал?

— А-а, — с хриплым вздохом отозвался он и отвалился на траву. — Чего зря душу беречь...

— Поминишь, как мы познакомились? — начала она, все так же печально и задумчиво улыбаясь в небо. — Ты тогда боево-о-ой был. Ладный был парень. Фронтвик с медалями. Девки по тебе сохли...

— А ты? — живо перебил Степан и приподнялся на локте, заглядывая ей в лицо.

— А я не сохла, нет. Я спокойная была. Гляжу, парень хороший, руки, ноги на месте. Работающий и не пьяница. Вы ведь, фронтвички, сильно гуляли первое время, а ты себя соблюдал. Сразу работать пошел и

дом принялся строить. Вот и приглянулся мне. Сказала я тогда сама себе, дескать как вы там, девки, его не завлекайте, а Степochка мой будет, ничей больше. Настырная я была.

— А мне тогда другая нравилась, — сказал Степан. — Эвакуированная. Помнишь?

— Помню, — улыбулась Евдокия. — Беленькая, тонконогая. Маша. Лынул ты к ней. И она к тебе вроде тянулась, да не отдала я ей тебя. Ты мне самой нужен был. Помнишь, в клубе-то? Танец начинается, все девки вдоль стен жмутся, ждут, когда их пригласят, фасонят. А я сама к тебе подхожу и беру тебя, как бычка за веревочку. Глаза испуганные, а все равно идешь, никуда не деваешься.

— Я даже боялся тебя одно время. Стоишь, глазницами на меня зыркаешь, даже внутри нехорошо делается. Я к Маше собираюсь подойти, а ты посмотришь, и ноги сами к тебе ведут. Как присушенный был. Ты, случаем, к Игнатьевне не бегала?

Евдокия легонько рассмеялась.

— Нет, к Игнатьевне я не бегала. Просто я сильнее тебя была. И смелее. Нравиться ты мне нравился, а не любила. Потому, наверно, и смелая такая была.

— Я уж потом понял, что не любила, — тихо проговорил Степан, покусывая травинку. — Когда ты себе свою фамилию оставила.

— Жалко мне было бросать свою фамилию, — смущенно улыбулась Евдокия. — Меня ведь уже маленюко знали. Фотография моя в районной газетке появилась, заметка. Теперь-то понимаю, что это глупость была, а тогда не-ет... думала, если фамилию сменю, то и знать меня меньше будут. Аржанова-то никто не знал. Ты ведь не знаменитый был. Вот и боялась, дурочка.

— Ну теперь-то у тебя славы хватает, — усмехнулся Степан. — Много у тебя ее накопилось, под завязку. Поди не знаешь, куда и девать. Ты даже Юльку на свою фамилию записала. Тоже боялась, не знаменитой будет. Без славы останется.

Евдокия не ответила, а Степан, чувствуя свою правоту, продолжал с горечью:

— Не любила ты меня, вот в чем все дело. Любила бы, так и фамилию не пожалела бы. Смех: муж с женой на разных фамилиях. Такого у нас в деревне сроду не было. Все люди как люди, одни мы с тобой особенные.

Первое время, как мы поженились, мужики подсмеивались. Дескать замуж вышел.

— Фамилия — это формальность.

Степан отрицательно помотал головой.

— Может, у кого и формальность, а у нас нет. У нас-то получилось, что я, по сути, замуж вышел. Ты меня выбрала и взяла на свою фамилию. Разве не так? Чего молчишь, сказать нечего? И не обидно было бы, если б хоть любила, а то нет. И другой жизнь испортила, и мне, и себе. Маша-то сразу уехала. Вот как получилось, Дуся. Вот чем твоя смелость-то обернулась. Стали жить. И чего хорошего видели? Дети умирали. Юльку вон сколько лет ждали. Уж и не верилось, что у нас ребенок будет. Все это неспроста. Скажи честно: ты кого-нибудь любила? Нет. Не любила. Ты себя больше всех любила. На других у тебя любви не оставалось. И меня ты без любви взяла.

— Беденький... Его взяли. Девка взяла, да на себе женила. Эх, Степа, Степа... Слушать стыдно." Да если уж ты был такой беспомощный, если сам не знал, чего хотел, то с тобой только так и надо было. Брать за ручку да вести. Моя бы власть, я бы многих мужиков на фамилии жен переписала. Погляди на Ниншу Колобишину. Баба мечется, как заполошная. И ребятишек-то успевает накормить да обстирать, да уроки проверить. Работа у нее — не бумажки на столе перекладывать, сам видишь, как пластается. И везде-то она успевает, обо всем-то у нее душа болит. Кто у них главный в семье? Ясное дело, Нинша. Потому что на Володьку где сядешь, там и слезешь. Две с половиной сотни Нинша заколачивает, а денюжки эти даром не даются. Здоровьишко у нее едва-едва, а не уходит на легкую работу. Понимает: деньги нужны, ребятишек надо в люди выводить. А Володька? Сидит себе в мастерских на тарифе. Сто сорок получает и то половину пропивает с дружками. Вот тебе и глава семьи. Какой толк, что Нинша на его фамилии? А раз она получает больше, раз на ней вся семья держится, то по-хорошему, на нее бы и ребятишек переписать. Надоело нам, Степа, в подневольных ходить. Охота пожить по-человечески. Чтоб зарабатывать как следует и не зависеть от мужа. Чтоб равноправие было.

— Что-то твое равноправие не сильно тебя радует, — сказал Степан. — Глаза высохнуть не успели.

— Не у всех же так, как у нас с тобой. Может, Юль-

ке повезет больше, чем мне. Муж ее будет больше уважать и жалеть.

— Жалеть... — хмыкнул Степан. — Меня ты много жалеешь?

— Ну вот, сразу, «меня». Все на себя переводишь. Я жду, когда ты меня пожалеешь, а ты сразу «меня». Хочется, чтоб самого погладили.

— Наверно, и тут равноправие нужно, — сказал Степан. — Надо друг друга жалеть, тогда лучше будет.

— Эх, Степан... Я сегодня к тебе всей душой. Надоело мне так жить. Помириться, думаю, надо. Чего нам мучить друг друга на старости лет? А вместо этого мы с тобой опять чуть не поругались.

— Да почти поругались, — усмехнулся Степан.

— Вот я и говорю. Наверно, столько мы злости друг к другу накопили, что и не помиримся, пока не выскажем. И один другому не уступим ни одним словом. Ладно... Надо подниматься. За трактор спасибо тебе. Выручил ты меня крепко.

Евдокия поднялась и зябко поежилась. Туман рассеялся, звезды выцвели, за рекой мягко розовела заря. Еще один день начинался. Солнечный день будет, погожий.

Потянула из-под Степана свою телогрейку.

— Постой, — сказал тот и все лежал, чего-то медлил.

— Ну? — спросила Евдокия.

— Я вот что подумал... Машину бы нам купить. «Жигуленка».

— Машину? — удивилась Евдокия. — Зачем?

— Машинка всегда пригодится. В город хотя бы ездить. К Юльке в гости. Свободное время выдалось, сели, поехали. Попроводовали, увезли ей чего-нибудь и назад. На своей машине удобно.

— А что, это дело, — сказала Евдокия задумчиво.

— Конечно, — загорячился Степан. — Ты попроси, чтоб выделили.

— Попрошу, — пообещала Евдокия и все глядела на оживившегося мужа. — Ну а больше ты мне ничего не скажешь?

— Не дави ты на меня, Дуся. Давай постепенно...

Она улыбулась.

— Может, и познакомимся заново?

— Я не против. Только не газуй сильно...

— Давай попробуем так, — согласилась она.

На луга прикатил Пашка.

— Евдокия Никитична, в правление вызывают.

Трясаясь в кабине грузовика, Евдокия гадала: что за срочное нынче собирается правление? Всего неделю назад обсуждали ход заготовок кормов и вот — снова заседание. Что же там стряслось, если ее отрывают от работы в такое жаркое время? Не терпелось узнать. Покосилась на Пашку, ворочавшего баранкой.

— Какие новости в деревне?

— Налобиха на старом месте стоит.

— И то ладно.

Отвернулась от Пашки, стала глядеть в заречную даль. Тайга всегда манила ее к себе. А побывать там не пришлось. Все некогда...

Выйдя из машины и уже собираясь ступить на крыльцо конторы, Евдокия вдруг остановилась в изумлении: сбоку от крыльца качался пьяным-пьянехонький Колька Цыганков. Вот тебе и Николай Ильич! Вот тебе и пахарь при галстуке.

Галстука на этот раз на Цыганкове не было, он оказался даже без пиджака, в мятой и настолько грязной рубашке, будто не на ногах добирался до конторы, а катился на боку.

— Николай Ильич, ты или это? — язвительно спросила Евдокия.

— Но-о. Не узнаешь, че ли? — Колька поднял на нее осоловелые глаза.

— Да как тебя узнать-то? По лицу навряде как ты. А потом думаю, какой же это Николай Ильич, если он без галстука? Раз без галстука, значит, думаю, не он.

— Галстук... — зло рассмеялся Колька. — Я его в гробу видел. — Грязной, растопыренной пятерней он стал скрести себе шею, будто сдирал с себя невидимый галстук. Рванул на груди рубаху, посыпались пуговицы. — Надоело, Никитична, силов негу! Без перекуров вкалывал! Там не выпей, там не закури, там слова не скажи! Да я что, не человек? Должен я хоть раз душе волю дать?

— Выгонит тебя Брагни, — сказала Евдокия, неприязненно подначивая Цыганкова. Совестно было перед собой признаться, а почему-то она испытывала удовольствие от такого оборота дела.

— Да я сам уйду! Выгонит он меня. Надоело в глаза заглядывать. Того и гляди, хвостик вырастет.



— Ну а куда пойдешь? Все прошел вдоль и поперек. В нашем, бабьем, звене только и не был. В конюхи, разве?

— А хоть в конюхи! Перед конями не надо пришибленным ходить. В морды им заглядывать не надо. Ко ни — народ добрый!

В кабинете председателя собрались не только члены правления, но и специалисты. Постников сидел за своим столом хмурый, рассеянно барабанил пальцами по столешнице. Леднев читал какую-то бумагу, и лицо у него было скорбное. У окна сидел Брагин. Покосился на вошедшую Евдокию и сразу увел глаза.

— Ну так что, Алексей Петрович, — спросила Евдокия с ехидством, которое прорывалось в ней помимо воли. — Сдаешь звено-то?

Постников поглядел на нее с недоумением и тут же вопросительно перевел глаза на Брагина, сидящего молча и безучастно.

— Как это, сдаешь звено? Что это значит?

Леднев оторвался от бумаги, уставился на Брагина.

— А поспорил нам Алексей Петрович, — пояснила Евдокия. — Он сказал, что если хоть раз Цыганкова пьяным увидим, то сам уйдет из звеньевых. — Обернулась к совсем поскучевшему, потерявшему всю свою представительность Брагину. — Было, Алексей Петрович, нет?

— Да забирайте вы от меня это звено, — вяло махнул рукой Брагин. — Одна морока. Трактористом работаешь, так за себя одного и отвечаешь. А тут вознишься со всякой дрянью, понимаешь, человека из него хочешь сделать, а получается... — кивнул за окно, где Колька что-то кричал и размахивал руками. — Вот она, благодарность. Полюбуйтесь. Освободите от звеньевых — только спасибо скажу.

Постников заметил строго:

— Нет, Алексей Петрович, из звеньевых мы тебя не отпустим. Выдумал тоже. Если из-за каждого пьяницы бросать звено, то мы так совсем без звеньевых останемся. Работай и не выдумывай. — Хлопнул ладонью по столу, как бы ставя печать. После этого он взглянул на Евдокию.

— Был я на твоих полях. Проплещи много. Пыдувало.

— Ветер, — вздохнула Евдокия.

— Ветер, — согласился Постников и опять посмотрел на Брагина. — А у тебя, Алексей Петрович, еще хуже. Процентом на пятнадцать поля голые. Хоть плачь.

Брагин тяжело качнул головой.

— Ветры сделали свое дело, — продолжал Постников. — А ведь и посеяли рано, влагу не упустили. Какие всходы были! Не ветры, так центнеров по двадцать пять взяли бы. С гарантией взяли бы. А теперь остаемся при своих интересах. Урожай ожидается средненький, а если честно — неважный. Да что вам рассказывать, сами все понимаете. Но самое главное — помощи в этом году нам ждать неоткуда. Не дадут нам ни механизаторов из других областей, ни шоферов с машинами. В райкоме нам с парторгом напрямую сказали, дескать, урожай в нашей зоне слабенький ожидается. Механизаторов и технику пошлют туда, где хлеба лучше. А вы дескать обходитесь своими силами. Так, парторг, я ничего не напутал?

— Все верно, — сказал Леднев, откладывая бумагу.

— Как видите, положение серьезное, — заговорил снова председатель. — А для нас оно усугубляется еще и тем, что за последние годы мы расширили посевные площади. Когда распахивали, на помощь рассчитывали. А теперь никакой помощи со стороны не будет. К тому же нас нацеливают провести уборку быстро и без потерь. За качество спросят серьезно. Я на этом специально заостряю ваше внимание. Мы вас и собрали, чтобы посоветоваться, обдумать сообща, как строить уборку. Пусть каждый подумает и выскажет свои соображения.

— Может, главного механика послушаем? — спросил Леднев. — Иван Иванович, доложи, как у тебя с ремонтом комбайнов. По-моему, вы медленно разворачиваетесь. В чем дело?

— Слесарей не хватает. Не управляемся, — заговорил Коржов. — С запчастями опять же беда. Такой ерунды, как болтов, и то не смыщешь. Был бы прутковый металл, сами бы на станке кое-чего нарезали. А металла один пруток остался. Не знаю, что с ним делать.

— Эту песенку я каждый день слышу, — поморщился Постников. — Везде людей не хватает, не у тебя одного. Где их взять, людей-то? Ты мне подскажи. Людей ему надо... — Постников привстал, глянул в окно, невесело усмехнулся. — Вон ухарь ходит. Возьмешь к себе?

Коржов посмотрел на улицу.

— Давайте.

— Алексей Петрович, — повернулся Постников к Брагину, — отдаешь ему Цыганкова в помощники?

— С полным удовольствием.

— Ну вот, Иван Иванович, считай, что Цыганков — твой, — сказал Постников устало. — Доволен? Все, больше никого не дам. Итак, с кадрами для мастерских вопрос утрясли.

Коржов обескураженно посмотрел на Постникова, на ухмыляющихся втихомолку агрономов, спросил:

— А с металлом как?

— Вот этого я не знаю. Выбивать будем, но... пока — глухо.

— А из чего болты резать? Время-то идет.

Постников вдруг оживился:

— Слушай, Иван Иванович... а этот... твой друг... ну, хозяйственник на заводе, нас не выручит?

— Можно попробовать. Только с пустыми руками... — Коржов замаялся, — неловко ехать. Сами понимаете...

— Ладно, — озаботился председатель. — Придумаем что-нибудь... — Тяжело перевел дух, оглядывая собравшихся. Заговорил строго: — На сегодняшний день мы имеем пятьдесят шесть комбайнов и сорок одного механизатора. В период уборки комбайны должны работать все до единого. С полной нагрузкой. Чтобы дней за двадцать свалить и подобрать хлеба. Вопрос ко всем: где нам взять механизаторов? Как выходить из положения?

— А шефы ничего не обещают? — спросила Евдокия.

— Если машин пять недели на две выьем, и то хорошо, — проговорил Леднев. — А комбайнеров не будет совсем.

— У кого какие предложения? — подал голос Постников. — Ни у кого ничего нет?

— Так где их взять, комбайнеров, — сказала Евдокия. — Они на дороге не валяются.

— Это правда. Не валяются, — с каким-то торжеством согласился Постников. — Выход у нас один. Надо садить на комбайны женщин. Я имею в виду домохозяйек, кое-кого из конторы, учителей. В общем, предлагаю провести такого рода мобилизацию. Что для этого надо? Надо срочно открывать курсы на базе нашего филнала. Чтобы к уборке женщины могли работать на комбайнах. Вот такие дела. Как вы на это смотрите? Кто хочет вы-

сказаться? Никто не хочет? Все согласны? Добавляю: это для нас единственный выход. И мы, члены правления и специалисты, должны проявить полную сознательность. Лично я свою жену пошлю на эти курсы. Парторг пошлет, — кивнул в сторону Леднева, — и вы так же должны поступить.

— Твоя Варвара на комбайн не влезет, — засмеялась Евдокия. — Сиденье для нее узко будет.

— Попросим сварщиков, сделают пошире, — мрачно сказал Постников. — Я что хочу сказать. Мы должны подать пример. Наши жены первыми должны записаться на курсы и потом работать. Чтоб народ не говорил, дескать других женщин посадили на комбайны, а своих пожалели. Чтоб честно было.

— Больно уж все это неожиданно, — негромко проговорил Брагин. — Не знаю, Николай Николаевич, что и сказать. Жена у меня сроду боялась всякой техники. Какой из нее комбайнер? Подумать и то смешно. Лично я не знаю...

Постников вдруг озлился:

— А что ты знаешь? Тебе бы на моем месте посидеть, ты бы не так заговорил. Ты бы пятый угол искал. Ты бы жену не пожалел, нет. Ты бы метался как... — Досадливо поморщился. — Да я что, о себе думаю, что ли? Мне, что ли, это надо? Уборка на носу. Ну хорошо, ты — против. Но давай предлагай что-нибудь другое. Говори, я послушаю. Я буду рад, если что-нибудь другое придумаем. Давай, Алексей Петрович!

Брагин поерзал на стуле, промолчал.

— Молчишь. Ты молчишь, он молчит, все молчат. А дело — ни с места. В общем, так. Научится твоя жена не хуже других. В случае чего, ты ей и поможешь. Сам механизатор широкого профиля. Зря боишься.

— Да я не боюсь. Просто знаю свою жену. А может, так договоримся, Николай Николаевич, я в уборку лично два плана даю, а мою жену не трогают?

— Два плана ты и так будешь давать, — перебил Постников. — Без всяких условий. Не понравилось мне, как ты говоришь, Алексей Петрович. Если уж посылать жен, то всех, чтоб никому не обидно было. Всех жен членов правления. И специалистов. Сознательность надо иметь. Не от хорошей жизни мы это затеваем. От нужды.

— Правильно, всем так всем, — поднялся Коржов. —

У меня жена тоже к технике касательства не имела. Но раз такое дело, пускай овладевает. А я, как механик, возьму над ней шефство. Чтоб работала на комбайне не хуже, чем у плиты.

Все засмеялись, а Коржов, даже не улыгнувшись, продолжал:

— А над дочерью пускай зять шефствует — Андрей Васильич. И вообще пускай каждый возьмет шефство над женой.

Постников показал пальцем на Коржова.

— Гляди, Алексей Петрович, рабочий класс тебе пример кажет.

— Я и без примера знаю, как жить.

— Значит, не хочешь, как все?

— Не хочу!

— Не пойму я тебя, Алексей Петрович, — не выдержала Евдокия. — Слушаю и никак не пойму. Другие женщины, значит, пускай вкалывают на уборке, а твоя нет? Чем она лучше нас?

— А действительно, — заговорил Леднев, внимательно глядя на Брагина, — чего ты уперся? Что тебя не устраивает? Может, дома малые детишки? Не с кем их будет оставить? Так детей малых у вас в доме вроде нет. Второе. Боишься, Алексей Петрович, что готовить обеды некому будет? И это напрасно. Колхозная столовая будет специально готовить обеды на дом. Приходи и бери что хочешь.

— Дело не в еде, — буркнул Брагин.

— А в чем? — поглядел на него Леднев. — Открой нам свой секрет. Может, еще какая нужда, так постараемся помочь.

— Сказать? — спросил Брагин.

— Конечно.

— Мне не глянется, когда от женщины соляркой воняет, — проговорил Брагин, с вызовом глядя на Леднева. — Вот моя причина.

Евдокия почувствовала, что бледнеет, но отвечать на выпад Брагина не стала, только с презрением отвернулась.

— А ты нахал, Алексей Петрович, — заметил Леднев, с интересом рассматривая угрюмое лицо Брагина. Леднева перебил Коржов:

— А от тебя, Алексей Петрович, соляркой не воняет?

— Я мужик, — отозвался Брагин.

Леднев пристально изучал Брагина и какой-то устойчивый интерес был в его лице.

— Мне кажется, тут дело не в солярке, — заговорил он с особой значительностью, не сводя с Брагина глаз. — Тут совсем другим пахнет. Позволь мне задать один нескромный вопрос. Сколько у тебя на сегодняшний день крупного рогатого скота, свиней, овец и прочей живности?

Брагин вскинул голову.

— Разве их запрещается держать?

— Держи! Ради бога. Сейчас это приветствуется. И на нас тебе пожаловаться грех. В комбикормах тебе не отказываем. Просто ты жену потому не хочешь отпускать, что со скотиной возиться будет некому. Вот в чем дело. Живи, богатей, да знай совесть. Не ставь свое личное поголовье выше общественных интересов. Тогда все будет в норме. Тогда будет по-советски.

— Ясно, — сказал Постников. — Итак, кто за то, чтобы мобилизовать женщин на уборку? — и первый поднял руку.

Руки подняли все, кроме Брагина.

— Ты, значит, при своем мнении остался? — поинтересовался Постников у Брагина.

— При своем.

— Гляди, тебе виднее, — пообещал Постников и закрыл совещание.

Люди стали расходиться из кабинета. Евдокия осталась поговорить с председателем о машине.

— У тебя, Никитична, что ко мне? Вижу, есть что-то.

— Да я насчет машины, Николай Николаевич, — засмущалась Евдокия. — Надумали мы со Степаном легковушку купить.

— Купите. Осенью выделяют для передовиков жатвы и дадим в первую очередь. Какой разговор...

Евдокия поднялась, радуясь, что все так быстро утряслось, но Постников удержал ее:

— А теперь у меня к тебе дело. Ты, может, новые-то женские звенья возьмешь под свое крылышко, Никитична? Звеньевые у них будут свои, а ты как бригадир над ними? На период уборки.

— Можно, — согласилась Евдокия.

— Ну вот и хорошо, — с облегчением сказал Постников. — Прикинь сама, кого можно в звеньевые. Тебе ведь с ними работать.

— Прикину.

— Да, как у тебя дочь-то? Поетупила?

— Поступила. Телеграмму прислала. На днях вернется. До сентября тут будет.

— Что ж, пускай учится. Конечно, лучше бы в сельскохозяйственный, но... ладно. Пусть до сентября поможет, поработает на уборке. Их ведь все равно куда-нибудь на свеклу или на капусту пошлют, так лучше — дома. Мы справку ей дадим.

11

Из города Юлия вернулась не такой, какой уезжала. Сильно она там изменилась. Всего месяц Евдокия не видела дочь, а за это время Юлия вроде бы подросла, стала выше и стройнее. Появились в ее движениях неторопливая мягкость и особенное изящество, которые и прежде поражали мать, но тогда это проскальзывало моментами, теперь же утвердилось окончательно. Казалось, Юлия хорошо знает за собой удивительное свойство: все делать красиво, и внимательно за этим следит.

Может быть, выросли Юлию ее теперешняя одежда и этот парик, будь он неладен, потому что уезжала она в платье, а воротилась в длиннополой юбке, в узкой огненно-красной кофточке с цветами и в сапогах на платформе. Даже Колобихина, встретив ее на улице, едва признала. Да что там Колобихина, сами отец с матерью едва узнали дочь. Сперва, как Юлия вошла в дом, Евдокия глянула на нее и остолбенела. Вроде бы и дочь стояла перед ней и в то же время не она, а незнакомая городская красавица, схожая с Юлией чертами лица. И не столь новая одежда поразила Евдокию, как волосы Юлии. Они были у нее невиданного цвета: седые не седые, дымчатые не дымчатые, не поймешь какие.

Разинула рот Евдокия, гладела на дочь, не в силах слова вымолвить. Потом опомнилась, позвала Степана:

— Отец, глянь-ка, кто к нам приехал!

Вошел Степан и тоже оторопел.

Одежда и парик этот, конечно, выросли Юлию, но и без них было видно: девка-то уж совсем невестой стала. Однако не внешний вид и взрослость дочери обеспокоили Евдокию. Вперед ее Юлия живет, не назад, время идет, и свое оно возьмет. И то, что модной стала ее дочь, тоже не особенно опечалило Евдокию. Девка мо-

лодая, красивая, пусть одевается, как ей нравится. Непривычно для Налобихи одета? Ну так что ж, мода такая в городе. Самой ей в молодости не пришлось поносить красивых, дорогих вещей, ситцевым платьям рада была, так хоть дочь поносит. Пускай себе одевается, она у отца с матерью одна, ничего для нее не жалко. Другое смущало Евдокию: слишком уж радостная вернулась Юлия, вся так и светилась от радости, будто невеста что ей в городе посулили. И уже казалась Евдокии, что дочь охладела к родному дому, чистоту в избе поддерживает не так истово, как прежде, и душой была уже не здесь, а в городе, в новой своей жизни.

Виду Евдокия не подавала, что сердится на дочь, а про себя думала: вон как рада, что уезжает от отца с матерью, что отделилась. Так рада — дальше некуда. И когда Юлия улыбалась своей безотчетно счастливой улыбкой, Евдокия втайне злилась: хоть бы матери-то не выказывала своей радости, не расстраивала бы.

Как-то за ужином не утерпела, сказала с прорвавшимся упреком:

— Совсем ты чужая стала, Юлия, из дому глядишь.

— С чего ты взяла? — улыбнулась Юлия, но улыбка у нее была такая виноватая, и Евдокия подумала, что дочь и сама это понимает.

— Да уж вижу. Чего тебе там такого наобещали? Ждешь не дождешься, когда из дому вырвешься.

— При чем тут «наобещали»? Ты, мама, как скажешь... Я же учиться поступила. Хочется поскорее на занятия. Неужели непонятно?

— Хвалили твои вышивки-то?

Юлия заулыбалась.

— Еще как! Они, как увидели мое «Поле», глаза вытарашили. Все преподаватели сбежались посмотреть.

— Это где кони-то шестиногие?

Юлия снисходительно поглядела на мать.

— Они же понимают, что такое искусство.

— Ну уж прямо-таки и искусство, — не поверила Евдокия.

— В чем и дело, что искусство! Мне преподаватели так и сказали. Собрали всю нашу группу и говорят: смотрите, как надо работать. Вот где искусство! Ты бы видела, какие лица были у наших девчонок!

— Ой, расхвасталась, — смеялся Степан, влюбленно глядя на дочь.



— И ничего не расхвасталась, — покраснела Юлия. — Как было, так и рассказываю. Сама не ожидала, что всем понравится.

— Ну и кем вы будете, когда кончите учиться? — спросила Евдокия. — Где работать будете?

— Многие пойдут в ателье, Мастерами художественной вышивки. Ну там цветочки какие-нибудь вышить на блузке или платье заказчика. Другие — на вышивальные фабрики, в мастерские. В общем, кто куда. Загадывать трудно.

— А ты? — спросил Степан.

— Я ни в ателье не пойду, ни на фабрику. У меня совсем другие планы. Совсем другие... — Юлия сощурилась, смотрела на отца, а видела, казалось, сквозь него. Далеко-далеко смотрела, в одной ей видимую даль. — Я дальше учиться буду. Я хочу быть художником. Только не красками писать, а нитками. Понимаете? — Взглянула на отца, на мать. — Нитками можно здорово писать. У них огромные выразительные возможности. Из ниток можно создать объемную, почти настоящую траву и даже расчесать ее как угодно. Интересно, правда ведь? А нитки наложить разных оттенков, чтобы поле было многокрасочное, чтобы оно жило. Если взять нитки тонкие, шелковистые и наложить их не слишком густо, не как ворс на ковре, то от легкого движения воздуха они будут играть. Посмотришь, словно живая трава под ветром колыхается. И ковыли серебрятся. Здорово ведь? Эх, жалко, недавно я это поняла, а то бы и гривы сделала коням такие, чтобы гривы развевались у них. Из золотистых тонких нитей. Тогда бы вообще все ошалели у нас в училище... Ну чего вы смеетесь?

— Мы не смеемся, — сказала Евдокия. — Бог с тобой.

— Я же вижу. Не верите? Это все потому, что у нас никто по-настоящему с нитками не работает. А потому и отношение такое... несерьезное. Знаете, как я начну новую работу? С комбинированным наложением ниток. Где — глядя, где — объемно, а где — ковровым ворсом. Сказать, какую картину хочу? — Юлия повела перед собой рукой и сощурилась, глядя в свое далеко. — Представьте поле... лето... июнь. Трава по колена, ромашки... в общем, луговое разнотравье. Богатое такое... И вы идете. За руки взялись и идете. А сами молодые-молодые. И счастливые. У тебя, мама, волосы будут

струиться. Я подберу оттенок. Вообще-то композицию я еще не продумала до конца. Я пока эту картину чувствую. От нее у меня пока только настроение. Но я ее сделаю. Вот увидите...

Евдокия глядела на дочь, слушала ее и изумлялась: где всему этому научилась Юлька? И этим словам, и плавным гибким движениям рук? И откуда у нее мечтательный прищур глаз, когда кажется, что она видит такое, чего, кроме нее, никто не увидит? И эта уверенность? Откуда все это к ней пришло, из каких тайных глубин?

Гибкая, тоненькая, дунет ветерок и — унесет. А руки белые, хрупкие, очень уж они у нее нежные. Не рычаги ими ворочать, а тонкую иглу держать. Что ни говори, а Юлия совсем из другой породы. Пусть учится своему вышиванию. Если поможет на уборке — и то хорошо. Надо поговорить с ней — обещала Постникову.

Евдокия хотела тут же и спросить Юлию: как она смотрит, если поработает до сентября, но повернулась почему-то к Степану.

— Я говорила с Постниковым насчет машины.

— И что он? — Степан весь так и потянулся к ней.

— Пообещал твердо. Осенью, говорит, в первую очередь.

\* — Нормально. — повеселел Степан.

— Зайди к Постникову. Он досок вышьет на гараж, — проговорила еще Евдокия и поглядела на дочь. — Ты, Юлия, до сентября-то дома будешь или как?

— А что, мама?

— Может, подсобишь на уборке? До занятий...

Юлия опустила голову.

— Нет, мама. Не смогу.

— Почему не сможешь? Неужели будешь сидеть сложа руки?

— Я скоро поеду.

— Куда ты поедешь? Зачем так рано?

— Понимаешь, надо. Поработаю в библиотеке. Я ведь так отстаю от городских девчонок. В смысле теории. Мне надо их догнать и перегнать. Поживу в общежитии, позанимаюсь. В общем, мне надо ехать. Ты только не обижайся, мама.

— Успеешь еще и назанимаешься. И в общежитии наживешься.

— Нет, мама, нет. Мне надо ехать. Надо. Понима-

ешь? Нельзя не уехать. Если останусь, все пропадет! — Юлия говорила с отчаянием, щеки ее порозовели от волнения, и Евдокия удивилась ее упорству: что это с ней? Чего она боится?

— Почему все пропадет? Что ты такое говоришь-то? Юлия совсем покраснела.

— Ну мама... Раз говорю, значит знаю, о чем говорю. Я бы поработала с удовольствием, если бы смогла. Но не могу. Мне надо ехать обратно. И чем скорее, тем лучше.

— Ты что-то скрываешь, девка.

— Да ничего особенного. Успокойся. Надо и все.

— Я же вижу. Скрываешь.

— Ой, да что тут скрывать! Я же сказала: если сейчас не поеду обратно, учеба может сорваться. Саша вот тоже не хочет, чтобы я ехала в город. Давай, говорит, поженимся, а потом ездай.

— Еще чего! — воскликнула Евдокия. — Ты его больше слушай. Он тебе наговорит. Какой скорый выискался.

— Не соглашайся, — предостерег Степан. — И шибко не верь. Нашему брату верить очень-то тоже...

— Вот-вот, — поддакнула Евдокия, — не позволяй ему лишнего. Ты взрослая девушка.

— Мама, я все знаю про взрослую девушку. Но лучше мне поехать. Я чувствую, так будет лучше.

— На себя, что ли, не надеешься? Голова, слава богу, на плечах есть, — сказала Евдокия. — Будь построже с ним.

— Все гораздо сложнее.

— Ну не знаю, — вздохнула Евдокия. — Неужели не можешь себя в руки взять? В городе парней не меньше. Надо соображение иметь, тогда все будет как у людей.

Степан вдруг засомневался.

— Как же быть-то? — неуверенно спросил он жену. — Может, правда ей лучше поехать? Раз ей так сердце подсказывает...

— Глупости, отец! Неужели она такая безвольная? По мне, так пусть бы здесь поработала до занятий, чем по общежитиям скитаться. Все хоть на глазах. А в городе — неизвестно что. Да и все равно их пошлют куда-нибудь на свеклу. Студентов всегда посылают. А у нас бы поработала, справку бы ей дали. Нет, я против, чтобы она сейчас ехала.

Степан виновато посмотрел на дочь.

— А что, Юлия, может, правда останешься, поработаешь? Мать верно говорит. При доме будешь. Да и мы хоть на тебя поглядим. А то уедешь и когда еще вернешься. У нас роднее тебя никого нету. Плохо нам без тебя...

— Ты хочешь, чтобы я осталась?

— Так лучше будет. Да и мать просит.

Юлия опустила голову, задумалась.

— Я подумаю, — проговорила она неуверенно.

— Подумай, дочка.

— А насчет Сашки много в голову не бери, — с легкостью заговорила Евдокия, радуясь, что дочь уже наполовину согласилась. Понимала, что в этом ее согласии немалая заслуга Степана. Сказала ему про машину, он и встал на ее, Евдокину, сторону. — С Сашкой держи себя строго, и все будет ладно. Вот увидишь. А в город в сентябре поедешь. Другие на свеклу или на капусту, а ты, со справкой-то, останешься заниматься. В библиотеке. И догонишь их всех. — Евдокия говорила, убеждала дочь, что так будет правильнее. И вдруг замолчала, подумав, что не столько Юлию убеждает, сколько себя. И пожалела, что зашла в тот раз к Постникову поговорить о машине. Черт дернул с этой машиной. Степану-то душу нечем занять. Вот и ищет себе забаву. Приспичило ему...

## 12

В этот последний предуборочный день, суматошный и тревожный, Евдокия с раннего утра была на ногах. Чуть свет она отправилась на свое Бабые поле. И хотя она там побывала совсем недавно, с завязанными глазами знала, где и какая уродилась пшеница, и заранее спланировала, как пустить комбайны от Мертвого поля, но не могла не прийти снова. Ей казалось, что именно здесь и именно сейчас она поймет или вспомнит что-то такое, чего до сих пор не учла, и, пока есть время, исправит упущенное. Однако на ум ничего нового не приходило. Все было проверено-перепроверено, обо всем думано-передумано.

Она постояла на пыльной дороге возле тихо позванивающего, поспевающего поля, растерла в ладонях колос, по привычке сосчитала зерна, ссыпала их с ладони в рот и медленно пошла в деревню, перебирая в памяти

все, что должна еще сегодня сделать. День обещался быть трудным: надо так много успеть, что, кажется, убедри этот день, и как ни готовилась к своей последней жатве загодя, а не хватит именно этого дня.

После заседания партбюро, где все сидели как на иголках, потому что у каждого были неотложные дела, Евдокия побежала на линейку готовности. Комбайны стояли уже принятые уборочной комиссией, сверкали на солнце красной краской. Между ними бродили механизаторы и слесари вместе с сосредоточенным и важным Коржовым, смазывали цепи, шестерни и проверяли еще раз, на всякий случай, узлы. На сожженной бензином и соляркой траве лежали сваленные в кучу транспаранты и подотница с призывами. Их слесари прикрепят к комбайнам, чтобы к завтрашнему дню машины выглядели празднично.

Евдокия попросила Ивана Ивановича открыть инструментальные ящики, тоже на всякий случай. Основные ключи были везде, и это ее порадовало. Посоветовала Коржову наполнить масленки и заспешила обратно в правление, где ее ждали новопеченные женщины-звеньевые. С ними Евдокия просидела долго, рассказала, кто и за кем пойдет, потом все вместе прослушали беседу по технике безопасности, расписались, и Евдокия отпустила звеньевых отдыхать, потому что выезд на поле намечался рано, в семь утра.

Сама же она еще долго просидела в конторе, утрясая разные неувязки. Оказалось, горючее на Бабье поле еще не завезли, и она побежала на заправку, проследила, как, наконец, наполнили бочки и увезли. Крутилась словно заведенная целый день и домой пошла поздно, заставляя себя не думать больше о делах, потому что начиня она копаться в памяти и обязательно вспомнит еще какую-нибудь мелочь. А мелочи все никогда не переделаешь.

Уже смеркалось, в домах засветились огни. Недавно прошло деревенское стадо, пахло взбитой копытами пылью и парным молоком. Евдокии с грустью подумалось, что придет она сейчас домой, заглянет по привычке в стайку, а там пусто. Сколько себя Евдокия помнит, всегда они держали корову, и теперь без нее душе неуютно, чего-то недостает. Если бы Юлька не уезжала, не продали бы корову. Без дочери для кого ее держать? Не для кого, да и ухаживать за коровой некогда.

Проходя мимо дома Игнатьевны, Евдокия глянула на окна. Там, за шторками, горел свет. Ну этой-то вставить рано некуда. Ни пахать, ни сеять, ни урожай убирать — ничего не надо. Все за нее другие сделают. Без хлебушка она не останется. Вот жизнь! Благодать! Ниша Колобихина говорила, будто видела, как в сумерках от нее красивая Валентина вышла. Крадучись вышла, оглянулась по сторонам, не заметил ли кто, и — в проулок. Неужели и вправду умеет предсказывать или только обманывает бедных девок? Интересно бы узнать. И вообще взглянуть, как у нее в избе. У гадалки.

Евдокия уже миновала было дом Игнатьевны, но неожиданно для самой себя вернулась, шагнула к калитке. Потянула на себя дверцу, та распахнулась бесшумно, даже не скрипнула. Смазывает хозяйка петли, что ли? Вошла на крылечко, прислушалась — тихо в избе. Вроде никого из гостей у нее нет.

Легонько постучала в дверь.

Игнатьевна отворила скоро, будто ждала за дверью. Но когда разглядела, кто к ней пожаловал, — олешила. Так и стояла перед гостьей истуканом, не знала, что сказать и что делать.

— Здравствуй, Игнатьевна, — усмешливо проговорила Евдокия. — Чего в дом-то не приглашаешь? Или не меня ждала?

— Жданный — нежданный, а все одно гость, — отозвалась, наконец, Игнатьевна. И заглянула за спину Евдокии. — Одна ли, че ли?

— А с кем же мне еще быть?

— Мало ли с кем. Может, думаю, комиссия какая.

— Чего ты комиссии боишься? Или грех есть? — Евдокия прошла в избу и огляделась. В горенке прибрано, чисто. Пучки сухих трав висят у порога и над русской печью, источая горьковатый запах поля. Обернулась к застывшей в ожидании старухе. — Говорят, девки к тебе по вечерам бегают. Правда, нет?

— Бывает, что и заходят, — не стала отказываться Игнатьевна. — Не выгонишь ведь. Ты вот, Евдокия Никитична, ноне пришла. Ладно ли будет, если я тебя за порог выставлю? По-людски это будет? Не по-людски. А то, что вечером, так оно и понятно. Днем-то когда? Днем все заняты. Обрати, ведь и ты не светлым днем пришла, а затемно, как все.

— Я другое дело, — сказала Евдокия. — Шла мимо

да решила поглядеть, как ты живешь. Ни разу у тебя не была. Интерес взял.

— Заботу, стало быть, проявляешь?

— Заботу не заботу, а знать должна. В нашей деревне все-таки живешь, стало быть, мы за тебя отвечаем. — Говоря это, Евдокия внимательно оглядывала горницу.

— Икон я что-то у тебя не вижу, — сказала Евдокия.

— А на что они тебе, иконы-то? — спросила Игнатъевна. Стояла она посреди комнаты, не садилась сама, и не приглашала гостью, думая, наверное, что разговор слишком-то не затянется. По виду — совсем обыкновенная старуха, одетая в серенькое, старушечье. Пройдешь мимо нее на улице — внимания не обратишь, если случайно в глаза не заглянешь. Глаза у нее острые, умные, как бы самостоятельно живут на ее худом, морщинистом лице. Ни одного движения не пропустят; иссиня-черные, глаза ее в самую душу глядят, голым себя чувствуешь под их твердым, цепким взглядом.

— Мне-то они не нужны, — сказала Евдокия. — Представлялось так: зайду, а у тебя полна изба икон. Думаю, как же гадать, если икон нету. А у тебя их не видать.

— Обхожусь, стало быть, — проговорила Игнатъевна настороженно. Все она чего-то ждала, какого-то подвоха. Следила за каждым движением гостьи.

— Неверующая, что ли? — удивилась Евдокия.

— А ты меня не пытай, — сказала Игнатъевна.

— Да я это к тому, что не разберусь, кто тебе ближе: бог или, может быть, совсем наоборот? Может, ты какая-нибудь чернокнижница или вроде этого?

— Ты не задумывайся, — сурово молвила старуха. — На что тебе об этом задумываться? Моя вера во мне, никому до нее дела нету. Ты вот что, Евдокия Никитична, пришла-то по делу или как?

— Поглядеть хочу, как гадаешь. Любопытство взяло, — принужденно засмеялась Евдокия. Чувствовала она себя неловко. И на самом деле все странно и необъяснимо получилось. Ни с того ни с сего взяла и зашла. И стоит теперь посреди избы, загадки старухе загадывает, пугает ее. Нелепость какая-то. Но Евдокия хоть и ругала себя, а подспудно сознавала: неспроста она появилась здесь. Так просто она ничего не делала, догадалась, зачем ноги привели ее в избу к Игнатъевне.

— Поглядеть, как гадаю? — с пристальным интересом глянула на нее старуха своими острыми глазами. И вроде даже успокоилась.

— Говорю, любопытство взяло. Никогда не видела.

— Ты зря пришла. Я уж давно не гадаю. Сами не велите.

— А призналась, что девки ходят, — сказала Евдокия, глядя на старуху с хитрецей.

— Ходят. Я и не отпираюсь. Ходят.

— Зачем они к тебе ходят? Если не гадать?

— Всяк со своим приходит. Когда радость — ко мне не идут. С горем идут, когда печаль на сердце. Душу облегчить, ласковое слово услышать. За этим идут.

— Не хитри, Игнатъевна. Неужто я такая дура, что поверю? Ладно, ты не бойся. Никому не скажу. Покажи...

Старуха заколебалась.

— Ой, даже не знаю, что тебе и сказать. Давно уж не гадала. Не знаю, где у меня что и лежит.

— А ты понщи, — посоветовала Евдокия, — авось и найдешь.

Вздыхая и охая, Игнатъевна полезла на русскую печь, под занавеску, нашла там кожаный засаленный мешочек. Развязала, высыпала на стол цветастую фасоль.

— Я ведь не заперлась. Кто зайдет, подумает, гадаю тебе: Запереться, что ли? — спросила вдруг старуха.

— Запрись, — как бы с безразличием согласилась Евдокия, а сама подумала, что и вправду интересная выйдет картина, если кто зайдет и увидит ее при гадании.

Игнатъевна накинула в сенцах крючок, вернулась и села к столу. Евдокия тоже присела на табуретку напротив старухи, глядела на поблескивающие фасолины.

Игнатъевна посидела некоторое время молча, как бы задумавшись, потом худыми, костистыми пальцами перемешала кучку и, не снимая ладоней с фасоли, спросила:

— На кого гадать-то? На тебя, что ли?

— Зачем на меня? Просто гадай.

— Просто не гадают, — усмехнулась ей в глаза Игнатъевна. — Надо на живую душу. Давай уж на тебя.

— Нет, — помотала головой Евдокия. — На меня не надо. Я свое, можно сказать, отжила. Что было — знаю, а что будет, мне неинтересно.

Старуха усмехнулась, остро глянула на Евдокию и стала что-то шептать про себя.



— Колдуешь никак? — спросила Евдокия с подозрением.

— Человека того вспоминаю, на кого гадаю. Давно не видела.

— Это обязательно?

— А как же. Мне надо его хорошо вспомнить. И лицо, и голос, и походку. Иначе не получится.

Потом старуха разделала фасоль на маленькие кучки и стала перекидывать фасолины с одного места на другое. Тонкие губы ее легонько шевелились, а глаза бегали по фасолинам, отыскивая в них что-то одной ей ведомое, и Евдокия подумалось, что у старухи хорошее зрение, без очков видит.

— Дальняя дорога ей лежит. Шибко дальняя, — сказала Игнатъевна.

— Кому ей-то?

— Которой гадаю. Разлука и дальняя дорога. Она у тебя че, уезжает куда или как? — Игнатъевна в упор взглянула на Евдокию.

— Кто уезжает?

— Твоя Юлия-то.

— Ты что, на нее?

Старуха усмехнулась.

— Эх, Евдокия Никитична, не умеешь ты хитрить. Всю-то тебя насквозь видно. Ты как только на порог ступила, я тебя сразу и поняла. Не поглядеть, как живую, ты пришла, а на дочь погадать. Сомнения тебя гложут. Уж в людях-то я, слава богу, разбираюсь. Не понимала бы в людях, так и не ходили бы ко мне. Вот взять тебя. Зашла ты бойко, а в глазах у тебя сидело темненькое зернышко. Вижу, покоя у тебя нету, вся душа извелась.

— Больно глубоко ты видишь, — сказала Евдокия насмешливо. — Значит, говоришь, на мою дочь гадала?

— На нее.

— И что это за дальняя дорога? Она в город уезжает учиться. Это недалеко. Наведываться будет, и мы к ней ездить будем. Откуда же разлука-то? Ты чего-то путаешь.

— Да вот же, — старуха потрогала пеструю фасолину, — нечаянная дальняя дорога ей выпадает. Куда-то далеко уедет.

— Врешь ты все, — устало произнесла Евдокия. — Врешь, Игнатъевна, врешь. Ни одному твоему слову не верю.

Старуха поджала губы.

— Это твое дело, верить или не верить. Я тебя не неволила. И к себе не звала. Ты сама пришла. Попросила погадать, можно сказать, на грех навела, да меня же и оскорбляешь. Нехорошо получается. И по-вашему нехорошо, и по-людски худо.

— На какой это грех навела?

— Вот те раз! Я же тебе сразу сказала, что давно не гадаю. А ты меня приневолила. Согрешила из-за тебя. Узнают, так оштрафуют ни за что ни про что.

Евдокия поднялась.

— Слушай, Игнатъевна, а ты не можешь на погоду погадать? Будут дожди или нет? Сухая будет осень или наоборот? — спросила Евдокия с хитрым прищуром.

— Это у вас по радио гадают, — усмехнулась старуха.

— А ты нет?

— Нет.

— Жалко... Ну ладно. Поглядела, любоньство сбילה. Прощай.

Калитку Евдокия затворила за собой осторожно и огляделась по сторонам: не видел ли кто? И тут же подумала, что так же и девки уходят от Игнатъевны, осторожно затворяя калитку и воровато оглядываясь по сторонам. Стыдоба... Черт занес... Выкручивалась, модела всякую чушь про погоду. Ослабела душой.

Степан не спал. Сидел на крылечке, курил.

— Где ж ты так долго-то? — спросил, мерцающая огоньком папироски.

— Да все дела... — вяло отозвалась Евдокия и вдруг вспомнила ехидную усмешку Игнатъевны. «На меня не надо, на кого-нибудь другого». А на кого другого-то? На Ниншу, что ли, Колобихину? Ясно, что подталкивала гадать на дочь. Старуха не дура, сообразила. Гадко стало на душе и от своего визита, и что утаила от мужа, где была. Не скажешь же, что заходила к Игнатъевне с тайной надеждой погадать на Юлию. Вот и погадала. Одна слабость тянет за собой другую.

На высоком обском берегу, на поляне с худосочной, желтой, изъеденной горючим, изрытой колесами и гусеницами травой, на том самом месте, открытом и вольном, где первые поселенцы облюбовали ме-

сто для деревенского схода, собралась вся Налобиха.

Перед выстроенными в ряд комбайнами, украшенными полотнищами с лозунгами и призывами, стоял стол, накрытый ради торжественного случая красной материей, с графином и стаканом. Возле стола, как бы в президиуме, были Постников, Леднев, Брагин, Тырышкина и другие члены правления. За их спинами, смущенно переминаясь с ноги на ногу, томилась от всеобщего внимания механизаторы, среди которых были женщины в новых, не обмятых еще комбинезонах, сидевших на женщинах мешковато, чего они тоже сильно стеснялись. Налобихинцы заполнили площадку перед столом, слушали речь председателя.

Евдокия глядела в толпу жителей, ища знакомые лица. Там мелькали белые рубашки и галстуки пионеров. Ребятишки были с букетами полевых ромашек и ждали знака, когда подносить хлебоборам цветы. Среди стариков и старух увидела Евдокия и Горева. Его худое, с узкой седой бородкой лицо было строгим. В руке он тоже держал букетик. И когда пионерам, наконец, подали знак, когда они, высыпав из передних рядов налобихинцев, устремились к механизаторам, тогда к ней и подошел Горев и протянул свои цветы, которые, оказывается, предназначались для нее.

— Не обессудь, Дуся, что с полынью мой букет-то, — глухо проговорил Горев и сразу же уступил место пионерам, им тоже не терпелось вручить цветы знаменитой трактористке.

— Спасибо, Кузьма Иванович! — растроганно крикнула ему вслед Евдокия, не понимая, о какой полыни он говорил, и стала разглядывать его букетик, где среди ромашек оказались и две веточки с желтоватыми, в пыльце пупырышками горькой степной полыни. Зачем он вложил их в букет? Для какой загадки?

Она подняла глаза, ища Горева, но не нашла и вздохнула, сама не зная отчего.

Наконец из репродуктора на столбе грянул походный марш. Механизаторы, как по команде, бросились к комбайнам. Затрещали моторы, пуская в небо сизые клубы дыма. Сашка сунул Юлии в руки свой букетик и тоже убежал. Юлия, с цветами, полезла на мостик своего комбайна. Там, наверху, она положила цветы рядом с сиденьем, уселась и стала давить на педаль стартера, от напряжения морща лицо.

Евдокия смотрела на нее уже с мостика своего комбайна, улыбалась одобряюще. Ох, как хотелось ей залезть к дочери, помочь ей отрегулировать двигатель, но неловко, кругом люди, да и сама Юлия ни за что на свете не захочет показаться несамостоятельной. Двигатель у нее заработал устойчиво, сама сумела. И кивнула матери: мол, все в порядке. Евдокия ответно качнула головой: поняла. Перегнувшись через поручень, посмотрела назад, на весь строй комбайнов: все ли там в норме, можно ли трогать? Кажется, можно. И медленно отпустила педаль сцепления.

Сразу же взревели двигатели всей колонны, и комбайны, все как один яркие, огненно-красные, на высоких рубчатых колесах, медленно тронулись за флагманским, за Евдокией Тырышкиной, покачиваясь на тугой резине.

Данная, грохочущая цепь комбайнов выезжала из деревни, высоко подняв над собою облако пыли и дыма, оно растягивалось, отставало, уплывая в синее заобье. За комбайнами еще некоторое время шел народ, бежали ребятишки, провожая до края деревни матерей и отцов, махая им руками. Удачной вам страды!

Когда крыши Налобихи остались позади, машины, прибавив ходу, растекались по полевым дорогам. Леднев с новой бригадой поехал на самые дальние поля, Брагины — на свои угодья, а Евдокия с женщинами — на Бабье поле, туда, где когда-то первый налобихинский председатель Горев обещал поставить золотой памятник.

Скоро женские агрегаты подошли к подножию Мертвого поля и, не поднимаясь на склон, остановились, ждали от бригадира команды. А Евдокия глядела на Мертвое поле задумавшись.

Высоко стояло Мертвое поле, возвышаясь над всей округой, и на его плоской, как стол, вершине гулял ветер, курая бурой пылью, расчесывая скудную сероватую травку, которая росла тут редко, неизвестно какими питаясь соками.

Она хотела уже отвернуться от Мертвого поля, чтобы напрасно не травить душу, но ее внимание привлекло какое-то мельканье сверху. Подняла голову выше и увидела: над взгорьем, под легкими, прозрачными облаками, застывшими и тоже неживыми, кружились вороны. Черные птицы, посверкивая опереньем, то опускались низко, к пустому, курающемуся пылью столу взгорья, то,

почти не шевеля крылами, взмывали вверх, подхваченные порывами встречного ветра, совершая снова свой мрачный, безмолвный круг над Мертвым полем.

Комбайны сзади засигналили, отрывая Евдокию от раздумий. Что ж, надо думать о живом. Евдокия стала оглядывать стоящие позади машины. Кто за кем поедет, было давно распределено. За Евдокией, конечно же, — Юлия. Нинша Колобихина, красная Валентина и Галка — сами теперь звеньевые и поведут за собой тех женщины, которые впервые сели за штурвалы. Нинша теперь в хвосте. А за Юлией стоял комбайн Варвары, жены Постникова. Упросил Евдокию председатель поставить к себе поближе. Варвара маячила на мостике, как монумент, заполнив собою все пространство, отведенное для комбайнера.

«Влезла-таки, никуда не делась», — добродушно улыбулась Евдокия, еще раз оглядывая стоящие позади комбайны. Агрегаты работали на небольших оборотах, казалось, подрагивали от нетерпения, готовые рвануться с места. Женщины глядели на своего бригадира: чего она медлит? Еще миг, и все придет в движение. Сердце Евдокии наполнилось радостью и тревогой, как всегда перед самым началом. Она взмахнула рукой, прокричала весело и отчаянно:

— Ну, бабы, поехали-и-и!

И повинаясь этому ее взмаху руки, мощнее взревели моторы, закрутились мотвила, поднимая к ножам тугие стёбли пшеницы, комбайны стронулись с места и пошли, пошли, забирая в ширь Бабьего поля, рассредоточиваясь, растягиваясь в длинную грохочущую цепь. Пошли один за другим вдоль подножия Мертвого поля, оставляя за собой первые валки.

Урожай оказался не так уж и плох, лишь местами серели проплешины, хлеб там стоял низкий и редкий, хедер приходилось опускать так низко, что из-под жатки вздымалась пыль, все заволакивая собой. И Евдокия тотчас оглядывалась: как другие? Как ее Юлия? Но и Юлия и другие шли нормально, и никто пока не порвал ножей. Очень опасалась Евдокия за Юлию, что она будет вести комбайн неровно и тогда идущие следом начнут вилять, равняя ее огрехи, но боялась она зря. Дочь вела загонку ровно, словно по шнуру. Оборачиваясь назад, Евдокия видела лицо дочери и думала, что Юлия, наверное, боится подвести мать и старается особенно.

Теплое чувство благодарности плескало Евдокии в душу. Молодец, Юлька. Пусть все смотрят, как работает молодая Тырышкина.

Валили пшеницу до самого заката, и лишь когда низкое солнце, пронзив дальний березник, коснулось своим краем загустевшего горизонта, Евдокия остановила комбайн.

— Все! На сегодня хватит! — крикнула она Юлии и заглушила двигатель.

Подтягиваясь к головной машине, другие комбайны тоже останавливались, вхолостую вращали мотвилами и замолкали.

Женщины тяжело спускались с высоких мостиков, оглушенные грохотом, с серыми от пыли лицами, и подходили к Евдокии. Переваливаясь с боку на бок, последней пришла Варвара Постникова. Дышала она надсадно и сразу мешком свалилась на стерню.

— Ну как, Варвара Дмитриевна, — весело спросила Евдокия. — Не растрясло тебя там?

— Провались оно все, — вяло отозвалась Варвара. — Помру, однако, бабы. Не выдержу больше.

— Как это не выдюжишь? — с нарочитой строгостью накинулась на нее Евдокия. — Только еще косить начали, а она не выдюжит. А кто валки подбирать будет?

— Ой нет! До дому бы добраться. Не поднимусь завтра.

— Ничего, — смеялась Евдокия. — Поднимешься. Это по первости трудно, а потом привыкнешь, втянешься. Зато, когда уборку закончим, знаешь какая у тебя фигурка будет? Как балеринка будешь. Утрешь нос своему Николаю Николаичу!

По дороге домой Евдокия присматривалась к дочери: как она? Но Юлия держалась бодро, блестела глазами. Ей что, она молодая, отдохнула маленько — и опять свежая.

Все же спросила:

— Устала, дочка?

— Не очень. Только руки болят. И голова кружится.

— Это пройдет, — сказала Евдокия. — Потерпи. Зато лучше узнаешь, как он хлеб-то достается.

— Думаешь, я не знаю? По тебе знаю, по отцу.

Евдокия улыбулась:

— Это не то. Вот когда на себе прочувствуешь — другое дело. Да и пригодится тебе это.

— Пригодится, — согласилась Юлия. — Знаешь, что жалко? Запахи нельзя перенести на картину. Скошенный валок, оказывается, как-то по-особенному пахнет. Теплой землей, травяным соком и еще чем-то свежим-свежим. Никак его передать не могу, этот запах... Мама, а ты, наверно, думаешь, что я ничегошеньки в деревенской жизни не знаю, да? Ну, в смысле мало бывала в поле? Это ты напрасно. Я ведь все-таки деревенская... — Рассмеялась. — Одна девчонка там, из училища, ездила за город и рассказывает: «Воздух — как лимонад». Представляешь, сравнение! Чисто городское сравнение. Я сама лимонад люблю, но сказать, что в лесу или в поле пахнет лимонадом, — нехорошо. Даже неуважительно к природе. Лимонад — это же искусственное. Эссенции разные, в общем, химия. А в природе — все естественное.

— Ты тоже будешь городской, — сказала Евдокия с грустью.

— Ну и что ж, деревню-то я все равно буду помнить. И приезжать в Налобиху буду часто. В одной книжке я прочитала, что для художника очень важны корни.

— Какие корни?

— Ну вот если я из деревни, то и должна ее любить, помнить. Ею жить. И она будет питать мое творчество.

— А еще не хотела оставаться, — укорила Евдокия. — Рвалась поскорее уехать. Теперь не жалеешь?

— Это другой разговор, — помолчав, ответила Юлия. — Не будем об этом, мама. Ведь решили...

Вечером Юлия не пошла в клуб. Поужинала и прилегла на кровать с книгой. «Все-таки устала», — подумала Евдокия. И когда дочь уснула, взяла книгу. Прочитала на обложке: «Психология творчества». Подумала: «Глубоко девка копает».

Дни стояли теплые, ведреные. Бабье поле желтело аккуратно уложенными валками. И с каждым днем все меньше и меньше оставалось нескошенной пшеницы. Женщины в работу втянулись, даже Варвара и та жаловалась больше по привычке. Новички все загорели, только Юлию отчего-то загар не брал. Лицо ее оставалось бледным. Работала она молча и с какой-то отчаянностью. По вечерам она брала книгу и ложилась. Стала молчаливее и задумчивее. Один раз только и сходила в клуб на новый фильм. А то все читала, делала в блокноте какие-то наброски карандашом.

Однажды после ужина присела к столу с вышивкой и как-то по-особенному притихла. При каждом шорохе взглядывала надверь, и лицо ее делалось испуганным, тревожным. Она словно обмирала от скрипа половиц, от случайных голосов на улице, доносившихся в дом.

Евдокия глядела-глядела на дочь, спросила:

— Ждешь кого, что ли?

Юлия покраснела.

— Знаешь, мама, меня сегодня сватать придут.

— Да ты что! — опешила Евдокия.

— Придут, мама.

— Ну и как ты? Что-то я у тебя радости не вижу.

Юлия улыбулась виновато.

— Я и сама не знаю, что со мной...

— Ты же говорила, любишь.

— Люблю, — вздохнула Юлия, — а только лучше бы подождать. Я ведь пока не знаю, как у меня дальше сложится. Этого я и боялась.

— Гляди сама. Если считаешь, что рано, то и торопиться не надо. Никто не неволит. Что ж ты Сашке не сказала? Так, мол, и так: давай подождем маленько.

— Я говорила, а он — ни в какую. Не хочет ждать.

— Ну и откажи.

— Наверно, не смогу.

— Решай, как тебе лучше. А вообще-то... раньше я против Сашки была. Не глянутся мне Брагинны. Ничего с собой поделать не могу. Потом подумала-подумала и уж на него согласная стала. Парень неплохой, собой видный. Небалованный. Чем, думаю, не муж? Хоть внуки в Налобихе останутся, не на чужой стороне. Настроилась я на твоего Сашку, притерпелась, а ты — вон что... Опять переиначиваешь. Видать, не сильно-то и любишь. Когда любят, не задумываются, как впереди будет. Словно в омут головой кидаются.

— Ну кинусь. А мое будущее? — спросила Юлия. — Не знаю, мама. Ничего я не знаю. Надо было мне уехать...

Пришел Степан. Он заправлял комбайны на поле, чтобы утром, не теряя времени, можно было начинать работу. Поужинал и хотел ложиться спать, но Евдокия его придержала:

— Посиди с нами, отец. Гости будут.

— Какие гости? На ночь-то?



— Сваты.

И тут на крыльце послышались тяжелые шаги. В дверь постучали не робко и просительно, а требовательно, настойчиво.

Юлия вскочила, покраснела.

Евдокия пристально взглянула на нее, но ничего больше сказать не успела. Вошел Постников, за ним Брагин с Сашкой. Все одетые празднично: в костюмах и при гастуках.

— Ну, хозяйева, встречайте гостей! — громко, весело проговорил Постников с какой-то натуужностью в голосе. Со значительноостью глянул на Юлию, отчего та покраснела еще гуще и сразу же ушла в спальню, задернув за собой занавеску.

— Проходите, коли пришли, — ровным голосом сказала Евдокия, не зная, как себя вести. Если сватам ответить согласием, то один прием, а коли им придется ответить отказом, то другой. И поскольку Юлия сама не знает, как быть, то как же ей, матери, обходиться с гостями? И что говорить?

Постников прошел в комнату первым, сел к столу основательно, надолго. Брагин, чуть помешкав, опустился с ним рядом и ничего пока, кроме «здравствуйте», не сказал, полностью полагаясь на председателя. Сашка устроился подле них на краешек стула. Был он сильно смущен и прятал глаза.

Евдокия и Степан сели напротив гостей. Выжидательно молчали.

— Как, Евдокия Никитична, идет косовица? — спросил Постников для разгона.

«А ты будто не знаешь», — мысленно усмехнулась Евдокия, а вслух ответила:

— Нормально. Дня через два кончим. И начнем подбирать.

Увидеть председателя в роли свата она никак не ожидала и даже немного растерялась. Однако и самому Постникову не совсем ловко было прийти сюда с Брагинными. Он это понимал, и потому в его лице не замечалось обычной его уверенности. Наоборот, он немного заискивал перед Евдокией: и голосом заискивал, и улыбкой. Помнил ведь выходку Брагина на правлении, когда тот специально для Тырышкиной ляпнул, что-де не правится, когда от женщины соляркой пахнет. А вот взять бы сейчас да и сказать: что, мол, ты, Алексей Петрович,

пришел к женщинам, от которых соляркой пахнет? Не противно ли тебе? Покрутился бы Брагин, как змей под вилами. Интересно, как ему удалось уговорить Постникова? Свою жену Брагин на уборку не пустил, дома она отсиживается, скотину для базара откармливает. И вот на тебе: председатель после всего этого сватом пришел. Может, Сашку пожалел? Понимал, что без него Евдокия с Брагинным разговаривать не станет, и пришел.

— А моя Варвара как? — с улыбкой спросил Постников. — Норму выполняет, нет?

— У нас все выполняют, — ответила Евдокия. — Поглядим, что на подборке валков будет. Там труднее.

Постников помолчал, но помолчал не просто так, а глубокомысленно, со значением, как бы отсекая мало-значущий и иссякший уже разговор, готовя себя и всех присутствующих к тому главному, ради которого собрались они за этим столом.

— Вот какое дело привело нас к вам, дорогие хозяйева, — начал Постников новым, торжественным голосом. — Слыхали, что вы красным товаром богаты. Зашли прицениться. Авось сторгуемся. Как говорится, ваш товар, — повел рукой в сторону спальни с затанцующей там Юлией, — наш купец, — кивнул на Сашку, который сидел настороженный, опустив глаза в пол, и над верхней его губой поблескивали капельки пота. — Как вы на это смотрите, Евдокия Никитична?

И хотя в первую очередь Постников спросил ответ не у Степана, никого это не удивило. Ни самого Степана, ни Брагинных, ни Евдокию. Все знали: глава семьи — Евдокия, и как она скажет, так и будет. А потому все глядели на нее, ждали ее слова.

Евдокия отвечать не спешила. Опустив голову, думала. Что ответить? «Да» не скажешь, «нет» — тоже. Значит, надо оттянуть сговор, выиграть время, а там пускай Юлька глядит сама. Ответ у Евдокии уже сложился, и она молчала уже для приличия. В таком деле скорый ответ, каким бы он ни был, всегда нежелателен.

— Ну так как, Евдокия Никитична, — напирал Постников. — Сговоримся? Ваша голубка сизая и наш ясный сокол! Хорошая пара будет. Всем на радость.

Евдокия усмехнулась:

— Голубка-то сизая только с комбайна слезла.

Постников, улыбаясь, возразил:

— Ну и что из того? Наш сокол тоже не с неба спус-

тился. Работает парень — будь здоров. За кого попало я сватать не пришел бы, понимать должна. Ты отвечай по существу.

— По существу... — с легким раздражением проговорила Евдокия. — Собрание у нас тут, что ли? Может, стол-то красным застелить, графин с водой поставить да президиум выбрать? И решать голосованием? По существу...

— Хотя бы ближе к делу, — сказал Постников.

— Ох, Николай Николаевич, разговор уж больно не ко времени затеяли. Страда идет — продыху нет, а вы со сватовством. Неужто подождать нельзя? Ведь не горит.

— А чего ждать? Страда любви не помеха. Я же не предлагаю завтра свадьбу играть. Гулять примемся, когда с урожаем управимся. А пока сговориться надо, чтоб помаленьку готовиться.

Евдокия вздохнула.

— Даже не знаю, что и сказать. Юлия-то ведь у нас учиться поступила. Что это за семейная жизнь будет, когда он здесь, а она там. Давайте все же подождем.

— Учеба не помешает, — подал голос Брагин, не глядя на Евдокию. — Пускай учится на здоровье. Мало ли нынче семейных учится... Это ничего. Ты-то, отец, как думаешь? — спросил он Степана, сидевшего тихо и вроде бы не принимавшего участия в разговоре.

— А я что? — проговорил Степан. — Коли любят друг друга, поперек дороги им не встану. Если есть взаимная любовь, ничто не помешает. Ни работа, ни учеба. Надо саму Юлию спросить. А то мы тут торгуемся, а ее не спрашиваем, будто не ее дело.

— Ее мы спросим, — закивал головой Постников. — Обязательно спросим. Но ведь прежде надо с родителями обговорить дело. Это не нами придумано, так заведено. Ты свое слово скажи, отцовское слово. О тебе речь.

— А мое слово простое. Коли любят друг друга, я согласен. Пускай женятся и живут, — проговорил Степан, ощущая щекой прямой, недобрый взгляд жены.

— Вот это дело! Это уже кое-что! — весело воскликнул Постников. — Не обижайся, Евдокия Никитична, но мужик он и есть мужик! Всегда живее соображает. А ты что-то крутишь. То тебе уборка, то учеба. Какое твоё материнское слово? Ну-ка, выдай нам.

— Мое слово такое — обождать, — сказала Евдокия.

— Юлия! — позвал Постников. — Покажись гостям!

Опустив голову, Евдокия поглаживала пальцами узору на скатерти стола, сидела отстраненно, и когда дочь в своем городском наряде вышла из спальни, не повернула к ней головы.

— Ох, ясное море! — воскликнул Постников. — Хороша-а... — Обернулся к Сашке. — Ну, парень, у тебя губа не дура!

А Юлия и на самом деле была хороша, мила в своем смущении. Несмело подняла глаза на отца, на мать.

— Вопрос серьезный, — сказал ей Степан, не обскаживая обстановку, зная, что каждое слово она слышала. — Сама-то как? Пойдешь за него? — указал глазами на онемевшего Сашку, который, не моргая, уставился на Юлию и не мог отвести глаз.

— Хорошенько подумай, доченька, — заговорила Евдокия, боясь, как бы дочь не ответила раньше ее слов. — Тебе жить. Все взвесь ладом, чтобы потом локти не кусать.

— Чего ей локти кусать? — с обидой проговорил Брагин. — Мне, как отцу, неловко его хвалить, но люди о нем ничего худого не скажут. Непьющий, работающий. Дом ему отстроили честь честью. Не на пустое место жену приведет. Такие женихи не валяются на дороге.

— А такие невесты? — спросила Евдокия. — Валяются?

— Перестаньте, — недовольно сказала Брагин. — Хорошая пара, один другого стоят.

— Ну так как, Юлия? — снова спросил Степан.

— Если сомневаешься, не спеши с ответом, — посоветовала Евдокия. — Можно и подождать. Тут жизнь решается.

— Я согласна, — тихо произнесла Юлия, опуская глаза.

— Ты хорошо подумала, дочка? — строго взглянула на нее мать.

— Согласна, — тихо повторила Юлия.

— Ну вот и решили! — весело воскликнул Постников и с облегчением перевел дух. — Истомился весь. Шуточное ли дело — сватать. Проще колхозное собрание провести. Теперь это дело надо отметить. Давай, Алексей Петрович, что у тебя там?

Брагин вынул из кармана пиджака бутылку коньяка и поставил на стол, стукнув доньшком.

Уже ночью, когда гости ушли, Евдокия вызвала Степана во двор.

Сели на ступеньку крыльца.

— Чего ж ты, Степан, так старался за Брагиных? Не знал, как быстрее от дочери избавиться? — с горечью спросила Евдокия.

— При чем тут Брагины? Я не за них старался, за Юлию.

— За Юлию он старался... Ей-то лучше было бы подождать. Какая учеба будет? Замужней-то? А если ребенок появится? Ты же видел, как я себя вела, надо было поддержать меня. А он рад стараться...

— Чего ж ты не предупредила меня? Намекнула бы как-нибудь.

— Я тебе подавала знаки.

— Не заметил... — Степан расстроился. — Вот беда-то... Зачем сама Юлия-то согласилась? Сказала бы Сашке: подождем.

— Не знаю... И не хотела, а согласилась. У нас, у женщин, бывает так. Думаем одно, а говорим другое.

14

Бригада чуть свет собиралась на площади, возле закрытого еще магазина. Грузовик поджидал. Шофер Пашка сидел на высоком магазинном крыльце, нетерпеливо курил и, поглядывая на часы, злился, что женщины собираются недружно.

Одна за другой подходили невыспавшиеся, сонные женщины, лезли в кузов машины, усаживались на свежеструганные сосновые лавки. Позевывая, вяло переговаривались. Некоторые прилаживались дремать, уткнув голову в колени: ночи не хватило и теперь от утра прихватывали, и Евдокия мысленно похвалила себя за то, что вытребовала у председателя машину возить бригаду до поля и потом обратно. Хотя и недалеко идти, но сил у женщин оставалось мало, надо их беречь. Немного им времени на сон остается, часов если по пять выкроили и то хорошо.

— Ну вы скоро? — не выдержал Пашка. — Мне еще на нефтебазу надо ехать. Опаздываю из-за вас.

Евдокия оглядела сидящих в кузове. Все лавки заняты, вилотную сидят друг к дружке. А вот Нинши Колобихиной не видать. Чего это она нынче запаздывает?

— Колобихина придет и поедем, — успокоила Евдокия Пашку. — Подождем немного, — и стала смотреть в проулок, откуда всегда появлялась ее подруга.

Однако Нинши что-то не было видно. Из проулка же, пыля, выкатили «Жигули», лихо тормознули возле грузовика. В кабине сидели Сашка и Алексей Петрович.

— Евдокия Никитична, поехали с нами, — поздоровавшись, позвал Браги. — У нас помягче.

— Нет, я уж с бригадой.

— Ну тогда давай нам Юлию!

Сашка высунулся из кабины.

— Юль, пошли...

Евдокия и опомниться не успела, как ее дочь спрыгнула из кузова на землю, влезла в легковушку, и машина укатила. Только пыль клубилась по улице.

— Что ж не пошла сама-то? — смеялись женщины. — Почитай, родня.

— Хватит, бабы, — поморщилась Евдокия. Ее все-таки обидело поведение дочери. Бросила мать и умчалась. Хоть бы для приличия спросилась. А то ни слова, ни полслова и — поминай как звали.

— Где же Колобихина-то? — раздраженно спросила Валентина.

— Поди, спит еще! — крикнул с крыльца Пашка.

— Ну-ка поехали к ней, — приказала Евдокия.

Пашка залез в кабину, выплюнул из окна папироску, проворчав: «С вами только свяжись», — и нажал на стартер.

Пока ехали проулком, Евдокия глядела из кузова вперед, надеясь увидеть Ниншу, но та навстречу не попадалась. Неужто приболела ее верная двужильная подруга? И когда подъезжали к дому Колобихиных, Евдокия увидела неподалеку от крыльца кучку людей, и хорошо кольнуло под сердцем.

Она торопливо вылезла из кузова, побежала к людям и разглядела, что это старухи, соседки Колобихиной. Они стояли и глазели в сторону крыльца, но, услышав машину, обернулись, и на их лицах Евдокия не заметила ни ужаса, ни сострадания. Наоборот, бабки усмехались. Неподалеку от старух стояли Коржов и Колька Цыганков. Колька довольно ухмылялся.

— Что тут такое? — встревоженно спросила Евдокия.

— Кино, — расплылся Колька.

На верхней ступеньке крыльца сидел муж Нинши Во-

лодька с лиловым сникером на лбу, а на коленях у него лежала метла с березовым черенком. Лицо у Володьки было неприступное и злое.

— Ты чего такой? — закричала ему Евдокия. — Где Нинша?

— Под арестом, — Володька большим пальцем показал себе за спину. — Я малость ее арестовал.

И тут в окне Евдокия увидела пристыженно улыбающуюся Ниншу, целую и невредимую. В окно выглядывали и ее ребята — веселые. Евдокия обозлилась.

— Послушай, Нинша, ты почему в избе-то сидишь? Мы тебя ждать устали. Что у тебя тут такое?

— Да ее Володька не пускает, — разом заговорили бабки. — В избе с ребятами держит и не пускает.

— С метлой караулит, — радостно подтвердил Колька Цыганков.

Лишь теперь Евдокия поняла все, и ее затрясло от возмущения. Тяжелым мужским шагом двинулась она к крыльцу.

— Ты гляди, какой караульщик выискался! Вот придумал!

Володька вскочил, замахнулся метлой.

— Не подходи, Дуська, слышь! Не доводи до греха! — заорал хрипло, гоняя по скулам желваки. Руки его с зажатой метлой крупно подрагивали, на побледневшем лбу четче проступал сникер.

Евдокия остановилась.

— Сдурел, что ли? Убери метлу!

— Отойди, а то за себя не отвечаю! — ревел Колобихин на всю улицу. В его помутневших глазах было столько решимости, что подступаться к нему и на самом деле становилось опасно. Она растерянно обернулась к грузовику с сидящими в кузове женщинами. Среди них сидел и Степан, на самой задней скамье, но на происходящее созерцал безучастно. Шофер Пашка с любопытством таращился из кабины и тоже помалкивал.

— Мужики, — позвала Евдокия, — чего смотрите? Отберите у него метлу! Ведь вон что вытворяет!

Пашка, сплюнув из окна кабины на дорожную пыль, усмехнулся:

— Вяжешься, а потом они помиряются. Сам же виноватый и останешься. Пускай между собой разбираются.

— Иван Иванович! Цыганков! Уймите его! — возмущилась вконец Евдокия. — Комбайны простаивают!

— Еще метлой огреет! — хохотнул Колька Цыганков и, дурашливо пригнувшись, отступил назад.

— Как его уймешь? — рассудительно заговорил Коржов. — Дело семейное. Кабы он бил жену или хулиганил, выручили бы. А то ведь он просто не пускает ее. Он хозяин в своем доме, как вмешаться? Пошлет куда надо и прав будет.

— Ну мужики пошли, растуды вашу... — ругнулась Евдокия, не зная, как поступить. Полезешь к Володьке — ударит сгоряча. Будешь стоять и ждать, неизвестно, сколько прождешь. Время идет, не стоит на месте. Солнце вон как высоко поднялось.

Помолчав, Евдокия шагнула к Колобихину с мирной улыбкой.

— Ты почему ее не пускаешь-то? Ведь работа встала.

— У нее спроси.

— По-человечески-то можно договориться? Или целый день будешь так сидеть? Ведь цирк устроил на всю деревню.

— Конечно, цирк! — вскипел Володька пуще прежнего. — Баба поднялась, поела и — в двери. А дома хоть все порушится — ей делов нет. Корова не доена, еда не сготовлена! Это разве не цирк? Вот если хочет, пускай в окошко вылазит. Отхожу метелкой и — на все четыре стороны!

— Ух ты какой! — Евдокия укоризненно покачала головой. — А сам разве дитя малое? Помочь жене — руки отсохнут? Тебе-то позже в мастерские идти, вот бы и управился по хозяйству. Взял бы и подоил корову, не облез бы!

Старушки, морщась от смеха, подступили к Евдокии, теребили за рукав, рассказывали:

— Дак он ее начал доить, корову-то, а она возьми его да лягни. Вона какой сникером напыл на лбу. Володька и осерчал.

— Выходит, это его корова разукрасила?

— Она, она. Лягнула.

— А я думала, с Ниншей подрался.

— Нет, это его корова. Володька с похмелья, видать, был. А животная запаху не вынесла и лягнула.

— Сам виноват, — сказала Евдокия. — Мы еще узнаем, где они водку берут. Шкуру спустим, кто их снабжает.

— Во как повернули! — сказал Колька Цыганков. —



Не надо было доить, никто бы и не виноватил. Нет, братцы, сроду не женюсь!

— Кто за тебя пойдет, за такого шалопута! — презрительно бросила Евдокия. — Где твой галстук-то?

— Дома на royale оставил, — расплылся тот. — Бабы на мужиков верхом сели. Сели и ножки свесили. Дои, мужик, корову! Смех один!

— На вас сядешь, — зло буркнула Евдокия, — на вас где сядешь, там и слезешь. Бабы вон ни свет ни заря поднялись и на поле едут, а ты болтаешься по деревне, зубы скалишь. Почему не в мастерских? — Обернулась к Коржову. — Иван Иванович, в чем дело?

— Да мы Володьку ждем. Двигатель надо снимать с трактора, а вдвоем нам никак не справиться. Ждали Володьку, ждали, послал я за ним Цыганкова, и этот пропал. Сам пошел, а тут вишь что...

— Значит, Колобихин не только нашу бригаду держит, но и ремонтников? Слышишь, Володька? Простон на тебя запишем!

— Пиши сколь хошь, мне плевать!

— Поплюешь тогда, — отозвалась Евдокия и подумала, что простон не запишешь на него. Это на всю семью бременем ляжет, на Ниншу и на детей. Самому-то ему и правда наплевать.

— Да отвяжись ты от меня, Дуська! Ты же корову нам доить не будешь. Свою-то не доила, Степан под ней ползал, а туда же!

— Ну и доил! Он в семье живет, понимает, что жене одной трудно управиться.

— Пушай хоть куриц шунает, а мне надоело!

— Выходит, не отпускаешь жену?

— Говорю, пусть в окошко вылезит. А я тут ее метлой встречу. Отхожу как следует, отведу душеньку.

— Ладно, Колобихин, ладно... — обещающе проговорила Евдокия.

— Че пугаешь? Че ты мне сделаешь?

— Я тебе ничего не сделаю. Я это к тому говорю, что ты мотоцикл с коляской желаешь. Заявление твое видела. А вот осенью станем «Уралы» распределять, все вспомним.

— Вон ты куда заехала, — сказал Колобихин с раздумьем.

— А ты как думал. У Нинши показатели хорошие, ей наверняка выделим. Если ты все не испортишь. Само-

му-то за свою работу век мотоцикла не дождаться.

Колобихин растерянно ухмыльнулся.

Мужики, почувствовав, в его настроении резкую перемену, смеялись, кричали весело:

— Отпускай жену! Пушай мотоцикл зарабатывает!

— Да я б за «Урал» не только жену, тещу бы отдал! — крикнул Пашка. — Не прогадай!

Колобихин потоптался на крыльце, повертел в руках метлу, зашвырнул ее к стайке через забор.

— Все слышали, что Тырышкина сказала? — громко спросил он. — Свидетелями будете, если что!

Ногой отворил дверь в сени и картинно отступил в сторону, уже дурачась. С поклоном сделал широкий, приглашающий жест рукой.

— Выходи, жена, на волю! Да, гляди, робь ладом. Не осрами меня там. Чтоб мотоцикл к осени был!

Пристыженная Нинша, низко опустив голову, прошмыгнула мимо мужа, который, усмехаясь, глядел ей вслед.

Женщины в машине загомонили, втащили Ниншу в кузов, и грузовик понесся к Бабьему полю.

«Сколько времени потеряли из-за этого шалопута», — с досадой думала Евдокия. И было отчего расстраиваться. Комбайны на подборку валков переоборудовали только вчера, и вчера же их перегнали на поле и опробовали. Но опробовать одно, а приноровиться к подборке — совсем другое. К тому же через полчаса должны прийти машины за зерном. Солнце уже высоко, а у них бункеры пусты, ни одного круга не сделали. Придется наверстывать.

Едва Пашка притормозил у комбайнов, как Евдокия принялась торопить женщин:

— Поживее, бабы, поживее! Заводим моторы и пошли. Если у кого неполадка — сигнальте. Самый ближний — на помощь.

Юлия поджидала их на своем комбайне. Двигатель ее «Сибиряка» тарахтел на малых оборотах. Евдокия приветливо помахала ей рукой. Держись, мол, дочка. Поднялась на свое место, запустила двигатель и, пока он прогревался, стала глядеть назад: как там у других? Все ли запустили моторы?

Следом за Юлией на этот раз шла не Нинша. Вчера у Колобихиной соскочила цепь, и пока она ремонтировалась в стороне, порядок агрегатов изменился. Теперь

позади Юлии стоял комбайн Валентины, тоже уже заведенный.

Моторы рокотали на всех комбайнах, растянувшихся по полю, и грохот от них стоял сильнее, чем раньше, когда шла косовица. Тогда у агрегатов работали мотвила, ножи и ленты транспортеров, укладывающие валки. Теперь в движение пришли цепи, барабаны, решетки, лопасти, и желтоватые облачки соломенной трухи поднялись над копнителями. Начиналось самое главное и последнее в страде — подборка. Последние страдные дни в жизни Евдокии.

Евдокия резко взмахнула рукой.

— Ну, бабы, поехали-и-и! — прокричала она скорее для самой себя, потому что ее никто услышать не мог. Добавила газу, чувствуя всем телом, как крупно задрожал комбайн и как он медленно стронулся с места. По дну бункера гулко сыпанула дробь пшеницы и запахло теплым зерном.

Она внимательно наблюдала, как медленно полз навстречу тугой сдвоенный валок, как штыри подборщика поднимали его от земли и направляли в грохочущее чрево комбайна. Скорость держала небольшую, потому что масса колосьев двигалась значительная и надо было дать агрегату полностью ее переработать: колосья расшелушить, зерно очистить и направить в бункер, а солому — в копнитель. Иногда Евдокия совсем сбавляла ход и останавливалась, дожидаясь, пока комбайн «переварит» скопившуюся в нем массу. Еще во время косовицы Евдокия решила сдвинуть валок. Пшеница уродилась хотя и с хорошим колосом, но невысокая. Если же валок сдвинуть, то при подборке пробег комбайнов уменьшится ровно вдвое. А значит, и времени на подборку понадобится наполовину меньше. Сплошная выгода, не говоря уж об экономии топлива. Но подбирать такой валок не просто. Надо чутко прислушиваться к чреву агрегата, часто останавливаться. В общем, комбайнеру так труднее. И Евдокия нет-нет, да оглянется назад: как там? Нагрузка на все узлы комбайнов увеличилась. Чуть прибавь скорость, и начнутся потери, поломки. Нет уж, лучше потише.

Там, сзади, кто-то встал. Кажется, Варвара Постникова. Черная фигурка спустилась на землю, замахала руками. Не успела Евдокия подумать о поломках, и вот — первая. Где там Степан? Вон он, бежит от своего

закрывающего агрегата. Пусть разбирается. Варварин агрегат — в сторонку, остальные — вперед. Стоять некогда. Интересно, что у нее там?

Позади будто услышали мысли бригадира. Комбайн Варвары свернул в сторону и замер, другие агрегаты, в облаках пыли и трухи, обошли его и двинулись дальше, подтягиваясь к передним.

На краю поля маячили два грузовика. Ждали, когда кто из комбайнеров подаст сигнал к загрузке. Евдокия глянула в пыльное стекло на боку бункера — еще половина. А солнце на небе такое раскаленное, припекает сквозь тент, духота, во рту все пересохло. От пота и хлебной пыли щипало глаза. Она нашарила термос, отхлебнула на ходу. Кажется, легче стало.

И тут сзади донесся тонкий, тревожный сигнал.

Оглянулась. Комбайн Юлии был далеко позади. Не заметила, как оторвалась. Не поглядела назад вовремя...

«Что у нее там?» — подумала с тревогой, выжимая спевление.

Евдокия спустилась по железной лесенке вниз и быстро пошла туда, к Юлии, где перед остановившимся комбайном темнели уже две фигуры. «Кто же вторая-то? Валентина?»

Юлька стояла перед Валентиной, протянув к ней ладони, а та что-то делала с ее руками, кажется, смазывала чем-то. На стерне стояла открытая коробка походной аптечки.

У Евдокии упало сердце.

— Что такое? — спросила она без голоса, одними губами, глядя на руки дочери, темневшие бурными пятнами. Юлька беззвучно плакала. Две светлые, влажные дорожки пролегли по перепачканным пылью щекам, по подбородку.

— Руки соломой изрезала, — жестко, не оборачиваясь, сказала Валентина. — Барабан забило, она и давай голыми руками соломой рвать. Наскочила, как полоумная, и рвет. А сама вся в слезах.

— Юлька, ты что, доченька! Разве ж так можно? — заговорила жалостливо Евдокия, с болью глядя на измазанные йодом руки дочери. — Так и калекой можно остаться.

— Можно, — с какой-то даже радостью согласилась Валентина. Небрежно бросила на землю бурый комочек

ватки, достала из кармана комбинезона носовой платочек, утерла Юлии слезы. Сказала тихо: — Не плачь, милая. — Глянула на Евдокию. — Ты, Никитична, иди. Мы уж тут как-нибудь сами. Добери бункер, а то машины простаивают. — Нагнулась, взяла из аптечки бинт, принялась перевязывать Юлии ладони, приговаривая: — Ну вот, сейчас мы тебе забинтуем, и снова можно штурвал держать. Не так жестко будет... А где у тебя верхонки? Нету, что ли? Никто не позаботился? Я тебе дам свои... И барабан очистим, будь он неладен...

Евдокия постояла-постояла, шагнула к барабану, но Валентина поспешно отстранила ее:

— Иди, Никитична, иди, мы сами. Чего всем-то тут делать? — говорила мягким голосом, а глаза были прищуренные, злые. И словно какая-то власть у нее была над Юлией, словно не Евдокия мать, а она, Валентина. И ничего с этим поделаться Евдокия не могла. Вздохнула, побрела к своему комбайну, ссутулившись от обиды.

И снова поплыл навстречу высокий, лежащий на стерне валок, зашуршало зерно в бункере, запахло хлебом и пылью.

Комбайн Варвары, наконец, вклинился в общий развернутой строй. Запылил копнитель — пошла работа. Сдвинулись с места и агрегаты Юлии и Валентины. Все до единого комбайны ползли по полю, растягиваясь, и теперь бригадире было спокойнее.

В полдень, когда из колхозной столовой привезли обед, можно было подвести кое-какие итоги. Сама Евдокия, Валентина и Нинша отирали по два бункера. Остальные — по одному. У Варвары поломка случилась незначительная — слетела звездочка. В общем, пока все шло в норме, если не считать, что женщины очень измучились. Когда устроились на расстеленном брезенте, Евдокия села рядом с Юлией, ласково поглядывала на нее, но приласкать рукой или хорошим словом стеснялась. Ведь она тут, на поле, не только мать, но и бригадир, а потому неловко кого-то особо выделять, даже собственную дочь.

Спросила только:

— Как руки?

— Щиплет, — виновато улыбнулась Юлия.

— Ничего, потерпи... — только и нашел что сказать.

Юлия поела и легла на брезент лицом вверх, глядя в горячее небо, задумчиво покусывая былинку. Что ви-

делось ей там, в высоком, бледном небе, какие видения?

Другие женщины, поев, тоже ложились отдыхать — разомлели. Горячий денек, ничего не скажешь.

Евдокия встала, пошла по стерне. Нагибаясь, брала в горсть труху, дула на нее. Не останутся ли в ладони зерна? Потери были, но небольшие. Надо еще скорость снизить. На день-два уборка затянется, конечно, но обмолот будет чище. И зерна больше сдадут. В эту последнюю страду она, Евдокия, должна все подчистить за собою. Ничего не оставить.

Она поглядела на выгоревшее от жары небо, на уходящее вдаль поле с низкой золотистой стерней, от которой в поле, казалось, было еще светлее, и с грустью подумала, что скоро уйдет она с поля, а здесь все останется по-прежнему. Так же будет приходить весна, лето и осень, так же будет желтеть стерня, и такое же будет небо. Ничто живое не вечно, только поле — вечное. Сколько глаз на него смотрело, и сколько будет еще смотреть... Хоть бы травкой какой здесь прорасти...

Вернувшись к стану, Евдокия увидела, что женщины по-прежнему лежали там и сям, прикрыв глаза от солнца, дремали. Принекало солнышко, разморило. Тишина, пахнет землей и хлебом, в сон клонит. Так бы и легла и лежала бы долго-долго. Дать бы женщинам сейчас отдохнуть, да нельзя. В жару дрема — хуже беды. Напечет солнце — с головной болью поднимутся и уж не работники будут.

— Хватит, бабы, нежиться, — заговорила громко Евдокия. — Поехали дальше. Времецко идет.

Женщины с неохотой поднимались, охая и вздыхая.

— На Обь бы счас, — мечтательно сказала Нинша, потягиваясь. — Искупаться. Как половик, вся в пыли.

— Вечером из тебя муженек пыль выбьет. Метелкой, — с усмешкой сказала Валентина.

— Чего доброго, а это уж всегда, — мрачно согласилась Колобихина. — На это у него ума хватит.

— Ой, правда, тетя Нина, — восторженно сказала Галка. — Окунуться бы и на песочке полежать. А то возле реки живем, а воды не видим.

— Когда же ее видеть? — говорила Нинша. — Она — там, а мы — тут. Терпи, девка, целый год речку не увидишь. До будущего сенокоса. Ладно, бог с ней, с речкой. Надо идти робить, мужику мотоцикл зарабатывать. Может, отлупит лишний раз...

Снова загремели моторы над степью, снова комбайны двинулись по своим загонкам. Держись, Бабе поле!

К вечеру вынужденный утренний простой удалось наверстать, потому что работали без особых остановок, а машины, как бы сочувствуя женщинам, не ломались, шли и шли себе, оставляя за собой ровненькие колешки. Комбайны встали только тогда, когда на поле появился Пашкин грузовик.

Пыльные, чумазые, лишь глаза блестели на серых лицах да зубы, женщины лезли в кузов, рассаживались на свои места. Варвару пришлось подсаживать всей бригадой — самостоятельно влезть не смогла. Повисла на борту, дрыгая ногами, заполошно крича:

— Ой, бабы, оставляйте меня тут! Никуда не хочу! Готовая я!

— Ты и в прошлый раз говорила, что готовая, — подбадривала ее Евдокия. — Скоро у тебя второе дыхание откроется.

— Пока второе откроется, дух испущу!

— Не бойсь, Варвара! Живы будем — не помрем!

Как ни устали женщины, а повеселели: домой едут. Откуда и силы у всех взялись. Шутят, посмеиваются друг над другом, улыбками светятся серые лица.

«Милые вы мои...» — только и подумала Евдокия, наполняясь любовью и нежностью к сидящим подле нее женщинам. Отчертомелили смену, а сколько этих смен впереди... И когда впереди показалась развилка и увиделись дома Налобихи, Евдокия вдруг вскочила с места, забарабанила ладонью по кабине.

Машина притормозила, Пашка выглянул из кабины.

— Забыли кого, что ли?

— Сворачивай на луга, к реке! — крикнула ему Евдокия.

Пашка оторопел:

— Зачем? Николай Николаич про луга ничего не говорил. Как, мол, бригаду привезешь, сразу езжай с Коржовым в Раздольное. В райсельхозтехнику, за запчастями.

— Успеешь. Давай к реке!

— А председателю что скажу?

— Скажешь, Тырышкина так велела. Я отвечаю.

— Дело хозяйское, — Пашка пожал плечами и хлопнул дверцу.

Машина свернула от близкой уже деревни на просе-

лок и понеслась к лугам. Евдокия стояла, опершись руками о кабину, глядела вперед. И хотя дорога теперь пролегла дальше от обрыва, старую дорогу забросили и накатали новую, все равно и река, и обрывистый берег были рядом, и жутковато было нестись вровень с облаками на той стороне. Далеко внизу расстелились и сама река, и синие леса заобья, загустевшие к закату. Обь остро проблескивала, гладко струясь под высоким яром, и от этой высоты, на которую словно крылья подняли, от близких, розово подвеченных снизу облаков, теряющихся у размытого горизонта, от беспредельной необозримости земли и неба кружилась голова, тревожно и сладко вздрагивало сердце.

Ошарашенные быстрой ездой и широтой открывшегося им мира, женщины притихли и только глядели и глядели, повернувшись все к левому борту, не могли наглядеться, пугаясь и восхищаясь одновременно.

Пашка, наверное, тоже почувствовал в душе какую-то необычность, а может, ему передалось настроение пассажира, но он резко прибавил скорость. Тугой ветер хлестал по лицам, выжимая слезы, позади клубилась пыль, растянувшись далеко-далеко, почти до самой Налобихи. Казалось, грузовик сейчас взлетит в близкое остывающее небо и поплывет над рекой, над лесом к красному, косо склоняющемуся на закат солнцу.

— Хорошо, — шептала Евдокия обветренными губами, — хорошо, жми, Пашка, жми... — У нее усталость тоже куда-то делась, будто вместе с пылью отстала по дороге. Светло и легко ей было, восторг переполнял душу, и не в силах все это сдержать в себе, крикнула отчаянно, оглянувшись на женщин:

— Летим, бабы, а? Как на крыльях! Знай наших!

И те с восторгом и страхом улыбались ей и только заполошно взвизгивали, когда машину подбрасывало на неровностях и они какие-то секунды на самом деле висели в воздухе. Им казалось, что машина будет мчать и мчать над рекой, над лесами и никогда не остановится. Далеко позади осталась Налобиха с ее заботами, все это терялось за спиной, а они, женщины, были свободны, как птицы.

Пашка, однако, убавил скорость: начинался спуск к лугам. Травы здесь после покосов отросли и стояли все еще зеленые, сочные, не как наверху, в степи. Только камыши на подсохших озерцах с загустевшей водой зажелтели,



распушили метелки. С ближнего болотца, когда машина, тяжело переваливаясь на кочках, проезжала мимо, шумно снялся утиный выводок и пронесся над машиной низко, почти над самыми головами, со свистом рассекая тугой воздух и забирая все выше и выше.

«Как бежит время, — подумалось Евдокии с печалью, — оглянуться не успеешь, и осень придет. Вон уж утята на крыло встали, набирают силы к дальнему перелету. И Юлия скоро вырвется из родительского дома, тоже улетит в другие края. Да и самой скоро уходить из звена. В работе время не замечается, а остановишься, отдышишься, и только тут поймешь, как оно скоротечно».

Машину остановили у берега, возле тихого песчаного заливчика. Пашка вышел из кабины, потянулся, разминая кости, спросил Евдокию, усмехаясь:

— Ну и что дальше, ваше благородие?

— Иди за кусты во-он туда, — показала Евдокия рукой. — Да смотри не выглядывай. Мы купаться будем.

— А я, может, тоже хочу искупаться, — ухмылялся Пашка.

— Вот там и купайся.

— Там песка нету.

— Обойдешься без песка! — прикрикнула на него Евдокия. — Иди, и чтоб духу твоего тут не было. Позовем, когда надо будет.

Пашка закурил и побрел влажной тропкой к дальним кустам черемухи.

Женщины, покрасневшие, разгоряченные быстрой ездой, счастливо оглядывали луговую благодать, разомлели от неожиданной тишины и покоя.

Евдокия приказала:

— А ну, бабы, всем купаться!

— Дак ни купальника, ни чего, — смутилась Галка.

— На что он тебе тут, купальник?

Раздевшись и осторожно ступая босыми ногами по влажной траве, ощущая молодую легкость в теле, Евдокия пошла к воде, заранее ежась и посмеиваясь. Ступила на чистый, приглаженный песочек и, задержав дыхание, шагнула в воду. Прохладная вода ласково обтекала ноги. Песчинки, выскальзывающие из-под подошвы, приятно щекотали загрубевшую кожу. Хотелось поскорее, немучая себя, окунуться и броситься вперед, туда, где кон-

чалась эта тихая заводь и взвихривались быстрые струи реки. Но прежде чем окунуться, Евдокия оглянулась на женщин.

Следом за нею шла Колобихина, смущенно улыбаясь. За подругой Нинша хоть куда, нигде от нее не отстанет. Зато другие женщины все еще не могли решиться, так и стояли на берегу одетые, глядя на своего бригадира. Галка пробовала пальцами ноги воду и взвизгивала. Варвара, стеснительно улыбаясь, глядела на реку как на что-то очень желанное, но недоступное ей. Красивая Валентина мечтательно созерцала леса заречья. Юлия же просто сидела на бережку, обняв руками колени.

— Вы зачем сюда приехали? — напустилась на всех сразу Евдокия. — А ну, живо раздевайтесь! Все моментально в воду! Варвара, ты чего мнешься!

— Неловко, Евдокия Никитична, — смущаясь, произнесла та, явно стесняясь своей полноты. — Вы купайтесь, а я посмотрю.

— Я тебе дам, неловко! Тут все свои, стесняться некого.

Валентина постояла-постояла, да вдруг порывисто сорвала с головы атласную косынку, бросила на траву и принялась стаскивать с себя комбинезон. Она разделась донага и пошла к воде, разметав по плечам густые волосы, встряхивая головой, отбрасывая пряди назад, чтобы не лезли в глаза. Тело у нее оказалось белое, молодое и гибкое. Небольшие, аккуратные груди стояли торчком, темнея маленькими сосками, и Валентина горделиво несла их перед собой, презрительно глядя вперед сужившимися, потемневшими от своей смелости глазами.

— Ой, Валька... — удивилась и растерялась Галка. Она стояла босая у воды, не решаясь раздеться. — А ну как Пашка подглядывает? — и поежилась, будто не Валентина, а она сама была голой.

Валентина едва заметно усмехнулась — слегка дрогнули уголки ее губ — и, не удостоив Галку ответом, вступила в воду без ойканья и всяких ужимок. Смело вошла в воду, и вода с готовностью приняла ее, сомкнулась над белым телом, омыла текучими струями.

Колобихина восхищенно поцокала языком.

— Эй, Валуха, ты чего замуж-то не выходишь? — прокричала она Валентине. — Для кого бережешь такую красоту? Любой мужик без ума был бы.

Валентина не слышала ее. Она вразмашку плыла к быстрине, и темные волосы струились вслед за ней.

И все сразу принялись раздеваться, дурачась, пере-сменываясь, словно Валентина расковала их, и кинулись к реке, взвизгивая, поднимая высокие брызги, вспыхивающие радугой в низком закатном солнце. Заполошно и весело стало на берегу.

— Ну вот, давно бы так, — удовлетворенно сказала Евдокия, окунувшись и решительно поплыла на быстрину, вырываясь из заводи. И едва она миновала затишье, как река властно подхватила ее своим быстрым течением и потащила, потащила.

Отодвинулся в сторону берег с обнаженными, резвящимися, как русалки, женщинами, промелькнули кусты тальника, обрамляющие заливчик, но Евдокия уже не оборачивалась. Она видела перед собой молочно-белую спину Валентины, то скрывающуюся в воде, то всплывающую, и тоже по-мужски, вразмашку плыла за ней, стараясь догнать ее и хоть на метр, но обязательно заплывать дальше, ни в коем случае не уступит ей, потому что с берега за ними наблюдала вся бригада.

Руки Валентины взмахивали безостановочно, плыла она легко, как рыба, а Евдокия начала уже уставать, сбилось дыхание, и, глядя на неутомимую Валентину, досадливо подумала: зря ввязалась в это соревнование. Валька молодая, силы как у кобылицы, где же ей, старухе, ее догнать? Испуг вошел в душу. Поняла: далеко заплывла, но от молодой соперницы не отставала, не поворачивала к берегу, мысленно просила Валентину остановиться.

И та словно услышала молчаливую просьбу бригадира: перестала загребать руками, перевернулась на спину, выставив из воды острые груди, по-русалочьи извиваясь всем телом в бегущих струях. Она отдыхала.

Евдокия чуточку проплыла еще и тут же, развернувшись, заспешила назад, к берегу, пугаясь расстояния. Опасалась не на шутку, что не хватит сил. Уж не до соревнования было.

Валентина, отдохнув, догнала ее шутя и плыла рядышком, не отставая и не вырываясь вперед, чувствовала, наверно, что силы Тырышкиной на пределе. Они и на берег вышли одновременно. Отдыхались и пошли по высокой траве туда, где слышался визг и плеск женщин.

— Заморила ты меня, — сказал Евдокия, с завистью глядя на Валентину. — Сильная ты. Осенью уйду, вместо меня звеньевой останешься. Хозяйкой будешь.

Валентина ничего не ответила, толкнула скупо улыбку уголками рта, скосив на Евдокию глаза. И молчала, но без обычного отчуждения, словно ждала еще каких-то слов. Этот Валентинин хоть и не дружеский, но и не враждебный взгляд обнадеживал, подталкивал к откровенности.

— Друзьями нам уж не быть, — заговорила тихо Евдокия, — но расстаться с тобой хочется по-человечески. Знаешь, когда уходишь, хочется, чтоб за тобой чисто было, чтоб не помнили недобрим словом. Врагов у меня нету. Никому я ничего худого не делала, старалась, чтоб честно было. Вот только с тобой у нас никак не ладилось. Винишь ты меня, Валентина. Но если я и виновата перед тобой, то не по злобе позвала тебя в звено. Думала, лучше будет. Я ведь и себя не жалела. Ты знаешь...

Валентина сломляла веточку тальника, стала отгонять ею редких комаров.

— Давай помиримся. В злобе проку нет, — продолжала Евдокия тихо и проникновенно. — Горько жить, когда знаешь, что тебя кто-то ненавидит. Душе неуютно.

— А я уж тебя простила, — хрипловато ответила Валентина. — Жалко мне тебя стало, и простила. Помнишь, как я злорадствовала? Дескать, пора и твоей дочери на трактор. А увидела, как Юлька бросилась к барабану, как руки соломой исполосовала, и стонулось что-то во мне. Вот тогда мне тебя жалко стало. Себя вспомнила, свое горе.

Евдокия хотела обнять Валентину, но та увернулась от ее руки.

— Не надо, Никитична.

— Эх, Валентина, Валентина. Я тоже знаю, как это страшно. Не ты одна. У меня ведь первенькие-то тоже не жили. Знаешь, сколько мы Юлию ждали? Уж и не надеялись. Ты не отчаивайся. Выходи замуж.

Валентина неверяще улыбнулась.

— Не успокаивай. Ты вот что... не пускай Юльку на трактор. Не всем это можно. Она не подходит.

— Почему ты думаешь, что не подходит?

— Зна-а-а-ю... Я сразу вижу. Вот Галка — та пойдет. А Юлька — нет. И вот еще что. От звеньевой я не отка-

жусь. Если ты, конечно, не передумаешь меня рекомендовать. И в звено я наберу крепких девчонок, не худосочных. И следить за ними буду. Чтоб ни одна больше не испытала того, что я. Тот раз я белая ходила, ветром качало, а ты ни о чем не догадалась.

— Давай. Ты молодая. У тебя все должно быть лучше. По-новому. А мы, старики, работали как умели... — и ничего больше не сказала, потому что близко за кустами гомонили женщины.

— Ой, какие вы отчаянные! — закричала Галка, бросаясь навстречу. — Это ж надо, куда заплыли!

Варвара блаженно жмурилась, улыбалась мокрым лицом:

— На всю жизнь накупалась! До отвала! Боевая ты женщина, Евдокия Никитична. Я до этого как в потемках жила. День-деньской в избе да в избе. Возле печки крутилась да с ребятней. А тут у вас — воля! Будто из клетки выпорхнула.

— Человеком себя почувствовала?

— Еще как! Что ты меня раньше в звено не позвала? Где ты раньше была? — и счастливо рассмеялась.

— Вот то-то! — подмигнула ей Евдокия.

Евдокия подождала, пока женщины оденутся, и, просунув руку в кабину, надавила на сигнал, призывая затравившегося в черемушнике Пашку.

## 15

Ведя комбайн по загонке, Евдокия беспокойно поглядывала на небо. Все эти дни стояла жара, небо выцвело от зноя, а нынче погода, кажется, менялась. С юга напозлали тяжелые, серые тучи, клубились над землей низко, и стояла духота, как перед дождем. В жару тяжело работалось, но Евдокии подумалось, что лучше бы еще постояла жара. Не дай бог, пойдет дождь, и работа встанет. Мокрые валки подбирать нельзя, жди, когда высохнут, а это — день-два, если не больше. Даже маленький дождичек затянет уборку.

Она хотела прибавить скорость и тут же увидела, как ее комбайн обогнал «газик». Из окошка, с водительского места ей махал рукой Постников, прося остановиться.

Евдокия недовольно поморщилась, но агрегат остановила.

Из машины вышел сам председатель, Леднев и молодой бородатый парень в замшевой куртке. На плече у него висела тяжелая квадратная сумка.

— Здравствуй, Никитична! — весело поздоровался Постников. — Вот корреспондента тебе привез. Будет фотографировать бригаду для краевой газеты!

— Немного не вовремя, — сказала Евдокия. — Как бы дождь не пошел. Тучи вон какие.

— Ничего. Это тоже дело нужное. Зови-ка всех своих.

Евдокия помахала женщинам.

Корреспондент вынул из сумки фотоаппарат, надел на шею и, недовольно покосившись на небо, нацелился на Евдокию. Он то приседал, то отскакивал в сторону, поминутно щелкая затвором.

— Как идет уборка? — спросил он между делом.

— Пока нормально, — сказала Евдокия.

— Не приbedняйся, — улыбнулся Постников. — Скажи уж: хорошо. — И повернулся к корреспонденту. — Это у Тырышкиной последняя страда. Осенью провожать ее будем. Ее трактор на пьедестал поставим, как памятник. Приезжайте запечатлеть.

— Обязательно, — корреспондент что-то черкнул в блокнотике. — Сделаем. Только вы мне позвоните.

— Это самой собой, — председатель подмигнул Евдокии.

Подошли женщины. Поздоровались смущенно.

Корреспондент тут же навел на Юлию фотоаппарат, защелкал затвором.

— Молодую да красивую сразу заметил, — засмеялась Колобихина.

— Принцесса поля, — сказал корреспондент, улыбаясь. — Так и озаглавим. — Он вынул блокнотик. — Назовите, пожалуйста, фамилию.

— Тырышкина, — ответила Юлия, смущаясь. — Юлия Степановна.

— Как? — удивился корреспондент и обернулся к Евдокии. — Это ваша дочь?

— Разве не похожа? — усмехнулась Евдокия.

— Похожа! — обрадовался корреспондент. — Вот это находка! Юлия, это ваша первая страда?

— Первая.

— Значит, у матери последняя страда, а у вас первая? Отлично! Вы приняли эстафету из рук матери! —

Он строчил в блокнотике. — Продолжили ее дело. А вам нравится работать на комбайне?

— Нет, — сказала Юлия.

Корреспондент растерянно заморгал глазами.

— То есть как «нет»? — Авторучка замерла на полуслове. — Почему?

— Тяжело.

Постников досадливо крикнул. Леднев рассмеялся.

— А почему тогда работаете?

— Надо, вот и работаю.

— Она поступила в городе учиться, а пока помогает колхозу, — подсказал за Юлию Постников.

— В сельскохозяйственный поступили? — с надеждой спросил корреспондент, и его рука с зажатой авторучкой готовно напряглась.

— Нет. На вышивальщицу.

Корреспондент с надеждой взглянул на Постникова, как бы прося его помочь. Заговорил:

— Значит, так: она поступила учиться и, так сказать, отдает долг родному колхозу. В трудное время жатвы. Когда каждая пара рук на учете. Верно?

— Верно, — сказал председатель. Ему было неловко, что все столь нескладно выходит. Он жалел корреспондента. — А когда Юлия выучится, то, возможно, будет вышивать вымпелы и знамена для победителей соревнования, — добавил Постников.

— Да? — обрадовался тот. — Отлично! — Снова повеселел, и рука его бойко принялась писать. — Это уже что-то!

Корреспондент сфотографировал Колобихину, Валентину, Галку, Варвару, не забыв пометить, что она — жена председателя, других женщин и потом всех вместе. Отошел далеко в сторону и стал оттуда фотографировать комбайны.

— Чего ж вы так с ним? — недовольно спросил Постников женщины. — Я чуть со стыда не сгорел. «Не нравится»... Мало ли кому чего не нравится. Понимать должны, что не напишет же он так в газете. У них своя специфика. В общем, разочаровали вы меня. Я в газету звонил, нахваливал вас, а вы все испортили.

— По-моему, они ничего не испортили, — вступился Леднев за Юлию. — Нормальный был разговор.

— Не заступайся. Парторг называется. Твоя недоработка. Они мелют языками, чего не надо, а он слушает. —

Снова обернулся к Евдокии. — Своевольничаешь ты, Никитична, а механизаторы берут с тебя пример. Ладно хоть еще Колобихина промолчала.

— Как это своевольничаю? — спросила Евдокия.

— А так. Бригаду купаться возила? Машину задержала? Мы ведь на нефтебазу едва не опоздали.

— Нашел, чем упрекать, Николай Николаич, — рассмеялась Евдокия. — Машину пожалел. Один раз за всю уборочную на реку съездили. Да это вроде премии женщинам. С утра ведь до вечера вкалывают. Неужто не заслужили?

— Надо было разрешение спросить, — мягко укорил Постников.

— Когда было спрашивать? Да ты бы все одно не дал.

— Ну командиры, ну командиры... — Постников уже улыбался. — Дай вам волю, потом и сам не рад будешь. Живо подомнете.

— И подомнем, — смеялась Евдокия. — Нынче наш, бабий век наступил.

— Оно и видно. Моя Варвара в бригаде без году неделя, а уж тоже дома командовать начинает. Голосок прорезается. Пришла, легла на диван и мне: подотри, мол, пол.

— И что, подтер?

— Куда денешься, раз велят.

— Вот так и надо с вашим братом! Мы скоро вместо тебя Варвару председателем выберем! Вот тогда запоешь.

Корреспондент закончил свои кадры и шел уже к машине.

— Как они до красивых-то падки, — заметил Постников. — Так возле нее и крутится. Осталась бы в механизаторах, прославили бы ее газетчики. Ей-богу бы прославили.

К вечеру красный комбайн Валентины прошел по последней загонке и остановился, потому что впереди расстилалась лишь низкая стерня. Задние комбайны шли вхолостую и остановились возле валентининога агрегата, которому выпало завершить страду. Женщины спустились на землю, чуть не задушили Валентину в своих объятиях. Атласная косынка сползла у нее с головы, волосы растрепались, Валентина слабо отбивалась от ошалевших подруг, растерянно улыбалась, а те тискали ее,



целовали и обнимали. Колобихина даже прослезилась на радостях.

А тут еще Евдокия поддала жару. Вырвала Валентину из женских рук, поцеловала в щеку, отстранила от себя, любовно оглядывая, и крикнула:

— Победа, бабы! У нас самый высокий урожай в колхозе. Обставили мы культурных пахарей! Которые при галстуках! Радуйтесь, бабы, наш праздник наступил!

И все снова кинулись обниматься, поднялась суматоха, визг, крик. Женщины не могли нарадоваться.

— Евдокия Никитична, как хорошо-то... — говорила, разомлев, Варвара. — Возьмите меня в звено насосем!

— А это теперь не у меня спрашивай, а вот у Валентины, — сказала Евдокия. — Я свое, бабы, отстрадовала, Валентина у вас звеньевой будет. Как говорится, любите и жалуйте. А я — все... — проговорила Евдокия, отчаянно блестя глазами, и, как бы отрубая что-то, резко махнула рукой.

Комбайны отогнали на машинный двор, поставили рядышком друг к другу, но женщины еще долго не расходились по домам, толпились в ограде машинного двора, связанные общей радостью. Они словно боялись, что большая общая радость раздробится по кусочкам, едва они уйдут отсюда, и каждый останется наедине с собой.

Евдокия взяла под руку Юлию.

— Пошли, дочка, я с трактором прощусь.

Трактор Евдокии стоял в самом углу двора, позабытый всеми. Слесари больше не будут с ним возиться. Он свое тоже, как и хозяйка, отстрадовал и теперь списан.

С печалью и сочувствием глядела на него Евдокия, горестно сморщившись и как бы постарев разом. Ох, как она его знала... Лучше, чем себя. Капот и кабину Евдокия за долгую жизнь машины столько раз красила по весне, накладывая кистью один слой краски на другой, тщательно замазывая облупившиеся места, что трактор казался теперь грубо оштукатуренным. Краска не скрывала помятостей, а наоборот, подчеркивала старость и ветхость машины. Отполированные землей траки гусениц еле держались, металл источился от работы. Выхлопная труба прогорела в нескольких местах, и из-под окалины зияли дыры. Машина — она как человек. Пока новая — и резвость есть, и силы. К старости же болезни наваливаются скопом. Один недуг лечишь, другой назревает.

Как ни подмалевывай облицовку, а старость проглядывает отовсюду, не спрячешь ее. Железо — тоже не вечное.

— Сплошной утиль, — сказала Юлия.

Пренебрежение к материному трактору Евдокию обидело.

— Ну зачем ты так? Утиль... Я на нем человеком стала. Сколько раз мы с ним Бабы поле перепахали — не сосчитать. Эх, Юлия, Юлия, для тебя это груда старого железа, а для меня — вся жизнь. И другой жизни у меня не будет. — Она прощально оглядела свой трактор, погладила рукой теплый, нагретый солнцем бок, сказала дрогнувшим голосом: — Прощай, кормилец.

И не оборачиваясь больше к трактору, подхватив под руку Юлию, пошла домой. Голову опустила низко, стараясь не показать дочери глаз, будто искала что на земле.

— Плачешь, что ли? — удивленно спросила Юлия, заглядывая матери в лицо, заступая ей дорогу.

— Нет... Это я просто. Соринка попала... — Обняла дочь за плечи. — Отстрадовалась я. Даже самой не верится. И никуда больше торопиться не надо. О звене думать не надо. Все кончилось. Будто и сама жизнь кончилась.

— Радоваться надо. Жизнь у тебя тяжелая была. Отдохнешь теперь.

— Не привыкла я отдыхать.

— Но вот так с утра до ночи на поле... Ничего не видеть, кроме своего трактора... Всю жизнь работать, как конь, и только... нет, мама, так я не хочу.

Евдокию задела слова Юлии, особенно сравнение «как конь», и она внимательно взглянула на дочь.

— Разве худо, что всю жизнь проработала? Что народ хлебом кормила? Что от зари до зари на поле падала?

— Не худо. Но знаешь... обидно мне за тебя, за других наших деревенских. Я вот посмотрела, как люди в городе живут, и завидно стало. В театры, на концерты, на разные выставки. Об искусстве спорят. А у нас ничего этого нет.

Евдокия снисходительно усмехнулась.

— У нас деревня, Юлия. С городом не равняй. А вообще-то я некоторых городских знаю, которые и в театре-то ни разу не были. Даром, что в городе живут.

— Но у них возможность есть, — возразила Юлия. — А у нас если и захочешь куда пойти, никуда, кроме клуба, не сходишь. Что ни говори, мама, а городские гораздо содержательнее живут. В смысле культуры.

— Без хлеба не было бы и культуры, — сказала Евдокия.

— А сама Налобиха искусства не видит. Видит тень искусства в окошечке телевизора.

— Ты жалеешь, что родилась в крестьянской семье?

Юлия энергично помотала головой.

— Ни в коем случае. Но почему вы хотели, чтоб я пошла в механизаторы? Я давно сказала, что мечтаю стать художником по вышивке, а вы как сговорились: иди на трактор и все. Потому что родилась в крестьянской семье? И на другое не имею права?

— Имеешь, — отозвалась Евдокия. — Учись, коли есть стремление. Только как со свадьбой-то?

Юлия покраснела и закусила губу.

— Знаешь, мама, — тихо проговорила она, опустив глаза, — я наверное... в общем... ребенок будет.

— Да ты что! — вскрикнула Евдокия.

— Правда, мама...

— Я же тебе наказывала. Я же тебя учила! — запричитала Евдокия. — Зачем ты так поступила? Ох, Юлия, Юлия...

— Я знала, что это будет, — прошептала Юлия, — вот и хотела уехать. Я боялась Сашу. Уговаривала его, а он: «Ты меня не любишь». Он не хочет, чтобы я ехала учиться. Очень не хочет. Опасается, что потеряет меня. Потому и такой...

— Ну тогда и со свадьбой тянуть нечего, — сказала Евдокия.

— А если правда он меня потеряет?

— Ты думаешь, о чем говоришь? — прикрикнула Евдокия. — Юлька, ты почему такая-то? Теперь хочешь не хочешь, а надо скорее играть свадьбу. Раз уж все так вышло. Назад тебе пути нету...

## 16

Широко загуляла Налобиха!

Праздник урожая, проведенный колхозом пышно, с торжественными наградами победителям, с концертом художественной самодеятельности давно закончился, но деревня как взяла на нем разбег, так и не могла оста-

новиться. Улицы были полны народу, никому не сиделось дома, всех на люди тянуло. Из динамика над клубом допоздна гремела музыка, веселилась нарядная молодежь. С магазина сняли запрет на спиртное, шла бойкая, бесперебойная торговля. Бери сколько душе угодно! И деревня вольно гуляла, махом наворачивая то, чего не могла себе позволить в страдные дни: пила, плясала и шумела за весь прожитый год сразу.

Но, конечно же, не все бесшабашно веселились, давая душе полный простор. Степенные, пожилые люди, отдав празднику должное, начинали готовить к зиме свое личное хозяйство, пора было и о нем задуматься. Утепляли дома, стайки для скота, пилили дрова, подвозили с забок сено.

В домах Тырышкиной и Брагиных шли последние приготовления к свадьбе. Брагин с сыном несколько раз съездили в город за покупками. Евдокия составляла список того, что надо купить для приданого, для застолья, и вздыхала: деньги все на машину ухнули, почти ничего не осталось, а сколько надо брать!

Однажды Брагины пригласили Евдокию и Степана к себе. Показали им новый дом для молодоженов. Высокий и светлый был дом, на три комнаты, с просторной, застекленной верандой в сторону реки. Вид с веранды открывался красивый: и река как на ладони, и заобские леса синеют, словно на картинке. Вот только мебели в доме было маловато. Стояли железная, с шишечками, кровать, старый шифоньер, стол да несколько стульев. Их, видимо, поставили на первое время, чтобы гостей не пустые стены встречали.

— Гарнитурчик бы надо, — мечтательно сказал Брагин.

— Мебель мы возьмем на себя, — ответила Евдокия, понимая, что Брагин как раз на это и намекает. Мы, мол, вон какой дом просторный срубили, а вы его обставьте. Придется где-то занимать деньги да просить Постникова, чтобы через райпо достал гарнитур.

В город съездили и вернулись с покупками. Достали и обручальные кольца и все, что нужно. Евдокия купила Юлии в подарок маленький золотой медальончик на тонкой цепочке. Медальончик — загляденье, таких сама она не только не имела, но и в глаза раньше не видела. У Евдокии вообще никакого золота не было. Даже обручальных колец со Степаном не завели. В их время к

золоту было иное отношение. Но раз теперь все накинулись на золото, как после войны голодные на хлеб, то пусть и Юлия носит. Ей, матери, для нее ничего не жалко. В долги залезет по уши, а сделает, чтоб дочь одевалась не хуже других.

Юлия так и расцвела от радости, надев на шею медальончик.

— Это тебе, дочка, на счастье, — сказал Евдокия. — носи и мать не забывай.

— Что ты, мама! Я тебя и так никогда не забуду.

— Не знаю... Тревожно мне что-то.

И будто в воду глядела.

Вечером с почты принесли телеграмму. Юлию срочно отзывали в училище.

— Что там такое случилось? — недоумевала Евдокия. — Еще полторы недели до занятий. И ваша группа поди еще на свекле.

— Сама не знаю. Поеду, раз зовут.

— Справку не забудь взять, — наказывала мать. — Может, тебя в колхоз хотят отправить.

— Не забуду.

Юлия раскрыла свой чемодан и стала укладывать одежду, книги.

— Будто насовсем собираешься, — ревниво сказала Евдокия, глядя, как дочь аккуратно укладывает свои вещи. — Отпросись. Скажи, что свадьба будет.

— Скажу, — пообещала Юлия. — А с чего ты взяла, что насовсем? Хочешь, я вообще книги не возьму? А из одежды только самое необходимое. Хочешь? Да... мама, я бы тебе подарила ту картину, ну, с конями, но ее у меня пока нет. Ее куда-то на выставку отправили. Я пришла. Ладно?

— Ладно. Отец тебя утром отвезет в город.

— Не надо. Саша до трассы довезет, а там на автобус саду. Чего попусту в такую даль мотаться?

— Гляди, тебе виднее... К нему-то сходишь?

— Схожу...

Утром подъехал на машине Сашка. Посидели в комнате, как водится, перед дорогой и вышли.

Евдокия захотелось сказать какие-то особенные слова, чтобы долго помнились, но только выдохнула:

— Возвращайся поскорее, — и обняла.

И долго смотрели отец с матерью, как маленькая, юркая машина увозила дочь.

А погода в этом году стояла все-таки хорошая, грех жаловаться. Заморозки, которых так боялись весной, не побили всходов, обошли Налобиху стороной. И тепло стояло, и дожди упали в свое время. Летом, правда, набегали ветры, так здесь без ветров ни одно лето не обходилось, всегда они тут шумели. Место высокое, ровное, степное, и лесов нет. На этой стороне Оби. Разбросанные там и сям березовые колки не спасали полей, сами едва выставляли. Березы в колках росли внаклон, ветры не давали им выпрямиться, даже трава под березами была зачесана на одну сторону, будто гребнем, — все насквозь продувалось, нигде от ветров спасения не было. А в прошедшее лето ветры еще и не сильные были, мало с полей земли и семян унесли, по-божески обошлись. И уборка прошла в сухое время, из-за непогоды ни разу не простанвали, хлеб в валках дозрел хорошо, не запред. Да и осень началась ведренная, неторопкая. Природа будто ждала, пока люди уберут с полей, с пашен все, что надо убрать, подвезут с лугов сено, сделают большую и малую предзимнюю работу, которая требует сухой погоды, и тогда уж можно будет послать ненастье, без которого земле нельзя!

Осенние дожди пришли скоро, не замешкались и не поторопились с приходом. Сначала крупно и щедро лило несколько дней кряду, смывая отовсюду летнюю пыль, утоляя жажду отошавшей от родов земли. Ветер разгонял тучи, принимался срывать листья с деревьев, на глазах раздвигал желтые березняки. Ветры, обессилев, улеглись, снова напоздали тучи, обкладывая все небо, и снова начинало лить. Березняки стояли уже голые, просвечивали насквозь, а над Налобихой, над полями, над потемневшей Обью висели остатние мелкие, моросные дожди — с неба сжегивались одонки. Природа завершала свой извечный круг, укладывая землю на покой, чтобы за долгие месяцы земля набралась сил и по весне снова могла зеленеть и родить.

Евдокия вся испереживалась: уехала Юлия, неделя уж прошла, а от дочери ни слуху ни духу. Хотела послать Степана в город, узнать, как она там, что с ней. И тут неожиданно пришло письмо.

«Мамочка, родная! Ты, конечно, удивишься, получив это письмо. Я сейчас очень далеко от Налобихи, аж в са-

мой Прибалтике. Понимаешь, мое «Поле» было на выставке. В общем, меня заметили и пригласили сюда в училище прикладных искусств. Здесь очень хорошие и давние традиции вышивки. Какие тут прекрасные вещи делают, знала бы ты! Я прямо обалдела! Я ведь вслепую работала, интуитивно. И не знала, что где-то вышивку очень любят и ценят. В общем, я счастлива, мама! Не сердись на меня, что ничего не сообщила и уехала. Понимаешь, все так складывалось, все было против того, чтобы я занялась любимым делом. Но я решилась наперекор всему. Я буду художником! Не осуждай меня. Твоя дочь Юлия».

— А как ребенок? — спросила Евдокия, хотя спрашивать было некого. — Почему об этом-то ничего не написала? А как Сашка?

Не с кем было поговорить. Степан уехал на поле. А она коротала время тем, что шила для будущего внука приданое. Взглянула на свое шитье и грустно усмехнулась.

Не вынеся одиночества, накинула плащ, обула кирзовые сапоги, вышла из дому и медленно пошла по деревне.

Наохлилась Налобиха под серой моросью дождя, потемнели крыши, из труб струились сырые осенние дымы, стелились по ветру. Уже заканчивали зябь. Рокотали тракторы за деревней, шли привычными кругами вдоль Мертвого поля. Люди заканчивали последние полевые работы. Скоро надолго поля опустеют, лишь ветры там останутся... До весны.

На площади перед правлением мокнул на кирпичном постаменте Евдокиин трактор. Да уж и не трактор, а памятник. Когда его сюда ставили, Иван Иванович велел было снять с него двигатель, электрооборудование, но Евдокия не дала. Она и слышать не хотела, чтобы «раскулачили» ее кормильца. Пошла к Ледневу, и тот попросил Коржова все оставить, как есть. Тем более, и детали эти никому не нужны: старые, изработанные. Евдокия покрасила свою машину в последний раз, водя кистью по-особенному тщательно, замазывая каждую выбоинку. Понимала: не для работы готовила трактор, а для всеобщего обозрения, и пусть он будет нарядным. Не сосчитать, который слой серой краски лег на бугристый металл облицовки, но и cabina, и капот обновились под старательными руками Евдокии и празднично

засияли. Двигатель она протерла керосином, счищая грязь, окалину и ржавчину, и покрыла его краской-серебрянкой, чтобы дальше не ржавел. Этой своей истовостью Евдокия благодарила трактор за долгие годы службы, зная, что все живое и неживое откликается на доброту.

Иван Иванович лично укрепил на радиаторе хромированную табличку, на которой были выгравированы слова, поясняющие, отчего этот старый ДТ-54 удостоен такой чести — быть установленным посреди деревни, а не отправлен на переплавку, как все отжившие свой век машины. И высекая гусеницами искры из камня, на пьедестал, сложенный из красного кирпича и с боков оштукатуренный, Евдокия захала своим ходом. Из радиодинамика на столбе гремел, перекрывая грохот трактора, торжественный марш, а фотограф запечатлел этот момент для истории.

Наверху Евдокия заглушила мотор, вылезла из кабины, взволнованная и растерянная. «Ну вот и все, — пронеслось в голове, — можно спускаться вниз, на землю». Двери и капот трактора заварят, чтобы уже ни одна живая душа не могла попасть в кабину или подобраться к навсегда оставшемуся двигателю. Кирпичный склоп тоже разберут, и будет трактор маячить над улицей одиноко, недоступно высокий и чужой.

Будто вчера еще Евдокия пахала поле на своем «кормильце», а теперь стояла перед ним не в привычной рабочей телогрейке, а в чистом выходном плаще, уже не трактористка, не звеньевая — никто. Сошла с круга. Зябко ежилась она под осенней моросью, одинокая, неприкаянная, ни людям, ни себе не нужная. Серой глыбой навис над нею ее трактор, ставший памятником, такой даже на вид холодный и безжизненный, словно стал каменным, как и пьедестал под ним. И трактор — бывший, и хозяйка — бывшая. Все у них в прошлом, ничего спереди не светит, никакая надежда. Люди зябь поднимают, а она бродит по деревне, словно ищет вчерашний день. Разве пойти на Бабье поле да попросить у Ниинши Колобихиной сделать хоть один кружочек вокруг Мертвого поля, чтобы снова почувствовать себя живой и нужной? Ниинша, конечно, не откажет, ее верная подруга, да только какая радость — круг на чужой машине? Не утешиться, лишь горше станет... Вот ведь как получилось: ушла с трактора и вроде как самой



жизни лишилась, ничего в душе не осталось, пустота одна. А разве это правильно, чтобы под конец жизни человек ощутил пустоту и никчемность?

Она вдруг вспомнила далекое-далекое время, когда еще была жива мать. И подумалось, что мать даже в старости себя никчемной не чувствовала, вечно в заботах и хлопотах. Ее и смерть застала за работой: мать месила тесто. Не успела домесить. Она не для себя жила в закатные годы, а для детей и жизнью своих детей. Их радостями, их горестями. Вечером, бывало, глядит, как ужинает ее большая семья, и умиротворение на лице. словно награда ей за все. А разве кто ее особенно благодарил? В президиумах она не сидела, орденов не получала. Была обыкновенная женщина, ничем не знаменитая. Была помощником мужу, растила для земли работников, а сыновья стали солдатами, пали за землю, на которой им не довелось поработать до сладкой усталости. Евдокия за всех отстрадала: за отца, за братьев и за себя. И за дочь Юльку впридачу.

«А ведь если по справедливости, — думала Евдокия, запоздало виня перед матерью, — то мать больше награда достойна, чем я, ее знаменитая дочь. Женщине быть механизатором, конечно, трудно, но зато если уж вспахала как следует, то и люди это сразу видят. Похвалят тоже сразу: молодец, Дуся. Славно поработала. Выростила большой урожай — опять почести и благодарности от людей. Вся моя работа была на виду. За год-то сколько раз похвалят! А детей родить и растить — подвиг незаметный и тихий. И долгий-долгий. Редкую мать поблагодарят люди. И то, когда сын или дочь сильно прославятся. Обыкновенная женская доля...»

Евдокия вдруг передернулась, словно от озноба, и непроизвольно потянулась взглядом в сторону Бабьего поля. И сквозь дома, сквозь мелкий дождь дальней памятью увидела, как идут тракторы один за другим, подрезая безответными плугами корни трав, как глядят в мокрые лобовые стекла ее бывшие подруги. На воле се-чет нудный дождь, холодный и сырой ветер, а в кабине тепло от двигателя. Уютно рокочет мотор, покачивает, потряхивает тебя на неровностях, и так сладко думается под привычные звуки работы. И на душе — покой. Подрагивают руки на рычагах, машина слушается каждого твоего движения, теплая, живая, к которой так привыкла и которой остро недостает душе.

Она снова подняла голову, разглядывая свой бывший трактор, устремивший мокрые стекла фар к низкому небу. Желтый березовый лист, принесенный ветром из колка, прилип к радиатору, словно медаль. И вдруг Евдокия представила себе, как сползает ее трактор с каменного пьедестала, как круто разворачивается на одном месте и рывком устремляется туда, за деревню, к Бабьему полю, будоража тихие улицы грохотом двигателя.

Даже задохнулась от этой неожиданной мысли, и в груди стало горячо, и задышала прерывисто. И хотя мысль эта возникла в ней мгновенно, как взрыв, застала врасплох и испугала, но Евдокия тут же и поняла: от этого ей не уйти. Она сжалась. Тревожно и сладко заняло сердце, а неожиданное видение не исчезало, шальная мысль билась в мозгу, набирала силу, подталкивала Евдокию.

«Решайся!», — пульсировала в голове неотвязная мысль.

Обошла пьедестал, постояла у склона, по которому совсем недавно загоняла трактор наверх, и вдруг ноги как бы сами собой зашагали по мокрым кирпичам туда, к трактору. И уже не смотрела по сторонам, видела перед собой зеркальные траки гусениц, с которых спадали дождевики, да горбатый бак. «Интересно, есть в нем солярка? Когда заезжала, с четверть бака оставалось. Может, вылили? Так вроде при мне не выливали».

Открыла крышку, заглянула внутрь. Вроде есть. Пахло соляркой, и от этого запаха потеплело на сердце.

Рывком откатила дверцу, забралась в кабину. Запах внутри был новый: пахло краской. Выветрился дух разогретого металла. Потрогала холодные рычаги, выжала педали. Педали мягко ушли вглубь. Кажется, целую вечность не была в этой кабине. Такое все тут было родное и привычное, что защемило сердце.

Она потеряла рукавом плаща затуманившееся лобовое стекло, поглядела по сторонам. Никого не видать. Даже у правления — ни души. словно специально для нее.

«Решайся...»

Когда Евдокия сняла боковину капота, вспомнила: ремешок пускача лежит дома. Взяла себе на память. Но не бежать же за ним домой. Либо сейчас, либо никогда. Надо что-то придумать. Сняла поясok с плаща.

Затянула на одном конце узелок, чтобы держался на прорези маховика, намотала на маховик, подумав: «Голь на выдумки хитра». Набрал в грудь воздуха, дернула за поясок.

Пускач взялся сразу, затрещал по-мотоциклетному на всю улицу, и Евдокия испугалась: так громко, кажется, отовсюду слышать. Ей казалось, что сейчас сбегутся люди, снимут ее с трактора, но никто ниоткуда не бежал. Задыхаясь от радости, дрожа от нетерпения, Евдокия подождала, пока пускач прогреется, наберется сил крутить основной вал, и осторожно двинула рычаг сцепления с главным двигателем. Пускач задохнулся от надути, голос его придушенно упал, и тотчас глухо, глубоко, толчками, заработал мотор, выплевывая в небо сизые, со сгустками копоти клоchy дима. Кормилец и на этот раз не подвел свою хозяйку.

— Только так! — горячо шептала Евдокия. — Мы еще живые! Мы еще тут наведем шороху, только держись!

Торопливо поставила боковину на место, легко прыгнула в кабину, откуда и силы взялись. Задвинула за собой дверцу, привычно уместились на сиденье и положила на рычаги внезапно вспотевшие ладони. Ноги сами нашли педали, глаза привычно скользнули по приборам. Казалось, все это она делает без участия головы, будто и в ней самой включился какой-то механизм, безукоризненно точный и надежный, опережающий мысли. Этот механизм не заржавел в ней.

— Ну! — хрипло крикнула Евдокия, подталкивая самое себя. — Поехали, бабы! — Ее уже лихорадило. Надсадно стучало сердце, готовое выпрыгнуть из ребер — ему там было тесно.

По железному телу трактора прошла дрожь — Евдокия включила заднюю скорость.

К правлению по раскисшей улице брели в резиновых сапогах и замасленных телогрейках Коржов с Цыганковым. Недоуменно остановились у крыльца правления, видя, как трактор медленно попятился с пьедестала, как сполз на землю, резко развернулся у подножия и рванулся по улице вперед, грохоча мотором, разбрызгивая грязь по сторонам.

Евдокия увидела Ивана Ивановича и Кольку. Они стояли словно вкопанные, немо глядя трактору вслед. Потом на крыльцо выскочил Постников, еще кто-то, не

разобрать, люди столпились на крыльце и глядели, как на предельной скорости мчится трактор-памятник, вздымая фонтаны грязи, все дальше и дальше уходя от площади, от опустевшего и ставшего теперь нелепым, как гряда камней, постамента.

— Только так! — горячо шептала Евдокия спекшимися губами, наслаждаясь удивлением и растерянностью людей, мстительно усмехаясь, когда встречные мужчины и женщины шарахались от ее трактора, как от привидения, и долго провожали его глазами, столбами застыв у обочин. — Не видели такого? Памятник сбежал!

Деревня расступилась перед трактором, и сразу за проселочной дорогой открылись поля под низким моросным небом. Серыми осенними дымами проступали впереди обнаженные колки, а над полями, над голыми березниками, огромное и мрачное, бугрилось Мертвое поле. Воронье кружило над ним рваным хороводом.

Убого и сиротливо было в природе, укладывающейся на покой, поистратившей свои силы и краски, но и при виде засыпающей земли тревожно и радостно дрогнуло у Евдокии сердце. Всю жизнь она отдала Бабьему полю, знала его всяким и всяким любила, не могла без него. Навстречу Бабьему полю и рвался ее трактор, подминная гусеницами жухлую стерню.

Она издали увидела машины своего бывшего звена, медленно ползущие вдоль склона, и живо представляла, как все удивятся, увидев ее за рычагами трактора-памятника. Нинша — та, как всегда, закричит заполошно: «С ума сдурела девка! Вот учудила так учудила! И в кого ты у нас такая отчаянная?» Галка протянет: «Ой, тетя Ду-у-усь...» А Степан не удивится: такая уж у него жена — особенная, ни на кого не похожая.

Евдокия уже явственно слышала Ниншин голос, видела улыбку Валентины, добрую, сочувственную, но в этот миг трактор вдруг судорожно задергался и замер на стерне, как срезанный. И тишина окутала Евдокию. Только в щель кабины тоненько насвистывал ветер, и глухо барабанили по крыше капли дождя.

Сквозь мокрое лобовое стекло было видно, как медленно уходили тракторы ее бывшего звена, волоча за собой борозды черной, вспаханной земли, и отдаленный их рокот угасал за взгорьем Мертвого поля. Скоро они скрылись совсем.

Евдокия откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза.

18

К октябрьским праздникам упал снег, щедро забелил поля; ни одного клочка голым не оставил — сравнял воедино и живые земли и мертвые. По обновленной деревне среди красных пятен праздничных флагов потянулись тропки от дома к дому. Только у калитки старой избы Горева снег лежал чистый, ничьими следами не тронутый. Засветилась железная звездочка на высоком погосте, чтобы живущие помнили о прошлом и задумывались над будущим: как жили, как живут и как жить дальше.

Обессиленно струилась под яром сильно обмелевшая, но все еще великая Обь, несла свои темные воды в северные моря. Затаившаяся, стояла над рекой деревня Налобиха, подпирая дымами из труб высокое бледное небо. Будто с борта невиданно огромного парохода глядела вокруг и плыла, плыла в никому неведомые дали.

## ОБЛАВА

1

Воскресным июльским утром пошли женщины в тайгу за смородиной, но вскоре вернулись в поселок перепуганные: совсем неподалеку, в ближнем кедраче, куда хозяйки выгоняли пастись на вольные травы коров и коз, отчего и место это считалось поскотиной, наткнулись на растерзанного бычка.

Громкие голоса ягодниц взбудоражили дремавшие в тишине и покое поселковые подворья. Из домов выскакивали женщины, обмирали от жуткой вести, со страхом косились на не осветленный еще солнцем лес. Подходили и свободные от смены на руднике мужчины. Позевывая, они закуривали, негромко переговаривались между собой, гадая, что за зверь мог такое сотворить. От женщин они держались обособленно, своей кучкой, будто стеснялись бестолковых криков, аханья и вообще суматохи.

Прибежали на шум крупные зверовые лайки, до этого бродившие стаей по сонным улицам, расселись вокруг людей, глядели и слушали. В поселке их было великое множество, пожалуй, не меньше, чем людей, и ни один мало-мальски приметный случай без их присутствия не обходился, они всегда тут как тут, и это считалось само собой разумеющимся.

Оправившись от испуга, женщины дружно накину-

лись на мужчин, вина их за такую беду, на что Николай Овсянников, высокий бровастый мужик, бригадир проходчиков, резонно заметил:

— А мы-то при чем? Вы на кордон идите, к Машатину. Он за лес деньги получает. Там и шумите.

И толпа женщин, в сопровождении разномастного хвостатого племени, двинулась к Ивану Машатину, дом которого стоял чуть в стороне от поселка, на пологом берегу тихого лесного озера.

В прошлые годы там, за бывшей деревенькой Горюнихой, леспромхоз держал кордон, и Иван состоял при нем лесником, сменив на этом посту своего умершего отца. Иван служил бы лесником и дальше, до самой пенсии, готовя к родовой должности сына Сережку, да открылся в Горюнихе ртутный рудник, круто переинвазивший не только Иванову жизнь, но и жизнь всей деревни. Лесные и озерные угодья перешли к новым хозяевам, и кордон упразднили. Скорое на подъем руководство рудника взяло к себе все мужское население Горюнихи и даже название деревни сменило. Дескать, что это за имя такое? В наше-то время и вдруг — Горюниха? Не соответствует духу. Раз-де нашли в вашей глухомани руду, построили рудник, то уже этим вас очастливили. И поскольку теперь это будет не деревня, а горняцкий поселок, то самое подходящее имя ему — Счастливый. Однако имя Счастливый в народе отчего-то не прижилось. На вывесках и бумагах — Счастливый, а говорили все — Счастливиha.

Крепкий пятистенок, в котором рождались, жили и умирали Машатины, леспромхоз собирался было разобрать и перевезти на другое место, прихватив заодно и семью лесника, но у рудоуправления на этот счет оказались свои соображения. Новые хозяева, не торгуясь, купили у леспромхоза пятистенник. На лесных и озерных угодьях они вытребовали себе приписное охотничье хозяйство, а дом приспособили под базу отдыха. Ивану предложили остаться на базе заведующим.

Пораскинул Иван умом — жалко бросать родной дом и родительские кресты. На новом месте еще неизвестно, как повезет, а здесь все сызмальства привычное: и тайга, и люди. К тому же рудник обещал платить больше, чем леспромхоз, а жене Антонине посулили даже должность заведующей рабочей столовой, от чего было бы отказываться совсем неразумно. С деньгами у

Машатиных при новых хозяевах должно складываться неплохо: все-таки две зарплаты, не одна, как раньше. А если к этому прибавить промысел, который Иван бросать не собирался, то и вовсе хорошо. Отпуск, правда, положили ему не тридцать шесть рабочих дней, как в леспромхозе, а всего двадцать четыре, но твердо пообещали в промысловый сезон добавлять месяц без содержания. Так что жить можно и при руднике, и жить неплохо.

Вот и остались Машатины в Счастливиha. Антонина работала, как и обещали, в столовой, а Иван — на базе отдыха. Заодно рудничные охотники-любители выбрали его председателем своего общества, и, таким образом, оказался Иван в Счастливиha единственным охотничьим начальством с широкими полномочиями.

К нему-то женщины и шли.

Услышав людские голоса, на крыльцо кордона вышла полная, моложавая Антонина. На румянном лице — покровительственное, спокойное ожидание, губы строго поджаты.

— Сам-то дома, нет?! — наперебой закричали женщины.

— Отдыхает, — сухо отозвалась Антонина.

Она и себя считала каким ни есть, а начальством, и бесперомонное деревенское обращение ее задело. Сначала она подумала, что женщины идут к мужу чего-нибудь просить, но разглядела, что те сильно встревожены, и сама встревожилась, чутьем угадав беду.

— Тут такие страсти, а он дрыхнет!

— Буди его, Тоня, на поскотине кто-то бычка задрал!

У сарая возился с мопедом пятнадцатилетний сын Ивана — Сережка, угловатый, с длинными печесанми волосами папан. Раскрыв рот, он уставился на людей, ловя каждое слово. С застенчивостью вышла на крыльцо и дочь Вера, которая всего на год была старше брата, но выглядела значительно взрослее. Совсем уж была спелой девушкой. Она и слушала не с праздным любопытством, как брат, а по-женски: с жалостью и сочувствием к чужому несчастью.

А Иван и на самом деле — спал. На полянке, за черемуховыми кустами, строился зимний дом для охотников и гостей рудника. Там, правда, уже подняли зеленый щитовой павильон, но при наплыве гостей стано-



вилось в нем тесновато, да и осенью в нем холодно. Вот и решили поставить каменный дом. Строила его залетная бригада, приезжавшая в Счастливику уже не первый год. Появлялась она обычно ранней весной, лишь снег сойдет, и исчезала к осенним заморозкам вместе с перелетными птицами. Их так и звали тут — скворцами, этих нездешних мужиков. Черноволосые, носатые, жилистые, они и обликом чем-то напоминали скворцов, а работали зверски: от темна до темна, без перекуров, чем сильно изумляли местных мужиков. Вечером Иван, помогая «скворцам», пилил «Дружкой» сосновые хлысты на матицы, умаялся так, что руки не поднимались, и теперь отсыпался.

Он вышел в желтой лямалой майке и босиком, но, увидев во дворе столько народу, застеснялся, убежал и воротился уже в форменной тужурке лесника, надетой прямо поверх майки, и в фуражке с перекрещенными листьями на околыше. Глянул на женщин сощуренными от яркого света глазами.

— Говорите толком: какой бычок, где?

— Да в кедраче же! На поскотине!

— Большенький уже бычок!

— Все нуто выдрано! И кровь кругом, ажно жуть!

— А чей бычок-то? — озаботился Иван. — Какой он масти?

— Красенький! И белая звездочка на лбу!

— Ой, бабы, да это, кажись, Катерины-вдовицы бычок! — высказал кто-то догадку. — Ее бычок, ее, ничей больше!

Побежали за Катериной.

Иван опустил на ступеньку крыльца, задумался. Лежавший у завалины черный кобель Тайгун поднялся и лениво подошел к хозяину, подставившись для ласки. Тот положил руку на широкий, с проплешинами от частых драк собачий лоб, отчего кобель сдержанно качнул закрученным в кольцо пыльным хвостом.

Примолкшие были женщины снова заговорили:

— Охотников да собак полон поселок, а на поскотину корову не выпусти. Того и жди — задерут. Ране-то вон как спокойно было. Животина круглое лето паслась себе в тайге, и никто ее не трогал, никакой зверь, а none хоть пастуха нанймай. Дожили...

— Совсем обленились что мужики, что ихние собаки... В тайгу их теперь палкой не загонишь...

Иван молчал, понимая, что в запальчивых словах женщины была правда. С тех пор как в Счастливику образовался рудник, промысловики отступились от своего хлопотливого, не всегда удачливого ремесла и перешли на твердую зарплату, устроились кто проходчиком, кто горнорабочим. Имели ружья, по привычке держали собак, а в тайгу почти не выбирались. Правда, первые год-два, как промысловики перешли в шахтеры, они еще пытались охотиться, еще жил в них таежный зуд, и сколько было ссор с начальством и со своими же товарищами из-за отпуска. Всем хотелось взять отпуск непременно в октябре, подгадать к открытию пушного сезона. К этому времени, бывало, хоть подписывая мужикам заявления да останавливая рудник — душа горит у бывших охотников, нацелились на излюбленные уголья. Но прошло еще два года, и успокоились бывшие промысловики, перестали рваться в тайгу. Жалели дорогие отпускные дни. Зачем по урманам мотаться? Заработки на руднике хорошие, денег, слава богу, хватает, а все деньги, как известно, не заработаешь. К тому же бригадир проходчиков Николай Овсянников раззадорил мужиков. Взял в рудничном комитете путевку в шахтерский санаторий, съездил к теплему морю и долго хвастал, рассказывая, какая там благодать. И люди, всю жизнь прожившие в глухой Горюнихе, ничего, кроме леса, не видевшие и не знавшие, тоже загорелись: и мы не хуже других, пора и нам по-людски отдохнуть возле моря. Посыпались в рудком заявления на путевки, началось в Счастливику неведомое прежде курортное поветрие. Теперь на пушного зверя совсем мало охотников осталось. Брат Николая Овсянникова, Мишка, — тот ходил, да еще несколько заядлых промышлял. Остальные кто бросил, кто измельчал: перекинулся на зайцев и на птицу, благо, за такой дичью далеко ходить не надо. Короче, перестали мужики ходить в тайгу, и в этом женщины были правы. С мужиков теперь много ли возьмешь? У них шахтерская работа. А он, Машатин, до сих пор при лесной должности, стало быть, с него и спрос, ему одному и расхлебывать. Одно не поддавалось уразумению: что за зверь объявился на поскотине? Неужто волки? Или медведь спустился с горы Сивюхи? А может, рысь? Вот и гадай теперь. Впрочем, сидя на крыльце не много отгадаешь. Надо будет собираться да идти. Неплохо бы и Серегу позвать с собой. Хоть малость притравить к охоте, а то только

со своим мопедом день и ночь и возится, никаких больше интересов у парня...

И пока Иван размышлял, в отворенную калитку проскользнули две чужие, забывшиеся в общей суматохе собаки.

Тайгун пружиной вылетел из-под хозяйской руки. Глухо рыча, метнулся к собакам, с разгону кинул одну, другую, и все трое тут же свились в хрипло рычащий, лающий, визжащий клубок.

— Яз-звнло бы вас! — шарахнулись от них женщины. — Расплодилась вас прорва, никакая холера не берет!

Сонливость разом сползла с худощавого Иванова лица, он весь так и подался вперед, шею длинно вытянул, и глаза заблестели от азарта, ничего не замечал, кроме свары. В драках Тайгун никому не уступал, и Иван этим гордился.

Визжащие чужие собаки вырвались со двора. На загравке той, что была позади, сидел Тайгун, трепал ее, яростно мотая головой из стороны в сторону. Шерсть забила ему глотку, он хрипел, но не выпускал свою жертву, грыз и грыз. Едва чужие собаки очутились за изгородью, на них тотчас накинута вся стая. Визг и вой поднялись пуще прежнего. Собаки насили ноги увесли. Искусанные, с измусоленными загривками и боками, они отбежали подалее и сели там, поскуливая, зализывая раны, а Тайгун встряхнулся и, покачиваясь, направился к хозяину, который ласково ему улыбался.

И тут прибежала Катерина-вдовица, маленькая, невзрачная женщина с жиденькими волосами, собранными на затылке резинкой, словно у девочки. Она оглядела сочувствующе притихших женщин и тут же заплакала.

— Ой, да за что на меня такая напасть! — запричитала она, размазывая слезы по лицу маленькими сморщенными кулачками. — Я его в марте и купила-то. Думала, к холодам заколем. А теперь куда деваться? Чем мне ораву-то кормить?

— Ты постой убиваться-то, — остановил ее Иван. — Ведь не видала еще. Может, и не твой бычок.

— Да как же не мой-то? С белой звездочкой — он мой и есть!

— Мало ли их с белыми звездочками бывает, — успокаивал Иван, — почитай, через одного они такие. Придем на место, тогда и видно будет, а пока не изво-

дись зря, — как мог, утешал, а от слез ее нехорошо на душе стало.

Катерина овдовела еще до рудника, с тех пор как мужик ее, тоже невидный собой, тихий, ушел на промысел и не воротился. Зверь ли его заломал, сам ли сгинул — никто не знает. Тайга есть тайга... Осталась Катерина с двумя ребятишками на руках, да разве на зарплату уборщицы сильно разбежишься? Взяла она к себе на постой бригадира «скворцов» — Ашота, и вот уже который год весной он приезжает прямо к ней. Он помогает выкопать огород, посадить картошку, а осенью выкопать. Заботливый — не уедет в родные края, пока не подсобит приготовиться к долгой зиме. Катерина ребенка от него прижила, но женщины ее не осуждают. Понимают: нелегко ей одной. Сам Ашот — мужик в годах, на родине есть у него семья и дети, но и его никто не судит. Помогает вдове — и за то спасибо. Помог Катерине бычка купить, чтоб дети зимой без мяса не остались, и жалко будет, если бычок и вправду ее окажется.

Женщины вдруг притихли: во двор вошел участковый Василий Колесников, молодой, расторопный мужик, с которым Иван дружил, уважая Василия за азарт к охоте. Судя по озабоченному лицу, Василий пришел не случайно. За ним, видно, уже сбегали.

— Так, значит, твой бычок? — спросил он Катерину, щуря серые, отчаянные глаза.

— Неизвестно еще, — укоризненно глянул на него Иван, потому что успокоившаяся было Катерина снова начала всхлипывать.

— Хоть бы ты, Василий, помог Катерине, — заговорили женщины, — а то Иван не шибко торопится.

— Да я бы всей душой, — сочувственно улыбался участковый, — но ведь бычка-то кто задрал? Зверь?

— Дах зверь. Кто же еще...

— Вот то-то и оно, что зверь, — Василий развел руками. — Как я тут помогу? Вот если бы его убил человек с целью хищения или, скажем, по злобе, я бы нашел этого человека, и привлекли бы его к уголовной ответственности. А со зверя что возьмешь? Это не в моих функциях. Тут Машатин должен решать. Пойти на поскотину — я конечно пойду, помогу Машатину. Но главное слово за ним. — В лице Василия был интерес слишком уж явный и понятный Ивану. Чувствовал он предстоя-

щую охоту, весь закипал от возбуждения, не умел скрыть своей радости. Однако хмуро слушали его женщины, и он спохватился. Притушил блеск глаз, построжел лицом.

— Значит, так, — заговорил Иван, наконец, — на поскотину никому не ходить. Бычка с места не трогать. До выяснения. Всем понятно? — И, не дожидаясь ответа, закончил строго, как и положено начальству: — Если все понятно, можно расходиться по домам. Давайте, бабы, давайте... И ты, Катерина, иди. Известим.

Разочарованные таким исходом женщины поворчали и стали расходиться. Ушли в дом Антонина с дочерью. Поднялись и побрели прочь поселковые собаки, разом потеряв к людям всякий интерес. С оглушительным треском укатил Сережка на мопеде, разметав по ветру длинные космы.

Иван проводил его тоскливым взглядом, жалея, что упустил сына. И ведь всегда вот так: стоит лишь засобирань в тайгу, глядь, а тот уже улизнул. Будет теперь с дружками целый день по поселку гонять. Ну не охламон ли?

Двор опустел. Тихо и сонно стало вокруг, будто ничего и не случилось. Над лесом, ясное и умытое, поднялось солнце.

— Ну так что, будем собираться? — спросил Василий.

— Надо... — отозвался Иван со вздохом. Ему так хотелось на пару с сыном сходить, порассказать ему всяких таяжных всячин, раззадорить охотой, а теперь придется брать Василия. Ну что ж, напарник он надежный, тем более, что держит белую сучку Айку, старательную и умную собачонку. Когда Айка работает вместе с Тайгуном — цены им нет. Ищут чисто, после них завалышей бельчонки не найдешь. А если на поскотине и вправду окажутся матерые с выводком, одному Тайгуну будет тяжело. С Айкой же они всех волчат до единого выловят.

— Так я пойду, — проговорил Василий с показным равнодушием, а в подрагивающем голосе проскальзывало-таки нетерпение. Видно было, с каким трудом он сдерживает себя, чтобы не побегать вприпрыжку за охотничьими дослехами, а идти медленно, степенно, как и подобает ходить видному в поселке человеку.

Иван задумчиво глядел ему вслед. Азартный и отча-

янный был Василий что в тайге, что на службе. Неуемная энергия не давала ему покоя. Он всего и жил-то в Счастливихе второй год, а его уже побавались. Местных алкашей он сильно поприжал. Не задумываясь отправлял в район, а там кого на пять, кого на десять суток сажали. Сына главного геолога едва не посадил за драку в клубе — насилу родители выручили парня, да спровадили поскорее в армию. Прихватил он и Мишку, рудоуправленческого шофера, брата Николая Овсянникова. Дознался где-то Василий, что Мишка сбыл налево три пары соболей. Зажал Мишку, тюрьму посулил. Тому деваться некуда — показал на рудничное начальство. Продай Мишка пушнину кому-нибудь попроще, всем бы досталось по закону, потому что соболь — та же валюта. Но начальство есть начальство, тем более рудничное, у него вся власть в Счастливихе. И хотя Василий, не поддаваясь на уговоры, оформил бумаги и отослал в райотдел, дело увяло. Василия поощрили за бдительность, по тронуть — никого не тронули. Председатель рудничного комитета Ситников Яков Кузьмич доверительно побеседовал с молодым, горячим участковым. Ты что, дескать, Вася, такой ретивый-то? Ведь и сам когда-нибудь ошибешься. Не бывает, чтобы вовсе без ошибок. Ну а коли шибко строго с других спрашиваешь, то и с тебя потом строго спросят. Жизнь — она не простая штука, в какую-нибудь сторону человека да качнет. Не сегодня, так завтра. Опрометчиво зарываться-то.

Василий и сам понимал: обиженных на него много, и все ждут не дождутся, когда он на чем-нибудь споткнется. Но по-другому он не умел и не хотел. Чуть не плакал от злости, выпуская из поселковой кутузки нагло ухмыляющегося Мишку Овсянникова. Сказал обещающе напоследок: «Погуляй малость, погуляй...»

После этого Колесников неделю бродил с Иваном по тайге — успокаивал душу. Любил он тайгу, в ней лишь и находил отдохновение. Это поражало Ивана: городской человек, приезжий, а без тайги никак не может. А вот его Сережка равнодушен к лесу. В голове не укладывается. Как так: отец собирается на охоту, а сыну и дела нет? Улизнул поскорее.

Нет, у Ивана все было иначе. Отец, бывало, еще только сапоги ищет, а он уж сидит на крыльце одетый, поджидает, пуще смерти боится, что отец не возьмет с собой. Сколько слез из-за этого пролито! А ружье? Было



ли на свете что-нибудь желаннее ружья? Сердце зашлось от радости, когда однажды отец, кивнув на сосну, где по верхушке металась белка, подал тяжелую «тулку»: «Ну-ка, добудь». И хотя его, мальчишку, трясло от возбуждения и захлестнувшей радости, он не спешил, чтобы не испортить момента. Выждал, пока зверек спрячет туловище за толстую ветвь, и выстрелил в голову. Он готов был целовать пушистое, невесомое тельце зверька за то, что тот принял в себя всего три дробины и не завис где-то на ветвях, а жертвенно упал к ногам молодого охотника. Затаив дыхание ждал, что же скажет ему отец? А тот, засовывая в заплечный мешок первый трофей сына, сдержанно заметил с некоторой даже досадой: «Придется, видно, еще на одно ружьишко раскошелиться».

Много лет прошло с тех пор. Всякое случалось в жизни, а радость от этого мига осталась на всю жизнь и даже через толщу времени, когда и отца уж в живых нет, все греет его. Молчалив был его отец Прокопий, не имел привычки высказывать радость — сглазу боялся. Но лишь теперь, когда Иван сам стал отцом, понял, как ликовал в душе его родитель. Еще бы: воспитал себе замену. Поэтому он и в землю спокойно ушел. А вместо него, Ивана, кто останется? Кому он передаст многолетние заветы деда, и отца, и свои собственные, которые лишь сыновьям передают как наследство? Дочери Вере? Так это ей совсем ни к чему. Она возьмет свое от матери...

## 2

Когда Иван вышел из дому, уже одетый по-походному, в рыжеватой, вылинявшей штормовке, с ружьем в руке, Тайгун вскочил от завалины, закрутился возле хозяйки, запрыгал. Понимал: предстоит охота. Иван тоже, хотя и с горечью, но радовался неожиданной вылазке и, добродушно поругивая кобеля за несдержанность, прицепил к собачьему ошейнику поводок, чтобы кобель не носился зря, не тратил силы. И, шагая рядом с Василием по заросшей низкой гусиной травкой тропке к поскотине, сдерживал рвущегося вперед Тайгуна, как сдерживал свою Айку Василий.

Иван уже не думал ни о Серёжке, ни о чем домашнем. Все это осталось за спиной, он жил только предсто-

ящей охотой. Кто же все-таки там мог объявиться? Зверь в нижнем кедраче выбит подчистую, скоро бурундуков и тех не останется. Да, охотнику тут делать нечего: пустынна тайга, мертва... А ведь не так давно еще водился зверь. И не где-нибудь, а именно на этом нижнем кедраче начинал Иван промысловое ремесло. Хаживал сюда еще с отцовым ружьем, пока своего не было, и сроду не возвращался пустым. Десяток-другой белок обязательно приносил, а иной раз фартило и на соболишку. Да что брать давние времена? Лет шесть назад пацаны еще охотились за поскотиной и тоже ведь что-то добывали, не зря же переводили патроны. Конiec этому наступил, когда в Горюниху пришли геологи. Изыскатели остановились табором возле деревни, в лесочке. Много их было, и все с ружьями, некоторые даже с нарезными карабинами разгуливали. Забухали выстрелы в кедраче. Геологи орудовали, как у себя дома. Не стеснялись бить копытных в запретное время, летом. Маралятину в котлах варили, рябчиков на костре жарили. Иван пробовал приструнить их, но те разные бумаги показывали: и разрешение на нарезное оружие, и лицензия на отстрел промысловых животных для нужд экспедиции, и еще какие-то бумаги, все с гербовыми печатями и подписями, из которых выходило, что геологам все можно и что нет для них никаких запретов.

Изыскатели перерыли лес и горы вокруг Горюнихи, ушли, а вслед за ними нагрянули строители с техникой. Теперь уж не только выстрелы — взрывы загрели вокруг деревни. Бульдозеры и самосвалы всю нижнюю тайгу измесили гусеницами и колесами, и даже на горы взобрались — ничто не могло устоять перед их моторами. Правда, когда заработал рудник, стал вроде налаживаться порядок. Поприжали самовольщиков с ружьями — спохватились, видно. Однако зверя в кедраче не стало. Которого выбили, а который и сам ушел подальше от шума. Заросли в лесу ямы, затянулась изодранная земля зеленью мхов и высокими травами. Помаленьку зализал кедрач свои раны, да остался пустой, безжизненный. Для ягодников только и интересный.

В тайге было свежо и прохладно от упавшей ночью росы, она и сейчас еще лежала на затененных травах и листьях, медленно истаявая. Одурающе пахло папоротником и хвоей. Сверху, сквозь кроны, пробивались острые солнечные лучики, и светлые пятна, колеблющиеся



на мхах и травах, сняли такой прожительной зеленью, так были сильны и яркие, что покалывало глаза.

Иван расслабился и невольно улыбнулся, радуясь летней лесной благодати. В эту пору он в тайге бывал редко, привык видеть ее поздней осенью, когда травы прибиты заморозками и лежат под ногами сухие, блеклые, шорохом отзываясь на каждый шаг, когда все кругом отцвело и пожухло, а сама тайга тиха и настороженна, будто затаилась в ожидании первого выстрела. Сейчас же, в конце июля, здесь было празднично и беззаботно, все играло не израсходованными еще красками, радовалось жизни. Высоко трещали невидимые кедровки, среди розовеющей калины ссорились, пестря оперением, сойки. Порхала и посвистывала птичья мелочь. И так тут было хорошо, так легко дышалось, что ружье, висевшее на плече, казалось Ивану тяжелым и ненужным, чужеродным окружающей благодати.

Собак отпустили. Молодая, гибкая Айка, поблескивая темными, умными глазками, крутанулась вокруг людей, радуясь свободе, и легко понеслась вперед, увлекая за собой тяжеловатого Тайгуна, опьяненного поддразнивающей, невесомо летящей над травами Айкой. И люди, любуясь, глядели ей вслед. Красивая она у Василия, на редкость приглядная. Шерстка снежно-белая, блестящая, так и вспыхивает в солнечных лучах. Говорят, Василий ее каждый день гребнем расчесывает. Может, так оно и есть, Иван его об этом не спрашивал — неловко, но шерсть у Айки слишком уж ухожена, да и все знают, что участковый в своей собаке души не чает. И есть за что. Длинноватые, выразительные Айкины глазки окружены темным ободком-поволокой, будто подмалеваны они у нее, как у модницы, и это придает ее аккуратной, точеной мордочке особую привлекательность. Движения Айкины гибки и плавны, она словно понимает, что ею любуются, и от этого немного кокетлива.

Скоро Айка исчезла из виду, и травы, едва примятые легкими лапками, поднялись, сомкнулись, уронили росу на землю. Тайгун несся за нею напролом, треща валежником, как медведь, перемахивая через замшелые колодины, — не видел ничего вокруг, кроме белого завитка Айкиного хвоста, мельтешащего в отдалении.

Полянку, на которой должен был лежать злополучный бычок, Иван с Василием знали, она — дальше, а потому, не задерживаясь, миновали окраинное редко-

лесье, продрались через кусты жимолости и давно отцветшего багульника и подбирались к кедрачу, лежащему у подножья скалистой горы Синюхи. Гора эта, если смотреть на нее из поселка, — синеватая, всегда, словно ватой, подбитая облаками. Она густо поросла кедрачом, но шишковать там никто не отваживался. Слишком уж трудно брать орех на скальных кручах, и все орехи доставались птице и мелкому зверю. Люди же ходили в нижний, равнинный кедрач на подступах к Синюхе, благо, кедровые там невысокие, стоят вольно, не затеняя друг друга, а потому коренастые и раскидистые. Шишку брать тут легко, сподручно, поэтому нижний кедрач считался не только поскотинной, но и чем-то вроде общественного сада, выращенного самой природой в подарок счастливицам. Кроме орехов тут росло много ягод: земляники, клубники, костяники. Водились в изобилии голубика и черника. Плотными островками стояли кусты лесной черной смородины и красной кислицы, увитые уже желтеющим хмелем. Богатое на ягоду место, ничего не скажешь.

Вперед тревожно стрекотнула сорока, кто-то ее там испугнул, и сразу же в отдалении между стволами деревьев мелькнуло белое колечко Айкиного хвоста. Скоро Иван с Василием увидели обеих собак, деловито снующих по небольшой полянке с низкорослой кожистой ботвой черничника. В траве и лежал задраный бычок, почернив спешейся кровью зелень трав.

Мужики остановились в нескольких шагах от бычка, наклонились, разглядывая, нет ли каких следов, но травка хоть и невысока, но стелилась густо — ничего сквозь нее не видать. Лето — время для всех доброе — и для хищника, и для жертвы. Все следы скроет, ничего на виду не оставит.

Подожли еще поближе, присели на корточки.

— Это его не медведь, — тихо сказал Василий.

Иван и сам видел, что не медведь. Тот бы обязательно чем-нибудь привалил тушу. Хоть сухого валежника, хоть пару выдранных кустов, но бросил бы сверху. Следов когтей на хребте тоже не видать, а вот горло у бычка перехвачено клыками, короткая рыжеватая шерсть изжевана, в крови.

Василий кивнул на задние ноги бычка:

— Сзади наскакивали. Ишь, как покусали...

Иван разогнулся. Все ему было ясно — волки.

— Дак им сейчас сколько? — прикинул он велух. — Молодым-то?.. Месяца по три, однако, будет. Здоровенькие уже. Сама-то, матерая, верно, старовата. Горло зараз перервать не могла, вот и жевала, мусолила. Ну а молодые — те помогали, кто за что ухватит.

— А может, учила их? — предположил Василий.

— Может, и учила, — согласился Иван, наблюдая за собаками.

Тайгун с Айкой, конечно же, успели побывать возле туши и теперь никакого интереса к ней не проявляли, даже не глядели в ту сторону, а суетливо крутились по полянке, что-то вынюхивая, шумно фыркая, но, как подумалось Ивану, делали это с показным старанием. Такое с Тайгуном случалось и раньше. Иной раз после двух-трех соболишек устанет, но открыто лечь боится, вот и давай изображать работу. Посмотришь на него, вроде и морда низко к земле опущена, и бегаёт по сторонам, похоже, на самом деле что-то ищет, но хозяйского глаза кобель упорно избегает, потому что хозяин обман поймет сразу. Глаза у собак врать пока не умеют. И вот бегаёт пес по тайге, тычется мордой под все попадающиеся на пути колодины, старательно обнюхивает каждый пенек, а лишь увидит, как хозяин сламывает прут, тотчас обеспокоенно оглянется, будто спиной почувствует опасность, поймет, что уловка его раскрыта, и по-настоящему начнет работать, без обмана. Кажется, и сейчас собаки хитрили. А ведь устать они не могли, только из дому. Может, обленились за межсезонье? Совершенно...

— Тайгун! — позвал Иван, глядя с насмешкой на рыскающего по полянке пса.

Кобель поднял голову, вопросительно обернулся к хозяину и хвост чуточку припустил. Это Ивану тоже не понравилось. Бывало, только кликнешь, Тайгун сразу в комок соберется, готовый ко всему, а сейчас особой прыти у пса что-то не замечалось. Скучноватый он что-то был. Да и Айка, умница, послушная и старательная собачка, тоже бестолково крутилась по поляне и от неожиданного громкого человеческого голоса испуганно присела на хвост, виновато заюлила перед Василием.

— Может, зверь близко, так боится? — пожал плечами Василий.

— Да Тайгун сроду трусливым не был, — возразил Иван, с недоумением замечая, что хвост у кобеля не

уложен щегольским кольцом на правый бок, как всегда, а разогнут и нелепо свисает меж лап. Неужто на самом деле боится? Но кого? Медведя? Так однажды самого «хозяина» стащил с дерева за заднюю лапу, выручая Ивана от верной гибели. Кого он мог теперь-то испугаться? Тем более, Айка рядом, а с ней он самого черта не испугается. Непонятный случай... И Иван, озлясь на вялого кобеля, прокричал зло, коротко и требовательно, как всегда на охоте, когда пора было начинать:

— Тайгун! Работай! Ищи, Тайгун!

Под строгим хозяйским взглядом пес послушно напружинился, забегал по поляне живее, заметался из стороны в сторону, прикладывая мокрый от росы нос к подножью трав, шумно принюхиваясь, проскакивая дальше, бегло ловя запахи, нюхая воздух, соединяя обрывки невидимых, но осязаемых им следов. Поворачивал туда, где только что был, громко продувая ноздри и быстро вертя головой, и вдруг, что-то найдя, что-то поняв, рванулся с поляны большими скачками, высоко взлетая над травой и с высоты зорко глядя перед собой, видя только одному ему видимое.

Вскинула голову и Айка, ее аккуратные ушки дрогнули, наострились, она резко кинулась вслед за Тайгуном, и обе собаки скоро исчезли.

— Похоже, взяли след, — прошептал Василий, судорожно переводя дух и блестя глазами.

— Похоже, — кивнул Иван.

Собаки шли быстро, без голоса, поспевать за ними становилось все труднее и труднее. Прижимая к груди ружье, Иван почти бежал, видя, что и напарник его, с ружьем наизготовку, как солдат, ломился сквозь кусты, будто шел в атаку.

Звонко тякнула впереди Айка, и тотчас резко, отрывисто забухал Тайгун. Значит, собаки либо уже держат зверя, либо гонят его на виду. Молодцы...

Сердце у Ивана екнуло, все в нем наполнилось знакомым ощущением погони и удачи. Он бежал изо всех сил, путаясь сапогами в густом папоротнике, спотыкаясь о затянутые мхом скользкие валежины, слыша близкий, призывный лай, от которого у него всегда всегда тревожно и сладко частило сердце. Правда, ему казалось немногим странным, что лаяли собаки без подвыва, с которым обычно ведут крупного зверя, без неистовства и страсти. Они буднично подавали рабочий голос, словно

перед ними не опасный хищник, а промысловый зверек.

Иван еще издали заметил перед сухостойной лиственницей мельтешащие в переплетениях трав собачьи хвосты, и это его тоже неприятно удивило. Уже не спеша, поправляя сбившееся от бега дыхание, прокрался он поближе к лиственнице, у подножия которой вертелись собаки, задрав острые морды вверх, и стал пристально осматривать сухую, насквозь просвечивающую крону. Под тугие удары крови в висках гадал: кого же они держат на дереве? Волки на дерево не полезут. Медведь, если он в силе, тоже не шибко испугается двух собак, на земле отобьется. Неужто рысь? Кого, кроме нее, собаки могут обланывать на дереве? И опять не похоже. На рысь собаки лаяли бы с неистовством, с вековой ненавистью к кошачьим. Тут бы такой вой стоял и лай, хоть уши затыкай. Да на голом дереве рыси и не спрятаться. Давно уж увидел бы ее.

Василий из-за куста медленно поднял ружье, прицелился в середку дерева и замер в напряженной позе.

Иван на всякий случай тоже вскинул ружье, взяв пониже, и, томясь, стал ждать, когда Василий выстрелит, чтобы потом, когда зверь обнаружит себя, добить его. Но Василий отчего-то медлил. Не стрелял, но и ружья не опускал. Устав ждать, Иван вопросительно покосился на напарника, и тот ответил таким же недоуменным, вопросительным взглядом. Значит, он и сам никого не видел, никакого зверя не держал на мушке, а целился на всякий случай. И уже не таясь, Иван вышел из своего укрытия.

Завидев человека, собаки залаяли громче, старательнее. Они то смотрели вверх, то, оборачиваясь к охотнику, нетерпеливо взлаивали, показывая, что наверху кто-то есть.

И тут Иван, наконец, заметил то, чего не мог увидеть издали. Метрах в пяти от земли, из-за толстой голой суковины выглядывала рыжеватая головка зверька с округлыми ушками и белой шейкой. Зверек, почти незаметный на бурой древесине, смотрел вниз, на собак, недовольно урча и пофыркивая.

Из кустов выбрался и Василий. Красное, будто спекшееся лицо его вытянулось, было обиженным.

— Хорек, что ли? — выдавил он сипло, глядя на дерево и не веря сам себе.

— Хорек, — выдохнул сильно изумленный Иван и

сплюнул с досады. — Наверное, на падаль приходил, они его и засекли.

Собаки, видя, что к загнанному на дерево зверьку люди не проявляют должного интереса и не только не стреляют, но и ружья убрали за спины, стали взлаивать реже и скоро вовсе замолчали. Заозирались по сторонам, не зная, что делать дальше.

Иван смотрел на Тайгуна с прищуром, будто хотел разгадать в нем нечто такое, чего раньше не удавалось. Но разгадка пряталась глубоко, никак не открывалась ему.

Окликнул притихшего кобеля:

— Ну че, Тайгун? Выходит, хорек бычка-то задрал? Ай да хо-ре-е-ек, ай да зве-е-ерь... Сроду бы не подумал.

Люди глядели на собак изучающе, и те от повышенного к себе внимания забеспокоились. Айка принялась старательно чесаться, Тайгун вдумчиво обнюхивал подусгнивший пенек; обнюхал и помочился на него.

— Вот змен, — проговорил Иван задумчиво, — кажись, в чем-то они нас шибко надули. А в чем — никак в голову не возьму. Соображения не хватает...

### 3

Бычок и впрямь оказался Катеринин, подтвердилась старая истина о том, что где тонко, там и рвется. Жалко было Ивану вдову. Случись это с кем другим, так бы не переживал. А тут ребятишки на зиму без мяса останутся. И ведь действительно ничем не поможешь. Ну, допустим, убьет Иван хищника, — а Катерине какой прок? Бычка-то нет.

Катерина хотела забрать остатки мяса, но Иван не велел: оно пролежало много часов, стало несвежим, да и звери могли оказаться больными. Даже шкуру, и ту нельзя было снять, вся в прокусах. Какой прок от легкой шкуры? Оставалось закопать бычка — и дело с концом. Но закапывать Иван пока не спешил. Решил устроить возле туши скрадок на дереве, авось волки явятся к своей добыче. Не могли же они о ней забыть.

Василий, обозленный неудачей, тоже порывался пойти покараулить. Загадочный хищник не давал ему покоя, но Василия срочно вызвали в деревню Черемшанку, входившую в его участок. Там случилось какое-то происшествие. Колесников уехал в Черемшанку наводить



порядок, и Иван на поскотину отправился один. Тайгуна он не взял с собой: на дерево кобеля не посадишь, а на земле он будет только мешать.

Едва стемнело, Иван взобрался на кедр, стоявший неподалеку от туши, просидел там всю ночь, как сыч, не смыкая глаз, слышал снизу шорохи и пiski — пиrowала хищная лесная мелочь, но из крупных зверей так никто и не наведалься. Приходила, правда, лисица, покрутилась поблизости, но, видно, учуяла человека, к самой туше не осмелилась приблизиться, так и убежала.

Домой Иван воротился невыспавшийся, злой. Промучился до утра, мостясь на твердом суку, и ничего не узнал, остался при своих интересах. Сильно сердчал на Тайгуна. Думал, тот сразу приведет к кому надо, а он, словно в насмешку, хорька загнал. А самое досадное было то, что неизвестно теперь, с чего начинать поиски, где и кого искать.

Переживал, сидя на крыльце, хмуро курил папиросу за папиросой, проклиная в душе и глупого бычка, и своего кобеля, и себя самого, оказавшегося вдруг бессильным перед этой загадкой. Ни на что глаза не глядели, свет был не мил, а тут, как назло, принесла нелегкая бордовый рудоуправленческий «Москвич» с фургоном. Ивана всего так и передернуло. Догадывался, по какому делу прикатил сюда этот «Москвич», и с нескрываемым раздражением наблюдал, как из тесной кабины вылезали председатель рудкома Яков Кузьмич и шофер Мишка Овсянников.

Яков Кузьмич, щедушный, с хитрыми сизыми глазками мужчина, работал раньше в Горюнихе приемщиком пушнины. Своими руками он не добыл в тайге даже завалящей шкурки, а жил богаче самого добычливого промысловика. Лясков и умен был Яков Кузьмич, умел ладить с людьми. И хотя, было дело, охотнички бивали его под пьяную руку, он на них не жаловался, и правильно делал, потому что, наверное, было за что. Заведи дело — начнут разбираться, и неизвестно еще, кому круче придется: обидчикам или самому Кузьмичу. Чувствовал, что жаловаться ему не с руки. А еще потому он прощал скорых на расправу промысловиков, что отходчивые, незлопамятные мужики потом прибрассывали ему сверх счета «за обиду» пару соболишек и на том дело кончалось. В общем, умел жить Яков Кузьмич, характер имел под стать каверзной должности — гибкий и дальновид-

ный. Сроду никому поперек слова не скажет, а выходило всегда по его. Вот как он умел. Потом, когда приемный пункт в Горюнихе закрыли, когда лафа кончилась, пришлось Кузьмичу вслед за всеми идти на рудник.

Посмеивались мужики, зная, что никакого ремесла нет за плечами Кузьмича, что придется ему повкальвать проходчиком или горнорабочим. Поглядим, мол, каково денежки своим-то горбом зашибать, легко ли. Сами они шли в работяги, по простоте душевной им невдомек было, что и на руднике можно найти неплохое место. Нет, Кузьмич не взял в руки перфоратор или лопату — подчищать забой, а стал завхозом. Изворотливостью и дальним умом он скоро так себя проявил, что стал председателем рудничного комитета. Способным был Яков Кузьмич. С новой должностью он освоился быстро, поражая мужиков знанием трудового законодательства, и даже научился у начальства играть в преферанс. Играл тоже с умом: знал, кому надо поддаться, а у кого и немножко выиграть. Во всем знал меру.

Прошлая ласковость ушла из его глаз, теперь он глядел значительно и строго, привык, чтобы к его словам прислушивались с почтением и внимательностью. В его походке, в лице появилось то особое выражение, которое не поддается определению, но сразу видишь: не простой перед тобой человек, а руководитель, начальник. Выходило, зря смеялись мужики. Кузьмич свое взял, да еще как взял! Под его началом распределялись и квартиры, и путевки на отдых. Без помощи Якова Кузьмича ни ребенка в садик не устроить, ни дров на зиму заготовить, а тем более — не вывезти. Вот какую власть взял Ситников. И не обойти его, не обехать.

Яков Кузьмич поздоровался с Иваном суховато и, откинув всякие зачины, без которых раньше ни к одному серьезному разговору не приступал, заговорил:

— Такое дело, Машатин. Из области к нам на рудник приехали два товарища. Так что вечером наши тут собираются маленько посидеть. — Слово «наши» он подчеркнул голосом, чтобы егерь догадался: будет высокое начальство. После этого Яков Кузьмич озабоченно поглядывал на зеленый павильон и добавил: — Гостей надо принять с полным уважением. Понял, нет?

— Как не понять, — ответил Иван, едва скрывая усмешку, — не впервой...



— Гляди... — Ситников с предостережением покопился на него и погрозил пальцем. — Все, что надо, мы привезем. А от тебя требуется обеспечить рыбкой. Так что бери бредень. Мы до павильона доскочим, выгрузимся, и потом тебе Михаил подсобит. И еще. Пару котов не найдешь? Позарез надо. Пару штук.

— Я всю пушнину сдаю. Ты же знаешь. У Мишки-то нету?

— В чем и дело, что нету. — поморщился Яков Кузьмич и глянул на Ивана с улыбкой. — Неужто так всю и сдаешь? Неужто себе хоть парочку соболишек не оставяешь? Ведь не поверю же. Убей — не поверю.

— Не веришь — не надо, — хмыкнул Иван. — Нету — значит, нету.

— Жалко, Машатин, жалко, — вздохнул Ситников. — Очень уж надо. Было бы где взять, я у тебя бы не спросил. Может, все же выручишь? Глядишь, и я тебя когда-нибудь выручу.

— Нету, — глухо уронил Иван.

Яков Кузьмич отвернулся, а Мишка сплюнул сквозь зубы на дорожную пыль.

Мишка Овсянников — вертлявый мужичонко, и хотя ему за тридцать, все еще в парнях ходит — неженатый — и космы длинные носит, как молоденький. Со стороны посмотришь, сойдет за парня, только лицо его выдает: сильно поношенное, серое какое-то, в морщинах, с вечной ухмылочкой. Он и сейчас шалаво усмехался чему-то, часто сплевывая сквозь зубы.

Возле строящегося кирпичного дома копошились приезжие ребята, сновали по лесам с носилками взад-вперед, заканчивали кладку стен.

Широко расставив ноги и заложив руки за спину, Яков Кузьмич взирал на них, выкатив обозначившийся уже животик, потом задумчиво сказал:

— Эти пускай пораньше кончат.

Проговорил он это негромко, вроде бы размышляя вслух, но Мишка с готовностью кивнул и даже движение сделал, будто собирается бежать исполнять, но Ситников остановил его:

— Пускай пока поработают. Потом...

Иван принес из дому ключи от зеленого павильона и пошел в сарай за бреднем.

Рыбачить в озере никому из поселковых без разрешения Ситникова не позволялось, рыбы было много, и

Иван с Мишкой за три захода наворочали два ведра карасей и линей.

— Наверно, хватит, — сказал Иван и хотел уже снимать мокрые рубаху и штаны, но Мишка только в азарт вошел.

— Давай еще. Яков Кузьмич просил ему с ведерко оставить, да еще нашим надо будет дать. И мне за труды причитается. Я-то разве не человек, чтоб зря мокнуть?

Пришлось заходить еще.

Над озером летали утки, потревоженные людьми. К дальнему берегу, в густые камыши, улетаывали выводки. Утята были уже большие, со дня на день на крыло встанут, и плыли вслед за беспокойно оглядывающейся уткой быстро, помогая себе крыльями.

Мишка мечтательно сощурился.

— Пальнуть бы сейчас в кучу-то.

— Я т-те пальну, — хмуро отозвался Иван, развешивая бредень на кустах черемухи.

— А тебе жалко? Твои, что ли?

— Мон.

— Однако ты богатый. Гляди, как бы не раскулачили.

— Не тебе меня раскулачивать...

Рыбу собрали в большую плетеную корзину, потащили ее к зеленому павильону.

Строителям Яков Кузьмич, видно, сам сказал, что надо, потому что все они спустились с лесов. Собравшись кучкой, сидели и лежали на траве, перепачканные раствором и красной кирпичной пылью, уронив тяжелые, набрякшие от работы руки. Ашот негромко тянул нездешнюю грустную песню на своем языке. Его смолево-черные бездонные глаза тоже были печальны и глядели куда-то далеко-далеко: через горы, через тайгу, в только ему ведомые дали. И остальные его товарищи, кто покусывая сухую былинку, кто в неподвижной задумчивости прикрыв глаза, слушали тягучий негромкий напев и душой сейчас были не здесь.

Ивану вдруг стало жалко этих людей, инстинктивно жмущихся друг к другу. Он остро почувствовал, как тоскливо им тут, в чужой для них стороне, вдали от привычных мест, от близких и знакомых людей. Вот он сам родился в Горюнихе, и хорошо ли тут, плохо ли, а другого места он не желает, и занеси его судьба в дру-

гие края, он станет тосковать без этого лесного озера, без этой оскудевающей тайги, неудобно ему будет там и горько.

Подумал об этом Иван, и сердце дрогнуло от неясных, дальних предчувствий, непонятно откуда взявшихся. И себя он вдруг увидел как бы со стороны, чужими глазами, в незнакомом краю, среди незнакомых людей — наперед холодно стало от видения. Иван подхватил с земли жестяное ведро, в котором строители носили из озера воду для раствора, торопливо навалил в него рыбы. Шагнул к Ашоту, поставил перед ним ведро с живой еще, трепыхающейся золоченой рыбой.

— Сварите, ребята, себе уху.

— Спасибо, дорогой, — мягко отозвался Ашот, — ты хороший человек. Сердце доброе.

— Какой там хороший, — смущенно отмахнулся Иван, — обыкновенный. — А все же приятно было, что сделал он для этих людей небольшое, но добро, и ему ответили добрым словом. Может, теплее им станет от его маленького подарка — и то ладно. Он помедлил еще возле Ашота и, чувствуя на себе его вопрошающий взгляд, сказал: — А насчет бычка ничего пока не узнал. Похоже, волки... — Вздохнул, улыбнулся виновато и пошел прочь. Что ему еще скажешь? Ему все одно: волки или медведь. Бычка-то нет, и потерю ничем не возполнишь. Пообещать бы шкуру убитого хищника (а в том, что Иван убьет его, несколько не сомневался) — да куда эта шкура будет годна? Летняя-то... Грош ей цена.

В павильоне Мишка зашипел на Ивана:

— Ты зачем имя рыбы-то дал? Они знаешь сколь заколачивают? У них на рыло по тыще в месяц выходит.

— А ты чего сам от этих тысяч сбежал? — ответно кольнул его Иван, угодив в самое больное место. Прощлым летом некоторые поселковые мужики, позавидовав заработкам «скворцов», тоже решили сбить «шабашку». Сбили, набрав в нее мужиков, оказавшихся не у дел, подрядились у рудоуправления строить жилой дом. В эту дикую бригаду затесался и Мишка Овсянников, загоревшийся одним махом «закалымить» на машину. Две недели мужички вкалывали без перекуров — копали траншеи под фундамент, приходя на стройку с зарей и уходя затемно. А к концу третьей недели, в субботу, запили, да так, что уже и не смогли остановиться — наверстывали «сухие» дни. На том местная брига-

да и развалилась. А заливали фундамент и строили дом все те же неутомимые «скворцы».

— А я в гробу видел эти тыщи, — хмыкнул Мишка, — я из-за денег здоровье гробить не буду, не в моей натуре. Оно у меня не казенное.

— Ну тогда помалкивай, — обрезал его Иван. — Чисть-ка вон рыбу.

Яков Кузьмич пересчитывал бутылки, перекладывал с места на место свертки, шевеля губами и что-то прикидывая в уме, но по его особенному молчанию Иван понимал, на чьей тот стороне, и свое слово скажет, когда надо будет. Яков Кузьмич умел молчать и ждать. Услышит, бывало, о чем-нибудь грешке, но виду не подаст, будто не слышал, однако память у него на эти дела крепкая, ничего не упустит и когда потребуется — выложит. В самую точку угодит, не промажет.

Оставив хозяйевать в зеленом павильоне Якова Кузьмича с Мишкой, Иван пошел к себе в дом, гадая, отчего это Ситников не спросил его о злополучном бычке. Ведь не мог же он не знать, все новости попадают к нему скорее, чем к кому другому, а вот взял и не спросил. Вроде как уступку какую сделал, и от него, от Ивана, тоже ждет уступки?

Настроение после стычки с Мишкой стало еще хуже, хотя Иван умом и понимал, что окончательно оно испортилось потому, что вот такие шалопаи, которых он раньше ни к озеру, ни к лесным уголкам близко не подпускал, хозяйничают на его бывшем кордоне, как в собственном огороде, да и сам кордон превратили невесть во что. Одины воспоминания о кордоне остались. Теперь и сам не поймешь, кто ты такой: лесник — не лесник, сторож — не сторож, бог знает кто. Пасмурно стало в душе, холодно. А ведь когда-то гордился он работой, завешанной ему отцом. И как не гордиться? Иван охранял от порубок казенные леса. Чистил просеки, тропы, деляны содержал в порядке, вовремя осветляя их. И зверье, обитающее на его обходе, берег от лихих людей, потому что лес без животных не лес, а просто-напросто древостой. Понимал Иван свою значимость в общем деле. Его портрет красовался на доске передовиков леспромхоза на самом видном месте — в середине. Приезжая в контору, Иван всякий раз взглядывал на свой портрет, наполиваясь радостью и высоким светлым настроением. О нем люди помнили, его ценили. В такие минуты ему хотелось

сделать для леспромхоза что-то хорошее и большое, отблагодарить за честь и уважение. И когда Иван возвращался домой, на кордон, теплое благородное чувство еще долго грело его и подбадривало. Все это было раньше, и кажется ему, в давние-давние времена, хотя прошло всего-то пять лет с небольшим. Давно сняли с леспромхозовской аллеи передовиков портрет бывшего лучшего лесника Машатина — уволился, ушел на рудник. А на руднике сроду его портрет не вывешают. База отдыха для рудника — дело второстепенное, забава, можно сказать. Захотели — открыли, не понравится — прикроют, и ничего не изменится. Руда как шла, так и будет себе идти на-гора. О базе вспоминают, когда наезжают гости или начинается осенняя охота на уток и зайцев. Тогда и егеря тут — видное лицо, все к нему обращаются. Прошла охота — и снова надолго забыли. Хоть деньги регулярно платят — и за это спасибо.

Культмассовая работа и отдых горняков — дело рудничного комитета, поэтому Ситников был для Ивана почти что непосредственным начальством, а с начальством этим у Ивана сразу же наметилось недовольство друг другом. Рыбу для руководства Иван ловил неохотно: претило это ему, чувствовал в душе унижение. Пушкину он им не сбывал, всякий раз отказывал. Недовольство это однажды и прорвалось. А дело было так: разъехались гости, Иван возьми и спроси у Якова Кузьмича: кто, мол, будет простыни-то стирать?

«Как кто? Ты». — Ситников даже удивился наивному вопросу.

«Я в прачки не нанимался», — отрезал уязвленный Иван.

«А у нас на базе только одна штатная единица. И ведущий, и все остальное — по совместительству. Зарплата у тебя хорошая, за двоих платим, так что сам управляйся. А ежели тебе это дело с простынями не глянется, попроси жену. Или дочку».

Простыни стирала Антонина, а Иван, как ни злился, но в спор с Яковым Кузьмичем больше не вступал, понимая, что деваться некуда и остается терпеть. Лишь однажды, когда в зеленом павильоне всю ночь пили и пели, музыка ревела на всю катушку, да так, что ни сам Иван, ни жена, ни ребята заснуть не могли, терпение у Ивана лопнуло. Сказал Ситникову, что это не дело. Сказал вроде осторожно, даже мягко, но Яков Кузьмич

остро на него посмотрел, сжал свои тонкие губы и ничего не ответил. Однако он все помнил и сегодня не случайно погрозил Ивану пальцем. Опасался, как бы егеря не выкинул чего-нибудь. Заранее упреждал.

С работы Антонина пришла необычно рано. То всегда в восьмом часу возвращалась, а тут еще трех нет, а она уже дома, уже отработала, и у Ивана, который нынче в любой случайности улавливал особый смысл, неприятно ворохнулось сердце.

Спросил настороженно:

— Заболела, что ли?

— Да нет, — усмехнулась Антонина, — попросили вон там помочь. — И она кивнула за кусты, в сторону зеленого павильона. — Сварить им чего да изжарить. На закуску.

— Вот что, — предупредил Иван жестко, — раз такое дело, то походи помоги. Приготовь им, что попросят, и сразу — домой. Поняла?

Антонина усмехнулась:

— Ясно, почевать там не останусь.

— Я это к тому, что мне противно все это. Чтоб минуты лишней не была там. Ни одной минуты!

После того как жена ушла в павильон, Иван постоял еще на крыльце, оглядывая двор, словно искал что-то. У сарая валялись чурки. Давно напил их «Дружбой», а поколоть, сложить в поленицу — руки не доходили. Раньше, когда они попадались на глаза, досадовал и отворачивался, а теперь вдруг обрадовался. Принес из сарая колун, начал колоть чурки, вкладывая в удары всю свою злость. Надо же... мало того, что из него, бывшего лесника, черт-те кого сделали, так еще и Антонина теперь крутится там возле них, утешдает. Жарит-парит...

Бордовый «Москвич» покати в поселок и скоро вернулся. Привел за собой еще две легковые машины: «газик» и черную «Волгу», которые объехали дом Ивана не ближней дорогой, а луговой и подрулили к павильону.

— Съезжаются, — прохрипел Иван, разваливая на двое сосновую суковатую чурку, которую в другое время без клиньев и не осилить бы, а тут разлетелась за-просто: злость придавала сил.

Он между делом поглядывал в сторону павильона, из трубы которого вовсю валил дым, видел на берегу озера гуляющих людей, оживленных от предстоящего

застолья, и все махал и махал колуном без передыху.

Заныли плечи, рубаха прилипла к спине, а он, как заведенный, не отступался от чурок, словно боялся остановиться.

Антонина вернулась поздно. Не заходя в дом, остановилась возле мужа. Устало вздохнула, но глаза ее лукаво светились.

Иван отбросил топор, оглядел ее пристально, с головы до ног, пытаясь увидеть жену в каком-то новом качестве, сдерживая распаленное дыхание, приказал:

— А ну, дыхни!

Антонина смущенно рассмеялась, с виноватой принужденностью, которая от особенно зорких сейчас глаз Ивана не укрылась,дохнула на него.

— Ты с ними пила? — спросил туго натянутым, готовым сорваться голосом и пугаясь самого себя.

— Да нет. Просто угостили в благодарность. Выпей, говорят, хозяйка, с нами, уважь. Я и выпила, чтоб не обидеть.

Иван поморщился, как от зубной боли, и опустил на чурку.

— Вот это ты зря, Тоня, — проговорил он захрипшим голосом, — не надо было пить. Отказалась бы.

— Да чего особенного-то? Всего глоточек и выпила-то. Для виду. Чего ты взбеленился?

— А то, что надоело мне все это. Злость берет. Еще пить с ними. И так за людей не считают... Ладно... Кто у них там?

— Начальство, да Яков Кузьмич, да еще те двое из области. Сидят выпивают, разговаривают. Мишка им прислуживает.

— Ступай в дом.

Иван снова взялся за топор, как за спасенье. Что бы делал, не окажись этих чурок? Каким бы делом занял голову и руки? Старался забыть в работе, но глухое раздражение накапливалось, не проходило.

Солнце уже закатывалось, когда «Волга», поблескивая черными гладкими боками, покатула, наконец, в поселок. За нею бежал, едва поспевая, «газик». А немного погодя, следом пропылил и бордовый «Москвич» с фургонком.

«Рано они нынче разбегаются», — с удовлетворением подумал Иван, но он ошибся. «Москвич» через полчаса воротился к павильону. Значит, начальство уехало,

а Яков Кузьмич остался с гостями, которые тут будут ночевать. Скорее всего, он посылал Мишку за выпивкой. Не хватило, должно быть...

Через некоторое время явился Мишка.

— Тебя Яков Кузьмич просят, — сказал он в сторону, нагло ухмыляясь и сплевывая себе под ноги.

Иван никак не отозвался, будто не слышал, и когда тот, не дожидаясь ответа, ушел вихляющей походкой, устало разогнул спину и поглядел ему вслед.

Услышав чужой голос, на крыльцо выглянула Антонина. Сообразила, что мужа зачем-то зовут в павильон, предостерегающе зашептала:

— Ваня, ты не скандаль с ними. Слышишь?

— А что? — с вызовом спросил он. — Улыбаться им? Как ты?

— Не надо. Прошу тебя. Только себе хуже сделаешь.

— Мне хуже уже не будет, — желчно усмехнулся Иван, резко поворачиваясь к жене спиной.

В павильоне горел яркий свет, было душно, несмотря на распахнутые окна, и сидящих за столом людей Иван увидел как бы в тумане — накурено было. Но еще перед тем, как отворить дверь, он услышал голоса не только мужские, но и женские, и удивился: Антонина про женщин ничего не говорила. И теперь, перешагнув порог, сразу же и нашел их глазами.

Они сидели среди мужчин лицом к двери, а значит — к нему, входящему. Одна была беленькая, остроносая, с густыми синими тенями под глазами, с ярко накрашенным ртом и распущенными по плечам волосами, отсвечивающими неживой белизной. Она была ярка, она сразу приковывала к себе внимание, и на ее подругу Иван посмотрел мгновением позже. Но как только перевел на нее глаза, то и замер остолбенело и задохнулся от неожиданности. Эта была черненькая, со смуглой шелковистой кожей скуластого, немного не русского, а как бы азиатского лица. Накрашена не меньше, чем первая: маленькие пухлые губы густо намалеваны, и под глазами затенено сиреневым серебром, но на смуглом лице это скрадывалось. Что-то неуловимо диковатое, лесное проскальзывало в блеске ее раскосых глаз, в повороте головы, в изгибе шеи.

Странно знакомое чудилось Ивану в этом лице девушки, в ее загадочной диковатости, в том, как свободно стекают на худенькие плечи черные, золотисто вспыхи-



вающие на свету волосы, и на его губах застыл сдавленный, немой крик: «Алтынчач!»

Но он все-таки сообразил, что ошибся. Нет, это была совсем другая девушка, лишь азиатским своим лицом напомнившая ему Алтынчач, но не она. Во взгляде этой жила не детская непосредственность и не застенчивость, а холодная смелость. Она и глаз не опустила, не сробела перед Ивановым остановившимся на ней взглядом, потому что, верно, знала в себе какую-то особую защищенность, и лишь легонько, одними уголками пухлых губ вежливо ему улыбку. Эта вежливая полуулыбка окончательно отрезвила Ивана, и он еще яснее осознал, что сидящее напротив смуглое существо, пребывающее в непринужденной, ленивой позе, наверное, привыкшее к подобным компаниям, — не Алтынчач, что эта девушка, несмотря на разницу в цвете, походит скорее всего на свою подругу. Угадывалась в них сближающая одинаковость: в манере ли вольно держаться при мужиках, заранее зная, чего те от них хотят, и понимая, зачем они здесь, в особом ли выражении их нескромно подкрашенных глаз, но была. Иван же, едва оправившись от неожиданности, сразу же озлился на эту девушку за ее схожесть с Алтынчач, за свой испуг. Ведь с минуту, наверное, столбом стоял перед ней, в лице изменился, горло перехватило.

За столом это заметили.

— Гляди, Рая, охмурит! Вон как уставился! — раздалась расплывающиеся, как в бане, голоса.

За столом сидел Яков Кузьмич, с краю от него — Мишка, а по обе стороны от девушек, близко придвинувшись к ним, — те двое приезжих мужчин с довольными смеющимися глазами. Мужчины — не молодые, но и не слишком старые, в самой поре.

Все застолье разглядывало Ивана.

— Хозяин нашего заведения, — представил его Яков Кузьмич, обращаясь к гостям, — егерь Машатин.

— Какой уж там хозяин, — усмехнулся Иван. — Хозяин вы, Яков Кузьмич, а я — так себе, постоялец.

— Ну ты брось приbedняться, Машатин, — вздернул подбородок Ситников, — знаем мы вас, беднякских. — Говоря это, он наполнил стакан и под одобрительные кивки гостей протянул: — Давай, Машатин, за мир и дружбу.

— Спасибо, не желаю, — помотал головой Иван, за-

метив, что сам Яков Кузьмич навеселе, но не очень. Все умел Ситников, и пить в том числе. Мишка тоже — выпивший самую малость, видать, какие-то дела ему еще сегодня предстояли, нельзя много.

— Что, совсем не употребляете? — сочувственно поинтересовался один из гостей. — Вы не из кержаков?

— Нет, я же из кержаков. Иногда употребляю, — сделал Иван ударение на слове «иногда», — после большой усталости. Когда из тайги ворочусь, к примеру. А без нужды не пью.

— Принципиальный товарищ, — рассмеялся второй гость, — ну раз так, насиловать не будем. А вопросик вам можно задать? — он, наверное, был въедливый мужчина — остроносый, остроглазый. — Так я вопрос, если не возражаете. Приехали к вам гости, то вы как? Неужели с ними ни капельки? Неужели насухую?

— Это надо, чтоб я вас пригласил в гости, чтоб вы приехали. А там будет видно: насухую или нет. — Иван маленько придурился, играл в этакого деревенского простачка.

Девушки рассмеялись. Мужчины сдержанно улынулись.

— Так, Яков Кузьмич, — обратился Иван к Ситникову, — вы меня звали по делу или как? Если развлекать, то я мало для этого гожусь. Еще ненароком обижу кого-нибудь.

Ситников не ответил, потому что Мишка что-то шептал ему на ухо и тот согласно кивал, но потом обернулся к Ивану, предупреждаяще на него посмотрел, опасно. Сообразил: Машатин лезет-таки на скандал, а при чужих людях шума не хотелось. Глазами упредил. Злые они были у Якова Кузьмича, стерегущие каждое движение Ивана, а лицо — ласковое, застывшее в мечтательной, мягкой улыбке. Даже так Ситников умел: ласково улыбаться и грозить одновременно.

— Позвали выпить с нами за мир, дружбу. Но если не хочешь, не пей. Дело добровольное. Я тебя вот о чем хотел попросить. Такое у меня к тебе дело...

Девушки пошушукались между собой, вылезли из-за стола, и гости тотчас потеряли к Ивану всякий интерес, с тревогой следили, как те, оглаживая платья, двинулись к двери.

Яков Кузьмич коротко глянул на Мишку.

— Куда это вы? — тотчас поднялся Мишка.

— Да мы сейчас... ненадолго. На погоду посмотрим, — пересмеивались девушки и вышли на волю, где уже начинало смеркаться.

Яков Кузьмич кивнул, — дескать, понимаю, — помолчал еще маленько, искоса поглядывая на Мишку, и продолжал:

— Такое дело, Машатин. Как бы пару уточек взять?

— Каких уточек? — деланно удивился Иван, перехватывая Мишкину нагловатую усмешечку. Он надоумил Ситникова, он, никто больше. Назло ему, Ивану, надоумил. Но, продолжая разыгрывать простачка, развел руками: — Так, Яков Кузьмич, мы их не держим в хозяйстве, уточек-то. Куры есть, а уточек, извините, нету.

— Хватит, Машатин, — терпеливо осадил его Ситников тихим, ласковым голосом, — ты понимаешь, про каких уток я говорю. Хочется гостей попотчевать дичатиной. Где они в городе-то попробуют? Тем более, не охотники. Ты вот что, возьми ружьишко да добудь нам штукки две-три. Печка еще не протопилась, мы их поджарим, а?

— Так не сезон же, — дурашливо расплылся Иван, — вы же знаете, Яков Кузьмич, когда можно, а когда и нельзя. Утята еще не на крыле, с мамкой плавают. Как стрелять-то? Рука не поднимется.

— Ничего, Машатин, парочку возьмем — не убавится. Вон их на озере сколько. Да ты самочек и утят не бей, а селезней и стреляй. Поди, разберешься, где утка, а где селезень?

— Нельзя, Яков Кузьмич, все равно нарушенне будет. — Иван глубокомысленно помотал головой. — Узнают в районном обществе, что скажут?

— При чем здесь общество? Угодья наши, мы сами здесь хозяева. Общество нам не указ.

— Хозяева-то хозяева, — покорно согласился Иван, — это верно. Да разве хороший хозяин бьет свою дичь в неположенное время? Этим он сам себя обкрадывает. И как мы потом от других порядок станем требовать, если сами нарушим? В поселке ведь услышат выстрелы. Не дураки, догадаются, по ком стреляют. Нет, Яков Кузьмич, закон для всех одинаковый.

— Ну, не хочешь сам, разреши вон Михайлу, у него в машине ружье есть, он сделает, — не сдавался Ситников.

Иван упрямо помотал головой.

— Принципиальный товарищ, — усмешливо протянул остроносый.

— А нам иначе нельзя, — тут же откликнулся Иван. — У нас если не будешь принципиальным, все разорят, ничего не оставят.

— Машатин, да имей ты совесть. Его уговаривают, а он ломается, как этот... Ведь не для себя прошу, гостей хочется уважить, — наседали Ситников, уже явно злясь, но все еще сохраняя на лице улыбку. — Давай сделаем, а? Этот грех на себя беру.

Иван помолчал, задумавшись, и вдруг встрепенулся.

— Яков Кузьмич, зачем вам на себя такой грех брать? Ежели хотите, я могу курятинки устроить. Хотите, петуха принесу? Мишка ему голову свернет — и в кастрюлю? А петух жирный, не хуже утятинны. В утках-то сейчас одни пеньки, тощие они да синие еще, никакого навару.

Ситников обещающе сощурился:

— Спасибо, Машатин, не надо. Петуха ты себе оставь. Может, клюнет он тебя когда-нибудь в одно место...

— Ну не надо, так не надо, — с простодушнем сказал Иван, вроде не заметив недоброго Ситниковского прищура, и даже в растерянности развел руками: дескать, хотел как лучше.

Поглядел еще на Ситникова, который с отчуждением отвернулся от него, на заскучавших гостей, на угрюмо ухмыляющегося Мишку, пожал плечами и вышел вон.

И лишь затворил за собой дверь, как с лица его сползло наигранное простодушие, та легкая придурковатость, которою он прикрывался там, в павильоне, и сразу опечалился. Больше прикидываться было не перед кем. Кончился концерт. Яков Кузьмич — он не дурак, уж он-то его понял, хотя виду и не показал. Это Ситников припомнит при удобном случае. Наверное, много у него накопилось теплых слов к егерю. Таких теплых, что теплее некуда. Да Мишка сегодня еще ляпнул: «Гляди, мол, раскулачат». То ли просто сболтнул, что на ум пришло, а может, и намекнул. Наверное, знает что-то такое, вот и намекает. Раскулачат... Раскулачивайте! Столько лет холенные угодья прахом пустить недолго. Хозяева...

Возле загустевших от сумерек кустов черемухи он услышал тихий женский смех и невнятные голоса. Наверное, девки ждали, когда он уйдет, стеснялись его

присутствия. Слишком уж он цепко их разглядывал. Кто ж они такие, откуда? Кажись, лаборантки из рудоуправления. Интересно, как их Мишка привез на своем фургоне? В кабине они втроем с Мишкой не поместятся. Неужто в ящике без окон? Где возил водку, закуску для гостей? Туда и девок посадил? Ну не шалавы ли?..

Дверь в павильоне отворилась, изнутри плеснулось на волю желтый расплывчатый след. В дверном проеме, как в раме, обозначился силуэт Мишки. Затягиваясь папиросой, Мишка всматривался во тьму, вертя встрепанной головой. Бросил окурок в траву и исчез, не затворив за собою дверь. То ли нарочно так ее оставил, чтобы девки вернулись на огонь, то ли звал компанию на поиски.

«Зря беспокоитесь, эти никуда не денутся», — с усмешкой подумал Иван. Он собирался было пройти мимо, но злость ворочалась в нем горячим комом, не находила выхода, и ноги сами повели его к черемуховым зарослям, к плотной темной стене, откуда донеслись голоса и которые теперь смолкли. Девки, верно, видели Ивана: он шел от света, шел напрямик к ним, — и затаились, но Иван даже во тьме ощущал их прерывистое дыхание, различал слабо проступающие, молочные пятна лиц. И когда он приблизился к ним вплотную, когда остановился, переводя сбившееся дыхание, и увидел маячащие перед ним исковерканные страхом лица и руки, которыми они прикрывались, словно ожидая удара, мерзко и жутко ему стало.

— Уходите отсюда, — прохрипел он в мельтешиащие перед ним лица и даже каким-то нутряным зрением, которое безошибочно вело его во тьме, явственно увидел свои слова, которые, как кнутом, стеганули по рукам, по темным пятнам глаз, по кровависто отсвечивающим провалам рта. — Чтоб духу вашего здесь больше не было. Слышите? Чтоб духу!..

Они попятились, вжимаясь в кусты, побежали, треща ветвями, а Иван стоял и под тугие удары крови в висках слушал треск обрываемых листьев, а потом глухой, вразнобой, топот туфель по мягкой, травянистой луговине.

Передернувшись, как от озноба, он медленно, уже ничего не видя перед собой, побрел, сам не зная куда, лишь бы только не стоять на месте, лишь бы двигаться.

Чуткой кожей разгоряченного лица уловил он живую прохладу близкой стоялой воды. Перед ним тускло

сверкнуло озеро из-за подсвеченных бледным, неживым светом кистей камыша. У воды чернела полусгнившая перевернутая лодка. Над лодкой темнел уступ коренного берега, узким мыском подступивший к самым камышам. На этом мыске твердой суши росла одна-единственная пихта, невесть как сюда попавшая. Позади нее, в отдалении, стояли сосны. Может, кедровка занесла сюда семечко в далекие времена? Пихта была высока, раскидиста, и оттого ли, что слишком уж неожиданно было видеть ее здесь, на краю обрывчика, возле близкой воды, или по каким другим причинам, но отец Ивана, старик Машатин, избрал эту пихту для благодарения. Возвращаясь с промысла, он обязательно приходил к пихте, отрывал от одежды узкую ленточку и подвязывал ее к ветвям — благодарил дерево за удачу и счастливое возвращение. Этот обычай он перенял у охотников-алтайцев, понимая, что, наверное, не зря старые промысловики избирают себе деревья для поклонения, что природа жива, благодарна и откликается на сердечность, что без благодарения никак нельзя, и стал он украшать стоящую над обрывом пихту ленточками из своей одежды. Много на ней висело полунстлевших, выцветших лоскутков. И каждый лоскуток был частицей жизни. А каждый год в последнюю субботу августа приводил старый Машатин к пихте всю семью. Усаживались возле дерева, обедали принесенной в узелке едой, остатки же еды раскладывали у подножья — подношение лесным зверям и птицам. Много Машатины брали у леса, кормились им и чем могли благодарили все живое. В этом был мудрый смысл благодарения. Только после смерти отца Иван редко бывал у пихты, а когда забродил сюда, то не отрывал лоскуток от одежды, чтоб не бранилась Антонина за испорченную рубаху или куртку, а бросал к подножью завалившуюся в кармане медную мелочь. Бросал со стыдом, с какою-то неосознанной виной и уходил прочь.

Вот он, оказывается, куда пришел — к дереву благодарения, и сам удивился этому. Что его сюда привело и зачем, для какой надобности? Этого Иван не знал.

Потрогав рукой колкие ветки пихты, он вздохнул, спустился к лодке, опустился на пахнущее прелью днище, подумав, что, может, здесь, в одиночестве и покое, уложит он в порядок растревоженные мысли, поймет что-то особенное, чего в ином месте не понять.



Перед ним все маячили раскосые глаза, и хотя он умом понимал, что ошибся, что это была не Алтынчач, а совсем другая девушка, а сердце не могло успокоиться. Память повела его дальней, заветной дорожкой в те места, где он увидел Алтынчач не на счастье, на своей горе.

Случилось это прошлой осенью, когда промышлял он с Тайгуном по чернотропу в высокогорной тайге за Сихюхой в наследственных своих угодьях. Стоял конец октября. Снег еще не лег, лишь заморозки прибили высокие травы, устелили ими остывающую землю, проторили дорожку припозднившейся зиме, да и отступили до времени, чтобы потом навалиться разом и осесть до весны.

А пока ночи стояли теплые и тихие, по-особенному глухие, без звездочки. Помнится, ночевал Иван под разлапистым кедром, потому что за день намотался по увалам, сил не хватило добраться до избушки, так и лег, где прихватила усталость. С вечера заснул быстро, пригрев спину у костра. Очнулся среди ночи внезапно, как от толчка. Костер уже прогорел, растрескавшаяся колодина малиново просвечивала из-под пепла. Иван подумал, что надо бы подкормить костер, потому что до утра еще далеко, и вдруг снизу, из глубокой черноты ущелья услышал тонкий, протяжный голос. Он был тонок, как волосок, этот далекий, едва слышимый голос, и словно бы выводил какой-то нехитрый мотив. Казалось, там, внизу, на дне глубокого ущелья, в котором, он знал точно, нет ни избушки, ни кочевья, среди ночной затаенной тайги поет девочка. И Иван совсем не удивился этому. Сам не зная, как это вышло, он поднялся и пошел на голос. Он шел как во сне, легко и невесомо, будто плыл по воздуху, не касаясь земли ногами. Кочки и выворотни ему не мешали — плыл и плыл. И почувствовал: кто-то сзади схватил его за штанину и держит.

Он обернулся с недоумением, не испытав ни страха, ни малейшего испуга, и увидел в мерцающем свете тлеющей колодины своего Тайгуна. Кобель держался зубами за штанину, не пускал, упирался лапами, но потом отпустил хозяйина и, ощерясь, негромко, но зло, с подвывом, как на большого, опасного зверя, взлаял во тьму и опять с решительностью заступил дорогу.

И тут Иван словно очнулся от забытья. Он поглядел в ту сторону, куда шел налегке, без ружья, оставив на

месте невольного ночлега все свое нехитрое снаряжение и добычу — и поехал: впереди темно было, как в колоде. Замерев, прислушался — тишина, никакого голоса, только едва шелестел ветер в вершинах кедров.

Его даже прошибла дрожь: был все-таки голос или нет? Может, и не было ничего, все это ему пригрезилось? До звона в ушах вслушивался Иван — нигде ничего не отзывалось. Темная, немая тайга стояла перед ним без звука и проблеска.

Он воротился к костру, подкормил огонь с вечера приготовленной колодиной, и запоздалый страх нашел его, спеленал. Кто его манил? Куда он шел? От какой беды предостерег его Тайгун?

Вообще Иван был мужик трезвый и осторожный в поступках, особенно в тайге, понимая, что там может статься всякое. Случалось, шлялись и бродяги, и иной — не поладивший с законами люд, нашедший укрытие в далеких распадках и ущельях. Сгинул же муж Катерины — и с концами. В тайге рот не разевай. Не только со зверем, но и с человеком встреча может окончиться гибельно. Зверь — он нападет голодный, а иной человек и сытый убьет. Отец учил Ивана осторожности еще в малолетстве, наставляя к промыслу. И какая нашла порча, какое затмение ума, что он так беспечно отправился на пригрезившийся ему голос в глубокое ущелье. И чем больше Иван думал об этом, тем жутче ему становилось. На память приходили рассказы стариков, один другого страшнее. Много загадочного, необъяснимого приходилось людям видеть в тайге...

На всякий случай Иван пригасил свежую колодину, отвалив ее сапогом от огня, а остаток ночи провел под другим деревом без сна, с ружьем в обнимку, чутко вслушиваясь в тайгу и держа за ошейник Тайгуна.

Его страхи развеялись лишь утром, когда просочился с плотно укутанного облаками неба блеклый серый расцвет, когда деревья, скалы, травы приобрели свои очертания. Он даже усмехнулся ночным тревогам и подумал: был ли голос на самом деле? Да вроде как был, он помнил его — тонкий и протяжный — девичий. Словно бы девочка пела. Нет, не пригрезилось.

И лишь сносно развиднелось, он собрался и пошел — так вниз, в пугающую и притягивающую одновременно неизвестность.

Со скалистого уступа Иван долго всматривался в от-



крывшееся перед ним ущелье, по склонам которого поднимались клочья тумана. Разглядел узкую горную речку, крохотную полянку среди подступивших со всех сторон сосен и кедров. Ни дымка, ни шалаша не приметил, однако знал: опытный таежник сроду не поставит на открытом месте даже временного прибежища. Только беззаботные туристы, которых год от года в здешних местах становится больше и больше, могли расположиться вот так, открыто, не беспокоясь, что их кто-то увидит. Но сейчас время осеннее, туристов в тайге нет, даже геологи и те сворачиваются до снега. Весь случайный, приблудный люд уже покинул леса и горы, остались лишь те, для кого тайга родной ли, вынужденный ли, а дом.

Иван спустился ниже, к самому подножью, отчего-то чувствуя, что поляна эта не безжизненна, и за неглубокой, каменистой, по-осеннему чистой речкой разглядел островерхую хижину — аил, теряющийся среди кедровых стволов. Стволы были грязновато-бурые, обесцвеченные серой моросью, и крытый древесной корой аил виделся тоже бурым, его трудно было отличить от деревьев.

Из верха аила, образованного связанными концами жердей, струился сизоватый, только по волнистости воздуха и приметный дымок, сразу же и рассеивающийся над дымоходным отверстием.

Тайгун потянул носом, шерсть на загривке вздыбилась, но хозяин поспешно упредил собаку: приложил палец к губам, отчего кобель послушно замолчал, зажал в себе явственный глухой рык. Однако глаз с занавешенного шкурой входного проема не спускал.

Кто-то там был, в аиле. Это Иван определил и по особой настороженности Тайгуна, и по дымку, заструившемуся вдруг гуще — видно, очаг подшуровали.

Мирный вид охотничьего жилища успокоил Ивана. Такой аил охотник-алтаец ставит надолго, на весь сезон, причем ставит на отведенном ему промысловом околотке, а значит — это охотник основательный, штатный, уважающий себя и свой труд, такой же, как и Иван. Бродяжка или арестант хоронятся в выворотнях, в пещерах, которых в скалах множество. Нормального жилья они боятся. Ясно, что тайгует тут хороший человек.

Понаблюдав еще немного, Иван безбоязненно спустился к речке и сел на валежину возле самой воды. Са-

му речку из вежливости он не перешел, а решил ждать, когда появится хозяин, на этом берегу. Стучаться в чужое жилье без особой надобности честному охотнику неловко, тем более нехорошо войти без спроса: там у хозяина может лежать и добыча, и многое другое, на что нельзя глядеть чужому человеку.

Сидел Иван спокойно и, покуривая, разглядывал полянку. Возле аила лежали натасканные из леса сухие колодины, хворост, рваные куски бересты на растопку, из чурки торчал топор. Мысленно Иван уже прикидывал: сейчас появится хозяин аила, они с ним поздороваются, поговорят о промысле, об ожидаемой зиме, расскажут друг другу новости, какие кто знает, и после крепкого чая дружески разойдутся. И обоим на душе теплее станет от общения с близким по промысловым заботам человеком. Встречи такие случаются не часто, но долго греют одинокую душу охотника.

Размышляя так, Иван перевел глаза на взгорье, на изломы тайги, зависшей над скалами, где он почевал, гадая, мог ли он оттуда слышать прозвучавший здесь голос или нет. И боковым зрением увидел, как нервно подобрался сидевший у его ног Тайгун. Ага, значит, кто-то появился...

Иван медленно повернул голову, как можно медленнее и спокойнее, чтобы резкостью движений не спугнуть того, кто вышел из аила, он и лицом размяк в приветливой улыбке, не зная пока, кому она предназначается. И в изумлении вытаращил глаза: перед аилом, в наспех накинутом белом полушубке, стояла черноволосая, смуглая девушка. В одной руке у нее был большой закопченный чайник, другой она придерживала край полога, не давая ему опуститься за спиной. Она опешила от неожиданности, увидев неподалеку незнакомого человека, замерла в нерешительности. Несколько томительных минут она пребывала в неподвижности, сердце и строго глядя на чужого человека раскосыми, поблескивающими, как у соболька, глазами, потом та рука, что придерживала за спиной край шкуры, проворно нырнула в проем и вытянула за собой легкий короткоствольный карабин. Потом, сведя брови к переносью, с карабином в одной руке и с чайником в другой, она пошла прямо на Ивана, к речке, мелкими, упругими шажками, бесшумно и мягко ступая оленьими сапожками по жухлой траве.

«Серьезная девка», — только и подумал Иван.

Тайгуя глядел на приближающуюся девушку, но не рычал, не лаял — сообразил: они с хозяином у чужого дома, и здесь надо молчать. Он жался к ногам Ивана, заглядывая в лицо, как бы прося совета: как быть дальше? Немо наблюдать или все-таки предупреждающе взлаять, чтобы близко не подходила?

А Иван собаки не замечал. С недепой своей улыбкой, которая маской заостенела на лице, он уставился на идущую навстречу девушку, видел, как гибко и настороженно ее тело под накинутым на плечи полушубком, под грубым серым свитером, и как побелели на смуглой руке косточки пальцев, которыми она крепко сжимала шейку карабина.

Ступив на камень, с которого она, видимо, всегда черпала воду, девушка, не спуская с Ивана настороженных глаз, медленно нагнулась и легонько повела чайником против течения. Наполнив чайник, она поставила его рядом с собой на плоский камень, разогнула спину и, держа карабин стволом вниз, подняла на Ивана строгие, изучающие глаза.

Некоторое время она его разглядывала без робости и смущения, с горделивой уверенностью в себе, потом отрывисто спросила:

— Кто ты?

— Человек, — беззаботно улыбнулся Иван.

Он расслабился после утомительной напряженности, и его забавлял недоступный, решительный вид этой хозяйки аила с карабином. Он откровенно любовался свежим, смуглым лицом девушки, строгим изгибом ее бровей, сведенных к переносью, живым блеском раскосых глаз, плотно сжатым маленьким твердым ртом. С испугом она уже справилась, придавал ей уверенность и сжатый в руке карабин, действовать которым она наверняка умела неплохо, судя по тому, как легко и ловко она его несла и держала. К тому же человек, сидящий перед ней на другом берегу речушки, ничем особым не настораживал: видать, умаялся и отдыхал. Ружье за спиной, у ног — рабочая собака! Обыкновенный промысловик. Он и не пытается перейти речку. Сидит себе и сидит. Отдохнет — пойдет дальше. И уже не настороженность, а любопытство обозначилось в ее смягчившемся и ставшем несколько задумчивым взгляде.

— У человека имя есть. Дом есть. Деревня есть, —

проговорила она немного гортанно, с алтайским акцентом, но голос у нее был чистый и сильный.

— Машатин я, Иван. Из Счастливихи. Знаешь такой поселок?

Она утвердительно кивнула, однако без особой уверенности и, склонив голову набок, отчего на грудь ей выбились из-под полушубка черные, спутавшиеся волосы, пылливо посмотрела на него.

— Зачем сюда пришел?

— Невесту ищу, — сказал Иван с улыбкой.

Он хотел пошутить, подчеркнув и лукавой улыбкой и несерьезным голосом, что это шутка, но голос его в самый неподходящий момент дрогнул, и улыбка вышла смущенной, не для момента. В общем, получилось это у него не шутейно, а серьезно, даже сам поразился этому, но отступать было уже поздно. Играть, так играть до конца. Однако он и в глаза ей заглянул слишком ласково, ласковее, чем можно.

Глаза их встретились, какой-то миг изучающе смотрели друг на друга, и это короткое мгновение странно смутило Ивана. Он вдруг отчетливо осознал нелепость своей неожиданной игры, потому что во взгляде девушки сквозил доверчивый интерес, но остановиться, избавиться от сказанного не мог. Необыкновенно легко ему было и светло, как давно-давно с ним не бывало, будто сквозь годы вернулся в свою юность.

— Я слышал, как ты поешь. Это ведь ты вчера ночью пела? Хорошо поешь. Вот посмотреть на тебя пришел. Я почевал во-он там, — показал он рукой в горы. — Маленько соболевал, под кедром спал и слышал, как ты красиво поешь. — Он старался тоже говорить с акцентом, думая, что так она поймет его лучше и больше поверит.

Девушка проследила за его рукой, оглядела высокое взгорье и недоверчиво усмехнулась. Слишком уж далеко было. Но слушала его с интересом, не перебивала.

— Ты одна тут тайгуешь? — спросил Иван.

Спохватившись, она испуганно мотнула головой.

— Нет, не одна, — заговорила быстро. — Два брата еще. Они тут совсем близко.

— Обманываешь, — улыбнулся Иван. — Ты бы давно позвала их. Зачем молодой девушке разговаривать с чужим мужчиной, если близко есть братья? Так ведь?

Братья твои промышлять ушли. А ты им похлебку варишь. Как тебя звать?

В глазах ее, сузившихся и потемневших еще больше, мелькнули беспокойство и растерянность.

— Не скажу. Нельзя. Я тебя не знаю.

— Жалко, — с наигранной досадой вздохнул Иван, — я про себя все сказал: и как звать, и откуда. Хотел узнать, как зовут мою невесту, а она меня боится, не говорит. Совсем плохо.

— Ты маленько старый, — произнесла девушка с сочувствием.

— Это правда, старый, — покорно согласился Иван и, сняв шапку, запустил растопыренную ладонь в густые еще волосы, где пробивалась седина. Он улыбался грустно, уже без игры. — Старый я и совсем глупый. Зачем к такой молодой, красивой невесте пришел? Разве она полюбит такого старого? Ей надо молодого парня. Эх, совсем глупый, совсем... — Повернул к себе морду Тайгуна. — Мой кобель и тот, наверно, надо мной смеется. Так мне и надо.

Поднялся, оправил телогрейку.

— До свидания, молодая невеста. Пойду я на свои угоды. Промышлять надо...

Сказав это, Иван повернулся и побрел берегом против течения.

Он отошел на несколько шагов, но что-то заставило его обернуться. Чувствовал в себе какую-то недосказанность.

Девушка по-прежнему стояла на камне, даже чайник не подняла, смотрела на Ивана, и в ее взгляде не было безразличия. Чем-то Иван все же заинтересовал ее, потому что в уголках девичьих губ пряталась легкая улыбка, немного грустная и задумчивая. Так улыбаются, когда не хотят, чтобы ты уходил.

И когда Иван осознал это, то остановился с выжидающим: что же дальше? Рассудком он еще не успел поверить, что мог каким-то образом заинтересовать девушку, а сердце уж тревожно дрогнуло и зачастило. Оно раньше все поняло.

— Я еще приду. Можно? — спросил Иван глухо, перехваченным от волнения голосом, стыдясь своей просьбы, чувствуя, как щеки заливают горячим стыдом. И задержал сбившееся дыхание, боясь пропустить ее ответ.

Покачивая в руке карабин, девушка с задумчивостью

смотрела на него. Глубокое раздумье сквозило и в ее глазах, и в неподвижной фигуре, и в покачивании карабина. Улыбка сошла с ее губ. Эта таежная красавица, казалось, отгадывала загадку и никак не могла отгадать.

Не дождавшись никакого ответа, Иван махнул девушке рукой, как бы извиняясь за свою слабость, с усилием заставил себя сдвинуться с места и крупно зашагал в гору, не оглядываясь. Шел, ощущая, как горят щеки, как запоздалый стыд вползает в душу, как какой-то другой человек, пожилой и трезвый, незримо живущий в нем, высмеивает каждое сказанное им слово, каждый его взгляд и жест. Господи, да что же это такое, какое помрачение на него накатило? Мужнику за сорок, дочь, можно сказать, в невестах ходит, сын взрослый парень, с отца уж ростом вымахал, а он, отец, привязался к молодой девке, зубы ей заговаривал, просился еще прийти. Скажи кому — не поверят. Стыд — да и только. Это надо же: невесту он пришел искать — неженатый паренек... И откуда только в нем такие слова взялись? Ну ладно, пошутил, да на том бы и дело кончилось. Дескать, бывай здорова, кланяйся братьям, извини, если что не так. А он — нет. Он — дальше, всерьез. Взыграло в нем что-то такое сладкое, запретное, сердце всколыхнулось давно забытой тревогой и понесло его, куда не надо. Вот до чего доигрался. Шутка-то оказалась нешуточной, а опасной.

Усмехаясь над самим собой, Иван поднялся на гриву, желая, чтобы поскорее Тайгун взял след и началась бы работа, будничная и привычная, и тогда бы все лишнее выветрилось из его головы, а душа бы успокоилась и забылась.

Тайгун облаял нескольких белок, Иван взял их без особых усилий, походя, но для настоящей охоты, для азарта и самозабвения нужен был только соболь, потому что ни белка, ни колонок, ни лисица не могли доставить Ивана до отчаянности, до заполошного сердцебиения. Это мог только соболь, а он, как назло, не попадался. В снежную пору, по переносе, Иван и сам бы искал следы, но сейчас, при чернотропе, когда земля прикрыта жухлой полеглой травой и никаких следов не видно, приходилось надеяться лишь на чутье Тайгуна.

Полдня Иван мотался по увалам без особого проку, время от времени сбивая белок, и уже готовился разжечь



костер и испечь в золе подстреленных для обеда двух рябчиков, и тут кобель нашел, наконец, что-то доброе. Он озабоченно запетлял по чащобе, перепрыгивая через валежник, закружил вокруг упавших от старости осин, старательно обнюхивая их трухлявую, поросшую зеленым, мягким мхом кору, ткнулся мордой в подножье полувывернутого пня, шумно внюхиваясь, резким фырканием прочищая забитые землей ноздри и снова сунул морду под переплетения корней, в темную, сырую яму под ним. Тонкие корешки, гниющие куски древесины мешали ему, и он яростно обрывал их зубами. Потом, отойдя от пня, призывно поглядел на хозяина, сидящего на корточках перед построенным уже костром с коробком спичек в руке, и снова кинулся к пню, нетерпеливо залаивая, царапая лапами мешающие ему корни, жалея, что не может пролезть глубже, туда, откуда доносился до него резкий, волнующий запах зверя.

Иван так и не поджег костерок, спрятал спички в карман. Он срубил молодую осину, сунул ее комель под пень, налег на другой конец. Пень легонько покачивался, скрипел крепко держащимися корнями, но не поддавался, и тут Иван увидел краем глаза, как с другой стороны пня темным невесомым комком вылетел соболь и тотчас юркнул в чащобу.

— Тайгун! — заревел Иван что есть мочи.

Кобель отскочил от пня, заозирался, сообразив, что упустил добычу и кинулся за хозяином, который, треща валежником, несся в чащобу. Обогнав Ивана, кобель пропал где-то впереди, не подавая голоса. Видимо, гнал зверька по следу.

Скоро Иван выбился из сил. Соболишко попался ушлый: петлял между выворотнями, вскакивал невысоко на стволы кедров и спрыгивал, сбивая собаку с толку, но на деревья не уходил, видно знал, что на вершине его возьмут быстро. Иван задыхался от быстрого бега, ветви кустов стегали по лицу, колени стали ватными, пот застилал глаза, но он бежал и бежал, будто в этом было его спасение. И когда, перепрыгивая через трухлявую валежину, споткнулся и в падении зарылся лицом в холодную жесткую траву, то ощутил в себе не досаду и злость, а наоборот, непонятное облегчение и успокоение.

Он полежал немного, не поднимаясь, остывая от погоны, словно падение освободило его от азарта, от же-

лания бежать дальше, от всех забот, и — неизвестно чему — усмехнулся.

Удачи в этот день не было, да Иван и не искал ее. Он бродил по тайге, а голова к промыслу оставалась безучастной, и на призывный лай Тайгуна не особо спешил, даже досадливо морщился, не сразу соображая, что от него требуется. Привычно сбивал белку, бросал ее в мешок, не разглядывая, не испытывая никакого удовлетворения, и шел дальше, прислушиваясь к чему-то в себе, ощущая в душе непонятное томление.

Тайгун посматривал на хозяина с недоумением, не понимая его странной медлительности и равнодушия. Белок он загонял все реже и реже, а потом и вовсе перестал работать. Лениво трусил впереди, как дворняжка, ничего не искал и даже вида не делал, что работает.

Под вечер пришли в зимовье. Иван обнял белок, сварил для собаки тушки, накормил ее, но перед тем, как лечь спать, вдруг собрался, позвал Тайгуна и в потемках уже, ничего не видя под ногами, вернулся к кедру, под которым ночевал в прошлый раз. Здесь он развел костер, лег на кедровой подстилке, задумчиво глядя на огонь, но сон не шел к нему. Он вдруг вспомнил свою жену Тоню и впервые подумал: любит он ее или нет? Сроду этот вопрос не тревожил Ивана, в мыслях никогда не возникал. Живет с нею, значит так и надо, так и должно быть. Это казалось ему само собой разумеющимся, естественным, как то, что утром восходит солнце и начинается день. С солнцем они с женой начинали каждый свое дело. Иван затоплял печь, и Тоня что-нибудь варила, чтобы потом, когда она уйдет на работу, семья была бы сытая. Иван не мог себе представить дом без Тони, без ее постоянной, неусыпной заботы о нем и детях. С нею ему было привычно и просто, они могли понимать друг друга даже без слов, с одного взгляда — слишком уж долго прожили вместе.

Он никогда и ни к кому ее не ревновал, хотя иной раз мужики и поглядывали на нее. Считал: раз она его жена, так это навсегда и ничего случиться не может, что могло бы их разлучить. А теперь Иван испытывал нечто новое, неизведанное, тревожное и жгучее. Душа лишилась привычного покоя. Он словно выбился из колен, проторенной за много лет, и теперь растерялся: как же дальше? Новое и привлекало его, и пугало.

Иван посмотрел на Тайгуна, свернувшегося неподале-



ку от костра. Эх, Тайгун, Тайгун, легко тебе жить... Есть у тебя хозяин — и ладно. Хороший ли, плохой ли он человек, а любишь его, служишь ему, и никого тебе другого, кроме хозяина, не надо. Никогда не задумываешься, какой он есть, твой хозяин. И сколько бы людей тебе на глаза ни попало, ни на кого его не сменяешь. До самой смерти верный ему будешь... Позавидовать тебе можно.

Снова подумал о Тоне, и совестно ему стало, и пожалел вдруг жену непонятно за что. Раньше-то думал: жизнь его проста и устойчива, что все у них ладно, а его сердце, выходит, оставалось свободным, ничем не занятым. Как зернышко много лет лежит в земле, ждет своего часа и вдруг прорастает травкой или деревцем. Так вот и у него что-то проросло в сердце в поздние годы. На радость ли, на беду ли — ему пока не ведомо...

Не спалось Ивану, вся прожитая жизнь вспомнилась до самых мелких подробностей, которые, по незначительности, давно бы должны были забыться, а вот не забываются, живут в нем невесть для какой надобности.

Утром ноги сами повели его знакомой уже дорогой в ущелье.

Среди полеглой травы отыскал он кустик мелких горных ромашек, чудом переживших заморозки. Расправил мелкие белые лепесточки и умилился: надо же — не замерзли, сохранились, несмотря на холода. Может, специально для него они и сохранились, эти поздние ромашки? Для его позднего чувства? И подумалось ему, что никогда и никому он еще не дарил цветов. С Тоней у них все вышло просто, вроде даже по-деловому. Отцы их, старые друзья-промысловики, сговорились, дети и не перечили, восприняли это как должное, веря, что отцы худого не сделают. На свадьбе, правда, все было, и цветы тоже, потому что какая свадьба без цветов! Но сколько лет он тайговал, сколько не перевидал всяких таежных двковинных цветов, никогда не обращал на них внимания. Растут — и бог с ними. Словно не для него они в тайге, для кого-то другого. А теперь он с трепетом срывал скромные мелкие ромашки, пережившие заморозки, и умилялся им, с трепетом думая о той, кому подарит их. Необычное пришло к нему...

Осторожно засунил ромашки под телогрейку, в тепло.

Выходя из лесу к речке, Иван подумал, что братья девушки наверняка уж знают о том, что приходил чу-

жий человек, и наверняка поджидают его. И он заранее искал слова, какие им скажет. Ну, мол, соседи, угодыя наши рядом, вот и зашел узнать, что за люди, как промышляется. Интерес его объясним и понятен. А там можно перевести разговор и на их сестру, узнать про нее побольше.

Однако у аила никого не было видно. Вокруг пусто-но было. Так же едва видно струился из вершины аила дымок. Ни собачьего лая, ни человеческого голоса. Значит, нет братьев. С утра, как обычно, ушли с собаками на промысел.

Иван сел на старую валежину, закурил, нетерпеливо уставясь на занавешенный шкурой входной проем, — ждал.

И когда, откинув шкуру в проеме, появилась девушка, когда она гибкой лесной походкой пошла к берегу со знакомым чайником в руке, но без карабина, до Ивана дошло, что братьям она ничего о нем не сказала, что этим она ради него провинилась перед братьями, и у него с ней появилась общая маленькая тайна, связывающая их, и от этого сладко защемило сердце.

Девушка ступила на камень, сдержанно улыбалась ему.

— Здравствуй, — сказал Иван, смущаясь ее взглядом.

— Здравствуй, — ответила девушка. Глаза ее смеялись.

Иван вынул из-за пазухи кустик ромашек и хотел перейти узкую речку, чтобы подать ей цветы, но девушка отрицательно и с испугом помотала головой.

— Не надо.

— Цветы не надо? — обиделся Иван.

— Ходить не надо.

Речушка была совсем узенькая, шага три, не больше, но, оказывается, не так-то просто ее перейти. Неодолимой границей разделяла она два берега.

— Лови! — Иван бросил кустик ромашек через речку. Девушка потянулась вперед, поймала.

— Чечек, — сказала она тихо, разглаживая тонкими пальцами смятые, свернувшиеся лепестки.

— Что? — не понял Иван. — Тебя Чечек звать?

— Нет, — засмеялась она, — чечек — значит цветок.

— А тебя как звать? Ты не сказала.

— Алтынчач, — произнесла она немного нараспев.

— Алтынчач, — повторил он, чувствуя неизъяснимую

нежность к этому слову. — А что это будет по-русски?

— Золотые волосы.

— Ух ты! — поразился Иван. — Красиво. — И, как замороженный, глядел на нее, не в силах отвести глаз. Столько было в ней юной прелести и жизни, что у Ивана от волнения во рту пересохло.

Вчера Ивану было с ней проще. В его словах про-скальзывала шутливость. Сегодня ему было не до шуток. Он смущался девушки и, как мальчишка, краснел.

— Как промышлял? — спросила Алтынчач, чуть склонив голову набок и глядя на Ивана. — Соболишек много взял?

— Нет, соболишек совсем не взял. Охота не шла. О тебе думал, — сказал и еще гуще покраснел, задохнулся от своей смелости.

Алтынчач опустила глаза, но не смущенье было в ее лице, а замеченное Иваном еще вчера при расставании глубокое раздумье и даже некоторая затаенность.

— Братья тоже худо добыли. Соболишка редко бе-гает. Братья говорят, кочевать надо. В другую тайгу, однако, скоро уйдем.

— Ты давно с братьями кочуешь? — спросил Иван. — У тебя отпуск или как? Может, студентка, так на ка-никулах?

Алтынчач рассмеялась:

— Какой отпуск? Какие каникулы? Всегда кочую.

— И нигде не работаешь, не учишься?

— Как не работаю! — искренне изумилась она. — Разве помогать братьям — не работа? Варить похлебку надо? Обнимывать добычу надо? Пялки делать, шкур-ки сушить надо? Работы много.

— Работы много. Это точно, — согласился Иван, од-нако недоумевал: как так, молодая девушка — и всю жизнь в тайге, ничего, можно сказать, и не видела. Жи-вет жизнью своих предков — и счастлива, и кажется ей, что по-другому быть и не может. Но тут же подумал, что и сам-то он не много видел в жизни. Всю зиму безвы-лазно на промысле, весну и лето сидит в поселке. Толь-ко по телевизору и смотрит, как живут люди в больших городах. И ведь счастлив же был? Счастлив. Другой жизни и другого места не желал. Всяк, видно, живет по-своему, каждый находит свои радости.

— Пока с братьями тайгу, — продолжала Алтын-

чач, — муж будет, с ним тайговать буду. От братьев уйду.

— А жених-то есть? — лукаво спросил Иван.

Девушка помотала головой.

— Нету. Ты, Иван, добрый человек. Глаза добрые. Пойдешь со мной? Я в Коль-тайгу хочу. Там большое озеро есть. Рыбы много, зверя много. Людей совсем не-ту. Аил поставим, жить будем. Я соболишек подманивать умею. Хорошо нам будет. Это во-он там, — показала она рукой за перевал, — там Коль-тайга. Мне дед говорил.

— Как пойдем? — остолбенел Иван и даже не пове-рил своим ушам, задохнулся от услышанного. Она, эта совсем молодая девушка, зовет его с собой? Может, он не так понял? — Постой, Алтынчач, — спросил он за-костеневшим языком, — ты что же, меня мужем берешь? Ведь я же старый.

— Маленько старый — ничего. Ты добрый. Только тебя мало любили. Я много любить буду. Два сына ро-жу. Тебе хорошо будет.

— Мне нельзя с тобой! — вскрикнул он с горечью, пугаясь решительности девушки.

Она в недоумении подняла брови.

— Почему нельзя? Ты сам говорил...

Иван опустил глаза.

— У меня в Счастливихе семья есть. Понимаешь? Жена есть, дочь почти взрослая, сын. Я пошутил, Ал-тынчач. Ты меня прости.

— Зачем пошутил? — спросила она дрогнувшим го-лосом.

— Не знаю. Сам не знаю...

— А это? — Она кивнула на кустик ромашек, кото-рый все это время с осторожностью держала в руке, иногда касаясь губами белых лепестков. — Цветы за-чем принес?

Иван опустил тяжелую голову.

Алтынчач подержала цветы над водой и разжала пальцы. Течение потащило кустик ромашек, ударило в камни, завертело, понесло дальше. Иван, как зачаро-ванный, следил за цветами. Казалось, его самого сей-час тащит ледяная вода и бьет о камни.

Потом Алтынчач провела тонкими пальцами по ли-цу, как бы снимая паутинку.

— Иди, Иван, — сказала она тихо, — ты плохо шутил.

Он стоял, не двигаясь.

— Иди, ты чужой муж. Мне чужой не надо.

Ступила с камня на берег и ушла в аил.

«Ну вот и все», — подумал Иван с горечью. Постоял еще на берегу, с тоскою глядя на другой берег, на который он перейти не решился, и побрел восвояси. Слезы глаза застилали, сердце сжималось от боли, а надо было уходить, никуда не денешься. Не бросать же семью. Был бы холостой — другое дело, кинулся бы в новую жизнь без оглядки. Новая жизнь... На новое у него уже впереди мало. В его-то годы.

Скоро будет год, как с ним это случилось, а никак не уходит из сердца Алтынчач, лицо ее стоит перед глазами, каждое ее слово в памяти. Будто приворожила чем. Теперь уж никогда не увидит ему Алтынчач, ушла, видно, в свою Коль-тайгу. А интересно все-таки, какая была бы жизнь у них? Сладостные, заманчивые сны терзали его по ночам, а когда просыпался, то долго еще не мог прийти в себя, словно возвращался из другой жизни. Где теперь Алтынчач? Все так же кочует с братьями или нашла мужа? Хоть бы все у нее было ладно...

Забылся Иван за воспоминаниями, а уж стояла ночь. Зябко стало, наверное, трава приняла росу. Он пожелал, глядя на тусклую озерную гладь, поднялся. Пора было домой идти, там его могут хватиться. Так и не придумал, как быть дальше. Не помогла отцовская пихта, никакого ему решения не навела.

Тоня не спала, поджидала его на крыльце.

— Поругался? — спросила участливо, взглядываясь в его лицо.

Он только вздохнул.

— Я же тебя просила. Ну зачем ты так?

— А как надо? — с усмешкой отозвался он. — Улыбаться им? Они, значит, кордон бог знает во что превратили, а я им улыбайся? Дети-то у нас взрослые, все понимают не хуже нашего. Скажут: хороши отец с матерью, развели тут... Перед ними-то не совестно?

— Ой, Ваня, да я и сама понимаю, — заговорила жалобно Антонина. — По-людски-то разве никак нельзя договориться? Ты бы сказал Якову Кузьмичу, дескать, так и так... дети большие, неловко перед ними. Неужто не поймет? Пожилой мужик, у самого дети.

— Будто я не говорил, — со вздохом отозвался

Иван, — всяко говорил. И намекал, и напрямую. Бесплезно, как об стенку горох.

— Ну, а как быть?

Иван пожал плечами.

— Вот и я думаю: как быть?

— Выгонят они тебя, Ваня, — обреченно сказала Антонина.

— Это точно, выгонят, — вроде бы даже с радостью согласился Иван. — Им такие, как я, не нужны. Спина у меня плохо гнется, позвоночник не гибкий. Надо было все-таки на другой кордон ехать. Жили бы спокойно, как люди.

Но Антонина не поддержала его.

— Тебе-то было бы лучше, — хмыкнула она. — А о детях ты подумал? Сережка в девятый класс перешел. Вера вообще выпускница. Как со школой было бы? А вдруг на новом месте школы бы не оказалось? В какую-нибудь глушь забились и сидели бы там. И дети бы за семь верст в школу бегали. Нет уж. Мне это не надо.

— Мы бы на такой кордон не согласились. Без школы. Я в леспромхозе много лет проработал, и на хорошем счету был. Меня бы уважили.

— Ой, да все равно! — даже в темноте было видно, как морщится Антонина. — Ты представляешь, что такое срывать детей из одной школы и переводить в другую? Тут они и ребят, и учителей знают, и все знают их, а там заново привыкать. Тем более — у Веры выпускной класс. На учебе обязательно скажется. Нет, Ваня, не о себе надо думать. Мы свое, можно сказать, прожили. Пусть теперь дети живут. Важнее их будущего для нас с тобой ничего нет. Так-то вот, дорогуша... К тому же Счастливица какой ни есть, а поселок городского типа. Рудник вон какой большой. Устроиться на работу всегда можно, если что. И снабжение — не сравнить с другими деревнями. В райцентровских магазинах, кроме хека да кильки, ничего нет, а у нас все-таки мясо бывает. Особое снабжение — потому как рудник.

— Да мы бы с голоду нигде не пропали, — отозвался Иван.

— Только что, — усмехнулась в темноте Антонина, — с голоду-то не пропали бы, да нынче не одним брюхом живут. Ведь и одеться получше хочется, и квартиру обставить, и чтоб у детей все было. Нет, Ваня, что ни го-

вори, а Счастливику нам бросать никак нельзя. Если Вера с Сережей не поступят учиться дальше, их на рудник всегда можно будет устроить. А заработки там — нигде таких в деревнях нету. Опять же и я при хорошей должности. Нет-нет, да чего-нибудь из столовой притащу. Счастливику с другими селами не сравнить. Сколькие уезжали, а потом назад ворочались. Лучше не наши. Так что не надо срывать с места.

— Я разве спорю? — задумчиво проговорил Иван. — Конечно, жить у нас гораздо легче, чем в других местах. Но ведь так-то как мы живем, нельзя дальше. Детей испортим. Что из них получится, если на их глазах пьянки-гулянки?

— Я и сама вся испереживалась. Подождем маленько.

— А чего ждать-то? И дальше так будет. Девки ведь были у них, в павильоне-то. Лаборантки вроде. Яков Кузьмич ружье просил, чтоб для гостей утятинки добыть, а я не дал. Скажешь, неправильно сделал?

— Правильно, Ваня, — вздохнула Антонина.

— Говоришь, правильно, а сама будто недовольна.

— Всем я довольная.

Иван отвернулся, закурил.

Взошла луна, светлая и прозрачная, как ледышка. Навевая тоску, в лесу вскрикивали совы.

«Зря я на нее так, — подумал Иван о жене, — тоже ведь не о себе печется, ради детей терпит». Жадко ее стало, и когда Антонина поехала, снял пиджак, накинул на плечи. Может, и правда, жизнь их заканчивается и остается одно доживание? А ему, Ивану, надо бы сломить свое упрямство, пересилить себя и тоже терпеть, чтоб не навредить детям, их будущему? Умом Иван это понимал, а душа противилась, никак не соглашалась на доживание — не потухла, все еще чего-то требовала, на что-то надеялась, будто впереди сто лет жизни.

Антонина шевельнулась под пиджаком, теснее прижалась к Ивану, и он обнял ее, мысленно винясь перед нею. Хорошая все-таки у него жена — старательная, заботливая, всю себя семье отдала и ничего за это не требует. А он на старости лет к молодой девке потянулся. Ладно хоть вовремя одумался, взял себя в руки. Нет, что ни говори, а не может он без Антонины. Родня она ему, привычна. Вдруг это и есть любовь? Наверное, и такая любовь бывает, тихая и незаметная?

«Тоня лучше меня», — подумал Иван с умиротворением, ощущая близкое тепло жены, и закрыл глаза.

За озером, в густой черноте леса пронесся отдаленный короткий вскрик и растаял. Птица ли ночная, зверь ли — не поймешь.

— Вань, что это? — испуганно подняла голову Антонина.

Иван не ответил, затаившись. Смотрел в сторону заозерного леса, над которым стлыо голубое луиное сияние.

— Страсти-то какие, — сердито сказала жена, — дождемся, и к нам придут. Последних кур переловят. Тайгун-то дома?

Иван огляделся, но ни на завалинке, где кобель любил лежать, ни у калитки его не было.

— Тайгун! — позвал Иван, неприятно изумляясь, что собаки во дворе нет. Но сколько ни звал, ни свистел — напрасно. Как украли Тайгуна... А вроде не примечал за собакой такой привычки — шастать по ночам. Или уж давно не присматривался?

— Я его с самого вечера не вижу, — сказала Антонина, — как ты в павильон ушел, так и он исчез. Выносила ему еду, а его нету. Чашка до сих пор нетронутая стоит.

Иван ничего не ответил, но еще тревожнее ему стало.

Они еще долго сидели на крыльце, однако Тайгун не появился.

4

Выйдя утром из дому, Иван первым делом глянул на завалинку. Кобель преспокойненько лежал на своем обычном месте, положив голову на лапы. Увидев хозяйна, вежливо шевельнул хвостом.

— Приве-е-ет! — мрачно пропел Иван, разглядывая собаку с недоброй усмешкой.

Тайгун, не поднимаясь, скосил глаза на хозяйна.

Вышла на крыльцо и Антонина.

— Явился, красавец. Всю ночь где-то шлялся, а пришел сытый. Не жрет ничего. То ли его у тебя кормят где, то ли он святым духом питается.

Иван поглядел на собачью чашку, наполненную вчерашним загустевшим супом. Наваристый был суп, мясной, а к чашке Тайгун не притрагивался, как была полная, так и осталась.



В Иване ворохнулись злость и нехорошее предчувствие. Он вынес из дому кость, подозвал кобеля. Тот лениво поднялся, нехотя, как бы чувствуя подвох, подошел с опущенным хвостом. Осторожно, кончиками зубов, взял кость из руки, вежливо погрыз ее на виду и пошел с нею за угол дома.

— Закапывать понес, — усмехнулась Антонина, с подозрительностью наблюдавшая за собакой. И пошла одеваться.

Едва за женой затворилась дверь, как Иван с горечью подумал, что загадка, над которой он столько ломает голову, вот-вот откроется и, прихватив лопату, решительно двинулся за угол.

Тайгун, уже завершив свое дело, лениво плелся назад. Нос его был выпачкан в землю.

— Сейчас мы посмотрим, каким ты духом сытый, — с обещанием проговорил Иван, вгоняя штык лопаты в podatливую, мягкую землю, заранее зная, что именно он там обнаружит.

Вывернул на свет божий грязные кости, какие-то внутренности вперемешку с клочьями серой шерсти, постоял над этим добром, нехорошо ухмыляясь, и поворотился к поскучневшему псу.

— Вот, значит, каким ты духом сытый, — тяжело проговорил он надсадным голосом, отшвыривая лопату. Но разобраться с Тайгуном ему не дали. Одну беду не успел встретить, за ней тянулась другая. Прибежала бабка Маланья, мать бригадира Николая Овсянникова, и как обухом по голове:

— Иван, Майку мою задрали! Прямо возле дома по-решили!

— Какую Майку? — оторопел Иван. — Корову, что ли?

— Да не корову! Козу мою Майку! Я уж и в тайгу ее перестала пущать. После бычка-то Каткиного. Привязывала к колышку возле окошек. Травка там густая, пускай, думаю, щиплет. Утресь выхожу, а Майка что-то не бежит ко мне. То дак всегда бежала, а тут — нет. Лежит на боку. Я подхожу к ей... то-о-о-о-о-о! А у ей все брюхо выдрано. Я едва не сожлела. И Николай, как на грех, на шахте на своей. Стою и гляжу на ее... Это че ж делается-то? Ведь под самыми окнами заели, ироды! Ума можно решиться.

— Ты успокойся, бабушка, — сказал Иван, ощущая

в себе сосущую пустоту и уже не удивляясь услышанному. Удивить его теперь было трудно. — Ты по порядку. Сначала.

— Да как успокоиться-то? Ведь она у меня не простая была коза, а пуховая. Я ж с ее сколь пуху начесывала. Прошлой осенью Николаю носки и варежки связала. Мягкие такие, теплые, как котятки. Всю холодную пору в их ходил, горя не знал. Может, видел у его варежки-то?

— Серые, что ли? — спросил Иван, хотя и не помнил у Николая никаких варежек, не присматривался.

— Во-во, серые. А ишо он свитру просил. А из чего я теперь ее свяжу? Козочки-то больше нету.

— Постой, — перебил ее Иван, — ты вот что скажи: ночью никакого шума под окнами не слыхала? Ни криков, ни рычанья?

— Не слыхала, Иван.

— А Бант ваш, кобель-то, где был?

— Кто его знает. Может, бегал где.

— Уходит по ночам?

— Не знаю, милый. У меня без собаки хлопот хоть отбавляй.

— Ну ладно, бабушка, ты иди, — устало сказал Иван, — а я Николая встречу, и решим, как быть.

Горестно вздыхая и разговаривая сама с собой, бабка Маланья пошла в поселок, а Иван опустился на ступеньку. Глядеть на козу он не пошел. Ничего нового он там не увидит. И так все было теперь ясно. Тайгун его пакостит, рвет скотину. Но раз собаки ходят по поселку стаей, а Тайгун у них вроде вожака, то, конечно же, он один на это не пойдет, были с ним и другие собаки. Кольки Бант отчего-то не слыхал, как рвали хозяйскую козу, значит, и он был в этой стае и свою долю тоже взял. Он у Кольки не промах, от других не отстанет. В общем, стая орудует в поселке, тут и гадать не надо. Вот ведь как обернулось: люди на зверя грешат, а это оказались собаки. Хозяева спят, сны видят, а их собаки шарят по поселку и по поскотине — только шум стоит. Эти зверовые лайки хоть марала затравят, хоть лося, чего уж говорить о каком-то бычке или бабкиной козе. В стае собаки хуже волков, потому что знают людей и поселок, от них не уберечься.

Одним махом рушился осенний промысел Ивана! Вот какая беда пряталась за углом его дома. Ведь яснее

ясного, что Тайгуна придется куда-то девать, такую собаку в поселке держать нельзя. А как он в тайге обойдется без собаки? По снегу, с капканами еще поработает, а чернотроп, самое начало сезона, считай, накрылось. Как тут ни горюй, как ни жалей, а раз кобель отведаль свежих внутренностей да остался безнаказанным, от этого его можно отучить одной лишь пулей, ничем больше. Сплавить бы его на время в другую деревню, пока шум пройдет, а к осени взять назад. Да кому его отдашь? Кто возьмет? Оставлять дома — нельзя. Люди скоро узнают правду, ее в землю вместе с бычком не закопаешь, правда обязательно наружу выйдет. И тогда кобелю — конец. Сам не застрелишь, другие застрелят.

И тут Иван вспомнил: Алексею надо предложить Тайгуна, Алексею, брату жены, вот кому! Брат у нее товаровед в райпотребсоюзе, живет богато, вот и примеривался взять себе охранщика во двор. В прошлом году он приезжал к Машатным и все на кобеля посматривал. Еще и намекнул: мне бы, дескать, такого. Иван над ним посмеялся: это промысловая лайка. На людей она не злобная, охранщик из нее никакой. Тебе овчарка нужна, она на людей притравлена бросаться. А рабочая собака тебе ни к чему.

Алексей в пол-уха слушал Ивана, а сам ласково таращился на пса. Понравился ему Тайгун: крупный, лобастый, грудь по-волчьей широкая. Посмотрит на него любой человек и поймет, что это серьезный кобель, к такому подойти не всякий на смелится, пускай этот пес хоть трижды промысловый. Одним видом кого хочешь напугает. И хоть не получится из пса никакого сторожа, но раз нравится, пускай Алексей подержит собаку до промысла. Губить Тайгуна жалко: больно уж хорошо работает, да и столько лет служил Машатным верой и правдой. Семь лет — срок не малый, еще отец Ивана принес Тайгуна в дом. Щенком его помнят беспомощным. Как на него рука поднимется?

Скрипнула половица крыльца. Иван даже вздрогнул от неожиданности, застигнутый с такими мыслями врасплох. За спиной стояла уже одетая, в светлом плаще и седом парике, который привез ей брат Алексей, Антонина. Она, видно, собралась в свою столовую, но отчего-то не шла, стояла позади мужа некоторое время, и по ее многозначительному молчанию Иван догадался, что

разговор его с бабкой Маланьей она слышала и ждала разъяснений.

— Тоня, — негромко позвал Иван, — я вот думаю, что зря тот раз твоему брату Тайгуна не уступил. Надо было отдать хоть на время. Пусть бы подержал.

— А чего вдруг ты об этом заговорил? — насторожилась Антонина, оглядывая ступеньку, чтобы сестра рядом, но боялась испачкать плащ, и Иван подстелил свой пиджак.

— Да одна морока с ним. Не жрет ничего, по ночам шастает. Конечно, если надумаем переезжать, то без рабочей собаки...

— Куда ты переедешь? — перебила жена. — Ведь договорились, кажется. Молчал бы. Переедет он.

— Ну тогда давай отдадим. Ты позвони Алексею, чтоб приехал да забрал. До осени.

— Позвоню, — пообещала Антонина с подозрительностью вглядываясь в хмурое мужнино лицо. — Не пойму только, с чего ты вдруг расщедрился? Даже как-то странно.

— Ты же сама говорила: надоела собака.

— А ты и послушался? Удивительно. А как же промысел? Нет, Ваня, ты от меня что-то скрываешь.

— Да ничего особенного...

— Как это ничего особенного. Я же по тебе вижу. Ну говори.

Высказывать жене все свои догадки пока не хотелось, но если уж Антонина что-то заподозрила, то не отступится, пока не выведает всю подноготную.

— Неприятность большая, Тоня, — сказал Иван со вздохом. — Скотину-то знаешь кто режет?

— Кто? — шепотом выдохнула жена, заранее пугаясь.

— Наш кобель.

— Наш кобель? — повторила Антонина вслед за мужем и растерянно замолчала, наморщив лоб, с трудом постигая смысл услышанного. — Тайгун, что ли? — поискала глазами собаку, словно хотела убедиться воочию, но того давно след простыл.

— Не один, конечно, режет. С другими собаками, но от этого не легче. Верховодит он над ними. Вожак, понимаешь?

— Во-он как, — протянула жена. — То-то, гляжу, ты расщедрился.

— Поневоле расщедрисься. Вот и хочу отдать Тайгуна до промысла, а то он тут натворит — за год не рассчитаешься. Ты вот что: будешь звонить Алексею, об этом пока не говори. Не надо.

— Ничего себе! — возмутилась Антонина и даже отчужденно отодвинулась от мужа. — Ты думаешь, что говоришь? Алексей мне брат родной. А вдруг там твоя псина еще чего-нибудь натворит? Алексей скажет: хороша сестрица, подсунула подарочек.

— Ничего он там не натворит. Он же у Алексея во дворе будет. На привязи. Зачем паникуешь раньше времени? Я шум хочу переждать. Платить все равно придется. Хочу, чтоб больше не напакостил. Не отдадим сейчас Алексею Тайгуна — пропадет собака. И промысел накроется.

— Ну если на привязи... — заколебалась Антонина.

— Конечно, на привязи, — заторопился Иван, видя, что жена соглашается, — да если и когда отпустит, в одиночку Тайгун на скотину не кинется. Компании там ему не будет.

— Ой, дела-а... — проговорила Антонина, вставая и отряхивая плащ. Огляделась, позвала: — Тайгун, Тайгун!

— Ага, так он и прибежал, — невесело усмехнулся Иван и подумал, что теперь день-два пса на веревке во двор не затащишь. Пока хозяин не остынет. Не дурак.

Антонина скоро ушла на работу. Оделся и Иван. Надо было повидать Николая Овсянникова, да и с мужиками из его бригады переговорить. А чтобы застать их всех вместе, лучше всего поехать на рудник со второй сменой.

Он шел широкой улицей вдоль щитовых домов и двухэтажных барачного типа строений. Это была единственная в Счастливице центральная улица с большими домами, с магазинами, баней, с комбинатом бытового обслуживания и кинотеатром. Остальные улочки остались не тронутыми застройкой, были одноэтажными, с приземистыми старыми срубами и палисадниками. Жили на главной улице в большинстве служащие, инженерно-технические работники, то есть те, кого рудник пригласил из города, кто не имел в поселке своего дома.

Центральную улицу недавно заасфальтировали, чем жители очень гордились. По вечерам при свете высоких,

на городской манер, фонарей тут гуляла молодежь. А те шахтеры, которые успели обзавестись легковыми машинами, хотя и жили в старых домах, на окраине, после смены сажали в кабины свои семьи и медленно, с достоинством, тоже словно прогуливаясь, катались из конца в конец по гладкому асфальту, горделиво и важно здороваясь из окон машин со знакомыми.

Солнце высоко зависло над Синюхой. Небо чистое, синее. Подметенный асфальт тоже отливал синевой, серебрились гнутые столбы с фонарями, ярко пестрели афиши у кинотеатра — и впрямь это место походило на кусочек города. Только вот с соседних улочек, утопавших в зарослях сирени и черемухи, горланили запоздалые петухи, создавая совсем не городской фон, да еще по тротуару брела свора собак, чего в городе тоже не увидишь.

Иван стал приглядываться к собакам, чуть поубавив шаг. Искал среди них своего Тайгуна, но его тут не было. Скрылся-таки подальше с глаз. Здоровенный рыжий кобель с мощным загривком шествовал впереди стаи. Сошел на перекресток с асфальтированного чистенького тротуара и остановился, глядя вдоль улицы. Его там что-то интересовало, в другом конце. Остальные собаки сбились в кучу и тоже смотрели туда же, куда и рыжий кобель.

Иван узнал его, этого рыжего. Это был Бант, кобель Николая Овсянникова. С Тайгуном Бант часто схватывался, никак они не могли выяснить до конца, кому верховодить. Тайгун побивал Банта, но сейчас жоака не было, и Бант занял его место, которое и у собак пусто не бывает.

Рыжий Бант был так увлечен созерцанием дальнего конца улицы, что не удостоил вниманием даже приостановившегося Ивана, который внимательно рассматривал его. Сзади уже сигналил грузовик, однако кобель ухом не вел, недвижно стоял на дороге, словно окаменел. И вся разномастная стая тоже замерла, не уступала грузовику дороги.

Ругаясь, шофер объехал собак стороной, и эта их неуступчивость задела водителя. Он сбавил газ и, высунившись из кабины, пронзительно свистнул. Несколько собак повернули к нему морды, равнодушно посмотрели на него, как на неживой предмет, и сразу же и отвернулись.

Три собаки медленно брели по тротуару навстречу Ивану, брели с приопущенными хвостами. Их-то, видно, и поджидала стая. Эти три собаки даже не постороились, когда Иван приблизился к ним вплотную. Они глядели мимо него, на стаю и, верно, надеялись, что человек сойдет с тротуара и пропустит их.

В другой раз Иван, может, и сошел бы с тротуара, как делали многие, видя перед собой стаю, но сейчас он был злой и двинул прямо на собак, нарочно громко топая по асфальту кирзовыми сапогами, устрашающе уставясь на них.

— Ну-у, змея, — сказал он с угрозой, — а ну пошли!

Собаки, почувствовав в человеке решительность, смешались. Лениво сошли с тротуара, чуть поджав хвосты, но едва Иван миновал их, как снова подались на тротуар. По земле идти они не хотели.

— Вот змея так змея... — пробормотал Иван уже не зло, а задумчиво, с удивлением. Он давно замечал, а сейчас это дошло до него особенно ясно, что собаки в Счастливихе живут сами по себе, собачьими интересами, вроде бы как независимое от людей общество сложилось. Удивительно было то, что и люди, и собаки на улицах, кажется, перестали замечать друг друга, настолько привыкли они к такому независимому существованию. А раз не замечают, то и не мешают жить друг другу.

В ранешние времена, когда рудника тут еще в помине не было, днем хозяйничали люди, а ночью деревню отдавали под управу собак. Иначе и нельзя: ночью люди спят, а собаки должны стеречь, чтобы не пришел зверь. Теперь же посмотришь, как вольготно прогуливаются четвероногие друзья по аллее передовиков, украшенной портретами их хозяев, по главной улице с трибункой, где устраиваются праздничные демонстрации, как толпятся вместе с людьми у продовольственного магазина, то и покажется, что и днем они тоже равные с людьми хозяева.

Ивана немного забавляло, что люди уступают дорогу собакам, а теперь задумался всерьез: отчего это так? Может, боязнь? Вообще-то, когда навстречу идет стая крупных псов, идет спокойно, с чувством собственного достоинства на мордах, поневоле отойдешь в сторонку, от греха подальше. Знаешь, что не кинутся, а все равно не по себе становится. Конечно, и робость есть перед собаками, но не она, однако, спихивала Ивана с тротуара,

а какое-то непонятное смущение. Только теперь Иван осознал, что чувствует в собачьем поведении вызов людям, мщенье, что ли. И сам подспудно ощущал перед собаками человеческую вину. Ведь как получилось... Столетиями таежные люди учили лаек промыслу, натаскивали на зверя, поощряли злобность ко всему живому, кроме человека, короче: сделали собак такими, какими хотели. Эти качества жили в крови лаек, передавались от потомства к потомству, и будут передаваться, пока жива сама порода. А теперь промысловики бросили охоту и нашли себе другое занятие, предоставив собак самим себе. Живите, дескать, как знаете. А собаки знают, как жить. Их толкает древний инстинкт. И коли люди покинули их, сами стали промышлять, без хозяев. Главное, ходить далеко не надо. Сбились в стаю, вышли на поскотину и давай скотину шерстить. Как бы то ни было, а вышло, что собаки мстили человеку за его отступничество. Так получается...

Думая об этом, Иван вышел в конец поселка, к укатанной гравийной дороге, змеящейся вверх по ущелью. Здесь под старой сосной рабочие ждали машину. Скоро подошел тяжелый трехосный грузовик, и люди полезли в кузов, рассаживаясь на лавках каждый на свое привычное место. Натужно гудя мотором, вездеход пополз в гору. Там, в высоте, на середине белеющей вечным снегом горы, чернели едва заметные от своей малости норки. Это и были стволы шахт, уходящие в чрево горы, в вечную мерзлоту. В одну из таких нор скоро уйдут и эти люди, что едут сейчас рядом с Иваном. Вот какую работу нашли себе бывшие охотники — в заоблачной шахте! Собаку туда с собой не возьмешь, это уж точно. На что лайка универсальна: идет за любым зверем и птицей, — но к такой работе и ее не приспособишь.

На середине горы была ровная площадка, сооруженная при помощи взрывчатки и бульдозеров. На ней стояло двухэтажное кирпичное здание, в котором помещались нарядная, аккумуляторная и другие горные службы. Нелепо смотрелось здесь это серое здание с плоской, как у гаража, крышей, среди голых, без кустика и деревца, гор, под близкими ослепительными снегами.

Несколько оживляли серую квадратуру строения, сглаживали его убогость и сиротливость желтые альпийские фиалки, в изобилии росшие по южным склонам, утыкавшие каждый плодоносный сантиметр земли. Вни-



зу, в поселке, уходило лето, а сюда, на высокогорье, оно только-только взобралось. Цветы спешили за короткий срок жизни проклюнуться из земли, расцвести, оставить семна для будущего лета и уйти под снег. К фиалкам тут уже все привыкли, кажется, не замечали их, и не жалели: ступали по ним сапогами. Слишком уж густо они росли. Вытопчут их на каком-нибудь бойком пятачке, а цветы даже из утрамбованной каменной твердой земли снова прорастают торопливо и, неистребимые, живучие, тянутся к близкому солнцу.

Перед зданием на деревянной скамье среди своих проходчиков сидел и Николай Овсянников, высокий, бровастый мужик, с лицом крупным и мясистым. Поставь его рядом с братом Мишкой — и ни за что не поверишь, что братья. Слишком уж разные, не по одной колодке скроенные. И рост, и породистость, и горделивая осанка — все Николаю досталось, а младшему Мишке — остатки.

Николай поздоровался с Иваном снисходительно, даже не спросил, зачем Машатин приехал на пересменку, лишь протягивая руку, чуть приподнял левую бровь, как бы недоумевая, и тут же повел приехавшую смену в нарядную на инструктаж, забыв про Ивана.

Иван пошел следом. Сидя в просторной пустоватой комнате на обшарпанном табурете, разглядывая настенные плакаты по технике безопасности горных работ, слушая пачальственный голос Овсянникова, вспоминал, каким прежде знал Николая. А промысловиком тот был неважнецким, несмотря на рост и силу. Отчего-то не везло ему в тайге. Пушнина сдавал немного, но зато если уж что добыл — не продешевит. Яков Кузьмич на нем ни рубля не нажил и, бывало, рассчитается с Овсянниковым и весь красный сидит, потный, в себя прийти не может. Николай еще в старое, дорудничное время старался встать над людьми, да должности ему никакой не находилось. Уж больно он любил важно порассуждать, любил указывать и поучать и чем-то выделиться среди мужиков, как бы встать над ними, хотя его никто нигде не выбирал. Это уж потом, когда стал общественным контролером, — тут ему и карты в руки. К Николаю ходили жаловаться обиженные сдатчики пушнины, ни к кому другому. Дар все-таки был у него руководить, верховодить, ничего не скажешь. Есть ведь люди, которых хлебом не корми, а дай хоть маленькую, но власть, без

нее им жить невоюготу. Одна начальственная внешность Овсянникова чего стоила. И ведь достиг, чего хотел: выбился в руководители. Пока бригадир, а там, глядишь, начальником участка поставят. Грамотешки, правда, у него маловато, а то бы так пошел — не остановить. Бригада Николая на руднике в передовых. Жадноват бригадир на деньги, проходчиков своих держит в ежовых рукавицах, ну да кому какое дело, лишь бы план был. Мужики у него лишний раз рот бояться открыть, тем более прекословить бригадиру, но не ропшут, держатся за него, зная, что тут им и премия, и почет с полной гарантией. И за бригаду он может постоять, из глотки заработанное вырвет. Такой он, Николай Овсянников.

Пути-дорожки Машатина и Овсянникова никогда близко не сходились. Обид друг на друга не копили, но испытывали взаимную, устойчивую неприязнь. Неизвестно, откуда она могла взяться. Хотя, если вдуматься, то причина, конечно, была. Ивану не нравились такие вот слишком уж цепкие до власти люди, а Овсянников, подосознательно чуя, что Машатин раскусил его, опасался затаенного внимания. И еще из-за собак недолюбливали друг друга. Бант с Тайгуном вечно грызлись. Тайгун ходил в жожаках, а Овсянникову казалось, что если сам он в начальниках, то и кобель его должен быть не из простых, а тоже — в жожаках. Сильно задевало его, что машатинский кобель верховодит. Впрочем, Иван сильно Николая и не винил. В Счастливых из-за собак не только ругались, а, бывало, в давнее время, и стрелялись. Промысловая собака — кормилица, весь достаток семьи от нее исходил. Ударить чью-то собаку считалось тяжким оскорблением хозяина. Правда, все это было в прошлые времена, но времена ушли, а привычки остались.

Когда Овсянников закончил инструктаж и, даже не глянув на скучающего егеря, пошел к выходу, Иван догнал его, придержал осторожноенько за рукав.

— Постой, Николай, дело есть.

— Ну? — Тот выжидательно выгнул бровь, досадливо поморщился.

— Мать твою утром ко мне прибежала. Говорит, козу у вас задрали. Так что надо поговорить.

— Как задрали? — строго удивился бригадир. — Мы ее на поскотину не выгоняли. Она возле дома ласлась.

— Возле дома и задрали.

— Это уже становится интересно, — проговорил Ов-

сянников, глядя на Ивана с высоты своего роста. — Можно сказать, смешно.

— Смешнее некуда, — поддакнул Иван.

— Егеря, понимаешь, держим, а толку нет.

— Толк есть, Николай. Егерь узнал, кто скотину давит.

— Ну и кто же?

Иван не стал больше играть в прятки.

— Собаки.

— Какие собаки? — искренне удивился Овсянников.

— Наши. Поселковые.

Насмешливая улыбка сползла с бригадирова лица, он пылливо уставился на Машатина. Шутит, нет? Похоже, не шутит. И, сощурившись, стал глядеть в окно, на голцы, будто искал там ответа.

— Собаки, говоришь? А чьи? Тайгун твой тоже?

— И Тайгун тоже. — качнул головой Иван.

— Может, скажешь, что и Бант был с ними?

— Похоже, был.

— Чем докажешь?

— Козу у вас под окнами задрали, а он даже не гавкнул. Будто совсем не его дело.

— Понятно, — с тяжелым раздумьем проговорил Овсянников, — проверим. — И хотел уже идти к машине — шофер нетерпеливо сигналлил, торопил, — но Иван снова придержал его.

— Надо бы, Николай, потолковать с мужиками. Ведь у всех твоих собаки есть. Поговорить бы, пока в куче.

— А о чем говорить?

— Как о чем? Катерине надо заплатить за бычка. Из-за наших собак пострадала. Да и вот теперь ваша коза. Если с каждого хотя бы по пятерке, не накладно будет. Сам ведь знаешь, что собаки только стаей нападают.

— По пятерке со всех подряд? А почему только с моей бригады?

— С другими бригадами я тоже поговорю. А пока я к вам приехал. Да и не со всех подряд. Только с тех, у кого собака могла на скотину броситься. Каждый ведь знает свою собаку.

— Знать-то, может, и знает, да не каждый заплатит, — раздумчиво проговорил Овсянников. — Собаки не пойманы, никто не видел, как они нападают. Вот если бы ты застал их на месте преступления, да узнал бы со-

бак, да были бы свидетели, тогда хочешь — не хочешь, а плати. Как говорится, юридический факт. Но ведь ты не видел.

— Свидетелей у меня нет, это верно, — согласился Иван, — потому что нападают они ночью, когда мы с тобой спим. Не глупые, на скотину при людях не бросятся. Ни на какую собаку никто пальцем не укажет. Вот я и говорю: надо решать, как совесть подскажет. Ты удержи минут на десять мужиков. Дело-то общее.

— Нет, Машатин, задерживать я их не буду. Не имею права. Люди отработались, спешат домой. Дома их и ищи, — развел руками. — Извини, — и торопливо вышел из нарядной, оставив Ивана в пустой комнате, даже не позвал с собой в машину, хотя не мог не знать: транспорта до ночи не будет.

Иван смотрел в окно, как вразвалку шел Овсянников к машине, как услужливые руки распахнули перед ним дверь, как бригадир вскочил в кабину и коротко кивнул шоферу, чтобы трогался.

Иван словно в оцепенении наблюдал, как машина осторожно двинулась вниз, и, выждав, пока она скроется за первым поворотом, пошел в поселок пешком.

На Овсянникова он не слишком и обиделся, потому что знал его, да и взаимная неприязнь кое-что значила. Просто подумалось ему, что будь он, Машатин, не егерем, а хотя бы рядовым проходчиком, самым распоследним горнорабочим, сторожем, кем угодно, и то Овсянников так бы не поступил с ним, не оставил бы его без транспорта. За это и самого бригадира могли наказать. А егеря что? Никому его заботы не интересны, к производству они не имеют никакого отношения. Ты, егеря, нахлебник на руднике, хотя тебе платят деньги. Это тебе не леспромхоз, где тебя почитали и ценили. Так-то, брат. Привыкай к своему положению, а не привыкнешь, так на нет и суда нет. Топай себе пешком и не жалуйся. Сам себе избрал долю.

Спустившись в поселок, Иван шел домой тихой, окраинной улицей мимо избы Катерины-вдовицы. Избенка у нее была старенькая, пришедшая в ветхость без постоянной мужской руки. Мох грязными клочьями повывезал из пазов, хоть ладонь просовывай. Тесовая крыша почернела, доски испрели. На крыше сидел Ашот, примерял полосу рубероида. С приставленной к стене лестницы тянулась к свешивающейся полосе Катерина с кле-

енчатым портняжьим сантиметром, выкраивала что-то. Решили, значит, залатать гнилую крышу. Пора — дожди на носу. Да и Ашот скоро улетит к другой семье.

По двору бегала Катерина ребятина: двое белогловых и один черненький, как цыганенок, курчавенький, младше всех.

Увидев Ивана, Ашот приостановил свою работу, подумал, наверное, что Машатин идет к ним. Но Иван только махнул ему рукой и прошел мимо, стыдливо отвернувшись, жалея, что не обогнул этот дом по другой улице. Неловко ему было перед хозяевами. Сказать-то им пока нечего.

Ускорив шаг, Иван подумал, что вот к Андренчу ему бы не мешало зайти, к председателю поселкового Совета. Ведь надо как-то выпутываться из создавшегося положения. Однако время было уже позднее, поссовет закрыт, а домой к Андренчу идти не хотелось, и так устал.

Андренч, сухонький, с седой бородкой старик, поджидал Ивана на крыльце его же дома.

— Не ждал? — рассмеялся Андренч.

— Да я было сам к тебе чуть не зашел, — сказал Иван, — но, подумал, — поздно. Ты, поди, из-за скотины пожаловал?

— Надо разбираться, Иван. Никуда не денешься.

— Надо, — кивнул тот. А я к тебе посоветоваться собирался. Насчет собак. Собаки ведь скот-то режут. Мой Тайгун да другие. В общем, стаей орудуют.

— Собаки, значит? — не удивился Андренч.

— Собаки, — вздохнул Иван.

— А и не мудрено, — спокойно рассудил Андренч, — ведь безнадзорные они у нас бродят по улицам. Никакого за ними угляду. Этим и должно было кончиться. И я, старый пень, тоже хорош: видел, что непорядок, а молчал. Притерпелся. Вроде как так и надо. Придется вам за скотину платить.

— Придется, — согласился Иван.

— А с собаками надо как-то решать. Хватит. Есть же специальное положение на этот счет. К примеру, если держишь собаку, то привязывай, не отпуская в общественные места. Иначе она безнадзорная и подлежит отлову. В общем, так: положение о содержании животных в населенных пунктах я попрошу завтра же размножить и вывесить на видных местах. Тому, кто не бу-

дет выполнять этого требования, предъявим штраф. А собак отловим. По-хорошему, Иван, тебя бы надо оштрафовать тоже, но раз уж сам признался, то ладно. На первый раз простим. С Катериной и Маланьей решайте мирно, по соглашению, без обид. А впредь выполняйте положение.

— Ладно, Андренч, будем выполнять, — вздохнул Иван.

Андренч скоро ушел, а Иван остался на крыльце. Курил, мысленно перебирая в памяти прожитый день. Привычка у него была давняя: посидеть вечером в тишине и покое, подвести черту закончившемуся дню и заглянуть в завтра, прикинуть мысленно, куда надо будет сходить, где и что сделать.

Он уже загасил окурок и собирался подняться со ступеньки, чтобы идти спать, но услышал: брякнула в заборе штакетина.

Поднял голову на звук, но глаза ничего не различали. Сумерки лежали густые, плотные, двор повсе не проглядывался, но Иван вспомнил, что там, где брякнула штакетина, был пролом. Еще весной, когда сбрасывали бревна с тракторной тележки возле ограды, конец бревна угодил в штакетину, и та хрустнула, как спичка. Он все собирался заделать дыру, но отвлекали то большие, то малые дела, а потом уж не обращал на нее внимания. Когда калитка была затворена, в ту дыру прблезал Тайгун. Так неужто это он? Набегался вволю и заявился, понимая, что хозяин к этому времени остыл и не накажет так, как наказал бы под горячую руку.

— Тайгун, — тихо позвал Иван и прислушался, улавливая слабое шуршание у забора, и заметил, как от сплошной стены штакетника отделилась низкая тень и медленно, беззвучно двинулась к нему. Иван глядел на тень непонимающе. Слишком уж была она низка, она стелилась по земле, будто тащили тряпку, и он сначала догадался, а потом и явственно различил: кобель полз к нему на брюхе.

Шагах в трех от крыльца Тайгун выжидающе замер, распластавшись перед хозяином, едва приметно юля хвостом и чуть слышно виновато повизгивая.

— Ну, иди сюда, — сказал Иван. Злости на собаку уже не было: остыл. В голосе были задумчивость и грусть.

И Тайгун, прижимая морду к земле, пополз к хозяй-



ским ногам. Он подполз к самому крыльцу. Осторожно, словно боясь обжечься, ступил передними лапами на ступеньку, униженно поджимая хвост, и лизнул пыльный хозяйский сапог, не решаясь дотянуться языком до руки, безвольно лежащей на колене.

— Ну что, Тайгун, пришел? — печально спросил Иван тихим, отрешенным голосом и, помолчав, добавил со вздохом: — Плохи наши с тобой дела, Тайгун. Со всем плохи. Придется нам, видно, пожить врозь...

Тайгун, казалось, понял его слова, тоже вздохнул, виновно перед хозяином. Он подставлял голову и бок для наказания, покорно замуриваясь, но хозяин не наказывал его ни рукой, ни словом. Сидел недвижно, и вид у него был печальный и даже чужой, непохожий на прежний его уверенный, властный вид, к которому пес издавна привык, при котором знал, как себя вести.

Нехотя положил Иван руку на собачий загривок.

— Все поломалось у нас, Тайгун. Такие, брат, дела... — проговорил, скупо потрепав напоследок лохматую шею, пахнущую пылью, и подумал, что в этих его прикосновениях не было ни ласки, ни укора и что он, сам того не ведая, прощался с собакой, навсегда отрешаясь от нее. Подумал и тяжело вздохнул.

Над черной стеной леса медленно всплывала луна. Повеяло влажной свежестью трав, омытых росой. Иван пожегся от прохлады и ушел в дом, оставив Тайгуна без наказания и прощенья.

Пес немело глядел ему вслед.

Ночью Ивана растолкала жена.

— Вань, слышь, что там такое? — спрашивала она встревоженно, теребя мужа за локоть.

— Где, что? — бормотал он спросонок.

— Да во дворе же. Неужто не слышишь?

Иван придержал дыхание и уловил тонкий, словно вынюхивающийся в душу, близкий собачий вой. Вой начинался с хрипотцой, низко и надрывно, постепенно поднимаясь ввысь, истончаясь да пронзительности и истаявая в мертвой, затаенной тишине, чтобы тут же возродиться снова, еще тоскливее и отчаяннее. Этому близкому голосу вторили слабые, далекие подголоски из поселка, из разных его концов, усиливали гнетущее состояние.

— Ведь это Тайгун воеет, — шепотом сказала Антонина.

Иван ничего не ответил, неприятно пораженный полудночным жутким воем своей собаки.

— Он у нас сроду не выл, — с недоумением проговорила Антонина подрагивающим, испуганным голосом. — К чему бы это, а? Очень плохо, Ваня, когда собака начинает выть.

— Конечно, плохо. Спать мешает, — пытался пошутить Иван, чтобы как-то успокоить жену, развеять тягостное состояние, но та шутки не приняла, осердилась:

— При чем тут «спать мешает»? Чего дурачком-то прикидываешься? Ведь они к беде воют. Будто сам не знаешь. Выйди-ка, шумни ему. Всю душу наизнанку выворачивает. С ума можно сойти...

Иван поднялся, подошел к выходящему во двор окошку и легонько, чтобы не скрипнуло, растворил его.

Посередине ограды, залитой лунным светом, черной, неподвижной глыбой сидел Тайгун и, задрав острую морду вверх, к льдисто мерцающим звездам, истово, старательно тянул свою жуткую песню, будто жалуюсь кому-то далекому в поднебесной темной выси. Когда его голос опустошался и замирал, кобель некоторое время молчал, слушая стылую, настороженную тишину, словно ждал сверху какого-то отклика, одному ему внятного знака, и, не дождавшись его, затягивал снова, срываясь на полпути до плача, до отчаянного рыдающего всхлипа, медленно заостряя голос и заканчивая тихим стоном.

Иван оцепенело слушал, не в силах ни сдвинуться с места, ни раскрыть рта; его заворожил страшный в своей безысходности, неслыханный от Тайгуна прежде вой, сковал непонятной обволакивающей силой его мышцы, стянул горло. И, видя четко очерченный серебристым нездешним светом силуэт собаки, подсвеченный синеватым лунным ореолом, он растерялся. Липкий неосознанный страх зашевелился в нем. Таким Тайгуна Иван еще не видел, непонятное, новое открывалось Ивану сейчас, неведомое раньше, непосильное его разуму. Вспомнилось, как убеждал он Николая Овсянникова собрать мужиков. Каждый, мол, знает свою собаку. А так ли это? Может, при хозяйне она одна, а без него — совершенно другая? Лишь теперь Иван вдумался в глубинный смысл своих слов, которые он произносил, да не совсем понимал. Конечно, собака почти все время при хозяйне, верно служит ему, покорна, послушлива, но, видно, и у нее тоже есть своя особенная жизнь, скрытая от хозяина и



обнажающаяся редко. Ведь у собаки — живая душа, собака — умная, понятливая, на добро и ласку отзывчивая, как не быть в ее душе своих тайн, которые человеку не дано постичь? Умеют же собаки предчувствовать, ведь как-то видят они подбирающуюся беду! Они ближе к лесу, чем человек, и природа сохранила им то, чего человека давно и почти начисто лишила за его измену. Иван припомнил, как прошлой осенью пошел среди ночи на далекий голос, звучащий, казалось, в нем самом, и Тайгун пытался его задержать. И задержал в ту ночь, и правильно сделал: ночью к чужому стану подходить нельзя. Ночь есть ночь. Но лучше бы Тайгун его и утром не пустил, чтобы не видеть ему Алтынчач, чтобы не мучиться зря. Выходит, Тайгун наперед чувствовал хозяйскую боль. А теперь какую беду он чувствует? Опять хозяйскую или на этот раз свою? Этого пока не узнать.

— Ну чего стоишь как истукан! — сердито зашептала Антонина. — Очень нравится? Наслушаться не можешь? Турни его!

Иван с трудом пришел в себя.

— Пошел, Тайгун! Пшел! — крикнул он, выплескивая с криком необузданный, неизвестно откуда взявшийся в нем страх.

Громкий, сдавленный голос обрезал вой на самой середине, на пронзительном взлете. Синеватое свечение, исходившее от живой тени собаки, померкло. Кобель вздрогнул, метнулся к пролому и слился с тьмой. Тишина, наступившая сразу же, показалась Ивану громкой, гулкой, от нее зазвенело в ушах. Но тут же, сквозь ошалелый стук сердца, сквозь тупые удары крови в висках, он услышал, как издали, словно тени оборвавшегося воя, долетали слабые отголоски, и число голосов в полупрозрачном хоре увеличивалось, да и сами голоса набирали силу, свиваясь в протяжный, надрывающий душу плач, от которого все живое замерло, прислушиваясь и содрогаясь.

— Они что, с ума сегодня походили? — раздраженно проговорила Антонина. — Прикрой окошко.

Иван затворил окно, задвинул занавеску и лег, ощущая в себе сосущую тревогу.

— Что ты молчишь? — жалобно позвала жена, прижимаясь к Ивану теплым плечом. — Мне страшно. Скажи что-нибудь.

— Спи, Тоня. Ничего особенного, — успокаивал же-

ну, а его самого некому было успокоить. Лежал с открытыми глазами, чутко внимая заунывным голосам, и сердце вздрагивало от дальних нехороших предчувствий.

## 5

Алексей, брат Тони, приехал в пятницу, под вечер. Подкатила к ограде грузовая машина, крытая брезентом, из-под которого торчали углы ящиков. Из кабины тяжело вылез кражистый мужчина, нестарый еще, мордастый, с начальственной строгостью в сизых глазах.

Антонина, как увидела его, всплеснула руками, вся радостно засветилась и тут же напустилась на мужа:

— Ну чего ты стоишь? Не видишь, кто к нам приехал? — и молодо кинулась к брату обниматься.

— Здорово, сеструха, здорово, — улыбался брат румяным лицом. — Все поправляешься? Молодца, в худобе проку нет.

Он вытащил из кабины саквояж, сказал что-то шоферу, кивнул на кузов, и тот выволок из-под брезента ящик с реечными боками, осторожно опустил его на траву.

— Апельсины нужны? — подмигнул Алексей Ивану. — Забрай, жену и детей кормить будешь.

— Целый ящик, что ли? — растерялся Иван. — Куда нам столько?

— Ой, да что ты его спрашиваешь, — громко зашептала Антонина брату. — Ему у нас ничего не надо. Он у нас такой. — И повернулась к мужу: — Тащи, Иван, в сени. Да боком, боком, не надо, чтоб тебя отовсюду видели. — И хотя чужих поблизости не было, на всякий случай загородила мужа собою, пока он шел к крыльцу, таща впереди себя ящик.

Подскочил встрепанный Сережка.

— Здравствуйте, дядя Алексей! — заискивающе улыбался гостю.

— Здорово, здорово, боец! — смеялся тот. — Вот боец вымахал, а? Скоро выше отца будешь. Ну, дай я тебя обниму. Я тебе кое-что привез, не забыл.

Машина поехала дальше, а гостя повели в горницу, усадили на диван. Сережка так и крутился возле него, ожидая подарочка. Вера тоже с затаенным интересом посматривала на дядю, тоже чего-то ждала, но особо на глаза лезть стеснялась.

Антонина выманила Ивана в сени, зашептала:

— Беги в магазин, пока не закрыли, — и сунула деньги. — Коньяку купи. Видишь, целый ящик апельсинов привез. Теперь детям хоть фрукты будут, а то лето проходит, а они ничего не видали.

Когда Иван вернулся из магазина, стол был уже накрыт. Антонина постаралась, все самое лучшее собрала на стол. А главное, на тарелке покоилась порезанная сухая колбаса, вкус которой Иван давно забыл.

Алексей, полуразвалясь, сидел на диване, улыбался. — Молодца, быстро обернулся.

— Пап, ну па-ап! — требовала отцовского внимания Вера. Иван глянул на дочь и не узнал. На ней была кофточка в обтяжку, вся в нерусских словах, в картинках.

— Ой, какая кофта моднячая-я... — цокала языком Антонина, любовно оглядывая радостную и смущенную дочь. — Ты в ней совсем красавица. Завтра в клубе все девки ахнут. — И теребила Ивана за рукав: — Ты на Серегу посмотри. Джинсы-то какие на нем! Ну прямо первый парень на деревне. Ай да дядька Алексей... Балует он вас.

— Да-а... — только и нашелся что сказать Иван.

Сели за стол. Выпили, закусили. Алексей раскраснелся, разомлел и стал похож на сестру. Такое же широковатое лицо, чуть приплюснутый нос, и такое же выражение мечтательной задумчивости. Любил он наслаждаться своей щедростью. И вообще-то мужик неплохой был, не жадный, но его подарки Ивана всегда немного угнетали, ущемленным он себя чувствовал.

Антонина подала знак, чтобы Иван наливал еще, но Алексей запротестовал, отодвинул рюмку.

— Все, сеструха. Сегодня еще дела есть.

— Как? — удивилась Антонина. — Ты не останешься ночевать?

— Не могу. Машина разгрузится, вернется и поеду. Дела прежде всего. Дела — самое главное. — Посмотрел на часы, обеспокоился, повернулся к Ивану. — Ну где твой зверь?

— Какой зверь? — насторожился Иван. Уж не Антонина ли выложила братцу всю подноготную про Тайгуна, пока в магазин ходил? Но Алексей, кажется, спрашивал без всякого подвоха, никакой хитрости в его лице не замечалось.

— Собака-то твоя жива? — спросил опять Алексей.

— А-а, собака... да где-то тут была. На дворе, — рас-

сеянно отвечал Иван, спохватываясь, что загодя не привязал кобеля. В нужное время его, как на грех, может и не оказаться. Бегай по всему поселку, ищи его.

— Пойдем посмотрим, — позвал Алексей, поднимаясь.

Вышли во двор.

— Сколько мы тебе должны, — спросил Иван, — за все?

Алексей, мечтательно улыбаясь, оглядывал близкий лес, озеро.

— У вас тут благодать, — проговорил он, пропустив слова Ивана мимо ушей. — Воздух, как лимонад.

— Так ты скажи, сколько? — повторил свой вопрос Иван.

— Свои люди, чего считаться? Наверно, не в последний раз видимся. — И шутливо отмахнулся: — Это мелочи, Иван.

Не любивший быть в должниках, Иван заспорил:

— Свои-то свои, а деньги и тебе даром не даются. Чего тебя в разор вводить? Скажи сколько, мы заплатим.

— Соболишку дашь — и ладно, — ответил Алексей легким голосом и, не дав Ивану вымолвить слово, вдруг хитро прищурился: — Слушай, чего это ты Тайгуна своего надумал до осени отдать? Натворил он у тебя что-нибудь, а? Так ведь?

— Ты откуда знаешь? Тоня сказала? — нахмурился Иван.

— Ничего она мне не говорила. Просто вижу — темнишь. У меня на это нюх острый, Ваня. Ну-ка выкладывай.

Иван не стал скрывать, рассказал, в чем дело. Попросил:

— Ты уж, Алексей, помоги нам. Иначе промысел накроется.

— Какой разговор, — согласился тот. — Раз надо, то выручу. Мы ведь родня, должны помогать друг другу. Выгодно — не выгодно, а надо.

— А насчет соболишки, — со вздохом сказал Иван, — то есть у меня один. Темный, второй цвет. Так я тебе его отдам.

— Один... — тихонько рассмеялся Алексей и подмигнул. — У тебя их, наверно, не один. Если хорошо пошарить, то и еще можно найти, а?

Иван приложил руку к сердцу.

— Нету больше. Правду говорю. Оставил одного кота на всякий случай, и то тебе как родственнику отдаю. Чужому бы не продал ни за какие деньги.

— Да чего ты передо мной оправдываешься? — Алексей дружески положил ему руку на плечо. — Я ведь не народный контроль. Меня ты можешь не бояться. Я это к тому тебе говорю, что если надо будет сбыть котов, то у меня есть один надежный человек. Три закупочных цены даст.

— Нету, честное слово, нету. Я и этого-то соболька Вере на шапку оставлял. Взрослая уж девушка, надо.

— Дочери ты еще достанешь, — сказал Алексей. — Я на будущее хотел с тобой договориться. Так что, если будет возможность, имей в виду. Человек стоящий, не обидит. И товаров каких надо достанет. Это я гарантирую.

— Нет, Алексей, — Иван упрямо мотнул головой, — такими делами я заниматься не умею. И не буду.

— Ну гляди, дело хозяйское, — скучно отозвался тот.

Тайгун, к счастью, оказался во дворе. Иван привязал его веревкой к штакетине возле калитки. Тайгун не противился, странно присмирел и только все смотрел на хозяина. А когда Иван отошел от него, то покорно остался сидеть у забора, не делая никакой попытки освободиться от веревки.

Вскоре подрулила уже разгруженная машина.

Алексей шагнул к Тайгуну, хотел погладить, но тот молча показал клыки.

— Хорош зверь, хорош, — проговорил Алексей, отступив на шаг и любуясь собакой. — Один вид чего стоит. Красавец.

— Кобелю цены нет, — коротко согласился Иван, чувствуя неловкость от разговора о соболях.

— Ну что, красавец, — широко расставив ноги, покачиваясь с пятки на носок, спрашивал Алексей. — Поедешь ко мне в гости? Хватит лодыря гонять. Делом займемся. — Ему, видно, тоже неловко было, но он скрывал это.

Открыли задний борт. Иван затащил в кузов обмякшего, не сопротивляющегося Тайгуна, накоротко привязал за середину скамейки перед кабиной, чтобы он дорогой не попытался выпрыгнуть из кузова. Соскочил на

землю, глядя на съездившегося кобеля, который уж начал едва слышно поскуливать.

— Поезжай, Тайгун, поезжай, — проговорил Иван тихо, едва слышно. — Другого выхода у нас нету. — И хотя проговорил это одними губами, почти без голоса, как бы для самого себя, верил, что до Тайгуна его слова дойдут и собака его поймет.

Подошел Алексей, уже одетый, с саквояжем, в сопровождении Антонины и детей.

Иван сунул ему газетный сверток с соболем. Алексей положил сверток в саквояж.

— Ну, бывай, Ваня! — громко сказал он и, наклонившись к самому уху, с улыбкой шепнул: — Широты в тебе маловато. Мелко живешь...

— Как умею, — с улыбкой же отозвался Иван, что бы никто не понял, о чем у них идет речь.

Машина медленно тронулась. Антонина и дети махали руками.

Упершись на лапах, Тайгун глядел через борт на хозяина, прямо в самую душу ему глядел, будто тоже беззвучно говорил на прощание какое-то последнее свое слово.

Нехорошо стало Ивану от этого взгляда, и он отвернулся прочь, но даже затылком ощущал всевидящий собачий взгляд.

— Слава богу, хоть собаку увез, — проговорила Антонина, понимая состояние мужа. — Хоть спокойнее теперь будет. А, Ваня?

Иван согласно кивнул. Жалко было Тайгуна отдавать в чужие руки, но когда машина скрылась из глаз, почувствовал облегчение. Будто камень с плеч упал, томивший его все это время. Теперь-то Тайгун ничего больше не натворит в Счастливихе. За старое бы расхлебаться. И вовремя сплавил он кобеля, потому что на дверях магазина и других строений, рядом с двумя бумагами, вывешенными поссоветом, появилась третья бумажка — объявление о собрании всех тех, кто держит собак.

И на следующей неделе собрались бывшие промышленники в поселковом Совете.

— Значит, так, — сказал Андрейч, — с положением о содержании собак вы знакомы. Кто не успел прочитать — прочитайте. Сегодня я еще видел: бродили по улицам чьи-то собачонки. А с завтрашнего дня будем штрафовать хозяев. Предупреждаю, — поднял вверх па-

лец, — никому никакой снисходительности не будет. Хоть ты кем будь, а плати без разговоров. Это всем понятно?

— Ясно, — вяло бубнили мужики, — куда денешься...

— Ну раз это вам ясно, то перейдем к главному, ради чего мы и собрались. А дело такое: раз собаками некоторым жителям поселка нанесен материальный ущерб, его надо возместить. Мы тут подсчитали: общая стоимость ущерба составляет триста пятьдесят рублей. Вот это нам и надо обговорить.

Мужики напряглись, опустили головы.

Андрейч оглядел всех, спросил:

— Есть желающие высказаться? — И, видя, как люди прячут глаза, продолжил: — Значит, желающих нету. Выходит, раз Машатин признался, что его собака участвовала в потраве скота, то ему и платить одному? Значит, всего одна собака рвала бычка? А другие сидели смотрели? Так я понимаю? — Укоризненно покачал головой. — Нехорошо, товарищи, нехорошо... Мне трудно судить, сколько там было собак, может, и не все рвали бычка, но я бы на вашем месте разделил эту сумму поровну на всех. Чтобы никому обидно не было. Вас много, по трешке на каждого придется, не больше. Сами понимаете, одному Машатину платить и накладно, и несправедливо.

— А мы-то при чем? — запальчиво крикнул Мишка Овсянников с места. — Разве можно всех под одну гребенку? Кто поймал свою собаку, тот пускай и платит.

— Белая Айка, Василия-то, участкового, все время с Тайгуном паруетя. Она тоже не обробееет! — крикнул кто-то сзади, подзадоренный Мишкой. И лишь теперь вспомнили, что Василия нет на собрании. Закрутили головами, загомонили.

— Где сам Василий-то? Почему не пришел?

— Его наше собрание вроде как не касается!

— Как же — участковый...

Андрейч поднялся, разъяснил:

— Он в Черемшанку по делам уехал. Я справлялся.

— У него, значит, дела, а мы — бездельники, — крикнул опять Мишка, но Андрейч строго постучал ладошкой по столу:

— Чего ты шумишь, Овсянников? Чего собрание в сторону уклоняешь? Приедет участковый, поговорю с

ним отдельно. Давайте-ка все-таки выступать по существу. Надо помочь Машатину.

Николай Овсянников с презрительной усмешкой смотрел в сторону. Усмехаясь, что-то шепнул соседу.

И тут Иван не выдержал, вскочил:

— Не надо, Андрейч, перестань, — сказал он со стыдом. — Ты меня защищаешь, как какого-то сироту. Не надо никого упрашивать. Обойдусь без жалельщиков.

И торопливо выскочил на волю.

Дома, не снимая сапог, прошел в горницу. Распахнул шифоньер, полез под стопку белья, где обычно хранились деньги. Все белье перерыл, но деньги нашел. Насчитал двести тридцать три рубля. Этого было мало, и он принялся шарить по карманам зимних пальто, старых пиджаков. Где завалился рубль, где — забытая мелочь. И когда он понял, что всю сумму ему не собрать, швырнул деньги на стол и в изнеможении опустился на кровать.

Насилу дождался жены.

— Тоня, — сказал он, страдая, — давай отдадим деньги. Не могу я так. Отдадим — и легче мне будет. Душа не выносит.

— Да уж куда как легко будет, — невесело усмехнулась жена, — легче некуда. У нас столько и денег-то нету.

— Займи на работе.

— Ты думаешь, что говоришь? Займи, да отдай... Ничего себе. Один хочет за всех рассчитаться. Эх, Ваня, Ваня, недалекий ты у меня мужик, недалекий. Про Тайгуна ни одна душа не знала. Зачем ты высунулся со своей честностью? Себе только во вред сделал, никому больше. Другие-то мужики смеются над тобой. Дескать, ну и дурак, сам сознался.

— Пускай смеются, — глухо отозвался Иван. — А по-другому я не умею. По-умному-то.

Антонита легла спать, а Иван вышел на крыльцо покурить перед сном. Сидел на ступеньке, вздыхал. Обидно было. Права ведь жена-то: мужики знают, что не один Тайгун виноват, а остались в стороне, будто ни при чем. Хоть бы кто слово в поддержку сказал.

Поднял голову. Кто-то невидимый шел в сумерках, скрипя сапогами. Сюда, к нему шел. Калитка отворилась, и Иван узнал участкового.



— Василий, ты, что ли?  
— Я, Иван, я, — негромко засмеялся тот, здороваясь за руку и присаживаясь рядом. — Только приехал. Жалко, на собрание опоздал. Но раньше не мог. Как жизнь-то?  
— А-а, — хриловато откликнулся Иван.  
— Никто, значит, платить не захотел?  
— Ни одна душа.  
— Обойдемся... Дай-ка закурить. Устал, как собака. Три дня с мотоцикла не слезил.  
— Слушай, — вспомнил Иван про оставшийся коньяк, — выпить хочешь?  
— Выпить? — переспросил несколько удивленный Василий, зная Ивана как непьющего, и отчаянно махнул рукой: — Давай!  
— Пошли в избу.  
— Неловко. Все спят, а мы среди ночи начнем пьянствовать. Нас Антонина твоя не поймет.  
— Ну тогда я сюда принесу.  
Иван вынес на крыльцо бутылку, колбасы на тарелочке и два стакана. Поставил все это на ступеньку.  
— Коньяк, что ли? — спросил Василий, выпив. — С каких это радостей разорился?  
— Брат жены, Алексей, заезжал, вот и взяли. Тайгуна я ему отдал, чтобы подержал до осени. Про указ-то слышал?  
— Слыхал, — хмуро отозвался Василий и закурил. — Жалко мне Айку привязывать. Цепная собака из нее будет, не промысловая. Хоть в другое место переводись, где глуше. А где Алексей твоего кобеля будет держать, в квартире, что ли?  
— Может, и в квартире. Охранять ему есть что.  
— Да-а, торгаши сейчас живут дай бог каждому, — задумчиво сказал Василий, — все у них есть. Нынче ведь заработать деньги — не самое главное. Надо еще умудриться на них вещь купить.  
— Достать, — подсказал Иван.  
— Во-во, именно достать. Я в Черемшанке-то что был? Одну аферистку искал. Приехала она, значит, туда. Сказала, будто бы из областного потребсоюза, заявки на ковры принимает. Ну и предложила: кому, дескать, нужны ковры, давайте деньги, вышлю. С восьмерых взяла по триста рублей в Черемшанке, да в Сосновке с пятерыми договорилась в таком же плане. Насилу

я ее нашел. С попутной машины снял. В районный аэропорт ехала. Представляешь?

Иван покачал головой.

— Человека не знают, а такие деньги дают.

— Дают, да еще спасибо говорят, что у них деньги берут. Ковер каждому охота, а в магазине его не купишь. Вот с одной потерпевшей я разговаривал. Как вы, говорю, незнакомому человеку триста рублей отдали? Не боялись, что обманут? Ведь вы же доярка, вам деньги не даром достаются. А она еще и разозлилась на меня. Мне, говорит, деньгами-то печку растапливать? Или солить их? Уж лучше бы, говорит, вещи по ордерам давали, как в войну. Вот и поговори с ней. Конечно, разъясняешь таким людям, переубеждаешь их, а душой чувствуешь: есть в этих словах какая-то правда.

— Наверно, есть, — кивнул Иван. — Алексей приехал, так прямо как министр какой. Раз все может достать, так и гордый, и куражится. Узко, говорит, живешь. Размаху нету.

— Ты вот что, Иван, — сказал Василий доверительно, — он хоть и родня тебе, Алексей этот, но ты с ним поосторожнее. Как бы не затянул куда со своим размахом. Торгаши так просто ничего не делают. Им обязательно что-то взамен надо. Твоего Тайгуна он задаром держать не станет.

— Это точно. Соболишку попросил. Была у меня одна шкурка, хотел Вере на шапку оставить, да ему и отдал.

— Это ты зря, Ваня. Знаешь, чем это дело пахнет?

— Знаю, а куда денешься? Ради Тайгуна рискнул.

— Не связывайся. Твой Алексей — еще тот гусь, Мишке Овсянникову и Кузьмичу не уступит.

— Твой... — усмехнулся Иван. — Какой он мой? Я его знаешь где видел? Не люблю я его.

— Ой, и хочется мне раскрутить их всех, этих гусей, да боюсь, времени не хватит.

Мужики замолчали, думая каждый о своем, и вдруг откуда-то из поселка донесся надрывный собачий визг.

— Похоже, Колька Овсянников кобеля бьет, — сказал Василий. — В его дворе кобель визжит. Интересно, за что он его?

— Видно, есть за что.

Визг все усиливался, хриплый, истощный, и вскоре во всех концах поселка, словно по сигналу, завывли со-

баки. Их голоса сливались в сплошной тягостный вой.

— Что-то неладно, а? — спросил Иван.

— В каком смысле? — быстро глянул на него Василий.

— Шибко часто они выть стали. С каждым разом все дольше и дольше воют. Может, чувствуют что?

— Может, — согласился Василий и, помолчав, сказал: — Уеду я, наверно, отсюда, Ваня. Раскручу этих друзей и уеду.

— А отпустят? В райотделе-то?

Василий рассмеялся.

— С превеликим удовольствием. В глушь-то теперь ехать желающих мало. Переведу-у-ут... Здесь им со мной хлопотно. А ты как, Иван? Здесь и останешься? Или тоже куда-нибудь пойдешь?

— Не знаю, — вздохнул Иван. — Ничего пока не знаю...

6

Нежданно-негаданно пришли в Счастливику нудные мелкие дожди; небо стало серым, унылым, и поселок тоже выглядел серо и жалко. Синюха плотно укуталась облаками. Грязноватыми клочьями то опускались, то поднимались по ее ватным бокам летучие туманы, источаясь в серой беспросветной мгле. Над трубами домов поднялись сырые дымы, и люди вышли на улицы в резиновых сапогах, в шапках и телогрейках, совсем как осенью.

Дожди, однако, скоро кончились. Но когда небо прояснилось, оно оказалось бледным, слегка лишь подсиненным и не по-летнему высоким: вслед за дождями пришли ранние холода. Вообще-то похолодание было не коренное — стояла середина августа, и тепло еще побудет, это все знали, а едва похолодало, как в поселке наперегонки затрещали моторы бензопил. Напуганные холодами, жители принялись спешно заготавливать дрова. Этой ранней непогодой природа словно напоминала, что лето не бесконечно, на пороге осень, опомниться не успеешь, как придет зима. Природа подстегнула даже самых беззаботных, дохнув на них будущей стужей.

Пора было заниматься дровами и Ивану. Обычно в эту пору у него во дворе стояли уже высокие поленицы. Он загодя трактором притягивал хлысты, пилил, колот, укладывал, чтобы за остатные летние дни дрова подсохли и

зимой горели бы весело. К середине августа, бывало, Иван развязывался с дровами и принимался набивать патроны для промысла, зная, что уйдет в тайгу и оставит семью в тепле, душа болеть не будет. А теперь возле сарая горбилась всего одна жалкая поленица, и если топить по-хорошему, этих дров недели на две только и хватит. Сосновых кряжей раньше навозить не успел, все недосуг было, и теперь, пока стоит сушь, пока дороги не расквасило, надо бы сходить в рудоуправление, выписать лесу-кругляку с десятков кубометров и попросить трактор. Но ведь идти-то надо опять же к Ситникову, ни к кому другому. Дровами занимается профсоюз, он и лес выписывает нуждающимся, и трактор выделяет для вывозки. В пору заготовки дров рудному выделяют трактор «Беларусь» с тележкой. Так что как ни крутись, а никак не обойти Ситникова, никаким боком. Идти же к Якову Кузьмичу Ивану не хотелось.

Поскучнел последние дни Иван. И хотя дел накопилось к концу лета предостаточно: и дров привезти, и дом утеплить, и овощей на долгую зиму засолить, картошки запасти, а душа ни к чему не лежала, словно бы он и не собирался здесь зимовать. Надломилось что-то в Иване, холодно и тоскливо было ему. Он даже не чувствовал себя больше хозяином в родном доме и впервые остро осознал, что хотя весь род Машатиных вышел из этих стен, но дом-то чужой, рудничный, и что сегодня живет в нем он, Машатин, а завтра может жить кто-то другой. Не чувствовал Иван в себе прежней уверенности, его преследовала по ночам тень близкой неминуемой беды. Никак от этой тени Иван не мог избавиться.

Не хотелось ему идти в рудком еще и потому, что он побанвался предстоящего разговора с Ситниковым. Ему отчего-то казалось, что наступило то самое время, когда, наконец, Яков Кузьмич мог припомнить Ивану все сразу, ничего больше не оставляя на потом, и разделаться с ним одним махом. Но как ни противилась душа, а идти надо. Трактор только он мог дать, никто другой. К тому же приближалось время промысла и пора было говорить об отпуске. В прошлые годы рудоуправление выполняло свое обещание, а нынче вдруг Ситников не станет о нем хлопотать? Как бы то ни было, а настало время решать вопрос об отпуске. Потом поздно будет.

Хотелось, не хотелось идти к Ситникову, нужда повела.

В кабинете; за черными дерматиновыми дверями с тамбуром, Яков Кузьмич был не один. У него сидели рабочие. Иван спросил, можно ли, но председатель рудкома скользнул по его лицу пустым, без выражения взглядом, как если бы посмотрел на стул или другой неживой предмет, и ничего не ответил, продолжал разговаривать с рабочими о какой-то квартире в барачном доме.

Иван снял кепку и сел у двери.

Рабочие скоро поднялись, ушли. В комнату один за другим заходили люди с бумажками, которые Ситников то подписывал, то нет, отсылал еще к кому-то. Приходили и уходили. С ними Яков Кузьмич решал разные дела, а на Машатина не смотрел, будто его тут и не было вовсе.

Сосредоточенно уставясь в пол, Иван ждал, гадая, надолго ли у Ситникова хватит терпения не замечать его. К разговорам он не слишком прислушивался, но на каждого посетителя взглядывал со вниманием. Интересно было наблюдать, как они заходят и как разговаривают с Ситниковым. Почти все они в дверь заглядывали робко, с порога, как и Иван. К столу подходили осторожно. И говорили тихо, а глаза их в этот момент были покорные и просящие. И многие из них немного сутулились перед столом, чтобы быть пониже, и ловили каждое движение Ситникова. Вот и он, Машатин, тоже сидит, ждет, когда на него обратят внимание. Покорно ждет, помалкивает, ничем о себе не напоминает. Иван поймал себя на этом и подумал: отчего же у него такое угнетенное состояние? Ведь уважения к Якову Кузьмичу он не испытывал, даже наоборот — не любил его. Наверное, и другие посетители, кто постарше, помнили, как «учили» Ситникова промысловики в былые времена под тяжелую хмельную руку, а если сами не видели, то слышали от других. Так отчего они так перед ним? Иван и сам удивлялся своей робости. Доведись встретить Ситникова в ином месте: на улице или на базе отдыха, — он бы подошел к нему запросто и запросто бы сказал все, что надо сказать, а тут он отчего-то мялся, зажимал в себе раздражение, что его так открыто и бессовестно не замечают. Сидит Ситников за своим столом, уперся глазами в казенные бумаги, наморщил лоб от важных вопросов, и не подступись к нему со своими маленькими житейскими заботами. Вот что значит кабинет, вот какую тайную силу он имеет над людьми, которую толком

и понять не можешь, но ощущаешь ее явственно всем телом.

Иван решил перетерпеть Ситникова, взять его на измор. Хоть час будет сидеть, хоть два. Там видно будет, у кого больше терпения. Однако Яков Кузьмич не выдержал первый. То ли терпение кончилось, то ли посчитал, что и так достаточно наказал строптивного егеря своим невниманием.

Ситников поднял на Ивана холодные, отчужденные глаза.

— Жалуются на тебя, Машатин, — заговорил он негромко и даже с некоторым сочувствием. — Не знаю, как с тобой и быть.

Иван выжидающе молчал, понимая, что предчувствия сбываются. И коли уж Яков Кузьмич так долго не замечал его и начал круто, то ясно, что дела его, Машатина, совсем плохи. И у Ивана заранее засосало под ложечкой.

— Куда годно, — тихо, со скорбью в голосе продолжал Ситников, — собаки в поселке бродят безнадзорными, режут скот, а егерю нашему нет до этого никакого дела. Молчит себе, будто так и надо. И никаких мер не принимает. Вот скажи сам: как бы ты на моем месте поступил?

Иван опустил голову. Не ожидал он столь резкого оборота, нет. Шел с намерением свои права качать, а Яков Кузьмич взял его в оборот. И ведь он прав. Все козыри на его стороне. Собаки-то на самом деле бродят, как бездомные, и скот режут. Возразить нечем. Может, и правда Катерина и Маланья пожаловались. Деньги-то им за траву никто не платит.

— Чего молчишь? — Ситников опустил ладонь на какие-то бумаги подле себя. Не просто опустил ладонь, а со значением. Давал понять, что там нечто касаемое его, Машатина. — Посоветуй мне, как с тобой поступить. Ума не дам. Тем более, что твоя собака в этом деле участвовала. Как ты сам-то на это дело смотришь?

Иван пришибленно молчал.

Яков Кузьмич вздохнул, поглядел в окно и снова поднял глаза на Ивана, продолжая задумчиво, с печалью:

— Никак не пойму, что ты за человек, Машатин... Хороший тебе оклад положили. Многого от тебя не требовали. Живи в свое удовольствие, а ты? Всегда ты чем-



то недовольный, капризничаешь, как черт-те кто. А теперь заварил кашу — не знаем, как ее расхлебывать. Дело-то до района может дойти. Тогда и тебе несдобровать, и нас по головке не поглядят... — Яков Кузьмич протяжно вздохнул, помолчал и снова глянул на Машатина. — Если работать у нас не нравится, так и сказал бы честно. Невольно не стали бы.

Иван судорожно перевел дух. И хотя он не ожидал, что дело примет такой оборот, но, видно, это и лучше. Уж лучше сразу разрубить затянувшийся узел, а то потом вообще не распутаться. Настал, видно, такой час.

— Слушай, Яков Кузьмич, — начал Иван захрипшим вдруг голосом, — Ты, конечно, тут прав. Собак я не углядел. Виноват, хотя если поглядеть на это дело глубже, есть не только моя вина. Но дело не в этом. Ты вот говоришь, работать мне у вас не нравится. И тут ты опять прав: не нравится. А почему? Капризный, говоришь? Нет, не в этом дело. Ты пойми меня. Я отец, у меня взрослые дети. Дочь, можно сказать, в невестах...

Ситников, не сводя с Ивана глаз, настороженно подбрался. Опасливо покосился на дверь. Плотно ли закрыта, не торчит ли кто у дверей, не слышит ли.

— Я, конечно, понимаю, — продолжал Иван, — что кордон леспромхоза и база отдыха — штуки разные. Кордон — производство, а база — для другого. Людям тут охота и повеселиться, и развлечься. Я не против всего этого. Пожалуйста, раз надо. Но поскромнее-то разве никак нельзя? Чтобы мне перед детьми не было совестно?

Ситников опустил глаза.

— Не знаю, Машатин, не знаю... — проговорил он тихо. — Что тебе посоветовать — ума не дам. Может, работу тебе сменить? Мы могли бы перевести тебя на рудник. В хорошую бригаду. Скажем, к тому же Николаю Овсянникову. А на твое место взять кого помоложе, без семьи. Одинокого мужика.

— С Овсянниковым мы не сойдемся, — помотал головой Иван. — Он меня и сам не возьмет.

Ситников улыбнулся.

— Зачем о человеке плохо думаешь? Он-то как раз и не против.

— Значит, говорил уже обо мне?

— Да так... предварительно. Только дом-то надо будет освободить. Тебе другое жилье дадут.

«Вот оно как! — ожгло Ивана. — Они, оказывается, уже все решили. И знают, кого поставить на базу отдыха. Мишку Овсянникова, Колькиного брата, вот кого! Потому-то бригадир и не против взять Машатина к себе. Чтобы место для братца освободить. А что, Мишка им в самый раз. Лучше не найти». И хотя Иван и раньше мысленно примеривался к уходу с базы отдыха, но как представил Мишку в своем доме, как бы дальним зрением увидел холостяцкое запустение в бывшем кордоне, так все в нем запротивилось. Как можно пускать Мишку в старый, ухоженный дом, где стены помнят отца, где сам Иван родился, и родились его дети, где все обжитое и родное? Нет уж, кого угодно, только не Мишку. Он разорит и дом, и угодыя.

— Я подумаю, — сказал Иван осторожно, а на ум пришло, что, чем идти в барак да смотреть со стороны, как хозяйничает беспутный Мишка в его бывших угодыях, лучше вернуться в леспромхоз. Упасть в ноги леспромхозовскому начальству: возьмите ради бога, душа изнемогла, изболелась. Его возьмут, ведь он был лучшим лесником. И милее будет уехать на любой кордон, на который пошлют, чем смотреть на обесчещенный свой дом.

Иван сказал «подумаю», чтобы оттянуть время. Надо успеть съездить в контору леспромхоза, договориться, а потом побывать на том обходе, который ему предложат. Очертя голову тоже бросаться нельзя: он мужик семейный.

— Подумай, — пожал плечами Ситников, — только сильно-то не тяни с этим делом. Надо до осени успеть.

— Как это до осени? — удивился Иван. — Переезжают обычно весной. Чтобы и огород не мешал и прочее. Да я еще и на промысел собирался сходить. Отпуск использую, а там видно будет. Если я сейчас начну перебираться, отпуск у меня накроется.

— Боюсь, с отпуском ничего не выйдет, — сухо сказал Яков Кузьмич.

— Это почему же?

— Да все потому... Никто тебе сейчас отпуск не даст. Во-первых, это безобразие с собаками развел, во-вторых, тебе переезжать надо. На другую квартиру. Уж молчал бы про отпуск-то.

— Постой, — Иван даже поднялся. — Ты, Яков Кузьмич, вроде как условие ставишь. Вы что же, выго-



няете меня? Если выгоняете, то у вас нету таких прав, чтобы выгонять из дому под осень.

— Все у нас, Машатин, есть, — с обещающей улыбкой сказал Ситников. — И права, и прочее. Тебя за одни безобразия с собаками гнать надо, а мы еще с тобой нянчимся. Жалобы на тебя есть? Есть, — повертел в пальцах какую-то бумажку. — А он еще о правах заговорил.

— Ну, мы это поглядим, — прищурился Иван, — бумажку кое на кого и я могу написать. Мне-то особо терять нечего. А кое-кого тряхнут.

— Ты это о чем? — спросил Ситников.

— Да все о том же...

— Грозишь, значит?

— Приходится. С волками жить — по-волчьи выть.

Ситников поморщился, встал, прошелся по кабинету до двери и назад, приблизился к Машатину.

— Я думал, мы с тобой разойдемся по-хорошему, Машатин, — раздумчиво заговорил Яков Кузьмич. — В одном ведь поселке жить. А тебя все на скандалы тянет. Пиши, пиши... Да только склочников у нас тут не шибко уважают. Делай как знаешь, да только как бы семье хуже не сделать.

— О семье я сам подумаю. Как-нибудь без твоих советов обойдусь, — отрезал Иван. И пошел к двери. Чуть не сшиб кого-то в коридоре, выскочил на улицу. Ну вот и сходил к Ситникову выписать дров и попросить трактор. А дрова-то и не понадобятся. Сразу все вопросы решили.

За ужином Иван сидел хмурый, ничего в горло не лезло.

Антонина пылливо косилась на мужа, не желая при детях затевать серьезный разговор, однако не выдержала, спросила:

— Разругался-таки с Ситниковым?

Иван отставил стакан с чаем.

— На рудник предложили. К Кольке Овсянникову в бригаду.

Сережка и Вера перестали есть, подняли головы.

— А ты что ответил? — осторожно спросила Антонина.

— Говорю, подумаю...

— Только и всего? — легко рассмеялась Антонина. — И ты от этого так заперезживал? Ну и зря. Хуже

не будет. На руднике мужики здорово зарабатывают. Соглашайся, Ваня. Не пропадем.

— Пропасть-то не пропадем, — невесело усмехнулся Иван. — Промысел накрывается.

— Ну и бог с ним, с твоим промыслом, — отмахнулась Антонина. — Станешь работать на руднике, он тебе и не нужен будет. Да и лучше, а то осенью как уйдешь, так до февраля. Надосело одной-то тут крутиться. Сколько можно.

— А если я не могу без промысла? — спросил Иван. — Тогда как?

— Привыкнешь. Другие же привыкли — и ничего.

— А я не хочу, как другие. Если перейду на рудник, из этого дома надо будет в барак переселяться.

Но Антонину и это не испугало.

— Подумаешь, в барак. Живут же другие. Хоть в самом поселке будем, а то все на отшибе. В такую даль ходим. И мне работа ближе будет, и ребятам — школото в центре. — И, видя, что даже это мужа не утешило, добавила: — Не понравится в бараке, свой дом будем строить. Двух комнат нам уже мало.

— Да разве в этом дело? — горько усмехнулся Иван. — Мало того, что промысел брошу, так еще под Овсянниковым ходить буду. Эх, Тоня, Тоня. Ведь заранее знаю, чем это кончится. Переедет Мишка сюда, а потом меня и из бригады турнут. Сама увидишь.

— Никто тебя не турнет. Не паникуй.

— Ладно, — Иван хлопнул ладонью по столу. — Давайте будем решать, как быть дальше. Дети взрослые, пускай тоже пошевелят мозгами. Ну вот ты, Вера, — повернулся он к дочери, — ты у нас старшая, с тебя и начнем. Ты после школы куда идти думаешь?

Вера покраснела, пожала плечиками и взглянула на мать, как бы прося у нее защиты.

— Еще год впереди, — заступилась за дочь Антонина. — Школу кончит, тогда видно будет. Алексей обещал в торговый техникум устроить, но рано загадывать. Вдруг не поступит.

— Ну, а как не поступит? — спросил Иван.

— Тогда здесь придется куда-нибудь устраивать.

— Понятно, — качнул Иван головой, — значит, Вере лучше никуда не срываться, а сидеть в Счастливихе. Так, что ли?

Вера, не поднимая глаз, кивнула.

— Все ясно, ясенько... — продолжал Иван вибрирующим голосом и обернулся к Сережке. — Ну, а ты что скажешь? Парень взрослый, пора бы уже и определить, куда есть влечение, Думал, нет?

— Думал, — ломким баском отозвался Серега, и отец удивился его голосу. Вырос парень, не заметили, как и вырос.

— И что надумал? — внимательно смотрел на него Иван.

— Ты чего на них напустился-то? — сердито сказала Антонина. — Чего допрос-то им устроил? Выпил где, что ли?

— Постой, мать, — остановил ее предостерегающе выставленной ладонью Иван. — Постой, дай мне с сыном поговорить. — Снова уставился на сына. — Так что же ты надумал? Промысловое дело тебя, я вижу, не сильно тянет.

— Не сильно, — согласился тот вроде даже с ухмылкой, и это Ивана очень задело: и ухмылка, и тон.

— А кем хочешь? — терпеливо гнул Иван свое.

— В шоферы пойду.

— Куда, куда? В шоферы? — хоть и невесело было Ивану сейчас, а все-таки рассмеялся. — Долго же надо было думать, чтобы до этого додуматься. В шоферы... А лучше ничего нету? Эх, Серега, Серега... космы отрастил длинные, а ума не накопил.

— Раз мне нравится, — пробубнил Сережка.

— Зря смеешься, — укоризненно сказала Антонина. — На вывозке руды шофера получают будь здоров. Побольше, чем ты-то. Нравится — пускай идет, и не надо над этим смеяться.

— Ума нету, потому и нравится. Чего хорошего-то? Возчик он и есть возчик.

— А как ты... лучше? — быстро спросил Сережка и поднял на отца глаза. Они у него были какие-то загадочные, незнакомые и смотрели с тайным смыслом.

— Что как я? — ничего еще не поняв, недоуменно спросил Иван, глянув на замершую с раскрытым ртом жену.

— Как ты... прислугой... лучше?

Ивану показалось, что под ним качнулся стул, и он уцепился руками за край стола.

— Бессовестный, — чуть не плача корила Антонина сына. — Разве так можно на отца родного? Для вас

ведь старается, чтоб вам лучше было. Прислугой... как у тебя только язык поворачивается?

— А чего он... — Сережка стоял уже у двери. Отскочил туда на всякий случай и опасливо косился на отца, готовый пулей вылететь в сени. Однако Иван гнаться за ним не собирался. Как сидел, так и остался сидеть, опустив глаза на столешницу.

Потом потер рукой сухие, горячие глаза.

— Ладно, — проговорил он опустошенно, поднимая на жену сузившиеся от боли глаза. — Сынок мне ответил, куда он дальше желает. За Веру ты сама сказала. Скажи теперь за себя. Как тебе лучше будет. Уехать из Счастливики или перебраться в барак?

— О чем ты спрашиваешь, Ваня? — скорбно промолвила покрасневшая от близких слез Антонина. — Неужели сам не видишь? Куда нам уезжать, чего искать?

— Понятно, — отозвался Иван с тяжелой задумчивостью. — Выходит, все за то, чтобы остаться. Один я — против. Меня, правда, никто не спросил, где мне лучше будет, ну да вас — большинство. Значит, остаемся. Значит — решили. Ну все! — воскликнул он легким голосом, в котором сквозила нарочитость. Не от души шла эта легкость, и не просто она ему далась.

Поднялся из-за стола, зашарил по карманам, ища курево, собираясь по привычке на крыльцо, но жена его туда не пустила.

— Не ходи, Ваня. И так все вечера на крыльце пропадаешь. Все высидиваешь чего-то. Пойдем лучше спать.

И он покорно согласился:

— Как прикажете, ваше благородие. Мне все едино.

Антонина, хотя и позвала его спать, однако не засыпала. Лежала с открытыми глазами, вздыхала. Переживала Сережкину грубость. И, понимая, что Ивану тоже не уснуть, погладила теплой ладонью его щеку — утешить хотела.

— Вот так-то, — с горечью усмехнулся он в темноте, — прислугой меня назвали. Дождался...

— Не бери в голову. Мальчишка, чего ты от него хочешь? Сам не соображает, чего говорит, — горячо зашептала Антонина.

— Да нет, он знает, что говорит, — не согласился Иван. — Знает. Потому что на самом деле я прислуга, больше никто. Лакей.

— Зачем ты себя распяляешь? Не надо, Ваня. Должность такая — приходится прислуживать, куда не денешься. В столовой у нас, думаешь, лучше? Тоже прислуживаем.

— Рабочим прислуживать — не позор, — сказал Иван.

— Если б только рабочим... А то у нас закуток там есть, возле кухни. Кто придет из области или из Главка, туда его ведут, в закуток. Корми их, обслуживай, да подавай не то, что в общем зале. Готовь порционное. И думаешь, на сухую едят? «Антонина Петровна, ты нам сообрази чего-нибудь», — передразнила она кого-то. Вот и соображаешь, выставляешь им бутылку коньяка. Смех: в рабочей столовой водку и коньяк держим. Для гостей. А как платить — тут их нету. Встали и пошли, будто так и надо. «Антонина Петровна, вы там это дело уладьте». Вот и весь разговор. И улаживаешь. А за счет кого? За счет рабочих улаживаешь. Вот так-то, Ванечка. Везде надо прислуживать, не нами придумано... А взять Ситникова. Думаешь, он не прислуживает? Ведь сам видишь. Не будет ублажать — выгонят и другого найдут, который поговорчивее. Вот и старается. Так что не расстраивайся, Ваня, не ты первый. На рудник придешь, там, конечно, от всего этого подальше будешь. Там прислуживать не надо, знай вкальвай. Производство — не сфера обслуживания.

— Все-то ты знаешь, — усмехнулся Иван.

— Пора бы и тебе это знать. А то наивного мальчика из себя корчишь. Обиделся он — прислужгой назвали... Наслушаешься еще всего. Жизнь-то долгая.

— А может, и тебе бросить эту столовую? Обходились же раньше. И ничего, с голоду не помирали, — задумчиво проговорил Иван.

— Умник какой, — с укоризной вздохнула Антонина. — До седины дожил, а соображения у тебя — как у Сержки. Спи-ка лучше...

7

А в Счастливихе случилось такое, чего никто и ожидать не мог: подевались куда-то все собаки.

Утром к Ивану пришла посыльная от Андреича, передала, чтобы он не мешкая явился в поселковый Совет. И когда Иван вышел из дому, когда быстрым шагом

вошел в поселок, гадая, чего это приспичило Андреича посылать за ним с утра пораньше, вот тут он и заметил, что на улицах не видать собак, будто все они до единой вымерли разом. В последнее время, правда, на улицах их стало гораздо меньше, потому что хозяева привязывали собак, побавляясь штрафом. Цепей в Счастливихе почти никто не имел, раз не заведено было держать собак на цепи, и привязывали кто чем: одни веревкой или вожжами, другие бельевым шнуром, а те хозяева, которые не особенно опасались за собаку, считали ее послушной, пока совсем не привязывали, держали хотя и во дворе, но вольно.

Иван точно помнил: еще вчера он видел, как бродили возле магазина собаки, несколько штук, но бродили. Из дворов на них лаяли привязанные, а нынче — даже странно: не видно ни одной. С недоумением Иван поглядывал во дворы сквозь штакетные заборы, но везде было пусто: ни визгу, ни лая. А тут еще навстречу попался Николай Овсянников с обрывком сыромятного ремня в руках. Сильно озабоченным выглядел бригадир, по сторонам озирался.

— Ты из дому? — спросил он Ивана.

— Из дому, — ответил Иван, теряясь в догадках.

— Собак там не видал?

— Да вроде нет. А что случилось-то?

— Банта ищут. Ремень переел, дьявол, и сбежал.

— Ты, говорят, недавно поучил его малость? — поинтересовался Иван, но Овсянников не ответил.

— Ты иди, там тебя ждут, — сухо зато проговорил он, глядя вдоль улицы, на окраину.

Иван повернулся и пошел, злорадствуя в душе. Вот тебе и не пойманный — не вор. Зря бы не учил. Видно, и у Банта рыло в пуху.

В комнате поссовета толпились свободные от смены мужики, некоторые втихомолку курили, но Андреич никого за это не ругал, не замечал под потолком облака синего дыма.

Мужики хмуро молчали, кивком отвечали на приветствие, словно даже голосом боялись нарушить тревожную тишину. Стоял тут и участковый Василий, прислонившись к стенке. Молча протянул руку и опустил глаза. На табуретке, рядом со столом Андреича, безучастно сидел Ситников, присутствие которого здесь показалось Ивану не совсем обычным. Значит, случилось

что-то особенное, раз председатель рудкома и тот пожаловал. Яков Кузьмич мельком глянул на вошедшего и отвернулся, не поздоровавшись. У Ивана от всего этого заняло сердце: чуяло новую беду.

— Ну, слышал? — спросил Андренч.

— А что такое? — весь напряжился Иван.

— Наш егерь обо всем последний узнает, — обронил Ситников.

— Ушли ведь собаки из поселка, — продолжал Андренч, пристально глядя Ивану в лицо.

— Как ушли? — выдавил Иван.

— А так. Ушли и ушли. В тайгу, должно. Больше некуда. Одна Айка у Василия осталась. Из всех собак.

Иван обернулся к Василию.

— Точно, — подтвердил тот. — Ночью как собаки принялись выть, и моя Айка заголосила. Жена говорит: пойдя привяжи. Я и привязал ее в сарае. Утром гляжу — яма у стенки вырыта, а Айка по сараю мечется, и веревка перегрызена.

— Будто сговорились, — Иван в растерянности развел руками.

— Должно быть, — с загадкой глянул на него Андренч. — Сговорились. Корову вот у Якова Кузьмича напоследок задрали. Вчера на поскотине Семен, сторож, видел собак. Среди них черный кобель крутился. Тайгу у тебя тоже черный. Дома он, нет?

— Тайгуна я на прошлой неделе отдал, — торопливо заговорил Иван, оглядываясь на Василия. — Алексею, брату жены отдал. В райцентре Тайгу, у Алексея.

— Черных-то у нас в поселке было мало. Мы вот, — кивнул на обступивших мужиков, — четырех насчитали. Кобелей. Но ведь верховодил твой Тайгу. Все говорят.

— Я своего отдал, — снова заговорил Иван и опять покосился на Василия. Тот хотя и не видел, как отдавал, но ведь говорил же ему. Значит, хотя и косвенно, а может подтвердить.

— Отдал, — качнул головой Василий.

— Тогда это была другая собака, — с неохотой согласился Андренч, оглядывая притихших людей. И построжил лицом, посуровел, седая бородка его еще более заострилась. — Должен вам сказать, — начал Андренч, медленно подбирая слова и произнося их с расстановкой, чтобы все каждое слово почувствовали, — что мы

приняли решение об отстреле всех бродячих собак. Потому что терпеть дальше никак нельзя. Никак нельзя. Сейчас мы из вас создадим полномочную бригаду, которая и займется этим делом. Кто пойдет?

Мужики молчали, прятали глаза.

— Колесников, — позвал Андренч опустившего вниз глаза участкового. — Ты человек военный. Возглавишь бригаду?

— Моя Айка на месте, — отказался Василий, — а стрелять чужих собак — не совсем ладно получится. Обиды будут.

— Может, и есть резон, — подумав, согласился Андренч. — А ты, Машатин, что нам скажешь?

— То же самое, — развел Иван руками. — Тайгуна я отдал.

— Значит, тоже неловко, — уныло подытожил Андренч. — Тогда кто же? — недоуменно пожал острыми старческими плечами и вдруг, будто что-то вспомнив, встрепенулся, так и потянулся весь к Ситникову.

— Слушай, Яков Кузьмич, а что если с этими самыми «скворцами» договориться? Может, согласятся, если заплатить? Они люди посторонние: приехали и уехали. С них взятки гладки.

Ситников презрительно усмехнулся:

— Бесплезно. Я уж закидывал удочку. Мы, говорят, строить умеем, стрелять — нет. Боятся по себе плохую память оставить. Наотрез отказались, черти. Так что придется самим.

Хлопнув дверь, вошел Николай Овсянников.

— Нашел? — заинтересованно спросил Андренч, хотя по лицу Овсянникова было видно обратное.

— Как сквозь землю, — угрюмо уронил тот.

— Тут такое дело, — продолжал Андренч, не отставая, — сбиваем вот облаву на собак. А бригаду по отстрелу никто возглавить не хочет. Может, ты возьмешься?

— Я? — Овсянников задумался. — А почему именно я? На отстрел я пойду. Банта первого шлепну. Руки у меня на него зудятся. Не успокоюсь, пока не разберусь с ним. А насчет бригадирства... поймите, братцы, нельзя на одного все валить. С меня и одного хватает. На шахте. Неужели больше некому? — Обвел взглядом толпившихся вдоль стен мужиков. — Постой, Андренч, у нас же егерь есть для этого дела, чего мы гадаем? Ему, по-



нимаешь, оклад идет, а занимайся кто-то другой? Не пойдет...

— Он Тайгуна отдал, — сказал Андреич, — ему неловко.

— Неловко! — хохотнул Николай. — Ничего страшного. Обяжем и все!

Мужики глядели на Ивана.

— Нет, — упрямо помотал головой Иван. — Я ухожу с должности. Кто заместо меня будет, тот пусть и берет бригаду.

Андреич растерялся, закрутил головой. На одного глядел, на другого, на третьего. Не знал, как быть.

— Михаил Овсянников поведет бригаду, — проговорил в тишине Ситников, не вставая. — Он у нас будет заместо Машатина.

Андреич уставился на Мишку, который все это время был в сторонке, помалкивал и на глаза не лез.

— Пойдешь, Михаил?

— А чего не пойти? — Мишка ухмылялся.

— Тогда скажи, кто еще пойдет и что с собой иметь.

— Щас разберемся. — Он испытующе вглядывался в лица мужиков и указывал пальцем. — Ты, ты и ты тоже...

Ткнул он пальцем и в сторону Ивана.

— Пойдем в субботу, когда люди посвободнее будут, — продолжал Мишка, — утречком, часиков в девять. А брать ружья, не палки же. Ну и пару лопат надо захватить.

— Лопаты-то зачем? — спросили от стены.

— А закапывать собак чем будем? Руками голыми? «Предусмотрительный», — с брезгливостью подумал

Иван и отвернулся от Мишки.

Мужики расходились нехотя. Выйдя из помещения, стояли кучками, обсуждали будущую облаву. Горько шутили.

Ни на кого не глядя, Иван отправился домой. Мужики, когда он проходил мимо, обернулись все, как по команде, и глядели на него. Видно, о нем говорили, о его последних словах. Смотрели кто с сочувствием, кто с недоумением. Жалели Ивана.

Сзади его окликнул Андреич, отвел в сторонку.

— Значит, уходишь, Иван, из егерей-то? — спросил он немного смущенно. — Я и не знал. Сам решил или как?

— Другого нашли. Этот им больше подойдет. На все готовый. Хороший лакей будет, в самый аккурат.

— Выходит, съели они тебя? Хоть бы посоветовался. — Андреичу, наверное, было перед Машатиным неудобно. — Вместе бы подумали.

— Чего об этом...

— Вообще-то конечно. Помочь я тебе все одно бы не смог. Ставка рудоуправленческая, я им не указ. Куда надумал-то?

Иван пожал плечами.

— Видно будет.

— А на отстрел тебе идти надо. Ты пока что при должности, так что не зли их зря. Они и так на тебя злые. Очень тебе советую, сходи, Иван, обязательно. Для своей же пользы — сходи. Посмотришь, чей там черный кобель.

— Ты думаешь... — начал Иван медленно, но Андреич перебил его, положил ему руку на плечо, с загадкой прищурился.

— Надо, Иван. А то греха не оберешься. Все на твоего Тайгуна навешают. Не обрадуешься... Я ведь, Иван, к тебе хорошо отношусь. Только вот сделать для тебя ничего не могу. Ничегошеньки. Одно остается у меня — дать хороший совет.

— Ну поглядим, — ответил Иван и, ссутулившись, двинулся дальше, ощущая непривычную тяжесть в ногах. Сбили его с толку загадочный взгляд Андреича и его слова насчет черного кобеля. Уж не хотят ли Овсянниковы и Ситников выдать его за Тайгуна? А что, со злости могут. Вот тогда и плати за все, и за корову Ситникова в том числе. Ловкачи еще те. Видно, придется сходить с ними.

Эту ночь Иван не спал. Ворочался с боку на бок, за что Антонина ворчала и ширяла его острым локтем под бок, и тогда он выходил на крыльцо курить. Покурив, ложился снова, но сон к нему не шел. Голову ломило от дум. Трудно в такие-то годы ломать устоявшееся, привычное и начинать все по-новому. Одно он понимал ясно: надо срочно подавать заявление и переселяться в барак. Тянуть не было никакого смысла, только еще большее будет.

Утром, когда Иван пришел в поселок с заготовленным заявлением в кармане, там стоял переполох. Во дворах мычали коровы, блеяли овцы, а посреди улицы

гомонили женщины, обступив пастуха Семку. Оказываетя, хромой и малость придурковатый Семка, не державшийся ни на какой работе и которого недавно наняли обществом сторожить поселковое стадо, не погнал скотину пастись, заявив, что без ружья он в тайгу — ни ногой. Своего ружья у Семки сроду не водилось, и он требовал, чтобы его снабдили берданкой и патронами. Отчего на него нашла такая блажь, он не говорил, но мнительные женщины тут же напали на мужей: давайте Семке ружье с патронами и все! Пастуха вооружили, поскольку этого добра в Счастливихе оставалось еще достаточно, и отправили стадо на поскотину, сильно переживая, как бы Семка с перепугу не пострелял коров. Этот баламут все может. И хотя ничего страшного не случилось, вечером Семка благополучно пригнал стадо домой, покоя ни у кого не было. Женщины ругали мужей. Мужики толпились кучками, объединенные общей заботой, маялись от предстоящей облавы. Некоторые из них высказывали предположение, что собаки побегают день-два и воротятся, но они ошиблись. Собаки не вернулись в поселок ни в этот день, ни в другой, будто догадывались, какая их ждет участь.

Иные сердобольные хозяева, потихоньку от других, хаживали на поскотину искать своих собак, но те на зов не явились, даже не показались на глаза, словно их там и не было. А в сумерках, едва вывездило, завыли на краю леса тоскливо, жутко и обреченно.

В зарослях на поскотине осыпалась смородина, не тронутая людьми. Наверное, уже грибы всюю высыпали, настала их пора, но ни ребятя, ни женщины в тайгу носа не казали. Боялись собак, про которых говорили, что они снюхались с волками и что, попадись им человек, — накинутся и загрызут. Рассказывали, будто кто-то видел, как перед утром по окраине поселка пронеслась большущая собачья стая, и впереди летел вожак — крупный черный кобель. Собаки будто бы покрутились возле ближних домов, но в поселок не вошли.

А еще через день хромой Семка, собрав толпу, кричал, что на стадо набросились собаки, гоняли коров по лесу, и черный кобель, державшийся впереди остальных, кинулся на шею комолой. Николая Овсянникова корове, и что если бы не он, Семка, то корове конец был бы. Он, Семка, не растерялся-де, выпалил из ружья, только не попал ни в кого, потому как сильно был взвол-

нованный и тряслись руки. От выстрела черный кобель отпрынул от овсянниковской коровы, глянул на Семку внимательно, будто хотел запомнить, и увел свою стаю в лес, к Синюхе.

— Все, братцы мои, — горланил Семка, пригнав в полдень взбудораженное стадо с поскотины, — освобождайте от должности! Ищите другого пастуха! Мне еще пожить охота! — И бросил ружье со стареньким патронташем на дорогу, в пыль.

Не поверить ему было нельзя. Глаза у коров кровавые, хвосты взвинчены. Овцы жмутся друг к дружке, сбились — не разогнать. Заполoshное мычание коров, крики людей — все смешалось. Кто-то побежал в поссовет за Андреем, и скоро туда стали приглашать мужиков, звали и Ивана.

А через час Николай и Мишка Овсянниковы, Иван, да еще двое мужиков, в телогрейках, с ружьями двинулись на поскотину, чтобы отогнать собак подальше. А то до субботы стая может много бед натворить. В тайгу вошли без шума и разговоров, быстрым шагом и сразу же разомкнулись, устремились цепью вперед, держа ружья наизготовку, как солдаты.

Лес молчаливо расступался перед ними. Тихо было — совсем тихо, птица не вскрикнет. Только трава шелестела под сапогами, да приглушенно шумел ветер в верхих. Пестрая кедровка, склонив головку набок и напружиня лапки, блестящим глазом косилась на людей с высокой ветки и вдруг сорвалась с места, с остервенелым треском, будоража всю округу, петляя, полетела в чашу.

— Вот дьяволица, — вполголоса выругался Николай Овсянников.

Услышав кедровку, встревоженно застрекотали вдали сороки, что было, конечно же, плохим признаком, и Ивану подумалось, что нынче все против них, против людей. А ведь когда он ходил с Тайгуном, было иначе, не так, как теперь. Он и чувствовал себя легко, уверенно, зная: идет на промысел, на тяжелую и радостную работу, которой издревле жил весь Машатинский род, — а потому был спокоен. Сознавал свою правоту. Сороки и те, бывало, молчали, и те признавали его законное право на тайгу. Однажды он заметил, как две сороки молча наблюдали с сухостойной лиственницы за рыскающим Тайгуном, а потом без шума и крика, словно онемев, спустились пониже и, перелетая с ветки на ветку, следо-

вали за собакой, выжидая чего-то. А ждали они терпеливо. Знали: собака найдет добычу, от которой и им чего-нибудь перепадет. Ободренные тушки белок и других зверей доставались всегда сорокам, вот они и сопровождали охотника по тайге, как тени, не выдавали его другим обитателям леса. Теперь они не признавали за охотников эту цепочку людей без собак, молча и затаенно шагающих к поскотине.

А ругнулся Николай не без причины. Раз сороки предупредили всю округу о появлении людей, то знали теперь об этом и собаки. И они либо ушли дальше, к Синюхе, либо притаились в кустах.

— Где ж они есть-то? — ворчали мужики.

— Найдем, — хитро ухмылялся Мишка. — Не я буду, если не найдем.

Ему верили. Мужичонко пронырливый и ушлый, свое возьмет. Однако протопали до самой Синюхи, а нигде никаких следов и — ни звука. Птицы и те замолчали, притаились. Будто вымерла тайга.

Сели у подножия Синюхи отдохнуть.

— Мы их так сто лет будем искать, — задумчиво сказал Николай. — Вокруг них бродить будем и не увидим. Хитрющие твари. Бант-то мой, когда еще промышляли, так всегда по другую сторону дерева от меня заходил. Загонит, значит, бельчонку или соболя и только увидит, что я близко, сразу отвлекает от меня зверя, на другую сторону отходит. А то еще приплясывать начнет, если зверек на меня захочет обернуться. Такой концерт закатывал — со смеху помрешь. Зверь и тарашится на кобеля: что за диво. И тут я его: шелк! И готово... А как марала скрадывали... Дело прошлое, — с улыбкой глянул на Ивана, — было. Без лицензии... Ну и вот сидим на солонце. Маралы все ближе и ближе. Шаг сделают, остановятся, приглядываются, принюхиваются. Я в скрадке шелохнуться боюсь. А Бант — рядом. Трава рыжая, жухлая, и он рыжий — не отличишь. Затаится — будто мертвый, по часу мог так сидеть. А выстрелю — летит пулей, да не прямо к ним, а в обход, чтоб на меня их загнать... Умный, подлец.

— Как не быть умными, сами учили, — отозвался Иван.

— Это точно: сами, — качали мужики головами. — Теперь их нам и не взять. Вон уж сколь без толку топчемся.

— Ниче-е, ребя, ниче-е, — протянул Мишка, оживляясь. — Возьмем. Тут надо за Василием сходить. Пускай приведет свою Айку. Она их в момент сыщет.

— А ведь правильно говорит, — похвалил брата Николай. — Собака собак всегда найдет. Дело верное.

— Не даст Василий Айку, — сказал Иван.

— Как это не даст? — возмутился Николай. — Дело общественное, а он не даст? Я сам за ним схожу, раз так. Я-то найду, что ему сказать. Не даст он...

Николай ушел в поселок, и верно, через час вернулся с Василием, который вел на поводке свою Айку.

— Ну вот, а вы боялись! — смеялся Овсянников потным лицом.

— Не лежит у меня душа к этому делу, — сказал Василий, страдальчески морщась.

— А у кого лежит? — с усмешкой откликнулись мужики. — Надо. — Поднимались с травы, с надеждой глядя на Айку.

— Хоть бы они куда-нибудь совсем делись, — угрюмо проговорил Василий, — подальше. Лишь бы скот не трогали.

— Далеко они не уйдут, — возразил Николай. — К поселку их будет как магнитом тянуть. На поскотине будут крутиться и скот резать. Теперь их ничем не оставишь, дьяволов. Только это и остается, — кивнул на ружье, висевшее за спиной. — Ну давай, Василий, пускай свою собаку-то.

Участковый цомялся, но делать нечего, нашарил на ошейнике собаки защелку, и Айка сразу заволновалась, предчувствуя свободу, нетерпеливо запрыгала, мешая хозяину отцепить ее.

— Да стой ты, успеешь, — ласково упрекал Василий свою любимицу.

Получив волю, Айка дала подле хозяина круг и, низко опустив голову, заприюхивалась, прильнула носом к подножью замшелого, с осклизлой корой, трухлявого пня.

— Гляди-ка, прав был Мишка, — загомонили мужики, видя, как, наострив уши, Айка деловито устремилась в глубь тайги. — Дело будет.

Однако в гору Айка не полезла. Она рысцой пробежала по склону и, не найдя там ничего интересного, повернула назад, то есть как раз туда, откуда мужики пришли.

— Я же говорил, мимо них ходим и не видим, — возбужденно проговорил Николай, тяжело дыша. — Они где-то близко.

Айка вдруг остановилась, оглянулась на хозяина и на махах понеслась к густому островку смородинника, увитого желтым уже хмелем, легко перелетая в прыжках через высокую, дуrolомную траву. Зашелестели кусты, как живые, заходила трава, сверху посыпались, кружась в воздухе, лепестки зрелого хмеля. И — сомкнулись травы, скрыли собаку. И тотчас воцарилась тишина. Молчали кусты, молчали люди, уставаясь на то место, где скрылась Айка. Стояли и ждали чего-то: то ли призывного лая, или еще чего, но ждали. А было тихо, и больше — ничего. И тогда Николай Овсянников осторожным мягким шагом стал обходить кусты сбоку, длинно вытянув шею и как бы стараясь заглянуть сверху, с высоты своего роста: что же там?

Стоявшие в неподвижности мужики, которые отчего-то считали, что главенствовать тут должны именно Овсянниковы, никто другой, косились то на кусты, то на крадущегося Николая, а сами с места не двигались. Мишка приподнял стволы ружья и устремился за братом, наоборот, зачем-то пригнувшись, и Василий угрюмо сказал ему вслед:

— Гляди, Айку не зацепи.

Старший Овсянников тем временем исчез в кустах. Несколько томительных минут пропадал там, потом появился и недоуменно пожал плечами.

Мишка опустил ружье.

— Куда делась твоя сучонка-то? — обернулся он к Василию, словно хозяин мог это знать.

— Вась, позови ее, — попросил Иван, — тут что-то не то.

— Не надо, вспугнешь их, — замотал Мишка головой, но Василий, не слушая его, сложил ладони рупором, закричал:

— Айка, Айка, А-а-йка!

Кедры приняли звуки мягкими лапами, приглушили. Никакого ответа, даже эхо не слышать. Молчала тайга.

— А-а-йка! А-а-йка! — снова и снова звал Василий, не уставая, но над ним лишь слабенько шумел ветер в верхних.

— Похоже, в кустах лежки были, — сказал Николай.

— Ну тогда с ними и ушла, — забубнили мужики. — Поминай теперь как звали. С концами...

— Раз были лежки, значит собаки рванули в ту сторону, — предположил заметно поскучневший Мишка. — На нас же они не побегут. По-за кустами и рванули. Пойдемте за ними.

— Я подожду Айку тут, — мрачно сказал Василий.

— Она, может, уже черт-те где, — хмыкнул Мишка.

— Буду ждать тут, — твердил свое Василий. — Она всегда возвращается, где жду. Такой у нас с ней закон.

Николай уныло усмехнулся:

— Закон... Когда это было... Теперь у них свои законы.

— Походить разве, поискать? — вопросительно обернулся Василий к Ивану. — Далеко не должна уйти.

— Зря ты ее отпустил, — посочувствовал тот. — Отстань она не отобьется. Николай прав: там законы другие.

Участкового это подстегнуло. Он ушел на поиски, и долго слышался его призывный крик, однако — без толку. Вернувшись, Василий лег на траву, не глядя ни на кого. Мужики с неловкостью молчали, чувствуя перед ним свою вину. Ивану тоже было совестно: посочувствовал задним числом. Нет бы упредить раньше, ведь попытнее Василия, мог бы сообразить, чем это кончится. Овсянников-старший глядел в сторону. Мишка хотя и хорохорился, но и ему было неловко. Он первый предложил использовать Айку и теперь прятал глаза.

И хотя все понимали, что бесполезно ждать Айку, что не придет она и что Василий это сам понимает, однако не торопили участкового, сели кто где, закурили и поднялись только после Василия.

На обратном пути Василий все время оглядывался: не бежит ли его Айка. Нес в руке поводок, все еще на что-то надеясь, и лишь возле последней сосны, от которой виднелись дома поселка, аккуратно сложил его и спрятал в карман.

Здесь мужики остановились.

— Что людям-то скажем? — угрюмо спросил Николай.

Мужики завздохали, заскребли в затылках. На самом деле неладно получалось: их послали стрелять собак, отогнать их подальше от поскотины, а что вышло? Со-



бак даже не высмотрели, да еще так подвели Василия. Глупо вышло.

— Слышите, мужики, — оживился вдруг Мишка, который, не теряя времени, оглядел полянку и даже за чем-то на колени опускался, разглядывая что-то в низкой травке. — Вот тут надо покарать!

— Где? — не поняли его.

— А на деревьях, — кивнул Мишка на сосны. — Скрадки сделать там и засесть. Вечером они обязательно придут выть. Шерсть собачья кругом и пенек мочой пахнет.

— Нюхал, что ли? — усмехнулся Иван.

Мишка с прищуром глянул на него, озлился, потому что мужики засмеялись, хотел чем-то ответить, но Николай, морщась, поднял ладонь, утихомиривая.

— Я считаю, есть смысл покарать, — сказал он задумчиво. — Очень даже есть. Они ведь каждый вечер где-то здесь воют.

— Ну а я о чем? — захорохорился Мишка. — Вот что, мужики! — Он уже приказывал властно и твердо. — Вечером, как стемнеет, собираемся на этом самом месте. Берите с собой фонарики, у кого есть. — Повернулся к Ивану. — Ты, Машатин, тоже приходи.

— Само собой, — подтвердил Николай.

Не хотелось Ивану идти в ночной скрадок, он ведь возле туши сидел, ничего не высидел, а пережить Мишке не стал, промолчал. Оба Овсянниковы стояли над ним, Мишка готовился принимать базу и командовал как будущий хозяин. Николай скоро станет его бригадиром, значит, и он вправе указывать ему. Вот какой неожиданной стороной все повернулось. Раз уж сдался, согласился остаться в Счастливихе, то и терпи. Еще не то будет.

Вечером мужики, как и условились, сошлись под сосной, перебросились вялыми, необязательными словами и стали выбирать деревья для скрадков.

Иван облюбовал кряжистую, стоящую несколько на отшибе сосну и, закинув ружье за спину, полез вверх, в развилку из толстых сучьев. Лезть было неудобно, мешалось ружье, цеплялось стволом за ветви, сапоги срывались. Тяжел стал — запыхался. В развилке долго не мог уместиться: со всех сторон колело и давило, и он еле приспособился, привалившись спиной к шершавому стволу и свесив вниз ноги, подумав с досадой, что в та-

ком положении и час просидеть мудрено, а у него не час — ночь впереди. Придется мучиться на этой вершуре, вертеться сорокой на колу.

Мужики тоже влезли на деревья, потрещали сучьями, устраиваясь, и затихли.

— Глядите, в Айку не попадите, — донесся голос Василия сбоку.

Все промолчали.

Солнце, наверное, уже спряталось за Синюху, потому что в лесу потемнело сразу, словно из него вынесли лампу. Потянуло прохладой, сильно запахло папоротником и хвоей. Рано упала роса. Иван хотя и был в телогрейке, а пожегся от свежего ветерка, обдувающего со всех сторон. Вот и лето ушло, осень близится. Не заметишь, подойдет промысловый сезон. Подумал Иван об охоте, и сердце защемило, и горько усмехнулся над собой, над своим теперешним положением. Промышляя, он никогда не устраивал на деревьях скрадков. Зачем так высоко забираться? Найдет Тайгун белку или соболя, загонит на дерево, а оттуда сбить нетрудно. Если зверек на лесине — считай, в кармане. У Ивана всегда было: добыча — сверху, а он, охотник, внизу. Теперь они с добычей местами поменялись. Да и скажи ему год-два назад, что настанет время — на собак пойдет охотиться, — не поверил бы, в самом жутком сне такое присниться не могло. Во сне не могло, а наяву случилось. Как все перевернулось! Только и не доставало, чтобы подошел Тайгун и облаял своего хозяина, засевшего на сосне, среди ветвей... Вот только далеко сейчас его Тайгун, охраняет Алексеево добро.

Иван глядел вниз, на размытую сумерками поляну, и сердце свербило от тоски. Испортит Алексей ему кобеля, научит на людей гавкать. А в общем-то какая теперь разница, раз сезон накрылся? Кончилась для него тайга, скоро в шахту пойдет... Нехорошо было у Ивана на душе, и отчего-то вспомнилось, как однажды медведь чуть не достал его на дереве.

Позапрошлой осенью его таежную избушку за Синюхой, куда он забрасывал продукты и откуда каждое утро начинал свой рабочий путь, ограбил медведь. Иван был на промысле, обходил свои уголья, и пока они с Тайгуном работали, медведь выдавил дверь вместе с косяком, ввалился в зимовье и добрался до продуктов. Он не столько съел, сколько перепортил. Сдернул подвешен-

ный к потолку мешок с мукой, разгрыз зубами и выпотрошил. Сожрал соленое сало, лишив Ивана жиров до самого февраля, истоптал куль с сухарями, перепробовал все крупы и вдобавок ко всему разворотил очаг. Вернулся Иван вечером — хоть плачь. Решил потерять промысловый день, но грабителя подстеречь, иначе он еще пожалует. Устроил на дереве подле избушки скрадок. Место выбрал удачное: дверь была под обстрелом. Над дверью повесил обсытых белок, надеясь, что запах приведет лесного гостя к тушкам, а значит, под прицел. Утром запер Тайгуна в избушке, чтоб раньше времени не обеспокоил зверя, а сам засел в скрадке на лесине. Тайгун взаперти обиженно поскулил-поскулил и затих.

Вообще-то эта затея была ненадежная. Кто знает, когда еще медведь пожалует: сегодня, завтра или через неделю? Охотники в таких случаях ставят самострелы, но Иван, неведомо отчего, был твердо уверен: медведь придет. И точно: гость явился ближе к обеду. Обошел зимовье со всех сторон — как будто никого нет. Дверь колом приткнута. Задвигал носом — мясо учуял. Встал на задние лапы, чтобы дотянуться до висящих высоко беличьих тушек, и подставил левый бок. Иван выстрелил круглой пулей, целя под лопатку, да треснула ветка под локтем, ствол ружья чуточку стронулся, и по звуку Иван понял, что хотя и попал, но не смертельно.

Медведь заревел, прижав лапу к раненому боку, задрал морду вверх. Глаза зверя и охотника встретились. К дереву медведь метнулся с такой быстротой, что у Ивана от ужаса зашевелились волосы под шапкой. Он судорожно потянулся к ветвям над головой, страх гнал его забраться повыше, но сообразил: в другом стволе еще оставался патрон, и значит, его положение не такое уж отчаянное, как показалось сначала. Заерзал в своем шатком скрадке, пытаясь разглядеть, что же там внизу. Увидел у подножия дерева сопящего медведя, прилаживающегося лезть вверх. Ему мешала рана. Здоровым он бы митом взлетел по стволу, а тут боль не давала воли. Одной лапой он хватался за ствол, другой придерживал раненый бок и ревел от бессилия, однако хотя и медленно, а подвигался вверх. Умудрялся даже перехватываться по дереву одной лапой, а другой зажимать рану. Крупный был зверь, дерево стонало под ним и скрипело.

«А ведь он доберется», — ожгло Ивана. По-хороше-

му надо было подпустить медведя поближе и бить в упор, но Иван занервничал и, даже не перезарядив ружья, пальнул из второго ствола. Пуля ударила в толстую ветку под ногами, отсекла, как бритвой. Зверь на мгновение замер, но тут же задрал морду вверх, заревел громче, злобнее и полез уже быстрее. Оцепенев, Иван глядел, как все ближе и ближе подбиралась к нему косматая медвежья голова, видел, как податливо когти лап входят в красноватую кору, на него пахнуло смрадным духом из медвежьей пасти — и сердце заледенело. Не первый год тайговал Машатин, а к медвежьему реву привыкнуть не мог, каждый раз сковывала его смертная тоска.

И тут сквозь рев зверя и поскрипывание дерева он различил приглушенный стенами зимовья остервенелый, взалех лай Тайгуна, который никак не мог выбраться из избушки.

— Тайгун! Тайгун! — закричал Иван отчаянно, закричал незнакомым, страшным голосом, инстинктивно потянувшись вверх, рискуя сорваться на землю. И сразу же до него донесся короткий звон разбитого стекла, но он еще не понял в то время, что кобель вынес крохотное оконце и что он уже тут, под деревом. И лишь когда медведь взревел от новой боли, только тогда Иван сообразил, что псу удалось ухватиться за медведя. Сквозь ветви Иван разглядел, как Тайгун болтается в воздухе, вцепившись в лапу зверя. Наверное, кобель прыгал не раз и не два и теперь, задыхаясь, висел над землей, судорожно дергаясь всем телом.

Не переставая реветь, медведь начал медленно спускаться, держа за ствол уже обеими передними лапами, пачкая кору своей кровью. Опомнившись, Иван переломил ружье, дрожащими руками вырвал стреляные гильзы, выкинул, вогнал новые патроны, но стрелять теперь он опасался, боясь зацепить кобеля. Тайгун, хрипя, висел под медведем. В этой неразберихе, да еще с качающейся ветви, стрелять было неудобно. К тому же опасность для Ивана отодвигалась, а значит, можно было не торопиться.

Медведь сорвался с дерева. Ударился о землю, рывкнул. Затрещали кусты, послышался неистовый собачий лай, но окоро и медвежий рев, и собачье взлаивание, и треск кустарника стали удаляться, пока не затихли вовсе.

Тяжко дыша, дрожа всем телом, словно в ознобе, еще не оправившись от смертного испуга, перепачканный звериной кровью, Иван слез с дерева. Руки тряслись, ноги подгибались. Он опустился на замшелую, сырую колодину, пристроив рядом ненужное теперь ружье, и долго сидел, опустошенный. Раненого зверя преследовать не было никакого желания. Бог с ним, с медведем. Вернулся бы Тайгун, не поломал бы его зверь, а то чернотропу конец.

Тайгун воротился не скоро. Морда у него была в крови, ухо разрезано. Шерсть на боках слиплась, словно выкушался. Дышал хрипло, запаленно, выпустив язык до земли. Он лег подле хозяина, и Иван гладил его лобастую голову. На кончике уха, как ягодка, светилась капля крови. Иван не мог отвести от нее глаз, а потом, склонившись к собаке, обнял, молча благодаря за все...

Вот об этом случае и вспоминал сейчас Иван, сидя в скрадке на дереве. Да только не медведя он поджидал, а собак. Вот как все перевернулось... Усмехнулся над собой и вздохнул.

Быстро загустели сумерки, растушевали полянку у подножья. Наступал тот особый час, стык вечера и ночи, когда уже угомонились дневные птицы и звери, залегли по норам, лежкам и гнездам, а ночные еще не вышли на охоту, мертво было, тихо. Ни шороха. Затаились мужики на соснах, ждут. Ночь легла на землю. Полянка под ногами едва засветлела, будто изнутри наливаясь голубизной. Над черными вершинами деревьев всплывал месяц, светлый и тонкий, как льдинка с истаявшим краем. Красноватой живой звездочкой летел спутник, и Иван засмотрелся на него. Летит человек над миром, поглядывает себе вниз. Высоко поднялся над всем живым. Выше его никого нет. Всему-то он бог, царь и судья: лесам и горам, каждой земной букашке и травинке...

Он вздрогнул, когда громынул выстрел. Завертел головой, гадая, кто и откуда стреляют. Потом бухнуло еще и еще, на мгновение озарив поляну красноватыми отблесками, и тут же раздался истошный собачий визг. Выстрелы стихли, в оглушенной тишине заворочались людские голоса. Тьму прорезали желтоватые лучи фонариков.

Иван торопливо сполз с дерева, побежал на свет

фонарей, стал глядеть, как тычутся в траву блеклые пятна света, выскивая что-то, и один из лучей остановился, найдя, что искал: низкая травка мокро отсвечивала красным. Это была кровь. Она горела и дымилась под светом, Иван не в силах был отвести от нее глаз.

— Неужто только ранил? — возбужденно говорил Мишка. — Я вроде нормально целился. В самую кучу саданул.

— Надо поискать, — предложил кто-то. — Может, в кусты уползли? Ну-ка свети дальше...

Заметались лучи фонарей, протягиваясь к кустам. Желтые пятна скользили по ветвям и терялись, дробясь в листьях.

— Бесплезно, — сказал Николай, — ушли. Я видел, как они на полянке появились. Постояли и — назад. Наверно, верхним чутьем нас взяли. Ты уж вдогон стрелил.

— Ничего, — отозвался Мишка сквозь зубы, — пождем до субботы. Всю Счастливику поднимем в загонщики. Никакое чутье не поможет. Пускай пока погуляют.

Мужики тушили фонарики, закуривали. Только Василий все еще бродил по кустам, шурша сапогами. Искал Айку и боялся ее найти.

— Ты хоть видел, в кого стрелял? — спросил он Мишку.

— Да не бойся, твоей там не было.

— Вы идите домой, я тут останусь. Пойщу.

Все молча двинулись к поселку. Иван замешкался.

— Вася, я с тобой.

— Нет, хочу один. Иди... Ай-ка! А-а-йка!

Иван пожал плечами и побрел вслед мужикам.

— Айка, Айка! — неслоь из-за спины.

Далеко уже отошел от поляны. Впереди на лунной луговине зачернел его дом, а все еще доносился зовущий голос Василия. Словно полуночная птица вскрикивала.

После этой ночи собаки перестали выть у поселка. Похоже, что и правда куда-то ушли. Хромой Семка гонял стадо на поскотину, и никто на коров не нападал. Женщины стали поговаривать, что пора бы скотине ходить без пастуха, как в ранешние добрые времена, че-



го, дескать, Семке зря деньги платить. Да в пятницу опять случилась беда. Утром приковылял Семка в Счастливику без стада, бледный, с трясущимися от страха губами и рассказал, что собаки задрали корову Николая Овсянникова. Коровы-де спокойно паслись, а он, Семка, лежал на траве и наблюдал, чтобы был порядок. И вдруг услышал испуганное мычание. Он увидел, как стая собак молча, без ворчания или гавканья волчьей рысью вылетела из кустов, прошла мимо пасущихся телят, мимо овец и — напрямик к корове Николая, словно ее одну и искали. На Семку собаки даже головы не повернули, хотя он махал своим ружьем и кричал благим матом. Только черный кобель, скакавший впереди стаи, предостерегающе скосил на пастуха глаза. Даже зубов не показал. И — к Овсянниковой корове. Та едва успела поднять от травы голову, как черный кобель вцепился ей в горло. Корова замотала головой, замычала на всю поскотину, но кобель висел на шее, перехватывая ей горло. И тут налетели остальные собаки: кто за что ухватит. Корова захрипела, упала, засучила ногами, землю вокруг себя искровянила. А собаки молча сделали свое дело и даже не распустив корове брюхо, побежали прочь. Семка хотел было стрелянуть, но едва он поднял ружье, как черный кобель свернул к нему и так пристально посмотрел в Семкины глаза, что тот стрелять сразу раздумал. Как стоял столбом, так и остался стоять, с ужасом таращась на издыхающую, бьющуюся в агонии Колькину корову.

— Надо было стрелять! — кричал на Семку Овсянников-старший. — Надо было в того черного и стрелять, дьявол ты безрогий! Нам бы этого кобеля живого или мертвого! Мы бы сыскали его хозяина и как с маленького содрали бы за потраву. За все сразу!

— Ага, я бы в кобеля, а они бы — меня, как твою корову, — отвечал Семка. — Мне еще пожить охота. Забирайте свое ружье, свои патроны, берите другого пастуха!

Удручающая весть быстро разносилась по поселку. Кто-то сообщил в райцентр, и туда спешно вызвали Андренча. Возвратился оттуда Андренч молчаливый и злой. В этот же день к обеду на дверях магазина, столовой и других общественных помещений, где бывает много народу, рядышком с ранешними бумагами о собаках появилась еще одна. Бумага эта уведомляла жи-

телей, что завтра, то есть в субботу, в девять часов утра начнется облава и что все жители должны принять в ней участие. Одни как стрелки, другие как загонщики. А кто участия не примет, будет лишен общественного пастбища и сенокосных угодий. Здесь же поссовет обещал премию в благодарность тому, кто застрелит черного кобеля, вожака стаи. Деньги обещались хорошие, как за матерого волка.

Была произведена в этот день еще одна бумага, которая нигде на видном месте не красовалась, но о которой знали все. Это был приказ об увольнении Ивана Машатина с должности заведующего базой отдыха и назначении на его место Михаила Овсянникова.

Вечером, когда Иван по обыкновению сидел на крыльце, пришел Василий. Опустился на ступеньку, спросил:

— Ну что, Ваня, готово дело?

— Готово, — невесело усмехнулся Иван.

— Трудно тебе будет у Овсянникова. Хребет у тебя не гибкий, Ваня. С таким хребтом нынче тяжело.

Иван никак не отозвался, только вздохнул.

— А я — все-е... — отрешенно протянул Василий и рукой махнул, как бы что-то отрубая. — На другой участок переводят. В Тундриху. Глухой угол. Тайга, лес-промхозы... Одно жалко: не успел я тут кое с кем разобраться. Уж больно скоро рапорт подписали. Ты вот что... Я перееду, устроюсь и тебя вызову, а? Место найду. Нравиться ты мне, Ваня. Хороший ты мужик, и егерь был честный. Другой бы на твоём месте давно уж себе дом в поселке выстроил. Благо, в лесу хозяин, а ты — нет... Кормити не имел.

— Это правда, — согласился Иван, — лишнего я себе от леса ничего не взял, ни одной лесины сроду не продал. А ведь подбивались людишки. И с бутылочкой, и всяко. Ни одного дерева, ни лося — никому. Да и не жалею. По-другому я, Вася, не умею. Спасибо тебе за хорошие слова. А насчет переезда... нет. Все у меня, Вася, отрублено. Поздно. Сломилось во мне что-то такое, сам не знаю что, а сломилось. Чувствую: пусто в душе, будто жизнь на исходе.

— Ну ты это зря, — укорил Василий, — мужик ты еще не старый. Все наладится. Зря себе душу травмишь.

— Может, и зря. Не знаю... Отсталый я, наверно, ничего не понимаю. В лесу вырос. Ничего, кроме леса,



знать не хочу. Ты вот, Василий, учился, пограмотнее меня будешь. Скажи, это правильно, что мы вот так с собаками? Из ружей в них палим? Что под корень извести их решили?

— Ты же видишь: скот давят...

— Я это понимаю. Это, конечно, плохо, что давят. Как человек я злюсь на них и прочее... Ну, а почему мы считаем, что кроме нас, людей, больше и жить никто не должен? Захотим — изведем, захотим — помилуем. Отчето мы ни с кем не считаемся-то?

— Мы люди, хозяева земли, — улыбнулся Василий. — А ты как хотел?

— Не знаю. Но ведь и кроме нас есть живые души. Мы вот думаем, что во всем правы. Что правда-матушка у нас в кармане, и больше ее ни у кого нет. А ведь так не может быть.

— А как может? По-твоему, где ей быть, правде?

— А везде, — Иван широко повел рукой вокруг себя. — Везде она рассеяна. В деревьях, в живности лесной, в каждой травинке. Ее в кучу-то собрать никак нельзя. Как нельзя остановить солнце, чтобы светило в одну только сторону. Ты смеешься, поди, а, Вася?

— Да нет, не смеюсь, — ответил тот. — Смеяться сейчас мне не шибко охота. Да и задумываться — тоже. Задумаешься — только душу растравишь попусту. Хорошо деревьям и зверям. Им думать не надо... Ладно, Ваня, пойду я. Спокойной ночи.

Василий ушел, а Иван остался сидеть, потягивая папироску. Выходила Антонина, звала его спать, да уже какой тут сон, когда завтра облава. Весь поселок от мала до велика выйдет, против собак. Растянутся люди широкой цепью и с криками, с улюлюканьем погонят бывших друзей человека на затаившихся в засаде стрелков. Начнется диковинная охота, отродясь в поселке не виданная. Собачья суббота... Ивана вдруг ожгло: суббота-то последняя в августе. День благодарения. Отец свое дерево украшал, благодарил все живое за то, что сам жил и род его не бедствовал. Рано помер отец, ладно, хоть этой облавы не довелось ему видеть. Впору позавидовать... Опустил голову на колени, винясь перед отцом.

Очнулся он от слабого звука во дворе.

Поднял голову, всматриваясь в глубокую тьму у забора, откуда донесся этот странно знакомый звук, и

различил плотный сгусток тьмы, который вдруг шевельнулся и, отделившись от ограды, стал приближаться беззвучной и бесплотной тенью.

Ивана взял озноб.

— Тайгун! — придавленно вскрикнул он перехваченным от ужаса горлом, чувствуя, как болезненно обмякло все тело.

Пес, словно и на самом деле был не живым существом, а тенью, неслышно вышел на середину двора, никак не отозвавшись на голос Ивана, даже не качнув хвостом, сел и стал молча и неподвижно глядеть на хозяина, в самую его душу. Глаз собаки Иван не видел, мрак скрывал их, различал он лишь силуэт Тайгуна, но каким-то особым зрением, которое Иван не первый раз замечал в себе, ощущал странный, вползающий в душу собачий взгляд, полный тоски, немого укора и еще чего-то такого, отчего в комок сжалось сердце.

— Тайгун, поди сюда, — позвал он, холодея, и даже хлопнул рукой по коленке. Это был его обычный жест, которым подзывал кобеля, но живая тень не сдвинулась с места, она словно окаменела и не сводила с него глаз.

Иван сам не знал, зачем позвал Тайгуна, жест его был непроизвольный. Ему хотелось, чтобы пес как-то откликнулся и сломалась бы эта гнетущая молчаливость. Но у того даже уши не дрогнули. И Иван, стыдясь самого себя, подумал, что, наверное, он уж и не имеет права звать к себе пса, поэтому и голос у него не хозяйский, а чужой и виноватый. Даже униженный. Что как бы он ни звал, как бы ни молил, кобель не подойдет к нему. Впору хоть самому ползи на коленях...

— Вот как получилось, брат... — тихо проговорил Иван, склонив тяжелую голову, чтобы не ощущать на лице горячих собачьих глаз, которые так и жгли кожу. — Ты уж меня прости... Плохой у тебя оказался хозяин. Ни к черту... — И защищало глаза, а слез не было. Давно перегорели.

Когда Иван поднял, наконец, глаза, во дворе уже было пусто. Исчез Тайгун. Без звука и шороха, как привидение.

«А ведь он прощаться приходил», — подумалось Ивану, и от этой мысли еще сильнее сжалось сердце.

Поднялся, пошел в дом.

Некоторое время Иван лежал рядом с женой, не зная, как быть: рассказать ей или подождать до утра.

Нет, до утра далеко, а надо еще обсудить: что теперь делать.

Разбудил Антонину.

— Слышь, Тоня, Тайгун приходил.

— Как? Куда? — испугалась жена.

— К нам приходил. Во двор.

— Да ты что-о-о! Тебе не показалось?

— Посередке двора сидел.

— Ты его окликал, нет?

— Я его звал, он не подошел. Сел, на меня уставился, так и сидел. Я отвернулся, потом глянул — его нет.

— Ой-ей-ей... Неужели сбежал от Алексея? Надо позвонить завтра и узнать.

— Тут и узнавать нечего, — угрюмо усмехнулся Иван.

— Плохо, Ваня, если он сбежал.

— Плохо... Плохо — не то слово. Хуже некуда, вот что я тебе скажу. Сколько скотины порвал. Первый на коров-то кидался. Вожак, в общем. Не зря за черного кобеля премию объявили. Только пока никто не знает, что черный кобель — наш Тайгун.

— Узнают, всю поправу на нас с тобой и повесят, — продолжила Антонина отрешенно. — Да еще и неизвестно, возьмет ли тебя Овсянников в свою бригаду. Может не взять.

— Ситников меня живьем съест, — проговорил Иван. — И так уже подозревают. Недавно Андреич спрашивает меня: где твоя собака-то? Я ему: отдал, говорю, Алексею, брату жены. В райцентре, мол, она. А он так загадочно на меня смотрит и вроде не верит. Семка с перепугу не признал Тайгуна, но ведь облава завтра. Значит, и узнается все завтра.

— Что же делать-то, Ваня? — простионала Антонина.

— Не знаю... Ничего я не знаю...

Антонина долго молчала, потом сказала тихо:

— Слышь, Вань, ведь застрелят его завтра?

— Наверно... Всех перебьют.

— А может... нам застрелить его как-нибудь без шума, а? Застрелить и закопать, чтоб никто не видел. А то хоть из поселка беги.

— Как ты его застрелишь, — вяло отозвался Иван. — Где его найдешь-то? Сюда он сегодня не вернется. А облава — завтра.

— А если тебе сейчас в тайгу сходить?

— Мало я ходил. Ищи его там свищи. Сколь искали, ни одной собаки не видели. Как сквозь землю проваливаются.

— Надо что-то придумать, Ваня, — упрямо сказала жена. — Надо придумать, иначе все прахом у нас пойдет из-за этой псины. Придумай что-нибудь. Ради своей семьи.

— Придумай... Заладила. Когда придумывать-то? На облаве полно народу будет. Потихоньку там ничего не получится. Кругом глаза.

— А ты до облавы постарайся, — Антонина ласково гладила теплой ладонью его колючую щеку. — Ты ведь все можешь, если захочешь.

— Как я смогу-то? Ну подумай сама: как?

— А это уж тебе виднее — как. Ты хозяин, глава семьи. Никто, кроме тебя, о нас не позаботится. Кому мы еще нужны?

9

Утром поднялся Иван рано: едва светало. Осторожно, чтобы не разбудить жену, слез с кровати. На цыпочках пошел к двери.

В сенях нацепил патронташ прямо на рубашку, сверху надел телогрейку, взял ружье и потихоньку спустился во двор. Огляделся. Солнце выкатывалось из-за леса умытое, чистое. Воздух был горьковат — осенний уж. Тихо кругом, сонно...

Прислонив ружье к стене сарая, нашел штыковую лопату, привычно пощупал пальцем, остра ли, и стал сбивать ее с черенка. Засунул обернутый тряпичей штык под ремень, чтобы не было видно, заткнул за пояс и легкий охотничий топорик. Вскинул на плечо ружье, запахнул телогрейку. Все. Можно идти. И зашагал в лес.

Отойдя немного, обернулся в сторону поселка, прислушался. Из Счастливики не доносилось никаких звуков, хотя, наверное, и там люди уже проснулись, готовились к облаве. Часа через два выйдут, не раньше, так что время у него пока есть. Главное, нигде не видать людей. Это хорошо. Не таясь, он споро зашагал к поскотине, — зная, что стадо в этот день решили не выгонять, чтобы не помешать облаве. Если и выгонят скотину, то позже, когда все будет кончено. Однако на поляне, у края поскотины, он увидел пастуха Семку, пробирающегося со своей одностволкой в глубь кедрача.

Вот это было совсем некстати. Семка не должен его видеть. Принесла его нелегкая.

Иван потихоньку свистнул.

Семка обернулся и, заметив Ивана, побежал к нему, припадая на хроющую ногу. В руке его дергалось, словно палка, общественное ружье.

— Слышь-ка, Иван, — заговорил Семка сбивчиво, — они тама... — И концом ствола показал на далекий застывший зеленым дымом кустарник. — Тама они лежат. Трава-то высокая, их и не видать. Я уж давно туда гляжу. А ты чё один-то? Где народ?

— Тебя кто просил сюда идти? — спросил Иван со злостью.

— Да никто. Я сам. Чтоб, значит, разведать.

— Разведчик выискался. Давай назад и носу сюда не показывай. Чтоб близко тебя не было. Все испортишь. Понял?

— Понял, — обиженно pokrивился Семка.

— А народ скоро будет, — строго сказал Иван и двинул напрямую к кустарнику, на который показал Семка. Четко соображал: с одной стороны, хорошо, что пастух указал место. С другой стороны — худо. Не станешь же стрелять у него на виду. Значит, надо собак отогнать как можно дальше. И он нарочно, громко шелестя травой, наступая на хрусткие сухие ветви, создавал шум. Пускай собаки услышат его и отойдут подальше.

Оглянулся. Семка, приложив ладонь ко лбу, смотрел вслед. Иван на всякий случай предостерегающе махнул ему рукой: дескать, оставайся на месте. Помощничек... Видно, правду говорят: услужливый дурак хуже врага.

Кусты были совсем близко, и Иван нарочито закашлялся. Сдернул с плеча ружье, щелкнул замком. Собаки его, наверное, слышали, потому что, когда он обогнул кустарник, там было пусто. Иван оглядел местность. Трава кое-где примята, здесь они устраивали свои лежки. Виднелись шерстинки.

«Все нормально, — с равнодушием подумал Иван, — они близко».

Он несколько не сомневался, что собаки слышат его и идут вперед, не показываясь на глаза, и теперь он будет вести их как можно дальше, в кедрач у подножия Синюхи, где мягкие лапы деревьев приглушат звук выстрела.

Иван отошел уже довольно далеко от поселка. За спиной смыкались низкорослые, развесистые кедры с синеватыми шишками на верхушках. Впереди — небольшая чистинка с черничником, за нею — смородиновый остров, увитый желтым хмелем. Густой смородиновый, непролазный, самое место там залечь собакам. Он не сомневался, что собаки именно там, наблюдают за ним из кустов, из высоких трав, слышат и видят каждый его шаг. И тогда он отступил маленько назад, к корявому кедру с низко обвисшими, замшелыми лапами, протиснулся к стволу. Затаился...

Стоя на коленях на пружинистой хвойной подстилке, Иван осторожно прислонил ружье к стволу, судорожно перевел дух, решаясь, как перед прыжком в ледяную воду, набрал в грудь побольше воздуха. Потом поднял ко рту сложенные рупором ладони и заревел по-медвежьи. Заревел протяжно и страшно, с болью и яростью, как раненый зверь. Потренироваться ему ночью было негде. Заревел так ночью в лесу — дома услышат, всех перепугаешь насмерть. И утром, когда проснулся, опасался, что не получится сразу, что не сможет повторить тот давний медвежий рев, а получилось так натурально, столько ярости и силы обнаружилось в хриповатом, надрывном реве, так отчаянно и жутко полетел над тайгой этот вопль, что, казалось, исходил он не из человеческой, а из медвежьей глотки, и Иван почувствовал, как у него шевельнулись волосы на голове.

Проревев медведем раз, другой и третий, он опустил ладони, схватил ружье навскидку и стал глядеть на остров дикой смородины, где должны быть собаки.

— Тайгун! Тайгун! — прокричал он с отчаянием и дрожью, как тогда с дерева у избушки, где караулил медведя-грабителя. Прокричал и придушенно замолчал, потому что сорвался голос.

Затуманенными глазами смотрел он в просвет между ветками, слыша тугие удары сердца, которое словно хотело вырваться из-под ребер. И не успел истаять его призывный крик, как увидел: впереди, в зелени смородинника что-то мелькнуло. Несколько собак выскочили из кустов и, вертя головами, нерешительно остановились. Но сейчас же от них отделился черный кобель и на махах понесся к кедру, под которым затаился с ружьем ни живой ни мертвый Иван.

Тайгун не бежал, он, казалось, летел, едва касаясь

лапами земли, тело его распласталось над травами, над землей и было прекрасно в своем порыве.

«А вот взять его сейчас да уйти с ним вместе в Кольтайгу. В те места, о которых говорила Алтынчач. Уйти и уйти. Его повшут да и успокоятся. Дети взрослые, проживут без отца. И Антонина как-нибудь перенесет. Живет же Катерина-вдовица...»

Мушка стволов уперлась Тайгуну в лоб на самом взлете, когда он, перемахивая через кусты, распластался в воздухе, но сил нажать на спуск не было: палец задервенел на крючке, не сгибался.

Надо было решаться в ту или иную сторону, и решаться сию минуту, потому что далеко, у края посекотины слышался уже гомон людей, крики, пронзительный свист и улюлюканье.

Иван опустил ружье и прикрыл ладонью набухшие слезами горячие глаза.

Облава приближалась.

## ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

В пятницу, после обеденного перерыва, к бригадиру механического участка Семену Табакаеву, высокому, пожилому мужику с вислым носом и стеснительными глазами, подошел токарь Анатолий Долгов и попросил отпустить его с работы пораньше.

Токарю Долгову за сорок, но столько ему сроду не дашь. Лицо у него на удивление млажаемое, туго обтянутое бурой, загорелой кожей — совсем еще свежее лицо. Такие лица бывают у людей непьющих и некурящих. Ни морщин на высоком, с залысинами лбу, ни складок, ни мешков под черными глазами. В иные глаза посмотришь — и всего человека видать, сразу знаешь, кто он и как себя с ним вести. Анатолию же сколько в глаза ни смотри — ничего не вымотришь: затенены они у него занавесочками. Ничего не увидишь в смоляной густоте зрачков, кроме своего отражения. Телом он плотен, но не тяжел, в его чуть скованных, скуповатых движениях дремлет затаенная сила, которой развернуться пока не пришел час, но уж если придет, то неизвестно еще, хорошо это будет для других или плохо. Кажется, именно для того часа и бережет Анатолий тело и душу, не хочет их в чем-то истратить. Случись на участке какой спор среди мужиков, никогда не встрянет, пока его не попросят. Рассуждать умеет



умно, но лишнего от него не услышишь. Он и говорит медленно, тягуче. Скажет и помолчит, не сразу выпустит из себя следующее слово, наперед хорошенько обкатает его в себе со всех сторон. И даже в одежде у Анатолия обдуманый порядок. Синяя спелочная куртка чиста, не замаслена, как у других станочников, и ботинки у него из толстой, не знающей износу кожи, с сыромятными ремешками вместо шнурков. Далеко можно уйти в таких ботинках. Посмотрит на него свежий посторонний человек и подумает: на долгую жизнь нацелился мужик, словно при его возрасте он еще только-только начинает ее, — и самое главное у него впереди. Но это для свежего глаза. А на участке он примелькался: человек как человек, и токарь неплохой, вот только подойти к нему без нужды, просто так — шуткой перекинуться или поговорить о пустяках — не подойдешь, что-то остановит.

Семен знал, что у Долгова где-то в деревне дача. Иногда по пятницам он отпрашивался то крышу покрасить, то забор подремонтировать, и Семен обычно не отказывал. Почему не отпустить человека на часок-другой, если он самостоятельный, надежный и бригадира не подведет? С утра Анатолий, конечно же, поднажал, благо на перекуры время терять не надо, и с заданием справится, можно не проверять, тем более, что норму он всегда дает, а в конце месяца, когда участок лихорадит, охотно остается сверхурочно. Ничего худого в своем послаблении бригадир не видел. Наоборот, считал: сделаешь добро человеку — оно не затеряется, вернется когда-нибудь сторицею.

Отпустить-то его Семен и на этот раз отпустил, да только вдруг неожиданно для самого себя и ляпнул:

— Хоть бы пригласил на дачу-то...

— Так поехали, Семен Иванович, — вырвалось у Долгова без всякого раздумья, будто он давно дожидался этой просьбы и готовый ответ у него был под рукой. — В чем же дело? Берите супругу, сына — и к нам. Как говорится, всей семьей.

— Да надо будет как-нибудь выбраться, — немного растерялся Семен, морща виноватой улыбкой вислый нос.

Набиваться к Долгову в гости, тем более с семьей, — он и в мыслях такого не держал, и с языка-то слетело шутливо: мол, с тебя причитается. Все так говорят,

когда окажут человеку какую-нибудь малую услугу, и говорят не затем, чтоб сорвать, а просто такая словесная игра. Однако Семен тут же и подумал, что в этой игре есть дальняя мысль: мне, мол, от тебя ничего не надо, но ты мою доброту все-таки помни. И ему стало неловко. Да он и не ожидал, что Анатолий уцепится за его слова. Думал: ну, пригласит между прочим, а он так же между прочим и откажется. Игра есть игра... Но, видать, играть-то еще и уметь надо. В голосе Анатолия слышалась не та прохладная вежливость, когда язык говорит одно, а голова думает совсем другое, нет, Анатолий приглашал, кажется, искренне.

Задумался Семен. Легко сказать: бери супругу. Вдруг Ираиде не захочется тащиться на дачу к мало-знакомым людям, и получится неловко: сам напросился, а потом на понятную. Вот и думай теперь, как быть.

— Зачем тянуть? — не отставал Анатолий, обиженно улыбаясь, видя, что бригадир сомневается. — Давайте по-деловому. Завтра утром садитесь в электричку. Остановка — Залесиха. Ехать всего сорок минут. Правда, от станции до деревни еще три километра лесом, но мы вас на машине встретим. Все будет в норме. Не пожалеете, Семен Иванович. У нас там лес, речка. Отдохнете на вольном воздухе. Чего пыль в городе глотать?

Вечером Семен передал этот разговор жене, и та неожиданно заторелась:

— Поехали, раз приглашают. Посмотрим, какие у твоих работяг дачи. Своей нет, так хоть на чужой побываем.

Сын Игорек ехать за город отказался. По субботам он ходил на платные курсы гитаристов, и его неводить не стали: пусть идет туда, где ему интереснее. Да это, пожалуй, и лучше, что отказался. Может, из вежливости всех пригласили, а вы и рады стараться, прикатили всем табором. Сказать так не скажут, а подумают.

Утром собрались с Ираидой — и на электричку.

Анатолий сдержал обещание: ждал Табакаевых на своем «Москвиче» возле станции. Не быстро, то ли затем, чтобы гости могли полюбоваться из окна сосновым лесом, то ли просто берег машину, но доставил до места, где жена его, Галина, остроносая суетливая женщина, пригласила в дом к накрытому столу.

Как водится, выпили и закусили, а разомлев, вышли на волю, к березовому лесочку.

На удивление хороша оказалась Залесиха. Из заливого солищем березняка все усадьбы, спускающиеся к реке, видны как на ладони, хоть план рисуй. Дома сплошь новые, высокие, как у Анатолия, и отделаны затейливо. Ставни, наличники окон, резные карнизы и коньки на крышах раскрашены пестро, у каждого по-своему. Игрушечная пестрота эта была неожиданна и радовала глаз, но Семен, хотя он и не был деревенским человеком, отметил про себя, что дома эти высокие и большие, поставлены не для жизни, а для забавы. Под облицовочными плашками нет теплых срубов или кирпичной кладки — только опилки или пустота. Вот те старые, исконные избы, что соринкой в глазу затесались между пестрых теремов, — неприметны с виду, серы, но как раз в их ничем не украшенных бревенчатых стенах зимой тепло и надежно, как и должно быть в настоящем доме, думал Семен, разглядывая деревню.

По домам старался определить, кто хозяин: городской или деревенский, богат или не очень. Может, и неточно, но казалось, что это ему удается. Зато сады и огороды ничем не отличались друг от друга. Все они лежали в щедрой зелени, и Семену подумалось, что для земли все равны — и деревенские и городские. Земле не требовались дорогие, не всем доступные материалы. Какая ей разница, кто ты и откуда, главное — приложи старание, и она отзовется на усердие. Мудра она, неподкупна...

Семен удивился своим мыслям. Никогда раньше о земле он не думал, потому что редко видел ее. В городе замусоренная, утоптанная до каменности земля, огороженная чугунными решетками в скверах, казалась ненастоящей. Только здесь, в деревне, земля была вольной и поэтому щедрой. Она убегала от домов вниз к реке и продолжалась за рекой, очеркнувшей ее, уже совсем вольная. Там начинались заливные луга. Они уходило далеко-далеко и терялись в мягкой сиреневой дымке.

Хорошо было смотреть отсюда, с лесистого взгорка, в ничем не ограниченную даль. В городе, куда ни посмотри, взгляд упрется то в стену соседнего здания, то в заводские трубы. Здесь же нигде не ощущалось предела, и от этого в голову приходили мысли широ-

кие, неожиданные для Семена. Душа отдыхала в покое.

Залесиха прежде была бригадой колхоза, центральная усадьба которого и поныне стоит за лесом. Хозяйство было довольно крепкое, пока не протянули тут пригородную ветку. Многие мужики устроились на заводы и каждое утро ездили в город на электричке. Сорок минут не так уж много, иной горожанин до работы дольше добирается. А потом бывшие колхозники получили в городе квартиры и совсем расстались с Залесихой. Живи, родная деревенька, как знаешь. Мы уже не твои!

Захудала бы вскоре Залесиха, да другая судьба была ей уготована. Сейчас уже трудно сказать, кто первым из горожан приглядел себе здесь место для дачи, но человек этот был прозорливый и большого размаха. Он так рассудил: зачем лепиться на крохотном участке общих дач, где земли дается в обрез, лишь на несколько грядок, а на жилье уже и не остается, приходится довольствоваться будочкой, где с семьей не повернуться? То ли дело в Залесихе! Простор, земли — вволю. Строй какой хочешь терем, сажай что хочешь и сколько хочешь. Широкая натура была у того человека, ничего не скажешь. За ним потянулись сюда и другие. Наезжая в выходные, они приглядывались к избам, присценивались. Бывшие колхозники за избы свои просили немного. Им хотелось поскорее продать недвижимость, чтобы развязаться окончательно с Залесихой. Избы переходили в другие руки, и сразу начиналось строительство. Новые хозяева подвозили шифер, доски, кирпич, даже панели для стандартных домов. Прошло время, и старых изб осталось совсем мало. Дачи-терема вытесняли их. Да и коренных жителей тоже становилось все меньше, оставались тут одни старики да старухи. В будние дни Залесиха теперь дремала, тихая, безлюдная. Но едва наступали выходные или праздники — и пыль клубилась над дорогой: катили дачники. Стучали топоры, визжали пилы, слышался веселый говор людей, перебивающих вековой устой старой Залесихи на свой лад.

...Анатолий посмотрел на разомлевшего Семена.

— Вот как тут у нас, красота какая! — протянул он, счастливо щурясь, и повел рукой вокруг себя, чтобы бригадир все посмотрел, ничего бы не пропустил, и такая горделивая улыбка была на его лице, словно все это благолепие он сам сотворил, никто другой.

Семен морщился в улыбке, ничего не скажешь, хорошо в Залесихе. Недаром со всех сторон стучат топоры, стучат торопливо, будто боятся отстать один от другого. На худом месте люди не стали бы строить.

— Ой, да что красота, — сказала Галина с досадой и покосилась на мужа. — Разве одной красотой сыт будешь? Возьмем те же овощи. Поди купи на базаре пучок зеленого луку! Я как-то зашла прицениться... И почему вы думаете? — спрашивала она Ираиду, а сама косилась на Анатолия, как бы проверяла по мужнинному лицу, то ли она говорит. — Тридцать копеек! Укроп — пятнадцать. Это ж подумать только! А огурцы, помидоры... Не те, которые в ларьке, а свеженькие, с грядки... Да что говорить, сами знаете. Не больно-то купишь. Разве так, побаловаться... А тут все свое. И редиска, и лук, и огурчики. Ешь — не хочу. А грибов сколько! Верите, Ираида, осенью в этом березняке опять хоть литовкой коси. Ей-богу, не вру. Вот пусть Анатолий скажет. — И, заметив одобрительный мужнин кивок, продолжала: — В ту осень засушили, всю зиму горя не знали. И варили, и жарили заместо мяса. Мясо-то нынче тоже кусается, так вот с грибами и перезимовали. Да они, грибы-то, еще полезней мяса, от них не полнеют... Нет, мы довольные, что дачу купили. Не знаю, как бы без нее и жили.

Раскрасневшаяся Ираида смотрела на лежащую внизу Залесиху и слушала рассеянно, качая головой в такт словам Галины, показывая, что она все слышит и всему верит, но занята она была чем-то своим. Семен видел: какая-то мысль вызревала у жены, и он даже сообразил какая.

— Живут же люди, — проговорила Ираида со вздохом и обернулась к Галине, глядя на нее с завистью и явно поворачивая разговор в нужную ей сторону.

— А чего? — подхватила та, снова покосившись на мужа. — Покупайте и вы себе дачу. Где-нибудь рядышком с нами. И нам веселее будет. Свои ведь люди, в случае чего помочь друг другу можно. Свои есть свои...

Галина быстро огляделась по сторонам и, понизив голос, будто ее мог услышать кто чужой, горячо зашептала:

— Вои глядите, через забор от нас старуха живет.

Усадьба у нее больно хорошая. Тут возле нее многие крутились, да старуха упирается, не продает. У нее купить — это бы да-а...

Семен поглядел туда, куда глазами указывала Галина, и увидел за забором приземистую избушку с вросшими в землю перекосившимися окнами. Крыша избушки была не видна, ее полностью накрыли ветви черемухи, такой огромной и развесистой, что, казалось, не старость, а тяжелые ветви так придавили избушку, вогнули ее в землю.

— Очень уж старая, — с сомнением сказал Семен. — Ее купишь, а она возьмет да завалится.

Галина снисходительно усмехнулась и поглядела на мужа.

— Это неважно, — улыбнулся Анатолий. — Тут у нас как делают... Покупают усадьбу. Глядят, чтобы участок был большой. А избушка что? Ее все равно ломать да новый дом строить. Неужели вы будете жить в такой конуре? Ясно, что не будете. Так чего на нее глядеть? Мы ведь тоже так. Сторговали плохонький домишко. Вроде этого, Петровниного. Отстроили новый дом, а старый снесли. Так что глядите, Семен Иваныч, глядите... Галина дело говорит.

— А продает она усадьбу, эта Петровна? — как бы между прочим поинтересовалась Ираида. — Ведь, говорите, упирается.

— Продаст, продаст, — зашептала Галина, обрадованная поддержкой. — Не сразу, конечно, походить за ней придется, но продает. Ей ведь за семьдесят, Петровне-то. Разве с ее силами тут управиться? А у нее дочь в городе. Переселить ее туда — и весь разговор. С детишками нянчиться.

— Если вы надумаете, — заговорил Анатолий, глядя по очереди то на Семена, то на Ираиду, — бабу мы уж как-нибудь обработаем. Никуда она не денется.

— Ну, хозяин, что скажешь? — подталкивала Ираида Семена не только словами, но и улыбкой, и голосом, в котором теплилась надежда.

Семен замаялся. Слишком уж неожиданно все вышло. Да и денег лишних не было: недавно взяли мебельный гарнитур. Лежали, правда, в шифоньере, под стопой белья, триста рублей, так это жене на шубу. Если Ираида на них рассчитывает, то здесь ведь явно не тремя сотнями пахнет.



— Даже не знаю... — уклонился он от прямого ответа. — От станции все же далековато.

— Гляди-ка, чего он испугался. Пешком боится ходить, — Ираида посмотрела на Долговых, приглашая их в помощь. — Да хочешь знать, пешком ходить для здоровья полезно.

— Ага, врачи рекомендуют, — поддакнула Галина.

— Это в охотку пройтись ничего, — упрямылся Семен. — Когда солнышко светит и тепло. А тепло-то не круглый год будет. Дожди начнутся, снег, слякоть... Не знаю, — с сомнением качал он головой и морщился. — Надоест. Сама потом скажешь.

— Дело, конечно, твое, — медленно, раздумчиво заговорил Анатолий, — да как бы не прозевать. Народ сюда валом прет. Надумаешь, да поздно будет. — Он неожиданно перешел на «ты», и Семен не удивился такому переходу. С рабочими панибратства Семен не любил. Разговаривал он всегда с ними тихо и мягко, никогда не повышая голоса, даже если кто и провинится, и только на «вы». Считал, что бригадира нельзя мешать в одну кучу с рабочими. У бригадира какая ни есть, а власть, которая без уважения — ничто. Вежливое «вы» удерживало и его самого и рабочих на своих местах, не давало перешагнуть разделяющую их грань. Но сейчас была другая, нерабочая обстановка. Анатолий, кроме того, что принимал его у себя в гостях, вроде бы возвысился над ним еще и потому, что уже имел опыт покупки дома. Он мог говорить с гостем не только как с равным, но и снисходительно. Сейчас старше был тот, кто опытнее в подобном деле, и Семен, понимая это, не обиделся, пропустил долговское «ты» мимо ушей. Ждал, что будет дальше.

— Насчет того, что далеко, — продолжал Анатолий. — Так мы можем сюда и вместе ездить. В машине четверым не тесно. Это мелочь. Большой выгрыш можешь прозевать. Вот давай рассуждать. Я за свою развалюху отдал шестьсот рублей. Так? — Он значительно помолчал, давая Семену возможность осознать сказанное и проследить, куда поведет мысль дальше. — А теперь... — Анатолий посмотрел на свой дом так, словно увидел его впервые, даже легкое удивление обозначилось на лице. Потом посерьезнел, сощурившись, окинул дом уже новым, трезвым, оценивающим взглядом. — Теперь, худо бедно а при случае две-то тыщи возьму.

Это уже как закон — возьму. Дача-то — она как сберкнижка. И даже лучше. Понемногу подстраиваешь — то веранду, то беседку... В огороде помаленьку ковыряешься, а цена растет.

— И овощи с огорода имеешь, и цена растет, — обрадованно поддакнула Галина, уважительно посмотрев на мужа, а потом уж на всех остальных. Вот, мол, у кого учиться надо, вот кто понимает толк в жизни.

— Я и говорю. Свое подсобное хозяйство. Без него туго. Да и недвижимый капитал — тоже вещь не из последних. С ним как-то надежнее, — подвел итог Анатолий.

Ираида молчала, ждала, что скажет Семен, но тот ничего не говорил, прятал глаза.

— От моего разве чего путного добьешься... — скорбно сказала Ираида. — Ему у нас ничего не надо. Он только сегодняшним днем живет. — Она безнадежно махнула рукой и отвернулась.

Долговы неловко молчали, понимая, что ссора начинается из-за них.

— Ну так что? Может, сходим к ней? К старушке этой? — спросила Ираида, обращаясь к поскучевшим Анатолию и Галине, и посмотрела на мужа с таким обещанием, что он догадался: вечером жена выскажет ему все, что постеснялась сказать здесь, на людях.

— А, пошли! — с вызовом засмеялась Галина, подхватила Ираиду под руку, и они, не оглядываясь, зашагали к калитке Петровны.

Семен нервно закурил.

— Чего сомневаешься? — ласково укорил его Анатолий. — Жена твоя — баба умная. Сразу поняла, что к чему. Потом благодарить будешь. Пошли поглядим, что ли?

— Давай, — вяло отозвался Семен.

Идя вслед за женщинами, он видел, как Галина, тесно прильнув к его жене, что-то говорила ей. Слов он не мог разобрать, да и не прислушивался. Знал уже, что она могла сказать, и в нем зрело раздражение и к хозяевам, и к Галине, и к себе самому.

Черемуха в соседнем дворе вблизи оказалась прямо-таки огромной. Она не только закрывала крышу, но и образовывала густой, плотный навес над крыльцом и над скамейкой подле крыльца. Там, под живым навесом, несмотря на полуденный зной, было сумеречно и



прохладно. На морковной грядке перед избушкой сидела на корточках старуха в белом платке и выпальывала сорную траву. На скрип калитки она подняла голову и, увидев идущих к ней людей, тяжело встала, отряхивая подол от приставших комочков земли.

— Живая, Петровна? — окликнула ее Галина. — Чего в такую жару работаешь?

— Кака там жара, — негромко откликнулась старуха, приглядываясь к незнакомым людям. — Меня уж и солнышко не греет.

— Ну все равно. Полежала бы лучше, отдохнула.

— Успею, належусь...

Галина помолчала, оглядела двор.

— А я вот тебе покупателей привела, — новым, веселым голосом заговорила она, поворачивая разговор к делу.

Старуха озадаченно посмотрела на нее.

— Каких покупателей? Я рази тебя просила?

— Так, говорят, продавать надумала, — хитрила та.

— Кто говорит?

— Как «кто»? Люди. Вот я и привела. Вдруг да сторгуется.

— Не знаю. Ты че-то путаешь.

— Да ничего я не путаю. Люди-то вот они стоят.

— Ну дак пусть стоят. Я никому не сулила.

Семена обдало жаром.

— Пойдем, — шепнул он Ираиде, но Галина стояла близко. Услышала, сделала знак, чтобы не глумили.

— А то поговори с людьми, — наставвала она. — Люди хорошие, не обманут. Чего тебе на старости лет с огородом мучиться? А дрова на зиму заготавливать, а воду из-под горы таскать? Мыслимо ли дело в твои-то годы? Ухайдакаешься да и сляжешь. Перебиралась бы к дочери в город, а денежки на книжку. Квартира у Зинки благоустроенная, жила бы в свое удовольствие. С детишками бы нячилась. На всем бы готовом жила, — гнула Галина свое, думая, что Петровна колеблется, а значит, надо не дать ей опомниться, навалить слов побольше, чтобы они перевесили сомнения. — Забот бы не знала...

Старуха, непонятно усмехнувшись, перебила:

— Дак без забот-то, наверно, не бывает. Как же без них жить-то? Я про такую жизнь не слыхала.

— Ну все-таки там легче, — сбилась с тона Галина. — Здесь чего хорошего? Я бы, Петровна, на твоём месте давно бы уж все бросила да уехала.

— Уехала... быстрая какая... Куда я отсюда уеду, когда у меня тут все? — Старуха замолчала, переводя взгляд с одного лица на другое, словно выбирая, кому сказать то, что подступало из души, и Семен почувствовал: ему скажет. Так и есть: она смотрела на него. И не выпуская его глаз, не давая уйти в сторону, шагнула к нему: — Куды ж я поеду-то? Ну... Я ведь тут родилась. Да вот опять же черемуха. Кто за ей будет приглядывать? — в глубоко запавших Петровниных глазах была такая тоска, что Семену стало не по себе. — Ванюшка-то, когда на фронт уходил, вот и притащил из лесу эту черемуху. Маленький был кустик, листочки зеленые... — говорила старуха Семену. — Чего ж ты, говорю, притащил-то ее? Кто же летом пересаживает? А он смеется, Ванюшка-то... «Пускай она, маманя, заместо меня останется. Эта черемуха...» Ну, посадили. — Петровна вздохнула. — Землю под ей рыхлила, поливала, обхаживала. Думала, не приживется. А она пошла и пошла в рост. Прямо дивно... Ванюшка-то как в воду глядел. Заместо себя, говорит, оставляю... Не надо было ему так говорить. Не надо... Вот теперь вместо сынка и обхаживаю дерево. Только руки шибко болеть стали. Прямо спасу нет. — Старуха посмотрела на свои костлявые, бурые, похожие на крученые корни руки и опять вздохнула: — Сяду на скамеечке и плачусь Ванюшке. Про все-е ему рассказываю. Листочки шелестят — он ровно слушает меня, жалеет. Посижу маленько — и опять жить можно. Вот так и живем с ей, с черемухой...

— А ты бы в гости приходила, — не сдавалась Галина. — Разве им жалко? — кивнула на Табакаевых. — Живые ведь люди. Все понимают. Как, Ираида? Правильно я говорю?

— Конечно, конечно, — с готовностью подтвердила Ираида. — Пожалуйста, в любое время. Приходите и сидите сколько хотите. Мы только рады будем, — и оглянулась на мужа. «Чего молчишь, подтверди», — говорил ее взгляд, но Семен стоял безучастно, будто все, что тут происходило, никак его не касалось. Что-то с ним сейчас творилось, и он прислушивался к себе, пытался это понять.

— Изба не течет? — бойко спросила Галина. — Зайти можно? — и подмигнула Иранде, мол, не робей, авось и выгорит дело-то.

— Заходите, не заперто, — глухо ответила Петровна, стоя посреди двора и не зная, куда себя деть.

Женщины пошли в избу. Семен было отстал, но Галина бесцеремонно потащила его за рукав, и он покорился.

В избе стояла, как показалось Семену, какая-то музейная чистота и тишина. Аккуратно побеленная русская печь занимала половину горницы. Простой стол, накрытый цветастой клеенкой. Скамья с ведром воды на ней и ковшем. В дальнем углу стояла железная кровать, застеленная лоскутным одеялом. Чем-то давним, полузабытым, родным повеяло от этого вылинявшего одеяла. Цвет лоскутков угадывался слабо, и так же слабо, безцветно, словно из тумана, проглянуло из памяти лоскутное же одеяло, которым в детстве его укрывала мать. Он уже не помнил, какого оно было цвета, цвет вылинял в памяти, да и лицо матери стояло перед ним зыбко, как в тумане, он только помнил прикосновение рук матери. В комнате предутренний мрак, холод забирается под лоскутное одеяло. Сквозь сон он чувствует: на край кровати садится мать, слышится слабый ее голос: «Вставай, Сема, пора... Вставай, сынок...» Она будит его на работу, будит голосом тихим и тревожным, а руки ее подтыкают под бока сыну одеяло. Горько, наверно, было матери будить его, малолетку, но такое время было — война. И она каждое утро будила его голосом, а руками, теплыми и ласковыми, ублаживала...

Лоскутное одеяло, которое он сейчас увидел на старухиной кровати, потянуло из памяти другое время и другие лица. Семен огляделся и в простенке, между кроватью и лавкой, увидел пожелтевшие фотографии в общей деревянной раме, где был собран весь род Петровых. Там были и старики, и старухи, держащие на коленях детей. Потом эти дети, уже повзрослевшие, стояли возле сидящих на стульях стариков. На других снимках можно было узнать мужчин и женщин, сохранивших в себе еще что-то детское. Но стариков рядом уже не было. Только в их детях неуловимо жили родительские черты. В центре рамы вставлен был небольшой любительский снимок стриженного солдата в крас-

ноармейской гимнастерке. Простое русское лицо, в котором явно угадывалось сходство с Петровной...

«Ванюшка», — понял он, не в силах оторвать взгляд от этого лица. Странное, тягостное чувство испытывал Семен, глядя на давно ушедших из жизни людей, которые, казалось, смотрели со стен строго и недовольно... И это, наверно, почувствовали все, потому что сразу же потихоньку пошли вон.

Старуха по-прежнему стояла посреди двора, глядя на реку, в никому не ведомую даль.

— Ну так как, Петровна? — окликнула ее Галина. — Сговоримся мы с тобой, нет? Люди надежные. Они бы и перевезли тебя к дочери. Честь честью. Разве мыслимо в таком возрасте одной? Не дай бог, захвораешь — воды подать некому.

— Куда уж мне переезжать, — сказала старуха, не глядя на нее. — Оборву корешки — нигде уж не приживусь. Вы меня не судите. Мне недолго осталось-то...

— Кто тебя судит, бог с тобой. Ты вот что, Петровна... Людей хоть обнадежь. В случае, если надумаешь продавать, так только им. Чтоб люди надеялись, — выторговывала Галина хоть краешек надежды.

— Пускай надеются. Разве я перечу?

Так ничего и не добившись от старухи, вернулись на дачу Долговых.

Настроение у всех от бесплодного разговора подпортилось, и Галина не захотела снова устраивать застолье в доме. Она связывала неудачу с местом. Теперь в доме об этом даже стены напоминали, и она вынесла стол во двор, под навес, чтобы на новом месте, не испорченном ничем, и разговор мог продолжаться по-новому, и в голову могло прийти то, что в доме уже не придет.

Выпили, закусили, и снова всем стало хорошо.

— Ничего, — утешала гостей воспрянувшая духом Галина. — Главное, носы не вешайте. Провернем мы это дело. Вы уж мне поверьте. — Она доверительно склонилась к Иранде. — Тут вот что надо. К дочери ее сходить. К Зинке. С ней поговорить. Я слыхала, она давно зовет мать. Запиши-ка ее адрес. Она недалеко от вас живет. И деньги помаленьку готовь.

— А сколько она может запросить? — поинтересовалась Иранда, записывая на клочке бумаги адрес Петровниной дочери, и даже карандаш придержала.

— Рублей семьсот, — сказал Анатолий и, подумав, добавил: — Но тыщонку на всякий случай иметь надо. Вдруг бабка заломит. Не слепая... Понимает, что на ее усадьбу многие зарятся.

— Пусть зарятся, — заговорщицки подмигивала Галина, уже немного захмелев. — Если я сказала, что наша возьмет, то, значит, возьмет. Пусть Анатолий скажет... — И дергала мужа за рукав. — Скажи им, Толя. А то они, может, не верят...

Анатолий уже и рот раскрыл, чтобы поддержать жену, но ничего не сказал. Он прислушался и встревоженно повернулся в сторону ворот, которые вдруг распахнулись во всю ширь, и в проеме, как в раме, возник мужик.

Мужик, качаясь в воротах, обзирал раскинувшийся перед ним двор. Застолье он обнаружил не сразу, но вот его ищущий взгляд затвердел: нашел... Мужика будто подтолкнули сзади, и, бережно переставляя ноги, он двинулся напрямик к столу.

— Что-то рано он по дворам пошел, — раздраженно проворчала Галина. — Он ведь под вечер собирает свои налоги, а тут не дотерпел. В обед приперез.

— Ладно, Галя, ладно, — тихо проговорил Анатолий, тоном соглашаясь с женой. — Куда от него денешься. — Он посмотрел на гостей, как бы извиняясь перед ними, улыбнулся идущему к ним мужику и заранее встал.

— Здоровы были, хозяйева, — сипловато поздоровался мужик безо всякой ответной улыбки, будто оказывал честь своим приходом.

— Здравствуй, Кузьма. Здравствуй, дорогой. — Анатолий поздоровался с ним за руку, после чего представил гостям: — Это Кузьма. Здешний житель, — и поднес наполненный Галиной стакан.

Лицо у Кузьмы было старое и мятое, в глубоких складках, хотя был он, по-видимому, еще не старый. В отличие от Анатолия, ему на лицо кожи было отпущено больше, чем надо, и когда они стояли рядом, это особенно сильно бросалось в глаза. Пиджак на Кузьме тоже был старый и мятый, но это его, как видно, насколько не смущало. В этом пиджаке, приспособленном на все случаи жизни, он, наверное, и работал и гулял, и поэтому не стыдился его, как не стыдятся спецовки.

Кузьма вытер руки о пиджак и взял стакан негнущимися пальцами, держа осторожно, бережно.

— Ну, будем! — сказал он деловито и стоя выпил. Только после этого сел на пододвинутый Анатолием стул и потянулся к закуске, но потянулся как-то равнодушно, будто выполняя не слишком важное, но необходимое дело.

— Это кто у тебя? Родня, че ли? — спросил он Анатолия, кивая на гостей, которые тоже приглядывались к новому человеку и силились понять, чем же знаменит этот местный житель и отчего Долгов, хоть и мучается, а все же принимает его и даже вроде старается ему угодить.

— Это хорошие знакомые, — ответил Долгов.

— Тоже с завода?

— С завода.

— У Петровны-то вы че были? Покупать примерялись?

— Примерялись, — скупно отозвался Анатолий. Пускать в разговор Кузьму ему явно не хотелось.

— Ну, и как она? — нажимал Кузьма.

— Никак. Не желает.

— Никуда не денется, — знающе проговорил Кузьма. — Против вас разве устоит?

— А это уж я не знаю, устоит или нет, — с заметным раздражением отрезал Анатолий и, чтобы сбить Кузьму с ненужного разговора, демонстративно наполнил его стакан и пододвинул к самому носу. Ты, дескать, пей и закусывай, а куда не просят — не лезь, без тебя разберемся.

Но тот пить больше не стал. Отломил крохотный кусочек сыру, остаток положил обратно. Вылез из-за стола, вытирая руки о лоснящийся на боках пиджак.

— Спасибо, хозяйева, спасибо... Идти надо, — засипел он деловито. — Уж не сердчайте. Вы у меня тут-ка не одни. Надо еще кое-кого проведать. Не обидеть...

— Так, может, здесь выпьешь? Какая тебе разница, где выпить? — вежливо улыбался Анатолий.

Но Кузьма его уже не слушал, досадливо хмурился, будто Анатолий мешал ему удержать какую-то свою мысль. Деловито прищурившись, он смотрел на Семена.

— Значит, так... — заговорил он раздумчиво. — Беру я по пятерке в день. Ну, и харчи твои. Это уж как

водится... Да вот Натоллий все тебе скажет. А искать меня... — Кузьма показал рукой на нижине дома. — Во-он там живу. У любого спросишь — покажут.

Он ушел неожиданно твердой, деловой походкой, не забыв запереть ворота и ни разу не оглянувшись.

Анатолий проводил его прищуренным взглядом и, отвечая на немой вопрос Семена, сказал:

— Не любит нашего брата... Не любит. А без нас тоже не может. Кормится за наш счет. Огороды нам пашет, дома строит... Так что и тебе без него не обойтись, без этого бюро добрых услуг. Ты запомни, что он сказал. Пригодится.

От Долговых Семен с Ирандой выбрались уже под вечер.

В электричке Иранда долго молчала, наблюдая в окно проносящиеся мимо темные сосны, уже набухшие от сумрака, потом сказала, будто возвращаясь к прерванному разговору:

— Я считаю, надо брать.

Семен даже не спросил, о чем идет речь. Оба они сейчас думали об одном и том же.

## 2

Едва открыли дверь и вошли в коридор, как в носшибанул спертый дух, в котором Семен выделил запахи табачного дыма, еды, разогретых весельем человеческих тел. Запахи эти, смешиваясь, давали тот знакомый каждому дух, который, стойко впитываясь в стены, долго еще напоминает о прошедшей в доме гулянке.

Семен подозрительно повел вислым носом.

— Курили.

— Да ты что! — Иранда даже остановилась, не успев подойти к вешалке. Шумно потянула воздух и легко, как бы снимая мужнину напряженность, засмеялась: — Где курили?

— Здесь.

— Тебе показалось. Сам накурился, от тебя и несет, как от пепельницы. Нос большой, а чувствуешь плохо.

— Со свежего-то воздуха я чувую.

— Перестань, — сердито одернула его жена. Торопливо включила свет и, не раздеваясь, заглянула в комнаты, ища Игорька.

— Значит, не накурено? — спросил Семен.

— Нет.

— Ладно, — обещающе согласился он. — Пусть будет по-твоему. — И решительно, не скинув даже сапог, направился в кухню. В другое бы время Иранда прикрикнула на него как следует, пройдишь он по комнате в сапогах, но сейчас даже слова не сказала, молча двинулась за ним.

В раковине навалом лежала грязная посуда, и Иранда глядела на нее растерянно. Семен, не обращая на жену внимания, нагнулся, поднял закатившуюся под стол винную пробку, швырнул ее туда же в раковину.

— Посуду не мой, — жестко сказал он. — Не вздумай. Придет — сам вымоет. — И тяжело опустился на стул.

Он молчал. Затихшая Иранда стояла рядом, она, кажется, слушала, как гулко отдается в тишине удар капли, и ничего Семену не говорила, а это был верный признак, что и она все поняла, и тоже переживает.

«Она мать, ей труднее», — подумал Семен и мысленно простил ей неловкую попытку скрыть то, что здесь произошло. В его памяти как-то исподволь снова всплыло воспоминание: мать голосом будит, а руками подтыкает под бока одеяло, для чего-то бережет ему тепло. Это воспоминание теплой волной плеснулось в душу, смягчило Семена.

Иранда словно почувствовала мужнино участие, заговорила надтреснутым, горестным голосом:

— Я вот что подумала, Семен... Дачу брать нам все-таки придется. Хотя бы ради Игорька. — Она заметила, что муж прислушивается, поднял голову. Особенный горестный тон насторожил его, и она заторопилась, опасаясь, что муж оборвет и не даст высказаться. — Все-таки пятнадцать лет сыну. Возраст, сам знаешь, какой. Вместо того чтобы по улицам болтаться, сидел бы он на даче, от дружков своих подальше. А то доведут они его...

— Если голова на плечах есть — не доведут, — глухо проговорил Семен. — Не маленький, слава богу, сам должен понимать.

— Много ты понимал в его возрасте?

— Да я уж понимал! Я-то понимал! — взорвался Семен. — Я в его годы на заводе вкалывал. Матери помогал. Не шлялся с гитарой по дворам. Некогда мне



было шляться. Об жратве надо было думать. Голодный-то не сильно забренчишь на гитаре.

— А при чем тут гитара? — раздраженно спросила Иранда.

— При том, что детство у меня не такое было. Впроголодь жили. Не до гитар было.

— Слышала... Тарелки лизал по столовым.

— И лизал! — взвился Семен. — И ты меня этим не попрекай. Пока на завод не устроился, лизали с братом тарелки в столовых. И нисколько мне на стыдно. Было? Было! Я это помнить буду, покуда живой. Поэтому-то я знаю, чего стоит кусок хлеба. Отец у меня работяга был. Ушел на фронт — ничего не оставил, никакого богатства. Вот и выкручивались как могли, чтобы с голоду не пропасть. Не то что вы.

— А я виновата, что мы хорошо жили? — обиделась Иранда. — Чего ты на меня взъелся?

— Ты не виновата. Я про это ничего не говорю. А только лучше было бы, если б вы тоже жили бедно. Тогда бы мы с тобой понимали друг друга. Что ты с пацаном делаешь? Какого ты из него барина воспитываешь? Кем он у тебя будет? — выплескивался Семен.

— Почему это «у тебя»? — ехидно спросила жена. — Он ведь, кажется, еще и твой сын, не только мой.

— Да потому, что ты его портишь. Скрываешь от меня все его подвиги. Уродуешь деньгами, вещами — всем! Что ни захотел — сразу, будто по-щучьему велению: костюмы, свитера. А шиблеты у него какие? Я таких сроду не носил. А рубахи разные? — Семен говорил и помогал себе рукой, словно доставал из шифоньера вещи и бросал их под ноги жене. — У него этих тряпок, как у балерины какой.

— А тебе жалко? Нет, милый, — пропела Иранда. — Я не хочу, чтобы мой сын был одет хуже других. Чтобы на него пальцем показывали. Я, слава богу, сама еще работаю. Не сижу на твоей шее. Так что могу распоряжаться деньгами. Да и если хочешь знать, ему дед дает деньги на одежду. Можешь не расстраиваться.

— Дед? — спросил Семен, поражаясь.

— Да, дед, — с вызовом сказала Иранда. — Видит нашу бедность и дает. Скажи спасибо.

С тестем у Семена были натянутые отношения.

— Больше не бери. Слышишь? — сдавленно сказал

Семен. — Сами не нищие. Купим что надо, — и стиснул голову руками. — Как ты не поймешь... — продолжал он тихим, глубинным голосом и даже руку приложил к груди, показывая, откуда идут эти слова. — Разве мне денег жалко? Я на себя их не много трачу. Меня зло берет, что сильно легко все Игорьку нашему достается. Захотел кожаную куртку — ему вынь да положь. Сотню рублей на нее выкинули. Или вот эти... джинсы, или как их там. Опять же семьдесят рублей отдали. Труд наш ценить он не умеет, вот в чем беда.

— Научится, жизнь длинная, — вздохнула Иранда.

— Нет, не научится, если мы сами не научим. Я одного не могу понять: почему ему все позволено, и почему я, отец, не имею права сделать ему замечания? Почему? Только я что-нибудь скажу, ты меня сразу же одергиваешь. Выставляешь перед ним дураком. Ну? Возьмем эту бренчалку. Когда он пошел на курсы, я сказал: лучше бы какому полезному делу обучился. Говорил я так? Говорил. А ты что? «Пусть ходит, в жизни пригодится...» Ты что? Слушать не хочешь? Нет уж, выслушай. Я долго молчал, все терпел. Теперь заговорил, так что будь добра, выслушай. Возьмем его космы... Тебе нравится, что он ходит дикарь дикарем? Я ему сделал замечание, а ты надо мной же и посмеялась. Дескать, не слушай, Игорек, наш папа ничего не понимает, нестриженным ходить модно. А он слушает это да на ус мотает. Дескать, ага, мне все позволено, что хочу, то и делаю. Теперь вот дачу ему покупай. Чтобы дружки не довели...

— Если тебе сын дорог — купишь дачу, — с каким-то тайным значением сказала Иранда. — Я уж не хотела тебе говорить, да, видно, придется... Участковый приходил. Игорьком интересовался. Какие-то ребята драку устроили... В общем, нашего сына взяли на учет.

— На какой учет?

— Какой учет в милиции бывает...

— Ну, вот и дожили, — уронил Семен. — Воспитали. А все твои тряпки, бренчалки, космы. Вот во что они обернулись. Радуйся...

— Одна я, значит, виновата? Конечно, теперь все на меня валить можно. Ты тут ни при чем. — Иранда тоже опустила на стул, и теперь они сидели рядом, не глядя друг на друга.

— Да нет, не только ты виновата. Я, наверно, боль-

ше виноват. Надо было не слушать тебя, а брать ремень... А теперь что? Теперь он с меня ростом. Теперь поздно, ремень не поможет... Не знаю, что и поможет... Ну вот ты говоришь: дачу. А деньги? Об этом ты подумала?

— Три сотни у нас есть, остальные достанем.

— А шуба?

— Похожу в старой, — жертвенно сказала Ираида и, подойдя к мужу, обняла его, стала гладить тронутые сединой волосы, отчего он сразу обмяк и присмирел. Его всегда удивляло это: разругаются они, но стоит Ираиде слегка приласкать, и вся злость куда-то уходит, и слабеет он перед женой.

После ужина Ираида стала мыть посуду. Семен сидел за кухонным столом, не уходил, будто привязан был к жене общей думой. Завороженно глядел на ее руки, которые, казалось, делали нужную работу сами по себе, потому что голова явно была занята другим.

— Ну, так где деньги возьмем? — спросила Ираида вдруг.

— Да не знаю...

— Думай, думай... Ты глава семьи.

— Вспомнила. Раньше об этом ты что-то не вспоминала, — усмехнулся Семен. — Глава семьи... Ну где я их достану? Я их на своем станке не печатаю.

— Займи на работе. Не знает он, где люди деньги достают.

— На работе... Это же не десятка до полочки — семьсот рублей.

— У вас там что, все безденежные?

— Не безденежные, но столько-то...

— Люди больше занимают — и ничего. Испугался. Скажешь, дачу покупаем. Поспрашивай у своих токарей. Тебе дадут, вот увидишь. Бригадир все-таки.

— А при чем тут бригадир? — вспыхнул Семен. — Раз бригадир, то и отказать побоятся?

— Не достанешь деньги — я сама достану.

— Где? — быстро спросил Семен.

— А это уж мое дело.

— У отца попросишь?

— Что делать, раз муж достать не может, — пожалла плечами Ираида. — Придется поклониться отцу.

Легли спать, отчужденно отодвинувшись друг от друга. Сон к Семену не шел. Какой уж там сон. Тесте-

вы деньги он ни в коем случае не примет. А где тогда взять? Легко сказать — займи на работе. Дадут-то, может, ему и дадут, да только просить совестно, зарплате язык прилипает к небу. И так на участке есть один такой просила. У того совести хватает, так все и смеются над ним. Да и как не смеяться: пожилой мужик, токарь, каких поискать, а позвонит ему на работу жена, дескать, ковер достаю или что другое из барахла, ищи деньги, — и он сразу раскисает. Ходит по участку, в глаза всем заглядывает. Смотреть жалко. Его, конечно, выручают, потому что, не найди он денег, жена его заест. А уважения к нему никакого нету, хотя и токарь хороший. Так что на бригаду и одного просилы по горло хватает. К тому же Семен не простой рабочий. Будь он просто токарь — куда бы ни шло, а ведь он бригадир. Ему терять уважение нельзя. И дернуло же напроситься на эту дачу.

Он прислушался к дыханию жены. Ираида лежала, отодвинувшись от него к самой стене, но по дыханию он понял, что не спит, переживает, и Семен снова пожалел, что поссорился с ней.

Размолвки у них и до этого случались. Причин хватало. Теперь вот еще одна добавилась — дача.

Вообще-то Семен давно смирился с главенством жены в доме, привык делать так, как она велит, но иногда нет-нет и взбунтуется мужская гордость. А может, и не надо попусту изводить себя? Пусть все идет само собой? Ведь не дура же она — Ираида. Никогда ее глупой не считал.

Ираида поступила в их заводскую столовую, и он, холостой парень, сразу заметил ее. Была она не красавица, но и не дурнушка. Одевалась ярко, даже пестро, вся как бы кричала: вот она я, поглядите! Но привлекала не одной этой яркостью, а и какой-то особенной жизненной силой, сквозившей в умных зеленоватых глазах. Ираиду никто не считал чересчур гордой, нет, она была проста в обхождении, но ее простота никого с толку не сбивала: она хорошо знала, что ей надо, и глядела далеко вперед. Легкие ухаживания парней словно на стенку натыкались. Ей было надо все, либо ничего, поэтому она и посмотреть умела так, будто насквозь видела парня, посмотреть с такой уничтожающей высоты, что ухажеры терялись от ее отрезвляющего взгляда и откатывались.

Семен в то время только вернулся из армии, работал крепко, его фотография не сходила с заводской доски Почета, и Иранда приняла его ухаживания всерьез, хотя он был моложе ее на три года. Выйдя за Семена замуж, она стала еще уверенней, казалось, замужество добавило ей силы. Бросила столовую и поступила в торговый институт на вечернее отделение. А работу себе нашла другую, пошла товароведом, и не куда-нибудь, а в горпромторг: отец посоветовал. Там оклад хотя и скромный, зато есть возможность купить для дома то, чего в магазинах не сыщешь. С дальним прицелом оказалась жена, не какая-нибудь простушка. Диплом еще больше приподнял Иранду над мужем, и Семен особенно не роптал, лишь изредка просыпалась эта мужская гордость, будь она неладна...

Вот и на этот раз Семен корил себя, думая: а может, и на самом деле жена во всем права? Может, он и правда так отстал от жизни, что ничего и не понимает?..

Когда он положил на теплое плечо жены руки, та не отдернулась, а наоборот, повернулась к нему лицом, словно ждала этого примиряющего мужниного прикосновения.

— Тебе не завидно, как твои рабочие живут? — хрипловато спросила Иранда. — Вот хотя бы Анатолий... Твой ведь ровесник, а уже дача, машина... Неужели ты хуже его? Неужели тебе несколько не обидно?

— Нет, не обидно, — легко отозвался Семен. Не это он хотел услышать сейчас и не об этом говорить. Он-то думал, жена переживает из-за ссоры, а у нее вон что, оказывается, на уме: дача и машина. Но Семен еще до разговора настроился на мирный лад и придержал в себе раздражение. — А ты позавидовала?

— Умеют люди жить...

— А мы что, плохо живем? Может, скажешь, голодаем? Есть нечего? Сидеть, спать не на чем? Так вон гарнитур импортный взяли. Ковры есть. Чего еще-то надо? Машину, дачу? Так дурных денег у нас нет, сама знаешь.

— О машине я не говорю. Где уж нам... — усмехнулась в темноте Иранда. — Машину нам век не видать.

— Тебе надо было за министра выходить, а не за рабочего, — не выдержал Семен.

— Так что же, теперь ни на что не надеяться? За рабочего... Хорошие-то рабочие вон как живут. Все у

них есть. Одному тебе ничего не надо. Да если хочешь знать, у наших баб в торге все мужья на двух работах работают. Потому что хотят жить получше. Рабочий... Думал бы ты о семье, так тоже устроился бы где-нибудь. Прирабатывал бы... Ну, машина — ладно... А уж дачу-то мы можем себе позволить?

— Эту самую? — спросил Семен.

— А какую ты еще хотел?

— Совестно мне, Иранда, — вздохнул Семен. — Нехорошо как-то получается. Старуху из родного дома выживаем. Не могу я...

— А мне? — Иранда приподнялась на локте. — Мне, значит, не совестно? Выходит, я бессовестная?

— Да ты не обижайся, — забеспокоился Семен. — Я только про себя сказал. Совестно мне, вот я и сказал.

— Совестно... — усмехалась Иранда. — Ей ведь все равно надо уезжать. Она же старая. Ей трудно одной... Ну, хорошо, не мы купим, так другие. Которым не совестно... — Она откинулась на подушку. — И чего я так стараюсь... Мне одной это надо, что ли?

Они замолчали, и в этот момент услышали осторожный скрежет ключа в замочной скважине.

Иранда приподнялась. Семен тоже хотел встать, но она мягко придержала его.

— Лежи. Я сама.

Она пошепталась в коридоре с Игорьком, потом вернулась и легла.

— Ты всегда сама, — проворчал Семен. — Ну, гляди, гляди...

— Дурачок ты, — сказала она, прижимаясь к нему. — Ну чего ты нервничаешь. Игорь был у друзей. Ну, немного задержался. Не переживай зря. Я поговорила с ним. Пусти тебя — накричишь ни за что ни про что. Я уж как-нибудь сама. Ты сейчас о другом заботься. Премия тебе будет в этом квартале? — перевела она разговор.

— Должна быть.

— Ты уж постарайся. Деньги нам сейчас ой как нужны.

— Постараюсь.

— Пропал бы ты без меня, — тихонько засмеялась она. — Пропал бы. Ты какой-то не от мира сего...

Она говорила, и слова ее казались истинными. Он

верил жене, удивляясь, что днем, наверно, возразил бы и вообще отнесся бы к разговору по-другому. Видно, есть разница, когда женщина говорит: днем или ночью.

3

Остановились перед дверью. Перевели дух: все-таки четвертый этаж.

— Звони, — выдохнула Ираида.

Семен нерешительно топтался.

— Ты чего? — покосилась жена.

— Дай отдышаться.

— Боишься? — в уголках ее губ кривилась усмешка. — Ну, дорогой, с тобой, видно, каши не сварить...

Она решительно нажала кнопку звонка и прислушалась. За дверью было тихо.

— Дома никого нет, — сказал Семен, порываясь повернуть обратно, но Ираида даже не взглянула на него, снова придавила кнопку звонка и подержала ее подольше, чем прежде.

В квартире послышался глухой шум, дверь открылась, и на пороге появился молодой мужчина с распаренным, красным лицом. Вопросительно глядя на незнакомых людей, он торопливо застегивал ворот рубашки распаренными же красными руками.

— Зинаида Александровна здесь живет? — приятным голосом спросила Ираида, так что Семен даже подивился: умеет, оказывается, его жена и так вот приятно произносить слова...

— Здесь, — сказал мужчина.

— Можно ее увидеть? — еще приятнее спросила Ираида.

— Можно, — мужчина смущенно улыбался. — Мы вот панаца купаем, — и он кивнул на дверь ванной, откуда слышался плеск воды и негромкий женский голос, уговаривающий ребенка.

Он пригласил в комнату, предложил стулья. Уселся и сам, выжидающе глядя на внезапных гостей.

— Мы вот по какому делу, — виновато улыбалась Ираида. — Даже не знаю, как вам объяснить... Насчет дачи. В общем, хотим купить избушку у вашей бабушки.

На лице хозяина засветился живой интерес.

— Вы что, уже договорились? — быстро спросил он.

— Да нет пока. Вот пришли к вам посоветоваться.

— А мы что? — он с досадой развел руками. — Мы звали ее — не желает. Это надо с Зиной... — Он повернулся в сторону ванны, позвал: — Зина, слышь, скоро ты там?

— Чего кричишь? Не видишь — иду!

Вошла худенькая женщина с гладко зачесанными влажными волосами, с распаренным, как у мужа, красным лицом. За руку она вела розовощекого парнишку лет пяти.

— Зина, слышь, что говорю-то? Вот люди хотят у матери избушку купить, — заговорил он возбужденно.

— А ты и обрадовался, — незлобно проворчала Зина, усаживая мальчишку на расстеленную кровать и закутывая его в простыню.

Хозяин смутился,

— Да мне-то что радоваться?

— Зина-а-аю...

— Вы извините, — вновь заговорила Ираида. — Может, это не совсем удобно с нашей стороны...

— Ничего, ничего, — отозвалась Зина. Уложив сына, погрозила ему пальцем, чтобы не поднимался, и устало опустилась на стул. — Вы были в деревне?

— Были, — сказала Ираида.

— И что вам мама сказала?

— Да пока ничего конкретного.

— Ну, а мы что можем сделать? Избушка ее. Как хочет, так и распоряжается...

— Говорю же, звали ее, — бурчал, потухая, хозяин. — Приезжала, пожила неделю и назад укатила. Трудно ей с двумя-то. У нас ведь их двое сорванцов. Который постарше, на улице еще бегаёт. Никак не набегаётся.

— Загонять уж пора, — взглянув в окно, озабоченно проговорила Зина. — Иди, Вася, загоняй его. Хватит.

— Сейчас, — отозвался Вася, не двигаясь, однако, с места. Разговор об избушке почему-то сильно его интересовал.

— Чего не идешь? — смотрела на него Зина.

— Говорю: сейчас.

— Ох, хите-ер... — добродушно протянула Зина и обернулась к гостям. — Он, думаете, чего тут маслится? Он мотоцикл с люлькой брать хочет, а денег не хватает.



На бабкины маслится деньги-то. Он ведь рыбак у меня. Ох, рыба-ак... Как суббота, так его только и видели. До понедельника не жди.

— А чего, рыбы не привожу? — обиделся Василий.

Зина махнула рукой.

— Лучше бы и не видать твоей рыбы. Покрутись-ка с этими огольцами одна целых два дня, пока он заявится. Никакой рыбы не захочешь.

— Рыбалка — дело хорошее, — похвалила гостя Василия, понимая, что от него зависит многое, и уже чувствуя в нем верного союзника. — Сейчас мяса-то не шибко купишь, — заговорила она словами Галины.

— И это верно, — согласилась хозяйка.

— А рыбку как без мотоцикла? Никуда не денешься, свой транспорт нужен, — продолжала Ираида. — Нет, рыбалка — дело хорошее. Я вон своему сколько говорила: рыбки, мол, свеженькой бы, а с него толку... уж не рыбак так не рыбак. Он у меня хоккеем любит.

Семен только изумлялся, слушая жену, и перебивать ее не стал, наоборот, изобразил на лице покорность, которая, как ему казалось, тоже может помочь делу.

— Вот насчет избушки прямо не знаю, что вам сказать, — с сочувствием качала головой Зина. — Мама не хочет ее продавать. Мне, говорит, охота дома помереть. Выдумала: помереть и помереть. Если ее к нам — трудно ей с двоими. Такие баловники — извели бабушку, пока тут была. — Она погрозила пальцем мальчишке, который уже сидел на кровати и озорно глядел на мать. — В садик бы его устроить, да к весне только обещали...

— Извините, а где вы работаете? — поинтересовалась Ираида.

— На трикотажной.

— У вас там что, с детскими садами так плохо?

— Садик у нас есть фабричный. Но ведь работают у нас в основном женщины. Много матерей-одиночек. Вот и очередь.

— А муж?

— Так и он на фабрике. Слесарем.

— Да-а, — протянула Ираида и покачала головой. Впереди намечался тупик, из которого навряд ли выйдут. В глазах жены Семен заметил растерянность, и это

вдруг подтолкнуло его, он прокашлялся в кулак и, поправив голос, сказал:

— Нет, у нас на заводе с этим дело хорошо. У нас — пожалуйста, хоть сейчас. — И с таким значением проговорил это Семен, что жена посмотрела на него с удивлением.

— Так у вас и завод побогаче, — поскреб в затылке Василий. — Не то что наша шарага.

— Это точно, — не без гордости согласился Семен: вот он где работает, не в какой-нибудь шараге. — Уж чего-чего, а с садиком у нас никакой проблемы нету. — Он еще поглядел на поскучившего Василия, на жену свою. Ираида сидела с ненатуральной, ненужной улыбкой на лице, понимая, что хотя разговор и идет, а дело — ни с места. Ничего ей другого не оставалось, как только сидеть да глупо улыбаться. А вот он, Семен, сейчас скажет такое, от чего даже в горле заранее першило и льдистые иголочки покалывали грудь, как перед прыжком в холодную воду. Семен сначала пытался зажать эту мысль, придушить, никем не услышанную, но слова уже лезли на язык, не удержать их было.

— Ну, а если мы вам поможем с этим делом? — негромко, но значительно в наступившей тишине спросил он Василия.

— Как поможете? — не понял тот.

— Ну, если мы вашего пацана в наш заводской садик устроим?

Хозяева переглянулись.

— А так можно? — спросила Зинаида с надеждой.

— Постараемся, — важно произнес Семен, улавливая на себе удивленный и благодарный взгляд жены. Вот так-то, женушка, не ты одна умная!

Зинаида растерянно молчала, не зная, ухватиться ли за предложение или не спешить.

Однако Василий уже был тут как тут.

— Оно бы хорошо, если б вышло. Мы в долгу не остались.

— Должно выйти, — проговорил Семен сдержанно, как человек солидный, знающий, о чем говорит. Сам он довольно смутно представлял, что у него получится. Мельком слышал в цехе, что с местами в садик на заводе вроде бы неплохо, но выйдет ли с этой затеей — не знал.

Спускаясь по лестнице, Иранда нетерпеливо поглядывала на мужа. Ее так и подмывало спросить, как это он решился на такое и каким образом выполнит обещание, но она терпела, ждала, пока они отойдут подалее от дома родственников Петровны, и уж только тогда спросила.

— Как-нибудь сделаем, — невнятно отозвался Семен. Раз сказал, что сделает, значит, на что-то надеялся, значит, есть какая-то еще неосознанная возможность, не просто же так, ни с того ни с сего взял и сболтнул...

— Хорошо бы, — промолвила Иранда, и в ее лице Семен заметил несвойственную ей покорность. Не он, Семен, сейчас был при Иранде, она была при нем, и это открытие грело его самолюбие. У него даже походка изменилась: старался идти тяжеловато, враскачку, с достоинством. Как там ни будь дальше, а эти минуты были его.

...Утром в цехе к нему подошел Анатолий.

— Ну как? Ходили к Зинке?

— Ходили, да попусту, — поморщился Семен.

— Не хочет бабка у них жить?

— Тут, видишь, какое дело, — начал объяснять Семен. — Если бы одного пацана в садик устроить, бабка бы, может, и приехала. А то с двоими ей трудно. — И он потерянно замолчал, дескать, ничего не поделаешь, а сам выжидал: не посоветует ли ему Долгов то же, на что и сам рассчитывал.

— А ты поговори с дядей Гошей, — сказал Анатолий.

— А можно? — наивничал Семен. — Семья-то чужая.

— Кто будет знать. Скажи: сестра. Зачем говорить, что чужой ребенок. Ясно, чужого не примут. Сестра, и все. Да кто разбираться станет? — Анатолий пренебрежительно махнул рукой. — Места есть. Даже не сомневайся.

— Попробую, — сказал Семен, втайне радуясь поддержке Анатолия. — Только ты об этом — никому.

— Какой разговор, — ухмыльнулся тот. — Самю собой. В общем, пробивай здесь, а мы с Галиной будем в Залесихе проворачивать.

Анатолий ушел. Семен в задумчивости покурил, сядя на тумбочке, и шагнул к станку: начиналась смена.

Детали попались ему несложные. Точил он их много раз и прежде, а сейчас рассеянно смотрел в чертежи, будто видел впервые, и никак не мог сосредоточиться. Хотя Долгов и обнадежил его, а осадок от разговора остался неприятный. Вроде как сообщниками стали. Недаром и разговаривает с ним Анатолий на «ты», и слишком уж запросто, будто сто лет в друзьях.

Семен достал из тумбочки нужные оправки, резцы, инструменты. Посмотрел вдоль станков, поверх голов работающих людей, и у окна, где в тесном промежутке помещался стол мастера дяди Гоши, взгляд его остановился и из рассеянного стал осмысленным. И вдруг Семен понял, отчего у него светилась надежда на детский садик. Дядя Гоша — вот на кого он рассчитывал. На своего старого учителя, председателя цехового комитета. Выходило, что не на таком уж пустом месте возросла Семенова блажь.

Семен установил оправку, зажал в нее деталь — поковку шестеренки, закрепил резцы. Машинально сделал все, что должен был сделать, и хотел уже включить станок, но рука не дотянулась до блестящей кнопки пуска, так и повисла. Он не включил станок и смотрел не на бурую, в окалине, деталь, а все туда же, в промежуток между станками у окна, где над столом горбилась худая спина дяди Гоши. Ее откуда хочешь увидишь. В конец пролета уйти — и оттуда различишь, как маячит над рядами станков старый учитель, сидя на высоком железном табурете, с которого все кругом видно.

За свою жизнь дядя Гоша едва ли не целый участок обучил токарному ремеслу. Его бывшие ученики сами стали классными токарями, обзавелись семьями, детей наплодили, многие давно обогнали учителя, работают начальниками участков и цехов, и называют их давно по имени-отчеству, а они при встрече все: дядя Гоша да дядя Гоша, будто так и остались перед ним учениками.

Семен посмотрел на дядю Гошу издали и вдруг отступил от станка, пошел по проходу, даже не осознавая еще — куда, не готовясь к разговору, не подыскивая слов, веря, что они найдутся сами, ему останется только раскрывать рот, как сейчас — переставлять ноги. Подогревало Семена еще и то, что он всегда чувствовал к себе расположение мастера.

Дядя Гоша покосился на него, но продолжал перебирать листки нарядов, раскладывая их на обитом листовым алюминием столе и шевеля губами.

Мучаясь, Семен все стоял перед столом, и дядя Гоша отстранился наконец от нарядов, поднял голову. Худой, морщинистый, будто высохший, но глаза у него еще зоркие, без очков. Папироска торчит в углу рта, дымок пробивается из-под прокуренных усов — дядя Гоша жмурится от дыма. Сколько знал его Семен, всегда во рту мастера торчала изжеванная папироска, и вечно он жмурился от дыма.

— Ну, так чего скажешь, Семка? — спросил дядя Гоша располагаясь.

— Дядя Гоша, — волнуясь, заговорил Семен. — Как у нас там с детскими садиками? Места есть?

Старик выплюнул окурочек в самодельную жестяную урну и закурил новую папиросу.

— Прибавления ждешь? — спросил он, шурясь от дыма.

— Да нет. Я не себе. Сестра ко мне приехала. — И, видя, что мастер задумался, поспешно добавил: — Сродная.

— Сродная? — дядя Гоша пожевал папироску, наморщил лоб, словно с трудом постигая смысл сказанного.

— Приехала с ребенком. На трикотажную устроилась, а там очередь. К весне обещали, не раньше. А куда ей деваться с пацаном? Мужа у нее нету. Одиночка. Хоть в петлю лезь, — несло Семена, и он даже поразился той силе, что привела его сюда и говорила сейчас за него.

— Хоть в петлю, говоришь? Ладно, поглядим, — строго сказал мастер, опуская глаза в бумаги, отключаясь от Семена.

Семен обмер. Ему вдруг почудилось, что мастер все понял, и не хочет разговаривать дальше. Семен не знал, что делать: стоять тут истуканом или уйти поскорее.

— Я же говорю, поглядим, — поднял от бумаг лицо дядя Гоша, и Семен разглядел в его лице что-то новое, холодное, чего раньше по отношению к себе не замечал.

Он повернулся и пошел, весь обмякший, ничего не видя перед собой. Той отчаянной силы, что привела его к столу дяди Гоши, уже не было.

Семен взялся за скользкие ручки суппорта своего

станка и держал их, не зная, в какую сторону крутить.

— Ну, что? — услышал он рядом голос Анатолия. Семен поднял глаза, выдавил неохотно:

— Сказал: поглядим.

— Ну, значит, сделает. Не переживай.

Анатолий отошел, и Семен, сделав над собой усилие, принялся за работу.

Дома за ужином он молчал. Иранда тревожно поглядывала на него, не решалась спрашивать, и Семен, чтобы отсечь все вопросы, сказал хмуро:

— Не было его сегодня.

— Кого не было? — не поняла она. — Ты о чем?

— А ты о чем? — грубовато переспросил он.

— Я — о деньгах. Ты же обещал достать, — терпеливо проговорила Иранда. Обострять разговор она не спешила.

Семен в сердцах хлопнул себя по коленке. Про деньги-то он совсем забыл. Весь день думал о садике, а оказывается, вот еще какой груз висел на его плечах — деньги!

— Иранда... — попросил он тихо, — у меня голова болит. Дай ты мне до утра отдохнуть.

— Отдыхай, кто тебе мешает, — жена усмехнулась. — Голова у него болит! Будто у меня она не болит от всех забот. Тебе что? Ты пришел с работы на все готовенькое, наелся и лег себе. А я? Ужин готовь. Надо? Надо. Игорьку постирай. Надо? Надо. А я ведь тоже не с гулянья пришла. С этим ты не считаешься...

— Ладно, успокойся.

— С таким мужем успокойсь... Вот завтра приду с работы и лягу. Вари ужин сам. У нас равноправие.

Хоть и муторно было на душе, Семен все же улыбнулся.

— Чего расплылся? — прикрикнула Иранда. — Между прочим, я не шучу. Посмотрим, как завтра ты заулыбаешься. Голодный-то.

— Ну, будет тебе, Иранда, будет, — сказал с досадой Семен. — Я и так стараюсь. Целый день из-за детсада мучился. До сих пор перед дядей Гошей совестно.

— А кого на работе не было?

— Его.

— А говоришь, совестно.

— Не хотелось тебе рассказывать. Чего раньше времени-то языком болтать.

— А все-таки, что он тебе сказал? — настаивала жена.

— Пообещал вроде... Толком я ничего не понял. Пождем, что дальше будет. Может, и сделает.

— Да уж хоть бы сделал, — затуманилась Иранда.

4

Нервно затягиваясь сигаретой, Семен глядел вдоль станков, над которыми склонились его токари, и размышлял, как ему лучше поступить: подряд обходить мужиков или выборочно. Нет, подряд смешно получится. Скорее всего, надо так: к одному можно здесь, на участке, подойти, другого как бы невзначай встретить возле инструменталки, третьего — в столовой... Пусть не целиком всю сумму, хотя бы по частям собрать. И если пообещают, то, конечно, не сразу дадут. Никто таких денег в кармане не носит, придется ждать полочки.

Он помедлил, решая, с кого начать, и пошел по проходу, заранее краснея и стыдясь слов, которые скажет.

Токари встречали его просьбу сочувственно. Одни обещали переговорить с женой, другие своей волей сулили дать сотню с полочки, третьи хотя и мялись, но прямо не отказывали: с полочки будет видно. А до нее — неделя.

К Долгову Семен подходить не стал, но тот каким-то образом сам узнал и пришел к бригадирову станку.

— Ты что же это, Семен, меня-то минул? — спросил он обиженно.

— Совестно, — признался Семен. — Ведь как получается: дачу нам найди да еще и денег займы дай.

— Кончай-ай... — укоризненно пропел тот. — Чего тут стыдного? Свои люди. Сегодня — я тебе, завтра — ты мне. Давай так: я потолкую с Галиной, и если найдется у нее, мы к вам как-нибудь вечером и заскочим. Идет?

— Спасибо, — растрогался Семен. Анатолий в последнее время раздражал его даже одним своим видом, казалось, все неприятности начались из-за него, и теперь Семен чувствовал себя перед ним виноватым. Мужик-то, оказывается, к нему всей душой, а он нос воротит. Нехорошо.

Работалось в этот день Семену спокойно: упала с

души одна тяжесть. Семен твердо верил: деньги им Долговы найдут.

Однако начавшееся везение этим не кончилось. Одна удача потянула за собой другую: Семен шел с резцом к заточному кругу, когда его поманил дядя Гоша.

— Зайди в завком, — сказал он суховато, не глядя на своего бывшего ученика. — Направление в садик возьмешь.

Семена это и обрадовало и испугало. Вдруг в завкоме заподозрят неладное? Ведь фамилия-то в направлении должна стоять не его. Но он тут же подумал, что дядя Гоша, видимо, все объяснил, мол, не самому Табакаеву надо, а его сестре, и значит, все ладно, и изворачиваться там не придется.

И на самом деле все обошлось как нельзя лучше. В завкоме ни слова не говоря вписали фамилию, которую им назвал Семен. Все вышло до смешного просто. Семену даже задним числом стало жаль себя за лишние переживания.

Насиду выстоял до конца смены. Не терпелось порадовать жену. Надо же, в один день решились два таких дела, на которые при другом обороте могла бы уйти неделя, а то и две. Вот что значит везенье!

Перед дверью своей квартиры Семен сделал серьезное, непроницаемое лицо, но вошел — и тут же расплылся. Иранда, конечно, сразу все поняла.

Она вертела в руках направление, рассматривала его со всех сторон, как бы боясь, что оно не настоящее, и повторяла с удивлением:

— Ну, порадовал... Вот уж не ожидала, что ты у меня такой пробивной окажешься. Значит, все можно сделать, если захочешь?

Семен скромно улыбался на похвалы жены, — и так ему было хорошо от своих удач, что, казалось, все трудности и заботы, отпущенные ему судьбой, уже позади, и теперь его последующая жизнь будет состоять из одних удач и радостей.

Иранда же, едва слышав первые восторги, заторопилась к Зинанде. Пусть родственники Петровны знают, что связались не с пустыми людьми. Обещали вам садик — вот, пожалуйста. Теперь ваш черед делать дело.

И Долговы не подвели, пожаловали на другой же день.



Звякнул в прихожей звонок, и Семен сразу же догадался, что это Долговы. Нутром почувствовал: деньги пришли.

Распахнул дверь и сразу же, хотя Галина стояла впереди мужа, увидел за ее спиной сияющего Анатолия. Ну, так и есть, порядок. Проходите, гости дорогие, на этот случай есть чем встретить. В холодильнике томится специально купленная бутылка коньяка. К коньяку Ираида притащила с базы лимонов и дорогой копченой рыбы.

По виду гостей Ираида тоже поняла, что вопрос с деньгами решился положительно, и через несколько минут стол был празднично накрыт. Ни закусок, ни хрусталя не пожалела Ираида, все самое лучшее, что было в доме, стояло перед Долговыми.

Галина разглядывала расписные тарелочки, золоченые и тончайшие, каких в магазинах сроду не сыщешь, брала за тонкие длинные ножки хрустальные рюмочки и глядела на свет, отчего грани вспыхивали разноцветными огоньками. Оглядывала импортный гостинный гарнитур, и его глаза тоже вспыхивали, как грани на рюмках, что не осталось незамеченным внимательной Ираидой.

Семен наполнил рюмки. Он выпивал редко и вообще пил немного. Любил он в застолье не саму выпивку, а то предвкушающее хорошее настроение, которое предшествовало ей. Вот все уже собрались за столом, ждут, и само ожидание, еще не испорченное ни хмелем, ни чем другим, уже дает радость. После, конечно, всяко может быть, а пока — празднично и хорошо.

— Ну, за что выпьем? — спросил он.

— Погодите пить, — хитро прищурилась Галина. — Это мы успеем. Выпивка от нас никуда не убежит. Пока трезвые, отдадим-ка вам деньги. А то выпьем, забудем, да так и уйдем. — Она довольно засмеялась.

Анатолий достал из внутреннего кармана пиджака плотную пачку денег. Шевеля тугими губами, пересчитал и положил перед Семеном.

— Ровно семь сотен. Считай.

Семен смущенно замялся.

— Да ладно, что там... — и хотел передать деньги жене, но Галина запротестовала:

— Нет, нет, деньги счет любят. Вы уж пересчитайте, — и пока Семен, конфузясь, шелестел кредитками,

напряженно глядела на его пальцы и облегченно выдохнулась, когда тот, закончив, вымолвил:

— Все точно. Как в банке.

Ираида унесла деньги, и уж после этого выпили. — Теперь дело за бабкой, — говорила Галина, вытасывая дольку лимона. — Поднимать на нее надо, чтоб побыстрее. Не перебил бы кто.

— Не должны перебить, — заметила Ираида. — Место в садик мы им пробили. Неужели обманут?

— Кто его знает. Покупатели к бабке, как мухи на мед, летят. И откуда только разнюхали — ума не приложу... Иду я, значит, как-то, гляжу, легковушка подъехала. Двое из нее вылезли. Мужчина, представительный такой, и женщина. Расфуфыренная, глаза бы не глядели. Ну вот, выходят они из легковушки и на бабкин дом зыркают, вроде примеряются. У меня сердце так и екнуло... — Галина приложила руку к сердцу, покачала головой. — Шла я к магазину, хлеба взять. А тут вижу, дело неладное. Сворачиваю к Петровне, будто туда и шла. Спрашиваю этих двоих: вам кого? Да мы, отвечаю, слышали, что тут дом продается. Дак продали, говорю. Я вот и купила. Мужик в город за вещами уехал... — Галина перевела дух, хитро оглядела всех, дескать, это еще не конец, слушайте, что дальше будет. — Ну вот... Как я им это сказала, мужчина сразу и остановился. Раздумывает: идти, нет? А жена, или, не знаю, кто она там, за рукав его так и тянет, так и тянет. Дескать, не слушай ее, пойдем сами узнаем... Ах ты, думаю, такая-рассякая... — Галина оглядела всех хитрыми глазами. — Вижу, такое дело, захожу в калитку наперед их. Да так смело захожу, будто и вправду к себе домой. Баба эта расфуфыренная зыркнула на меня, как змея, да и остановилась. А я иду и иду. Оглянулась калитку закрыть, а они уж в легковушку залазят. Поехали дальше — дураков искать.

— Галине палец в рот не клади! — весело сказал Анатолий.

— А как же иначе, — с готовностью откликнулась та, зардевшись от похвалы. Она положила высосанную дольку лимона и вдруг рассмеялась, вспомнив еще что-то: — Я ведь вам не рассказывала, как дальше было. Захожу я, значит, к Петровне, — начала она обещающе, заранее предвкушая удовольствие. — Захожу я, значит. Ну, мол, как, Петровна? Не надумала еще прода-

вать? А она губы поджала, молчит, как истукан. Я разговор на другое перевела, а сама думаю: сейчас подпущу тебе ежа... Ну вот и говорю ей: ох и жара! Запарилась вся. Дай, Петровна, водички попить. Та и принесла ковшик из избы. Я отпила, поморщилась да и говорю: что-то у тебя, Петровна, вода какая-то не такая. Как это, спрашивает, не такая? Да, говорю, вроде как чем-то припахивает. Она ковшик понюхала, тоже отпила. Че, говорит, собираешь, ничем не припахивает. Вода как вода. Ну, я тогда ей и выкладываю козыри: парнишки по деревне дохлую кошку вчера таскали. Уж не в твой ли колодец бросили? Они ведь, шалопан, все могут... — Галина засмеялась и продолжала: — Поговорила я с бабкой и ушла. Потом гляжу из своего огорода, а она ведро воды с речки тащит. Из колодца побрезговала. За столом установилось вдруг молчанье.

— Это ты зря, — покачал головой Анатолий, определенно улыбаясь и переводя глаза с Семена на Ираиду и обратно.

— Ничего не зря. Быстрей уедет, — отмахнулась Галина и, взяв рюмку, выпила залпом.

Семен осторожно глянул на Ираиду. Та вежливо улыбалась, но по ее вежливому молчанию и по выражению лица Семен догадался: презирает она эту простушку, не получит у них дружбы.

Сам Семен тоже улыбался, но как бы со стороны видел эту свою вынужденную глупую улыбку. Сначала он чуть было не брякнул что-то Галине, но промолчал, постеснялся. И теперь тяготился застольем, понимая, что испорченное настроение уже не поправешь.

— Ну что, мужики, притихли? — громко спросила Галина. — Выпьем, что ли? — и потянулась через стол к мужу. — Анатолий, можно, нет? — Из ее рюмки плеснулось на скатерть.

— Пей, пока пьется, — сдержанно ответил Анатолий. Ему тоже было явно не по себе.

— Во! Видали, какой у меня мужик? — хвастала Галина. — Сроду не остановит, не ловит за руку. Хочешь, пей! А то мы с ним как-то на именинах были, так парочка рядом сидела — смотреть тошно. Только баба тодку возьмет в руки, а он ей: хватит, оьянеешь. Поюрил ее, больше ничего. Пусть пьет, раз хочет. Верно ведь?

Принужденно улыбаясь, Ираида вежливо кивала.

Галина, выпив, стала внимательно разглядывать рюмку.

— Какое у вас все красивое. И посуда, и мебель... Прямо красота... — повернувшись вместе со стулом, она в упор рассматривала сервант, поблескивающий, словно черное стекло. — Не наш, конечно, а, Ираида?

— Не наш, — кивнула Ираида.

— Хорошо, ничего не скажешь. Вот бы нам такой, а? — подмигнула Анатолию и снова оборотилась к хозяйке. — Нам такой не достанешь?

— Можно, — сказала Ираида, ничуть не удивившись просьбе. — В конце месяца должны поступить.

— Ой, спасибо! — обрадовалась та. — А то в магазинах все только наше. А наши разве делать умеют?

— Наши тоже умеют, — возразил жене Анатолий. — Только хорошие-то наши вещи в магазине долго не улежат.

— Тише, — попросил Семен, показывая глазами на дверь Игорьковой комнаты. — Не надо при нем такое. Ни к чему.

— Они теперь, больше нас знают, — усмехнулся Анатолий.

— Достанем вам гарнитур, какой надо, — суховато пообещала Ираида, подводя итог разговору, который, видимо, ее раздражал. Сам Семен тоже будто повинность отбывал за столом, томился в ожидании, когда гости уйдут.

Когда, наконец, проводили, то некоторое время молчали, каждый по-своему переваривая прошедший вечер. И вдруг Ираида рассмеялась.

— Ты чего? — удивился Семен.

— Так... Очень интересные друзья у нас появились. Очень даже интересные... — Она иронически скривила губы. — Теперь доставай им мебель. Думают, раз я в торговле работаю, так мне все можно, подходи да бери. Да-а, большие запросы у Долговой, возросшие запросы, ничего не скажешь. Я-то думала, попросит что-нибудь помельче. Ну, там сапоги на платформе, а она вон куда загнула. Не зря она так старалась, из кожи лезла...

— Надоела она мне, — поморщился Семен. — От одного вида воротит. Это надо ж, со старухой так. Дохлая кошка! Язык как повернулся... Может, врет?

— Кто ее знает. Может, врет, а может, и не врет.

У нее не заржавеет... Да ладно, потерпим. Надо дело до конца довести. Не бросать же теперь, после всех переживаний. А там видно будет...

И тут из своей комнаты вышел истомившийся Игорек.

— Отец, а правда, что кошку в колодец кинули? — спросил он с живейшим интересом.

— Не знаю, — выдавил Семен, досадуя, что сын, оказывается, все слышал.

— Кошка — это что! Можно, знаете, что сделать? Незаметно кирпич на трубу положить. Бабка печь затопит, а весь дым назад пойдет. Во будет цирк!

Семен с Ирандой переглянулись.

— А еще можно у нее в доме чертей развести! — докладывал сын, блестя глазами, видимо, поняв молчание отца с матерью как поощрение.

— Каких чертей? — осторожно спросил Семен.

— Элементарных! Как печка у бабки начнет дымить, она позовет печника. А печника надо заранее подговорить. Купить десять градусников, разбить их и вылить ртуть в пузырек. Туда же натолкать иголок. После пузырек плотно закрыть. — Игорек увлекся, показывая руками, как он ломает градусники и вливает в пузырек ртуть. — Этот пузырек печник замает в печь — и готово. Вечером бабка печь затопит, ртуть нагреется, начнет иголки двигать. Станут они царапать стекло — такая музыка пойдет, будто черти играют! Бабка сразу сбежит!

— А если девять градусников? — деревянным голосом выдавил Семен. — Будет музыка?

Игорек уловил напряженность в голосе отца, немного смешался, настороженно поглядел на мать: как она?

— Наверно, будет, — ответил он неуверенно.

— А тебе не стыдно предлагать сделать такое пожилому человеку? — звенящим голосом спросил Семен. — Совесть у тебя есть? — Он жалел, что промолчал в тот раз, не одернул Галину, — и вот результат. — В школе тебя этому учат? Издеваться над стариками?

— Он пошутил, отец, — сказала Иранда примирительно. — А ты уж и прицепился к ребенку. Шуток не понимаешь.

— Ничего себе шуточки! — возмутился Семен. — Сказал бы я такое своему отцу, он бы снял ремень да

врезал по одному месту... А ты, мать, хороша... Вместо того, чтоб сделать замечание, защищаешь его. Кого ты из него воспитываешь?

— Может, не будем при ребенке? — жестко спросила Иранда.

— Ладно, не будем, — согласился Семен. — Давай, воспитывай дальше. Воспитывай... Посмотрим, что из этого выйдет...

5

Больше всего в семейной жизни ценил Семен спокойствие и устоявшийся порядок. На работе всяко может быть: и нанервничаетесь иной раз так, что всего колотит, потому как отвечаешь не только за себя, но и за всю бригаду. А то — просто устанешь, ног под собой не чуешь. Вот и хочется, чтобы дома, когда придешь с работы, было бы все хорошо. Встретила бы спокойная, обходительная жена, понимающая тебя с первого взгляда. Поужинал, рассказал ей все, что произошло за день, посмотрел телевизор, развалился в мягком кресле, и спокойно отправился спать, чтобы завтра снова целый день быть на ногах, нервничать и ругаться из-за разных производственных неувязок. Не часто так бывало дома, но Семен считал, что именно эти спокойные домашние часы и давали ему силы, на них он только и держался.

И если до поездки в Залесиху еще можно было как-то терпеть, то теперь спокойной жизни совсем не стало. На работе он уже нервничал из-за каждого пустяка. Сломался резец — он запустил его в корыто под станок, хотя и пластинка-то выкрошилась совсем малая, зато чти да и работай. Он и раньше-то был не особенно разгворчив, а теперь совсем стал молчуном. Неясная тревога, неизвестно откуда взявшаяся, как вошла однажды в сердце, так больше и не отпускала. Тревожили его и деньги. Семьсот рублей Долговы им не подарили. Отдавать надо. А где их взять? Правда, они с Ирандой получат отпускные. Это как-то выручит, да и премия подсобит. Только все равно успокоения не было. Побавлялся Семен за жену, которая сказала, что к ним зачастили из народного контроля. Достанет она Долговым гарнитур, а вдруг это каким-нибудь образом откроется?.. Перед дядей Гошей опять же неловко, совестно старику

в глаза смотреть... Вот так все одно к одному, и нет спокойствия.

Но иногда, помимо воли, мелькнет в памяти зеленая Залесиха, и будто теплом в душу повеет. Грела, оказывается, его Залесиха. Душа тянулась туда, в деревенский уют, и Семен, каждый раз приходя на смену, ждал, что вот сейчас подойдет к нему Анатолий и скажет: ну все, согласна бабка. Но тот молчал.

Ираида тоже стала какая-то дерганая. Вдыхает по делу и без дела. И лишь Семен на порог — смотрит выжидательно. Тоже извелась вся. Однако вестей — никаких.

Наконец явился-таки Василий. Лицо его было весело, освещено удачей.

— Насилу уломали тещу, — говорил Василий возбужденно. — Ну и помучились с ней. И так и сяк — всяко уговаривали. Надо вам попроторнее все сделать. А то она возьмет да раздумает. В субботу вы как, свободны?

— Да мы хоть сейчас готовы, — залихорадило Ираиду. Она было кинулась собирать на стол, Василий отказался.

— Я ведь в садик за пацаном пошел. Вот и заскочил к вам. За садик-то Зинаида не знает, как вас и благодарить.

— Чего там, — замахала руками Ираида. — Вам спасибо!

В субботу в Залесихе, во дворе у Петровны, собрались все: сама Петровна, Зинаида с Василем, Табакаевы и, конечно же, Долговы, без которых уже нигде Семен с Ираидой не могли обойтись. Ходили по огороду, глядели малину, смородину. Ковыряли штукатурку в избе, определяя, как стары и не гнилы ли бревна. Особенно старалась Галина, винкая в каждую мелочь дотошно, словно себе покупала усадьбу. Остальные больше молчали, а Петровна вообще безучастно сидела под черемухой на лавке, кажется, даже не прислушивалась к разговорам, словно и не о ее доме шла речь.

— Ну, так как? — спросила Ираида, когда обо всем было переговорено, кроме цены. Вопрос этот почему-то обходили в разговоре и покупатель и хозяева, стесняясь его. Теперь подошло время выяснить и это. — Сколько вы просите?

— Да я не знаю, — пожала плечами Зинаида. — Сроду ничего не продавали.

— Вы хозяева, ваша и цена, — подталкивала ее Галина.

— Мама, — позвала старуху Зинаида, — какую цену назначишь?

Но старуха не отозвалась, даже голову не подняла, и от нее отстали.

— Рублей семьсот, наверное, — краснея высказался Василий и неуверенно посмотрел на супругу.

Та подумала и согласилась:

— Семьсот так семьсот.

Ираида молчала, лихорадочно соображая, много это или мало, вопросительно обернулась к Галине. И та сразу включилась:

— Ну, теперь ты свое предлагай, — посоветовала она Ираиде. — Какая твоя цена? Скажи людям. Я бы сот пять дала. Изба-то ведь больно старая.

Василий с Зинаидой растерянно переглянулись.

— Нет, — сказал Василий и помотал головой. — Семьсот. Иначе я на мотоцикл не наберу.

— Кто ж так торгуется? — засмеялась Галина. — Уперся как бык: семьсот да семьсот. На мотоцикл ему не хватит... Да кому какое дело, чего ты собираешься покупать, мотоцикл или еще какую холеру. Разве так люди-то добрые торгуются? Ты, Василий, сбавляй по-маленьку, а они, — Галина кивнула на Табакаевых, — пусть набавляют. Надо, чтоб не по-вашему и не по-ихнему было. Чтоб без обиды. Пятьсот пятьдесят и полсотни на магарыч, а?

Семен слушал и молчал. Ему почему-то неприятен был торг, он готов был сквозь землю провалиться. Хотелось кончить поскорее со всем этим, да и забыть.

Он достал из кармана деньги, те самые, что принесли им Долговы, отодвинул Галину, втесываясь из-за ее спины в круг, и, не считая, подал деньги Василию.

— Я работяга, а не купец, — сказал он громко, с вызовом и такой уверенностью в своей правоте, что Ираида и слова не могла вымолвить. А Галина даже рот разинула. «Ну не дурак ли?» — было написано на ее остреньком, птичьим лице. Анатолий отвернулся и сплунул.

Петровна на скамейке очнулась. Особенная ли ти-



шина была тому причиной, или по лицам она что-то определила, но до нее дошло свершившееся. Она молча поднялась, пошла в избу и вернулась оттуда с деревянной рамой, в которую вставлены были фотографии всего ее рода. Остановилась посреди двора, прижимая раму к груди сухими бурями руками...

Грузовик, предусмотрительно нанятый Семеном по совету Долговых, ждал возле калитки. Мужики быстро погрузили в кузов все нехитрое бабкино имущество. Саму Петровну посадили в кабину, и она сидела там неподвижно, прижимая к груди раму, будто кто собирался ее отнять.

Зипаида с Василием забрались в кузов. Вещей там было совсем мало, в одном углу уместились.

— Петровна-то пусть приходит! — крикнула запоздало Ираида вслед уходящей машине, но ее, похоже, не услышали.

В этот день деревня видела, как по бывшему Петровниному двору медленно прохаживалась новая хозяйка — полная грудастая женщина в цветастом платье. Знакомилась со своими новыми владениями.

Строиться решили немедленно. Зачем время терять? Пока стоит лето — сухое и теплое — самое время строиться.

Походили по деревне, посмотрели, как у людей. У людей же, в том числе и у Долговых, стояли двухкомнатные дома с верандами. Такой же дом надумали строить и Табакаевы — как у всех, но старую избушку решили пока не рушить. Как ни бедна она, а приедешь поздней осенью — можно будет печь растопить и согреться и еду готовить. Избушка, как говорится, есть не просила, стояла себе спокойненько, а новый дом весь еще был в голове и требовал стройматериалов. На лесоторговой базе в продаже было кое-что, но, когда Ираида справилась о ценах, пыл ее поулег.

— Вот если бы сотню-полторы выторговали при покупке, так и пустили бы их на материалы, — корчила она мужа. — А то смотри, какой богач выискался. Сколько запросили, столько и дал, будто у него денег куры не клюют. И когда только ты поумнеешь? Пора бы уж.

Семен виновато опустил голову, но в душе он никакого раскаяния не чувствовал. Наоборот, уверен был, что сделал правильно. Пусть жена ругается, это ее де-

ло. Но он-то чувствовал, что надо переплатить. Почему надо — он не знал, но верил: это как-нибудь еще отзовется в будущем.

Однако делать вид, что виноват, — это одно, а стройматериалы все же нужны.

За советом пришлось идти опять же к Анатолию. — Доски? — легким голосом переспросил Анатолий, выслушав соседа. — Так это же очень просто. Скажи, в чем наш завод отправляет изделия заказчикам?

— В ящиках, — недоуменно ответил Семен. Он сам много раз видел, как моторы после сборки упаковывают в высокие ящики, обитые изнутри черной плотной бумагой. В ящиках же поступало в цех и разное оборудование, но он не мог понять, какая связь между стройматериалами и ящиками.

— Сам знаешь, а спрашиваешь, — улыбался Анатолий. — Так вот, эти самые ящики — клад для нас с тобой. Из таких ящиков тут, считай, можно полпоселка построить. Ты сделай вот что: выпиши себе на зиму дров, кубометров пятнадцать. Это будет стоить копейки. Понимаешь? Привезешь — и строй что хочешь. Двенадцать кубов тебе за глаза хватит. А три мне отдашь на разные мелочи. А то мне уже выписывали, больше соваться нельзя — не дадут.

— А мне-то дадут?

— А ты выписывал?

— Нет.

— Ну так чего волнуешься? Тебе без звука дадут. Во-первых, ты дрова не брал, а во-вторых, бригадир... Только тут вот какая хитрость. Когда оплатишь дрова, с квитанцией придешь к складу. И там грузчикам дашь на бутылку. Понял? Обязательно. Они тебе на дно кузова хороших плах напихают. А сверху — плашек. Да надо большую машину брать, с прицепом. Туда все пятнадцать кубометров влезут. Я так и делал.

— А если остановят у проходной? — спросил Семен.

— Никто не остановит. Будет тебе вахтер в плашках ковыряться. Сверху-то не видно.

— Нет, так я не хочу, — помотал головой Семен.

Анатолий даже сплюнул с досады.

— А строиться как будешь? Где досок возьмешь? купишь? Покупай, если ты такой богатый, покупай... — И видя, что бригадир опустил голову и задумался, продолжал: — Ладно, если уж ты так боишься, тогда

только выпиши дрова и оплаты. Остальное я сам сделаю. Где наша не пропадала!

Семен поколебался, но все же пошел в заводскую бухгалтерию.

— Какие печи вы собираетесь топить? — удивились там. — Ведь вы же, Табакаев, получили благоустроенную квартиру...

— А это я старикам. Отцу-матери, — нашелся Семен. Нехорошо ему было от этих слов, даже во рту неприятный привкус от них остался, а что делать? Не скажешь же, что дачу собрался строить.

Пятнадцать не пятнадцать, а десять кубометров ему все же выписали. Семен отдал квитанцию Анатолию, который ждал его у дверей, сунул на всякий случай пятерку и вышел из проходной на улицу. Там он и решил подождать, пока Анатолий управится с делом и выедет с плашками за территорию.

Он беспокойно ходил по тротуару на противоположной стороне, невидящими глазами таращился на газетный киоск, поминутно курил, взглядывал на проходную, на заводские ворота, и ему рисовались картины одна страшнее другой. Вот вахтер, увидев приближающуюся к воротам машину, неторопливо поднимается на мостик, с которого он заглянет в кузов. И хотя до вахтера далеко, Семен слышит, как постукивают сапоги вахтера по деревянным ступеням, и каждый стук отдается в сердце. Вот вахтер поднялся и глядит в кузов, глядит долго, глядит глазами самого Семена. Он видит, как под рентгеном, на дне кузова, под плашкой, деловые доски и брусья — и рука его тянется к кнопке сигнала. Семен даже слышит пронзительный звон сквозь стены караульного помещения, и тут же, словно только этого и ждали, выбегают другие вахтеры, высыпает из бюро пропусков караульное начальство в гимнастерках, с темными кобурами на поясах. Они окружают жалкого, растерянного Анатолия, который пытается оправдаться: отчаянно тычет пальцем в квитанцию, показывая, что там значится вовсе не его фамилия. Но его даже не слушают, уводят в караулку, после чего начинают смотреть за ворота, где стоит он, Семен...

Когда у ворот и на самом деле показалась машина и пожилой вахтер стал взбираться на мосток, Семен даже отвернулся. Сердце его бешено колотилось, в подошвы ног будто вкалывали иголки. Но когда он, не

выдержав, снова посмотрел в ворота, вахтер уже поднимал полосатый шлагбаум, пропуская огромный грузовик с прицепом, доверху набитый плашкой.

Машина натужно гудя мотором, выехала из ворот, развернулась и остановилась возле Семена. Анатолий распахнул перед ним дверцу, весело скалясь.

— Ну вот, а ты боялась, дурочка, — и подвинулся ближе к шоферу, давая место бригадиру. Потом вынул квитанцию. — Береги эти бумажки. Начнется в деревне какая проверка — покажешь. Все, мол, по закону.

— Какая проверка? — спросил Семен растерянно.

— Ну как какая? Откуда материалы взял, и прочее. Да ты не бойся. Все нормально! С этой бумажкой никто тебя не раскулачит, — он подмигнул шоферу, рассмеялся и махнул рукой: — Давай на Залесиху. — И шофер ни о чем не спросил, кивнул понимающе.

Семен, откинувшись на сиденье, приходил в себя.

Перво-наперво, что посоветовал Анатолий Семену в Залесихе, — так это повалить старый плетень вокруг усадьбы и поставить высокий, крепкий забор.

— Это чтоб любопытные не заглядывали, — назидательно говорил он. — Ты теперь хозяин. Понимаешь? Мало ли чего у тебя во дворе окажется. Тебе надо сейчас все доставать. Надо, к примеру, воду к дому подвести. Зачем мучиться с колодезем, если существует на свете техника. Поставишь ее — она вмиг водички подаст и на питье и на поливку. В жару попробуй потаскай ведрами из колодца. Проклянешь такую дачу. Трубы надо доставать, насос, пятое-десятое, так что без забора — никак. Погляди, как у людей. — Он показал рукой вниз, на деревню. — Видишь, сколько досок перевели на это дело? А доски зря переводить тут никто не станет. Дураков таких нету. Так что думай.

— А где я эту технику возьму? — спросил Семен. Идея подвести воду к избе ему понравилась.

— Ты прямо как ребенок... — досадливо вздохнул Анатолий. — Да завтра же сведу тебя с нашими цеховыми слесарями. Они тебе и насос сделают, и трубы достанут.

— Мне бы чертеж, а насос я бы и сам сделал, — сказал Семен, понимая, что вода обойдется недорого.

— Сам... — усмехнулся Анатолий. — А с завода ты тоже сам все это вынесешь? Помнишь, как доски выво-

зили? То-то и оно. Так что доверь это лучше слесарям. Им-то легче. От тебя одно только потребуется — денежки. Денежки — они все сделают... Вот так-то... — Анатолий помолчал, чтобы Семен хорошенько все обдумал, потом спросил: — Строить с кем собираешься? С пацаном своим?

— С сыном. Больше мне не с кем. Не Ираиду же запрягать. Вот возьму отпуск, и начнем помаленьку ковыряться.

— Когда ты отпуск возьмешь? — ухмыльнулся снисходительно Анатолий.

— Да хоть завтра заявление подам. По графику мне пора.

— Завтра... — Анатолий с укоризной покачал головой. — С отпуском ты тоже не торопись, — начал он терпеливо объяснять. — Сначала с водой реши. Насос и трубы привези сюда... Потом на заводе пошарь, нельзя ли еще чего достать. В цех покраски сходи. Где двигатели красят... Видал, какой у меня пол в доме? Блестит, как зеркало. Поговори с малярами, пусть они тебе этой краски сделают. Такой краски нигде не найдешь, только у нас на заводе... В общем, что тебя учить, пощи сам. Может, еще что найдешь. Вот так... А когда заготовишься, когда все, что надо, будет у тебя во дворе лежать, тогда и отпуск бери смело. Да на пацана-то сильно не надейся. Много вы с ним настроите! Позови Кузьму. Дороговато, а без него тебе никак не обойтись. Строить он большой мастак, это у него не отнимешь. Уж дом будет как дом. Да и человек он тут нужный, столбов делает, бревен. Заведи с ним дружбу.

Однако за Кузьмой идти не пришлось. Кузьма сам пришел.

Был он, как и в прошлый раз у Анатолия, в мятом пиджаке, с седоватой щетиной на мятом лице — и не бородатый, и не бритый. Казалось, щетина остановилась в росте. Трезвый.

— Здорово, хозяин, — приветствовал он Семена.

— Здравствуй, Кузьма, — живо отозвался Семен, помня наставления Долгова и вкладывая в голос как можно больше приветливости. И подал руку. Но руку его Кузьма пожал как-то вяло, вроде бы с неохотой. Озврался по сторонам.

— Да, говоришь, спровадили бабку-то? Ну и верно. Нечего глаза добрым людям мозолить.

— Никто ее не спрашивал, — сдержанно заметила Ираида. — Она сама уехала. По своей воле.

Кузьма даже не поглядел в ее сторону, будто не слышал. Достал кисет, сложенную газетку, принялся сосредоточенно сворачивать самокрутку.

— Ну дак как, хозяин, возьмешь в работники? — спросил он, затягиваясь махоркой. — Нонче я свободный. Пахать никому не надо. Навоз никто не просит. Дровами заниматься тоже рано. Так что самое время подрядиться строить.

Как ни дорого заломил за «помощь» Кузьма, избалованный вольным заработком, но рядиться с ним не стали — согласились. Никак нельзя было отказаться. Столбов и жердей на заводе не выпишешь. Правда, тут, в лесу, всего полно, да только не про всякого. Опять же лошадь сбрасывать со счетов нельзя, она может еще не раз понадобится. А Кузьма, как известно, связан с лесником и взять в лесу может то, что другие не возьмут. В общем, как ни крути, а Кузьма до зарезу нужный человек.

Ударили по рукам.

Втроем поставили забор вокруг усадьбы с острыми верхушками — не перелезешь, штаны на заборе оставишь. Семен потом потолкавал с дошлым цеховым слесарем, с которым свел его Анатолий, и договорился насчет насоса и труб. Слесаря этого он каждый день видел и раньше, однако не подозревал за ним пристрастия к водопроводному делу. Выходило, что с одним и тем же человеком можно знакомиться несколько раз: сначала с одного боку, потом с другого, не видного никому... И вскоре во дворе, за высоким и надежным забором, появились насос, трубы и все прочее, необходимое для подъема воды. День только и затратил Семен с помощниками, и возле ветхой старухиной избушки уже стояла колонка с пультом управления. Нажал кнопку на щите — загудел электромотор, зачавкал насос, и полилась из шланга водичка под хорошим напором. Хоть залейся! Никакая сушь теперь не страшна.

Из столбов лиственницы, добытых Кузьмой, вбили опоры для дома, и начали расти стены. Сто лет простоят дом на лиственничных брусках, никакая гниль не возьмет!

Каждую субботу и воскресенье с самого раннего утра и до заката стучали топорами. Тесали, пилили,

колотили молотками без отдыха. Скоро стены, обшитые плашкой в елочку, поднялись высоко, пора было подумать и о крыше.

Растущий дом подгонял Семена, заставлял мотаться по городским хозяйственным магазинам. Как ни учил его Анатолий достать все нужное, а потом уж строить, но учесть все нужные мелочи оказалось невозможным.

С удивлением Семен обнаружил цепную взаимосвязь вещей на первый взгляд, казалось бы, разнородных, ничем между собой не связанных, но которые, хоть умри, не могли существовать одна без другой. А началось все с тех простых ящичных дощечек. Дощечки эти еще там, на заводе, потребовали себе досок, которые и были спрятаны на дне кузова. Едва Семен с Анатолием привезли их и сгрузили, как они тут же потребовали себе столбов и брусьев на опоры, потому что без столбов не поставишь забор вокруг усадьбы, а без брусьев не сколотишь каркаса. И хотя каркас не был еще готов, однако он уже тянул к себе половицы, дверные и оконные коробки, рамы со стеклами и двери. Стены просили кровлю — то есть стропила, обшивочные плашки, кровельное железо, которое, как известно, без хорошей водостойкой краски — просто ничто. Цемент был нужен, известь... Да разве все перечислишь! Вот так немудреные дощечки от ящиков вытягивали за собой длинную цепь других вещей. И никак одно без другого жить не могло, цеплялось друг за дружку, и конца этому не было видно.

6

Работали, можно сказать, вчетвером. Мужики строили, Ираида помогала чем могла. Подносила плашки, гвозди, в общем, была вроде подсобника, да еще и обслуживала всех троих: то лимонной воды им приготовит для питья, то за сигаретами ходит в магазин, и между всех дел успевала сварить обед. Неугомонна была, откуда только силы брались. И мужиков, едва сядут перекурить, тут же пачинала подгонять, торопить, не давала расхоложиваться. Чувствовалась в ней хозяйка.

Как-то Ираида, поднявшись по лестнице, подавала мужикам наверх банку с питьем. Нечаянно глянула сверху на ворота и вдруг сплеснула воду.

— Кто это там? Уж не Петровна ли? — проговорила она, видя, как с улицы кто-то неумело отпирает ворота. Наверно, о старухе она подумывала не раз... И правда, предчувствие Ираиду не обмануло: во дворе показались Петровна, насилиу одолев новый запор — не простой, вертушечный, какой был прежде, а железный, с кольцом.

Растерянно оглядевшись, словно гадая, куда ли она попала, Петровна осторожно пошла по двору в белом своем платке, с белым же узелком в бурой костлявой руке. Остановилась около растущего нового дома, посмотрела на него изучающе, потом снова оглядела бывший свой двор, будто не узнавала его. Да и мудрено теперь было узнать. Слишком уж все тут переменялось за столь малый срок, все было незнакомым и чужим. Даже ее старая изба казалась не той, что раньше: на крыше появилась новая отметина — торчал крест телевизионной антенны. Только черемуха со скамьей оставались прежними, и старуха явно обрадовалась им.

— Здравствуйте, — тихо проговорила она и поклонилась, как Семену показалось, не только людям, но и всему родному: избе, черемухе, скамье, лугам в заречье. — Это ниче, что я пришла-то? — спросила она у Ираиды. — Я недолго. Посижу на лавочке и уйду.

— Ну и хорошо. И правильно сделали, что пришли, — с живостью откликнулась Ираида. — Разве нам жалко? Сидите сколько хотите.

Мужики работать при старухе отчего-то постеснялись и, радуясь возможности перекурить, слезли с крыши. Тем более, и обед был близко.

Кузьма включил мотор и стал умываться под струей, хотя и не особенно-то испачкался на верхотуре. Да и ему, видимо, хотелось удивить Петровну.

— НТР, бабка! — крикнул он старухе.

— Че? — не поняла та.

— Научно-техническая революция, говорю. По радио-то не слыхала, что ли? Видала, какая механизация? Кнопочку нажал — и вот она, водичка. А ты с колдцем маялась!

Петровна, соглашаясь, покивала головой и отвернулась.

Мужики, сидя на досках, курили, они что-то не собирались снова лезть на крышу. Ираида тоже не знала, как себя вести. Разговаривать с неожиданной гостьей



или заниматься делами? И она решила устроить обед, чтобы не проходило время даром.

Ираида пригласила к столу всех, в том числе и Петровну, но та отказалась.

— У меня тут булочка, — сказала она, показав на узелок, лежащий рядом на скамейке. — Взяла, думала, захочу есть, дак поем. Да не хочется че-то...

Когда, пообедав, все вышли из избы, Петровна по-прежнему сидела на лавке, глубоко задумавшись.

Ираида, подойдя к Семену, собиравшемуся лезть на крышу, шепнула раздраженно:

— Сидит со своим узелком, как на кладбище.

— Пусть сидит. Жалко, что ли?

— Не нравится мне это. Смотреть неприятно. Сидит бука буклой, слова не скажет. Будто мы ей враги какие. Уж лучше бы тогда совсем не приходила. Я ведь тоже не железная, тоже нервы имею. Я вот спрошу сейчас, чего ей надо, — решительно сказала Ираида, оглядываясь на лавку.

— Не трогай ты ее, — попросил Семен.

— Злит она меня своим видом.

— Не нравится — не смотри, — в сердцах сказал Семен.

Но Ираида и не думала отворачиваться от старухи. Медленно, переваливаясь с ноги на ногу, она подошла к скамейке.

— Петровна, — позвала она громко. — Что-то я ни одной грядки земляники не вижу. Вы ее не садили, что ли?

— Земляники-то? — не сразу отозвалась старуха. Она рассеянно посмотрела на Ираиду, медленно возвращаясь мыслями оттуда, где только что была. — Так земляники-то в лесу полно бывает. Вот прямо тут, на полянке, — кивнула она за ворота.

Ираида криво усмехнулась и пошла прочь.

Работали молча, нервно. Чтобы мужики наверстали упущенное время, Ираида принялась помогать им. Она не просто подавала вверх дощечки, а кидала их в руки мужа с такой силой, что тот едва ловил их. Одну не поймал, больно зашиб плечо, но ничего жене не сказал, только губы закусил.

На Петровну не обращали внимания. Она тихонько сидела на скамейке, и никто даже не заметил, когда она встала и когда ушла.

Под вечер Ираида послала Семена к Долговым спросить, скоро ли они поедут домой, чтобы знать, собираться ли самим или еще есть время покопаться по хозяйству. Выйдя за ворота, Семен увидел на пеньке остатки белой булочки, которую клевали воробьи и дикие лесные голуби...

Анатолий в своем дворе чистил машинку.

Семен сел на низкую желтую, выжженную бензином траву, закурил и стал глядеть, как сосед с ласковой осторожностью протирает ветошью бок машины, — он водил рукой, словно под ней было не мертвое железо, а чуткая кожа живого существа.

— Ты чего сегодня такой? — покосился Анатолий.

— Какой? — спросил Семен.

— Кислый.

— А с чего быть сладким? С каких радостей?

Долгов пожал плечами.

— Не знаю. Но, по-моему, у тебя все нормально.

— Нормально... — поморщился Семен. — Было когда-то нормально. Слышь, Анатолий, — позвал он тихим голосом. — Ты как спишь? Спокойно?

Анатолий до этого стоял к нему боком, как бы деля себя между соседом и машиной, но тут повернулся к Семену, внимательно на него посмотрел темными своими глазами, в которых словно что-то приоткрывалось из-за шторочек, какая-то тревога.

— В каком смысле? — спросил он спокойно, но заметно было, как напряглось его лицо и затвердели губы.

— В обычном. Ночью-то как спишь? Не ворочаешься? Душа у тебя спокойная? Не будит тебя?

Анатолий помял ветошь, перекладывая ее из одной руки в другую, осторожно положил на крышу машины и так же осторожно, словно боясь что-то расплескать в себе, опустил перед Семеном на корточки.

— А с чего она должна быть у меня беспокойная? — спросил он, пристально заглядывая в задумчивые глаза Семена.

— Не с чего разве?

— Да будто бы особо-то не с чего, — проговорил Анатолий, пытаясь что-то разглядеть в Семене.

— Завидую я тебе, — вздохнул Семен. — А вот мне нехорошо что-то. Душа у меня не на месте... Днем-то

терпеть можно. Все время на людях, работаешь, разговариваешь с кем-нибудь — вроде как отвлекаешься... Будто всем этим душу прикрываешь. А ночью — нет... — он покачал головой. — Ночью никуда не денешься. Как разденешься, и душа как бы тоже голая становится, ничем не прикрытая. И начинается... разное...

— Что начинается?

— Ну как что? Думы разные. Видения. Глаза закрою, а все равно вижу. Сразу и дядю Гошу вижу, и как мы с тобой доски с завода вывозили — тоже вижу. Веришь, каждую ночь вижу... — Семен вымученно усмехнулся. — Я уж столько этих досок навывозил, что не только дом — деревню можно построить... Прямо хоть спать не ложись. Целый день работаю, как проклятый, и вечер стараюсь прихватить, чтоб устать сильнее да чтобы заснуть сразу. Всяко уж пробовал... — Он посмотрел на соседа: не смеется ли? Тот не смеялся, наоборот, был задумчив.

— А одетым спать ты не пробовал?

— Одетым жена в постель не пустит, — опять через силу улыбнулся Семен.

— Да-а, тяжелый случай, — деревянным голосом сказал Анатолий. — Выходит, большого я дурака сваял. Знал бы, что ты такой кисель, сроду бы не связался с тобой. — Он насмешливо хмыкнул. — Душа у него болит... А ты как хотел? Дом отгрохать и чистеньким остаться? Так, что ли? Нет, дорогуша, так не бывает. За все надо платить. Даром ничего не дается.

— Так я не говорю, что мне даром надо, — возразил Семен. — Да только быстро дорого выходит.

— А дешевле не выйдет, — жестко сказал Анатолий. — Это ведь дом. Понимаешь ты? До-ом... — протянул он длинно, чтобы сосед прислушался к звучанию слова и получше осознал, что за ним скрывается. — Я тоже ведь так строил. То досок привезу втихаря, то шиферу, то еще чего-нибудь. У меня душа болела, как ты думаешь? Болела?

— Не знаю...

— Не знает он... У меня ведь тоже душа не железная. Думаешь, не боялся? Боялся... Попадаться никому неохота.

— Да я не про то, — перебил Семен. — Страх проходит. Привез доски, никто не видел — и все. Бояться

больше нечего... Совестно — вот беда. Сколько уж времени прошло, а это не проходит. Я за это время, если хочешь знать, душой убыл.

— Душой, говоришь, убыл? — переспросил Анатолий. — Ну так что?.. Верю. Сам через это прошел. Совестно, она у всех есть. Да только одной-то совестью сыт не будешь. Тебе вот стыдно было доски везти, а ты их вез. Вот дом построил. Душа у тебя болит, а дом — вот он. — Анатолий простер руку. — Дом стоит. А душой ты маленько убыл. Все правильно. И из-за дяди Гоши маленько убыл, и из-за насоса. Понял, как получается? А иначе не бывает.

— Так можно совсем без души остаться. — вздохнул Семен.

— Можно, — очень легко, даже радостно согласился Анатолий. — Можно. И совесть привыкнет, болеть не будет. Ее ведь и приучить можно.

Семен ошарашенно уставился на него.

— Чего глядишь? — усмехнулся Анатолий. — Ты бы поменьше задумывался, так и спал бы нормально. Не трави ты себя зря. Век-то долгий, то ли еще будет...

— Как это поменьше думать? Голова сама думает, ее не остановишь. Я бы, может, и хотел не думать, да не получается. — Семен пальцем вдавил в землю окурок, достал новую сигарету, прикурив, судорожно затянулся. — Ну ладно, не буду я думать. Ты не будешь... А может, самое время нам с тобой подумать, как дальше? Может, душу-то для чего другого побережешь?

— Для чего другого? — с интересом спросил Анатолий и сел на траву.

— Ну как для чего? Неужто вот, скажем, я только для того и родился, чтобы тряпок закупить, дачу построить, ну там... машину к старости? Не для этого же, ясное дело! И ты ведь тоже не для этого, и другие все. А что получается? Вон в универмаге выбросили ковры к празднику, так что там было! Люди в войну за хлебом так не давились! Прямо друг на друга лезли! Не пойму я этого.

— Деньги есть, вот и лезут, — рассудительно сказал Анатолий. — От бумажек толку мало. На них надо что-то купить. Все сытые, накормленные. Теперь не о еде речь. Красивые вещи народу подавай. Да и что плохого, что люди хорошо жить стали? Наоборот, радоваться надо. Натерпелась в войну, вот и хотят пожить. Это

хорошо, твоя Ираида в торге работает, все, что надо, достанет. А другим как? Вот и лезут.

— Не знаю, не знаю... Я к этому равнодушный, к этим коврам, гарнитурам... Ходи по комнате и бойся полировку оцарапать, сдувай пылинки... Честно сказать, мне лучше бы что попроще. Чтоб и сесть не бояться. Вот как здесь, на траве.

— Не скажи, — возразил Анатолий. — Надо культурно жить. Народ — он понимает все. Иначе бы не хватало вещи. Ты просто недопонимаешь. Даже в газетах пишут, что растет материальное благосостояние, что у народа полно машин, холодильников, телевизоров. За это, наоборот, хвалят. Ну ладно... Не будешь ты вещи покупать — куда деньги девать станешь? Солишь, что ли? Да и зачем вкалывать стараться, если тебе ничего не надо?

— Нет, Анатолий, ты меня не сбивай, — стоял на своем Семен. — Я о другом говорю. Вот, допустим, ты уже всего накопил. Допустим. — Семен провел ребром ладони по воздуху сверху вниз, как будто отрубая что-то. — И машина у тебя, и дача, и разные гарнитуры, тряпок невпроворот — все, в общем...

— Ладно, допустим, — согласился Анатолий.

— А дальше?

— Что «дальше»? — Анатолий недоумевал.

— Вообще. Что дальше? Душа будет всем этим сытая или еще чего-нибудь запросит? Не вещей, а чего другого.

— Развлечений каких, что ли? Так мы с женой в кино ходим. Телевизор у нас хороший...

— Да при чем тут телевизор?! — воскликнул Семен в сердцах. — Я про серьезное ему, а он телевизор...

— Серьезное, значит? — Анатолий поглядел куда-то, за вершины сосен, будто там мог быть написан ответ. — Дальше — чтоб на работе нормально было. Тебя вот, к примеру, скоро мастером поставят.

— На работе... — усмехнулся Семен. — На работе у нас и так хорошо. А мастером... Не-ет, в мастера я не пойду. Разве когда постарею, как дядя Гоша, тогда — может быть. А пока — нет. Почему? Я вот отработал смену, и видно, что сделал, мою работу можно руками пощупать. Лежат на тумбочке детали... Теплые еще, горелым маслом и железом пахнут. Я сделал!.. Зачем же я буду свою работу бросать? Другое дело — квали-

фикацию повышать. Разряд-то некуда повышать мне, а квалификацию можно. Это другое дело. А бросать живую работу... — Он помотал головой. — Нет, никто меня не уговорит.

— Ходят слухи, тебя собираются ставить, как передового бригадира. —

— Это их дело, — недовольно перебил Семен. — Пусть собираются. Только опять у нас разговор в сторону ушел. Мы ведь о другом говорим.

— Да я что-то не пойму, о чем мы и говорим, — вроде бы искренне недоумевал Анатолий. — Больно мудреный ты. Никак не могу сообразить, чего тебе надо. Может, ты и сам не знаешь?

— Может, Анатолий, все может быть... Ты вот только что сказал, что я передовой бригадир. Так?

— Ну, сказал.

— А какой я передовой?

— Ладно, не прибедряйся, — перебил Анатолий.

— Да я и не прибедряюсь. Никакой я, Анатолий, не передовик. Я простой неграмотный мужик, если уж на то пошло. Как я живу? Работа, дом. Теперь вот — дача... А дальше что? Куда мне еще сунуться, кроме всего этого? Дальше у меня полные потемки. Что-то еще у меня должно быть, а что — не знаю. — Семен развел руками. — Скучно мне жить, и все. Ты вот говоришь, у меня все нормально. Может, и нормально, а мне все равно скучно. Недостает мне чего-то...

Глядя в сторону, Долгов снисходительно улыбался. Так улыбаются взрослые — терпеливо и снисходительно, слушая невразумительный лепет ребенка. Семен заметил это и насунился.

— Тебе-то, видно, не скучно?

— Мне — нет. Я делом занимаюсь. На болтовню время не трачу, — с легким раздражением сказал Анатолий. — И тебе советую побольше делать.

— Тебе хорошо. Завидую. У тебя душа к вещам повернута, и ничего тебе не надо...

— А у тебя к чему повернута? — быстро обернулся Анатолий. — Ты мне уже полчаса мелешь какую-то чушь, а я слушаю и в толк не возьму: какого тебе еще черта надо? Ты хоть сам-то знаешь, чего хочешь? Ты толком высказать можешь?

Семен не обиделся, а неожиданно легко рассмеялся.

— Слышь, Анатолий... Я вот как-то видел: выпал воробышко из гнезда. Маленький еще совсем, голопузый, перышки только-только пробиваются. И вот лежит он на земле... Голые крылышки вздрагивают, полететь хочет — и не может... Вот так и я. Знаю ведь, — Семен приложил руку к груди, — есть во мне что-то такое, есть, вздрагивает внутри. А полететь не могу, Крылья не отросли...

Анатолий нарочито зевнул в сторону и поднялся, разминая затекшие ноги.

— Отрастут, — насмешливо пообещал он. — Полетаешь.

— Ничего ты не понял, — выдохнул Семен с досадой.

— Где уж мне понять. Мы люди простые. От земли не желаем отрываться. А ты еще летаешься. Это я тебе точно говорю... Иди лучше скажи жене, чтобы собиралась. Ехать надо. Хватит болтать.

Семен тоже поднялся. Он чувствовал в себе еще что-то невысказанное, оно держало его на месте. Но что толку говорить, если слова его неясные и обходят соседа стороной...

— А все равно, — сказал Семен с вызовом. — Когда-нибудь люди не так будут жить, по-другому.

— Ну-ну... Поживем — увидим, — бросил Анатолий. Шторочки на его до этого затененных глазах на миг приоткрылись, и Семена обожгла такая ледяная усмешка, что слова, которые он хотел высказать, не родившись, заглохли.

7

Ехал в Залесиху Семен один. Игорек был в деревне — он безвылазно проводил там каникулы. Ираида отправилась с Долговыми на базу, потому что ей сообщили: поступило как раз то, что она заказывала, — импортный мебельный гарнитур для Долговых. Она даже домой не зашла, позвонила Семену с работы: езжай, мол, без меня. Вот он и ехал в одиночестве, размышляя, что хоть бы уж достала сегодня Ираида Долговым обещанное, хоть этот груз стряхнуть с плеч...

Минувая станцию, Семен углубился в лес, прошагал до первого поворота и вдруг изумленно остановил-

ся: прямо перед ним на мягкой, устеленной прошлогодней хвоей проселочной дороге начиналась ровная белая полоса, которая уходила далеко вперед и терялась за другим поворотом. Сначала он даже не понял, что это такое, но потом пригляделся внимательнее и покачал головой. Это были поленья. Обычные березовые поленья, уложенные вплоты одно к другому. Тянулась необычная колея, резко и странно выделяясь на земле, в сторону деревни.

Семен постоял, гадая, откуда здесь могли взяться поленья в таком необычном порядке. Похоже было, что кто-то их аккуратно разложил одно за другим. Зачем? Для какой надобности?

Привела эта странная колея в Залесиху, к разобранной поленице, возле которой громко матерился Кузьма; стояли тут и любопытные соседи, пришедшие взглянуть на чудо: у мужика на станцию дрова сбегали! Одни посмеивались, другие хоть и сочувствовали, но тоже не могли сдержать улыбки.

Остановился и Семен, чтобы узнать, в чем дело. Но толпившиеся тут люди и на него стали глазеть как на чудо, отчего-то расступались перед ним, и у Семена от неясного еще предчувствия сжалось сердце.

— Я знаю, туды вашу, кто это сделал! — кричал Кузьма, показывая пальцем на Семена. — Это твои архаровцы сделали, так их перетак!

— Какие мои архаровцы? — опешил Семен. — Ты о чем, Кузьма, говоришь-то? Игорек, что ли?

— Там, окромя твоего Игорька, целая шайка крутилась. Всю ночь по деревне шастали; змеи! У одних огурцы с грядок вместе с ботвой вырвали и бросили. У других забор повалили, стекла выбили. А у меня дрова вон растащили. Ну не змеи ли? Сроду у нас в деревне такого не было, сколь живу. А теперь хоть сиди ночью с ружьем да карауль! Ить это подумать надо!

— Правда, правда, Кузьма, — качали головами соседи — старики и старухи. — Уж вечером со двора боязно выходить. Того и гляди, либо разденут, либо ишо че-нибудь сотворят.

У Семена под рубашкой прошел озноб.

— Подожди, Кузьма, — попросил он. — Подожди. Так это точно, что Игорек? В нашем даоре еще кто-нибудь был, кроме него?



— Орали благим матом.

— Мы уж и выйти боялись, — наперебой заговорили соседи Кузьмы. — У тебя они орала, Семен. У тебя на горке.

— Это че же делается-то? — не мог успокоиться Кузьма. — Ладно, если бы твой Игорек не знал меня... А то ведь знает, а все равно напакостил. Даже вон собаку, — показал он пальцем на крутившегося возле людей пса, — если кого знает, не кинется. А он?

— Ладно, Кузьма, — сказал Семен придавленным голосом. — Сейчас мы разберемся... — И скоро пошагал к себе на гору, так что песок брызнул из-под сапог.

«Только — спокойно. Без нервов», — твердил он себе по дороге домой, хотя его всего трясло. Ведь какой позор принял! Сроду ему никто плохого слова не сказал, и — на тебе!

Залетел во двор, заполошно поискал глазами сына. Ему казалось, едва он войдет во двор, как сразу увидит что-то особенное, непривычное, имеющее отношение к ночному происшествию. Но во дворе был обычный порядок, и Семен даже заколебался: может, люди перепутали, не на того показали?

Игорька во дворе не оказалось. Семен шагнул к избе. Дверь была распахнута. Он вошел — и на влажном еще полу остались следы сапог. Недавно, значит, пол мыли. Не высох даже. Это Семен отметил сразу, и это его насторожило. Следы замывал. Ладно...

Игорек, развалясь на кровати, брэнчал на гитаре. Увидев отца, приподнялся, сунул гитару к стене, как бы заслонил ее собою, и это тоже не укрылось от глаз Семена, который в любой мелочи сейчас искал значенне.

— Ну, здравствуй, сын, — сказал Семен, пытливо озираясь.

— Здравствуй, — отозвался Игорек, уже сидя на кровати. — Ты чего, отец, такой? Что-нибудь случилось?

— Случилось, — затаенно сказал Семен.

Игорек поднялся с кровати, стоял, переминаясь с ноги на ногу.

— А что случилось? — он старался говорить спокойно, но в голосе его чувствовалась напряженность.

— Это мы сейчас выясним... — Семен сел за стол, показал пальцем на свободный табурет. — Садись!

Настороженно косясь на отца, Игорек присел на край табурета, словно был не дома, а в гостях.

Семен помедлил, не зная, с чего начать. Мысли путались, и он никак не мог привести их в порядок. И вдруг, озлобясь на самого себя, он стукнул что было силы кулаком по столу.

— Кто тут был ночью? Говори!

— Ты о чем, отец? — Игорек скорчил недоуменную гримасу.

— Я спрашиваю, кто у тебя был ночью! — шершавым, срывающимся голосом произнес Семен. — Что у тебя были за люди?

— Да никого не было. Ты с чего взял?

— Значит, никого не было? — Семен поднялся, отшвырнул пинком табурет, что-то поискал глазами. Что — он и сам не знал, только чувствовал, как тяжелеет голова и темнеет в глазах. — Значит, никого не было? — повторил он еще раз и увидел в углу моток толстой веревки, на которой они поднимали на крышу инструменты и всякую мелочь, которая могла понадобиться наверху. Он шагнул к веревке, понимая, что искал именно ее.

— Ну? — произнес он жестко, оборачиваясь к сыну и с готовностью опуская руку вниз, к веревке.

— Были... ребята... — понурившись, выдавил Игорек.

— Ладно, — Семен подошел к столу, поднял табурет и сел. — А теперь давай поговорим. Мы с тобой одни, мешать нам некому. Давно-о я собирался с тобой вот так поговорить. И вот вышло времечко... — Он судорожно перевел дух, успокаиваясь. — Ну вот, Игорек... — Семен сощурился, глядя на сына снизу вверх. — Игорек... — проговорил он с издевкой. — Какой ты Игорек! Вон какой здоровый лоб вымахал. Бриться скоро будешь. Говоришь басом, как мужик. Пятнадцать лет тебе. С девками скоро гулять будешь. А может, уже гуляешь, а?

— Я на такие вопросы не отвечаю, — отвернувшись, проговорил сын. Он, видимо, понял, что главная опасность прошла, отец остыл. Теперь он, судя по всему, примеривается читать нравоучения. А потому Игорек мог себе позволить и такую вольность, как грубоватый ответ. Тем более, причина была.

— Молодец... — протянул отец насмешливо. — Гра-

мотный стал. Отвечать научился. Ты мне вот что скажи. Давно я этим интересуюсь, да все никак ответ не выужу. Кем ты собираешься стать?

Игорек хмыкнул и увел глаза.

У Семена под сердцем ворохнулось раздражение. Он и раньше пытался поговорить с сыном, но всегда наткнулся на такую вот ухмылку, которая сбивала его с толку. Вот и на этот раз Игорек недоступно ухмыльнулся, скосив в сторону глаза, но Семен не дал себе разозлиться раньше времени, придержал хлынувшее изнутри раздражение, с интересом глядел на сына, стараясь увидеть и понять то, что проглядел раньше.

Вот стоит перед ним сын. Родной, плоть от плоти, а до чего чужой, неблизкий. Даже видом своим — чужой. Куртка короткая напялена, детская — не детская... Штаны в обтяжку с яркой нашивкой на боку... Эти космы... Сын — не сын, морду в сторону воротит.

Горько и тяжело стало Семену, он даже глаза отвел, чтобы не видеть всего этого.

— Сложный вопрос, — сказал, наконец, Игорек.

— Значит, сложный? — Семен поднял на него враз побелевшие глаза. — Такой сложный, что до сих пор не знаешь, кем собираешься стать? Головой потолок подпираешь, а все не знаешь?

— Ну почему не знаю... — Игорек тонко улыбался.

— Знаешь — говори! Не виляй. Не перед кем вилять! Я отец, и должен знать, кем мой сын будет.

— В ансамбль хочу поступить, — стеснительно сказал Игорек и опять отвернулся. Такая у него была манера разговаривать.

— На гитаре, что ли?

— На гитаре.

— Ну что ж, и это людям надо, — разрешающе качнул головой Семен. — Иди в артисты, если душа лежит. Перечить не стану. Одного я только не допущу — чтобы мой сын бандитом стал! Слышишь?! — Он рывком поднялся с табуретки. — Лучше своими руками задущу! Пусть лучше никакого сына не будет, а бандитом быть не дам! Заруби это себе на носу!

Игорек вскочил, тонкое лицо его побледнело.

— Дрова с кем таскал? — быстро спросил отец, не давая ему опомниться. — Говори!

— С ребятами...

— Та-ак... — выдохнул Семен. — Сейчас пойдешь к

Кузьме. Повинишься перед ним и уложишь дрова так, как они лежали до этого. Хоть до самого утра таскай, а дрова чтоб были на месте... Потом поднимешь забор, вставишь стекла. Тебе все понятно?

Игорек молчал, переминаясь с ноги на ногу.

— А теперь ступай, и, покуда все, что я сказал, не сделаешь, домой не являйся. Если не пойдешь, — продолжил Семен, видя, что сын не двигается, — я сам пойду и сделаю. Но после этого ты мне не сын.

Сын все стоял, будто не решался о чем-то спросить.

— Ну? — покосился на него Семен.

— А где я стекло возьму?

— Это я тебя должен спрашивать, где ты стекло возьмешь, — раздраженно проворчал Семен и, помолчав, добавил: — Можешь пока выставить наши рамы.

Когда сын вышел, Семен бессильно опустился на кровать. Пусто было в душе, будто все, что там находилось, ушло вместе с сыном, и ничего в ней больше не осталось, кроме сосущей пустоты.

— Это надо же... — проговорил Семен, жалуясь кому-то. — Надо же... — Он оглядел избу. После того как Петровна уехала, в избе побелили, выветрили чужой дух, но все равно: и свежевывмытый, с его, Семена, следами пол, и белые стены, и потолок — весь дом оставался чужим и будто приглядывался к Семену, несколько не сочувствуя ему, а наоборот, радуясь его беде.

Чужой был дом, насквозь чужой, привыкший к другим людям, которых здесь теперь нет, но которые — живые ли, мертвые ли, — а все равно помнят свое жилье. И вдруг Семену подумалось, что сам он никакой родности к квартирам, в которых довелось жить, никогда не чувствовал. В детстве жил в казенном бараке, в суетливом человеческом улье, потом — в солдатской казарме... И никогда он не задумывался о своем жилье: родное ли оно ему. Когда поженились с Ирандой, получили от завода однокомнатную квартиру. Народился Игорек — перешли в двухкомнатную, и никакого сожаления не было от расставания со старым жильем. Наоборот, радовались: повезло, жилплощадь расширились. На новоселье веселились всюду. А чего было жалеть старую квартиру? Семен ее не строил. Там сейчас живут другие люди, они тоже обрадуются, если получат жилплощадь побольше. Да и какую мож-

но чувствовать родственность к месту, которое и называется-то по-казенному: жилплощадь? Как-то с Игорьком, когда он уже подросток, проезжали на автобусе мимо старого дома, и Семен показал ему из окна: «Гляди, мы там жили». Тот мельком посмотрел и отвернулся. Неинтересно ему было. А вот Петровни Ванюшка, наверное, даже умирая, помнил свою родную избу. По ночам она ему снилась, и как он хотел в нее воротиться. Ведь там каждая плаха родная, отцом обтесана. Изба эта невидная и была для Ванюшки родиной, или уж во всяком случае отсюда для него начиналась родина. А что Игорек вспомнит? Если, не дай бог, придется вспоминать? Отца с матерью — это само собой. А место? Где у него самое святое место, куда человека должно манить всю жизнь? Ведь у каждого же оно должно быть. Что Игорек вспомнит? Старый или теперешний двор? Двор... Семену вспомнилось свое детство, вспомнилось, как дрались с зареченскими ребятами. Те поодиночке боялись появляться в центре города: им тут попадало от городских. Но и городским приходилось туго в Заречье, если была нужда навеститься к кому-нибудь из родственников. Однажды Семена там подкараулили, когда он ездил к бабке... И ведь все мальчишки знали друг друга, не путали, кто городской, а кто зареченский. А позже, с годами, круг почему-то сужался и сужался, и уже враждовали не с целым Заречьем, а с другой улицей. Те мальчишки, что жили на его Крепостной, старались держаться вместе, поодиночке не отваживались бывать на соседней улице, и это их спланивало. Да, было... А сейчас даже смешно и подумать, чтобы с какой-то улицей враждовать или дружить. Какое там с улицей! Семен сколько лет живет в пятиэтажном доме, но не только мужиков с улицы всей — соседей из своего подъезда в лицо не знает. А живут ведь вроде рядом... Некоторые, правда, здороваются, но и здороваются с какой-то неловкостью, со стыдливостью. Вроде какой долг отдают. Семен по себе это знает. Ну, а его Игорек? С кем он дружит? Несколько таких же кудлатых, как он сам, парней собираются во дворе, посидят да и разойдутся. Ну, на гитаре побренчат, попоют свои заунывные, словно кошачьи, песни. И все. Друзья у него, может, и есть. А какого-то одного друга у него не примечал. Так кого же он вспомнит? Что вспомнит? Может, теперешний дом?

Так этот серый пятиэтажный через несколько лет разлуки и не выделится среди остальных. Их и сейчас-то путаешь, до того они одинаковые, словно на заводе штамповали их. А ведь и правда — на заводе. Стены — литые, бетонные. Живые руки к ним не прикасались. Край поднял, край же на положенное место поставил. Собрали дом из готовых стенок, сварили соединения, швы замазали — живите, люди добрые! Хоть бы дом-то кирпичный был, который по кирпичику складывают, а то панельный, холодный даже своим неживым серым видом. Как его Игорек вспомнит? Наверно, и не вспомнит...

Семен вздохнул и стал некать сигареты. Было тихо, сумеречно. В раскрытом темном окне загорелась зеленая звезда. А может, и не в доме дело? А в чем-то другом? В чем же?

Семен поднялся, прошелся по комнате, прислушиваясь к чужому скрипу половиц. Не зажигая света, покурил. Потом нашел на полке краюху хлеба. Пожевал, не чувствуя вкуса, и положил на место. Усмехнулся. Любил он раньше съесть кусок круто посоленного хлеба с водой. С детства привык. Да только давно он не пробовал хлеба с водой.

Снова закурил и стал ходить по комнате, прислушиваясь к себе, к своим думам. Вздрыгнул, когда тоненько звякнуло стекло в окне. Понял: Игорек. Но не позвал сына, ни словом не напомнил о себе.

Глубокой ночью пришел Игорек и включил свет. У Семена даже глаза резануло от неожиданной яркости.

— Ну, — спросил он тихо. — Все?

— Все, — так же тихо ответил Игорек.

— Быстро ты с дровами управился.

— А мы с Кузьмой на лошади. Он мне и стеклит помог, — заторопился Игорек, боясь, что отец не поверит.

Но тот поверил. Подошел к сыну, долго рассматривал его усталое, возбужденное лицо и вдруг притянул к себе, поцеловал в солоноватую от пота щеку и тут же вышел во двор...

Ираида приехала с Долговыми утром. Вошла она во двор с видом измученного, но сделавшего свое дело человека. На немой мужнин вопрос только с облегчением махнула рукой: все, мол, развязалась. И он не

стал выспрашивать подробности. Было хорошо слышно, как весело переговаривались соседи в своем дворе, значит довольны. Ну и слава богу.

Выставленную в избе раму Ираида не заметила, а рассказывать о случившемся вчера Семен не стал. У них с сыном на этот счет, как ему казалось, была молчаливая договоренность, и нарушать ее было нельзя.

Ираида позавтракала, вышла в огород и вдруг позвала мужа:

— Семен, иди-ка сюда!

Семен встревожился, торопливо пошел к ней.

— Посмотри. Что это такое?

Подбоченясь, Ираида стояла над морковной грядкой и недобрыми глазами показывала вниз, на резную ботву, под которой в трещинках земли угадывались крупные, возросшие на щедрой поливке морковины.

— Ну как что... Морковь вроде? — произнес Семен неуверенно. Строгий тон жены сбивал его с толку.

— Сама вижу, что не репа. Грядка-то полотая. Ты полот?

— Нет, не я, — быстро сказал Семен.

— Может, Игорек?

Ираида повернулась к строящемуся дому, где на крыше мирно сидели Игорек с Кузьмой.

— Игорек? — позвала она. — Ты грядку полот?

— Нет, мама! — крикнул тот, поспешно отворачиваясь к Кузьме и громко стуча молотком.

— Значит, кто-то прополот без нас, — значительно проговорила Ираида. — Вон даже на дорожке вялая травка кучкой лежит. Кто бы это мог? Святой дух?

— Откуда я знаю, — отмахнулся Семен. — Может, и он.

Ираида снова обернулась к сыну.

— Петровна приходила? — спросила она.

— Приходила, кажется, — отозвался сын.

— Понятно. Это она, — отрешенно сказала Ираида.

— Ну и что? — спросил Семен. — Чего особенного? Ты ей сама говорила — приходи, мол, когда захочешь.

— А кто ее просил полоть? Мы что, сами без рук? Знаешь, милый мой, не правится мне это. Чего она хозяйничает в чужом дворе?

— Может, она помочь хотела, — попытался сгладить

Ираидину суровость Семен. — А ты и напустилась. — Не нужна нам помощь. Сами обойдемся. Просто мне неприятно, что без нас тут хозяйничают.

«Знала бы ты, что тут было, так и про грядку бы не вспомнила», — подумал Семен, влезая на крышу и радуясь про себя, что его с сыном связала тайна. Не повралась бы только эта ниточка...

8

Дача, неожиданно для него самого, захватила Семена. На работе ему приятно было думать, что в пятницу ехать в Залесиху. Подумает об этом — и теплая волна плеснется в сердце. Он заранее представлял, как они с Ирандой выйдут из электрички и пойдут мягкой проселочной дорогой, по которой идти — одно удовольствие. И такое умиротворение войдет в душу от вида крепких, высоких сосен, от яркой зелени, от щебета птиц, что и выразить нельзя. Легко и светло будет в душе оттого, что все городские заботы как бы останутся за порогом леса. В деревне его ждут новые заботы. Они не тяготят, а наполняют тихой радостью, и лишь увидит он из электрички в окно свою станцию, ладони уже заранее зудят, предчувствуя шероховатую теплую плоть топорница, молотка или другого инструмента, которым можно тесать, пилить, долбить, подчищать или красить. Этот зуд подгоняет его, торопит, и он невольно убыстряет шаги, пока Ираида, которая всегда устает быстро, не одернет его.

Скажи Семену раньше, что он станет заядлым дачником, из тех, кто, увидя на дороге какую-нибудь железку либо дощечку, подбирает ее, несет к себе и пытается приладить к делу, — не поверил бы, только рассмеялся. Теперь же всякую пустяковину Семен тащил на дачу, и смешно ему совсем не было. Оказывается, жила в нем такая хозяйственная струнка, незаметная до поры. Не купи дачу, так, может, и не узнал бы о ней никогда. Вот как случайности раскрывают человека. А сколько мы еще в себе не знаем припрятанного до поры, до заветного часа...

Или вот взять плотничье, столярное ремесло. С малолетства, с того самого дня, как Семен попал на завод, его руки знали только железо, только металл. Металл ему стал родным и привычным. Он знал, как



его точить, пилить, строгать, а за дерево браться не приходилось. Бывало, правда, дома что-нибудь починит: форточка не закрывается — подтешет, подчистит напильником разбухшую древесину. Ну там полку в кладовке прибьет или ножку стула закрепит, чтобы не шаталась. Так ведь все это мелочи, не требующие ни особого ума, ни сноровки. А чтобы всерьез, вот как теперь, — такого и в мыслях сроду не держал. И хотя никогда не задумывался он о плотницком или столярном ремесле, а вот приспичило, взялся за топор и рубанок — и обнаружилось, что руки у него и с деревом неплохо справляются.

Прошла какая-то неделя, а Семен работал уже наравне с Кузьмой, даже еще и поспорить мог, кто лучше ошкурит бревно или вытешет брус на четыре угла. Да и плаху мог так выстругать рубанком, что, води по ней ладонью околько хочешь, ни одной занозы не поймаешь. И как бы от пришедшего уменья полюбилась ему податливая ласковость дерева, теплота шелковистых волокон, незатейливый, но такой удивительно приятный для глаза древесный рисунок. Руки сами так и тянулись к дереву, скучали по нему. И уже вечерний перестук топоров не раздражал Семена, как вначале, не лишал его спокойствия. Нет, стук его собственного топора вливался в общий многоголовый шум стройки, казался таким же простым и естественным в Залесихе, как щебет птиц в утреннем лесу. Вот какие перемены могут произойти с человеком!

Стены дома были уже готовы, крыша обшита тесом. Оставалось закончить с кровлей. Все, что можно, Семен добыл на заводе: одно выписал на складе, другое достали мужики. Высокий забор вокруг усадьбы оказался как нельзя кстати, и подивился Семен прозрачности Анатолия. Во дворе, надежно скрытые забором от любопытных глаз, лежали добротные доски, листы фанеры, банки с красками и даже два мешка керамической плитки. Этой плитке Семен пока еще не нашел применения, просто ему дешево предложили ее, он и взял, как взял бы любой толковый, хозяйственный человек. Но, конечно же, плитка не будет лишней, и ей обязательно найдется место.

Теперь можно брать отпуск... Во время отпуска Семен доведет дом до ума: оштукатурит изнут-

ри, вставит рамы со стеклами, подгонит двери и начнет красить. Ираиде дом виделся голубым, с белыми резными наличниками. Ну что ж, голубой так голубой, кто против? И он, Семен, уже видел себя в голубом доме. Вот они с женой пьют чай у окна да поглядывают в зарешную благодать...

Но дом надо еще закончить, а пока Семен с Кузьмой сидели на крыше, деревянным молотком загибали жестяные края. — доканчивали кровлю. Сверху хорошо было видно, как Ираида, располневшая в последнее время (вольный воздух на нее так действует, что ли?), возится в огуречной грядке, ищет в высокой, колючей ботве огурцы на засолку. Длинненькие, зеленые, с нежными пупырышками огурчики скоро наполняют ведро с верхом, и, переваливаясь с ноги на ногу, как утка, жена тащит урожай к чистой, загодя пропаренной бочке. Вот и начинают оправдываться затраченные денюжки. Считай, на зиму своими огурцами обеспечены, а там скоро пойдут капуста, картошка и другие овощи, без которых зимой никак не обойтись. Молодец все-таки жена, ничего не скажешь. А может, и правда, пропал бы он без нее?..

Игорек подал с земли лист жести. Семен привычно приложил его к месту, подровнял и, наживив свой угол, стал ждать, когда и Кузьма сделает то же самое. Но Кузьма отчего-то не спешил наживлять свой угол. Внизу мимо ворот катил «газик» с пыльным брезентовым верхом, и Кузьма задумчиво провожал его глазами. Когда машина, подпрыгивая на обнаженных крученых корнях сосен, скрылась за соседними домами, он озабоченно поскреб в бороде и спросил негромко:

— Может, перекурим, хозяин?

Кузьма всегда так называл Семена — «хозяин». Сначала это обращение покалывало слух, и Семен довольно морщился, как от зубной боли. Когда жена его так величает — это понятно. Он — хозяин дома, то есть глава семьи, так принято говорить. Иное дело — Кузьма. В его обращении Семену слышались совсем другие нотки, вроде того, что он, Табакаев, стал хозяином этого работающего мужика, и не по себе становилось от такой мысли. Поэтому он сначала обращался к Кузьме с какой-нибудь просьбой не иначе как в сослагательном наклонении: «Кузьма, обтесал бы ты», «по-

догнул бы ты», «подержал бы ты...». Стеснялся приказывать. А потом незаметно привык. Охотно откликался на «хозяйина» и уже попросту велел Кузьме сделать то одно, то другое. Хозяин так хозяин. Кузьме он платит не из казенного, а из своего кармана, кормит тоже со своего стола, и рюмкой не обносит, а значит, и приказывать вправе, и ничего такого в этом нет... Вот и сейчас, чтобы не прерывать работу, Семен отозвался деловито:

— Кури здесь. На верхотуре-то еще слаще, — и протянул пачку сигарет, хотя знал, что Кузьма, кроме самосада и махорки, ничего не курил.

Кузьма повертел в негнущихся пальцах сигаретку, как дорогую, хрупкую вещь, и сунул за ухо.

— Я к тому говорю, не передохнуть ли нам малость? — сказал он озабоченно.

— Чего отдыхать, когда Иранда скоро обедать позовет.

Кузьма вздохнул, но спорить не стал. Снова принялся за работу, изредка настороженно косясь за ворота. Что-то там тревожило, не давало покоя.

Опять появился «газик» с пыльным верхом. Теперь он ехал медленнее, словно из него к чему-то приглядывались. Возле ворот машина остановилась. Распахнулась дверца, изнутри вывалился грузный дядька в пыльных сапогах, в сером, пыльном же, как и брезент на машине, плаще, будто и плащ и верх «газика» были сшиты из одного куска. Широко расставив ноги и крепко, по-хозяйски утвердив их на земле, он деловито откинул руки за спину, выпятив живот и стал очень внимательно глядеть на крышу, отчего Кузьма явно заскучал и отвернулся.

— Здорово, Кузьма! — поздоровался дядька с той ласковостью, какой, как сахарной пудрой, прикрывают горькую пилюлю. — Чего глаза прячешь? Совестно?

— Кто это? — шепотом спросил Семен.

— Председатель колхоза, — неохотно ответил Кузьма, затравленно озираясь по сторонам.

— От люди пошли, понимаешь! Трактор бросил и в шабашники подался! Вы поглядите на него! — Председатель простер руку, показывая ею на Кузьму, хотя зрителей внизу никаких не было, одни сосны стояли. Из-за соседского забора, правда, осторожно выглядывали обеспокоенные Долговы, но глядели они не на

Кузьму, а на председателя, и глядели так, чтобы им самим видно было, а их — нет.

— Чего молчишь? — зычно кричал председатель, и Семен забеспокоился, что его слышно по всей деревне. — На работу выйдешь, нет? Отвечай!

Иранда на огороде подняла голову, прислушалась. Сначала она было двинулась к воротам, но голос был солидный, начальственный, привыкший звучать громко, и она решила не лезть на рожон, а подождать.

Игорек проворно вскарабкался на крышу, удобно уселся в сторонке, чтобы было видно всех: и дядьку перед воротами, и отца с Кузьмой на крыше, и мать на огороде, и такой интерес был в его лице, будто кино приготовился смотреть.

Семен недовольно покосился на него. Не хотелось ему, чтобы сын тут присутствовал, но ведь не скажешь: ты, дескать, уйди, Игорек, не слушай, как нас ругают.

— Сколько ему добра колхоз сделал! — продолжал звать председатель, глядя не только вверх, на крышу, где Кузьма крутился сорокой на колу, но и по сторонам, будто призывая в свидетели сосны. — Ссуду на избу брал? Брал! Сено для скотины получал? Получал! — Говоря это, председатель загибал пальцы на руке. — Зерна и комбикормов тебе выписывали? Выписывали! Сроду ни в чем отказа не было! А теперь колхоз ему не нужен. Он сытый стал! Выкормили, понимаешь!

— Дак я когда еще рассчитался за ссуду-то, — негромко буркнул Кузьма, скорее для себя или для Семена, однако председатель его все равно услышал и включился.

— Он рассчитался! — ехидно рассмеялся председатель и огляделся по сторонам. — Он, видите ли, рассчитался! — И, побагровев разом, закричал: — А за то, что твоих детей колхоз от голода спас? За то, что им последнее зерно отдавали, ты тоже рассчитался? Помнишь, время-то какое было? Когда из гольной мякны хлеб пекли? Память-то жиром еще не заплывла? Это ты помнишь? Постыдись, Кузьма, ты ведь исконный крестьянин! Неужто у тебя от сытости глаза и уши застило? Разве не знаешь, что уборка идет? Что механизаторов не хватает? Зерно осыпается, понимаешь... В землю хлебушко уходит. Смотреть больно, а он сидит на

чужой крыше и разговаривать не желает. Совесть-то у тебя, спрашиваю, есть, нет? А ну, живо слезай! Слезай, добром говорю!

Кузьма на крыше заколебался, искал глазами лестницу, и Ираида внизу, которая уже готовно стояла по эту сторону запертых ворот, не выдержала, решила взять разговор в свои руки.

Распахнув ворота, она встала в них, подбоченясь, глядя на председателя насмешливо.

— Вы чего к человеку пристали? — громко, но еще не очень уверенно, а как бы пробуя силы, заговорила она. — Он свободный человек. Где хочет, там и работает. Привязались к мужику, ну прямо как репей.

— От совести он свободный! — не унимался председатель. — Вот такие, как вы, и сбивают с толку мужиков. Мутят тут воду, понимаешь!

— Не ваше дело!

— Не ваше дело... Ишь, выискалась какая! — переключился председатель уже на Ираиду. — Понаехали, понимаешь! Бульдозера на вас нету. На ваши терема размалеванные. Куркули, понимаешь!

— Но-но, вы полегче... — сказала негромко Ираида и значительно прищурилась. — За куркулей и ответить можно. Вы кого оскорбляете? Вы знаете, кто тут живет? Передовой бригадир бригады комтруда! — и подняла глаза вверх. — Семен, ты слышишь, что он говорит? Этот гражданин? Ответь-ка ему! Это дело так оставлять нельзя. Не-ет!

Семен слышал жену, но отворачивался. Помнил, что тут рядом сидел Игорек. Много бы он дал, чтобы сына тут не было...

— Это вас надо к ответу, понимаешь! Передовые... — Председатель все еще изливал душу, но говорил уже потише, не так, как раньше. — Ну, смотри, Кузьма!

Он уехал, сердито хлопнув дверцей, а Ираида, выйдя на середину двора, все возмущалась, но уже для Кузьмы и мужа, а может, и для Игорька, чтобы как-то оправдаться перед ним.

— Видали мы таких крикунов! Не очень-то боимся! Нас на горло не возьмешь! Ишь, выискался начальник! Нету таких прав, чтобы заставлять человека работать насильно!

Мужики снова принялись за дело, но работали как-

то вяло, неслаженно, будто порвалось их устоявшееся понимание. Не смотрели в глаза друг другу.

Игорек все еще сидел на крыше, словно ожидал продолжения.

Ираида поглядела на мужиков, не выдержала:

— Вы чего как неживые? На них прикрикнули, они и хвосты поджали. Ну, мужики пошли... Одно название. Баба ругается, глотку рвет, а они боятся рот раскрыть. Сказали бы ему пару ласковых.

Ираида испепеляюще поглядела на крышу, повздыхала и пошла запереть ворота. Но едва взялась за створку, как тут же и выпустила ее из рук, будто обожглась. В сердцах всплеснула руками:

— Одного черти насилу унесли, теперь другая прется. Ее только тут не хватало, — и демонстративно пошла в огород.

Семен глянул с крыши и увидел, что к воротам, низко пригнувшись к земле, словно ища что-то под ногами, идет Петровна.

Петровна поздоровалась своим обычным поклоном и опустилась на скамью, положив рядом с собою белый узелок.

Мужики с крыши тихо, неуверенно ответили на ее приветствие и продолжали свое дело. Однако почему-то и молотками уже стучали осторожнее, и переговаривались лишь вполголоса, будто стесняясь своей громкости. И руки Семена двигались привычно, но без прежней веселой сноровки и как бы помимо его воли, словно и строил не себе, а кому-то другому. Ушел зуд из рук, пасмурно стало в душе...

Ираиде надоело торчать в огороде, она вышла во двор. Увидев Петровну, коротко кивнула ей и поджала губы. Была она все еще красная после ругани с председателем, до сих пор не охладилась. А может, она так раскалилась уже из-за старухи?

— Петровна, это ты нам огород полола, что ли? — громко заговорила Ираида тоном, каким разговаривают с провинившимися детьми.

— Дак травка начала глушить, я и повыдергивала, — стала оправдываться старуха.

— Не надо больше этого делать. Мы уж как-нибудь сами, — холодно предупредила Ираида и, не слушая ее больше, ушла в избу, загремела там посудой, как понял Семен, нарочито.

— Не надо, дак и не буду, — тихо говорила старуха как бы сама себе. — Я ведь думала, раз трава, дак ее надо выдернуть...

Ираида появилась во дворе, лишь только старуха скрылась за воротами. То ли чутьем каким угадала, а может, в окошко смотрела, ждала, пока та уберется.

Ираида освобожденно вздохнула, оглядела огород, двор, крышу, где лениво, как бы в полудреме, мужики постукивали молотками, и, поймав мужнин взгляд, поманила к себе.

— Ты вот что, — заговорила она свистящим шепотом, косясь на отдыхающего вверху Кузьму. — Заплати ему и скажи, чтобы больше не приходил. Хватит. Крышу почти закрыли, остальное с Игорьком доделаете. А то прицепятся какие-нибудь, вроде этого ненормального. Припишут еще чего-нибудь. Ну их всех подалее... Да Кузьме-то хорошо надо заплатить, чтоб не обидеть. Он нам еще пригодится.

Ужинать готовились уже втроем, без Кузьмы.

Накрывая на стол в избе, Ираида вдруг попросила: — Иди-ка, отец, нащипай луку в огороде. Который позеленее. Да укропу несколько веточек сорви.

— Я схожу, мам, — с готовностью вскочил Игорек.

Раньше такой прыти сын не выказывал, и Семен посмотрел на него с благодарностью. Выходило, что сын жалел его. Не порвалась, значит, ниточка, дюжит...

Однако это и от Ираиды не укрылось. Она придержала сына.

— Что же вы, голубчики, ничего мне не расскажете о происшествии? — спросила она ревниво, поочередно глядя на обонх.

— О каком происшествии? — невинно спросил Семен.

— Ты погляди на них... — Ираида скривила губы. — Вся деревня знает, а он будто с луны свалился. Первый раз слышит. Ну, что нахулиганили-то тут? Дрова до станции разложили. Неужели не слышали?

— А ты слышала? — переспросил Семен.

— Я что слышала.

— Ну раз слышала, и спрашивать нечего!

Игорек благодарно взглянул на отца и хотел выйти. Оставаться наедине с матерью ему сейчас не очень-то хотелось: побаивался расспросов. Однако она снова придержала Игорька.

— Говорю же, отец ходит. А ты пока хлеба нарежь. Огурчиков покроши на салат. Помогн немного, а то я замotalась с вами одна-то.

Семен медленно брел вдоль грядок, осторожно нащупывая узенькую тропинку и стараясь не ступить сапогами куда не надо. Нагибаясь, срывал хлопающие луковые перышки в сизом налете пыльцы, отщипывал веточки уже буреющего укропа, от которых, как ему казалось, шел запах малосольных огурцов. И эта немудреная работа ему неожиданно понравилась. Хлопали туго луковые перья, с тонким, еле различимым скрипом отрывались веточки укропа, словно живые они были и подавали свои голоса.

Он задумчиво пожевал луковое перышко и ощутил во рту легкое жжение. Вроде бы из одной земли тянут соки все эти растения, которые соседствуют в его огороде, а такие разные. Одни — сладкие, другие — горькие. Вот и люди тоже: одной землей кормятся, похожие друг на друга: голова, руки, ноги вроде с виду одинаковые, а изнутри — разные...

Задумавшись, он не обратил внимания на раздавшийся во дворе звук пилы. Но когда пошел обратно — увидел Ираиду. Полусогнувшись, она стояла возле черемухи и разглядывала свой палец. Семен, подойдя, увидел на пальце жены кровь, которая падала вниз тяжелыми каплями. Только теперь он заметил все сразу: и искривленное болью лицо Ираиды, и брошенную в сторону ножовку, и рыжие опилки у ствола черемухи, и неровный, рваный надпил ствола.

Ираида подняла на него суженные от боли злые глаза.

— Ну чего стоишь как истукан! — крикнула она раздраженно. — Баба пилит, палец себе изуродовала, а он глазеет. Возьми пилу! Слышишь!

Он поднял с земли ножовку в бурых пятнах крови, произвольно отер ее о штанину и опустился на одно колено, устраниваясь поудобнее возле ствола.

Ножовка мягко вошла в плоть сырой древесины. Сыпанули на штанины опилки. «Все равно теперь пропадет, — мельтешило в голове. — Уж лучше спилить. Ведь добивают же раненых лошадей и собак. А дерево — оно тоже живое...»

Семен пилил и утешал себя, уговаривал, дескать, зачем раненому дереву истекать соками и медленно



гибнуть, а где-то в самом темном уголке души рождалась даже непонятное облегчение...

Зеленый взрыв взметнулся перед домом и, когда во дворе улеглась пыль, стало видно, как стара изба. Тесовая крыша, оказывается, поросла мхом, плахи потрескались и прогнулись. На свету ясно проступили трещины и морщины стен. Черемуха раньше прикрывала собою избу, и теперь, лишившись прикрытия, изба беззащитно обнажила все свои изъяны.

Семен стоял в оцепенении, все еще будто слыша предсмертный треск ствола, шум ломающихся веток, хлестко стегнувших по земле, видя запоздалым зрением облако пыли, застелившее двор, корчащиеся ветви. Кажется, он только теперь понял, что произошло. И вдруг ему захотелось уйти, уйти куда угодно, лишь бы не видеть распластанного во дворе зеленого вороха...

Он резко повернулся и вдруг замер на месте, встретившись с глазами Игорька. Сын, наверное, выскочил из избы на шум падающей черемухи. Он стоял и смотрел на отца. Глаза у сына были какие-то нехорошие, темные и совсем чужие. Семен выронил ножовку из рук и пошел прочь.

Ужинать он отказался. Не стал включать и телевизор, хотя подходило время хоккея. Сел на осиротевшую скамейку и стал смотреть в заречье, где за бурыми лугами в вечерней дымке неожиданно проклевывались огни города. Днем тут город не чувствовался, а теперь вот напоминал о себе беспокойно-желтоватым пятном на растушеванном сумерками горизонте.

Спустя время подошла Иранда и села рядом. Подула на забинтованный палец, посмотрела в лицо мужу, ница сочувствия, но тот задумчиво смотрел мимо.

— Ну, долго переживать будешь? — спросила она примирительно.

Он молчал, и она толкнула его плечом, чтобы расшевелить, вывести из тревожной неподвижности.

— Чего раскис? — заговорила она теплым, обнадеживающим голосом. — Не переживай ты из-за пустяков. Спипили и спипили. Не нужна нам она была. Огород затеняла... Послушай-ка, что я тебе скажу... — Иранда наклонилась к нему с тихой, мечтательной улыбкой. — Я вот все думаю, машину бы нам купить...

Семен повернулся к ней.

— Машину?

— А что? — Белое Ирандино лицо молочно проступало из тьмы, и на нем хорошо различалось удивление непонятливостью мужа.

— Ты же говорила: пешком ходить для здоровья полезно.

— Конечно, полезно, — отозвалась она с лукавой улыбкой и положила теплую руку ему на плечо. — Я разве от своих слов отказываюсь? Только, знаешь, Сема... совестно как-то. Все на машинах ездят, одни мы, как нищие... Я чего хочу сказать-то... — заторопилась она. — Овощи у нас теперь свои. Денег на питание будет уходить меньше. Так что можно и откладывать. У вас как на работе с машинами? Продают?

— Продают. Передовикам.

— Ну вот, — обрадовалась Иранда. — А чем ты не передовик? Бригадир. И бригада у тебя не простая.

— Какой я к черту передовик, — горько усмехнулся Семен. — Поганой метлой надо гнать таких передовиков, — и передернул плечом, пытаясь стряхнуть руку жены.

— Ты на себя не наговаривай, — с легким раздражением отозвалась жена, но руку не убрала. — Чем зря ныть, ты лучше пораскинь мозгами да двинь какой-нибудь почин. Чтобы заметили. Глядишь, и выделят. Нам на нашу бедность хотя бы «Запорожец». Года за два наскребли бы.

— Почин... — криво усмехнулся Семен и покачал головой. — Их, этих починов, столько перебивало, что, наверно, нового и не придумать. Да и не сильно сейчас крикунам-то верят.

— Придумай что-нибудь. Неужели у тебя совсем фантазии нет? Захочешь, так придумаешь.

Семен не ответил. Задумавшись, он снова посмотрел туда, где все отчетливее набухало тревожное желтое зарево. Оно прорастало из тьмы будто специально для него, чтобы в далеком, слабом сиянии он мог разглядеть свою прежнюю и теперешнюю жизнь как бы со стороны, сторонними глазами.

— Ладно, — заговорил он мягко и раздумчиво. — Допустим, купим мы машину. Допустим... — И неоконченно примолк, чтобы жена не перебила, прислушалась к тому, что он скажет дальше. — А потом?

— Ездить будем, — откликнулась она. — То ли дело — со своей машиной! Нагрузил в багажник чего хо-

чешь — и никаких мучений с электричкой. А то на саночках не очень навозишь. Да и овощи мерзнут дорогой.

Семен терпеливо переждал, пока она выскажется.

— А дальше? — спросил он снова, и его спокойный вроде бы голос зазвучал с внутренним вызовом, с едва различимой тайной насмешкой, отчего жена придвинулась к нему ближе и заглянула в лицо, пытаясь осмыслить его выражение.

— Помнишь, Ира, давно-о, лет десять назад, а то и больше, — начал Семен, медленно вытягивая из памяти пережитое. — Может, ты и не помнишь, а я помню... Так вот, ты говорила, дескать, купим холодильник — заживем. Помнишь?

— Ну и что? — насторожилась Ираида. — Хочешь сказать, что и не надо было покупать?

— Я не говорю: не надо. Надо... Потом еще много надо было. Много еще чего купили. С этой дачей вот. — Семен кивнул на избу. — Тоже: вот заживем, когда купим... Купили. Зажили. А теперь — машина. Купим — заживем. Ну, а дальше? Об этом ты задумывалась? О том, что дальше будет, когда машину купим?

Она остро посмотрела на него, но ничего не сказала. Гадала, видно, продолжать разговор или обидеться. И решив, что лучше обидеться, не только душой отодвинулась от мужа, но даже просто-напросто демонстративно отодвинулась от него на другой край скамьи.

Жена молчала, скорбно опустив голову, и Семен подумал, что молчит она не только оттого, что обиделась, но и потому, что ей просто нечего сказать. Она не знает, что дальше... «А он-то знает?» — кольнула дальняя мысль. Сам-то он как живет? Тоже ведь вечно ждет каких-то маленьких радостей. Закончится смена в цехе — он и этому рад, радуется, что скоро придет домой, в свою семью, где его ждут. Или вот Залесиха. Едет он сюда — и тоже радуется... Это, конечно, помогает жить, но он и сам заметил, что за последние годы стали его радости какие-то слишком уж маленькие, проходят и тут же забываются... Стало быть, зря он жену обидел. Разве виновата она, что живет другой, оборотной стороной его работы? Вся ее изворотливость, весь ее ум только на то и направлены, как бы получше истратить заработанные ими деньги, укрепить покуп-

ками семью. А может, так оно и должно быть? О чем ей, жене и матери, еще задумываться? О каких идеях? У нее свои заботы, отпущенные самой природой. Это ему, мужчине, надо думать — как дальше?..

— Слышь, Ира... — произнес он бережно, прислушиваясь к самому себе. Он давно не называл ее так коротко и ласково, а сегодня отчего-то второй раз сказал: Ира. И вдруг что-то молодое, забытое ворохнулось в нем, отчего и направление его мыслей изменилось. Хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, чтобы простила его грубость, а с языка сорвалось совсем другое. — Ира, пошли погуляем...

— Как это погуляем? — спросила она со слабой, вымученной улыбкой. Не могла понять: шутит он или нет?

— Ты что, забыла, как люди гуляют? Вот возьму тебя сейчас под руку, и пойдем в лес! Молодость вспомним. Когда мы с тобой последний раз гуляли?

— Давно... Я уже и забыла.

— Ну вот, вспомним, — смеялся Семен и тянул ее за руку со скамейки. Жена стыдливо сопротивлялась, но все-таки поддавалась ему. Встала, растерянно оглядываясь по сторонам. Она словно боялась, что кто-нибудь может их увидеть и осудить. Но увидеть их было некому. В избе стоял синий полумрак: сын смотрел по телевизору хоккей.

Семен взял жену под руку, немного стесняясь этого, чувствуя, что и она тоже стесняется, и повел к воротам.

Ираида шла тихо, стараясь не шуметь. Когда вышли за ворота, сказала:

— Увидит кто, скажет: вот два старых дурака.

— Пусть говорят, — отозвался Семен, крепче прижимаясь к теплому боку жены и вздрагивая от этого прикосновения. — Воровать мы пошли, что ли? Ведь мы — муж и жена. Мы, наверно, и ссоримся часто оттого, что вот так мало гуляем.

— А когда нам гулять? — усмехнулась она. — Вон сколько забот.

— Заботы всегда будут. Никуда от них не денешься. Да только если одними такими заботами жить — скучно будет. Ты помнишь, как я тебя провожал первый раз?

— Помню. Ты от меня на два шага в стороне шел.

— Боялся, — засмеялся он. — Я ведь тебя, Ира, боялся.

— Почему?

— Не знаю. Приду в столовую, вижу, как ребята разговаривают с тобой, шутят, — и даже зло берет. Думаю, а чем я хуже них? Вот сейчас подойду и скажу что-нибудь... И только захочу тебе что-нибудь сказать — а язык не ворочается, будто чужой. И смотреть тебе в глаза боялся. Гляну потихоньку, а меня будто опалит, и отхожу от тебя поскорее.

— А я думала, ты меня просто не замечаешь. Ты мне таким серьезным казался. Сроду не улыбнешься. Думала: выйдет из тебя толк.

— Не вышел?

— Я ждала большего.

Он не обиделся на ее слова. Воспоминания были светлые, все заслонили собой.

— Я боялся тебя, — продолжал он, радуясь давно пережитому. — Провожу тебя, а сам еще долго хожу около твоего дома, разные ласковые слова говорю. Тебе самой их сказать боялся, а назад унести не хотелось. Вот и говорил их около твоего дома, думал, что ты их услышишь. Не знаю как, но услышишь. Сильно мне хотелось, чтобы услышала.

— Глухой, — вздохнула Ираида.

— Какой уж есть...

Дорогу плотно обступили деревья, и сюда не проникали ни огни деревни, ни лунные блики. Потом деревья раздвинулись, и в слабом, зыбком свете они увидели поляну в голубоватом мерцании. Прямо перед ними, у ног, ясно ощущались светлые пятнышки. Это были ромашки.

Семен на ощупь сорвал несколько цветков и подал жене.

— Спасибо, — сказала она грустно. — Ты мне редко цветы дарил.

— А где их у нас в городе найдешь?

— Захотел — нашел бы.

Дорога, перечеркивая просеку, уходила дальше, в глубь леса, но туда они не пошли, а свернули по просеке и скоро остановились на высоком берегу, под которым льдисто сверкнула не тронутая даже слабой рябью гладь протоки.

— Давай искупаемся, — сказал Семен неожиданно.

— Сумасшедший, — улыбнулась жена. — Дня тебе мало.

— Дня мало. Это уж точно. Днем-то надо строить. Только ночь для себя и остается. Пойдем. — И потянул ее вниз, помня, что где-то здесь должна быть тропинка.

— Ты это серьезно? — удивилась она, выдергивая руку.

— Серьезно. Искупаться в такую лунную ночь, это знаешь... Это очень даже здорово. — И он снова попытался стащить жену за руку вниз.

— Перестань, — сказала она холодно. — Полные туфли песку набрала. В детство уже впадешь.

— Впадаю, — согласился Семен. — У меня детства-то, считай, не было. Вот оно теперь и взрывается во мне.

Ему расхотелось и купаться и гулять. Ночь давно. Пора спать, как спят в это время все серьезные люди...

— Пойдем домой, — сказал он упавшим голосом, удивляясь, что какие-то минуты назад у него было особенное, молодое и радостное состояние души, которое будто над землей его несло, а теперь вот все стало обычно. Он жалел, что это неожиданное состояние так мало побывало в нем. Молча довел жену до калитки, вошел вместе с нею во двор и так же молча зашагал вниз, по тропинке, между рядами подсолнухов, где был близкий выход к реке.

— Не хочешь — не надо, — сказал он хриловато. — Я и один схожу.

Светила луна, но от заборов падали тени, и потому ничего под ногами не было видно. Он старался идти подальше от заборов, чтобы не влететь в крапиву, вымахавшую в человеческий рост. Лютая это была крапива, от легкого прикосновения ее резных листьев вскакивали долго не проходящие, жгущие волдыри. Но хозяйева огорода, выходящих на улицу, крапиву не трогали, берегли ее, видя в ней надежную защиту своей малины и смородины от мальчишек и разного прохожего люда. Мальчишки, правда, при удобном случае расправлялись с крапивой, срубая прутьями ее ядовитые верхушки, мстя и за прошлые, и наперед, за будущие обиды. Да только ли мальчишки? Даже взрослые, идя к реке, нет-нет да и зацепят ее подвернувшейся палкой. Однако крапива скоро снова поднималась, она становилась еще выше и гуще, крепла всем назло.

Очень много в ней было жизни, больше, чем в любом овоще, растущем в огороде. Никто ей не рыхлил почву, никто ее не поливал, не удобрял, и чем больше ее истреблили, тем упорнее она росла. Для кого? Для чего?

Заборы ушли в стороны, и за тополями остро и неожиданно блеснула река. Полная луна висела над ней, зыбкий свет струился в реку, насыщал ее до дна и поднимался на поверхность, так что думалось, не луна, а сама река освещала и небо, и кусты на той стороне. Казалось, от речного избыточного света молочно проступал песчаный пологий берег, не тронутый ничьими следами.

На сухом песке Семен разделся и, ощущая легкость, будто с одеждой оставил на берегу все заботы, пошел в реку.

Прохладная, живая вода бережно приняла его, туго обжала струями. От неожиданности он вздрогнул, и это подтолкнуло его. Семен вскрикнул от непонятого восторга и нырнул, ощущая, как глубина сдавливает грудь, стучит в висках, наполняет глаза золотым мерцанием.

Жутко и сладко стояла перед открытыми, невидящими глазами плотная, немая мгла. С силой выгребая ладонями, он опустился до самого дна, вспомнив, как мальчишкой любил доставать дно, и, задев кончиками пальцев холодный донный песок, расслабился, отдаваясь глубинной силе, несущей его вверх, к слабо проступавшему свету поверхности.

Сколько жил он в Залесихе, а такой радости не знал, не представлял, что она совсем рядом. Так хорошо было плыть под луной, ощущая, как река смывает с кожи пыль и пот. Вот если бы выйти отсюда не только с чистым телом, но и с чистой, обновленной душой, не отягченной ничем...

Семен грустно усмехнулся этим мыслям.

9

— Эй, сосед!

Семен на крыше прислушался. Он не понял, чей это голос, и выжидал, не спешил отрываться от работы. Садящими от ушибов и порезов пальцами прижал острие гвоздя к месту, готовно занес молоток, чтобы коротким, сильным ударом пробить синюю, в радуж-

ных разводах гладь кровельного листа и потом, ослабившись, прогонистыми махами пришить очередной лист к упруго прогибающейся снизу плахе обрешетки. Не дождавшись повторного зова, повел головой вокруг, однако ни за воротами, на дороге, ни у себя во дворе никого не увидел. Пусто было во дворе. Жена с сыном ушли на реку полоскать белье. Может, почудилось? Так нет, явственно слышал близкий мужской голос. Уж не Долгов ли его зовет? Так чего бы ради?

Но все-таки, опустив молоток и перебирая руками по накаленным полуденным солнцем железным листам, Семен подполз к краю крыши, за которым лежала соседская усадьба, и глянул вниз, на травянистый пустынный двор. Там, внизу, почти у самой стены своего нового дома, опираясь на лопату, стоял Анатолий и, задрав голову, смотрел на него с терпеливым ожиданием. Подле Анатолия чернели глубокие узкие ямки с влажной, не подсохшей еще землей, выброшенной на траву из глубь, желтовато светились ошкуренные сосновые бревна. Походило, Долгов затевал что-то странное.

— Слышь, сосед, — позвал Долгов не тем покровительственным и поучительным голосом, каким разговаривал с Семеном обычно, а вяло и просительно. — Помоги столбы поставить. Одному силов не хватает. — И устало, просительно же улыбнулся.

Семен молча спустился с крыши. С соседом он в последнее время почти не разговаривал, перебрасывался только иногда приветствиями, да тот особенно и не лез на глаза, видно, чувствовал к себе неприязнь. Но сейчас вот позвал. Что же... Почему не помочь, раз просит.

Давно Семен не был у Долгова во дворе и сейчас остро разглядывал и только что появившиеся черные ямки, и золотистые бревна, и сваленные у стены дома узкие темно-красные доски с крупными белыми надписями и цифрами. Были когда-то эти доски стенами товарных вагонов, много разных мест повидали на своем веку, да вот где им пришлось осесть: в долговском дворе.

Семен подошел к соседу и готовно встал рядом. Он ни о чем не спрашивал, молчаливо давая понять, что его соседские дела никак не интересуют. Он просто поможет, в чем надо, и уйдет так же молча, как и пришел.



— Гараж вот строю, — сказал Анатолий, чтобы не молчать в неловкости, и кивнул на покрытую пестрой скатертью крышу машины в глубине двора перед верандой. — Ржавеет под открытым небом. Гиблое дело без гаража. — И вздохнул, ища сочувствия.

Семен из вежливости кивком согласился с ним.

— Жердей бы на перекрытие где найти, — продолжал Анатолий, ободренный хоть и слабым, но все же вниманием соседа. — Доски дельные на гараж переводить жалко. Осин бы молодых напилить. Настелить их, а сверху рубероидом. Как думаешь? — и мечтательно сузил глаза на взгорок, словно высккивая в березяке синеватые стволы осинки, затесавшиеся там и сям.

Семен безразлично пожал плечами и неторопливо переступил с ноги на ногу, ожидая дела.

Вдвоем они подняли бревно, поставили в ямку. Анатолий, отойдя в сторону и прищурившись, смотрел, прямо ли стоит столб, показывая ладонью, в какую сторону наклонить. Потом стал торопливо прикапывать, вбивая в землю для крепости обломки кирпичей, припасенные заранее. Семен помогал ему утрамбовывать землю.

После того как поставили третий стоек, сели на оставшееся бревно отдохнуть. Долгов подстелил под себя брезентовые рукавицы, чтобы не испачкать сосновой смолой спецовочные рабочие штаны, в которых Семен привык видеть его в цехе. Неловко помолчали.

— Скоро новоселье справлять будешь? — спросил Анатолий, оглядывая почти готовый табакаевский дом.

— Скоро, — нехотя отозвался Семен. — Вот крышу закончу, и останется одна малярка.

— Веранду пристраивать не думаешь? — деловито поинтересовался Анатолий.

— Ну ее подальше. Не дожусь, когда развяжусь с этим. Надоело.

— А чем будешь заниматься?

— Да ничем. Отдыхать буду.

Анатолий улыбался затаенно, вглубь себя.

— Не-ет, у меня еще одна задумка есть. Вот гараж сделаю и займусь... Бассейн хочу замастырить. Во-он там, посередине двора. Перед окнами.

— Бассейн? — удивился Семен. — Зачем он тебе?

— Ну как зачем? — снисходительно улыбался сосед. С одной стороны — красиво, а с другой — вода для

поливки всегда теплая будет. Искупаться опять же можно. Вот цементу достану и помаленьку начну. Бульдозериста бы где найти. Котлован вырыть... — Долгов покосился на опустившего голову соседа. — Не одобряешь, что ли? Вот погоди, сделаю — позавидуешь. Вечером искупался возле дома — и в постель. Благодарь!

— Так речка же рядом, — сказал Семен.

— Речка не то, — помотал головой Долгов. — К ней надо еще идти. А там народ, шум, визг, колготня... Не-ет, не желаю. Дома будет спокойнее. Никто не лезет, не мешает. Персональный бассейн, сами себе хозьяева. Посмотришь потом.

— Ну, твое дело, — вяло отмахнулся Семен. — Строй хоть фонтан. А я — все. Завязываю с этим делом. Буду на речке загорать, в лес ходить. Никаких больше строек. По горло сытый.

— Не наскучит отдыхать-то? — спросил Анатолий. — Без дела сидеть скучно. Я вот, к примеру, не смогу без дела. Мне обязательно надо чем-то руки занять, как-то ковыряться.

— Дело у меня на заводе. А тут — отдых, — резко вато заметил Семен.

Анатолий легонько улыбался, но совсем не насмешливо, а с мягкой задумчивостью, дескать, ну что ж, каждый живет, как ему хочется, и судить никого нельзя. Он и поднялся с этой примирительной полуулыбкой. Разговор начинал заостряться. Он это понял по тону соседа, по затвердевшему его лицу, а ссоры Долгову не хотелось. Не ко времени. Опасался остаться без помощника.

Семен, поднявшись с бревна, стал очищать штаны от лишней смолки. Облегченно вздохнул. Обошлось без лишнего раздражения. Он уже взглядом примеривался к бревну, гадая, с какой стороны к нему подступиться, но тут из-за ворот послышался грохот и тележный скрип. Из леса медленно выехала телега, постукивая колесами по обнаженным корням сосен, повернула на дорогу.

На телеге, свесив ноги, сидел Кузьма. На руке у него намотаны вожжи, но держал он их слабо, не направлял коня. Голову Кузьмы кренило то в одну сторону, то в другую, но глядел он на мир благодушно, даже не обкладывая коня по своему обычаю крепкими сло-

вами, без которых, как он сам говорил, конь скучает. Катилась телега помаленьку — и ладно. Конь сам домой привезет.

— Где это он успел причаститься? — подивился Анатолий. — Может, уже и медведей в лесу налогом обложил? — Но тотчас согнал с лица насмешливое выражение, будто вспомнив что-то. Уже какой-то интерес светился в его глазах, цепко следящих за телегой с подвыпившим Кузьмой.

— Привет, Кузьма! — крикнул он, сложив ладони рупором.

Кузьма повертел головой и, заметив мужиков в долговском дворе, натянул вожжи.

Осторожно, боясь уронить себя, Кузьма сполз с телеги на землю. Покачался малость, обретая уверенность в ногах, и пошел к ожидающим его мужикам.

— Здорово, хозяева, здорово! — сипловато проговорил Кузьма и, вытерев руку о пиджак, протянул для пожатия. Сначала Анатолию, потом Семену.

— Опять кого-то строишь? — пробормотал он, озирая двор.

— Да надо, Кузьма, надо, — жертвенно развел руками Анатолий. — Конюшню строю. Во-он для того коня, — показал пальцем на машину. — Она хоть и железная, а тоже заботы требует.

— Ну-ну... — неопределенно отозвался Кузьма, проследил за пальцем Долгова и, обернувшись на свою лошадь, не ушла ли, стал сворачивать самокрутку.

— Мы вот гадаем, где ты выпил, — легко и доброжелательно говорил Анатолий. — Уж не медведи ли поднесли?

Пошатываясь, Кузьма отступил на шаг, склонил голову набок и из этого положения подозрительно посмотрел на Долгова.

— Они самые. А че тебе так интересно?

— Да мне ничего, — живо откликнулся Анатолий, подмигивая Семену. — Пей на здоровье. Просто мне интересно.

— А я и пью, — искоса глядел Кузьма. — Мне подают, я и пью. Медведи... Если хошь знать, с медведями душевней пить.

— Это почему же? — с веселым любопытством спросил Анатолий. — Чем же душевней-то?

— Я потом тебе скажу, — многозначительно пообе-

щал Кузьма, и Анатолий, уловив недобрый намек в сизых глазах Кузьмы, смял улыбку и отвернулся.

— Потом, потом... — продолжал Кузьма, морщась от дыма, собирая морщины на небритом лице. Затоптал окурки, потер ладони о полы пиджака. — Ты вот че, Натоллий... Ступай принеси че-нибудь. А то в горле сухость.

— Выходит, мало подали медведи? — кольнул тот.

— Пошто мало? Они еще подавали, да я отказался. Будет, говорю. Мне надо еще к Натоллию зайти. А то он скажет, где-то был, а меня обошел. Обидится еще, говорю... Ты иди, иди, — продолжал Кузьма, видя, что Долгов замешкался. — А то мне уже ехать надо. Конь еще не поенный. Он-то не железный, терпеть не умеет.

Анатолий растерянно переминался с ноги на ногу, не зная, какое выражение придать лицу, и поэтому жалко усмехаясь. Он, видимо, уже жалел, что завел этот разговор про медведей, судя по всему, обидевший Кузьму, и теперь не знал, как из него выйти.

— А может, тебе хватит, а, Кузьма? — сочувственно спросил Анатолий. — Ты вроде уже хороший.

— Ну, если жалко, то не надо. Мне вот Семен подаст.

— Да почему жалко-то? — Анатолий развел руками. — Я тебе разве когда отказывал? Я же хочу как лучше.

Он торопливо пошел в дом и вернулся со стаканом водки в высоко поднятой руке. Стакан нес двумя пальцами, остальные брезгливо оттопырив, и руку держал на отлете, показывая, что затею эту он не одобряет и несет лишь потому, что ущемили его самолюбие, назвав жадным.

Анатолий подал Кузьме стакан и малосольный огурец с налипшими веточками укропа. Кузьма молча принял стакан, отпил до половины, а оставшуюся водку небрежно выплеснул на траву.

— Чего же водку-то вылил? — потемнел лицом Анатолий. — За нее деньги плачены. Бесплатно ее пока не дают.

— Ты же после меня допивать не будешь, — сказал Кузьма, с хрустом вонзая зубы в огурец. — Побрезгуешь. Вот и вылил. Куда ее девать, раз больше не жаю.

Анатолий болезненно поморщился, глядя, как водка впитывается в землю, и вздохнул.

— Ну да ладно. Черт с ней, с водкой. Мне для тебя, Кузьма, ничего не жалко.

— Вот я так и подумал, — открыто ухмыльнулся Кузьма. — Ты меня любишь, Натоллий. Я знал...

Анатолий, казалось, не заметил его ухмылки, задумчиво наблюдал березняк, и в лице его не было ни обиды, ни сожаления о зря погубленной водке.

— Из леса едешь, работал там, что ли? — спросил Анатолий, упрямо поворачивая разговор к лесу.

— Нет, не работал, — проговорил Кузьма, доедая огурец. Утер мокрые губы рукавом. — Поглядеть ездил, что и как. Лесник попросил участок осветлить, в логу. Седни я немного не в себе. Завтра с утра примусь. Надо помочь мужику.

— Вырубать-то много будешь? — оживился Анатолий.

— Много. Молодняк в логу густой, мешает друг другу. Вот я лишнее и повырублю, чтобы тесноты не было. На день, на два работы. А то и поболее.

— Ясно, ясно, — понятливо качнул головой Анатолий. — Слышь, Кузьма, жердей мне на гараж не выделишь? Крышу хочу покрыть. Хорошие-то доски переводить жалко. А жерди бы в самый раз. А, Кузьма?

— Нет, Натоллий, ниче не выйдет, — поморщился тот. — Лесник зятю избу строит, все жерди ему пойдут. На заплот.

— Так все жерди и заберет себе? — не поверил Анатолий.

— Все. Ему много надо. Усадьба-то большая.

— Ну, а себе ты возьмешь жердей?

— Мне не надо, — помотал головой Кузьма. — Я не строюсь.

— А если бы надо было, взял бы? — наседал Анатолий.

— Взял бы. Как не взять, — хмыкнул Кузьма.

— А ты возьми себе, а отдашь мне, — посоветовал Анатолий. — Я в долгу не останусь.

— Тебе я не возьму, — заупрямился Кузьма.

— Почему?

— Не возьму, и все. Не желаю.

— Почему не желаешь?

— Не желаю, и все. — Кузьма, вдруг заулыбавшись,

хитро прищурился. — Ты вот, Натоллий, даве спрашивал, пошто с медведями пить душевней...

— Ну, спрашивал, — сухо отозвался тот.

— Дак вот, я теперь скажу. Знаешь, пошто с медведями выпивать лучше, чем с тобой или вот с ним? — кивнул на Семена.

Анатолий отвернулся в сторону с едва приметной презрительной усмешкой, заранее пренебрегая теми словами, которые готовился услышать.

— Медведи опосля ниче не просят. Ни жердей, ни бревен, ни какого другого добра. Так-то вот, Натоллий. — И довольно засмеялся, обнажив крупные желтые зубы.

— А ты наглеешь, Кузьма, — с задумчивостью сказал вдруг Анатолий, все так же глядя в сторону. Кожа на его щеках натянулась еще туже, стала гладкой и красной, словно накалилась на солнце. — Наглеешь, Кузьма. — Он повернул лицо и уже прямо смотрел в сизые, веселые глаза Кузьмы. — Давно-о я это за тобой замечаю... Давно-о... Да все терпел. А терпенье-то наше может кончиться. Гляди, Кузьма, как бы рога-то не обломали.

— А че я такого сказал? — простодушно удивился Кузьма и беспомощно развел руки в стороны. — Че ты на меня взъелся? Я только и сказал, что медведи ниче не просят. Рази не правда? Им на што жерди? У них берлога завсегда готовая. Под выворотень залез — и спи сколь хочешь.

— Ты говори, Кузьма, да не заговаривайся, — тихо продолжал Анатолий. — Так лучше будет и тебе и нам.

— Дак рази я неправду сказал? — стоял на своем Кузьма.

— Правду, Кузьма, правду, — согласился Долгов. — Да только ты проспийся и завтра опять же ко мне и придешь. Попросишь выпить. После всего этого.

— Приду, — Кузьма покачался с закрытыми глазами. — Куда ж я денусь, приду. И ты мне все равно подашь.

— А тебе не совестно будет просить у меня? Ты ведь оскорбил меня.

— А ты рази не подашь?

— А ты бы на моем месте подал? — жестко спрашивал Анатолий.

— Я на твое место становиться не хочу. С меня своего хватает... — Кузьма дышал тяжело, глаза его

сами собой устало прикрывались, колени подкашивались. — Да, значит, не подашь, Натолій? — И, не дождаввшись ответа, сказал: — Тогда я вот к Семену пойду. Он мне подаст.

— А если и он — поворот от ворот? Тогда как?

— Ну и не надо. — Кузьма широко махнул рукой. — Пойду к другим мужикам. Вас ведь тут много. Это я один. А вас — пруд пруди. Успевай только пить. На мой век вашего брата хватит.

— А что, как и другие не дадут? Что, если мы все договоримся? Тогда к кому ты пойдешь?

Кузьма задумался и хитро ухмыльнулся.

— А вы не сговоритесь.

— Почему это?

— Не сговоритесь, и все. Я вас насквозь вижу. Где вам... Ну ладно, пусть вы сговоритесь. Так и так, мол, не подавать Кузьме. А как приспичит, вы потихоньку, друг от друга тайком, ко мне и ходить станете. Друг от друга таиться будете, а придете. Да эдак вечерком, чтоб никто не видал. — Кузьма торжествующе засмеялся. — Да ты, Натолій, первый ко мне придешь. Никуда не денешься. Так-то вот, Натолій. Ты бы лучше мне не перечил. Молчал бы уж...

— Что с ним говорить, с пьяным, — сказал Анатолий внезапно легким голосом, снимая напряжение с лица. — Он всегда так. По пьянке напорет всякой ерунды, а проспится — и снова человек. — И посмотрел на Кузьму уже новыми глазами. Не злыми, а сочувствующими, как глядят на больного. — Ну, хватит выступать, Кузьма! Хватит. Иди-ка лучше отдыхай.

— А че ты меня гонишь? Сам позвал, а теперь гонишь. Не поглянулась правда-то?

— Я тебя не гоню. Я хочу как лучше. Поди, проспишься.

Кузьма до этого дремал стоя, теперь вдруг широко раскрыл свои сизые, влажные глаза и посмотрел на мужиков трезво, даже качаться перестал.

— А жердей-то я тебе, Натолій, не дам, — сказал он и радостно рассмеялся. — Не дам, и все. Не желаю!

— Ладно, ладно. Завтра поговорим, — уговаривал его Анатолий и, подойдя вплотную, стал поворачивать лицом к воротам. Но Кузьма запротивился, в сердцах отбросил его руку.

— Не дам, хоть убей — не дам жердей, — говорил

он, наслаждаясь своими словами, и вдруг, отступив на шаг, сказал: — А слышь, Натолій... Вот ежели разрешишь раз в морду сунуть, то привезу. Полную телегу. Хошь, а?

Анатолий внимательно посмотрел, но ничего не сказал, как будто смысл предложенного не дошел до него.

— Дай, Натолій, раз в морду суну. Я не больно. Суну раз, и все. Если хошь, две телеги привезу. Плевал я на лесника. Ему ниче не дам, а тебе привезу. Не обману. Вот он свидетель будет, — ткнул пальцем в Семена.

Анатолий беспомощно отглядывался по сторонам.

— Иди-иди, Кузьма, — свистящим шепотом произнес Анатолий. Он, казалось, давился своими словами. — Ты меня из терпения выведешь. Налил шары да и бродишь по дворам.

— Я не брожу, — качал головой Кузьма. — Ты меня сам позвал. Сам. Жердей попросить. Ты просто так не позовешь. Я тебя знаю... Да слышь, Натолій, дай суну в морду-то. А ежели ты его стыдишься, — он опять кивнул на Семена, — то пушай отвернется...

Кузьма подступил к Анатолию, покачиваясь, готовился к чему-то и вдруг выбросил руку, пытаясь достать лицо Додгова, но тот поймал руку, дернул с силой, и Кузьма, потеряв равновесие, свалился в жухлую траву.

— Ты гляди... что делает... гад... — хрипел Анатолий, толчками выплевывая слова. Руки его дрожали.

Кузьма между тем поднялся, утер лицо рукавом пиджака и, улыбувшись разбитыми губами, снова качнулся вперед, целя измазанным землей кулаком в лицо. Но не попал опять, потому что Анатолий вовремя увернулся, и снова Кузьма неловко ткнулся головой в траву.

— Сами виноваты, сами... Дали волю... Поводили, — судорожно хрипел Анатолий, цепко наблюдая прищуренными глазами, как ворочается Кузьма на желтой, изъеденной бензином траве, пытаясь встать. И едва Кузьма оторвался от земли, еще только покачивался на согнутых коленях, как Анатолий метнулся к нему и с остервенением, вкладывая долго сдерживаемую и наконец прорвавшуюся злость, толкнул Кузьму в спину, после чего нанес на него сверху, не давая подняться.



Оцепенев от неожиданности, Семен глядел на барахтающихся мужиков. Он видел то скрюченные пальцы Кузьмы, выдирающие траву с корнями, то еще больше покрасневшее, будто спекшееся лицо Анатолия. Анатолий хватал руки Кузьмы, стараясь вернуть их за спину. Кузьма изворачивался, норовил достать противника кирзовым пыльным сапогом, пнуть его в живот, но не мог, и стонал от бессилия. По его небритым щекам, размазывая грязь, катились слезы.

— Держи ноги! — крикнул Семену Долгов.

Семен не двинулся.

— Бери за ноги, понесем к телеге! — снова крикнул Долгов. — Ну чего стоишь как столб? Кому говорю!

— Запалю... — тихо и жестко выговорил Кузьма, глотая слезы и давясь ими. — Запалю...

— Давай, берись. Быстро! Не видишь, он уже болтает бог знает что? Для него же лучше будет. Ну? — кричал Анатолий с побелевшими глазами. Семен наклонился, поймал пыльный сапог Кузьмы, но тот дрыгнул ногой и едва не угодил ему в лицо. Тогда Семен упал на ноги Кузьмы, подмял их под себя, и тот обмяк.

Неудобного и тяжелого, Кузьму подняли, поволокли к телеге, словно бревно. Кузьма, сопротивляясь, волочил сапогами по земле, цепляясь носками за выбоины и бугорки.

Семен вдруг уловил совсем не пьяный, а осмысленный взгляд Кузьмы, непонятное удовлетворение было в его лице. Семен хотел отвести глаза, но не смог.

— Ну че, хозяин, — сказал Кузьма, шепельнув мятые, забитые землей губы. — Вот как вы меня любите. На ручках носите... — И такую ненависть увидел Семен в мокрых глазах Кузьмы, что под сердцем нехорошо кольнуло.

Конь повернул голову и умным карим глазом смотрел на плывущего на руках хозяина. Кузьму положили на телегу. Он уже не сопротивлялся и покорно смотрел в бледное, выгоревшее от жары небо.

Анатолий поднял с земли вожжи, покрутил их над головой, чмокнул губами, трогая коня с места, и бросил вожжи на Кузьму.

Конь дернулся, колеса скрикнули, телега покатила по дороге, постукивая ободами колес по черным, выползшим из земли корням деревьев, похожим на растопыренные натруженные пальцы.

— Понеслась душа в рай, — сказал Анатолий, переводя облегченно дух, и, посмотрев на Семена, добавил утешающе: — Ничего... Проспитесь — снова человеком будет.

Семен никак не отозвался, все глядел на черные, извивающиеся корни деревьев, кое-где разбитые колесами.

А жизнь шла.

Утром Семен вставал, завтракал и принимался за дело. Подходил обед — он обедал и опять работал до темна. Телевизор уже не смотрел, а сразу ложился спать и будто проваливался в сон, чтобы с утреннего пробуждения все начать сначала. Отпускные дни катились в работе, их трудно было отличить друг от друга, как воробьев, перепархивающих стаями из одного огорода в другой. Тихо и покойно шла жизнь, ничто ее не выбивало из наезженной колеи, так что Семену иногда даже казалось, что они с Ирандой живут в Залесихе много лет и нигде раньше не жили.

Иранда тоже понемногу успокоилась, стала мягче, добрее. О Петровне они, с молчаливого согласия, не вспоминали. Один раз только Иранда как бы в раздумье сказала:

— Что-то не видать бабку. Может, заболела, а может, кто передал ей про черемуху? Не идет.

Сказала она это спокойно, но в ее глазах Семен разглядел тайную тревогу.

Больше про бабку они не говорили, но Семен нет-нет да и поглядит в конец села. Однако та не появлялась, будто ее и на свете не было.

Но однажды, влезая на крышу с ведерком краски, Семен посмотрел по привычке вниз, на улицу, на единственную залесихинскую улицу, и чуть ведро из рук не выронил на голову Игорьку: «Петровна! Пришла-таки...»

Согнувшись, старуха медленно шла по деревне и смотрела по сторонам, как смотрит человек, попав в незнакомое место. Не узнавала своей Залесихи. Да и где ее узнать. Не было больше прежней Залесихи. Старые серые избы исчезли с ее улиц, будто новые дома их заглотили. Только у одного Кузьмы старый дом и остался.

С крыши хорошо было видно, как приглядывалась старуха не только к домам, но и к людям, и даже к собакам — ко всему, что ей попадалось на пути. Люди ей встречались все больше представительные, одетые ярко и красиво, как ярко и красивы были их дачи. Они прохаживались по улице и по своим огородам, довольные хорошей погодой и тишиной. И собаки в Залесихе были уже не те вислоухие, добродушные бобики, которых старуха знала тут раньше. Нет, новые люди развели новых собак. Высокие и прогонистые, ростом с доброго теленка, с тонкими хвостами-прутиками, и еще какие-то другие, с короткими, приплюснутыми мордами, черногубые, без хвостов, они по-хозяйски сновали по деревне, и столько было в них собачьего достоинства, что хоть дорогу им уступай.

Возле избы Кузьмы бегал диковинный, сизый, в белых яблоках, тонконогий кобель с тонким же, как хлыстик, хвостом. Вихляясь, он кружил возле электрического столба и поминутно задирает ногу. Тут же, под окошком на завалинке, сидел и сам Кузьма. Побуревший от утренней выпивки, он лениво потягивал самокрутку и глядел на мир благодушно.

Старуха остановилась возле Кузьмы. Ей хотелось поговорить с кем-нибудь, отвести душу, но незнакомых новых людей она стеснялась. А Кузьма был свой мужик, знавший ее, и она обрадовалась ему, как родному.

— Я гляжу, шерсть-то на ем лоснится, — обратилась она к Кузьме, кивая на кобеля невиданной здесь прежде породы. — Твой, че ли?

Кузьма поглядел на кобеля, который все принюхивался к основанию столба, и, затоптав сапогом самокрутку, презрительно сплюнул в сторону.

— На кой он мне такой. — И вдруг зло цыкнул: — А ну, пшел, тунядец! Расплодили вас тут, заразу!

— Гребешком их чешут, че ли? — продолжала оживленно старуха. — До чего гладкие, прибранные.

— Гребешком... Да их, хошь знать, красным мылом моют. А уж потом гребешком расчесывают. Сколь раз сам видел на реке, — говорил Кузьма и презрительно сплевывал. — Да ишо они, эти собаки, не всякое мыло уважают, а только в красной бумажке.

— Ить это подумать! Красным мылом? Собак-то? Да ты че, Кузьма!

— Но-о, красным. Диколонят, чтобы псиной не пахли.

В это старуха поверить не могла, но вежливо качала головой, соглашалась. Ей, наверно, радостно слышать было деревенскую речь Кузьмы, по которой она, видно, истосковалась. Слушай сколько хочешь, и говори как хочешь. Никто не поправит...

— Че делается, че делается... — говорила старуха и, отвернувшись от собаки, поглядела на взгорок. — Ну, а как тама новые-то хозяева? Отстроились уже?

Кузьма сразу поскущел, полез за кisetом.

— Кто их знает... — похлопал по карманам, ница кiset. Торопливо пошел к себе в избу.

Петровна подождала его, подождала, но тот не показывался, и она двинулась по улице дальше.

Вскоре, затаившись на крыше, Семен уже слышал, как старуха гремела железным кольцом в воротах, справляясь с запором. Сейчас она войдет, и...

Вошла. Поискала глазами черемуху, но во дворе было необычно светло. На том месте, где черемухе быть положено, ничего не было. Старуха потерянно поискала глазами, словно дерево могло куда-то отлучиться, но разглядела наконец низкий пенек возле скамейки.

Ему она и поклонилась.

— Ну, видно, и мне пора, — произнесла она со вздохом и пошла прочь, сгибаясь ниже прежнего и с каждым шагом будто кланяясь земле. Она не видела ни торчащую посреди двора Иранду, ни притихшего на крыше нового хозяина.

— Ну, вот и все, — сказала Ираида с облегчением, когда белый платок исчез за воротами. — Теперь хоть поспокойнее будет. Все нервы она мне измотала...

Семен никак не отозвался. Он тоже ждал, что придет облегчение, но оно отчего-то не приходило.

Вечером он снова сидел на скамейке. Было тихо, если не считать перестука топоров во всех концах деревни, но эти звуки были тут привычны, и Семен их не замечал. Под них хорошо думалось. Но потом, сбивая мысли, внизу загудела невидимая в сумерках машина, судя по звуку, грузовая. Она остановилась внизу, возле одного из новых домов. Послышался негромкий говор людей, которые стали сгружать что-то тяжелое, что именно — не разглядеть, потому что фары

зажжены не были, мерцали лишь красные фонарики стоп-сигнала. Свет соседям, как видно, был совсем ни к чему. Семен понятливо усмехнулся.

За спиной скрипнула дверь. Узкая полоска света легла на землю, скользнула к огороду и там растаяла. Кто-то вышел из дому, и Семен по тяжелым, шаркающим шагам определил: жена.

— Отец-то у нас тут скучает, — сказала Ираида. — Игорек, иди сюда. Посидим с отцом.

Семен подвинулся, давая место жене и сыну.

— Там концерт передавали, — сказала Ираида. — Мы тебя звали. Не слышал, что ли?

— Не хотелось, — ответил Семен.

— Ну и зря. Концерт хороший был.

— Пусть, — проговорил равнодушно Семен и вдруг повернулся к сыну. — Игорек, — сказал он задумчиво. — Гитара у тебя здесь?

— Здесь, — отозвался тот недоуменно.

— Сыграл бы ты что-нибудь. Я ведь еще и не слышал, как ты играешь. А, Игорек?

— Сырай, — подталкивала сына Ираида. — Пусть отец послушает. А то он думает, что все это — баловство.

— Да ну, мам, — упрямылся тот, но упрямылся только для вида. Он пошел в дом и вернулся оттуда с гитарой. Отец с матерью посадили его в середину. Игорек быстро прошелся по струнам, разминная пальцы, и шумно перевел дух, глядя вверх, в темное небо.

— Ну, что сыграть? — спросил он.

— Не знаю, — отозвался Семен. — Что-нибудь душевное.

Игорек помолчал, вспоминая что-то, и едва тронул струны. Подождал, пока так же тихо и бережно отозвучат звуки, и вдруг запел негромко, подрагивающим, как бы только нащупывающим песню голосом:

— Мату-у-ушка, что во поле пы-ы-ыльна-а...

Семен вздрогнул и поднял голову. Он с боязнью ждал, когда сын заплет. Ему почему-то вспомнились такие же нестриженные, похожие на Игорька парни с магнитофонами в руках. Их он видел и на улицах, и в электричке. Они на всю мощь включали свои магнитофоны, из которых вырывались обычно заунывные, тягучие, с подвыванием песни. Трудно было узнать: рус-

ские они, немецкие или еще какие. Этого Семен боялся. А запел Игорек старинную русскую. Где он ее слышал, и почему она запала ему в душу? И каким чутьем удалось угадать сыну ту единственную струнку, запрятанную так глубоко, что и самому неведомо, на которую сладко и тревожно отзовется сердце? Что же ты такое, Игорек?

— Конн разыгра... разыгра-а-а-ались...

Голос Игорька осмелел, окреп, потому что он видел, как вздрогнул и напрягся отец, почувствовал, что песня связала их, и пел легко и чисто.

Семен вдруг ощутил, что эта не слыханная им прежде песня всегда была в нем, и она родна не только ему, но и старой избе, темным лугам, дремлющему на взгорье лесу, всему, что их сейчас окружало. Вот, оказывается, что у сына есть: песня. В домах он может жить в разных, но в нужный час эта песня в нем отзовется...

Игорек потом играл еще что-то, но Семен уже слабо воспринимал, глядел в темное заречье, и ему было легко и спокойно.

Скоро Игорек ушел, а Ираида осталась, сидела молча. Потом спросила тихо:

— О чем ты думаешь?

— О разном, — неохотно отозвался Семен.

Она вздохнула.

— Палец саднит.

— Помажь чем-нибудь.

— Мазала. Не помогает.

— Слышь, Ира, — задумчиво проговорил Семен. — Ты не знаешь, отчего так? Вот, к примеру, лук и морковь из одной земли соки сосут, а такие разные?

— Хочешь сказать, что ты — морковь, а я — лук?

— Нет, я тоже не морковь, — покачал головой Семен. — Я сам не знаю, что я такое.

Она слабо, отрешенно усмехнулась. Казалось, жена только вполуха слышит его и что занята она совсем другим.

— Семен, — позвала она внезапно дрогнувшим голосом. — Контроль у нас был в торге... — И замолчала, не глядя на мужа, ожидая, что он сам поймет недосказанное.

Он быстро повернулся к ней, пристально всматриваясь в блестящее рядом лицо жены.

— Стукнул кто-то про долговский гарнитур, — выложила она то, о чем Семен и сам догадался.

«Вот оно!» — обожгла его дальняя, прятаясь до этого мысль. Давно он знал, что не только добро отзывается добром, но и всякое зло оборачивается злом. Не зря в последние дни, затаившись в предчувствии, он ждал, что обязательно с ними случится какая-то беда. Большая или маленькая, но придет к ним неотвратно, потому что так уж в мире создано: ничего не исчезает бесследно, на все приходит такой отзыв, какой заслужил...

Выгонят жену с работы, осрамят. Худо, конечно, хорошего мало, но ведь не пропадут же они после этого. Устроится Иранда на другое место. Пусть оно будет похуже, но все-таки устроится, без работы не останется. Рану эту они со временем зализуют, только дай бог, чтобы на этом все и кончилось. Да только, наверное, не кончится. Главная-то беда, видно, не эта...

Семен судорожно перевел дыхание и поднялся.

— Ты куда? — с тревогой спросила Иранда, что-то странное уловив в резком движении мужа.

— Да надо... — сказал он первое, что пришло в голову. Он и сам еще толком не знал, почему резко поднялся со скамейки. Но раз сделал так, значит, надо. Значит, что-то велело ему подняться и подняться именно так, а не иначе. И уж только потом запоздавшая мысль пояснила, что ему надо куда-то идти, что-то делать и вообще двигаться.

Он посмотрел вокруг, будто прикидывая на глаз, куда идти, что делать. Над темной зубчатой стеной леса за воротами висели крупные спелые звезды. Синий мертвый свет шел от луны, вливая в душу тоску и холод. Огоньки домов мерцали внизу неярко, приглушенно — там готовились ко сну. Внизу лениво лаяла собака, да еще кто-то колотил топором в конце села — дня не хватило.

Ищущий взгляд Семена нашел освещенное окно за забором. Там, растушеванные занавесками, маячили распылчатые тени соседей. Вот кому хорошо и легко — Долговым. Гоняют себе чай — и никаких забот. И вдруг Семену подумалось, что посмотрел он к соседям не только потому, что глаза нашли в темноте яркий свет и остановились на нем. Нет, давно он подспудно ду-

мает о Долговых. Непонятная сила подталкивает думать о них.

Он несколько раз глубоко вздохнул, словно ему не хватало воздуха, и, решаясь, шагнул к забору, разделявшему две усадьбы, долговскую и его.

Иранда проследила за ним и встревоженно поднялась.

— Семен, ты куда?

— Да вот с соседом охота потолковать, — хрипловато сказал Семен и кивнул на светлые окна.

— Зачем он тебе? Ночью-то?

— Соскучился. Боюсь, дня не дождусь...

— Перестань, слышишь! Перестань! Не связывайся!

— А я и не связываюсь. Я, может, наоборот, развязаться хочу! — Семен уцепился руками за островерхние, крепкие штакетины, злобно тряхнул соседский забор.

— Эй, Анатолий! — крикнул он. — Толька! — и обрадовался найденному слову. Толька и есть, больше никто. — Выходи, Толька!

— Брось, Семен, брось, — подскочила сзади и тянула его от забора Иранда, но тот вцепился в штакетины крепко, оторвать его было нельзя, и завороченно смотрел на соседское окно, ожидая, когда там отзовутся на его крик.

В окне качнулась занавеска, кто-то выглянул. Семен не разобрал, кто именно. Потом глухо хлопнула дверь, вспыхнул свет на веранде, и в светлом квадрате перед домом обозначился Анатолий. Со свету он ничего не видел, бестолково вертел головой по сторонам.

— Ну, привет! — удовлетворенно сказал Семен, и тот повернулся на голос. Некоторое время он вглядывался в темнеющую у забора фигуру и медленно, настороженно приблизился.

— Это ты, Семен, что ли?

— Я, — ответил Семен.

— Чего шумишь?

— Да вот поговорить захотелось.

— А чего ночью-то приспичило? Дня не хватило?

— Не хватило. Сильно поговорить захотелось, — сдерживаясь, цедил Семен. — Так захотелось, что мочи нет. До утра не доживу, если не поговорю с тобой.

— Выпил? — спросил тот со спокойной усмешкой трезвого человека, и в его голосе сквозило превосход-



ство и снисходительное терпение, как у трезвого перед выпившим.

— Да нет, не выпил, — держал себя Семен, и только голос выдавал: подрагивал. — У тебя на усадьбе барахла всякого навалом... За покупкой я, Долгов. Задумал душу твою купить. Сколько запросишь?

Ираида уже не просто тянула Семена от забора — колотила острыми кулаками в спину, но тот ничего не чувствовал — ни кулаков, ни ее слов.

— Душу, говоришь? — хмыкнул сосед. — А чего ты решил покупать? Своей хватать не стало?

— Не стало, Толька, не стало! Потому и покупаю. Продай, а?

— Ты вот что: иди-ка проспись, — холодно посоветовал Долгов, озираясь по сторонам, не слышит ли кто. — Иди отдыхай...

— Нет, спать я не пойду. Я сам спать не буду и тебе не дам. Я через тебя нечеловеком стал! — вырвалось у Семена.

— Ты гляди, он через меня нечеловеком стал! — коротко, зло хохотнул сосед. До этого голос у него был плоский, неживой, словно бы еще ничем не наполненный, теперь же стал колющий, как напильник. — Ты погляди, какой он чистенький. Прямо завидно. Воды не замутит. А вон Петровну заглотив и не поперхнулся, чистенький... Сам напролом пер, как бульдозер, а туда же... Совратили его! Вы поглядите на этого малолетку! — Он уже определился в споре, успокоился и потому выбирал слова побольнее. — Да ты сам давно ждал, когда тебя совратят! Ты уж давно готовый был, только случай не подворачивался. Кто к кому на дачу напросился? Я к тебе или ты ко мне? Ты ко мне! Так чего ты от меня хочешь?

— Знаю, чего хочу. — Семен уже задыхался. Ему мешал забор. Он с силой потянул на себя штакетины, но забор был долговский, крепкий, на все случаи жизни, в том числе и на этот.

Позади Анатолия послышался шелест сухой травы: подходила Галина. Раньше она, судя по всему, стояла у двери веранды, слушала в тени, теперь решила и сама войти в спор.

— Слыхала? — обернулся к ней Анатолий. — Сосед-то наш жалуется. Говорит, совратили мы его.

— Как это? — спросила Галина с показной непонят-

ливостью, хотя весь разговор слышала. — Кто его совратил?

— Мы! — громко смеялся Анатолий, чувствуя поддержку, и когда снова повернулся к Семену, то не только видом был уже сильнее, даже голос подновился: — Он еще пожалуется на заводе за это! Расскажет, что я ему доски вывозил!

— Да как пусть говорит, пусть! Ты вез-то кому? Ему вез. Вот его же самого и турнут. Ты — работяга, с тебя немного возьмут, а он — бригадир. Хорош бригадир. Работяга его совратил!

Долговы смеялись, на разные лады повторяя слово «совратили», поворачивая это слово перед Семеном всеми обидными сторонами, а самое горькое было то, что ему самому уже и сказать было нечего. Весь он выплеснулся. Да и что теперь скажешь? Правы Долговы: сам напросился к ним в соседи. Дал когда-то слабину, вот она и завела...

Прибежал Игорек, и теперь они с матерью стояли чуть поодаль от Семена, молча выжидали конца.

— Ну и соседи мы себе взяли под бок, — говорила нараспев Галина. В скандал она вступила поздно и теперь торопилась наверстать упущенное. — Пригрели змею за пазухой. На машине возили как доброго. Ишь ты! Когда помогали строить — он молчал. Все хорошо было. А теперь конечно... Отбухал домину, и сразу мы плохие стали... Нашим салом да по нашим и мусалам.

— Ага, — с живостью откликнулся Анатолий, подменяя жену. — И к дяде Гоше подлез. Путевку в садик выманил, тот и пикнуть не успел. А теперь рассовестился. Виноватых ищет. Хитер, ничего не скажешь. А с виду тихий.

— Да в тихом-то омуте, сам знаешь... — подсказывала Галина.

Ираида, которая все это время молча стояла за спиной и в разговор не вступала, сказала раздраженно:

— Уйди, Семен. Не позорься. Слышишь?

Семен обернулся к ней.

— Тебе за меня стыдно? — спросил он надсаженным голосом. — Может, и ты примешься меня стыдить?

— Сам дурак, дак думаешь все так? — кричала из-за забора Галина. — Жену-то хоть не срами. Поди, готова под землю провалиться от стыда.

— Перестань, Семен. Уйди, — с болью говорила Ираида.

— Не-ет, — отрешенно крутил головой Семен. — Не уйду... — И опять повернулся к соседям. — Значит, ты, Толька, ничего не боишься? — спросил затаенно.

— А чего мне бояться? — легким голосом отвечал тот. — Я никого не убил, не ограбил. Живу тихо-мирно.

— Это ты точно говоришь, — вдруг согласился Семен. — Ты никого не убил, не ограбил. Не-ет, с такими, как ты, не так надо. Словами вас не возьмешь. Вы их умеете по-своему выворачивать. Для своей выгоды... — Семен помолчал, переводя дух для самого главного. — Ты знаешь, Толька, что я сейчас сделаю? — начал он и не докончил, захлебнулся, давясь словами, рвавшимися из горла. — Я вот что сделаю... Пущу я красного петуха. Понял? — И засмеялся тихим, дребезжащим смехом.

Семен оттолкнулся от забора и легко, навесомо, будто он не шел по земле, а летел по воздуху, миновал застывших столбами жену и сына, вскочил в новый дом, где на не крашеном еще полу стояли банки с краской, бутылки растворителя и железная канистра с керосином, которым он мыл малярные кисти.

Мимходом он перевернул ведро с лаком. Оно загремело, покатилося, резкий запах ударил в нос, но это для Семена уже не имело никакого значения. В доме было темно: туда еще не успели подвести свет. Он отыскал невидимую в темноте прислоненную к стене канистру: вот она! Ему оставалось лишь опустить руку и нащупать прохладный металл канистры, нетерпеливо и сыто булькнувшей керосином.

На обратном пути Семен поскользнулся на залитом лаком полу и чуть не упал, а нища опоры, расцарапал руку о гвоздь, вбитый возле двери для вешалки. Его озарила мысль, что сам дом, построенный его руками, каждой плахой в полу, каждым гвоздем, вбитым в стену, удерживал хозяина, предостерегал от непоправимого. Острая боль в руке отозвалась болью в груди, но остановить себя Семен уже не мог. Боль быстро погасла, затерялась, и тот неведомый поводырь, который без ошибки указал на канистру, вывел Семена из дому и повел туда, откуда он пришел: к забору, разделявшему две усадьбы.

Он уже видел светлые окна веранды Долговых, светящиеся, как показалось, ярче, чем раньше, и как бы специально указывающие ему путь, чтобы не сбился в сторону, а шел прямо к ним. Он видел перед собой четкую тень забора, который совсем не надо раскачивать, как это он делал раньше, а просто выбить штакетины ударом ноги и пройти к соседям... Силы в себе Семен чувствовал огромные, казалось, никто не остановит. Но приблизиться к забору ему не дали. Сбоку метнулась Ираида, повисла всей тяжестью на его руке с канистрой, крича что-то страшным незнакомым голосом.

Семен молча переложил канистру из одной руки в другую, свободную, и сильно толкнул жену плечом. Она выпустила его руку, упала, заходясь надрывным плачем, чего никогда еще от жены Семен не слышал, но не оглянулся, а освобожденно двинулся дальше.

— Игорек! Игорек! — отчаянно звала Ираида за спиной, звала снизу и глухо, как бы из самой земли.

Она поднялась и снова забежала, опередив, повисая на муже, и снова он легко стряхнул ее с себя. Он видел перед собой только призывно горящие окна соседской веранды — ничего, кроме света, к которому шел. И когда быстрая, живая тень опять заслонила свет, он непроизвольно протянул руку, чтобы отстранить эту вставшую перед ним тень, убрать с пути, но что-то неуловимое метнулось ему навстречу, прошло мимо руки, обняло за шею, и он ощутил на своем лице теплое дыхание сына.

— Не надо, отец. Давай лучше я...

— Уйди, Игорек, — прошептал Семен.

— Нет, отец. Если хочешь, давай я сделаю.

Подскочила опомнившаяся Ираида, вырвала канистру из ослабевших пальцев мужа, убежала во тьму. Семен послушал, как булькает, удаляясь, керосин в канистре, и медленно опустился на землю.

— Вот псих, вот псих! — кричал из-за забора оживший Анатолий. — Связать бы его надо. А то он тут творит — не расхлебаете.

— Ненормальный и есть ненормальный, — причитала следом Галина. — Жили тихо, спокойно, и — на тебе. Навязался на нашу голову. Вот теперь и бойся...

Соседи, минуту назад задавленные страхом, безязыкие, теперь опомнились, оплачивали за пережитое,

чем могли, и Игорек, который стоял возле сидящего отца, качнулся к забору.

— Уйдите, дядька Анатолий, — громким, срывающимся голосом попросил он. — Уйдите по-хорошему!

— Ты гляди, он еще грозит! — усмехнулся Долгов.

— Ага, воспитал сыночка. Такой же будет, — откликнулась Галина, но они все же отошли от забора и, постояв еще немного, отправились в дом, где сразу же погасили свет, чтобы наблюдать из темноты.

Семен неловко сидел на земле, упершись ладонями во влажную, принявшую росу траву.

— Ну, все? Перебесился? — услышал он голос жены. Говорила она не зло, а с мягким, мирным укором. — Вставай, простынешь.

Семен поднялся и, поддерживаемый сыном, потихоньку пошел в дом. У дверей обернулся на соседскую усадьбу и замер. Над крышей затаившегося дома Долговых вдруг полыхнуло красное пламя и, оторвавшись, став прозрачным как дымка, ушло в небо, где и растаяло. Семену показалось, что у него остановилось сердце. Он поглядел на сына, но тот был спокоен, ничего не видел.

Когда Семен снова глянул вверх, то никакого пламени в небе уже не было. Небо просветлело, будто приоткрывшись. В нем мерцали только звезды, яркие, по-осеннему спелые. Казалось, они тихонько позванивали, отчего над Залесихой стоял чистый и тонкий, тоже словно мерцающий тревожный звон.

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАССКАЗЫ

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Тепь стрекозы . . . . . | 3  |
| Красные лисы . . . . .  | 37 |
| Трамвайщина . . . . .   | 66 |

### ПОВЕСТИ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Бабье поле . . . . .      | 94  |
| Облава . . . . .          | 279 |
| По сходной цене . . . . . | 393 |

1258-1

Районная библиотека  
Дзугаевского района  
Астханского края.

*Евгений Геннадьевич Гуцин*

ОБЛАВА

Рассказы и повести

Редактор Л. Ершов  
Художник В. Евразов  
Художественный редактор В. Еранкин  
Технический редактор М. Сафонова  
Корректоры Н. Тырышкина, А. Дмитриев  
ИБ № 881

АГ 00196. Сдано в набор 5. 08. 1980 г. Подписано к печати 13. 11. 1980 г. Формат 84x108/32. Бумага газетная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,04. Уч.-изд. л. 27,748. Тираж 50000 экз. Заказ № 1494. Цена 2 руб.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.

Производственное объединение «Полиграфист» управления издательства, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.





